Надежда Улановская
Майя Улановская

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

МЕМУАРЫ

ИНАПРЕСС

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Для нее это «Дело» до сих пор не закрыто. При аресте им — членам «Союза борьбы за дело революции» — было от 16 до 21. Трое из них — Евгений Гуревич, Владлен Фурман и Борис Слуцкий — были расстреляны, остальные получили по 25 или 10 лет лагерей.

Свои воспоминания Майя Улановская начала писать в начале 70-х годов, в 1973 году они были опубликованы анонимно в «Вестнике РСХД» (Русского студенческого христианского движения). А в 1982 году в Нью-Йорке вышла книга «История одной семьи».

- Предисловие к 3-му изданию
- Предисловие ко второму изданию
- Предисловие к первому изданию
- Вместо пролога
- Рассказ матери
  - 1. В местечке
  - 2. В Одессе. Гражданская война
  - 3. Первая поездка за границу
  - 4. Вторая поездка за границу
  - 5. Миссия в Китай
  - 6. В Америке
  - 7. Большой террор
  - 8. Перед войной
  - 9. Во время войны
  - 10. Арест и следствие
  - 11. Лагерь
- Рассказ дочери
  - Дело Слуцкого, Фурмана, Гуревича и др
  - Конец срока — 1976 год
    - 1. Общая камера
    - 2. Этап
    - 3. Тайшетская пересылка
    - 4. Лагерь
    - 5. Дорога назад
  - Эпилог
- Рассказ матери о последних годах жизни отца
- Приложение
  - Беседа с А.А. Якобсоном
  - Наша лагерная переписка
  - Из писем отца мне

- Из писем отца маме
- Мои лагерные стихи
- Именной указатель[224]

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84

- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128

- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172

- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216

- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225

Предисловие к 3-му изданию

«Исправленное и дополненное издание» воспоминаний — совместимы ли эти понятия? Тем более, что в «Предисловии ко 2-му изданию» обещано ничего не менять в угоду моменту, «на чью бы мельницу при этом ни лилась вода».

Но жалко, во-первых, не воспользоваться последним, наверное, изданием книги перед тем, как рукопись магнитофонной записи «Рассказа матери» будет отправлена в архив, куда, по знакомству, обещано её принять, и не вернуть кое что из того, что по разным причинам было из неё при предыдущих публикациях изъято. Приходилось сокращать объём и жертвовать одним из многих рассказов о загубленной в лагерях жизни, и этот исключённый рассказ годами не давал покоя. А теперь его можно вернуть. Были, конечно, изъятия и по соображениям самоцензуры. Ведь даже и наступившая в России свобода не отменила опасности кого-то обидеть: ладно, если речь о явном провокаторе, кого назвать и при жизни было не жалко, хотя и у него есть жена и дети, но, если речь — о музе поэта, да ещё и пострадавшей, то можно ли рассказать нелестные для её памяти эпизоды? А старого генерала, которого «наши» завербовали в 21-м году в Берлине, воспользовавшись трудным его положением, но ничего он дурного не сделал, никого не предал, а только принял помощь от тех, кого и сам раскусил, и ходил с ними в ресторан «Медведь»? Нужно ли назвать его имя? Жалко! Хоть нет в живых ни его самого, ни молодой тогда его жены. Пожалуй, не назову и в этом, последнем издании.

Кое в чём я и раньше не соглашалась с Солженицыным, но теперь почувствовала: надо ещё о чём-то сказать, на что-то возразить. Ведь он приходил и расспрашивал моего отца и гостившего у нас старого лагерника. И то, что писатель из их рассказов взял, и как использовал — это ведь важно? Не хотелось бы попасть в стан его хулителей, но излишняя робость в вопросах чести — тоже ведь не почтенна.

Сноски, библиографические ссылки — прибавившиеся по сравнению с предыдущими изданиями, и обширный именной указатель, надеюсь, окажутся нелишними и для рядового читателя, и для историка, обогатят издание, увеличат доверие к изложенным фактам. Сожалею, что не о всех лицах, упомянутых в тексте и в указателе, удалось найти полные данные. Помещён в приложении новый большой раздел: «Наша лагерная переписка».

Кто-то удачно сказал, что наши недостатки — продолжение наших достоинств. Как положительные отзывы на книгу, так и

упрёки её авторам, касались стиля — сдержанности изложения, некоторой его сухости. Изменить положение в целом невозможно — «стиль — это человек», но кое-что из не включённого прежде в текст — отдельные живые детали устного «Рассказа матери» — вернуть можно и нужно. Надеюсь, что и лагерная переписка послужит той же цели — раскроет перед читателем наши мысли и чувства, сделает нас ему понятнее и ближе.

Иерусалим, 2002

Предисловие ко второму изданию

В 1986 г. умерла Н. Улановская, моя мать, с которой вместе мы работали над этой книгой. Переиздавая её в Москве, мы с сыном сожалеем о том, что наши близкие не дожили до свободы в России. Мы уже побывали на родине, повидали друзей, с которыми когда-то, почти 20 лет назад, расставались без надежды на встречу.

Желая переиздать эту книгу ради памяти близких, я из уважения к этой памяти не стану переписывать их историю, отрекаться от прошлого, на чью бы мельницу при этом ни лилась вода. Если мать сказала: «белые обычно расправлялись очень быстро», я не выпущу этого в угоду тем, кто нынче белое движение идеализирует. Сделанные исправления, как правило, отражают фактические перемены, происшедшие с тех пор, как в 1982 г. вышло первое издание. Понятно, что стало возможным назвать почти все имена. Несколько изменённый рассказ о молодости моего отца — результат уточнений, внесённых родными, с которыми долго не было контакта.

Вместе с тем, считаю возможным расширить охват книги, включив большой кусок: записанную в 1978 г. беседу с А.Якобсоном, известным правозащитником и литератором, о его встрече в 1956 г. с нашей семьёй и другими бывшими узниками, о влиянии этой встречи и других факторов на формирование его взглядов, об участии его в правозащитном движении в Москве в 60-х — начале 70-х гг. и о решении уехать в Израиль. В том же 1978 году, в особенно острый момент душевной болезни, которой он заболел, приехав в Израиль, А.Якобсон покончил с собой. Жаль, что он не знал, как мы теперь, что разлука с родиной не навсегда.

Его рассказ с самого начала был задуман как часть семейной хроники (мы поженились в 1956 г. и разошлись в 1974), но не вошёл в 1-е издание книги скорее «по техническим причинам» — чтобы сократить её объём. Просматривая этот материал заново, приходишь к выводу, что хотя он недавно опубликован в сборнике памяти А.Якобсона[1]) он и здесь на месте, помогая ответить на вопрос, который люди в России часто задают друг другу: «Почему ты не живёшь, как все?»

Иерусалим, 1993.

Предисловие к первому изданию

В Галилее, в кибуце Рамат-Йоханан, у нас есть друзья, пожилые женщины Тамара и Това, приехавшие из России лет шестьдесят назад. Мы с матерью любим их навещать, слушать их рассказы об истории кибуца, гулять вместе с ними по зелёной территории, заглядывать в помещения детского сада, школы, пошивочных мастерских, прачечной. И конечно, для нас каждый раз праздник — приходить в нарядную и просторную кибуцную столовую.

Мы уже достаточно времени живём в Израиле, чтобы понимать, что и в кибуцах есть свои проблемы. Но каждый раз, побывав в Рамат-Йоханане, мать повторяет: «Это — ближе всего к идеалу, о котором мы мечтали». И в голосе её сожаление. Ведь и она могла прожить такую же прекрасную и плодотворную жизнь, как эти пожилые кибуцницы.

Меня задевает, что при всём гостеприимстве и добром к нам отношении, кибуцницы мало расспрашивают нас о нашем прошлом. И слишком откровенно, на мой вкус, гордятся своими достижениями. Но мать мне возражает: «Незачем им нас расспрашивать. И гордятся они перед нами — справедливо. За ними — правота».

Итак — сожаление о том, что жизнь прожита не так, как следовало. И — смирение перед сверстницами, которые когда-то пошли иным, чем она, путём.

Вместе с тем, знакомясь с воспоминаниями моей матери, читатель напрасно будет искать явно выраженного раскаяния в «грехах молодости», демонстративного отречения от заблуждений прошлого. Причин такой сдержанности несколько. Прежде всего, автор — вообще человек сдержанный и распространяться о своих чувствах и убеждениях не любит. Сдержаннее и скупее всего рассказано о самом тяжёлом — о гибели детей: моего старшего брата — на войне и младшей сестры — от несчастного случая в 1961 г. Кроме того, книга эта создавалась как свободный рассказ мне, дочери, которой многое понятно без слов. Переписывая и редактируя магнитофонную запись, я не хотела разрушать впечатления от непринуждённого рассказа и предпочла понадеяться на то, что недоговоренное будет понято и читателем. А то, что читатель — с другим жизненным опытом — не поймёт, пусть примет на веру, заметив с самого начала, что автор воспоминаний предельно правдив.

Но главное — о своём разрыве с местечком, об участии в Гражданской войне, о службе в советской разведке, мать

вспоминает как о чём-то, что случилось так же закономерно, как последующее отрезвление и отправка в лагеря. И раскаиваться в этом противоестественно и бесплодно. То, что для неё, как и для тысяч её современников, существовал другой выбор — пути, по которому пошли кибуцницы Тамара и Това — было осознано слишком поздно. Но мне кажется, что для понимания того, как люди становятся революционерами, полезно рассмотреть этот феномен изнутри, сохраняя — не к самому феномену, а к его носителям — лояльность детей по отношению к родителям.

Нас в Израиле трое — моя мать, я и мой сын. Не для красного словца, а поражаясь остроте сюжетов, которые создаёт сама жизнь, упоминаю, что мой сын — солдат израильской армии. Представителей трёх поколений нашей семьи связывает духовное, а не кровное лишь родство. В революцию мы не верим. Мы терпимы и либеральны. Но тем, чем был когда-то для моих родителей уход в революцию, тем впоследствии для меня была готовность разделить их арестантскую судьбу. Эти же «революционные гены» привели моего подростка-сына к решению уехать в Израиль. Поэтому в нашей семье — на обозримом мною отрезке её истории — не существовало проблемы «отцов и детей». Когда следователь на допросе сказал мне, что моя мать «ненавидела советскую власть», я убеждённо ответила: «Значит, так и надо советской власти». Мой сын не хотел жить в Советском Союзе в значительной степени потому, что в той стране держали в тюрьмах его деда, бабку, мать, угрожали арестом его отцу. Возможно, что лояльность по отношению к близким заменила нам почти атрофированное национальное чувство.

Как многие нынешние олим, выходцы из России, мы плохо знаем свою родословную. «Будденброков» или «Саги о Форсайтах» по нашим воспоминаниям не создашь. Только теперь, оказавшись на древней земле наших предков, ощутив немалым усилием воображения эту землю своей, мы вдруг поняли, что мы — часть единого народа. Желание рассказать историю нашей семьи возникло у нас из понимания того, что при всём своеобразии отдельных моментов, эта история — от еврейского местечка, через обольщения и увлечения века, через заезды на чужие континенты и остановки в Архипелаге ГУЛАГ, с его особыми, располагающими к размышлению, условиями, через причастность к диссидентскому и сионистскому движениям в Москве и до нашего приземления в Лоде — эта история довольно характерна для определённого круга нынешних граждан Израиля.

М.Улановская

Иерусалим, 1980

Вместо пролога

Александр Петрович Улановский[2] был всю жизнь безразличен и к национальному вопросу, и к своему происхождению. Поэтому так мало известно об остановке, которая окружала его в детстве, хотя и мать его, и он сам и шестеро его сестёр и братьев дожили до глубокой старости.

Он ушёл из дома в ранней юности, десятки лет не встречался с родными. Его близкие — когда-то рядовые труженики Российской империи, а позже — рядовые советские люди — были, как и он, лишены ощущения связи с еврейством, с «корнями». Можно сказать, что среда, из которой он вышел, была вполне денационализированной.

При рождении ему дали имя Израиль. Но для своих близких он был Алёшей. Так и будем его называть в этом небольшом рассказе о его детстве, юности и молодых годах.

Родился он в 1891 г. в Кишинёве[3], в семье бедняка-портного, который мечтал передать старшему сыну своё ремесло. Некоторые портновские навыки остались у Алёши на всю жизнь — иглу и утюг он держал с профессиональной хваткой.

Мать, красивая женщина с твёрдым характером, верховодила в семье. Портной был человеком исключительно честным и трудолюбивым, но мало интересовался практической стороной жизни. Он любил книги. Пока он работал, его двенадцатилетний сын читал ему вслух приключенческие романы, пропуская, по обоюдному согласию, описания природы и любовные сцены.

Несмотря на бедность, жили весело и часто пели песни: еврейские, русские и украинские. Через поколение потомки портного сохранят эти песни как единственное его наследство.

Из Кишинёва семья переехала в Одессу. Поселились на Молдаванке, в доме, полном воров, проституток, всякой шантрапы. Когда дети шумели, мать их унимала: «Тише, дети, тётя спит, у неё был тяжёлый гость».

После смерти отца семья переселилась в Керчь. Здесь у матери была мелочная лавка. Портным стал следующий по возрасту сын, а старший, Алёша, в четырнадцать лет пошёл в жестянщики.

В школе он проучился всего два года, никакого уважения к систематическому образованию из неё не вынес, но всю жизнь был неутомимым самоучкой и приобрёл большие знания в разных областях.

1905-й год он встретил сознательным человеком. Увлёкся книгами Кропоткина и примкнул к анархистам. Анархисты в

Кишинёве организовали типографию, распространяли литературу. Типография провалилась. Году в 1910 Алёшу с группой товарищей арестовали, держали в предварительном заключении[4], потом судили и сослали на 4 года в Туруханский край[5]. Тюрьма и ссылка заменили ему школу и университет.

В Туруханский край ссылали самых опасных революционеров — анархистов и эсеров. Было там и несколько крупных большевиков, среди них Свердлов и Сталин. Молодой пролетарий пользовался всеобщей любовью ссыльных. Любили его всегда — смолоду и до смерти. На него обратил внимание Свердлов и приблизил к себе. Свердлов и его жена, Клавдия Новгородцева, были открытые, весёлые люди, в ссылке, вместе с женой и дочерью местного попа, они организовали самодеятельность. Алёше легко было в этой семье.

В ссылке можно было получать все выходящие в России книги: даже консервативное издательство не отказывалось прислать политическому литературу по его просьбе. Алёша учился и алгебре, и геометрии, читал, конечно, и политическую литературу, например, Прудона, но «Капитал» Маркса одолеть не мог. Рассказывал, что прочёл его много лет спустя в Дании, в тюрьме, на датском языке. Он был даровитым человеком, мог преуспеть в разных областях, если бы не занялся революцией. Но в революцию он не мог не пойти — дух её носился в воздухе.

Один-два раза, попав случайно на совещание большевиков, он видел Сталина. В отличие от Свердлова, который заботился о людях и которого все любили, Сталин был замкнутым и угрюмым. Например, придя на совещание, ни с кем не поздоровался. К большевикам, как и вообще к социал-демократам, Алёша относился с пренебрежением: спорят по пустякам! Ему было скучно вдаваться в их дела — кто меньшевик, кто отзовист — подумаешь, разница! И если бы не был близок к семье Свердлова, он, вероятно, с ними и не соприкоснулся бы. А о Сталине говорил: «Я с ним был в одно время в Туруханском крае. Я был известен на всю ссылку, а он — кто такой?» Сталин в ссылке был не особенно популярен.

Туруханский край считался очень суровой ссылкой, поэтому там отпускали на содержание больше, чем в других местах. Так сытно Алёша не жил ни прежде, ни много лет позднее. Каждый ссыльный получал от казны 12 рублей в месяц. Для Алёши это было целым состоянием, он не знал, что с такими деньгами делать, тем более, что еда стоила баснословно дёшево — самая лучшая рыба продавалась пудами, стоила копейки. Там он впервые попробовал какао. Это какао так поразило Солженицына, когда он слушал рассказы Александра Петровича о ссылке, что он

дважды упомянул о нём в третьем томе «Архипелага ГУЛАГ» (Имка-Пресс, 1975, с.358, 366)[6]

Алёша следовал определённому, им самим для себя выработанному образу революционера, ни в чём не подчинялся начальству, бунтовал по любому поводу, и Свердлову часто приходилось за него заступаться. «Бузил» он с юмором, и все ссыльные повторяли его остроты: как он ответил приставу, что сказал стражнику. Начальство не выдержало и распорядилось перевести его в отдалённый, глухой станок — кажется, Толстый Нос. Два стражника схватили его на улице, не дав собраться, что было незаконно, посадили на подводу и повезли. Когда проезжали мимо дома Сталина, Алёша попросил разрешения зайти, чтобы взять что нужно для дальней дороги, как было принято у ссыльных. Сталина он не застал, а его сожительница пекла пироги и раскладывала их на листах из книги Канта. Алёша взял висевшую на гвозде шубу и стал искать какую-нибудь книгу. Кроме брошюр по национальному вопросу, увидел только популярный самоучитель английского языка и прихватил с собой.

Приехали в какой-то станок, там стражники решили накормить лошадей и отдохнуть. Легли спать, а Алёша отправился обратно — что ему каких-то 40 вёрст! Его догнали у самого того места, откуда везли, и взмолились: «Побойся Бога, дай нам хоть доехать раньше, приди после нас!» Эта игра ему нравилась, увлекала слава отпетого сорви-головы.

Бежать из ссылки он решил, главным образом, чтобы поддержать свою славу. Иначе — какого чёрта было ему бежать, никогда он так хорошо не жил: среди образованных людей, имея возможность вдоволь учиться и кормиться. Он бежал летом 1913 года, вместе с анархистом Израилем Клейнером, арестованным с ним по одному делу. Клейнер был человеком серьёзным, ссылку старался использовать для ученья. Но тоже был молодым, считал, что бежать надо. В дороге их стала заедать мошка, через несколько дней Клейнер заболел, и Алёша принёс его на спине обратно. (У Клейнера потом другая судьба пошла — попал на войну, получил орден за храбрость, тогда же вступил в партию, позже занимал крупную партийную должность. В 1938 г. был арестован и погиб). Алёше не сиделось на месте, и через несколько дней он снова ушёл в побег.

Он никогда не рассказывал о своей жизни ничего тягостного — как голодал, как подвергался опасностям. Поэтому и о побеге его известны только смешные, анекдотические эпизоды. А ведь это был единственный успешный побег из Туруханской ссылки — расстояния там огромные, и мошка заедает насмерть.

Кое-как добрался он до железной дороги. Ехал, конечно,

зайцем. Когда бежали из ссылки социал-демократы, им помогала партия, у них с собой были деньги, а Алёша мог рассчитывать только на себя и свою удачу. Его сняли с поезда и привели к начальнику станции. С собой у него была бумажка на имя крестьянина Ампёнова, одет был неказисто, и стал просить по-крестьянски приниженно: «Господин начальник, отпустите, я больше не буду!» Начальник никак его не отпускал, послал за жандармами. По-видимому, тогда шла компания против зайцев, от которых страдала железная дорога. Алёша понял, что просьбами ничего не добьёшься, и обратился к начальнику другим тоном: «А ведь вы, господин начальник, можете рассчитывать на вознаграждение за поимку политического ссыльного». «Вы — политический? Чем вы можете это доказать?» «Ничем». Тот забеспокоился: «В каких местах вы были?» Алёша назвал несколько мест. Кончилось тем, что начальник дал ему денег на дорогу и отпустил, страшно волнуясь, что он не успеет скрыться до прибытия жандармов. Солженицын в «Архипелаге» привёл другой эпизод из рассказов Александра Петровича — о том, как в киевской библиотеке его встретили студенты (там же, с.104). Но тому, что помогали студенты, нечего удивляться, а тут — дело было в Сибири (А.П., рассказывая, упоминал и название станции), и помог ему царский чиновник, что гораздо примечательней. Что говорить, бежать из ссылки было нелегко, и всё-таки ни один порядочный человек его бы не выдал, а помогали ему очень часто.

Однажды, когда он, как обычно, лежал в вагоне под лавкой, вошёл контролёр и полез искать зайцев под лавкой. Там сидели бабы, подняли страшный визг, контролёр плюнул и отступился. А однажды Алёша сидел в купе с интеллигентным господином, по виду толстовцем, и тот к нему обратился: «Вы, молодой человек, едете без билета?» «Конечно», — ответил Алёша, ожидая, что господин предложит ему помощь «Видите ли, по своим убеждениям я не могу лгать, и если меня спросят, вынужден буду сказать, что вы едете без билета». И помолчав, добавил: «Даже, если меня не спросят, я сам скажу». В молодости Алёша был невысокого мнения об интеллигентах и любил вспоминать этот эпизод.

Оказавшись в европейской части России, Алёша побывал в Москве, Киеве, Одессе, повидался с товарищами-анархистами и через Архангельск, нанявшись кочегаром на английский пароход, ушёл, именно ушёл за границу. Тогда это было так просто. Человек действительно был свободен, мог весь мир объездить, и никто ничего не спрашивал, ничего!

Представление об английском языке он получил впервые по

самоучителю, взятому у Сталина. На пароходе вскоре свободно заговорил с кочегарами, цветными из английских колоний, язык которых был примитивен, стал читать английские книжки. Языки ему давались легко: прожив за границей два года, научился говорить по-английски, по-немецки и по-французски.

Работа кочегара была тяжёлой и грязной[7]. Зато никаких формальностей при приёме на работу не требовалось. В портах часто кто-нибудь сбегал или заболевал, кочегары всегда требовались. Он поплавал, сколько ему хотелось — довольно долго, потому что успел побывать, между прочим, и в Испании. В Лондоне ушёл с парохода, пробыл там несколько дней, ночуя в христианской миссии, где давали по кружке кофе, — за это надо было постоять на молитве, но никакими материальными неудобствами он озабочен не был. Сразу же связался там с анархо-синдикалистами, встретился, среди прочих, с Рудольфом Рокером — немцем, издававшим газету на еврейском и русском языках, с которым он потом, через несколько лет, встречался в Берлине. Потом из интереса поехал, куда все — в Париж.

В Париже была большая эмиграция. Он включился в эмигрантскую жизнь, но от других эмигрантов резко отличался: он был революционером по натуре, по идее, но чисто партийные дела и группировки его не занимали. Познакомился он и с большевиками, что впоследствии сыграло в его жизни огромную роль. Старый большевик Полонский потом, когда все вернулись из лагерей, вспоминал, как романтично выглядел Алёша в Париже.

В Париже он встретился также с будущими членами Одесской иностранной коллегии, которые в подполье, при белых, занимались агитацией во французских войсках, печатали листовки и почти все погибли.

Он не хотел жить, как другие эмигранты — как Калинин, который прожил в Париже несколько лет, не усвоив по-французски ни слова, не видя ни одного француза. Из чистого любопытства пошёл работать на завод Рено, даже успел организовать там забастовку. Но потом заскучал, захотелось посмотреть мир, и он отправился пешком в Германию.

Была в разгаре европейская война, но о путешествии из Франции в Германию он рассказывал одни анекдоты. Денег у него с собой было ровно столько, сколько требовалось, чтобы не арестовали за бродяжничество. Питался фруктами с деревьев, которые росли на дороге, никто их не сторожил. Однажды залез в сад, вдруг видит — хозяин. Испугался, а тот ему говорит: «Вон те яблоки получше». В Германии заходил в любой крестьянский дом, нанимался на день-два поработать, а если работы не было, его

кормили даром, и он шёл дальше. В Руре поступил на шахту, поработал месяц, повредил руку, но не сильно. Всё же он не избежал ареста: в нём заподозрили русского шпиона. Но когда он попросил: «Подержите меня, пожалуйста, в тюрьме до тепла», его из тюрьмы прогнали.

Наконец, он решил вернуться в Россию. То ли неприятно во время войны быть русским в Германии, то ли просто не сиделось на месте. С невероятными приключениями перебрался через несколько границ и оказался в России. Отправился в Кишинёв повидаться с родными. Там встретил двух своих давних приятельниц-анархисток, сестёр Волоховых.

Через несколько дней Алёша провожал одну из сестёр вечером домой, и его задержали. В городе орудовали бандиты, и полиция была начеку. Привели в участок, а настоящих документов у него не оказалось. Его заподозрили в том, что он — один из грабителей, и ему угрожало уголовное дело. Он предпочёл назвать своё настоящее имя и отправился вторично по этапу в Туруханский край, к своему старому врагу приставу[8], которому он из Парижа отправил издевательскую открытку с просьбой причитающееся ему пособие пересылать по такому-то адресу. Свердлов пользовался у начальства влиянием, он хлопотал за Алёшу и добился того, чтобы наказание за побег было минимальным: отсидеть двое суток в участке. Между Свердловым и приставом, который был зол на Алёшу за насмешки, состоялся примечательный разговор. «Что вы так стараетесь, господин пристав, всё равно не станете губернатором», — сказал Свердлов. «Да и вы, господин Свердлов, не станете президентом Российской республики», — возразил пристав. И не угадал.

После Февральской революции Алёша освободился из ссылки одним из последних — его заслали в самый отдалённый станок, потому что он продолжал бунтовать. Враг его пристав очень боялся, что после революции Алёша с ним расправится. Революционер ведь должен мстить своим врагам! Но ему чужда была мстительность, как и жестокость. Бывало позднее, что по своему положению он имел над людьми большую власть. Но он не способен был — не из джентльменства, а органически — причинить человеку зло, даже если это требовалось для дела.

После революции он приехал в Керчь, где жила его семья. К этому времени имидж у него был индустриальный, морской и пролетарский. В те времена происходили по каждому поводу митинги, был большой спрос на ораторов. И вот — выступает знаменитый революционер, только что вернулся из Сибири. А говорил он прекрасно. Красивый голос, хорошая наружность. И

такая биография! Тогда была полная демократия, и Алёшу выбрали председателем «Совета семи», заправлявшим всем Черноморским флотом.

После Октября его послали делегатом от Черноморского флота в Петроград на Первый съезд моряков. Алёша, конечно, зашёл во ВЦИК к Свердлову, и тот бросил все дела, сидел с ним и трепался довольно долго, предложил пойти на заседание Совнаркома, где будет решаться вопрос о Брестском мире. Но в это время другая компания собиралась петь песни и выпивать, и Алёша пошёл туда. Между прочим, он сказал Свердлову, что с того времени, как бежал из ссылки, числится русским. И Свердлов посоветовал: «Ничего не меняй, достаточно и без тебя евреев в революции».

Правда, в этот же период он на несколько месяцев снова превратился в еврея, когда работал в Екатеринославе на заводе. Алёша решил: революционеров-евреев много, а рабочих — мало, пусть будет одним больше.

Когда подступили немцы, пришлось уходить из Керчи. Алёша бежал из Крыма на лодке, ему удалось перебраться в Одессу. В одесском подполье он был членом ревкома от анархистов. Там же встретил свою будущую жену Надежду. Когда город заняли красные, ушёл на бронепоезд, а когда снова подступили белые, вернулся в Крым, где развернулась настоящая партизанская война.

Большевики создали Крымскую повстанческую армию, получали из Москвы деньги и инструкторов и прочно взяли власть в движении. Анархисты, естественно, работали с большевиками — выбора у них не было. Нелегальные группы действовали по всем городам Крыма и, кроме того, была армия в лесу. Беспартийный анархист Алёша (ещё у него были клички: Алёша Буланов, Алёша Чёрный) был начальником сапёрно-подрывных отрядов и к этому времени завоевал в Крыму популярность, чего большевики не могли терпеть. У него начались нелады с партийным руководством, представителем которого в армии был Бабахан. Однажды — дело было в лесу — он не подчинился какому-то приказу, и Бабахан приказал его арестовать. Алёша вынул маузер: «Хватайте», — говорит. Никто не тронулся с места. Для Бабахана получился страшный конфуз. Потом дело как-то рассосалось, но Бабахан этот эпизод запомнил и съел бы Алёшу с потрохами, но ничего у него не получилось. Он сам погиб в 37-м, а сын его сидел в лагере вместе с сыном Якира Петром.

С Бабаханом связана ужасная история. Он, Алёша и ещё несколько бойцов возвращались из города в лес и, приближаясь к

стоянке, увидели, что лежит раненый, а возле него сидит медсестра Маруся Кубанцева, и нет никаких постов. Бабахан говорит: «Вот черти! А если бы кто-нибудь сейчас напал? Давайте, мы их разыграем». Алёша ему: «Брось, это не шутки». «Почему? Пусть знают, как не выставлять постов!» И начал голосом, каким отдают команды: «Поручик такой-то, заходите слева…такой-то справа!» «Да что ты делаешь?!» А он продолжает. Те решили, что окружены белыми. Маруся бежала, раненый бежать не мог и застрелился.

Алёша считал Бабахана грязным, преступным типом, который и его самого чуть не угробил. Однако он ни разу не сделал попытки ему отомстить, более того — покрыл его во время расследования случая с раненым, подтвердив версию Бабахана, по которой тот в разговоре будто бы повысил голос, и раненому показалось, что их окружили белые. А дело было не так просто — Бабахан что-то имел против того парня и очевидно погубил его умышленно. Кстати, это был самый большой роман в жизни Маруси, из-за чего она потом так и осталась девушкой.

Перед разгромом Врангеля, когда Красная армия уже подходила к Перекопу и было ясно, что белые в Крыму обречены, группа офицеров во главе с капитаном Орловым вступила в переговоры с красными. Белые обещали устроить переворот, дать красным возможность войти в город без боя. Большевики согласились на переговоры и послали Алёшу в самое логово к белым. Так, считал Алёша, они всегда делали: посылали на опасные дела других, а себя берегли. Он вернулся от Орлова и доложил о своей встрече с ним. Заседали большевики во главе с Бабаханом и решили: сделать вид, что согласны на условия Орлова, а заняв город, с ним расправиться. Алёше дали директиву — продолжать переговоры. Но он, ко всеобщему удивлению, заявил: «Если мы принимаем условия, то должны их выполнить». Не помню, чем кончилось дело — то ли для переговоров послали другого, то ли изменилась ситуация на фронте. Но в 1926 году, выступая на многолюдном митинге в честь пятилетия освобождения Крыма, Бабахан остановился на эпизоде с Орловым и сказал: «И вот среди нас, в партизанской армии, нашлись такие, которые считали, что если мы обещаем белогвардейцу Орлову пощадить его и его офицеров, то должны своё обещание выполнить». Раздался громовой хохот: смеялись присутствовавшие на митинге комсомольцы. Алёша потом повторял: «Так воспитывается молодое поколение».

Его товарищ, анархист Сафьян, написал в 19-м году в харьковской анархистской газете «Набат» — после Гражданской войны ещё выходили анархистские газеты — об одном эпизоде,

хорошо известном в Крыму. В разгар борьбы с белыми Алёша, Сафьян и третий подпольщик — Лука Луговик, ходили по улицам Симферополя, вооружённые до зубов: на каждого по два револьвера, у пояса гранаты. Они всегда ходили вместе и были известны шпикам. Голова каждого была высоко оценена белыми, но к ним боялись подойти. И вот однажды Лука и Сафьян пошли вдвоём, а Алёша должен был где-то с ними встретиться. И на центральной улице города, против контрразведки, возле штаба, где всегда полно военных, их схватили, подойдя сзади, так что они не успели выхватить оружие. В этот момент Алёша вышел из боковой улицы и увидел их, схваченных и окружённых. Стоя на углу, он стал стрелять из автоматического пистолета; белые решили, что стреляют несколько человек, растерялись, выпустили задержанных, и те начали отстреливаться. Они очень хорошо знали все проходные дворы города, и Лука бросился в ближайший двор спасаться. Тогда Алёша в первый раз своими глазами увидел, как убил человека. Лука бежал по двору зигзагами, а стражник стоял у калитки и держал на мушке калитку напротив, через которую Лука неизбежно должен был проскочить. Алёша застрелил стражника, и они ушли все трое. Потом в газетах писали, что у стражника были дети, и Алёша говорил, что, может быть, Лука и не стоил того, чтобы из-за него убивать человека.

Всем крымским, которые знали эту улицу в Симферополе, совершенно ясно, что повезло Алёше случайно, что никакого шанса у него не было. И поступок его считали безумием. Его спрашивали: «На что ты рассчитывал, что при этом думал?» «Ни о чём не думал. Просто сработал рефлекс. Я увидел, как тащат их, беспомощных, а у меня оружие…» Вспоминая этот эпизод, Алёша говорил: «Подвиги совершаются потому, что человек не успевает подумать, имеет ли смысл действовать».

Сафьян был исключительно смелым и презирал смерть. Вернее, он считал себя неуязвимым. Алёша говорил, что пошёл бы с ним на любое дело, потому что Сафьян никогда не оставит товарища в беде. А был он маленьким, рыженьким евреем, кличка его была Рыжий. Он безумно любил свою красавицу жену Лизу, польскую еврейку, которая стала его женой только из-за его легендарного имени. Она влюбилась в Алёшу и нисколько этого не скрывала. Алёша сам был к тому времени женат, и у него были старомодные предрассудки в отношении жены товарища. Он знал, что она для Рыжего — самое святое в жизни. К знаменитой анархистке, за которой числились потрясающие дела, он относился с почтением. И всё же не устоял, и для Рыжего это был конец. Жену свою он винить не мог, для него она осталась

королевой, но с Алёшей они совершенно разошлись. Тем не менее, он рассказывал об эпизоде в Симферополе и написал о нём в газете.

Вскоре Сафьяна и ещё одного анархиста советское командование послало в Гуляй-Поле для переговоров с Махно, чтобы вызвать его на совместное выступление против Врангеля. Они пошли и исчезли, кто их убил — неизвестно, анархисты считали, что это сделали большевики.

Автор книги о крымском подполье Курган[9] рассказал о том, как Алёша с группой подпольщиков, переодетых в форму белых, явился в тюрьму с поддельной бумагой — якобы от белого командования — чтобы им выдали арестованных. В последний момент, когда тех уже вывели во двор и они смешались с пришедшими подпольщиками, что-то в мундире Алёши, изображавшего офицера, показалось начальнику тюрьмы подозрительным. Алёша оглушил начальника ударом рукоятки пистолета, и без единого выстрела они скрылись вместе с арестованными. Сам А.П. морщился, читая о том, каким брутальным воякой изобразил его Курган.

Но не только лихие подвиги вспоминаются при слове «Крым». После освобождения Крыма Алёша был свидетелем (не участником!) массовых расстрелов белых офицеров.

Раз он видел, как расстреливали группу офицеров, и один из них, уже немолодой, в чинах, когда пришла его очередь, попросил разрешения помолиться. Красноармейцы были настроены добродушно — уже стольких перестреляли, старый хрыч хочет помолиться, ладно! Стал на колени, начал бить поклоны и вдруг вскочил и побежал. Вероятно, далеко не ушёл, но попытался же!

На всю жизнь остались у Алёши воспоминания о зверствах, которым он был свидетель. И если он не согнулся под их тяжестью, то наверно потому, что и сам в любой момент мог погибнуть. Недаром так часто — с молодости и до последних дней — он пел старую песню:

> Мы сами копали могилу свою,
> Готова глубокая яма.
> Пред нею стоим мы на самом краю,
> Стреляйте вернее и прямо.

О том офицере Алёша рассказывал с восхищением. Говорил, что и он так же, до последнего момента, даже стоя у стенки, пытался бы спастись. Он и правда не раз спасался от смерти, благодаря своей ловкости и мгновенной реакции.

Спасало его и то, что он внушал людям полное доверие. Все

любили его чудесную улыбку. Такая улыбка бывает только у человека, абсолютно уверенного в своей правоте. Он и был уверен — до 37-го года. И предельно, абсолютно честен.

* * *

Конец гражданской войны совпал с концом его юности. Ему предстояло прожить почти до 80-ти лет — необычно долгую жизнь для человека его поколения, его судьбы. Он успел в жизни много сделать, о многом передумать, оказать влияние на многих людей.

События, о которых рассказано дальше, связаны с его личностью. Книга посвящена памяти этого незаурядного человека.

Рассказ матери

1. В местечке

Моё детство прошло на Украине, в Бершади, местечке Каменец-Подольской губернии.

На двух параллельных главных улицах жили состоятельные евреи: там находился двухэтажный дом моего деда, раввина Нухима Фридганта, два посудных магазина Мейдманов, обувной магазин, шляпная мастерская и галантерейный магазин моей тётки Рухеле Колкер. Там же был дом небогатого, но учёного меламеда по фамилии Богомольный, который давал частные уроки детям из обеспеченных семей.

Даже на главных улицах местечка не было мостовых, весной и осенью стояла непролазная грязь, и высокие галоши заливало через край. Не видно было ни деревьев, ни цветов. В праздник Лаг-ба-омер евреи отправлялись на пикник за город. Шли мимо Долины и Ерушалимки — районов бедноты, мимо лачуг с земляными полами, но с геранью на подоконниках и вышитыми занавесками, вдоль каменной ограды, за которой виднелось именье разорившихся графов Потоцких, им когда-то принадлежало местечко. На окраине стояло новое здание сельского училища и почта. В этом районе жили директор училища, начальник почты, акцизный, пристав, урядник. Говорили они по-русски, и русский язык с самого детства казался мне очень красивым, потому что на нём говорили эти элегантные и просвещённые господа. Дальше начинались поля, лес, украинские сёла, откуда в базарные дни приезжали на подводах в местечко мужики.

Я проводила много времени в просторном доме деда. Родители мои не сводили концы с концами, часто переезжали с квартиры на квартиру, у них всегда было тесно и голодно. Отец был мелким торговцем-неудачником. Он приехал в Бершадь из местечка Киевской губернии Монастырище, поменьше Бершади. В наследство от своего отца он получил мануфактурный магазин, но способностей к коммерции у него не оказалось, и дело пришлось ликвидировать. У него были умелые руки, но в нашей среде заниматься ремеслом считалось неприличным: мою мать, дочь раввина, не отдали бы замуж за ремесленника. Отцу приходилось браться за всякие ненадёжные торговые дела, быть комиссионером, разъезжать по разным городам. Он вздохнул свободно только после Февральской революции, когда мы переехали в Одессу, и прежние понятия о том, чем прилично заниматься еврею из хорошей семьи, потеряли значение. Он бросил «коммерцию», устроился на мельницу: принимал мешки с

мукой и был счастлив, хотя платили ему очень мало — пять рублей в неделю. На эти деньги жила семья из шести человек. А я могла всю жизнь писать в анкетах, что я — дочь служащего, а не торговца.

Самые светлые воспоминания детства связаны у меня с дедушкой-раввином. Когда я впоследствии слышала слово «джентльмен», оно у меня вызывало в сознании образ дедушки, с его сдержанными манерами, тихим голосом, внешним благообразием. Он аккуратно подстригал бороду, пейсы заворачивал за уши, вид у него был более светский, чем у религиозных евреев здесь, в Иерусалиме.

Бог, в существование которого я истово верила, представлялся мне похожим на деда, только более могущественным. Перед деловой поездкой отца в Киев, на которую семья возлагала большие надежды, я просила Бога: «Сделай так, чтобы поездка удалась, и я посвящу Тебе жизнь. А если не сделаешь, то буду знать, что ты несправедливый, неблагородный, не такой, как мой дедушка».

В своей детской религиозности я доходила до крайности, как потом во всех своих убеждениях. Терпимость пришла ко мне только со старостью. В детстве я ревностно следила за соблюдением обрядов и уличала даже дедушку в их нарушении. Например, по еврейскому закону курицу или утку с каким-нибудь дефектом нельзя употреблять в пищу. Я заметила, что каждый раз, как ребёнок или прислуга приносят дедушке «сомнительную» птицу, чтобы он дал о ней своё заключение, он выясняет, кто её прислал. На мой вопрос, зачем он расспрашивает об этом, дед ответил: «Если курицу принесли из богатого дома, я запрещу её есть, а если из бедного — скажу, что можно». «Но ведь, поев трефного мяса, бедняки попадут в ад!» «Нет, грех будет на мне. Да и Бог не такой уж суровый. Он понимает, что богатый еврей не очень пострадает, если выбросит курицу, а бедный пусть лучше съест и накормит детей». Я горячо молилась по ночам, чтобы Бог понял доброту деда и не покарал его.

Думаю, что деду я обязана первыми понятиями о справедливости. Запомнился мне такой случай. У дедушки с бабушкой была прислуга. Однажды она вернулась с базара очень довольная: мужик по ошибке дал ей сдачи на 20 копеек больше. Дедушка очень рассердился: «Если еврей обманул еврея — это его личный грех, а обманув гоя, ты бросаешь тень на весь народ. Это страшный грех».

У нас в семье была своя легенда. Один из наших предков тоже был раввином и даже считался святым человеком. Однажды его вызвали в суд свидетельствовать против еврея, который

обвинялся в воровстве. Но выступить против единоверца — значило вызвать озлобление русских против всей общины, а солгать, защищая вора, он тоже не мог. Он пришёл домой и умер. Не покончил с собой, а просто умер, вместе с женой и дочерью. Но перед смертью договорился с Богом, что его потомки никогда не будут страдать от крайней нужды, хотя и богатыми тоже не будут. И что никто до седьмого колена не умрёт насильственной смертью. Так и получилось. Твой брат, погибший на войне — из восьмого колена нашего рода.

Я страшно любила деда и проводила с ним почти всё время. Никто в доме — ни бабушка, ни тётки — не могли зайти в комнату, когда дед-раввин принимал посетителей и выносил решения по спорным вопросам, а я была маленькая, никто меня не стеснялся, и даже разводы происходили при мне. У деда был приятель холостяк, что было большой редкостью, очень пожилой и довольно светский человек, дед с ним разговаривал на всякие философские темы. И однажды я с удивлением услышала, как дед ему сказал: «Конечно, такого Бога с седой бородой, который восседает на небесах на троне — нет, но какая-то высшая сила — существует».

О том, что евреи терпят несправедливость и гонения, я узнала очень рано. Во время дела Бейлиса мне было 8 лет. Я собирала девочек, и мы разыгрывали сцену суда. Каждой подруге я отводила какую-нибудь роль, а себя, конечно, назначала защитником. Помню, мы играли на балконе у подруги, и старик из этого дома потом рассказывал деду: «Ты бы слышал, какую речь она произнесла по-русски! Как настоящий адвокат! Наверное, будет большим человеком!»

Несмотря на бедность, мои родители с помощью деда сделали всё, чтобы я училась. С пяти лет я ходила в частную школу Хаймовича, где учили читать и писать по-русски, четырём правилам арифметики и началам географии. Мальчиков, насколько я помню, в школе не было, они ходили в хедер. Принято было и девочек учить Библии. Дед пригласил для меня частного учителя. Проучилась я с ним два месяца, читала и говорила на иврите, но дальше Книги Бытия не продвинулась, и никогда больше Библию не открывала.

Закончив школу Хаймовича, я поступила в сельское училище, обучение в котором было рассчитано на 6 лет. После училища можно было поступать в четвёртый класс гимназии, куда в это время стали принимать евреев.

Школа считалась бесплатной, но от родителей четырёх еврейских учеников директор получал по возу дров, а деньги, которые полагались на отопление, клал себе в карман.

Я ходила в школу и по субботам, но не писала во время уроков. Учителя смотрели на это сквозь пальцы. В первый раз я постилась в Судный день в 11 лет, хотя по возрасту мне ещё не было положено. Но не есть целые сутки было так тяжело, казалось настоящим подвигом, и я постилась из солидарности с близкими, особенно, видя синие от голода губы матери, когда она возвращалась из синагоги.

В школе я отличалась по русскому языку, литературе и истории. Моя бабушка была образованной женщиной, знала русский и немецкий языки, но читала только религиозную литературу — другой в доме деда не было. Я брала книги в библиотеке, которую открыл в своём доме отец моей подруги, меламед Богомольный. Первый результат чтения — восхищение героями Джека Лондона. Желая быть такой же сильной и смелой, как они, я стала заниматься гимнастикой по системе Мюллера и чистить зубы. Я подружилась с русскими мальчиками — сыном начальника почты Володей Рахлицким и сыном трактирщика Славой. Мы ходили втроём зимой на речку, катались на коньках — на каждого приходилось по одному коньку. Другие еврейские девочки на коньках не катались, с русскими мальчиками не дружили.

Мама убивалась, что я такая некрасивая — долговязая, чёрная, с острыми локтями. В 12 лет я заболела скарлатиной, и меня остригли наголо. После болезни у меня выросли новые волосы, волнистые и блестящие, и в школе стали говорить, что я хорошенькая. Но меня мало заботила моя внешность. Зато мне льстило, что хотя я была моложе всех в классе, Володя и Слава с уважением слушали мои рассказы о героях Джека Лондона.

Я прочла в библиотеке все детские книги и начала читать Тургенева и Толстого вперемежку с Конан-Дойлем. Прочитав 16 томов Конан-Дойля, я сказала библиотекарю: это самый замечательный писатель после Тургенева и Толстого. Романы Тургенева «Накануне» и «Новь» меня сразили. Я поняла, что мне надо: учиться, попасть в университет, а оттуда — прямая дорога в Сибирь или на виселицу. Идея принести свою жизнь в жертву ради какого-нибудь большого дела чрезвычайно меня привлекала.

О волновавших меня вопросах я говорила не только с подругами и с мальчиками, но и со своим отцом. С ним я поделилась грандиозным открытием: всё зло в мире происходит от невежества. Люди не знают, как жить, потому что не умеют читать. «А как ты думаешь, — грустно возразил отец, — Пуришкевич — грамотный?» Мне тогда пришло в голову, что, пожалуй, взрослые понимают кое-что больше меня, хотя плохо говорят по-русски и не читают моих любимых книг.

Прежде я была сосредоточена на несправедливостях по отношению к евреям. В начале Первой мировой войны директор нашего училища Закревский произнёс в классе издевательскую речь, обвиняя евреев в том, что они не хотят воевать. Я встала и произнесла ответную речь. Я говорила о черте оседлости, о том, как мой отец поехал в Киев по делам и боялся, что его арестуют, о том, что евреев не принимают в университеты, что еврей не может стать офицером, каким бы храбрым он ни был. «Так для чего еврею стремиться на фронт? Для чего проливать свою кровь?» Ученики слушали внимательно, директор не прерывал меня, а когда я кончила, сказал, задыхаясь от злобы: «Была бы ты постарше, угодила бы в Сибирь. Забирай свои книжки и марш из школы». По дороге домой я переживала свою речь. Но, подойдя ближе, с ужасом осознала, что произошло: меня выгнали из школы. Я лишилась единственной возможности получить хоть какое-то образование. И об этом надо сообщить родителям! В доме было такое! Отец с матерью меня ни в чём не упрекали, но я знала, что для них то, что произошло — настоящее несчастье.

Несколько месяцев я не училась. Освободилось много времени: не надо было ни в школу ходить, ни уроки готовить, а непрочитанных книг в библиотеке оставалось ещё много! Родители не загружали меня домашней работой. Моей обязанностью было только качать ребёнка. Я лежала и читала, а люльку качала ногой. Перечитала, наверно, все книги, которые были в Бершади. Где-то раздобыла «Речи бунтовщика» Кропоткина, и к числу моих героев прибавились анархисты. В школу меня снова приняли благодаря тётке Рухеле, владелице галантерейного магазина. Вся местная знать — урядник, акцизный, директор школы — были её постоянными покупателями. Директору дали лишний воз дров, и дело было замято.

В годы моего детства, те, что я помню, в Бершади погромов не было. Но у взрослых сохранилась память о погроме, разразившемся в 1905 году, и всегда жил страх погрома. Бабушка и тётки рассказывали, как евреи прятались в погребах, и только дед наш не испугался. Он пошёл на почту, послал телеграмму о беспорядках, и в местечко прислали войска. С тех пор, как я стала читать книги, мысль о том, что евреи трусливо прячутся от погромов, не давала мне покоя. Я решила, что чем прятаться по погребам, лучше драться и погибнуть, как герои моих любимых книг.

Благодаря книгам, передо мной открылся огромный мир. Наше местечко показалось мне ничтожным, евреи — невеждами, вообразившими себя солью земли. Меня бесило, когда они

говорили: «А гоишер коп, а гоишер том» — гойская голова, гойский вкус. «Гоями» были герои Тургенева и Толстого, люди высокого ума и благородства, красивой жизни. Получалось, что они хуже моей тётки Марочки. Много позже я поняла, что презрение к «гоям» было вызвано потребностью в национальном самоутверждении и объяснялось униженным положением евреев.

Возмущала меня и царившая в местечке кастовость, то значение, которое придавалось «ихес» — благородству происхождения. «Ихес» определялся либо по учёности, либо по благосостоянию. Например, богатый тесть моего дяди породнился с нашей семьёй, потому что наш дед был раввином. Мы принадлежали не к самому высокому «ихес». Над нами был круг богатых евреев. Из протеста против кастовости я дружила с глупой и ничтожной девчонкой только из-за её «низкого» происхождения.

Всё в местечке меня раздражало и возмущало. Единственным положительным впечатлением, связанным с еврейством, была встреча с молодыми сионистами, квартирантами моей тётки. «Вот это — дело», — подумала я, познакомившись с ними. Но встреча с этими людьми была слишком мимолётной, и прошла бесследно.

Я хотела бороться за революцию, за народ. Но «народ» был для меня в значительной степени понятием абстрактным. Окружающие меня евреи — это не народ. Так, просто малосимпатичные люди, хотя я и любила некоторых из них. Но также и мужики, которые приезжали в местечко в базарные дни, напивались, ругались и били своих жён — были непохожи на тот народ, о котором я читала в книгах. Правда, что евреи в местечке были добрее украинских мужиков, не били своих жён и не матюкались. Но евреи — это был мир, от которого я отталкивалась. В местечке не происходило ничего красивого, ничего интересного. Люди жили только заботой о хлебе насущном. Я понимала, что этого хлеба насущного действительно не хватало, но я считала, что за лучшее будущее надо бороться, а они ни о какой борьбе не помышляли. Жалость к своим соплеменникам, сознание несправедливости, которая совершалась по отношению к ним — остались. Но, чтобы бороться за рабочих и крестьян, за абстрактный народ из книг, я неизбежно должна была порвать с окружающей меня средой.

Первым шагом в этом направлении был разрыв с религией. Я перестала верить в Бога внезапно, вскоре после смерти деда. У моей двоюродной сестры бывали в доме молодые люди «с идеями», студенты и гимназисты. В этом доме выписывали даже газету «Русское слово». Я спросила сестру, почему она не постится в Судный день. Она ответила: «Потому что Бога нет». И

сразу вся моя вера рухнула. Я поспешила сообщить бабушке, что нет Бога. Она была потрясена: «Ты ещё выкрестишься!» Но о крещении я никогда не помышляла. Я чувствовала, что это — настоящее предательство. Я просто не могла бы уйти от угнетённых, оставить их. К тому же люди ведь крестятся только для личной выгоды, а не ради революции!

К февралю 1917 года мне было 13 лет. Пришёл к нам еврей, у которого были какие-то торговые дела с моим отцом. Потолковали о делах, потом он между прочим спросил: «А вы знаете, что произошла революция? Царь отрёкся от престола». Отец, естественно, обратился ко мне: «Ты слышишь?» «Чепуха, — авторитетно заявила я, — так не бывает. Революция — это баррикады, стрельба». А в Бершади ведь по-прежнему ничего не происходило. Но через несколько дней в местечко пришли газеты, и я в первый раз усомнилась в своём превосходстве над окружающими.

У нас начались демонстрации. Шли все вместе — украинцы, русские, евреи. Я впервые увидела бело-голубой флаг и услышала «Ха-Тикву»[10].

Вскоре в поисках заработка семья переехала в Одессу. Я попала в совершенно новую среду, и через полгода всё, связанное с местечком, было надолго вычеркнуто из моей памяти.

2. В Одессе. Гражданская война

Одесса меня очаровала, я до сих пор считаю её одним из красивейших городов в мире. Мы приехали весной, всё цвело. Масса зелени, деревьев — потом, в Гражданскую войну, их вырубили на топливо. Всё бурлило. Оживлённые, многолюдные улицы. Митинги, на стенах — плакаты, воззвания разных партий. Казалось, что всё впереди, и у людей, и у меня.

Я уходила из дому и приходила, когда хотела. Родители так привыкли мною гордиться и считать, что я занята высшими интересами, что нисколько не ограничивали моей свободы. Революция ощущалась и в нашем доме. К тому же, у них было достаточно забот: надо было устраиваться на новом месте. Удалось снять на лето большую, хорошую квартиру в центре города, на Пушкинской площади. Чтобы окупить расходы на неё, родители пускали жильцов, евреев из Бершади и других местечек, приезжавших в Одессу — кто на лечение, кто устраивать детей учиться, кто в поисках работы. Мать готовила для всех постояльцев, ей приходилось очень тяжело, ведь кроме меня, старшей, было ещё трое детей. Я видела, как мать надрывается, и жалела её, но помогать ей мне было некогда.

Я хотела участвовать в новой жизни, ходила по улицам в праздничной толпе, читала расклеенные на стенах воззвания, искала — с кем бы обсудить то, что меня волновало, и однажды попала на собрание Союза ученической молодёжи. Очень хорошенький, невысокого роста гимназист по фамилии Равинский выступал с большой эрудицией. Окончив речь, обратился к собранию: «Кто хочет выступить по какому-нибудь вопросу?» Неожиданно для самой себя, я подняла руку: «Я выступлю». Я произнесла речь об интернационализме. Я доказывала, что капиталисты интернациональны. Где-то я вычитала, что капиталисты разных стран продолжали и во время войны торговать друг с другом, а рабочим забивали головы и вносили в их среду национальную рознь. Об этом я и говорила, доказывая, что бороться с мировым капиталом следует путём международной солидарности трудящихся. Речь, разумеется, имела успех, и Равинский предложил мне вступить в Союз ученической молодёжи. Я тут же с большой радостью согласилась, почувствовала, что причастна к чему-то значительному.

Равинский позже стал Юговым и Юговым же погиб в тридцать каком-то году как троцкист.

В Союзе ученической молодёжи у меня сразу же появились

друзья. Мне шёл только четырнадцатый год, но я была рослой, и меня принимали за шестнадцатилетнюю. Люди в Одессе не такие, как в Бершади, и жили они по-другому. В Бершади я, например, только издали могла видеть врача и его семью, а был ли в Бершади, скажем, присяжный поверенный — я даже не знала. Там я не могла бы дружить с детьми рабочих, да настоящих рабочих там и не было. А здесь мы все друг с другом запросто — сыновья и дочери присяжных поверенных, рабочих, врачей — и я.

В это время — не помню, до июля или после, в Одессу приезжал Керенский. Начиная с июля, в этом революционном празднике появились неприятные нотки, но Керенского принимали с огромным энтузиазмом, и я сама бегала его встречать. Так прошло лето. В Одессе выступали представители разных партий, большевики и меньшевики, я, конечно, была на стороне самых крайних, самых радикальных. Всё моё сочувствие было на стороне большевиков. После Октября Союз ученической молодёжи раскололся на левых и правых. Правые остались ученической молодёжью, а левые стали называться рабочей молодёжью. Я, конечно, пошла туда. Нас готовили к предстоящим боям, учили оказывать первую помощь. Кстати, до сих пор все поражаются, что при всей своей неловкости и безрукости, я очень хорошо делаю перевязки.

Всё прекрасное было связано с революцией. Это про таких, как я, говорилось: «Кто был никем, тот станет всем». Единственное, что меня сокрушало — что не удастся погибнуть за революцию, потому что она уже совершилась. И когда в Октябре оказалось, что за неё ещё надо бороться, я приободрилась. Из тех, кого я знала, в Октябре в Одессе погибли три брата Кангун. Я болталась по улицам, искала, чем заняться. Один раз мне удалось принести патроны с какого-то склада.

Вскоре после Октября в Одессе появилась организация под названием Моревинт — Молодой революционный интернационал. Руководили организацией партии, стоявшие на платформе советской власти — большевики, левые эсеры и анархисты. Ядро организации не превышало сорока человек. Принимая в Моревинт, спрашивали о партийной принадлежности, а если новичок был беспартийным, то — кому он сочувствует. Мне было трудно решить, кому я сочувствую. Сын присяжного поверенного Фатер гордо заявил, что он левый эсер. Позже я его встречала в Москве, тогда он носил фамилию Тардье. В 1934 или 1935 году в центральной печати появилась о нём ужасная статья. Ещё помню большевика, еврея с Молдаванки (большинство членов Моревинта были евреи). Партийная кличка его была Зорин. Помню большевика по кличке Макар, который

потом сделал большую карьеру — одно время был секретарём Московского комитета партии. Фатер-Тардье и Макар погибли ещё до 1937 года.

Когда пришла моя очередь ответить, к какой партии я принадлежу, я вспомнила книги Кропоткина. У меня было очень смутное представление об анархизме, но я решила, что если такой благородный и умный человек, как Кропоткин, к тому же учёный, был анархистом, то я не очень ошибусь, сказав, что сочувствую анархистам. Так меня и зачислили. Тогда же мне дали кличку, которая стала моим именем. До меня в организацию приняли двух девушек, Соню Ратнер и Дусю Зельдович, и дали им имена Вера и Любовь. Мне сказали: «У нас есть Вера и Любовь, не хватает Надежды». Моё имя Эстер (по-домашнему Эстерка) и даже его русский вариант Эсфирь, казались мне неблагозвучными. Ещё в местечке все старались называть себя русскими именами, в Одессе же еврейское имя было признаком страшной отсталости. Меня стали называть Надей. Ни «Любовь», ни «Вера» не привились к тем девушкам, потому что их настоящие имена, Соня и Дуся, тоже хорошо звучали. Через некоторое время даже мать стала звать меня Надей, но тогда для родителей я ещё оставалась Эстеркой, и у меня хватало собственного достоинства не протестовать против нелюбимого имени.

Какое-то время после Октября в Одессе была советская власть. Потом пришли белые. Началась Гражданская война. Подполье 1918–1919 годов было довольно серьёзным. Из взрослых, крупных большевиков в это время погибли Елена Соколовская и Николай Ласточкин, их именами потом назвали в Одессе улицы. Были аресты и казни также и в комсомоле, который действовал параллельно с Моревинтом и был чисто коммунистической организацией. В 1919 году погиб Яша Ройтман по кличке Безбожный, семнадцатилетний рабочий с мельницы, где работал мой отец. Повесили Яшу и его девушку. Тогда казнили тринадцать человек, я могла быть среди них, но уцелела. Мать Яши кричала моей матери: «Это она его погубили!» Я ведь ходила к ним в дом, завербовала его в Моревинт, а потом он ушёл в комсомол.

В это время в Одессе действовала организация под названием Иностранная коллегия. В неё входили бывшие русские эмигранты во Франции, большевики и анархисты. Среди них был и твой отец. Члены этой организации заводили знакомства с моряками оккупационных войск, раздавали листовки и их расклеивали. Нас тоже привлекли к расклеиванию листовок. Однажды я наклеивала листовку на здание электростанции, а мой спутник меня охранял. Вдруг чувствую на плече тяжёлую руку: «Вот кто это делает!» Я

обернулась и увидела рабочего средних лет. Мой товарищ стоит, как пригвождённый, с открытым ртом и с ужасом в глазах. Но всё кончилось благополучно. Рабочий только сделал нам внушение: «Знаете, чем такие дела кончаются? Хорошо, что я вас увидел, а не кто другой». Это был дежурный охранник с электростанции. Чем такие дела кончаются, мы знали. В те времена не судили, в тюрьму не бросали. Наказание было одно — смертная казнь.

Родители мои привыкли к моим отлучкам. Я числилась в седьмом классе бесплатной гимназии общества «Просвещение», но сверстники мои казались мне детьми, ведь революцией они не интересовались. В школе мне было скучно, да и некогда было туда ходить, а так как с Пересыпи, где мы тогда жили, было далеко до гимназии, то под этим предлогом я оставалась в городе. Жили мы, как птицы небесные, непонятно, чем питались. Иногда партии нам что-нибудь подбрасывали — хлеб, кислую капусту. А если появлялось ещё и постное масло, это уже бывал настоящий пир. Однажды мы экспроприировали колбасную фабрику и увезли колбасу к партизанам. Колбаса была слишком свежей и показалась мне пресноватой.

Мы, конечно, рвались на боевые дела. Раздавать и расклеивать листовки казалось нам делом мелким. Мы учились стрелять, очень любили оружие. Доставали его, где могли. Но что это было за оружие! Помню пистолет системы велодок, думаю, он не очень стрелял. Но позднее у нас появились браунинги и даже маузеры, австрийские гранаты «лимонки» и смит-вессоны.

Приближалась Красная армия. Мы ждали приказов об «акциях» на конспиративных квартирах. Однажды ночью нас всех мобилизовали и отправили на подводах к артиллерийскому складу. Охрана склада уже была разоружена, мы погрузили оружие и отвезли его в одесские каменоломни, в штаб партизан. Там провели ночь и утром ушли из Одессы, тоже стали партизанами.

В отряде было человек сто. Мы отправились в деревню, кажется, Гниляково, в сторону от города. Там мы должны были соединиться с другими партизанами и вместе наступать на Одессу. Оружия у нас была масса. Мы расположились в «сборне» — в каждой деревне на Украине есть такая большая изба, где происходят сходки. Устроили митинг, объявили советскую власть и завели советские порядки. В деревне мы провели всего три дня и, думаю, нас бы скоро перебили крестьяне, потому что мы устроили блокаду, не давая возить в город продукты. Не знаю, зачем нам нужна была эта блокада. Я всё принимала, как должное и не замечала, что среди крестьян началось брожение.

Мы выходили за деревню и тренировались в стрельбе. Меня

учил стрелять Митя Сидоров, честный, храбрый мальчик из еврейской рабочей семьи (Сидоров не настоящая его фамилия) и преданный друг. Знаменит он больше всего тем, что дожил до старости и ни разу не сидел. В 1956 году, когда мы вышли из лагеря, Митя нас разыскал. Он писал историю Моревинта и приходил к нам за советами и справками, настаивал, чтобы и мы писали. Но мы отмахивались — правду ведь всё равно не напечатают. Книга Мити, написанная очень лояльно, но честно, опубликована не была. «Слишком много евреев», — сказали в Политиздате.

На третий день, когда мы с Сидоровым с увлечением упражнялись в метании гранат, прибежал кто-то из наших с криком: «Идите скорее, приехали из города!» Идём к сборне, и я слышу, как кто-то выступает. Речь, конечно, как все тогдашние речи, но удивительно приятный голос. Подхожу и вижу: за столом оратор, который сразу показался мне очень интересным — красивое, смуглое лицо с чёрными усами, коротко стриженые чёрные волосы. Это был Алёша, твой отец. С ним ещё двое — Пётр Голубенко, будущий член Реввоенсовета и анархист Савва. Все трое — русские (Алёша так и сходил всю жизнь за русского). И все трое митингуют. Я впервые увидела взрослых анархистов. Пётр Голубенко и Савва погибли ещё до 1937 года.

Нас отругали за то, что мы подняли стрельбу в такой напряжённый момент. Оказывается, в городе решили, что наш отряд воюет и, чтобы возглавить движение, прислали представителей от ревкома. Петлюровцы находились в нескольких километрах, а красные — ещё довольно далеко, но так как кругом были партизаны, решено было идти на соединение с ними.

Из деревни мы шли пешком. Подводы предназначались для будущих раненых и для оружия и припасов. Соне и мне предложили сесть на подводу. Я, конечно, отказалась: я такой же солдат, как другие. И винтовку свою положить на подводу отказалась: что за солдат без винтовки? Идти было тяжело. Лил ужасный дождь. На мне были купленные на толкучке сапожки на каблуках. Только к концу дороги, когда мы прошли километров двенадцать, я согласилась дать Алёше понести мою винтовку.

Тут случился эпизод который кажется неправдоподобным, но для того времени он очень характерен. Тогда шёл флирт между красными и Петлюрой. Бывало, что петлюровцы присоединялись к красным частям. Когда мы пришли в деревню Дальники, нам сообщили, что, по слухам (как позже выяснилось, — ложным), петлюровцы расстреляли восьмерых подпольщиков, которых послали к ним из города для переговоров о совместном

наступлении на Одессу.

Известие об убийстве вызвало ужасное волнение: надо было пересмотреть отношение к петлюровцам. Среди посланных ребят были члены Моревинта, мои близкие друзья. Один из них был самым близким, он меня и в Моревинт привлёк. И считался чуть ли не моим женихом. Мы были совсем недалеко от занятой петлюровцами станции Дачная, очень близко от Одессы. А я вообще видела, что нечего мне делать в партизанском отряде. Мужики там одни. Сони уже там не было. И жаждая совершить подвиг, я решила: пойду туда, выясню, что случилось с ребятами, и если они действительно убиты — отомщу за них. А может, распропагандирую петлюровцев. Словом, совершу что-нибудь значительное. Я хотела взять с собой бомбы, чтобы в случае необходимости взорвать штаб, но Алёша убедил меня не брать никакого оружия. Он пытался вообще отговорить меня от этой затеи, но я и слушать не хотела.

Я добралась до станции Дачная и тут же на платформе встретила знакомого парня — он отправлялся к нам, в партизанский отряд. О судьбе наших ребят он не знал. Потом я зашла в помещение станции, где было полно солдат. Спросила, кто они такие. Оказалось — петлюровцы, организуют тут «радянскую власть». Тут же я стала им объяснять, что их обманывают, что на самом деле Петлюра — контрреволюционер, он против советской власти. Доказательство — убийство красных, которых послали из города для связи с ними. Я говорила громко и горячо, заявила, что я сама — большевичка, из партизанского отряда. «Вот увидите — меня сейчас схватят и расстреляют. Но я иду на это, чтобы доказать вам, что вас обманывают». Тут же начался митинг.

Как я и ожидала, ко мне протолкался какой-то чин: «Пожалуйста, барышня, за мной». Я успела крикнуть: «Вот видите!» Привели в комнату начальника станции. Немолодой военный встретил меня словами: «Чем это вы, барышня, занимаетесь?» Я ему выложила: «Вы убиваете красных. Заявляете, будто вы — за советскую власть, а сами убиваете!» Он покачал головой: «Небось, мама с папой думают: где дочка? Что с ней? Ну что с вами теперь делать?» Я была так возбуждена, что даже как-то весело выкрикнула: «То, что вы сделали со всеми нашими — расстрелять!» «Уведите её», — сказал он устало, и меня отвели в теплушку. Возле вагона — солдат с винтовкой. Я очень устала, нашарила в темноте какой-то ящик, села и задремала. Проснулась от страшного шума. Прислушалась — суета, беготня. Оказалось, пришли белые, и петлюровцы удирают. Все орут, и мой солдат орёт: «Что делать с арестованной?» Ему не отвечают.

Я выглянула из вагона, он растерянно посмотрел на меня, плюнул и убежал. Я осталась одна. Мимо меня бегут, скачут на лошадях, а я стою в вагоне. Вот, чем я всегда отличалась от Алёши, твоего отца: у него немедленная реакция. Сколько раз это свойство спасало и его самого, и других. А мне надо было подумать. Ведь я приготовилась умереть. Петлюровский начальник был совсем не страшный, говорил со мной по-отечески, но я не сомневалась, что меня расстреляют, потому что по-другому тогда не делалось.

Наконец, до меня дошло, что всё изменилось. Я отправилась на станцию. Увидела белых. И лицами, и манерами они резко отличались от неорганизованных петлюровцев. Надо было решить, куда податься. К партизанам в деревню — невозможно, они ушли дальше. Значит, надо ехать в Одессу. С приходом белых на станции появились какие-то служащие, а через несколько часов подошёл поезд на Одессу, и поздно вечером, после двухнедельного отсутствия, я вернулась домой. Поднимаясь по лестнице, я встретила моего отца. Он увидел меня и задрожал всем телом. В первый и единственный раз я увидела, как он плачет. Он попросил меня подождать на лестнице, пошёл предупредить мать. Послышался её крик. Я впервые так долго не была дома, а за это время в городе произошли казни. На Ярморочной площади, поблизости от нашего дома, повесили несколько человек, среди них были наши знакомые. Родители твердили: «Не уходи, мы столько пережили из-за тебя». Я была растрогана, обещала больше никуда не уходить. Но через неделю не выдержала, снова отправилась в город.

Кроме явочных квартир, мы встречались в двух рабочих клубах. Назывались они по имени революционеров: клуб Гроссера[11] на Молдаванке и клуб Ратнера[12] на Преображенской улице. Администрация нас ненавидела — из-за нас там бывали обыски. Но мы постоянно там околачивались и нисколько не беспокоились, что из-за нас могут закрыть последние рабочие клубы, как в конце концов и получилось. Все мои связи с подпольщиками были порваны, и я пошла в клуб. Там было темно, только буфет освещён. Я увидела: сидит большая компания и поёт песни. Когда я зашла в буфет и оказалась в полосе света, меня с большой радостью и удивлением окликнул Алёша. Оказывается, тот парень, которого я встретила на платформе станции Дачная, видел, как меня арестовали петлюровцы, и, добравшись до партизанского отряда, сказал, что я погибла. И тут, в клубе, Алёша на радостях взял меня в свою компанию, познакомил с друзьями, с которыми он вместе был в эмиграции во Франции. Иногда они в разговор вставляли французские слова, и я слушала с уважением: это были

настоящие революционеры с большим стажем.

Кстати, когда мы с Алёшей разговорились в деревне, оказалось, что это была не первая наша встреча. За месяц до того в клубе был обыск. Несколько человек отвели в участок, в том числе и меня. В камере я ликовала: наконец, сподобилась — я арестована! Во время обыска один из старших товарищей по фамилии Ушеров подошёл к группе моревинтовской молодёжи и говорит: «Здесь у одного из наших при себе шпаер. Если найдут, ему будет плохо — он старый революционер, несколько лет провёл в ссылке. Кто из вас возьмёт оружие?» Я, конечно, вызвалась. Ушеров подвёл меня к какому-то парню, лица я не разглядела, уже тогда была близорукой. Тот распахнул шинель и показал большой маузер. На мне, помню, было светлое ситцевое платье с зелёными крапинками и синяя шевиотовая кофточка. Я росла быстро, всё делалось на меня мало, и эта жакетка, как и все мои вещи, перешитые из маминых, была мне узка. А я думала: спрячу пистолет за пазуху — в начале Гражданской войны, если женщин и обыскивали, то очень поверхностно. Но парень взглянул на меня и сказал: «Куда же она его денет? Ступайте, барышня». Это был Алёша.

Об этом случае, а также о моей поездке к петлюровцам, он рассказал своим старым товарищам и прибавил, что мы все в Моревинте такие смелые и что с нами можно делать большие дела. Он решил сам вступить в Моревинт почётным членом и благодаря этому получил на старости лет персональную пенсию. Митя Сидоров, работая над историей Моревинта, нашёл в архивах охранки документы, подтверждающие революционную деятельность отца до 1917 года.

Мы, моревинтовская молодёжь, были лишь исполнителями. Наши действия направлялись сверху. Однажды мы получили приказ: в ответ на казни комсомольцев приступаем к красному террору. Надо было организоваться в пятёрки, выйти одновременно на Дерибасовскую и другие центральные улицы и стрелять в каждого встреченного белого офицера. На Молдаванке, на явочной квартире, мы с воодушевлением готовились к предстоящей акции: отомстить за товарищей и, если надо, погибнуть самим. Но в последний момент пришёл Алёша и как представитель ревкома заявил: отставить. Акцию почему-то отменили. Мы были возмущены, убиты. Решили пойти вдвоём с Соней — оружие у нас имелось. Но, слава Богу, мы не осмелились нарушить приказ, и судьба охранила меня от убийства.

В другой раз сообщили: надо убрать провокатора. Я решила, что приглашу его гулять в парк и там застрелю. Но и эта затея провалилась — этот человек куда-то уехал. В советское время он

стал ответственным партийным работником, и именно он оказался одним из немногих одесских подпольщиков, уцелевших в Гражданскую войну и позднее. Был ли он, действительно, провокатором — не знаю. Во всяком случае, я рада, что не убила его.

В Гражданскую войну в Одессе, кроме белых, находились иностранные войска. В восемнадцатом году это были немцы. Я ездила на конке от дома до центра. Была довольно хорошенькой, и со мной охотно заговаривали. С помощью еврейского языка я разъясняла немцам кое-что про революцию. В городе были также греки, позже — польские легионеры. Довольно серьёзная пропаганда велась среди французских войск, произошло восстание, которое возглавил Андре Марти. Из Иностранной коллегии, которая занималась пропагандой среди французов, 11 человек погибли, их расстреляли белые. Я потом встречалась в Москве с их жёнами.

По поручению Алёши, для которого это было бы слишком мелким делом, я раздавала французам листовки. Естественно, что ему даже в голову не приходило, что ко мне кто-нибудь из солдат может пристать. Никто и не приставал. И у меня был очень серьёзный вид, и французы были преисполнены серьёзности — для них листовки тоже были делом опасным.

Подходили красные. Уже на Молдаванку — рабочий и воровской район — полиция не показывалась. Белые и французы начали эвакуироваться. Наша работа продолжалась. Было такое правило: давать листовки только солдатам, к офицерам не приближаться. Я дала листовку, как мне показалось, солдату, но вместо обычного: «Мерси, мадмуазель» и улыбки, он схватил меня за руку и засвистел. Набежали французы и белые, и он, приговаривая: «большевик!» — потащил меня в ближайший участок. Один из ребят, который поблизости тоже раздавал листовки, увидев, что я попала в беду, поспешил на помощь. И его тоже забрали. Стали обыскивать. Я потребовала, чтобы обыскивала женщина, но женщин не оказалось. Мне заявили, что раз я занимаюсь такими делами, то со мной обращаются, как с солдатом. Мне было очень страшно, была я невероятно стыдлива. Я начала расстёгивать блузку, но дальше не потребовали.

Оказалось, что я дала листовку младшему офицеру. Нас отвезли в крытом фургоне на Третью станцию, дачное место под Одессой. Великолепный дом, по-видимому, штаб армии, стоял в роскошном парке. Отделили друг от друга, и начался военно-полевой суд. Переводчик, русский офицер, спросил: «Вы большевичка?» «Я работница». «Я спрашиваю о партийной принадлежности». «Я — работница, и этим всё сказано. Все

рабочие в России — большевики». Мне заявили, что за агитацию в войсках полагается смертная казнь. Вывели в другую комнату и оставили одну. Я сидела и думала: знает ли Алёша о том, что случилось? Наверное, знает — кругом было много наших. Сумеет ли он что-нибудь сделать? Главное, я надеялась, что он будет вспоминать обо мне, о том, как героически я погибла. Не успела я подумать ещё о чём-нибудь, как нас обоих вывели во двор, поставили за домом к стенке и выстроили против нас человек пять. Я посмотрела на моего товарища и запомнила на всю жизнь: он был рыжий, в веснушках, и так побледнел, что веснушки выступили на губах. Я говорю: «Всё равно погибать, так покажем им, как мы умираем!» Он жалко улыбнулся побелевшими губами. Солдаты стали что-то делать с винтовками. Я подумала о матери и отогнала мысль о ней, чтобы умереть достойно. Офицер, который меня арестовал, командует, солдаты возятся с винтовками, но ничего не происходит.

Вдруг моего товарища уводят. Я остаюсь вдвоём с офицером, он меня хватает и тащит в кусты. Я соображаю, что нечего мне делать в кустах, вырываюсь и бегу к калитке. По улице едут повозки с солдатами, ржут лошади. Повозки то останавливаются, то движутся дальше. Какой-то офицер увидел, как меня ударил француз, и возмутился: «Мсье, женщину — бить?» «Какая это женщина, это большевичка!» «Если так, то бей!» Всё это по-французски. Я кричу: «Вот так благородный офицер!» — и бегу к городу. Навстречу — белые целыми семьями, с жёнами и детьми, двигаются к порту, к пароходам. Самые главные удирают на машинах. Я прибежала в город; теперь надо было добраться до явочной квартиры на Молдаванке. В те дни никто не уходил ночевать домой, жили, как на военном положении. Неспокойно мне было за моего товарища: может, его расстреляли, а я сбежала? Добралась я к утру. На явочной квартире находились Алёша и наш моревинтовский вождь большевик Зорин. Я ужасно устала, да и не ела почти сутки. Меня накормили и стали расспрашивать. Оказывается, когда нас двоих взяли, наши обратились в ревком, а ревком потребовал от французов, чтобы нас отпустили, иначе грозили воспрепятствовать планомерной эвакуации войск.

На другой день Алёша объявил, что мы занимаем Бульварный участок. Этот участок находился в центре города, там ещё была власть белых. Наш отряд состоял человек из тридцати — от ревкома, от комсомола и от Моревинта. Каждая организация действовала сама по себе, но на общие задания, которые давались от ревкома, иногда отправлялись вместе. Подошли к участку. Алёша говорит: «Ваши драпают, а ты чего стоишь?» Часовой

кричит: «Я на посту! Стрелять буду!» Алёша отобрал у него винтовку, сказал: «Доложи начальству, что тебя разоружил Алёша». Мы открыли ворота и вошли во двор. Наши ребята арестовали полицейских и рассадили их по камерам. Алёша занял просторный кабинет начальника участка, а меня, естественно, назначил секретарём. Вместо полицейских поставили наших часовых. Оказалось, что на этот день в участке было назначено собрание всех полицейских агентов. Таким образом мы их сразу заполучили и рассадили по камерам. Кто-то из наших узнал шпика и стал его бить. Я чуть не в истерике закричала: «Не смейте! Врагов можно расстреливать, когда они приносят вред, но бить — не имеете права!»

Очень интересно было ходить по участку. Там хранились конфискованные вещи, драгоценности, золото, а также вино. Алёша объяснял, как надо себя вести, заявил, что за мародёрство будет расстреливать на месте. Всё-таки мы попробовали шампанское — я в первый раз в жизни, из железной кружки. Сказала, что ситро — вкуснее. На следующий день в участок зашёл посторонний человек — молодой, стройный, с нежным лицом. — Кто такой, почему впустили? Тот отвечает спокойно: «Я — Мишка Япончик». Уголовников, которые сидели в участке, мы не выпустили, а политических там не оказалось. Мишка Япончик пришёл, чтобы проведать своих и посмотреть на шпиков.

В подполье уголовники оказывали нам кое-какие услуги. Однажды мы хотели с их помощью освободить наших осуждённых к смерти товарищей по дороге из городского суда в тюрьму. Я дожидалась приговора в зале суда, чтобы дать сигнал, когда их поведут, но, опасаясь нападения, осуждённых не отправили в тюрьму. И тогда казнили 13 человек, в том числе и Яшу Безбожного, рабочего с мельницы, где служил мой отец.

Считалось, что в Одессе действуют 30 тысяч организованных уголовников, армия Мишки Япончика. Революция захватила их. В 1917 году, перед первомайской демонстрацией, они заявили, что не будут в это время воровать, и вели себя по-джентльменски. Мишка Япончик серьёзно уверял Алёшу за выпивкой: «У нас с тобой одна цель — бороться с капиталистами, только средства разные».

В участке мы пробыли три дня, пока Красная армия не вступила в город. С передовыми частями красных вошёл в Одессу атаман Григорьев, который потом повернул против советской власти и учинил на Украине страшные погромы.

Когда установилась советская власть, назначили начальника милиции, анархиста Ваню Шахворостова, товарища Алёши со времён ссылки. Он, в свою очередь, назначил начальников

участков. Наша роль закончилась, и, очень счастливые, мы разошлись по домам.

Советская власть развивалась, как всегда. Помню одну из «акций». Алёша входил в комиссию исполкома по изъятию излишков. Эта комиссия объявила «день мирного восстания». Ходили по домам, иногда заходили в брошенные квартиры, брали всё, что попадётся под руку, и свозили на склад. Я видела столько нищеты на Молдаванке и у себя дома, что не находила в этих действиях никакой несправедливости. Я принимала и записывала излишки. Буржуазию обложили контрибуцией, при этом каждый имел право оставить себе, например, по две пары ботинок. Подумаешь! У меня тогда ни одной целой пары не было. Я присутствовала при такой сцене: одна женщина жаловалась Алёше: «Нам оставили всего по две простыни на человека!» Он возразил: «Ну и что? Я без простынь всю жизнь спал». В это время и нам выдали кое-что со складов. Я получила совсем целое платье и очень довольная пришла в нём домой. Не знаю, как на других складах, а у нас Алёша себе не взял даже пары портянок, хотя ему и нужны были. Сказал: «Всё равно пойду на фронт, там дадут».

Как члену исполкома ему дали прекрасную комнату в бывшей гостинице для холостяков, которая называлась Домом отдельных комнат. В нише стоял умывальник — в жизни я не видывала такого великолепия. Чтобы сделать жильё ещё наряднее, я развесила на стенке открытки веером.

Мишка Япончик предложил советской власти свои услуги, взялся представить 30 тысяч человек и организовать из них полк. Для штаба своего полка он занял часть Дома отдельных комнат, по соседству с нами. Мы часто встречались с ним и его женой и подружились. Жена Мишки, выхоленная барыня, приезжала к нему всегда на извозчике. Пешком она вообще не ходила. Мне льстило это знакомство, а Мишке было лестно встречаться с Алёшей и быть, так сказать, среди порядочных. Полк его отправили на фронт, комиссаром назначили уважаемого, образованного человека, большевика Сашу Фельдмана, бывшего анархиста с дооктябрьским революционным стажем. Как видно с самого начала большевики решили от Мишки избавиться. Но мне трудно поверить, что Саша Фельдман участвовал в обмане. Рассказывают, что до фронта полк не доехал: где-то остановились, захотели пограбить, отказались воевать, и Саша Фельдман сам застрелил Мишку. А через несколько месяцев, уже при белых, в Одессе на бульваре уголовники в отместку убили Фельдмана. Позже бульвар назвали бульваром Фельдмана. Название это сохранялось до начала войны.

Белые наседали. Советская власть продержалась недолго, но

успела засесть у жителей в печёнках. Главное, исчезло всё продовольствие. Как только приходили белые — появлялись продукты. А вообще население страдало и от белых, и от красных.

Большим отрядом уходили из Одессы. Я провожала Алёшу на бронепоезд. Командиром бронепоезда был Анатолий Железняков. Появился он в Одессе ещё при белых. Тогда ещё сохранились кое-какие свободы: происходили диспуты, митинги. Из речей выступавших было ясно, что они — за советскую власть. Несколько раз с нападками на меньшевиков и эсеров выступал под фамилией Викторов А.Железняков. Говорил хорошо, очень культурным языком. Рассказывали, что он — известный анархист из Петрограда, очень смелый, отличившийся тем, что разогнал в январе 1918 года Учредительное собрание. В Одессе он находился нелегально, после выступлений поспешно скрывался. Я видела его на одном из митингов. Красивый парень невысокого роста, лет 25-ти, бывший фельдшер во флоте, он производил впечатление интеллигентного человека. Когда Железняков стал формировать бронепоезд, набирая команду исключительно из моряков, он взял к себе Алёшу, с которым был в приятельских отношениях и который ходил в моряках с тех пор, как был кочегаром на иностранных пароходах.

Жёны бойцов Красной армии получали пайки, и Алёша решил меня узаконить. Железняков выдал мне справку, что такая-то является женой бойца бронепоезда имени Худякова (назван в честь революционера и этнографа 60-х годов 19-го века).

На бронепоезд погрузились в Николаеве и оттуда вели бои с белыми. Отвоевав, возвращались на базу в Николаев. Я там устроилась на квартире по адресу Католическая улица 20. Приходила с утра на базу и ждала Алёшу. На базе в вагонах жила обслуга и производились ремонтные работы. Принимали меня очень хорошо благодаря популярности Алёши. Прекрасно там кормили, готовили замечательные борщи с мясом. Когда Алёша возвращался, мы шли ко мне на квартиру.

Я приехала в Николаев, когда Железнякова уже убили, а Алёша стал заместителем нового командира бронепоезда. Есть версия, что убили Железнякова большевики: к тому времени, как он попал на юг, после Октября, у них были с ним счёты как с анархистом, его объявили вне закона. Но Железняков умел воевать, значит, мог принести пользу. Заместителем ему дали большевика, после гибели Железнякова он стал командиром, но бойцы его не любили. Железняков ему сказал перед смертью: «Если хочешь, чтобы всё не развалилось, сделай Алёшу своим заместителем». Есть основания считать, что этот большевик его и застрелил, смертельно ранил в спину во время боя. А Железняков

умер, убеждённый, что в него попала вражеская пуля. Нечего и говорить, что популярная в советское время песня «Матрос-партизан Железняк» не имеет ничего общего с реальностью.

Алёша редко бывал на базе, потому что выезжал на все задания. Однажды один из бойцов бронепоезда показывал мне, как действует граната: перед тем, как её бросить, надо рвануть кольцо. Мы стояли рядом, а за столом в теплушке сидели другие бойцы, ели и разговаривали. Он показывает: «Видишь, берут в левую руку гранату, а правой, двумя пальцами…» — о ужас, — кольцо осталось у него в руке. А граната взрывается через две-три секунды, значит, она разорвётся между нами. Наступила страшная тишина. Он с ужасом на меня смотрит, а я думаю: сейчас взорвётся. Тут вскочил из-за стола боец Петров, схватил гранату, бросил в открытую настежь дверь, и она взорвалась налету. Петров обладал тем же качеством, что и Алёша — мгновенной реакцией.

Белые наступали, шли сильные бои возле Николаева. Было ясно, что белые возьмут город, и бойцы бронепоезда готовились влиться в отступающие части. Сам бронепоезд решили взорвать — на нём было много запасов — и отступить из города последними. Я должна была остаться в Николаеве, на квартире у одного бывшего моряка, но пока ещё жила на Католической. Бои шли совсем близко, на станции Водопой, километрах в шести от Николаева. После того, как взорвали бронепоезд, Алёша пришёл ко мне попрощаться. Заснул и опоздал на встречу со своими. Он ушёл в единственном направлении, куда ещё можно было уходить — на станцию Водопой. Я легла и заснула. Проснулась в пять часов вечера. Светло ещё. Дом стоял во дворе, за воротами. Я вышла во двор и услышала, что с женщинами у ворот любезничают белые. Один спросил: «Нет ли у вас красноармейцев?» И поскакал дальше. Я сообразила, что Алёша не успел далеко уйти. Сделать ничего нельзя было. Когда белые приходили, они начинали искать комиссаров, коммунистов. Хозяева квартиры боялись меня держать: только накануне ко мне приходил Алёша в форме. Я им пообещала, что уйду, и опять легла спать, спала некрепко. Оставила незапертыми окно и дверь. Я всё-таки его ждала. На рассвете услышала царапанье в окно. Ничего не спросила, тихонько открыла дверь и увидела его в одних подштанниках. Прежде, чем людей расстрелять, их раздевали до нижнего белья. Дрожащим от холода голосом он сказал: «Сейчас за мной придут, но я всё-таки решил с тобой повидаться». Он был очень голодный, а у меня — только сахар, который он принёс с бронепоезда. Я ему дала несколько кусков и вышла к воротам, запертым на ночь, легла на землю и слушаю.

Раздаются крики. Слышу счёт: 21, 22, 23, и «Мать… мать…» Опять считают. Вдруг двинулись подводы, едут дальше, дальше и постепенно затихают вдали. Вернулась в комнату, говорю ему: «Не придут за тобой, отправились дальше».

Оказывается, Алёша, уйдя из дома и отстав от своих, успел присоединиться к какой-то части, которая продолжала оказывать слабое сопротивление белым. Через несколько минут их окружили, командиров и коммунистов расстреляли тут же. Некоторые командиры успели сорвать знаки различия. Матросов как активных революционеров тоже расстреливали, но не сразу. На Алёше была тельняшка, поэтому он попал в число отобранных. Евреев белые тоже расстреливали, но он в евреях не числился. Простых красноармейцев отпустили, различая их по дешёвым сапогам. До вечера пленных держали там раздетыми, а потом повезли на подводах в штаб. Белые ещё не знали города, останавливались несколько раз, чтобы спросить дорогу. Пленные сидели под конвоем, на подводах стояли пулемёты. Алёша очень устал, потому что до этого он три дня готовился взорвать бронепоезд, и дремал почти всю дорогу. Вдруг проснулся и увидел, что подвода стоит как раз против моего дома. Наши ворота были заперты, но рядом с домом находился вход в полицейский участок. Участок был пуст, но Алёша знал, что оттуда, через выбитое окно, можно пробраться ко мне. Сработала характерная для него быстрая реакция. Он всегда боялся за меня, говорил: «Ты спокойно опускаешься на дно. А я до последнего момента, даже с поднятыми на меня дулами, буду пытаться спастись». Я возражала, что в последний момент захочу не суетиться зря, захочу сосредоточиться. «Как это — последний момент? Пока есть искра надежды — надо пытаться».

Он спрыгнул с телеги, пробежал немного и проскользнул в участок. Конвоиры не заметили, как он сбежал, но когда стали пересчитывать пленных, одного не досчитались. Они сами были усталые и сонные, поэтому и уехали. Было ясно, что обратно не вернутся.

Алёша говорит: «Я боюсь, что кто-то видел, как я лез по крыше». Довольно сложно было спуститься с одного флигеля на другой. Я говорю: «Спи, до утра мы всё равно ничего не можем сделать». Он же был раздет, и прежде всего следовало раздобыть одежду. Ещё раньше знакомая девушка, работавшая в милиции, достала ему какое-то удостоверение личности. Тогда многие запасались такими бумажками на всякий случай. С квартиры всё равно надо было уходить — на главной улице искали красных. Под утро стучится хозяйская дочь: «Я знаю, ваш муж здесь. У меня — больная мать и маленький брат. Вы должны сейчас же

уйти». Оказывается, кто-то из соседей его видел. Я ей говорю: «Достаньте брюки и рубашку, и мы тут же уйдём». «Где я их достану, у нас же нет мужчин». «Как хотите, иначе мы не можем уйти. И все погибнут — и ваш брат, и мать». Конечно, она постаралась и раздобыла рубашку-косоворотку и брюки. Сапоги у нас были, Алёша принёс с бронепоезда перед тем, как его уничтожить, чтобы я их продала, если нечего будет есть. Мы оделись и вышли. У меня не было ботинок, я пошла босиком. Идти можно было только в одном направлении, на Херсон, который был у белых. Опаснее всего было оставаться в только что занятом городе. В Херсоне у него были связи. Самое трудное — выбраться из Николаева. Опять пришлось идти на Водопой. Я решила проводить его хотя бы до этой станции, пройти вместе несколько самых опасных вёрст возле города. Мне казалось, что со мной ему безопаснее. И просто хотелось побыть вместе. Он взял под мышку большой арбуз, я повязала голову платочком. Мы рассчитывали, что нас примут за крестьян. Дальше Водопоя он мне идти не велел, помахал рукой и весело пошёл вперёд со своим арбузом. Я вернулась уже на другую квартиру, к одному из бойцов бронепоезда, старому моряку из-под Николаева, из слободы, где жили матросы из поколения в поколение.

Назавтра думаю: ведь его могли в любом месте схватить! Решила ехать в Херсон. Через три дня наладилось движение по железной дороге, и я отправилась. Железная дорога работала фактически только для военных. Я — в один вагон, в другой, говорю всем, что у меня муж мобилизованный, раненый. Наконец, меня пустили в теплушку, и я приехала в Херсон. Станция, все выходят. И вдруг мне в первый раз приходит в голову, что я абсолютно не знаю, где и как его искать. Он мне только сказал, что у него в Херсоне есть явка, там его снабдят документами и деньгами, чтобы он двигался дальше, в Крым, занятый войсками Врангеля, в подполье. Я — в ужасе: где его искать? И, может быть, он уже отправился дальше? Надо возвращаться в Николаев, но прежде всего я решила поесть. Иду на базар, не смотрю по сторонам и предаюсь мрачным мыслям. И вдруг — в нашей жизни случайности играли большую роль — навстречу мне Алёша! Он меня увидел первый, никак не мог сообразить, как я сюда попала, решил, что я ему привиделась. Представляешь себе мой восторг! «Ой, как хорошо, а я боялась, что не найду тебя!» «Да где ты рассчитывала меня найти?» «Но я не могла оставаться в Николаеве, не зная, что с тобой». Он, конечно, тоже обрадовался, но говорит: «Ты знаешь, мне некуда тебя взять. Я живу в офицерской семье и не могу привести туда еврейку. Ладно, давай пока что поедим». И тут же на базаре мы устроили пир. И он мне

рассказал, что когда мы расстались, он пошёл дальше, стараясь не попадаться на глаза военным. Идёт, и его догоняют дрожки. За извозчика сидит солдат, а на дрожках — сестра милосердия. Дрожки его обгоняют. Он подумал: едва ли сестра милосердия меня остановит. Но замечает, что дрожки замедляют ход. Отстал, и дрожки едут медленнее. Он слегка забеспокоился, всё-таки там сидит солдат. И вдруг видит, что сестра манит его пальцем. Он подошёл. Оказалось, что эта молодая женщина — его знакомая по парижской эмиграции. В него все там были влюблены, и она немножко. Теперь она служит в белой армии и едет в Херсон. Сестра его подвезла, и остаток дороги он ехал спокойно. Она, конечно, поняла, кто он, и рассказала, что в городе ловят и расстреливают красных. Сестра привезла его на безопасную квартиру, в семью белых офицеров, представила его как своего знакомого Агеева — под этой фамилией и с помощью новых знакомых он потом уехал в Крым. Одет он был прилично — купил одежду, чтобы предстать перед этой семьёй, как подобает. Рассказывал, как они хорошо к нему относятся, как он им врёт, сочиняет всякие истории, будто он из их круга.

Мы пришли на вокзал, он меня посадил на обратный поезд. Зная, что он в полной безопасности, я с лёгким сердцем вернулась в Николаев. Загадывать о будущем мы не умели.

В Николаеве я вскоре заскучала. Мне нужно было в Одессу: там мой дом, товарищи. Через несколько дней белые заняли Одессу, значит, можно спокойно туда ехать. Алёша мне обещал, что как только он доберётся до Крыма, он разовьёт деятельность, там будет подполье, и как-нибудь мы с ним соединимся. Но вышло иначе. Добралась я до Одессы — у меня же были родители в Одессе, и я не могла перенести, что они обо мне ничего не знают. Я успокоила родителей: еду, мол, к мужу в Крым. Ну, раз к мужу — что поделаешь. И через какое-то время отправилась в Крым. Сообщение было только пароходное. Стояла глубокая осень. Начался шторм. Я ехала на палубе и стала замерзать. Меня взяли в каюту, оттёрли, отогрели. Два дня мотало пароход в море, и он вернулся в Одессу. Так я и не побывала в Крыму, и в это последнее подполье нам с отцом встретиться не удалось.

Я заболела тифом. Болела долго. После болезни пришла к одной нашей знакомой, и она говорит: «Алёша погиб. Его расстреляли. Есть очевидцы». Она мне это решилась сказать только теперь, когда у меня появился «ухажёр». А все наши знают уже давно. Что ж — погибают! Я решила, что всё кончено. Время шло, несколько месяцев казались годами. В двадцатом году мне не было ещё и семнадцати лет. Алёша погиб, а тут появился Виктор. Во время первого подполья я его не знала, когда началась

революция, он учился в Москве и вернулся в Одессу в двадцатом году. Тоже был анархистом. Как только мы познакомились, он стал за мной ухаживать. Он знал, что у меня есть муж, много слышал о нём. Об Алёше ведь говорили как о большом герое. И услышав, что он погиб, очень сочувствовал. Потом я заболела тифом. Виктор меня навещал и сам заразился. Постепенно я всё больше к нему привязывалась. Раньше я ему говорила: «Если бы не Алёша…» Однажды он возразил: «Что же мне — пожелать ему смерти?» В общем, так уж случилось.

Пришли красные. Мы все околачивались без дела возле Федерации анархистов. По нашим понятиям, человек не работать должен, а революцией заниматься. Да, чем же мы жили, не работая? Дед Виктора был в своё время одним из одесских богачей, владельцем канатной фабрики и нескольких домов. У деда был дворник, у дворника — мальчик одного возраста с Виктором. Уйдя в подполье, он назвался именем сына дворника, Виктором Андреевичем Родионовым, и под этим именем прожил всю жизнь. Настоящее его имя Исидор Каменецкий. В первый же день революции дед, конечно, всё потерял, но семья осталась жить в собственной большой квартире, где была масса белья, дорогой посуды. Туда приходили друзья. Время от времени кто-нибудь продавал на рынке какую-нибудь вазу, покупал капусту. Тарелки не мыли, а складывали в отдельную комнату. Посуда там стояла по всему полу. В другую комнату складывали грязное бельё. Так и жили. Но однажды Виктор сказал: «Ты меня, может быть, будешь презирать, но надоело мне всё это. Я хочу жить по-человечески. Надо работать».

В начале 1921 года организовался Совнархоз, туда набирали людей. Виктора охотно приняли и послали в Первомайск, на мукомольное производство. Я, конечно, хотела заниматься революцией, но понимала, что надо подкормиться. После тифа мы оба были очень истощены. Поехала в Первомайск. В жизни я не видела столько еды! В начале Гражданской войны ведь где-то производили продукты, но не хватало транспорта, торговля была дезорганизована, и в таких маленьких городках, как Петрвомайск, скопилось масса продовольствия. Там оказались наши друзья из подполья, которые работали в ЧК, что нас нисколько не шокировало. Для нас ЧК была одним из необходимых органов. А чем реально эти органы занимались, нас не интересовало. Зажили мы весело и сытно.

Крым освободили, и связь с ним установилась. Я была уверена, что Алёша убит, и не ждала о нём никаких известий. Как-то мы сидели дома с Виктором и со знакомым чекистом по фамилии Орлов. ЧК была недалеко от нас, и Орлов заходил к нам

в свободное время. И вот открылась дверь, и чекист вышел посмотреть, кто пришёл. Вдруг слышим удивлённый возглас Орлова: «Алёша?» В комнату вошёл Алёша. Одет в великолепную полковничью шубу, выглядит воинственно и очень интересно. Стоит ли описывать моё состояние! «Мне же сказали, что ты убит!» Он рассмеялся: «Я ведь тебе говорил: не верь никаким слухам, пока я сам не приду и не скажу, что я убит». И действительно, много раз и до этого распространялись такие слухи. И даже был случай, когда ему самому рассказывали, как свирепствовали немцы в Керчи — убили знаменитого Улановского. Он в ответ заметил: «Ну, для покойника он ещё прилично выглядит».

Можно представить себе эту сцену! Я познакомила его с Виктором. Оказывается, он приехал за мной в Одессу при первой возможности. Сестра Виктора была старым другом отца, они вместе участвовали в первом и во втором подполье. Приехав, он пошёл к ней, а не к моим родителям. А она не одобряла нашу связь с Виктором, считала меня недостойной своего брата. И решила, что раз жив Алёша, я к нему вернусь. Посоветовала ему поехать к нам в Первомайск. Мы сидели, пили вино. Алёша с Виктором друг другу понравились. Алёша рассказывал о Крыме. Он привёз мне в подарок очень красивую штучку — маленький браунинг. В нашей среде было принято дарить дамам браунинги. У Виктора кончился обеденный перерыв, и он ушёл на работу. Алёша предложил мне погулять. Городок небольшой, скоро мы оказались в степи. Тут он заявил: «Я приехал за тобой». «Но я замужем, люблю Виктора». «Не сомневаюсь. Не стала бы ты с ним жить, если бы не любила. Но, может быть, ты меня немножко больше любишь?»

С Виктором мне было хорошо, спокойно. Мне казалось — ещё много в жизни предстоит, как хочу, так и буду жить, но в то время я была очень удовлетворена своей жизнью. Мы ходили часа четыре. Наконец, он выложил свой главный аргумент: к нему обратились насчёт работы «за кордоном». Я ему нужна, чтобы вместе бороться за мировую революцию. Долго-долго он меня уговаривал. И, наконец, уговорил.

Мы решили, что уедем назавтра. Я пойду ночевать к Орлову, а он — к другому товарищу. Я вернулась домой, чтобы поговорить с Виктором. Он меня ждал. И увидев, всё понял: «Ты что, уезжаешь с ним?» Я почувствовала облегчение, что он догадался: «Да». Виктор был потрясён: «Ты же говорила, что любишь меня!» «Мне надо уходить». Он стал просить, чтобы я осталась на ночь. Я не хотела настаивать по мелочам. Мы сидели всю ночь и говорили об одном и том же. Он вспоминал: «Ты

завтра едешь, я тебе мешаю спать», — и начинал опять. Вдруг попросил: «Оставь мне на память браунинг». Мне было ужасно жалко, но лишь бы он успокоился. Отдала ему браунинг — красивый такой и — заряженный. Рассвело. Мне надо было уходить. А Виктор ходит по комнате. Сидя на кровати, я сняла ботинки — тогда носили высокие ботинки на шнуровке. Стала их зашнуровывать, нагнулась, и вдруг слышу выстрел. Виктор качается, изо рта кровь течёт. Я вскочила, подняла крик, пытаюсь вырвать у него оружие. Прибежали люди. Орлов, которому Алёша сказал, что я приду к нему ночевать, утром отправился к нам, услышав крик, отобрал браунинг и передал его в ЧК. Виктор сказал: «Чёрт, даже этого не смог сделать, как следует». Прислали врача. Оказалось, что пуля отсырела и застряла в нёбе. Но рана страшная, кровь хлещет. Врачи на месте ничего не могли сделать, надо было отправить его в больницу, в Одессу, чтобы извлечь пулю. Он не хотел ехать вместе с нами. Алёша с Виктором долго разговаривал. На него этот поступок произвёл страшное впечатление. Чтобы стреляться из-за бабы! Он понял, что столкнулся с чем-то очень серьёзным, и чувствовал себя, конечно, ужасно. А я — возле Виктора всё время, и уже не хочу ничего. Такой ужас! Алёша попросил оставить его вдвоём с Виктором. Объясняет ему: для нас, революционеров, не так уж важно — та или другая женщина. Особой разницы ведь нет. Он хочет быть со мной, потому что я — подходящий человек для революции. И предложил Виктору поехать за границу вместе. «Если уж вам так важно — никто из нас не будет с ней спать. У нас будут другие дела». Виктор вроде согласился. Главное, он согласился поехать с нами в Одессу и лечь в больницу, иначе он мог погибнуть.

Я была уверена, что Алёша в Крыму вступил в партию. Почти все левые эсеры и анархисты, которые боролись за советскую власть, к этому времени решили, что активно влиять на ход событий можно только, находясь в партии большевиков. Но Алёша мне сказал: «Знаешь, я видел эту партию в действии и ещё подожду туда вступать». Он рассказал, что уже после победы большевики расстреляли в Крыму 30 тысяч белых, которые уже никому не могли причинить вреда. Никаких причин убивать, кроме кровожадности, не было. Убивали не только офицеров. В Симферополе расстреляли известного в городе врача за то, что он оказал помощь белому. Врач был в прошлом революционером, другом Дзержинского, венчался в Шлиссельбургской крепости, чтобы жена могла поехать вместе с ним на каторгу. В Сибири родилась у него дочь Грета, которую мы хорошо знали. И такого человека расстреляли большевики. Правда, у Греты осталась большая книга, в которой Дзержинский, Феликс Кон и прочие

деятели выражали сожаление о трагической ошибке. Книга вышла в 20-е годы и была посвящена разным светлым личностям. А Грета всю жизнь чувствовала себя виноватой перед партией за то, что её отца расстреляли — ей ведь приходилось писать об этом в анкетах. Она всегда стремилась подчеркнуть свою ортодоксальность, а на партию не обижалась.

Рассказав о том, что творилось в Крыму, Алёша прибавил: «И я подумал, что не готов делить с ними ответственность за зверства». Я возразила: «Конечно, расстрелять 30 тысяч — это ужасно, вообще ужасно — расстреливать. Но ведь это делалось во имя революции!»

3. Первая поездка за границу

Алёша считал, что ему в России делать нечего. Революция победила, установилась советская власть. Смотреть, как распоряжаются большевики, ему не хотелось, но не состоять членом партии — значило здесь, в России, вообще+ не участвовать в политической жизни. Некоторые анархисты уже тогда считали, что с советской властью надо бороться, но для Алёши этот путь казался немыслимым. Какой бы ни была советская власть, объективно она играет в мире революционизирующую роль. После Кронштадтского восстания он был арестован как анархист. Он сказал на митинге в Одессе, что, конечно, выступать против советской власти — преступление, но сам факт восстания матросов, передового отряда революции, говорит о том, что власть ведёт себя неправильно, и об этом надо подумать, а не искать вину в восставших. Я каким-то образом сумела проникнуть к начальнику ЧК. Алёша просидел всего несколько дней, но за это время в газетах появилось сообщение о том, что арестован инженер Улановский за спекуляцию бриллиантами. Мы решили, что это совпадение, но, возможно, что уже в то время ЧК не гнушалось клеветой.

Поехать за границу предложил отцу в Крыму большевик Затонский, старый эмигрант, который знал его ещё в Париже. Когда на Украине установилась советская власть, Затонский стал крупным партийным работником. Тогда возникла идея — послать за границу своих людей, чтобы посмотреть, что делается, и что можно сделать для распространения революции. Затонский вспомнил об отце, и тот охотно принял его предложение. Я сказала, что никуда не поеду, пока не выяснится, что с Виктором. Я видела, как он мучается, не может есть. Почему-то нельзя было делать операцию. Алёша продолжал переговоры с Затонским, а когда всё было готово, заявил: «Хватит!» Я поддалась и, ничего не сказав Виктору, уехала с Алёшей. И только вернувшись из первой поездки, узнала, что Виктор жив.

Тогда транспорт ещё не вышел из разрухи, но для нас все пути были открыты, доступны классные вагоны и лучшие гостиницы. Я съездила в Одессу, попрощалась с родителями. Приехали мы в Киев. Алёша улаживал дела, а я ждала: как он скажет, так и будет. Побывали мы в разных интересных местах, например, в Лавре, но самое большое впечатление произвела на меня панорама Голгофы. Её давно не существует. Мы взбирались вверх по лестнице, и когда я увидела небо, Голгофу, Христа и

делящих его одежду, у меня дух захватило. Затем поехали в Москву.

Москва показалась мне большой деревней, грязной, жалкой и голодной. Там мы посетили двух американских анархистов, выходцев из России — Александра Беркмана и Эмму Гольдман. Сразу после революции они приехали в страну победившего пролетариата, но к 21-му году уже были разочарованы и собирались назад в Америку. Алёша беседовал с ними, но я в разговоре не участвовала — была ведь совсем девчонкой. Я с любопытством разглядывала легендарных революционеров и удивлялась, что выглядят они обыкновенно. Эмме Гольдман было за 50, по моим понятиям — старуха. Алёшу анархисты встретили, как своего человека, дали ему для передачи на Запад кое-какие материалы против большевиков, а также фотографию Махно и рассказ о том, как с ним поступили: сначала использовали в борьбе против белых и петлюровцев, а потом предали. От них мы получили адрес их знакомого, рабочего-синдикалиста, у которого потом остановились в Берлине.

В то время Алёша не знал, что нашу поездку организовала ЧК, но понимал, что об этом визите и о поручении анархистов никто знать не должен. Но пришли мы к ним, не скрываясь, нам тогда не приходило в голову, что куда-то нельзя ходить. Поручение мы выполнили. Алёша был совсем не против того, чтобы рабочие на Западе узнали, что творится в России, считал, что это полезно, что можно на большевиков повлиять. А я через много лет, в Лефортовской тюрьме, вспомнила об этом случае и боялась, что он всплывёт на следствии, считая, что это наше единственное серьёзное преступление против властей.

Потом мы встретились с теми, кто должен был одновременно с нами, но каждый своим путём, выехать за границу. Это были Михаил Горб, большевик и чекист, и Василий Зеленин, бывший левый эсер. Фамилию Николая, тоже бывшего левого эсера и руководителя нашей группы, я забыла. Всех их расстреляли в 37-м году. Иначе сложилась судьба двух других членов группы — бывшего анархиста по прозвищу Дух и его жены Розы, прелестной маленькой женщины. Их родители до революции эмигрировали во Францию, поэтому они хорошо говорили по-французски. По окончании нашей «миссии» Дух с женой уехали во Францию и больше в Россию не возвращались. Впоследствии наши обращались к ним с разными поручениями. В одну из поездок в 30-е годы мы их навестили. Он работал шофёром, жили они скромно и скучно. Им казалось, что в Советском Союзе жизнь бьёт ключом. Очень хотели вернуться, но я им не советовала. Не знаю, что с ними стало при немцах.

Мы договорились с членами группы: добравшись до Берлина, встретиться там по объявлению в эмигрантской газете «Руль». Мы с Алёшей приехали в Петроград, остановились в гостинице «Астория». В Петрограде была коммуна. Ничего нельзя было достать, переполненные трамваи ходили редко, а в гостинице не было воды, но мне нравилось, что ни за что не надо было платить. Покатались бесплатно на лодках. Нам выдали паёк — хлеб и рыбий жир. Даже мне показалось невкусно. А ведь мы находились на особом положении, у других и того не было.

Из Петрограда поехали в Ямбург, город на эстонской границе. Возле Ямбурга — деревня Мертвецы, здесь когда-то остановились красные. Один берег советский, другой эстонский. Прожили там дня три, скучали ужасно: нечего было читать. Наконец, местные чекисты перевезли нас на другую сторону речки, где нас встретил проводник-эстонец. Одеты мы были, как нам казалось, по-европейски: оба в новых синих костюмах, которые нам выдали в Москве, но с собой — только по небольшому пакету с парой белья и полотенцем. «Куда вы собираетесь идти?» — спросил проводник. «В Нарву, в гостиницу». «А документы у вас есть? Ведь в гостинице потребуют документы». Документов у нас не было. Зато были бриллианты и масса денег — долларов и фунтов, которые мы потом, ко всеобщему удивлению, привезли назад. Проводник предложил: «Я могу дать вам справку, которая у меня с моей сожительницей сохранилась с советских времён». Оставил нас в безопасном месте и принёс грязноватый клочок бумаги с какой-то печатью. Читаем: Пётр Раю, житель деревни Мертвецы и Мария Андреевна Ройтятя. Эта справка нам очень пригодилась. Потом мы поняли, что нас пустили, не обеспечив документами, потому что нами не жалко было пожертвовать. Другие, позднее, приезжали за границу, лучше экипированными.

Эстонец отвёл нас подальше от пограничных патрулей и сказал: «До Нарвы — 35 километров. Идите прямо-прямо. Не советую приходить в гостиницу вечером. Лучше переночуйте в поле». Мы пошли и вскоре наткнулись на пограничную заставу. Хотя я была абсолютно бесстрашной, никогда не верила, что со мной может случиться что-нибудь плохое, но всё-таки отметила неприятное ощущение в животе. Тут Алёша меня обнял, стал что-то нашёптывать, будто мы влюблённая парочка. Видно, мы показались пограничникам глупыми и безобидными. Именно наша глупость, невинность, спасали нас. Мы настолько не чувствовали себя виноватыми, что и другие нас такими не чувствовали. И не остановили. Мы свалились где-то в поле, переночевали. Утром подходим к Нарве. Осталось несколько километров. Хочется есть и пить. Я начала похныкивать, за что

получила от Алёши нагоняй — подумаешь, прошла 35 километров, солдат называется.

В Нарве он потряс меня знанием заграничной жизни. Говорит: мужчину и женщину не пустят в гостиницу без вещей. Значит, прежде всего надо купить чемодан. Но магазины ещё закрыты. Наконец дождались открытия базара, купили хорошенькую, чистенькую белую корзину, сложили в неё наши свёртки. И ещё Алёша знал одну вещь — нужно идти в хорошую гостиницу, в дешёвых бывают облавы, ищут воров и проституток, а нам попадать в полицию совсем ни к чему. Нашли дорогую гостиницу. У входа — дородный швейцар в шитом мундире. Подходим, вдруг я вижу Алёшу со стороны — в новом синем костюме, а брюки коротковаты. Швейцар посмотрел на него, на корзину, на меня и заявляет, что все номера заняты. Алёша был несколько обескуражен. Идём дальше. Он говорит: «Надо поискать гостиницу подешевле. Боюсь, не такой у нас вид, чтобы соваться в дорогую». Наконец устроились.

Я падала с ног от усталости, не хотела идти обедать, Алёша ругался: «Что же будет дальше, если ты так расклеилась с самого начала, из-за таких пустяков?» Все деньги и материалы анархистов он зашил в специальный пояс, который надевался прямо на тело. На ночь снял пояс. Утром ушли из гостиницы, и вдруг он вспомнил, что забыл пояс в номере. Вернулся и нашёл его на месте. Везло нам невероятно! Могли бы остаться без копейки, а деньги ведь даны были не лично нам, а на мировую революцию.

Из Нарвы мы отправились в Ревель. Из Ревеля — помнил Алёша — идут пароходы в Германию. Приезжаем на последнюю станцию, выходим на платформу и видим надпись: Таллин. Бросились назад к поезду, но у него хватило соображения догадаться, что Ревель переименовали в Таллин. «Это, — говорит, — Ревель, и ничего другого». От бельевой корзины мы отделались ещё в Нарве и приобрели чемодан. С чемоданом у нас вид стал приличнее. Имея опыт, сразу направились в скромную гостиницу. Алёша решил: не надо спешить, мы должны знакомиться с западной жизнью. Пошли в ресторан.

Сама по себе Европа не произвела на меня никакого впечатления. Я знала по литературе, что пока в стране нет революции, в магазинах есть товары. Но ведь это всё — для богатых. И всё равно — скоро здесь тоже будет революция. Но обилие еды нас потрясло. До этого я не знала, что значит по-настоящему есть. А Алёша хорошо питался только в ссылке, на царские деньги. Утром в ресторане мы взяли по огромному куску жареного мяса с луком. В обед — от добра добра не ищут — взяли

то же блюдо. Три раза в день ели «цвибель-клопс». Как только наши желудки выдержали! Потом, конечно, пошли в кино. На другой день стали изучать русские и немецкие газеты. Алёша ведь — человек бывалый, он знал, что с жизнью буржуазного общества нужно знакомиться по газетам, ну и ходить повсюду, смотреть. Прежде всего мы поняли, что едим мы не так, как полагается. Конечно, мы садились в сторонке, чтобы не привлекать к себе внимания. Самое главное — чтобы нас приняли за обычных людей. Даже в дешёвой гостинице, перед горничной, важно было выглядеть, как все. Но выглядеть, как все, оказывается, трудно. Едва ли принято заказывать три раза в день по огромному куску мяса.

Нам надо было ехать в Берлин. Алёша думал, что в Европе — те же патриархальные порядки, что были до Первой мировой войны, и собирался просто прийти на вокзал и купить билет. Когда он в прошлом путешествовал, у него не было денег, и он считал, что, если берёшь билет первого или второго класса — пожалуйста, можешь ехать куда угодно. Но теперь для поездки за границу нужна была виза. А раз нужна виза, требуется объяснить цель поездки. Допустим, он едет искать работу. Но оказалось, что тем, кто ищет работу, не дают просто так визу. Наконец, мы узнали самое страшное: для того, чтобы просить визу, нужен паспорт. В общем, нам пришлось просидеть в Ревеле полтора месяца. Мы изучали объявления в газетах, искали всякие предложения для иностранцев. Прочли про санаторий в Шарлоттенбурге, где лечат от каких-то болезней. Допустим, я больна, он меня сопровождает на лечение. Но нужен паспорт. Что делать? Мы ничего не могли придумать и решили, что я отправлюсь назад в Россию тем же путём, он-то один сможет устроиться на пароход. Я была в отчаянии оттого, что приходится расставаться. К тому же — он теперь будет заниматься мировой революцией без меня! Но делать нечего — я не должна ему мешать. Села в поезд, идущий в Нарву, рассчитывая оттуда добраться до России.

Вид у меня, должно быть, был очень грустный. В купе со мной заговорил молодой человек, студент-эстонец. Помню, как я сижу против него и робко, боясь спугнуть, начинаю рассказывать о своих проблемах. Я рассталась с женихом. Мы хотели вместе ехать за границу, в Германию, но не смогли достать паспорт. И вот — невероятная удача! Студент сказал, что в Ревеле есть адвокаты, которые за деньги могут закрыть глаза на многие вещи. «Деньги у нас есть. Мой жених — моряк, хорошо зарабатывает». Мы с отцом знали, что в буржуазном обществе всё можно купить за деньги, но с чего начать действовать? Эстонец, хорошо

воспитанный молодой человек, не замечал моего волнения. Он дал мне адрес адвоката.

Я вышла на ближайшей станции и на следующий день первым поездом вернулась в Ревель. Только одного я боялась — что Алёша уже уехал дальше. Но я его застала в той же гостинице ещё спящим, разбудила и рассказала о своей удаче. Он терзался, что отпустил меня одну, и страшно обрадовался. Тут же мы отправились к адвокату по адресу, который дал студент. Алёша рассказал адвокату, что я его сестра. Он моряк, был за границей. Тем временем в нашу деревню пришли большевики, которые, известное дело, творят всякие зверства. Мой муж погиб в боях, а меня чуть ли не изнасиловали. С тех пор у меня тяжёлая депрессия. Он приехал домой, родителей в живых не застал, осталась одна сестра. За границей он хорошо заработал. Ему для сестры ничего не жалко. Он хочет меня отвезти в Шарлоттенбург, в санаторий. Главный упор — на то, что хорошо заработал. Нам нужен заграничный паспорт, а у нас, кроме справки — ничего. Адвокат посмотрел бумажку, которую нам дал проводник, выписал оттуда, что надо, и объявил: «Приходите через неделю в полицай-президиум. За это время выяснится, не разыскивает ли вас полиция. А налоги ваши уплачены?» «А я, собственно, не знаю. Я ведь недавно приехал». И оставил адвокату деньги: дескать, если не уплачены, пусть сам заплатит. Мы вышли от него, не веря своему счастью. Появилась у нас надежда, но одновременно и опасение — вдруг адвокат заявит в полицию? Мы старались получше использовать время — может, живём последнюю неделю — ходили на борьбу, в кино на фильм «Эльмо могучий», ели, пили.

Мы шли в полицай-президиум в назначенное время, и нам было немного не по себе. Уже в гостиницу заходил шпик, выяснял, кто мы такие. Всё-таки, наверное, вид у нас был подозрительный. В Ревеле оставаться было нельзя. И вот — получаем два паспорта, да каких великолепных!

Единственное место, куда можно было приехать без визы, был вольный город Данциг. Решили — едем в Данциг, там будем добиваться визы. Мы гигантскими шагами продвигались вперёд. Были молодыми, восприимчивыми. Из опыта моей поездки «назад в Россию» поняли, как важно обзавестись знакомствами, и у нас это очень легко получалось. Мы успели приодеться. У Алёши было такое открытое лицо и приятный голос. Я тоже располагала к себе. Люди к нам хорошо относились.

Приехали в Данциг. В воскресенье отправились за город. Познакомились на пляже с молодыми людьми, плавали наперегонки, угостили их и выяснили, где находится немецкое

посольство. Пошли туда, и Алёша повторил свою историю. В посольстве, вероятно, в первый раз слышали о зверствах большевиков: чиновники рассказывали обо мне друг другу. Чтобы получить визу для поездки на лечение, нужно было заключение врача. Я никогда в жизни у врачей не бывала, не знала, на что жаловаться. Алёша сказал, что я плохо сплю, плохо ем, вялая безразличная, а была такая хохотушка. Главное, у меня головные боли. На это, я решила, всегда можно жаловаться — как проверить? Врач посмотрел на меня, хитро прищурился и говорит: «Хотите, я её вылечу?» Оказывается, он гипнотизёр. Посадил в кресло, стал делать всякие пассы и бормотать по-немецки. Ничего не помогло, вероятно потому, решил доктор, что я не знаю немецкого. «Ладно, хотите ехать на курорт — езжайте» И нам без затруднений выдали заграничную визу.

Мы беспокоились, что опоздали, что все наши — шесть человек, кроме нас — давно приехали. Как мы оправдаемся? В первый же день в Берлине мы просмотрели объявления в газете «Руль» и ничего не нашли. Пошли в редакцию и сами дали объявление: такой-то разыскивает своего брата поручика, прилагает адрес. Поселились не в гостинице, а у рабочего-синдикалиста, адрес которого нам дали Александр Беркман и Эмма Гольдман. Муж, жена и трое детей жили в трёхкомнатной квартире на Луизенштрассе, по нашим советским понятиям и даже по дореволюционным — прекрасно. В гостиной стояла обитая бархатом мягкая мебель. Работал один муж, но обед у них всегда состоял из трёх блюд. Правда, мясо они ели только рубленое, но по вечерам ходили в «локал», где брали по кружке пива. Нас они встретили, как товарищей. Предоставили нам для жилья гостиную-«штуб», так что тратились мы только на еду. Ценности, зашитые в пояс, предназначались для «дела», и пользоваться ими надо было осторожно. Поэтому мы ели тот же маргарин, что и наши хозяева.

В один прекрасный день пришли из полиции — хозяева ведь были анархистами: «У вас живут иностранцы, они должны зарегистрироваться». Алёша, как светский человек, угостил чиновника сигарой и говорит: «Мы — муж и жена, снимаем здесь комнату». Чиновник рассматривает наши великолепные паспорта: «Как же так? Тут написано „Ройтятя“, а тут „Раю“. Почему у вас фамилии разные?» Алёша находчиво объясняет: «Дело в том, что у эстонцев, если фамилия мужа Раю, то фамилия жены будет Рой, а Тятя — её девичья фамилия». Немцы подивились: «Как всё на свете сложно!» И оставили нас в покое.

Твой отец — ты его не знала молодым — внушал к себе абсолютное доверие. Его всегда все обожали. Эти самые

чиновники, с которыми он имел дело, всегда ему улыбались: какой симпатичный! Ужасное чувствовали к нему расположение, всем всегда хотелось сделать ему приятное. Но чтобы получалась такая обаятельная улыбка, надо ведь самому верить, что ты поступаешь правильно. Он тогда и верил. И я тоже. Помню, как я сказала одним милым американцам — был разговор о шпионах — что советский человек чувствует себя лучше, честнее других. Всё он делает бескорыстно, ничего — ради денег. И у него не может быть чувства вины. Поэтому он внушает доверие.

Через наших хозяев мы встретились с известным анархистом Рокером. Алёша с ним познакомился в 1913 году в Лондоне после побега из ссылки. Рокер издавал тогда анархистскую газету на идиш. Он был типичным немцем, толстым, светловолосым, выпивал массу пива, а жена — длинноносая худая еврейка. Их сын, мальчик лет тринадцати, был такой же длинноносый, как мать. С Рокерами мы выезжали за город в Ванзее.

Мы тщетно ждали условленного объявления в газете. Через полтора месяца Алёша решил пойти работать, чтобы не жить на народные деньги. В Берлине было невозможно утроиться, пришлось поехать в Рурскую область, где всегда была работа на шахте. В это время я научилась говорить по-немецки, потому что была целый день дома с детьми. Единственной моей задачей было просматривать газету «Руль», я продолжала это делать безо всякой надежды, всё равно читать нечего: в доме, естественно, не было ни одной русской книги. Алёша мне успел выслать недельный заработок. И вдруг — обнаруживаю нужное объявление! Я не поверила своим глазам, но отправилась по адресу. Наш начальник Николай жил с женой в прекрасной гостинице. Была установка, против которой безуспешно боролся Алёша — жить за границей по-буржуазному. Я им рассказала про нашу эпопею, они только плечами пожали: «Поехал в Рур работать шахтёром? Но у вас же есть деньги!» А жена начальника, между прочим, в собольем палантине, который им дали в качестве ценности, объясняет: «Приходится изображать из себя буржуазную даму». Договорились, что я вызову Алёшу телеграммой. Перед моим уходом Николай сказал: «Больше в таком виде сюда не приходите. Надо купить приличную одежду». А я-то считала, что моё платье, красное с синим воротником и пояском, которое я купила, когда мы приехали в Берлин, вполне годится. Я поняла, что наши акции — в профессиональном смысле — страшно упали.

Оказалось, что других членов группы по дороге арестовали. Пришлось связаться с подпольными адвокатами, потратить огромные деньги. Николай с женой смотрели на нас с

удивлением: дуракам счастье. В общем, они приехали месяца через полтора после нас.

Тогда была война с Польшей, шло наступление на Варшаву. Предполагалось, что за границу, в Германию, для переговоров приедет Ленин. Уже были установлены дипломатические отношения с Германией, первым послом был Красин. Но мы, конечно, с посольством не имели ничего общего. Какое-то наше начальство было с ним в контакте, а мы близко не должны были подходить к посольству. Задачей нашей было — обеспечить безопасность Ленина, войти в какие-то белые круги, выяснить, может ли Ленин ехать. Вообще — цели были очень расплывчатые. Я, конечно, не делала ничего особенного. Знала только, что надо одеваться, чтобы встречаться. И что надо войти в какие-то белые круги, завязать какие-то знакомства.

Однажды Николай спросил: «Вы читали вчерашний „Руль“?» И обратил наше внимание на очень жалостную заметку: генерала с женой выбрасывают на улицу, они не в состоянии платить за квартиру. Просят бывших сослуживцев о помощи. «С этим генералом нужно встретиться». Решили, что пойдёт Алёша — как самый подходящий, с настоящим русским лицом. Генерал, действительно, был в ужасном положении, не мог платить за маленькую комнатушку в захудалом пансионе. Алёша заявил, что узнал о бедственном положении генерала из газеты и от лица русского офицерства предлагает ему помощь.

Завязалось знакомство домами. Мы тут же съехали от нашего синдикалиста и поселились в пансионате на Тауценштрассе, и генерал с красивой молодой женой пришёл к нам в гости. Потом Алёша свёл его с Николаем. Короче, его завербовали. Генерал нас познакомил с молодым ротмистром. Мы их угощали обедом, винами. Решено было создать Крестьянский союз, ещё какие-то планы были. Генерал говорил, что в России у него закопан клад, огромные деньги. Конечно, они нас сразу раскусили, но не показывали вида. В общем, и мы, и они вели игру.

В иностранной печати стали появляться сведения о страшном голоде в России, об умирающих, о людоедстве — эти сведения официально поступали из России, невозможно было им не верить. А мы «для работы» ходили в ресторан «Медведь», слушали балалаечников, пили и ели — и чувствовали, что больше так жить не можем. Однажды мы пошли в ресторан, и нам подали ростбиф с кровью. Я была беременна и, начитавшись в газетах о людоедстве, не могла есть. Я перестала есть совсем, и пришлось сделать аборт, так я была истощена.

К этому времени уже стало ясно, что мы все работаем для ЧК. Хотя у нас были друзья-чекисты, но к самой этой организации

Алёша с самого начала относился весьма отрицательно. Он сказал, что отказывается от работы, хочет уехать. Так и заявил: «Не желаю работать для ЧК». Тогда ещё можно было делать такие заявления.

Возвращались мы на немецком пароходе зимой 1922 года. Под Ригой застряли, и ледокол «Ермак» вытащил нас изо льдов. Вернулись в Россию в начале нэпа. Петроград несколько ожил, стало легче с продуктами, но всё ещё полно было памятью о голоде. Я поехала в Одессу навестить семью, но не застала там никого. Оказалось, что пока я была за границей, мой отец и маленькие брат и сестра умерли от тифа, вернее, от голода. Одного ребёнка мать ещё пыталась спасти. Продала квартиру за два килограмма пшена и уехала в Бершадь, где жили бабушка и тётка. Но ребёнка она не довезла, он умер в дороге.

Мы приехали в Москву, и там Алёше предлагали разные должности, но мы хотели жить, как все советские люди. Он решил работать кочегаром, как когда-то в молодости, и поступил на пароход «Пролетарий»; я работала под Москвой в столовой, созданной американской организацией по оказанию помощи голодающим. В столовой раз в сутки бесплатно кормили детей. Таскала воду, мыла котлы. Рабочих не хватало, было тяжело, но я помнила свой заграничный опыт и чувствовала, что, наконец, делаю что-то действительно нужное людям.

Алёша отправился в рейс в Германию, в Штеттин. Вернулся, и я съездила в Петроград его повидать. Ему снова предлагали поехать за границу по линии ЧК, но хотя работа кочегара его не слишком воодушевляла, он отказался. Вторично вернувшись из рейса, он рассказал, что генеральный секретарь Профинтерна Лозовский, с которым он был когда-то знаком в Париже, предложил ему работать от Профинтерна: организовывать в советских портовых городах «интернациональные клубы» и там приобщать иностранных моряков к коммунизму. И Алёша, хотя и говорил, что никогда не будет никаким чиновником, всё-таки согласился, потому что Лозовский ему доказал, что Профинтерн — очень важная организация, что надо перетянуть рабочих в красные профсоюзы. Первый интерклуб открылся в Петрограде. Ему дали двух помощников-иностранцев — старика англичанина, старого революционера, который называл себя Лениным Южной Африки, и бывшего американца, коммуниста по фамилии Блок. Это были первые иностранцы, с которыми мне пришлось говорить по-английски. Отсюда началась моя «английская карьера». Блок погиб в 1937 году.

Нам отвели для клуба помещение, там же мы и поселились. Я должна была родить, не стала устраиваться на работу, но много

занималась делами клуба, который скоро стал оживлённым местом. Отец часто уезжал в Москву, в Профинтерн. Клубы создали в Одессе, в Баку и в других портовых городах. А потом решили развернуть аналогичную деятельность и за границей, и отца послали от Профинтерна в Роттердам и в Гамбург. Профинтерн был нелегальной организацией, отец считался представителем Совторгфлота.

4. Вторая поездка за границу

У меня был маленький ребёнок, Лёшка. В 1923 году я была зачислена в команду парохода, на котором выехала из России под именем Марии Андреевны Сорокиной, вышла в Гамбурге на берег и там осталась.

Жилось нам в Гамбурге привольно. В кафе, где собирались радикалы, мы встречались с анархистами, были связаны с немецкой компартией, которая тогда была в расцвете. Встречаясь на улице, немцы-товарищи подымали руку в приветственном жесте: «Хайль Москау». Изредка слышалось: «Хайль Гитлер» — и тот же жест. Мы ходили на митинги, где против находившихся у власти социал-демократов с одинаковой ненавистью выступали коммунисты и фашисты, солидаризируясь друг с другом под лозунгом «Долой Версальский договор!» Однажды мы слушали, как выступал оратор — против капиталистов, против тогдашнего премьер-министра, — и уже приготовились аплодировать, как вдруг он закончил свою речь словами: «Долой еврейский капитал». Оказался фашистом.

Мы были в Гамбурге, когда умер Ленин. Одно время я работала в советском консульстве делопроизводителем. Помню траурный митинг в консульстве. Один сотрудник выступил и сказал, что Ленин жив, что он никогда не умрёт. Консул Шкловский поморщился: что ещё за поповщина! К тому времени такие обороты речи ещё не привились.

При нас в Гамбурге произошло восстание рабочих. В клубе происходили бурные собрания моряков. Помню, приезжала Лариса Рейснер, она потом написала о восстании. Мы с ней встретились. Она была, по-моему, действительно очень талантлива. Яркая личность. Меня, конечно, она ослепила. Она всех ослепила. Во-первых, она была красива, элегантна, образована, говорила на нескольких языках. Не чета мне, конечно. А мы просто были наблюдателями. Мы ходили по районам восстания — дольше всех держался рабочий район Бамбек — смотрели на баррикады, попадали под обстрел. Вместе с нами ходил по городу англичанин, работник Профинтерна Джордж Харди. Бывший моряк, привлекательный человек, с чувством юмора и природным умом, он был прекрасным оратором и пользовался среди рабочих большой популярностью. Мы с ним очень подружились. В молодости он жил какое-то время в Америке. В 1921 году был арестован за участие в революционном движении и отпущен под залог. Залог он нарушил и уехал в Советскую Россию. Стал партийным

функционером, работал в Профинтерне и Коминтерне, и его дети пошли по той же дороге. Сын погиб во время Гражданской войны в Испании, дочери жили в Москве.

Уже после войны, году в 1946, я узнала, что и Джордж Харди приехал в Москву и поселился в гостинице Метрополь. Нам с твоим отцом захотелось узнать, каким он стал — мы-то изменились радикально. Мы встретились. Он стал расспрашивать об общих знакомых с двадцатых годов, к которым он когда-то относился с большим уважением. И о каждом спрошенном мы сообщали: погиб в тридцать седьмом, тридцать восьмом. Ведь Профинтерн был уничтожен почти целиком. Тут же лицо у него делалось совершенно пустым, как будто на глаза опускалась штора, и он заговаривал о другом. Напрасно мы пытались его пронять. Больше мы не стали встречаться.

Мы с твоим отцом говорили о людях типа Джорджа Харди. Когда-то он, безусловно, был незаурядной личностью, вошёл в рабочее движение из самых идеальных побуждений. Мы его знали, видели его отношение к людям. Если бы в Гамбурге у него возникли сомнения, он бы от них не отмахнулся. Потому что тогда у него были убеждения. А когда мы его встретили в Москве после войны, он был стар, и многие годы партийных компромиссов, когда надо было изворачиваться вместе с партийной линией, его развратили. Ни на что другое, кроме как быть партийным функционером, он не годился. И не хотел знать правду.

К нашему аресту Джордж Харди отнёсся, вероятно, как ко всем другим посадкам. А когда-то не было людей ближе, чем мы. В Гамбурге мы почти не расставались. Во время уличных боёв он вытащил меня из-под обстрела. В Шанхае, куда он был послан от Коминтерна и где нам не положено было с ним встречаться, мы всё-таки встретились. Тогда и у нас, как у него, не было никаких сомнений. После встречи в Метрополе я о нём узнавала только из «Дейли уоркер», читала некролог, когда умерла его жена, тоже известная коммунистка. А несколько лет назад мне сказали, что он умер.

В Гамбурге мы с твоим отцом и Лёшкой жили на квартире у рабочих. В конце концов полиция раскусила настоящую деятельность отца. И однажды, когда он уехал по делам интерклуба в Роттердам, пришли: «Где ваш муж?» «Уехал». «Как его зовут?» «Пётр Сорокин». «А кто такой Алекс?» Я показала на ребёнка: «Вот Алекс». На лице полицейского выразилось недоумение, но он ушёл. Он искал Алекса. Под этим именем отец был известен за границей среди товарищей. Тогда он понял, что достаточно скомпрометирован, и мы уехали.

В Москве мы работали в аппарате Профинтерна. Я встретила Айви Литвинову, Иоффе, других известных коммунистов. Отец ездил несколько раз за границу. Однажды поехал в Южную Америку в качестве представителя Профинтерна на Съезд красных профсоюзов. В 1927 году его послали в Китай с группой, которую возглавил член Политбюро Андреев. В Китае он встретился с советским советником Бородиным, должен был остаться при его миссии. Я тоже собиралась поехать, но задержалась по семейным делам. Тем временем произошёл чанкайшистский переворот, и все вернулись в Москву. Все члены группы Андреева, кроме него самого и отца, были уничтожены в 1937 году. Позже погиб и Бородин.

В конце 1928 года отца «отобрали» у Профинтерна, и он стал работать в военной разведке.

5. Миссия в Китай

Отец уехал в Китай с двумя немцами, Зеппелем и Зорге. Я должна была поехать туда через несколько месяцев по паспорту судетской немки Киршнер. Я хорошо говорила по-немецки, много читала, в Гамбурге меня принимали за немку. Но мне предстояло быть радисткой, и для того, чтобы изучить радио и ещё больше усовершенствоваться в языке, ко мне приставили немца, который жил в Москве уже несколько лет под странной кличкой Вильгельм Телль. Был он на хорошем счету в немецкой компартии, до того работал в коммунистической газете «Роте фане», поэтому ему и доверили ответственную работу в Москве. Наезжая в Германию, он никаких контактов с партией не поддерживал. Маленький, сухонький Вилли был похож на карикатурного еврея. Оказался чистокровным арийцем. Мы с ним часто работали по ночам в коттедже, где стоял огромный передатчик и такой же приёмник. Мы принимали от наших людей телеграммы, ждали приёма иногда часами. Ему приказано было готовить меня по всем статьям, и за ним оставалось последнее слово, могу ли я ехать. Ему техника хорошо давалась, и он понять не мог, почему я к ней так неспособна. Зуммер я освоила, но теорию понимала плохо. Мы подружились. Нравы были патриархальные, он приходил ко мне домой. Приехал из Одессы мой старый приятель Роберт и поселился у меня. Немец с ним познакомился.

Как-то в перерыве между приёмом и передачей я ему рассказала о Роберте. Пришлось к слову, и я обмолвилась: «Он ведь еврей». И Вилли говорит: «Он еврей? Недаром я заметил в нём что-то неприятное!» Я удивлённо на него посмотрела: какой странный оборот речи! Вопроса об антисемитизме для меня просто не существовало. Я не замечала его даже в Германии, хотя знала, что фашисты — антисемиты. И в этот же вечер, через несколько часов — было холодно, мы с Вилли сидели, укутавшись одним одеялом — он стал гладить мою руку и говорит: «Какая у тебя гладкая, мягкая кожа, не то, что у евреек. Иной раз в трамвае случайно прикоснёшься — ужас! У них колючие, волосатые руки». Тут уж до меня дошло: «Да? Интересно, я этого не замечала». Немного отдвинулась и говорю: «Ты ведь хорошо знаешь Гейне. Помнишь стихотворение „Донна Клара“?» Как известно, Донна Клара на свидании с прекрасным рыцарем всё время ругает мавров и евреев, рыцарь пытается отвлечь её от этой темы, а под конец признаётся, что его отец — знаменитый рабби из Сарагоссы. И я Вилли напомнила строку из «Донны Клары»: «Что

нам мавры и евреи?» И он понял свою оплошность. Я его ещё поддела: «Не знала, что коммунисты бывают антисемитами». Тогда, как мне казалось, антисемитизм в Советском Союзе был не очень в чести. Вилли испугался, что я могу его «засыпать», а может, ему просто стало неловко. Начал оправдываться: дескать, он вовсе не антисемит, его самого фашисты принимали за еврея и однажды избили. Оказывается, есть такое место, кажется, в Баварии, где все похожи на евреев, и сам Геббельс — похож. Конечно, наши отношения несколько охладились, что было мне наруку, потому что он стал ко мне слишком «хорошо относиться». Вскоре его спросили, готова ли я ехать. Потом меня вызвали и сообщили, что Вилли дал обо мне самый лучший отзыв. Но я смертельно боялась, что не смогу быть настоящей, самостоятельной радисткой. Вилли меня успокаивал: «Первое время тебе не придётся работать самостоятельно, Там же есть радист, Зеппель». В 37-м году Вилли арестовали, и он погиб.

Я ехала из Москвы транссибирским экспрессом, и мне было очень страшно. Я не получила вовремя паспорта на руки и не успела его изучить, «вжиться в образ». Вилли уверял, что говорю я, как немка, но по паспорту я из Праги, а в Чехословакии я никогда не бывала.

Меня всегда провожала в заграничные поездки моя приятельница Джека. Я говорю: «Двух вещей я боюсь: оказаться в одном купе с немцами, и чтобы в вагоне были японцы». Меня предупредили, что японцы — замечательные разведчики, и если они меня заподозрят, я привезу в Китай «хвост». Ехать предстояло 12 дней. Не общаться с пассажирами невозможно. Главное, чтобы никто не узнал, что я русская. Тяжело так долго играть роль. И как только я вошла в вагон, я услышала немецкую речь и увидела японские лица.

Это был международный вагон первого класса, с двухместными купе. К моему облегчению, со мной в купе оказался русский, но зато он был несчастен всю дорогу: по утрам выходил и не возвращался по несколько часов — боялся меня стеснить. Он жаловался пассажиру из другого купе, советскому дипломату: «У нас такое головотяпство! Женщину, иностранку, помещают вдвоём с мужчиной». Дипломат когда-то учился в Германии, говорил по-немецки даже изысканно, но, считая меня немкой, стеснялся своего языка. С ним я иногда разговаривала, но прохладно: мы, «иностранцы», в основном, общались между собой. Все, конечно, быстро перезнакомились. Была там немка с дочерью, был швейцарец лет сорока, очень галантный, сразу стал за мной ухаживать и посмеивался над тем, что меня поместили вдвоём с русским, предлагал обменяться с моим соседом

местами. Я игриво возражала: «Уж если приходится быть вместе с мужчиной, то лучше — с совершенно чужим». Ехали двое немцев, безусловно фашистов. Я совершила оплошность — в разговоре с ними упомянула книгу Ремарка «На западном фронте без перемен». Один из немцев возмутился: «Вы читали эту грязную книгу?» Поездка оказалась мучительной. Японцы тоже за мной ухаживали, приглашали к себе в купе. И однажды мне приснился кошмарный сон, будто японец из соседнего купе, зашёл ко мне, наклонился и схватил за горло. Я закричала, к счастью, по-немецки: «Хильфе!» и проснулась от своего крика. Прислушалась к соседу. Молчание. Утром вышла в коридор и стала рядом с ним у окна. Он говорит дипломату: «Чёрт знает эту иностранку. Ночью её кошмар какой-то мучил, начала орать, а я лежу и не знаю, что делать. Подойти к ней — она ещё подумает, что я её изнасиловать хочу, — очень мне надо!» И он отпустил по моему адресу несколько нелестных слов. «Они же все убеждены, что мы на них кидаемся!» Кстати, он писал открытки и оставлял их на столе. Я заглянула. Фамилия его оказалась Кобли, работал в Комиссариате путей сообщения, ехал в командировку на Дальний Восток. Один только раз он со мной заговорил. Мы проезжали Байкал. Я сидела и читала, он смотрел в окно. Вдруг говорит: «Мадам», и показывает: «Байкал». Кобли посадили в 37-м. Молодые фашисты предвкушали, как мы будем вместе ехать на пароходе из Дайрена в Шанхай, танцевать по вечерам и потом встречаться в Шанхае. А я и танцевать-то как следует не умела. Вилли меня учил, но я не любила танцы. Почему-то я никогда не могла отвлечься от того, что меня обнимает чужой мужчина. А мне приходилось танцевать и с Зорге.

Приехали мы в Дайрен, и я оказалась с этими молодчиками на пароходе. Попав, наконец, в каюту, я почувствовала, что совершенно разбита. Кроме всего прочего, я должна была всё время держать в памяти шифр, нельзя было его записывать. Часа через два стучится немец, зовёт обедать, а к обеду надо переодеваться. Я решила дать себе отдых и отказалась, сославшись на головную боль. Пароход был японский. На другой день вышла к обеду, сидела рядом с капитаном, как самая важная гостья, потому что была единственной европейской женщиной на пароходе. Пили «за прекрасную даму», а я думала: «Впереди ещё целых два дня!» Продлись поездка ещё лишний день, и я бы, наверное, не выдержала.

Наконец, прибыла в Шанхай, встретили меня отец и Зорге. Рихарда я тогда увидел в первый раз. Высокого роста тёмный шатен, выглядел старше своих 35-ти лет — значительное, интеллигентное лицо в морщинах. Он был ранен в Первую

мировую войну и прихрамывал. Говорил он с нами по-немецки и по-английски. Я не знала, что он родился в России и владел русским не хуже нас.

В машине я совсем расклеилась. Была в таком состоянии, что Рихард посматривал даже с некоторым неодобрением, и отцу было за меня неудобно. Я говорю: «Тринадцать дней! И рядом японцы, немцы!» Зорге было конечно легче, чем нам. Он был самим собой, жил под своим именем, со свой собственной биографией и не понимал, каково это — каждую минуту разыгрывать чужую роль. Ему приходилось скрывать только то, что он — советский разведчик. Привезли меня домой. Рихард говорит: «Примите ванну, наденьте кимоно, и усталость сразу пройдёт». Он приготовил для меня красивое кимоно и комнатные туфли без задников с помпонами — никогда таких не видела. Прежде всего я избавилась от шифра. Потом несколько дней отдыхала. Рихард сопровождал меня по магазинам.

Какие-то вещи, нужные в дороге, я получила в Москве. Приехала американка Рей Беннет, которую я должна была сменить в Китае, и привезла кожаное пальто и вязаное платье. Она погибла в Советском Союзе в 35-м году, оставив маленького ребёнка. Вероятно, американцы её разыскивали. Главным авторитетом во всём, что касалось «светской жизни», был для нас Зорге. В Шанхае были колониальные нравы, европейцы держались господами, а наши навыки в области этикета были очень скромными. Зорге же происходил из буржуазной семьи, одевался и держался, как полагается.

Мне нужен был настоящий гардероб, приобрести его было непросто — принято было шить на заказ. Удалось купить три готовых шёлковых платья: синее, бежевое и зелёное с цветами. Я в молодости признавала только «английский стиль», ярких платьев не носила, особенно зелёное было против моих правил, но Зорге его очень рекомендовал. Заказали и бельё — с тончайшей вышивкой по шёлку. Шили и вышивали китайцы-мужчины.

Чтобы казаться настоящими европейцами, мы ходили в кабаре. Зорге сказал, что для кабаре обязательно нужна шаль. Они с отцом поехали по делам в Кантон и привезли мне оттуда настоящую кантонскую шаль. Я храню её до сих пор, хотя это самая бесполезная в обычной жизни вещь.

Потом начались будни. Мне приходилось много и утомительно шифровать. Больше всего по работе я была связана с радистом отца Зеппелем, славным парнем, бывшим матросом, который после того, как его приодели и подцивилизовали, вполне сходил за немца из средних классов. Зеппель работал великолепно, мог починить любую поломку.

Главное, что нас интересовало в Китае — это возможность получить материал о Японии: о её вооружении, военных планах. Для работы в самой Японии наши разведчики ещё не были достаточно квалифицированными. Интересовал и собственно Китай — какие у него связи, с кем. Зорге был под начальством отца всего несколько месяцев, потом уехал в Гонконг. Его готовили к самостоятельной работе в Японии, где он позже стал советским резидентом.

Отец хорошо относился к Зорге, уважал его, но всё же Рихард не был для него «своим в доску». «Всё-таки он немец, — говорил отец, — из тех, кто переспит с женщиной, а потом хвастает». Но Зорге вовсе не хвастал своими победами, просто немецкие радикалы были очень «передовыми» в вопросах морали и удивлялись нашей с отцом «отсталости». Ещё в 1923 году в Гамбурге коммунисты и анархисты уверяли нас, что купальные костюмы — буржуазный предрассудок. На общественных пляжах купаться голыми запрещалось, радикалы с трудом находили место для купанья, и мы смеялись: «В этом заключается вся их революционность!» Немцы были также очень откровенны насчёт секса. Поэтому Зорге запросто рассказывал о своей связи с Агнесс Смидли, ведь она была своим человеком, коммунисткой, к тому же незамужней. А отца его откровенность коробила.

Мне в Китае было тяжело во всех отношениях — и морально, и физически. Когда выходишь из магазина, и на тебя набрасываются рикши, которые тебя заранее приметили и ждут, чтобы заполучить, а потом сидишь, развалившись, в коляске, а рикша — в одних трусах, с перекинутой через руку тряпкой, которой он вытирает пот, бежит, как лошадь, задыхается — чувствуешь себя очень скверно. Мне объясняли, что если сидишь, развалившись, то рикше легче везти, и вообще эта работа не тяжелее всякой другой, что нужно ездить на рикшах, чтобы дать им заработать. Но я всё равно страдала.

Мне неприятны были европейцы — в каждом я видела колонизатора. А приниженность и нищета китайцев ужасала. В Шанхае масса нищих, калек, со страшными болезнями, гноящимися глазами. Ночью они валяются на улицах, спят, как звери.

Меня не радовала красота европейской части Шанхая, современного города с высокими домами и широкими улицами, не занимала китайская часть с узкими, извилистыми улицами — «чтобы не проник злой дух». Мы жили в центре города, поблизости от роскошного парка, где давали прекрасные концерты. Слушали музыку, лёжа в шезлонгах, там же иногда и спали, спасаясь от духоты.

Лето в Шанхае очень тяжёлое. Влажный воздух и масса насекомых — крупных, мелких, комаров, мотыльков; и всё время они жужжат и стрекочут. Не только летом, но и зимой приходится спать под сеткой. Внутри сетки — вентилятор. Дважды в день надо принимать ванну, и когда вытираешься, то от одного этого усилия снова покрываешься потом. Когда сидишь и шифруешь, то от руки на столе остаются мокрые пятна. С улицы постоянно доносятся возгласы китайцев, поднимающих какие-то тяжести. Утром я просыпалась под эту музыку и думала: «Когда это кончится! Когда уже не буду этого слышать!» Тяжко было и в наших условиях, а бедняки ведь спят без сеток, без вентиляторов.

Там, в Китае, китайцы красивее белых. Сидит в троллейбусе белый мужчина — в шортах, в пробковом шлеме. Волосатый, краснолицый, распаренный от жары — отвратительно. И рядом с ним китаец — худощавый, совсем не потеющий, с красивым цветом лица. Китайские дети все очаровательны. Правда, женщины в большинстве некрасивые. Нигде, кроме Китая, я не видела абсолютно лысых женщин.

Кроме Рихарда и малокультурного Зеппеля, мы почти ни с кем не виделись. Потом приехал Джордж Харди с женой, это было некоторым облегчением. Самым приятным для меня было общество молодого японца, которого нам прислала американская компартия. Несколько месяцев он должен был прожить в Шанхае, а потом ехать в Японию. В Шанхае ему никакой работы не давали, чтобы не скомпрометировать, и он очень скучал. Я с ним встречалась раз в неделю, чтобы он хоть изредка общался со своим человеком и не впал в депрессию. Он приехал в Америку из Японии четырнадцати лет, детство провёл в деревне, когда в первый раз попал в город и увидел белого человека, то поразился его безобразию: ужасные, круглые глаза! «Как, — я говорю, — именно глаза у нас лучше ваших!» Однажды при нас какая-то женщина целовала ребёнка. Я говорю: «Я бы не дала целовать своего сына накрашенными губами». А японец отвечает: «Вообще, какая гадость — целоваться!» Я восторгалась: «Вот мы — такие разные, но мы — братья! Потому что революция сближает людей!» Расставались, не успев наговориться.

Боюсь, что дальше я не смогу рассказывать. Я подхожу к чему-то, для меня очень тяжёлому. Помнишь, у меня ещё до ареста дрожали руки? Это оттуда, из Китая. Связано с парнем по имени Фоля Курган.

Отец его знал по Крыму. При Врангеле, во время подполья, Курган с другим товарищем по имени Наум приехали из Москвы. При них были деньги, предназначенные для партизанской работы. Их арестовали белые, которые обычно расправлялись

очень быстро, но поскольку Фоля и Наум приехали из столицы и у них нашли ценности, их приняли за важных птиц, не расстреляли и не повесили, а держали в тюрьме и даже не пытали. Сидели они вместе, и Фоля впал в истерику и признался Науму: «Я пыток не выдержу, я всё расскажу». В то время никто не смел такое даже подумать. Им удалось спастись — подошли красные и освободили заключённых. Несмотря ни на что, отцу Фоля нравился больше, чем Наум. Оба они закончили гимназию, оба происходили из зажиточных еврейских семей, но Фоля казался умнее и интеллигентнее Наума. Потом в Москве мы встречались с обоими, а с Фолей подружились. Как член партии он пошёл в гору, написал в середине двадцатых годов одну из первых книг о Гражданской войне[13], где много рассказал об отце. Потом его послали на Дальний Восток, на ответственную хозяйственную работу. В один из наших приездов из-за границы — сенсация: Курган бежал из России, стал ренегатом. Это был страшный удар, такого в нашей среде ещё не бывало. Говорили, что он проиграл казённые деньги. С ним вместе ушла женщина-прокурор, тоже член партии. Когда отец вернулся из поездки в Китай по линии Профинтерна, он рассказал мне, что встретил Фолю в Шанхае. Он — в среде белых эмигрантов и, как все они, в ужасном положении. Эмигранты ведь не могли так тяжело работать физически, как китайцы, и прожить бы не могли на заработок китайского кули.

Я была возмущена: «Как, ты с ним общался? С негодяем, уголовником!» А отец говорит: «Знаешь, он всё-таки очень любопытный человек! С ним интересно поговорить. И тут всё не так просто. Проиграл он деньги или нет, но главное — он разочаровался в революции, в партии…Я его с нашими связал. Они его смогут использовать, он ведь очень умён».

И вот надо же: Шанхай не такой уж маленький город, чтобы случайно встретиться и в первый раз, и во второй. Оказалось, что Фоля опять в ужасном положении, потому что он потерял связь с нашими, которые бежали из Китая после переворота Чан-Кай-Ши. Жена Фоли работает в кабаре платной партнёршей для танцев и содержит его. Отец понял, что Фоля от него не отцепится и что он должен или немедленно уехать, или взять его на работу. Нельзя, чтобы нас в Шанхае знал посторонний человек. И отец решился: столько ведь было затрачено средств и сил. А мне сказал: «Ты слишком резко обо всём судишь. В людях не одна сторона, не только чёрное или белое. Думаю, всё будет в порядке». Через некоторое время он уговорил меня встретиться с Фолей. У нас пошли политические споры. Я же была непоколебимо верующей в ту пору, и что бы Фоля ни говорил, он оставался для меня

парией, подонком. Но всё-таки пришлось с ним общаться. К счастью, я не то, чтобы не доверяла ему, а просто действовала по принятой у нас рутине. Особенно мы оберегали наших сотрудников, японца и китайца, потому что в случае провала европеец ещё мог как-то уцелеть, а им грозила мучительная, страшная смерть. Фоля несколько раз приходил к нам одновременно с ними, но я старалась, чтобы они не видели друг друга. Зеппеля он как-то видел на улице, а с японцем и китайцем мы по улицам не ходили. Так что он их не знал.

Фоля понял суть советской действительности ещё в 1924 году. Считая меня честным и неглупым человеком, он говорил: «Как ты можешь в это верить?!» Он пытался приводить доказательства своей правоты, но дискуссии у нас не получалось, потому что я его не хотела слушать. А через несколько лет, после тридцать седьмого года, точно так же нас не хотели слушать наши друзья.

Правду сказать, он был человеком абсолютно аморальным, но, несмотря на это и на его взгляды, я стала относиться к нему мягче, потому что в его личности было определённое обаяние.

Я не вдавалась в подробности его работы, но кое-что до меня доходило. Он уже давно жил в Китае, и у него были связи в среде русских эмигрантов. Большинство их занималось такими делами, потому что другого выхода у них не было, очень мало кто из них был устроен по-человечески. Это была ужасная картина, они вызывали у меня жалость и презрение. Близко я с ними не встречалась — мы же не считались русскими. Думаю, больше половины из них работали на ГПУ. Отец опять свёл Фолю с нашими, он и сам не знал, с ГПУ или с разведкой. Фоля чувствовал свою ответственность перед женой, они очень любили друг друга. Отец платил ему прилично, и он мог бы жить респектабельно. Душевный конфликт его не мучил. Он понимал, да и мы с отцом пришли к заключению, что все эти шпионские сведения о китайцах, которые он выдавал, не стоят выеденного яйца. Столько же было шпионажа, как и контр-шпионажа, столько же народа работало на «них», как и на «нас». Большой пользы советской власти Фоля не приносил и, конечно, был очень доволен. Но однажды он сказал отцу, что ему предлагают продать за большие деньги серьёзные сведения, относящиеся к Японии. Отец запросил Москву, пойти ли на это дело. Из Москвы ответили согласием.

В какой-то день Фоля должен был в последний раз встретиться с человеком, который передаст ему документы, и расплатиться. Но когда нужно было дать Фоле эту сумму, отец заколебался: «Я боюсь дать ему такую крупную сумму». Дело в

том, что Фоля мечтал уехать из Шанхая, и для этого ему нужно было несколько тысяч долларов. Но тут я вмешалась: «Он же не получит эти сведения бесплатно? И сам ты не пойдёшь вместо Фоли. Всё дело провалится!» В общем, отец дал ему деньги, поняв, что иначе с ним невозможно работать. Фоля должен был вернуться в определённое время. Мы ждём, его нет. Либо арестован, либо сбежал. Оба варианта одинаково плохи. Нет его ни на другой день, ни на третий. Я пошла в кабаре, где работала его жена, спрашиваю, где он. Она начала: «Вот, связался с вами, его посадили, я знала, что произойдёт несчастье!» Но если бы его арестовали, то как-нибудь дошло бы до нас. Я ей говорю: «Он удрал с деньгами, у него была большая сумма». Назавтра я опять пошла к ней. Мы ходили по улицам, я добивалась, чтобы она сказала, где он, полагая, что он с ней должен был снестись. А она громко кричит: «Вы, большевики, довели его!» И угрожает, что выдаст нас. Я говорю: «Это вы будете выдавать? Вы, которая прокурором работали!» Отец ждёт, все переговоры веду я, чтобы он не был замешан, чтобы она его не видела.

Прошло несколько дней. Наконец, Фоля прислал к нам жену. В общем, он проиграл эти деньги. Он ждал нужного человека, а поблизости оказалась рулетка. Он часто спускал заработанные женой деньги, а тут у него на руках огромная сума. А сведения важные, интересные, и чтобы их получить, Фоля требует ещё денег. Отец заявил его жене, что он с ним никаких дел иметь не желает. Фоле же нужны деньги, потому что у него долги, за которые грозит тюрьма. Стал просить три тысячи долларов, потом всего тысячу, чтобы удрать вместе с женой от кредиторов. Наконец пригрозил, что иначе нас выдаст. Фоля думал, что отец не пожалеет денег, чтобы спастись. Он его плохо знал. Таких людей, как отец, он не мог понимать.

Вся работа приостановилась. Чтобы показать, что он не ограничится угрозами, Фоля прислал к нам капитана Пика, русского эмигранта, служившего в китайской полиции. И в один прекрасный день Пик явился в наш респектабельный дом и заговорил по-русски. Сказал отцу, что знает, кто мы такие, но зачем, дескать, ему выдавать нас китайской полиции? Что ему китайцы? Он хочет войти в долю, получить деньги. Одним словом, шантаж. Отец, глядя на него непонимающим взглядом, спросил по-английски: «Кто вы такой, и что вам надо?» Пик разозлился: «Ах, вы хотите играть в эту игру? Ладно, поиграем!» И то же самое повторил по-английски. Отец ответил: «Сейчас же убирайтесь, иначе я позову полицию». Пик ушёл и сказал: «Ну, пеняйте на себя».

Мы с отцом обсудили положение. Всё кончено, полный

провал, вот-вот за нами придут. Но он не мог всё бросить бежать без разрешения.

У него был второй паспорт, с другой фамилией, и другая квартира, специально снятая Зеппелем на случай провала. Я предложила ему уйти на ту квартиру, как будто он исчез из Шанхая. А я пока останусь здесь. Пока я здесь, Фоля будет считать, что мы продолжаем переговоры. Отец колебался, боясь оставить меня одну во власти Фоли. Хотя ко мне Фоля относился очень хорошо, бил себя в грудь и плакал: «Большевиков проклятых и всю их работу я ненавижу, но ты, для тебя… из-за тебя…» и так далее. Меня он без крайней надобности не подведёт. Я это знала.

Нам нужно было выиграть недели две. Отец сообщил обо всём в Москву, спросил, кому передать дела, и ушёл, а я осталась одна в шестикомнатной квартире, с двумя ваннами и двумя слугами.

Мы с отцом были связаны через Зеппеля. Зеппель же устраивал и наш отъезд. Мы могли уехать на одном из немецких пароходов, где у него были друзья коммунисты. Я сказала Фоле: «Будем разговаривать на улице, домой к нам не приходи» С Зеппелем мы встречались в бассейне и в кино. Он был замечательный пловец, прыгал с вышки, выделывал разные трюки, я тоже хорошо плавала. Нам нужно было только перебросится парой слов. Ему — увидеть, что я цела, а мне — узнать, когда и где мы снова встретимся. В кино можно было заходить и выходить во время сеанса. Один из нас являлся раньше и оставлял свободным место рядом с собой. Другой садился рядом. А у меня возле дома стоят всё время полицейские, и Фоля узнал, что отца в квартире нет. Раз отца нет, у Фоли шансы падают, но всё равно — я ещё там. И хотя он очень этого не хочет, ему придётся меня выдать. Об отце он говорил со злобой: «Что он себе думает? Ведь тебя могут арестовать!» «Ты же знаешь — для нас дело — это всё, а жена, дети и прочее — второстепенно». Ну, он не поверил, конечно. Он понимал, что отец не мог сбежать, оставив меня на произвол судьбы, знал, что мы как-то связаны. Он твердил: «Ты не сможешь выехать из Шанхая, тебя задержат». Он знал, что у меня был только паспорт на имя Киршнер. Получалось, что я могу выехать только вместе с ним. Он ничего от нас не хочет, кроме денег на билеты для меня, его жены и для него. Он нас заложил, но отец сбежал, а меня он вывезет. И заложил он нас только капитану Пику. Ему надо сбежать и от Пика, который требует своей доли. Надо бежать, не то придётся Пику меня подбросить.

Фоля считал меня восторженной комсомолкой, не способной

ни на какие хитрости. А про себя думал, что он — старый волк, он ведь стольких перехитрил в жизни. Но он меня недооценил.

Зеппель в это время ходит в порт, договаривается о нашем отъезде, и мы с ним встречаемся каждый день или через день. Уже отец получил из Москвы разрешение уехать. А дом ведётся, как положено. Двое слуг-китайцев подают мне обед, я переодеваюсь, сижу за столом, аппетита нет, но я стараюсь есть. Состояние у меня было очень неважное.

С Фолей мы ходили часами. Я говорила: «Что ты от меня хочешь?» Но ему надо было кому-то излиться: «Если бы речь шла о моей жизни — чёрт с ней, я за тебя бы её отдал, речь идёт о жене». И об отце много говорил: «Он фанатик, сумасшедший, он готов погубить тебя из-за большевистских денег. Что им несколько тысяч долларов? Они столько тратят по всему миру на свои дела!» Но отец не большевистские деньги жалел, он не мог допустить, чтобы его шантажировали. И всё-таки, несмотря на видимый провал, ему удалось не погубить всего дела, потому что он действовал по-своему.

Это тянулось две недели, и к концу я едва выдерживала. Зеппель был чудный парень, готовый отдать за нас жизнь. Правда, он особенно не рисковал, он жил по своему собственному немецкому паспорту. Но он бы для нас сделал всё. Он обожал отца. Однажды мы встретились в бассейне, и он сказал; «Ты так устала, пропустим один день. Встретимся послезавтра в номере таком-то». Места наших встреч мы называли по номерам. Назавтра я легла спать рано. Зеппель уверил, что через два-три дня это кончится. Фоле я сообщила, что отец согласен, деньги будут, мы выезжаем все вместе. Назначила ему встречу через пять дней. Мне стало легче — с Фолей не надо видеться, и через несколько дней всё кончится. И я крепко уснула. Проснулась от громкого звонка и стука в дверь. Слуги спали внизу, в полуподвальном помещении. Слышу, открылась входная дверь, кто-то подымается по лестнице, и думаю: Это — конец. Причём конец страшный. Сама тюрьма там была страшная. Летом камеры так раскалялись от солнца, что приговорённые к смерти просили, чтобы их скорее казнили. Об этом писали в газетах. Но что ж поделаешь! Главное, я спешу одеться, чтобы меня не застали голой. Одеваюсь и тут слышу голос Зеппеля. Открываю дверь, и он мне: «Что ты с нами делаешь? Почему не пришла?» «Как? Да я же не должна была сегодня приходить!» Тут он бросился назад: «Что я наделал! Я должен бежать, иначе — беда».

Оказывается, он забыл, что встреча назначена на завтра, и когда я не пришла к определённому часу, решил, что меня арестовали. Ко мне домой ходить нельзя было из-за наблюдения.

Он сказал отцу, что я не пришла. А встречу я бы не пропустила в любом состоянии. Ведь это значило бы порвать контакт. Сомнений нет — меня взяли. Тут отец стал психовать. Он держал револьвер в квартире Зеппеля, где было оружие и передатчики. Он был уверен, что меня выдал Фоля, и решил его убить. Тогда его тоже посадят, но ему всё равно — без меня в Москву он вернуться не может. Приказал Зеппелю принести револьвер. Зеппель понял, что это — конец. Стал просить разрешения сходить ко мне на квартиру. Какой-то шанс есть. Дал слово, что если меня действительно взяли, он принесёт револьвер — делай, что хочешь. Но отец потребовал, чтобы Зеппель сначала принёс оружие, и, получив его, согласился ждать. Поэтому Зеппель так спешил вернуться и даже не объяснил мне, в чём дело.

Наконец пароход пришёл. На нём мы ехали только до Гонконга, куда немцы-коммунисты провезли меня без паспорта. Выехали за день до назначенной встречи с Фолей. Я вышла из дому вечером с двумя чемоданами. Когда мы поднялись на пароход и вошли в каюту, я в первый раз за всё время расплакалась, — на этот раз отец ничего не сказал.

И в Гонконге мы опасались ареста. Нас встретил Рихард, который знал почти всё об этом деле. К тому времени у Зорге была своя радиостанция. Он же сменил отца и сам стал резидентом в Шанхае[14]. Зеппель перестукивался с Максом, радистом Зорге. Первое, что Зорге сказал, встретясь с нами в Гонконге: «Жаль, что меня с вами не было!» Он жалел, что пропустил что-то волнующее. Раньше он подтрунивал надо мной как над женой начальника, а теперь смотрел на меня с почтением и просил: «расскажите все подробности!» Тогда и я почувствовала к нему симпатию.

Он приготовил для нас билеты. И поскольку в Гонконге нас не задержали, мы опять воспользовались прекрасными паспортами на имя Киршнер. Мы поспешили отправиться дальше в тот же вечер, поэтому оказались на маленьком английском пароходике, который шёл очень долго и на котором ехали миссионеры, офицеры и плантаторы.

А Фоля покончил с собой — так нам сообщили в Управлении. Когда я не пришла на свидание, он отправился на квартиру и увидел, что там никого нет. Была большая сенсация, всю историю описали в газетах и, кажется, упомянули фамилию Киршнер. Капитан Пик рассказал, как было дело.

Когда меня арестовали в 1948 году и я оказалась на Лубянке, первая мысль была: вот бы Фоля меня сейчас увидел! Он бы испытал удовлетворение. Тогда я часто вспоминала о нём и думала: прав оказался он, а не мы. Не знаю, что сталось с его

женой. Парторг 4-го Управления Давыдов говорил отцу: «Как же ты мог оставить этого подонка в живых? А мы-то думали: у нас там такой бомбист — Улановский, он-то с ним разделается». Отец и сам терзался, что оставил Фолю в живых. Смешно: на пароходе отец сказал одному англичанину, что накануне ему не спалось. Англичанин спросил: «У вас нечиста совесть? Может быть, вы кого-то убили?» Ответ отца: «Не спалось, потому что не убил» — англичанин принял за шутку.

Пароход шёл в Марсель, останавливался в каждом порту иногда на день, на два, и в каждом порту мы ждали ареста. Пять недель продолжалось путешествие. Даже в Марселе нам было неспокойно. Оказавшись вдвоём в каюте, мы всё переживали заново. Отец твердил: «Как же это я уехал и оставил его в живых!». Как ты знаешь, отец не очень кровожаден, но он был убеждён, что предателей нужно убивать. И у него была на Фолю страшная личная обида.

На пароходе мы были единственными иностранцами. Хотя у нас были чехословацкие паспорта, мы называли себя немцами, а чехов обегали на расстоянии. На палубе и в салоне было удивительно приятно. В первый раз мы оказались среди настоящих англичан, и я преисполнилась к ним уважения. Мы ненавидели — с полным основанием — тех, кто слишком любопытен. Немец, как только сядет с тобой в поезд, тут же начнёт расспрашивать. А англичане не задают никаких вопросов. К тому же, как оказалось, англичане очень демократичны, и мы чувствовали себя среди них вполне непринуждённо. Приобрели популярность, особенно отец. На другой день после выхода в море ко мне явились две женщины, сказали, что устраиваются палубные игры, и предложили принять участие в их организации. Считая, что так принято в буржуазном обществе, я ответила, что посоветуюсь с мужем. Отец был мною недоволен: «Надо было сразу согласиться, показать, что мы европейцы» Я поспешила исправить свою оплошность. В первом же порту мы пошли на базар и купили призы.

Окончательно я влюбилась в англичан, увидев, как они пьют. На пароходе были плантаторы, которые жили Бог знает где, месяцами не видели белого человека, и, вырвавшись в Европу раз в пять лет, они, естественно, «гуляли». Но, пьянея, не только не теряли образа человеческого, как русские, но становились ещё милей. Отец им вполне соответствовал и в смысле питья. У англичан такая манера — когда пьют, один платит за всех. Потом другой платит за всех. Отец, конечно, должен был всех перещеголять. Один молодой офицер был «титотелер» — не пил совершенно ничего. Пока в салоне пили, мы с ним сидели и

разговаривали о литературе, о социализме. Я, по обыкновению, занялась пропагандой. Офицер говорил: «Боже мой, какие у нас, англичан, примитивные представления о немцах! Какую ненависть нам к ним внушали. Никогда не думал, что среди них попадаются такие прекрасные люди!» Отец убивался, что мы создаём немцам рекламу. Некоторые пассажиры давали нам визитные карточки, приглашали в гости. Один шотландец, у которого на родине было что-то вроде замка, надеялся, что мы его посетим.

Отец выигрывал во все игры. Англичане очень ценят манеру проигрывать с улыбкой, но когда дело дошло до палубного тенниса, шотландец — бывший чемпион своего колледжа — отнёсся к поединку очень серьёзно. Отец победил и его, хотя не имел никаких навыков и играл довольно неуклюже. Шотландец искренне огорчился, и я его очень жалела. Пока отец играл с шотландцем, мы с «титотелером», как обычно, сидели с другой стороны палубы и болтали. Англичане восхищались моей выдержкой, а мне просто было до лампочки, выиграет он или нет

В каждом порту мы думали: вот будет номер, если нас сейчас снимут с парохода, арестуют! Но постепенно успокаивались и доехали до Марселя благополучно. Оттуда отправились в Париж, купили какие-то вещи: пальто, несколько платьев, и вернулись в Москву.

Я была в скверном состоянии. Меня послали в Сокольники, в шикарный санаторий для семей комсостава. Из отдыхающих помню жену маршала Егорова, И больные, и персонал обратили на неё внимание, хотя она была очень скромной женщиной. Прийти в себя помогли мне прогулки на лыжах. Приезжал отец, и мы катались вместе. И через две недели я поправилась. Отец готовился к новой поездке — в Германию. Уехал, а через некоторое время я к нему присоединилась. Была весна — помню, я купила в Германии весеннее пальто верблюжьей шерсти.

Отец жил в Берлине, в пансионате. На другой день после моего приезда мы отправились в ресторан, отец, как обычно, взял газеты, и вдруг я слышу восклицание: «Ну, нам придётся наши планы изменить!» Он прочёл об аресте нашего работника, немецкого коммуниста. Называлась фамилия, сообщалось, что при обыске нашли паспорта, деньги. Значит, надо из Берлина бежать. Вернулись в город, отец поехал на встречу со своим «контактом», через которого он был связан с арестованным. Неизвестно было, насколько глубокий провал. Он сказал: «Если не вернусь до девяти часов, значит, меня арестовали, уезжай в Москву одна». Не пришёл он ни в девять, ни в половине десятого. Я решила, что ждать бесполезно, тут он вернулся. Оказалось —

провал полный и для Советского Союза очень скандальный, потому что замешана Компартия Германии. Установка из Москвы была — брать на работу только тех, кто давно порвал с партией, чтобы она не была связана с советским шпионажем.

Пришлось срочно съехать с квартиры, но мы задержались в Германии ещё на несколько дней, пока отец передавал дела. За эти несколько дней я успела почувствовать, как изменилась атмосфера по сравнению с 1923 годом. Теперь, в 1930 году, атмосфера была страшная. Буквально в воздухе чувствовалось, как активны фашисты. Масса убийств — коммунисты и фашисты убивали друг друга. Листки на стенах сообщали: в таком-то месте найден убитый. Расхаживали молодые люди весьма воинственного вида, готовые в любой момент драться. В ресторанах посетители говорили приглушённо, оглядываясь по сторонам. Жить в этой стране было страшно. И я вспомнила, как привольно нам жилось в 23-м году, когда коммунисты были близки к захвату власти. Но они же, коммунисты, при содействии Советского Союза и подготовили победу Гитлера, мы с отцом были тому свидетелями. Коммунисты внушали рабочим, что их главный враг — «социал-реформисты», «социал-предатели», а с фашистами долго никакой борьбы не велось.

Уже в 23-м году мы знали, что армия и военно-воздушные силы Германии восстанавливаются с помощью Советского Союза, что самолёты строятся у нас, если не ошибаюсь, в Липецке. Ведь по условиям Версальского договора немцы не могли создавать военной промышленности на своей территории. Отец делился со мной своими тревогами, говорил, что особенно опасно такое положение сейчас, в 1930 году, когда фашисты так окрепли.

Я много работала — зашифровывала и расшифровывала телеграммы, с помощью которых мы сносились с Москвой. В телеграммах содержались военные данные, сведения о политическом положении. Информация поступала через коммунистов и «симпатизирующих», завербованных коммунистами. Коммунисты работали по идейным соображениям, но так же, как и «симпатизирующие», получали от нас деньги, потому что экономическое положение в Германии было очень тяжёлым. Из некоммунистов некоторые тоже работали по идейным соображениям, а некоторые, как везде и всегда — из выгоды.

Начальник Разведупра Берзин, конечно, не винил отца в провале, потому что тот приехал на готовое, но, тем не менее, когда тот вернулся в Москву, его вызвали в ЦК партии. Отправились вместе: Берзин, секретарь парторганизации Разведупра и отец. Принимал их Каганович. Всем троим объявили

партийный выговор. Но выговор надо куда-то занести, а отец — беспартийный. Берзин испугался, что высшие инстанции об этом не знают, и когда ехали обратно, озабочено сказал: «Надо будет вас оформить», А отец тогда уже определённо не хотел вступать в партию. Единственная возможность этого избежать — поскорее получить новое назначение за границу.

6. В Америке

Нас собирались послать в Румынию. Там тогда было очень опасно — провалы наших, сигуранца свирепствовала. Но именно там была настоящая нелегальная работа, связанная с серьёзным риском, а значит и самая почётная. Поэтому мы как раз туда-то и стремились. И вдруг в последний момент отец говорит: «Всё изменилось, едем в Америку». Я ужасно огорчилась. Первая пятилетка, народ строит социализм, приносит жертвы. В Румынию ехать — во всяком случае не на лёгкую жизнь. Пусть мы будем вдоволь есть, зато в любой момент рискуем попасть в сигуранцу. А в Америке, как известно, советским шпионажем не очень интересуются. Америку я знала по Эптону Синклеру и Драйзеру, и одна мысль о ней была противна. Но не нам было выбирать.

Опять поехали в Берлин, там были у отца какие-то дела. Оттуда — в Париж.

Раньше, приезжая в Европу, я мало интересовалась искусством, картинными галереями. Мы ведь ждали, что скоро произойдёт мировая революция, наша цель была — её приблизить. Но к 1931 году стало ясно, что с революцией придётся подождать, и мне захотелось «приобщиться» к Парижу. Выдался свободный день, и я пошла в Лувр. Я стояла перед знаменитой Джиокондой с очень горьким чувством, сознавая: только потому я остановилась перед картиной, что мне с детства было известно об этом шедевре. Непосредственного наслаждения искусством я не испытывала.

Отец мне давно рассказывал, как он оказался в Лувре совсем молодым человеком в 1913 году, когда бежал из ссылки. Как полагалось анархисту, он презирал искусство и всё-таки был покорён картиной. Отец был от природы художественно-одарённым человеком, по натуре — более непосредственным, чем я, и предвзятые убеждения не имели над ним власти. Я ушла из музея, утешая себя: пусть я не понимаю искусства, зато моя жизнь посвящена великой цели.

Мы плыли в Америку из Шербурга на пароходе «Бремен», совершавшем свой первый трансатлантический рейс. Приказано было путешествовать первым классом, как миллионеры, потому что для них въезд в Америку не представлял затруднений. Пароход был умопомрачительный, огромных размеров. Такую роскошь трудно себе представить. Первый класс был так изолирован, что за всё время я не видела других пассажиров. Каюта — таких размеров, что дай Бог в Москве иметь такую

квартиру. Но было скучно и тяжко; я вспомнила, как много удовольствия нам доставила длительная поездка на английском пароходике из Гонконга в Марсель. Особенно страдала я: надо было переодеваться к обеду, не показываться два раза в одном и том же наряде. У меня было два вечерних платья, купленных в Париже. Мы усвоили, что в первый день путешествия переодеваться к обеду не обязательно. Предстоят три обеда. Я не хотела покупать больше двух платьев, решила: один раз не пойду обедать — может же человек заболеть.

Мы ехали по канадскому паспорту на имя супругов Гольдман, официально не в Америку, а в Канаду, через Нью-Йорк. Действительно, в первом классе паспорта просматривали не очень внимательно. Но всё же я отметила знакомое неприятное ощущение в животе при проверке в Нью-Йорке. Чиновник поставил в паспорте штамп, сказал: «Можете находиться в Америке шесть дней».

Трудно рассказывать о деталях. Во мне до сих пор сидит: о некоторых вещах не говорят. Во многом мой рассказ будет параллелен тому, о чём писал Уиттекер Чеймберс[15]. Мы встречали тех же людей, что и он. Таким образом, я могу подтвердить его свидетельство.

Следуя полученным из Москвы инструкциям, мы остановились в гостинице Пенсильвания, на восемнадцатом этаже. Я выглянула из окна — как в колодец! Громады камня. Говорю отцу: «Как страшно! Неужели целый год здесь жить?» Мы, когда уезжали, уговорились: больше года в Америке не останемся. Пробыли мы там около двух лет.

К нам в гостинице на своей машине приехал профессиональный шофёр по имени Чарли, отнёсся к нам, как к большому начальству и тут же повёз искать квартиру. Поселились мы в приличном районе, на 80-х улицах Уэст. Чарли свёл нас с зубным врачом Розенблитом, у которого был офис в самом центре. Несколько дней мы просто знакомились с городом.

Я знала, что Америка — классическая страна капитализма, самое отвратительное, что может быть на свете, и стремилась поскорее увидеть все язвы капитализма. И действительно находила массу непривлекательного. Потом я этого не находила, потому что не искала.

Мы видели безработных в очереди за супом, который раздавала Армия спасения. Но безработные в этой очереди, в 1931 году, во время депрессии, были одеты лучше моих московских друзей. А трущобы мы искали напрасно.

Отец сразу же с большим успехом начал водить машину. Мы оценили замечательные американские дороги и поразительный

демократизм американцев. В Европе и в Китае мы всегда жили на положении богатых людей: останавливались в лучших гостиницах, ходили в рестораны, и все перед нами угодничали. Поэтому на меня тамошняя жизнь не производила впечатления: мы и так знали, что буржуям всё доступно. В Америке же никто перед нами не заискивал. Вначале это даже казалось подозрительным, и нам пришло в голову, что чистильщики обуви, носильщики и швейцары наверное догадываются, что мы — не те, за кого себя выдаём.

Американский опыт оказался для нас поучительным. Всё было не так, как рисовал Драйзер. Мы почувствовали тамошнюю свободу и лёгкость жизни.

Мэри, жена Чарли, который, естественно, получал от нас деньги, рассказывала мне об ужасах жизни в Америке. Оба её брата — безработные. Мать и два взрослых сына живут в трёхкомнатной квартире, и в таком неважном районе! Но когда она меня привела в эту квартиру, я подумала: «Вряд ли я когда-нибудь буду так жить в Москве!» Они экономили каждую копейку, экономили даже на еде. Помню, жаловались, что не могут купить линолеум для кухни. Но ты не можешь себе представить, как в это время жили в Советском Союзе. Мэри хотела меня потрясти: «Боюсь, что это пальто мне придётся носить третий сезон». А у нас, когда Сара Хаевская сшила пальто в двадцать третьем году, то в тридцатом оно ещё считалось новым. Прямо сказать, лишения американцев не производили на меня никакого впечатления. Правда, я поняла, какая тяжёлая вещь безработица. Мало кто действительно был голоден, но чувствовалось настоящее отчаяние. Одна женщина говорила: «Самое ужасное, когда мужу нечего делать и он сидит дома».

Многие американцы работали на нас — и члены партии, и просто левые. С членами партии мы встречались только по делу. Но с интеллигенцией, в массе симпатизирующей Советскому Союзу, встречаться разрешалось. Писатель Линкольн Стефенс был социалистом, светлой личностью, такого имело смысл завербовать. Чеймберс устроил встречу отцу с его женой-англичанкой, которая была моложе мужа лет на тридцать. Когда отец ей предложил на нас работать, она отказалась. Сказала, что сочувствует Советскому Союзу, готова сделать для нас что-нибудь полезное, но быть завербованной не желает. Отец отнёсся к ней с уважением. В 1944 году она приезжала в Москву в качестве корреспондентки от американской газеты, я долго не решалась к ней подойти, но в конце концов познакомилась, как и с другими корреспондентами, как и с этой сукой, Анной-Луизой Стронг, которая вскоре после войны была арестована в Советском Союзе и

всё-таки осталась сталинисткой. Анна-Луиза Стронг нам в Америке не могла пригодиться, была слишком известной коммунисткой.

Наша жизнь была весьма привольной, потому что в те годы в Америке ещё не существовало закона против шпионажа. Единственное, на чём можно было попасться, кроме уголовщины — на нелегальном въезде в страну. Американские паспорта доставали очень просто. Приехали мы с канадским паспортом на имя Гольдманов, но жить по нему в Америке не могли. И тут же стали супругами Журатович. Тогда я не особенно интересовалась, как это делается, но потом узнала. Проверить, легально ли въехал человек в страну, было легко, так как в Америку приезжали только на пароходах. Итак, сведения о прибывших находились в одном месте, но человек-то мог умереть, и факт смерти будет зарегистрирован совсем в другом месте. То же и с родившимися в стране: факт рождения зарегистрирован в одном месте, а факт смерти — в другом. Мы использовали паспорта умерших. Для выезда из страны вообще не требовалось паспорта. Годились водительские права, чековая книжка или даже просто почтовый конверт с твоим адресом. На границе при переезде из Америки в Канаду достаточно было предъявить визитную карточку. А поисками шпионов американцы вообще не занимались. Так что мы абсолютно не беспокоились. Если ты не был уголовным преступником, то мог спокойно жить. Но однажды мы связались с каким-то военным, который выкрал для нас документы, связанные с Панамским каналом. Я спросила отца: «Зачем нашим Панамский канал?» Оказывается, это интересно японцам. Наши обменивались сведениями с Японией. Военного арестовали, мы забеспокоились, сменили квартиру, стали осторожней. Поняли, что и в Америке с нами может что-нибудь случиться. Правда, ничего страшного при этом не произойдёт: пытать, как в других странах, не будут. После случая с тем военным и, кажется, в связи с ним, был принят закон против шпионажа в мирное время. Касался закон только военнослужащих.

У доктора Розенблита была своя клиника, мы с ним встречались не только по работе. Чеймберс правильно пишет, что доктор любил поговорить, показать, что много знает, и часто говорил лишнее. Его жена, родом из Румынии, родила единственного ребёнка довольно поздно. Девочка была неизлечимо больна и умерла — уже после нашего отъезда. После смерти дочери остались двое несчастных стариков; захотели переменить обстановку и в 1935 году приехали, наконец, в желанный социалистический рай. Наверное, разрешение приехать им дали в награду за работу. В первое время им очень повезло, у

них были связи в верхах, но эти же связи их и погубили.

Услышав от одной бывшей американки, что Розенблиты в Москве, я удивилась, почему они до сих пор не дали нам знать о своём приезде. В Америке мы были для них важными персонами, но в Союзе Розенблит узнал, что отец — не член партии и не большое начальство, и даже говоря с доктором по телефону, я заметила, что тон его изменился. Я пошла к ним на Чистые Пруды и увидела роскошную квартиру, в каких жили только генералы. Мы поговорили. Я спрашиваю: «Как живёте, как достаёте продукты?» Жена говорит: «Очень много продуктов мы получаем из Америки. Конечно, нам тяжело, но приходится терпеть». Розенблит сказал, что он лечит зубы самому Тухачевскому. Больше я у них не бывала. В начале 37-го года доктора посадили. Через несколько дней взяли его жену. Оказывается, за ними тянулся «хвост» из Америки — брат жены был известным троцкистом. Казалось, жена Розенблита так больна, что умрёт через несколько дней после ареста. Но она отсидела свой пятилетний срок и после этого жила где-то в глуши чуть ли не на положении домработницы. А доктор, конечно, погиб.

Вскоре после приезда в Америку отец привез меня в дом к Т., где потом происходила вся техническая работа. Эта семья приехала из России до Первой мировой войны. Отец был столяром, прошёл, как все эмигранты, тяжёлый путь, но ко времени нашего знакомства у них был хороший двухэтажный дом с полуподвальным помещением. На первом этаже была большая кухня, столовая и маленькая комната, там мы фотографировали. В Америке мы очень много этим занимались: нас интересовали новые изобретения. Первое, что мы снимали, были чертежи вертолётов. Там же делались микрофильмы. Чеймберс рассказывает, как мы пользовались зеркалами. Это была замечательная и простая система. В одно обыкновенное зеркало, под стекло, можно было запаковать много микрофильмов. Зеркало легко и незаметно можно кому надо передать вместе с микрофильмами и какими-нибудь инструкциями. Я покупала зеркала, упаковывала и увеличивала микрофильмы.

Т. только предоставляли нам квартиру. Чеймберс, естественно, пишет о них плохо, но они были прекрасными людьми. Бабушка была чудесной женщиной, и очень обаятелен был отец, рабочий в типографии «Дейли Уоркер».

Учили меня фотографировать американцы Майкл и Гордин. Гордин впоследствии был арестован во Франции. На суде он себя «очень плохо вёл» с нашей точки зрения — признался, что был советским шпионом.

В Америке мы повидались с Зорге. Он приехал на несколько дней в Нью-Йорк, мы встретились возле гостиницы Пенсильвания. Я пришла раньше и ждала его. Помня, что он высокого роста, я смотрела поверх голов прохожих, не заметила, как он подошёл, и удивилась, что он вовсе не такой высокий, как мне казалось в Китае. Он объяснил: «Это потому, что много американцев высокого роста». Он был в приподнятом настроении. Его давно готовили для Японии, теперь, наконец, он туда едет, официально — от «Франкфуртер Цайтунг» и других газет. В те времена, если человек приходил в редакцию и заявлял, что готов поставлять корреспонденции из страны, куда газете было слишком дорого послать сотрудника, ему давали корреспондентскую карточку. Отец в Шанхае тоже числился корреспондентом немецкой газеты, кажется, «Берлинер Тагеблатт». Это была его «крыша». Но если бы проверили, то обратили бы внимание, что он никогда не посылал никаких корреспонденций. Отец не писал по-немецки, а Рихард — университет кончил, был образованным человеком и к тому же немцем. В Шанхае он тоже ничего не писал, а тут сказал, что завязал серьёзные связи в газетном мире, что он — настоящий корреспондент. Он считал, что его ждёт замечательная работа. Его, действительно, ждала замечательная работа. И гибель.

Когда мы приехали, прежний резидент, Владимир Горев, которого сменил отец, собирался в Москву. Горев был необычайным человеком. Красивый, светловолосый, у немцев считался бы образцом арийца. А происходил из белорусской крестьянской семьи. И этот человек сделал из себя безупречного джентльмена. Он просвещал нас, как себя вести в обществе, показывал, например, как снимать в лифте шляпу, если входит дама. Всё это он проделывал совершенно естественно. На Т. и других американцев производил впечатление настоящего аристократа. Они его все боготворили. Мне Розенблит рассказывал, что когда Горев с ним прощался и доктор выразил сожаление о его отъезде, Горев возразил, что оставляет лучшего, чем он, человека — отца. Потом Горев воевал в Испании, об этом писал Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь». Его арестовали в 1937 году, когда он приехал из Испании в Москву за очередным орденом, и уничтожили.

Месяца два Горев ещё пробыл в Америке, ввёл отца во все дела. И перед самым отъездом представил ему Чеймберса. Отец мне рассказал, что ему дали нового, очень интересного парня, редактора «Нью-Мэссес», приличного издания. «Крупный человек, жаль его использовать для этого. Зачем они берут у партии лучшие силы?» Мы обращались к американской компартии за сотрудниками. Их ЦК решал, кто подходит, и естественно, нам

давали лучших.

Я впервые встретилась с Чеймберсом в Гринвидж-Вилледж. Он был толстый, неуклюжий, недоставало переднего зуба. Костюм на нём сидел плохо, брюки не глаженые. Коммунистам, которые на нас работали, полагалось одеваться аккуратно, не бросаться в глаза, но с ним ничего нельзя было поделать.

Он познакомил нас со своей женой, и оба они показались мне какими-то чудными. Жена его одевалась по особенному, не как другие американки. Носила платья из сурового полотна, а перчатки покупала в дорогих магазинах. И вовсе я поразилась, когда он привёз нас к себе домой, в какую-то необыкновенную халупу за городом, без газа, с керосиновой печкой и чёрным полом. Трудно было подъехать к дому на машине. Они никогда не жили в городе. В России все стремились селиться в центре, а Чеймберсы, которые имели такую возможность, и удобнее было бы для дела — чёрт знает, где жили, и машины у них не было.

Чеймберс сразу мне понравился, и мы дружно работали. Поступала масса всяких материалов, которые мы фотографировали и микрофильмировали тогдашним сложным способом. Кроме того, отправляли нелегально в Советский Союз ящики с книгами по промышленности и патентам. Такие-то дела мы делали с Чеймберсом. А потом он стал заниматься чем-то более ответственным. Раза два мы ездили с ним в небольшие города, он брал меня с собой для отвода глаз, что ли, оставлял в гостинице, а сам встречался с людьми, брал у них материалы.

Помню, как-то мы с ним стояли на автобусной остановке и смотрели на город. Я думала: Счастливые американцы, как они прекрасно живут! Маленький городок, а совсем, как Нью-Йорк, есть даже один небоскрёбчик. Все блага жизни, но жить здесь удобнее, чем в большом городе, потому что тише. Я вспомнила наши маленькие провинциальные города, там же нет никакой жизни. И вдруг в мои размышления вторгается его голос: «Как ужасно жить в таком городе! У всех одинаковая мебель, всё одинаковое. Никакой индивидуальности, ужасный стандарт». Я почувствовала, что его увлечение коммунизмом в значительной степени порождено его ненавистью к стандарту, и мы с отцом часто говорили, что Чеймберс, конечно, не понимает, что такое коммунизм в нашей, советской интерпретации, и как бы не было с ним беды. Отец беспокоился, что когда он уедет, Чеймберс попадёт в руки настоящего твердолобого аппаратчика и может травмироваться. Отец понимал, насколько Чеймберс выше других наших сотрудников-американцев, высоко его ценил и по-человечески с ним сблизился.

В своей книге Чеймберс посвятил отцу несколько страниц,

поразительных в своей проникновенности, если учесть, какую трагическую роль сыграла в его жизни встреча с нами. Привожу несколько отрывков из книги:

> «Было что-то обезьянье во взгляде его карих глаз, то озорных, то тоскливых. Эти глаза наблюдали жизнь на четырёх континентах, сверху донизу, от зловонных тюремных камер до дипломатических обедов, видели ярость боя и интриги мирного времени. Они смотрели на всё спокойно, проникая за пределы, очерченные политическими теориями и доктринами, с безотчётным милосердием, замаскированным под иронию, с мудростью человека, знающего, что насмешка над безумием жизни начинается с насмешки над самим собой.
>
> Ульрих[16] был скромным человеком (из-за чего люди помельче неспособны были его достаточно оценить), хорошо знающим пределы своих возможностей и нисколько этим не озабоченным. Но его жизненный опыт был огромен, он прекрасно понимал людей, хотя часто поступал по отношению к ним вразрез с тем, что подсказывал разум. Потому что человечность была сильнее других его качеств. И он обладал редкой способностью видеть вещи с точки зрения другого человека.
>
> Однажды мы были с ним в Центральном парке, когда началось солнечное затмение. Сидя на скамье, мы следили, как свет сгущается в сумерки. И в этой странной темноте я вдруг услышал, как человек, служивший делу насилия, озабоченно спросил смягчённым голосом: „Интересно, как воспринимают происходящее птицы и звери?“ И, однако, его любимым выражением было: „Я бы тебя шлёпнул!“ Я нисколько не сомневался, что в случае надобности он так бы и сделал — застрелил бы меня ради безопасности дела или подчиняясь приказу. Он знал по опыту, что все мы живём под властью необходимости, против которой его природное сострадание к людям бессильно. Но я не сомневался также, что он сделал бы всё возможное, чтобы спасти меня или любого другого, потому что он ненавидел железную хватку необходимости… Меня не интересовало, был ли Ульрих коммунистом (вскоре я узнал, что не был). Я чувствовал в нём преемственность поколений революционеров. В его лице обездоленные

люди земли встали на ноги, с достоинством распрямились, чтобы заявить миру, что они — его будущее. Моя работа в подполье была частью этого революционного процесса. Мои чувства, однако, не мешали мне замечать, что сам Ульрих был довольно небрежным разведчиком…

Однажды Макс Бедахт[17] дал мне клочок бумаги с именем и адресом одного врача… Бедахт был взволнован. „Доктор оказался троцкистом, — сказал он, — и Ульрих, наверное, захочет что-то предпринять по его поводу“. „Что-то предпринять“ — означало, как я полагал, тайное давление, угрозы и, возможно, смерть.

Впервые моя совесть вступила в конфликт с требованиями подполья. В этом случае ещё сильнее, чем прежде, проявилась та злая сила, которая в 1929 году оттолкнула меня от компартии, и вот теперь [1932 — М.У.] она настигла меня снова. Порвать записку? Сделав это, я нарушу дисциплину, связывающую меня как коммуниста и в особенности как работника подполья. Более того — мой поступок будет напрасен, ничем не поможет человеку, за которым охотятся. Почти несомненно — это раскроется. Последует суровая кара. Я испытывал вполне здоровое чувство страха перед возможной карой, но один этот страх меня бы не удержал. По-настоящему я боялся оказаться ненужным партии

Я передал записку Ульриху и сообщил то, что мне сказал Бедахт. Он взглянул на неё и сунул в карман без комментариев. Через несколько недель, когда мы сидели вдвоём с Ульрихом, он вынул из кармана эту записку и показал мне. Твёрдо глядя на меня, он сказал: „Не думаю, что дядя Джо (Сталин) этим заинтересуется. У него есть дела поважнее“. Слегка улыбаясь, он скомкал записку и бросил её прочь.

Этот случай стал поворотным пунктом в моей деятельности подпольщика. Для меня он означал, что наконец я работаю для организации, которая понимает, что служба революции не сводится к охоте на врачей-троцкистов из предместья. Этот случай был также поворотным пунктом в моих отношениях с Ульрихом. Сделав то, на что у меня не хватило смелости — нарушив дисциплину — он этим поступком сознательно отдавал себя в мою власть. С этого момента наши отношения — подчинённого и начальника —

> превратились в дружбу. Многозначительный взгляд Ульриха, сменившийся славной его улыбкой, означал, что мы понимаем друг друга. Он означал, что мы — революционеры, а не охотники за черепами[18].»

Чеймберс называл меня «партийным оком, направленным на Ульриха», правильно подметив, что я была ортодоксальнее отца. Он не знал, правда, что я тоже не была членом партии и мало понимал наши отношения.

Вообще, оценивая его суждения о нас, я могу только нескромно заявить, что всё хорошее, что он в нас подметил, это правда, а всё зловещее, слишком усложнённое, даже демоническое — это позднейшие интерпретации, результат переосмысления его собственного опыта.

Так, Чеймберс пишет, будто мы его специально подпоили, чтобы выяснить его взгляды. Это неправда. Дело было так. Я смолоду считала, что хороший человек и в пьяном виде не может быть дурным. В нашем доме в Москве одно время страшно много пили. Мы то приезжали, то уезжали, поводов для выпивки было достаточно. И, бывало, напьются до того, что в Ригу едут или засыпают на месте, но всё обходилось мирно. Я сказала Чеймберсу, что сужу о человеке окончательно после того, как увижу его пьяным. Он ответил: «Надеюсь, что меня вы никогда пьяным не увидите, потому что тогда я становлюсь агрессивным. Я же ирландец». Я говорю: «Никогда не поверю». Он был таким мягким и добрым, одним из самых мягких людей, которых я знала. И вот — у Т. родилась дочка, и мы решили устроить «парти». В те годы в Америке действовал сухой закон, и вероятно поэтому пили там особенно свирепо, разводя спирт содовой. Когда выпили разведённого спирта, парень по имени Бен (в 37-м Бена посадили и расстреляли) предложил попробовать чистого спирта. Чеймберс выпил стакан. И уже по тому, как он поставил его на стол, было видно, как он сильно опьянел. К моему удивлению, он тут же повернулся к Бену и полез драться. Я бросилась между ними, он меня оттолкнул. Он страшно бушевал. В своей книге он написал, что я его потом упрекала за высказывания против партии, но это у него так преломилось.

Чеймберс потом встречал среди наших зловещих типов и, видимо, не мог логически допустить, что мы были другие. Быть другими нам удалось частично потому, что отец никогда не работал под начальством кого бы-то ни было, ни за границей, ни в Москве, в Управлении; поэтому он и мог себе позволить «небрежность в работе», о которой пишет Чеймберс (случай с запиской), поэтому, кстати, он смог так долго продержаться.

Дело велось более или менее чисто. Не было никогда, что мы, например, к кому-нибудь подослали женщину, чтобы она его «вампнула». Отец всегда смеялся над такими историями: «Шпионские романы!» И жёны не следили за мужьями по поручению партии, как полагал обо мне Чеймберс. И ни разу мы никого не подвергали испытанию, чтобы выяснить взгляды. У нас была своя рутина — определённые вещи делать определённым образом, и я никогда бы не сказала Чеймберсу ничего, что ему не полагалось бы знать, но не потому, что не доверяла ему. Мы вообще страшно доверчивы всю жизнь были, такими и до конца остались.

Проверять — было в духе Бориса Букова, который приехал в Америку после отца. Буков работал то в ЧК, то в Разведупре. В Америке он был от Разведупра, а в 1923 году в Германии работал от ЧК. Мы его знали с 1919 года, с одесского подполья. Был он ярко-рыжим, но с годами седел, лысел и тускнел. Друзьями мы не стали, как человек он был нам несимпатичен: трусоват, к тому же слишком увлекался сам, наблюдая за границей «буржуазное разложение». В 1939 году мы встретились с ним в Москве, и он рассказал, что вернувшись из Америки, несколько месяцев ждал каждую минуту ареста. Вокруг него всё время брали людей, и он решился на отчаянный шаг — написал письмо Сталину. Не помню, что это было за письмо, но факт — Буков уцелел. Люди тогда очень мало друг другу рассказывали, и он был с нами очень осторожен. И всё-таки мы узнали от него, что «Чеймберс оказался предателем». В то время совсем ни за что сажали, а тут такое дело — сбежал его работник. Правда, Чеймберс тогда ещё не сделал никаких разоблачений.

Нам рассказ Букова доставил большое удовольствие, потому что к этому времени и мы с отцом уже всё до конца оценили. А главное — Чеймберс, самый лучший, самый умный из тех, с кем мы встречались в Америке — тоже всё понял. Отец говорил: «Ах, если бы он знал, что и мы так же настроены! Он бы чувствовал себя лучше!» Отец думал и был, наверно, прав, что Чеймберсу, когда он стал «ренегатом», было неприятно вспоминать о нём, потому что он в своё время относился к отцу с благоговением, хотя был умнее, интеллигентнее и значительнее нас обоих.

Должно же было случиться, что году в 1944 приехал в Москву корреспондент журнала «Тайм» Крейг Томпсон, и я увидела в «Тайме», в перечне сотрудников, фамилию Чеймберса. Для нас он был Бобом — нам не положено было знать настоящие фамилии друг друга — но Чеймберс когда-то работал в журнале «Нью Мэссес», поэтому его фамилия была мне известна. Я спрашиваю Томпсона: «Кто такой этот Чеймберс?» Он мне рассказал, что это

бывший коммунист, который в 1938 году пришёл в офис «Тайма» и предложил свои услуги. Его приняли на работу и никогда об этом не пожалели.

Мне ужасно хотелось дать знать Чеймберсу, что мы с ним единомышленники. Поэтому я сказала Томпсону, что когда-то встречала его, просила передать привет. С Томпсоном мы подружились, у нас начались весьма откровенные разговоры, особенно в связи с Чеймберсом. Томпсон хотел побывать в русском доме, и я его привезла к нам в Покровско-Стрешнево, познакомила с отцом. Мы сидели, разговаривали и пропустили последний трамвай. Пришлось его оставить ночевать. Положили его в свою постель, а сами провели ночь, сидя в темноте, утром он ушёл очень рано, чтобы не заметила наша домработница Матрёна Тимофеевна, которая спала на кухне. На следствии я очень боялась, что об этом посещении известно, но о нём не знали.

Томпсон поехал в Америку и вернулся в Москву. Странно, но никакой вести для нас Чеймберс через Томпсона не передал. Томпсон рассказал, что у Чеймберса масса неприятностей, его очень травят «прогрессивные круги», и в самой редакции «Тайма» многие настроены против него. Больше я никогда о нём не слышала, но он, как я узнала совсем недавно, очень интересовался нашей дальнейшей судьбой[19].

Никаких открытий, касающихся нашей деятельности, я сделать не могу — я была техническим работником. Могу только вспомнить ещё какие-нибудь детали. Читая книгу Чеймберса, я заметила, что он знал не все наши явки, не все контакты. Он, например, не был знаком с благообразной пожилой четой — в отличие от большинства наших сотрудников, они не были евреями. К делу они относились благоговейно, с протестантским рвением. Я могла бы исправить кое-какие ошибки Чеймберса: например, то, что мы называли «офисом» находилось не в доме Т., а в другом месте. Но в целом, как я уже сказала, свидетельство Чеймберса я подтверждаю.

В Америке я совершила служебное преступление, о котором, к счастью, никто не узнал — навестила семью своего дяди, который уехал из Бершади в Америку в 1913 году.

Дядя Яков, брат моей матери, готовился стать раввином после смерти деда, но был эмансипированным евреем и отказался от духовной карьеры. Женился он на Рухеле Колкер, единственной дочери зажиточных владельцев галантерейного магазина. Изящная блондинка, похожая на польскую пани, тётка была самым интеллигентным человеком в местечке, прекрасно пела, знала русский, польский и немецкий языки, в их доме были

русские книги, к ним приходили гости, было светло и красиво. Я обожала тётку, она была единственным человеком, кроме деда, оказавшим на меня влияние в детстве. Весь магазин держался на тётке, покупателями были, в основном, поляки, владельцы окрестных имений, и местная знать.

Дядя Яков не делал в доме ничего. Относились к нему в семье жены исключительно — красивый, ухоженный, с маленькими белыми руками нерабочего человека, он сидел за столом и пил чай. Ему подавали, за ним убирали — тётка, её мать и прислуга. Считалось, что он торгует в обувном магазине в том же доме, но дело это был несерьёзное и неприбыльное. У дяди с тёткой было двое детей помоложе меня, Сруликл и Дувидл — хорошо воспитанные мальчики. Дядя очень любил жену и детей, но даже я чувствовала, что он — будто гость в доме, что в их семье не совсем благополучно. Однажды он пришёл к моим родителям, они заперлись и долго разговаривали. Я слышала, как дядя сказал: «Я живу в золотой клетке, не чувствую себя ни отцом, ни мужем. Я больше так не могу. Я должен как-то радикально изменить свою жизнь» На следующий день он исчез. Сказал, что едет в Варшаву за товаром, и не вернулся. Только мои родители знали, что дядя уехал в Америку. Через две недели они сказали об этом его жене. Всё местечко было в волнении: Чего ему не хватало? Такой неподходящий человек для Америки! Он в жизни не знал ни одного тяжёлого дня!

Он успел обменяться с женой письмами, потом началась война, я уехала из Бершади и долго ничего не слышала о судьбе этой семьи. После Гражданской войны я узнала, что дядя прислал шифскарту, и тётка с семьёй нелегально, через Румынию, уехала в Америку. В конце двадцатых годов я приехала в Одессу к матери и застала там свою бабушку. Она мне говорит: «Ты ездишь по заграницам. Может, будешь там, где Янкеле, и навестишь его?» И дала мне их адрес: 131 Маркет-стрит, Вестчестер, Пенсильвания.

Оказавшись в Америке, я твёрдо решила повидаться с тёткой. Я знала, что из-за этого у меня могут быть неприятности, ведь я не указывала в анкетах, что у меня есть родственники за границей, а главное — нам не положено было встречаться не по делу ни с кем. Вот если бы я их завербовала…

Я ничего не говорила отцу о своих планах и ждала подходящей минуты. Он научился водить машину, и мы ездили по стране просто так, для практики, выбирая маршрут по карте. Я сказала: «Давай поедем в Пенсильванию, в Вестчестер». Поехали. Перед въездом в город я говорю: «А ведь мы не просто так катаемся. Я еду к своей тётке». Отец знал, как я любила тётку, я ему много о ней рассказывала. Но сначала не хотел и слышать о

таком нарушении правил. Наконец, уступил.

Мы приехали в Вестчестер, городок тысяч на 12 жителей, остановились в единственной фешенебельной гостинице, оставили там наш паккард — отец настоял на том, чтобы машину никто не видел — и пошли искать Маркет-стрит. Она оказалась за углом. Идём по улице, беседуем, ищем 131-й номер, и вдруг вижу: сидит на лавке старик с длинной белой бородой, а рядом полная женщина. Я всмотрелась, и хотя мы не виделись 15 лет, сразу узнала тётку и её отца, подхожу и говорю: «Добрый вечер!» «Эстерка?! Как, что, откуда?!» Она побежала по лестнице в дом, и я слышу сверху крик дяди: «Майн швестерскинд!» [«Моя племянница!» — идиш]. Что тут было!

Трудно пришлось дяде в Америке. Он, такой изнеженный, неприспособленный к жизни, работал шофёром грузовика. Произошла авария, он потерял глаз. На деньги, полученные по страховке, привёз семью. Много лет он моет окна в небоскрёбах, теперь у него своя контора. В хорошие времена, до депрессии, был помощник. Квартира у него из пяти комнат, ванну принимают каждый день, по утрам пьют апельсиновый сок. В общем, стали настоящими американцами.

Дядя был недоволен капитализмом, интересовался, как живут в Советском Союзе. Он слышал, что у того — сын врач, у другого — дочь инженер, и очень убивался, что его дети не получили образования. Он хотел, чтобы младший, Сруликл, которого теперь звали Исидор, стал зубным врачом, но тот увлёкся коммунизмом, бросил учиться, работал в коммунистической газете в Балтиморе. Старший, Дэвид, был рабочим, членом левого профсоюза. Тётка жаловалась, что дети её упрекают: зачем она увезла их из Советского Союза? Дядя спросил: «Как ты думаешь, мне там было бы лучше?» Я хотела быть честной: «Если бы мне предложили все богатства Моргана, я бы не уехала из Советского Союза. Но я скажу тебе правду, дядя, — хотя ты мойщик окон, но живёшь ты лучше наших инженеров. У нас не пьют по утрам апельсиновый сок, и не едят курицу. Таких квартир нет ни у кого. Мы, например, живём в одной комнате». Дядя был поражён: как же так?

Отец уехал в Нью-Йорк, а я осталась ночевать. Приехали братья. Слушали они меня жадно. Они не спрашивали, как мы живём — мой вид был лучшей рекламой. Одеты мы с отцом были по первому классу. Если бы они спросили, я бы не соврала. Сказала бы и про одну комнату, и про то, что в Москве у меня нет ванны, и что уборная в квартире одна на двадцать комнат.

Я говорила: «Понимаете, у нас трудящиеся чувствуют себя хозяевами страны. Мы в крови, в поту строим прекрасное здание.

Мы его достроим, и тогда у нас будет всё». Как они меня слушали! Они меня любили. Верили мне. Мы вместе выросли. А то, что пишут о Советском Союзе в буржуазных газетах, — какое это может иметь значение! А ведь Дэвид не был членом партии, его ещё можно было спасти.

Через 10 лет я поручила одному иностранцу, который возвращался в Америку, разыскать Исидора и рассказать ему, что собой представляет Советский Союз. Передать ему, что нужно бежать из партии. В 1956 году, когда мы вернулись из лагерей, Исидор приезжал в Москву, встретился с нашими общими родственниками, но ко мне не зашёл. Я тогда думала, что он не смог нас найти, у нас ещё не было постоянного адреса. Он уехал, и я ужасно жалела, что мы не встретились. Много раз я пыталась с ним связаться, и всё безрезультатно. Тётка и дядя к тому времени умерли. И однажды мне передали ответ Исидора: «Ай эм нот интерестед» — «Не интересуюсь».

Я ломала голову — в чём дело? Ведь я — самая близкая их родственница, не может быть, чтобы им не интересно было со мной увидеться. То, что я сидела — не должно их пугать — многие коммунисты сидели и остались хорошими коммунистами. Но я поняла, конечно. Они узнали, что я больше не верю в то, о чём с таким воодушевлением говорила им в Америке. И этого Исидор, как честный коммунист, простить не может. А теперь, после отъезда в Израиль, я в его глазах грешна вдвойне.

Их фамилия была Фридгант, теперь Фрид. Дэвид остался рабочим. Исидор до сих пор работает в еврейской газете «Моргн Фрайхайт» в Балтиморе. Как видно, не редактором. Фамилию редактора я помню — Пейсах Новик. Из-за него в 1949 году получила 10 лет Любовь Абрамовна Кушнирова, вдова еврейского поэта. Редактор приезжал в Советский Союз и встречался с Кушнировым и его женой. Любовь Абрамовну посадили за «контакты с иностранцем».

Вернёмся к 1932 году. Когда мы уехали из Советского Союза, коллективизация ещё не началась. И вот в американских газетах стали появляться сообщения о голоде. Мы считали, что в капиталистической печати всё, что касается СССР, изображается в нарочито мрачных красках. Но всё-таки упорны сведения о голоде нас ужасно тревожили. За время нашего пребывания в Америке из Советского Союза приезжали несколько человек. Одну группу по договорённости с американскими промышленными кругами послали на заводы. Однажды я встретилась с одним из приехавших, повезла его куда-то, стала расспрашивать, как обстоят дела в Союзе. Он говорил со мной, как со своим человеком, не понимая, насколько я не подготовлена к его

рассказу. Рассказал о голоде на Украине. А у нас о коллективизации были самые романтические представления! Я с ним рассталась, дома ждал отец, но всё услышанное привело меня в такое состояние, что я перепутала линии метро, ехала чуть не два часа. Приехала домой, отец понял, что что-то случилось. Я передала ему разговор с тем человеком. Он тоже, конечно, расстроился.

Позже мы повидались с инженером Халевским, начальником Артиллерийского управления, членом ЦК. Он приехал с какими-то заказами, мы с ним встречались несколько раз. Он был потрясён Америкой, в диком восторге был ото всего, что увидел. Отец сказал: «Вот результат нашей дурацкой пропаганды. Твердим, что в капиталистических странах всё плохо. Советские люди представляют себе, что в Америке все голодные, раздетые, живут в трущобах, и, приехав сюда, теряют всякое чувство пропорции». Мы-то с ним жили в капиталистических странах с 1921 года и привыкли к их благополучию. Мы думали: что ж, зато мы строим коммунизм. Я оставалась убеждённой социалисткой, но нужно сказать, что Америка даже меня несколько поколебала. Как-то — позже — я прочла в советском учебнике английского языка об автомобильном заводе Форда, о том, как зверски там эксплуатируют рабочих, как наживаются капиталисты. А я знала, что в Америке автомобили доступны практически каждому, что рабочие у Форда получали минимум 5 долларов в день, а на 5 долларов можно жить очень неплохо. Я считала, что жить богаче и легче — просто вредно. Я видела в Америке в родильном доме, как здоровенный мужчина натирает пол с помощью машины, почти безо всякого физического усилия. Да ведь человечество так может выродиться! А куда идут деньги таких богачей, как Форд? Когда я узнала про картинные галереи и всякие культурные фонды, мне пришло в голову, что не так плох этот капитализм. Во всяком случае — всё не так просто. Я вздыхала: почему им удаётся, а нам — нет? Правда ведь на нашей стороне.

Помню разговор с одной американкой из «симпатизирующих», квартиру которой мы использовали. У неё было двое детей, очень благоустроенная жизнь. Муж работал в муниципалитете, откуда и в депрессию увольняли в последнюю очередь. Но, в конце концов, уволили и его. Семья могла какое-то время жить на сбережения, но им надоела эта капиталистическая уродливая Америка, где жизнь так скучна. Знакомая решила меня обрадовать: «Мы едем в Советский Союз, строить справедливое общество». С двумя детьми, с их представлениями о жизни! Они давно играли этой мыслью и, наконец, решились. А мы с отцом часто рассуждали, что агитировать американцев за отъезд

недопустимо. Наоборот, им надо как можно больше говорить о трудностях, которые их там ожидают. Я сказала своей знакомой: «Не думаю, что вам следует принимать поспешные решения. Поймите меня правильно. Я бы сама ни за что бы здесь не осталась. Мы строим прекрасное здание, но мы строим его в крови, в поту, в грязи. И для вас это не подходит. Вы можете быть полезны и здесь». Она ужасно обиделась: «Я готова на любые лишения. Вы думаете, мне обязательно нужны ковры? Я могу жить, как мои предки-пионеры». «Всё-таки я вам категорически не советую». «Но почему?» «Хотя бы потому, что там нет туалетной бумаги!» В это время в комнату вошёл отец, она взглянула на него, смутилась, и на этом разговор прекратился. Мы вышли на кухню, стали что-то готовить, она робко спрашивает: «Вы сказали, что в России нет туалетной бумаги, как же без неё обходятся?» Я говорю: «Интеллигенция пользуется газетой, а прочие…» — я развела руками. Через несколько лет, уже после 37-го года, я узнала, что мужа её восстановили на работе в муниципалитете, что у них две машины: на одной он ездит на службу, на другой она отвозит детей в школу; и в то время, как многие бывшие американцы-энтузиасты сидели по тюрьмам, они этой участи избежали.

Мы всегда тосковали за границей, рвались назад. Нам казалось, что именно в нашей стране всё разумно, всё хорошо. Какое счастье жить в Москве, есть пайковую селёдку! Приехав в начале первой пятилетки в Шанхай, я с восторгом рассказывала отцу, что у нас в магазинах пусто, всё идёт на пятилетку. Это же естественно — если хочешь построить прекрасный дворец, где все будут счастливы, можно отказаться на какое-то время от масла!

Работа наша за границей была не лёгкой и не приятной. В Лефортовской тюрьме, в одиночке, я вспоминала чувство, с которым просыпалась каждое утро в Китае: предстоит ещё один мучительный день. Всё время приходится изображать из себя кого-то другого и бояться разоблачения. Позже я научилась ценить комфорт, но в молодости прекрасные квартиры, ванны, наряды, не имели для меня никакого значения и нисколько не искупали напряжения и чувства страшного одиночества. Пересекая советскую границу, мы задыхались от счастья. И наши московские друзья, видя нас таком приподнятом настроении, не хотели нас разочаровывать. Только позже я поняла, что они разговаривали с нами при встречах не совсем искренно.

Но в Америке мой горизонт расширился, и железные коммунистические принципы и несгибаемость несколько смягчились. А может быть я просто стала старше. Несмотря на занятость, я много читала. Я всегда много читала. До того за

границей я почти не встречалась с обыкновенными людьми, в основном, только с «оппонентами» — врагами, контрреволюционерами, с каким не было никаких точек соприкосновения. Я общалась с ними, поскольку это нужно было для дела, при этом играла определённую роль. А в Америке нам жилось свободно, не надо было играть роль, только не говори, чем занимаешься. В общем, Америка повлияла на меня больше, чем мне тогда казалось. А отец пошёл еще дальше меня.

Тем не менее, вернувшись, мы всё ещё стояли — в основном — на прежних позициях: Советский Союз — оплот мировой революции, коммунизм — наша цель. В недостатках, которые мы замечали, мы не видели проявления злой воли. Считали, что с таким народом, как наш, трудно строить социализм. Да особенно-то думать было некогда. Отец вскоре опять уехал за границу. Я на этот раз отказалась. Мне хотелось пожить обычной советской жизнью. Я немножко испугалась, что в результате отрыва от нашей действительности со мной может произойти что-то нехорошее. Вот и Америка эта — мою революционность слегка приглушила.

Работа в Четвёртом управлении очень хорошо оплачивалась. Семьи получали достаточно, чтобы по советским стандартам жить безбедно. Всё казалось временным. Вот вернётся отец, а там посмотрим. Из Москвы он поехал в Данию, где создал разведывательную организацию. Потом я получила письмо из Австрии. Побывал он и в нацистском Берлине. Кажется, он был резидентом по этим странам. В то время в Европе действовали несколько изолированных друг от друга организаций. Велась военно-разведывательная работа против Германии. Подробностей я не знала и не интересовалась ими. Изредка, когда приходилось к слову, отец рассказывал о своих связях с «параллельными» организациями. Кроме того, за границей действовали и «соседи» — контрразведка ГПУ. По техническим вопросам он был с ними связан, знал кое-кого лично, но дела их были совсем другими. Между ГПУ и военной разведкой существовал давний антагонизм. Друг на друга капали, старались друг у друга найти промахи. Мы себя считали, так сказать, чистыми. Интересно, что в Четвёртом управлении в тот период не слышно было о перебежчиках, кроме генерала Кривицкого, а из ГПУ стали бегать очень рано, — может, потому, что больше нашего знали.

Как-то в Америке отец рассказал мне об одном возмутительном деле. Я к нему отношения не имела и могла бы ничего не знать, если бы у отца не было потребности поделиться. Оказывается, НКВД ворует машины. Не сами, конечно: крадёт какая-то банда, а они скупают и отправляют в Советский Союз, а

там на них разъезжают члены правительства. Что воруют — чёрт с ними, они вообще заняты грязными делами, но машины могут быть опознаны, и тогда произойдёт международный скандал. Вернувшись в Советский Союз, отец встретился с Израилем Клейнером, членом ЦК и СТО (Совета труда и обороны). Клейнер когда-то отбывал ссылку вместе со Сталиным, знал его лично. Отец рассказал Клейнеру о недостатках работы за границей. Клейнер говорит: «В этой стране только один человек может всё — Сталин. Хочешь, я тебе устрою встречу? Ты ему и доложи». Слава Богу, ничего из этой затеи не вышло, иначе отец сел бы гораздо раньше. Сам Клейнер загремел очень скоро.

Клейнер с отцом знали друг друга с молодых лет, были когда-то арестованы по одному делу и вместе сосланы в Туруханский край. В советское время встречались нечасто, близкой дружбы не получалось: положение Клейнера было слишком высоким, он был всегда занят — из тех коммунистов, которые работали днём и ночью.

Когда я готовилась ехать к отцу в Китай и в комнате у меня было полно друзей, вдруг приходит Клейнер: «Где Алёша?» «Уехал в командировку». «Я сейчас с совещания, решался вопрос о строительстве порта Игарка. Ищут, кого бы назначить туда начальником. Нужен человек, знакомый с морским делом, знающий языки. Алёша — идеальная кандидатура. То, что он не член партии, не играет роли. Мы его выцарапаем, где бы он ни находился. Этим делом сам Сталин занимается». Но узнав, в какую командировку отправился отец, с сожалением сказал: «Боюсь, ничего не выйдет. Пожалуй, и соваться не стоит». Когда я приехала в Китай и рассказала отцу о посещении Клейнера, он тоже пожалел, что ему не досталась настоящая работа на стройке первой пятилетки. Но если бы это тогда удалось, отец бы непременно сел в 37-м году, как все строители Игарки. Из Управления тоже пересажали массу народа, но в Игарке он был бы самой видной фигурой.

Закончу о Клейнере. В 1955 году отец написал мне в Потьминский лагерь письмо из инвалидного дома в Караганде: «Привет от Елены Яковлевны Клейнер. Помнишь ли ты её? Она тут работает врачом при больнице. Встретился я с ней интересно: она всё ещё разыскивает своего мужа Израиля и приходит к нам, когда узнаёт, что прибыли новые люди, спросить, не встречал ли кто его. Рассудку вопреки она никак не может представить своего Израиля мёртвым. В остальном она умная, культурная женщина. Мне она очень обрадовалась, потому что Израиль ей много рассказывал о нашей с ним жизни в Кишинёве и потом в Туруханске».

Из другого письма: «Вернулась из отпуска Елена Яковлевна. Она получил справу о смерти мужа. В графе о причинах смерти — волнистая черта. Бедняжка, она всё ещё надеялась…»

….С отъезда отца в Европу прошло несколько месяцев. В письме из Австрии он сообщал, что недели через три приедет ненадолго в Москву. Через три недели не приехал. И писем нет. Я пошла в Управление. Меня хорошо приняли, уверили, что нет причин для беспокойства: бывает, что письмо не доходит. И так тянулось долго. Я очень нервничала, наконец, догадалась сходить в Иностранную библиотеку, где тогда можно было читать любые иностранные газеты, попросила все, которые выходят на английском и немецком языках, и в канадской газете нашла заметку о раскрытии шпионской организации в Копенгагене и об аресте нескольких человек. Я не сомневалась, что речь идёт об организации отца. То, что это случилось в Дании, меня несколько успокоило, я боялась, что его арестовали в Германии. Было известно, в каких странах пытали, давали большие сроки заключения. Сесть в Японии или в Румынии было очень нежелательно. Потом в Румынии стало полегче, Германия же превратилась в самое неприятно место. Я отправилась в Управление, к заместителю начальника Штейнбрюку, и говорю: «Если вам неизвестно, что случилось, то я вам объясню: такого-то числа в Дании арестовано столько-то человек. Можете прочесть об этом в канадской газете». «Ну, если вы уже знаете, то вам, наверное, известно также, что это не так страшно». Я ему выговариваю: «Как вы могли со мной так обращаться? Ведь я могла думать, что это случилось в Германии. Я ведь не просто жена, мне можно сказать правду». «Ну ладно, теперь всё в порядке, раз вы знаете».

Для меня это учреждение было — дом родной, свои люди. Казалось, я могу говорить с начальником, как с другом. Так я и говорила. И до сих пор думаю, что там тогда действительно была вполне приличная атмосфера. Штейнбрюк по-отечески сказал: «Наполеону тоже изменило счастье, когда он расстался с Жозефиной».

Когда отец уезжал, я нигде не работала, чтобы, если понадобится, сразу ехать к нему. А теперь нужно было подумать, чем заняться. До нашего первого отъезда за границу дипломы об образовании не имели значения. Кроме преданности революции, от человека ничего не требовалось. Но к середине тридцатых годов положение в стране изменилось, и я поняла, что для жизни в Советском Союзе, откуда я больше не собиралась уезжать, у меня нет никакой профессии. В Управлении спросили, чем они могут мне помочь, не хочу ли я работать в самом аппарате. Я

ответила: «Если моё материальное положение не изменится, я предпочла бы учиться». Начальник обрадовался: «Я так и думал. Где бы вы хотели учиться?» У меня не было даже аттестата об окончании средней школы. Технические вузы исключались, медицина меня не привлекала. А где можно легко и с блеском учиться? Конечно, в Институте иностранных языков. Начальник тут же позвал секретаршу: «Приготовить письмо директору института о том, что тов. Улановская, наш работник, много лет жила за кордоном, а сейчас решила включиться в нормальную советскую жизнь. Просим её принять». И никаких аттестатов не понадобилось.

Что же произошло с отцом? В Управлении никто не верил в случайности. А отец считал, что его провал в Дании был случайностью. Произошла некрасивая история. У отца был помощник, американец Джордж Минк. Знали мы его с 1921 года, он приезжал в Советский Союз, работал в Профинтерне и в Коминтерне. Отец не любил его, но всё-таки доверял, и, как оказалось, напрасно. Минк стал приставать к девушке, которая приходила к нему убирать, Она заявила в полицию, что Минк пытался её изнасиловать. К нему пришли и обнаружили всю технику, в том числе, и заготовки паспортов. Полиция устроила засаду. Как раз на этот день была назначена в той квартире встреча, и всех схватили. Об этой истории писали, наверное, не только в канадской газете. В общем, попались все, в том числе и американский адвокат Джозефсон, который оказался в Копенгагене проездом. Отец взял на себя ответственность за технику. В Управлении мне сказали: «Что за донкихотство! Пусть бы этот гад сам отдувался». Отец заявил, что они — представители международной организации, занимаются помощью беженцам из Германии. А сам он, дескать, американец. Джордж Минк жил по своему настоящему американскому паспорту. И всё же их объявили советскими шпионами. Отец был возмущён такой «несправедливостью», на всю жизнь невзлюбил Данию. Датская полиция до него докопалась, собрала показания всех разведок, и от финской разведки получила настоящую фамилию отца и даже звание, которое у него было в Управлении. Кто-то из наших работал на них. Тем не менее, отец нагло утверждал, что никакой он не советский шпион, что его осудили без оснований. Ему дали 4 года[20] и досрочно освободили в 1936 году «за хорошее поведение». Тюрьма была весьма комфортабельной — много хороших книг в библиотеке, кормили там даже слишком сытно. Поскольку отец считался американским гражданином, на Рождество и Пасху из посольства присылали угощение. Посещал его американский консул, и они

подружились. Консул добивался: «Откуда у вас американский паспорт? Мне вы можете признаться, я вам сочувствую, у меня сын коммунист, я не злоупотреблю вашим доверием. Мне просто самому интересно». Интерес — интересом, но отец и консулу ни в чём не признался, хотя вёл с ним весьма левые разговоры. Когда его освобождали, консул пришёл и сказал: «Можете ехать в Америку», — тихонько добавив, чтобы не слышал начальник тюрьмы: «Но я вам не советую». Отец ответил: «Спасибо, но я в Америку не поеду, раз эта страна не заступилась за своего гражданина».

Поехал он в Швецию, где его ждал резидент советской разведки Болотин, с помощью которого он вернулся в Советский Союз.

Я тем временем училась в институте, жила известиями об отце. У меня были знакомые американки, сотрудницы Коминтерна, через которых я переписывалась с Джозефсоном.

Почти все, кто были с нами связаны в Америке, уже умерли. Умер и адвокат Джозефсон. Году в пятьдесят первом на Воркуте я прочла в газете, что защищая членов ЦК Американской компартии от обвинения в подрывной деятельности, адвокат Джозефсон протестовал против того, что арестованных какое-то время в период следствия держат в тюрьме, не отпуская под залог, что мешает защите — ему неудобно с ними общаться в тюрьме. Газета висела на лагерном стенде, я читала и думала: Я бы много отдала за то, чтобы Джозефсон узнал о дальнейшей судьбе Алёши, о его аресте в 1949 году. В Дании Джозефсона продержали в тюрьме недолго, он уехал в Америку, переписывался с отцом и пересылал мне в Москву его письма. И сам писал мне о том, какой отец замечательный человек. Хоть он и пострадал из-за этого знакомства, но счастлив, что узнал такого человека. Он писал: «В утешение Вам могу прибавить, что он вёл себя на суде, как Димитров, но, к сожалению, обстановка была другая». Джозефсон потом продолжал заниматься своими коммунистическими делами, и ему недосуг было думать. А может быть, перед смертью он и поумнел.

7. Большой террор

В 1935 году обсуждался проект Сталинской конституции. Я и мои знакомые относились к происходящему весьма серьёзно, с большим подъёмом. Конституция упраздняла ограничения, связанные с социальным происхождением. Теоретически мы понимали, что раз пролетариат — гегемон, то представителей других классов, естественно, не принимают в институты и вообще ограничивают в правах, но на практике такое положение очень угнетало. При чистке в вузах мальчики кончали с собой, когда на третьем курсе вдруг обнаруживалось, что дед был фабрикантом или торговцем. А частенько этот дед был каким-нибудь нищим торговцем из местечка вроде Бершади. Я-то знала, как они жили. А теперь — вошли в социализм, ограничения отменяются. Забылись скептические отзывы отца о Сталине. Было время, когда я Сталина любила! Считала, что он великий человек, мудрый вождь и приведёт страну к коммунизму.

Вернулся отец, я его встретила и ещё на вокзале сказала: «Знаешь, всё-таки Сталин — великий человек!» Он ответил: «Я рад, что ты так думаешь. Легче жить в согласии с существующим положением». Я прибавила: «Такой подъём в стране!» Арестов в связи с убийством Кирова я не заметила, слышала только о расстреле группы комсомольских вождей, некоторых из них я встречала в доме нашего друга, Мули Хаевского. Я рассказала тогда отцу об этих ребятах, их арест меня поразил. Но больше ничего особенного я не заметила — только арест и расстрел нескольких человек. В этот период мы довольно часто встречались с Эммой — Марусей Кубанцевой. Она была влюблена в отца ещё с крымского подполья. Дороже человека для неё не было. Раньше, бывало, она говорила ему: «То, что ты — не член партии, это противоестественно». Он отшучивался: «Мировую революцию можно делать и без партийного билета». Но вдруг у Эммы начались крупные партийные неприятности. Через неё я, вернувшись из Америки, соприкоснулась с советской действительностью. В 20-х годах она подписала платформу Зиновьева. Это пресекло её феерическую партийную карьеру в самом начале. Зато она пошла учиться, стала хорошим врачом. Когда мы вернулись, её уже дёргали: прорабатывали на собраниях, исключили из партии, потом, правда, восстановили. И однажды она сказала: «Какое счастье, что Алёша — не член партии! Он бы не смог выступать с покаянными речами, обвинять своих друзей…» На её жалованье жила огромная семья, и когда её сняли с работы, я через Торгсин помогала ей, но особого

впечатления её история на меня не произвела — что ж, она расплачивается за партийные ошибки!

Муле Хаевскому ещё в 20-х годах пришлось официально отказаться от своих буржуазных родителей, а между тем он продолжал поддерживать с ними связь, нежно их любил и устроил им квартиру в Москве. Однажды твой отец случайно увидел у него на столе партийную анкету. Хаевский писал, что был начальником подрывных отрядов в Крыму. То есть присвоил себе заслуги отца. Муля покраснел и стал оправдываться: «Знаешь, партийная чистка, нужно „округлять“ факты».

Отец, конечно, очень беспокоился, как воспримут его провал в Управлении. Но о нём там были самого высокого мнения. Заместитель начальника мне говорил: «Он вёл себя достойно, какие могут быть к нему претензии!» Его послали в санаторий под Одессой. Там оказалось много знакомых. Это был наш последний весёлый год. Август 1936 года, такое страшное время, но мы пока ничего не замечали. Начался процесс Каменева-Зиновьева. Мы верили каждому официальному сообщению. Я говорила: «Если их не расстреляют, это будет позор и вызов народу!» Отец возражал: «Знаешь, виноваты не только они, но и партийное руководство. Если бы можно было вести идейную борьбу цивилизованными средствами, если не было бы такого зажима, им не пришлось бы прибегать к преступным методам». Но и отец нисколько не сомневался, что все обвинения против подсудимых справедливы.

Пришёл нас навестить товарищ, бывший анархист Тартаков. Все анархисты были к тому времени бывшие. Не бывшие сидели на Соловках, наши же товарищи. А большинство стали большевиками — и те, кто вступил в партию, и те, кто формально не вступил. У Тартакова в 1920 году, когда он был на фронте, родился ребёнок, и жена, под влиянием родственников, сделала сыну обрезание. Узнав об этом, Тартаков не вернулся домой, не пожелал увидеть сына. Такой он был непреклонный. Он пришёл к нам в санаторий и стал рассказывать о коллективизации, о голоде на Украине. Он это видел своими глазами. Его рассказ нас совершенно огорошил. Нам виделось всё в таком розовом свете! Мы не могли опровергнуть факты, которым он был свидетель, но решили, что он — антисоветски настроенный человек и потому сгущает краски и даже несколько выдумывает. Больше мы не встречались. Это был второй случай, когда мы разошлись со старым товарищем, с которым воевали, рисковали друг для друга жизнью.

Первый случай произошёл с Ваней Шахворостовым, тоже бывшим анархистом и матросом чуть ли не с «Потёмкина». Он

тоже отбывал ссылку в Туруханском крае, жил в одном «станке» со Сталиным и питал к нему большое почтение как к партийному деятелю — тот же был членом ЦК — и как к грамотному человеку. Ваня всё умел делать, он для Сталина построил дом и считался ближайшим к нему человеком. Я с девятнадцатого года, с Одессы, помню споры отца с Ваней о Сталине и Свердлове. Сталин и Свердлов в ссылке враждовали. Ваня был за Сталина, отец — за Свердлова. В двадцать четвёртом году я жила одна в Москве. Ваня приехал в первый раз в Москву и пришёл в гости. Я спросила, будет ли он ночевать. Он ответил: «Не знаю. Хочу сегодня повидаться с Джугашвили; может, переночую у него». В то время шла партийная дискуссия, и имя Сталина было уже известно. И хотя я только недавно приехала из-за границы, но всё-таки была не такой провинциалкой, как он. Спрашиваю: «Ты с ним договорился?» «А что с ним договариваться? Позвоню и скажу: К тебе сегодня придёт Ванька Шахворостов! Это для вас он здесь знаменитость». И я поверила, что Сталин его примет, зная, как они были близки, и помня, как тепло в своё время принял отца Свердлов. Действительно, ко мне ночевать Ваня не пришёл. Явился на другой день очень мрачный. «Ну, побывал ты у Сталина?» Он помрачнел ещё больше и выругался: «Забурели тут все! Я звоню, а какой-то секретаришка спрашивает, кто я такой. Я говорю: „Ты скажи своему шефу, что Ванька Шахворостов звонит, приехал в Москву“.» И он начал высказывать всё, что у него на душе накипело, всё, что в такой ситуации мог почувствовать пролетарий. Когда он потом несколько раз приезжал в Москву, то приходил к нам, а со Сталиным больше не пытался связаться. Он был в Одессе на какой-то ответственной хозяйственной работе, в Москву приезжал в командировку. Я помню, как он пришёл в последний раз. Он выпивал по 12 стаканов чая. Мы привезли из Америки электрический чайник. Я кипятила чай, он выпивал один чайник за другим и высказывался, опять-таки, о коллективизации. Ты понимаешь, чем была для нас коллективизация! Мы решили, что социализм уже построен, потому что коллективизация прошла блестяще. А он говорил о страшном голоде, об арестах безо всякого повода, о том, что существуют лагеря. Мы были поражены ужасом — такой пламенный революционер, а что говорит! Мы такого и в буржуазной прессе не читали! Он понял наш настроение и больше к нам не пришёл. И мы, когда ездили в Одессу, с ним не встретились. Невероятно, но мы решили, что находимся в разных лагерях. В 37-м его, конечно, посадили, и с концами.

37-й год приближался, но мы упорно ничего не замечали. А ведь мы встречались с людьми — нашими близкими друзьями

были работники Артиллерийской академии Яков Рудин и Наум Наумов. Зимой 36-го года мы жаловались Рудину: «Какие бывают странные, озлобленные люди, говорят невероятные вещи». И он нам отвечал как-то вяло. После суда над Каменевым и Зиновьевым мы — к Рудину: «Как это могло случиться? Объясни». Мы полагали, что те, кто на скамье подсудимых, это и есть все преступники. Не знали, что в связи с этим процессом уже сидят тысячи. Рудин был слишком умён, слишком много знал. Он сказал только: «Логика борьбы!» Но я настаивала: «Как это могло случиться?» И тут он говорит: «Коллективизация…» «Как — коллективизация? Это ведь большое достижение!» Он как-то странно на меня посмотрел: «Досталось это очень тяжело, многие не могли выдержать». Как видно, он не хотел распространяться. «Что происходит с Рудиным? — говорила я отцу, — как странно он себя ведёт!»

Чтобы у нас открылись глаза, понадобилось, чтобы посадили самого Рудина. Уже арестовали Тухачевского и многих других. И при каждом новом имени мы спрашивали друг друга: «Что такое? Почему?» Но больше не верили, что арестованные — шпионы и вредители. Не может быть столько врагов ни у одного народа; и таких врагов, которые, так сказать, стоят во главе государства. Но за что же их сажают, и кому это нужно?

Я училась в институте. Отец работал в одной из школ Разведупра, читал там специальный курс. Он заходил иногда за мной в институт, и мы вместе ехали домой. И каждый раз в институте я слышала о новых арестах — членов ЦК, Политбюро, и каждое имя вызывало страшное недоумение и тревогу: что же это делается? Отец сообщал свои новости. И вот в мае 37-го он зашёл за мной, и я говорю: «Арестовали такого-то». Кажется, Угланова. А у отца вид рассеянный. Говорит: «Я тебе более интересную вещь скажу — арестован Рудин». Понимаешь, раньше всё были крупные имена, а теперь наш товарищ. И тогда я ему сказала такую фразу: «Знаешь, виноват он в чём-нибудь или нет — мне это уже не интересно. Я — с Рудиным. Я его знаю. Он дурного не сделает». Как в своё время ты сказала следователю.

Больше нас ничто не занимало. Мы начали обратный путь. Мы вспомнили всё, что видели и слышали, но отталкивали от себя. Всё плохое, что сами замечали, против чего сами были. Мы тогда говорили: «Да, это так, но всё равно: Советский Союз — база мировой революции, надежда человечества, его надо защищать». И мы вспомнили, как мы сами способствовали лжи, как не желали знать правды.

Мы вспомнили, как в 34-м году нам рассказал Н.Л., который сам работал в органах, ужасную историю про знакомого парня.

Преданного коммуниста посадили ни за что. Он бежал из лагеря, явился в ЦК и рассказал о страшных беззакониях, которые творятся на периферии. В ЦК его попросили всё описать — они, мол, наведут порядок. Н.Л. привёл его к нам, представил как большого героя. Парень нам рассказал, как ведётся следствие — истина никого не интересует, стремятся только обвинить, какие страшные условия в этапе и в лагере. Прямо картинка из «Архипелага ГУЛаг». Мы разволновались, но решили, что это — частный случай. Он и сам так считал, поэтому и явился в ЦК. Он был в очень приподнятом настроении, потому что лично беседовал с кем-то в ЦК и в НКВД. Н.Л. слушал и сиял: государственной важности дело!

Через несколько дней Н.Л. сказал, что тот парень что-то пишет, кто-то его принимает; а когда мы снова спросили, как у того дела, Н.Л. вдруг стал говорить, что всё-таки он очень неуравновешенный человек и авантюрист, чуть ли не психический больной. Когда же мы снова полюбопытствовали, оказалось, что его снова посадили, что всё совсем не так, как он рассказывал, и что свой срок он получил правильно. И мы забыли об этом случае. И не вспоминали до тех пор, пока не пришло наше время.

Как быстро я успокаивалась! Мне стоило прочесть в «Нью-Йорк Таймс» корреспонденцию английского журналиста Уолтера Дуранти о том, что, конечно, недостатки в России есть, но слухи о голоде преувеличены, и я торжествовала: если даже буржуазный журналист так пишет, значит, это всё выдумки.

И вот, когда при очередном аресте я недоумевала: «Что же делается? Почему? За что?» — отец мне спокойно ответил: «Что ты так волнуешься? Когда я рассказывал, как расстреливали белых офицеров в Крыму — не волновалась? Когда буржуазию, кулаков уничтожали — ты оправдывала? А как дошло дело до нас — „как, почему?“ А это с самого начала так было». Я ему резонно: «Я понимаю, что когда людей убивают — это ужасно, но раньше мы знали, что это нужно для революции. Но тут же не даётся никаких объяснений!» И мы стали искать в прошлом — когда же началось? До какого момента всё шло, как нужно? И разматывали нашу жизнь всё дальше и дальше, и дошли до Октябрьской революции. Вот, когда было совершено преступление. И оказалось, что прийти к такому выводу — страшновато. Октябрьская революция — ведь если я не умерла за неё — то это совершеннейшая случайность, мои друзья погибли за неё. Если я не совершила убийства ради неё — это тоже случайность, мои друзья убивали ради неё. Меня Бог спас.

Это было страшно принять, но мы приняли. Я понимала,

когда и другим было нелегко это принять. И мы были одни, как ни странно. Во-первых, всех пересажали. Между арестом брата Наума и его собственным прошло месяца три. Наум, как и Рудин, был артиллеристом, кстати, работал и за границей от разведки. Но у него было «чистое» дело: он интересовался новейшими видами вооружения. Жил там на нелегальном положении при советском посольстве. Когда посадили брата Наума, разговоры ещё были такие: «Он, конечно, ни в чём не виноват, но его могли запутать»: арестовали начальника его управления — тот был каким-то хозяйственником. Наконец, всё это нам надоело, и однажды, незадолго до ареста, Наум, которого мы тогда видели в последний раз, сказал: «Послушайте, дайте мне слово, что если меня посадят, вы не будете гадать, в чём дело. Никто меня не запутал. Ничего я не сделал. Знайте — берут ни за то».

С Наумом мы говорили откровенно, но и ему не смели признаться, что мы думаем об Октябрьской революции. Мы уже с ним договорились, что сажают ни за что, но посягнуть на святая святых могли только в разговоре друг с другом. Наум ждал ареста. По-разному бывало. Для некоторых, как Рудина, арест был, как снег на голову. А некоторых до ареста долго терзали: прорабатывали на собраниях, снимали с работы. И в это время, между исключением из партии и арестом, они как на сковородке жарились. С Наумом именно так поступили. Его исключили из партии за то, что сидели его брат и друзья. Мы, кажется, остались единственными, с кем он общался. Мы приезжали к нему. Он был в ужасном состоянии. Ждал ареста. О пытках мы тогда ничего не знали и не подозревали об их существовании. И Наум не знал, что перед тем, как расстрелять, ему на следствии перебьют позвоночник. Главный ужас ареста был не в том, что с тобой там сделают — об этом просто не думали, а в том, что станет с семьёй. Тот, кого сажали, вычёркивался из жизни, а на семью падал позор. Наум с горечью передал нам разговор со своим десятилетним сыном. Все дети знали о врагах народа. Наум спросил сына: «Слушай, Толя, если бы тебе сказали, что твой отец — враг народа, как бы ты к этому отнёсся?» Сын ответил: «Убил бы своими руками». Мы встретились с Толей в 1956 году, и он вспомнил эти слова. Он помнил их всю жизнь.

То, что других берут, а нас нет, было странно. Раньше я думала, что неспособна бояться. Но однажды отец пришёл домой позже обычного, и я встретила его истерикой: «Как ты мог? В такое время!» Тогда я поняла, что и я боюсь, как другие. И так же, как другие, вздрагиваю от звонка в дверь. А тут прибавилось другое — отец остался без работы. Его неожиданно уволили из Разведупра в начале 37-го года. Это было страшной катастрофой.

Тогда большинство его близких друзей были ещё целы. Правда, арестовали где-то в Киеве Хаевского, но вскоре выпустили. Но к этому времени совсем изменились и условия: человека уже не брали на работу только за «общее развитие» и за доверие к нему. И оказалось, что у отца нет никакой специальности. Мы не голодали, у нас ещё оставались привезённые из-за границы вещи. Тогда можно было продать вязаный костюм и прожить на это месяц. Незадолго до закрытия Торгсина я купила какие-то меха на доллары, которые остались у меня после Америки. Я кончала институт, должна была родить. Того, что отец без работы, было бы достаточно, чтобы чувствовать себя очень невесело. Но мы шутили: «Что беспокоиться о работе, может, завтра посадят!» Безработица была пустяком по сравнению с тем, что случится, если отца посадят. Семью ведь сразу выбрасывали на улицу. Мы жили в Военном городке. Что там творилось! Ночью брали отца, а утром ребёнка уже не приводили в детский сад. Наша приятельница рассказывала, что однажды, когда она привела свою дочь, в детском саду было только двое детей — ты и ещё один мальчик. У всех остальных отцы уже сидели. Но у нас была слишком развита общественная жилка, чтобы очень бояться лично за себя, как, например, та же приятельница, которая от страха перестала говорить со мной по-английски, как мы привыкли со всеми, кого знали в Америке.

Виктория, жена Рудина, после его ареста и незадолго до своего, приходила к нам каждый день. Однажды она спросила: «Может, лучше не ходить к вам? Наверное, за мной следят». Я искренно возмутилась: «Как тебе это могло прийти в голову?!» И правда, — ведь брали не за то, что кто-то с кем-то встречался. У них свой план был. Но люди теряли голову. Мне рассказывала Маруся Кубанцева — мы с ней тогда редко виделись, люди тогда вообще редко виделись друг с другом — что на партийных собраниях дошло до повальной истерики. Одна бывшая троцкистка выступила и обвинила свою подругу в том, что та посылала ей в 1926 году продукты в ссылку, то есть, сочувствовала троцкистам. Она надеялась таким образом спастись. Посадили обеих.

В разгар 37-го года приехал в Москву из Испании Владимир Горев, бывший резидент советской разведки в Америке, которого когда-то сменил на этой работе отец. Мы очень хотели увидеться с ним, чтобы поговорить о том единственном, что нас волновало. А он был полон Испанией, и каждый раз, как мы заговаривали об арестах, смотрел незрячими глазами и — скорей, скорей — возвращался к Испании. Он сам рассказал, что ехал в поезде с какими-то дипломатами, которых потом посадили. И говорит

нам: «Я не понимаю — они же знали за собой вину. Значит, надо было сразу пойти в ЦК, повиниться». Жена Горева, которая всё время оставалась в Москве, сказала со злостью: «А если им не в чем было виниться?» «Ну, не может быть, чтобы ни за что посадили». «А вот тебя посадят, тогда узнаешь». Тут мы заговорили в полный голос. И немножко, чуть-чуть, заставили его поколебаться. Больше мы не виделись. Договорились вместе встретить Новый год. Я должна была родить. Он сказал: «Вы как раз успеете разродиться». Но к Новому году его уже взяли.

В это время вернулся в Москву из Швеции тамошний резидент Болотин. Мы поговорили с ним довольно откровенно. Он так же, как и Горев, горячо убеждал нас, что «напрасно не сажают». Обещал отцу помочь восстановиться на работе в Разведупре. Договорились созвониться через три дня. Тем временем его арестовали. Тут, грех вспомнить, мы даже посмеялись. Болотин остался жив. Мы встретили его в 1956 году в доме у Мити Сидорова. Он уже был реабилитирован, оформлял генеральскую пенсию. Первые его слова при встрече были: «Все 18 лет я помнил наш последний разговор!»

Пока я кончила институт, посадили трёх его директоров. Последней арестовали Фрумкину, старую большевичку, в прошлом бундовку. Назначение директором института уже было для неё большим понижением. Она дружила к Крупской, которая иногда приезжала к нам в институт на старой, паршивенькой машине. Фрумкину арестовали в 38-и и то ли расстреляли, то ли замучили на допросах.

Что ж, о 37-м годе можно рассказывать годами. И всё же, хотя вокруг нас непрерывно исчезали люди, истинного размаха арестов мы себе не представляли. Долгое время мы думали, что расправляются только с партийной верхушкой. Я всё говорила: «Почему убивают партию?» Кстати, когда я узнала об аресте Тухачевского, я сказала: «Чёрт с ними, пока они друг друга убивают, но военачальников…, — для меня же ещё была революция, желанная, мировая — но они обезглавливают армию и промышленность! А что, если на нас нападёт Германия?» А я уже была сильно беременна, и не всегда ходила с отцом. И однажды я ему сказала: «Так жить нельзя. Мы с ума сойдём. Варимся в собственном соку, и нам кажется, что пришёл конец света. А страна, вероятно, живёт своей жизнью. Сходи к Максу». Макс был рабочим-печатником, бывшим анархистом, старым товарищем отца по парижской эмиграции и одесскому подполью. Макс вступил в партию в начале 20-х годов, но остался рабочим, что было редким явлением в среде старых революционеров. Жена его, тоже пролетарского происхождения и член партии, в своё

время училась в Коммунистической академии. Отец пошёл к ним один и вернулся поздно. Я уже легла, он молча раздевался. Я думала, он старается не шуметь, чтобы меня не разбудить. Спрашиваю: «Что, был у Макса?» «Да, был», — отвечает он потухшим голосом. «Что случилось?» «Жена уже арестована, а его в 48 часов высылают в Курган. Он немолод, болен язвой желудка. Что он там будет делать? И никакой тёплой одежды нет. Я сказал, чтобы он пришёл завтра, соберём что-нибудь тёплое»,

Так отец побывал в «нормальной обстановке». А потом — помнишь? — бабушка взяла вас, детей, летом на Украину, к нашей домработнице. Когда вы вернулись, домработница всё повторяла: «Ой, що робыться!» Оказывается, и в деревне то же самое. Посадили учительницу и агронома. Вот тогда мы поняли размеры происходящего, и тогда-то «дошли до Октябрьской революции». О Максе мы больше ничего не слышали. Он, конечно, погиб, даже не доехав до Кургана.

Вот так-то мы жили. Интересно, какую роль в нашей судьбе сыграл Н.Л. В это время он пошёл в гору. Познакомилась я с ним в начале 20-х годов на курсах стенографии в Одессе, когда приехала навестить мать. Н.Л. было 19 лет. Добрый, услужливый, с чувством юмора, хорошо воспитанный — он был сыном бухгалтера — Н.Л. стал за мной приударять, провожал домой. Ему льстило, что я — московская «дама», ездила за границу. Каждый раз, как я приезжала в Одессу, он встречал меня на вокзале и все дни, что я там проводила, не отходил от меня. Тянулось это годами. В тридцать первом году у него появились какие-то связи с «органами», что меня нисколько не удивило: он был очень революционно настроен, а ГПУ, конечно, — подходящее место для способного молодого человека. Когда мы опять уехали за границу, он переселился в Москву, а когда вернулись, он уже был начальником в НКВД. Раньше я относилась к нему, как к мальчику, а теперь он повзрослел, и тон его изменился. Я опять приехала в Одессу, он оказался в санатории ГПУ и меня туда пригласил. Принимали меня великолепно, кормили там получше, чем в обычном санатории, хотя и наш, разведупровский, где мы жили, когда отец вернулся из Дании, тоже был неплохой.

Мы переехали на новую квартиру в Покровско-Стрешневе, а в нашей прежней комнате в Лубянском проезде, рядом с НКВД, поселился наш друг Роберт. Мой институт находился поблизости, и мы частенько встречались все вместе у Роберта.

Особенно продвинулся Н.Л. в начале 37-го года. То есть прямо феерическую карьеру сделал. Стал большим начальником. Того, что мы изменились, он не замечал и не подозревал об этом.

Когда посадили Бухарина, Н.Л. со мной делился: «Если бы ты знала, какой это мерзавец, вражина!» Упоённый своими успехами, он любил поговорить. И время от времени что-нибудь рассказывал. А у меня к этой теме был «патологический интерес». Поэтому я старалась, чтобы он не заметил, что я чувствую. Но однажды не выдержала, и когда он опять о ком-то: «Вражина, шпион!» — я вдруг говорю: «Не верю. Не верю, что ваши органы разоблачают вредителей и шпионов, а думаю, что наоборот — враги народа с преступной целью сажают честных советских людей». Мои слова были для него таким шоком, что он вздрогнул: «Ты пользуешься тем, что я на тебя не донесу, и позволяешь себе высказывать такое». «Я говорю, что думаю». После этого у нас охладились отношения, мы почти перестали встречаться. Потом он рассказал нам, что когда стали сажать всех из Разведывательного управления, он очень боялся встретиться на допросах с отцом и договорился с Мишей, тоже нашим знакомым энкаведешником, что если появится в протоколах фамилия отца, попытаться чем-нибудь помочь. И однажды сотрудница Управления Люся Феррари дала на отца показания, будто он завербован австрийской разведкой. Н.Л. пришёл в кабинет к её следователю и повёл допрос таким образом, что Люся отказалась от своих показаний. А ещё прежде он помог отцу устроиться на работу.

Вернулся из Испании Берзин и снова стал начальником Управления. Он всегда хорошо относился к отцу. Отец сказал Берзину, что из-за какой-то глупости его уволили. Берзин назначил отцу приём на определённый день, а когда тот пришёл, Берзина уже арестовали. Каждый, к кому обращался отец, не успев помочь, попадал в тюрьму. Отец пришёл к очень крупному начальнику уже не Управления, а армии. Тот сказал: «Да, неосторожно вы себя вели». Зачитал ему донос начальника разведывательной школы. Оказывается, отец на лекции сказал, что безработные в Дании лучше обеспечены, чем наши рабочие. Отец говорит: «Поймите, я это не для пропаганды западного образа жизни сказал, а для пользы дела. Нашим разведчикам нужно знать, что не каждого рабочего на Западе можно купить за деньги». Самого начальника школы скоро арестовали. И вот, когда все попытки вернуться в Управление лопнули, Н.Л. сказал отцу: «Ты знаешь английский язык, почему бы тебе не пойти преподавать? У нас в Академии имени Фрунзе есть свой человек, он скажет, чтобы тебя приняли». Помню, фамилия этого главного стукача в Академии была Чехов.

Когда отец сообщил, что будет преподавать английский язык, я не поверила своим ушам. Для него слово «подлежащее» было

чем-то непостижимым. «А что прикажешь делать? Буду преподавать!» Правда, он зверски готовился к каждому уроку и скоро стал лучшим преподавателем в Академии!

Настоящий подвиг совершил энкаведешник Миша. Через нас он познакомился с нашим другом Робертом. Мы привозили Роберту из-за границы подарки — часы, костюмы и прочее. В институте, где он учился, заметили, что он ходит во всём заграничном. К тому же, он неосторожно что-то сболтнул, и завели на него «телегу» — дело. Начались неприятности: вызывают в органы, после института не принимают на работу. И вот Миша, который занимал в НКВД маленькую должность, просто взял папку с делом Роберта и уничтожил. И как не бывало «телеги». И всё пошло у Роберта гладко. Это была страшная тайна, вслух об этом не говорили. Вот какие хорошие парни иногда служили в органах. Но фамилию его всё-таки и сейчас называть не стоит[21].

Каждому человеку хочется поговорить, а Н.Л. с молодых лет любил похвастать. Продвижение по службе вскружило ему голову. Какой смысл быть начальником группы, если об этом никто не знает! И однажды он нам рассказал, что допрашивал Ягоду. Он зашёл в квартиру в Лубянском проезде во время процесса, и сказал: «Тороплюсь — сейчас будут допрашивать моего подопечного. Я должен присутствовать — как бы он не сказал что-нибудь не то». А в другой раз он высказался: «Это вроде того, что мне сказал Бухарин…» Бухарину дали возможность в камере писать. И однажды он попросил, чтобы его записи передали кому-то на воле. А ему говорят: «Зачем же, Николай Иванович? Вас же не расстреляют, вы сами и распорядитесь потом своей работой». Это было перед самым процессом. А Бухарин отвечает: «Знаете, на всякий случай. Как спросили одного монаха: зачем тебе …, ты же дал обет безбрачия? — На всякий случай, — отвечает монах. Так и тут». Ещё Н.Л. рассказывал, как играл с Бухариным в шахматы, когда его следователю надо было выйти из кабинета. Почему не поиграть с Бухариным?

Не помню точно, в Ленинграде ли он был начальником отдела КРО — по борьбе с контрреволюцией, а в Москве заместителем, или наоборот. Поездка в Ленинград была его лебединой песнью. Отправили их из Москвы группой человек в семь, взамен ленинградских, которых постреляли. А потом и этих постреляли, только он один остался живой, еле выскочил.

Он рассказывал, что ему дали цифру по району — посадить четыре тысячи человек. Он отказался, заявив на совещании: «Я не могу выполнить этот план». И объясняет мне с горячность: «Понимаешь, всех бывших политкаторжан перестреляли, латышей

всех посадили, — где я им столько наберу?» Тогда другой энкаведешник, которого я тоже знала, — заходил с Н.Л. в Лубянский проезд — говорит: «Ну, если товарищу трудно, я возьму его цифры в дополнение к своим». Я слушала, подбирала каждое слово: вот как оно делается! Как в любом учреждении! Мы ведь не понимали до конца, по какому признаку берут и за что. Оказывается, дают контрольные цифры.

Н.Л. уволили из органов в конце 38-го года. И он скромно пошёл работать на завод заместителем директора. В начале войны его опять взяли в органы начальником отдела, почему-то во флот. И опять он стал большим начальником. Приехал в Москву из Мурманска, оказался в гостинице «Метрополь», там мы с ним встретились. Сказал мне: «Ты права, было вредительство, брали ни за что». Потом его снова убрали из органов и послали в пехоту. Когда мы снова с ним встретились, он был просто пехотным капитаном, ожидал отправки на фронт и довольно сильно по этому поводу страдал. Он был в обиде на органы, которые не оказали ему доверия, и посылают на фронт. Я ему с полным энтузиазмом говорю: «На твоём месте я бы радовалась, что иду на фронт». Он возмутился: «Ты, может быть, считаешь, что я должен искупать свою вину? Мне нечего искупать! На моё место нашёлся бы другой, а скольких людей я спас!» И он мне рассказал про нескольких человек, оставшихся в живых благодаря ему, в том числе про Рокоссовского. Я читала у Рокоссовского об этом, но несколько по-другому. Н.Л. был страшно возбуждён: «Ведь если бы не я, он бы не уцелел». По его словам, было так:

Н.Л. зашёл на допрос к Рокоссовскому, тот стоял. Высокий, лицо интересное. «Я говорю, обращаясь к следователю: Почему он стоит? — Гражданин начальник, — сказал Рокоссовский, — я стою так уже третий день» Н.Л. отослал следователя, сказал Рокоссовскому: «Садитесь», — и начал с ним говорить: «Мы разберёмся. Расскажите своё дело».

Н.Л. любил прихвастнуть, но тогда, во время войны, люди становились искренними. Не думаю, чтобы он лгал.

Каждый раз я узнавала от него что-нибудь новое, иначе я не стала бы с ним встречаться. Когда он нам рассказал в 1938 году, что допрашивал Ягоду, мы несколько удивились: всё-таки он был небольшим человеком в НКВД. Он объяснил, что ему поручили допрос Ягоды именно потому, что он был относительно новым работником. Он рассказывал, какой был повод для обвинения Ягоды, но теперь я уже не помню.

Когда меня в 1948 году арестовали, самые тяжёлые допросы касались Н.Л. Следователь расспрашивал, когда и как я с ним познакомилась. Легко установил, что мы одновременно жили в

«Метрополе». Следователь думал, что он сам рассказал корреспонденту[22] о том, что допрашивал Ягоду. И всё добивался: «С какими иностранцами вы его знакомили?» Поэтому у меня было такое тяжёлое следствие. Следователь кричал: «Чтобы я из-за говённой бабы загубил свою карьеру! Мы зна-а-ем, а вы не признаётесь!» Они очень хотели его посадить. «Что он вам рассказывал о своей работе?» «Ничего не рассказывал». Тогда следователь подсадил ко мне стукачку. Я пришла с допроса в ужасном состоянии и поделилась с ней: «Что им от меня надо? Это их человек». А она говорит: «Но если это их человек, почему не сказать о нём?» «Что сказать? Просто взвести на человека напраслину? Да если бы я солгала, и человека бы посадили, кто бы он ни был, я бы покончила с собой».

Когда я вышла на свободу и мы встретились, Н.Л. рассказал, что во время моего следствия он чувствовал, что находится в опасности. Его допрашивали, за ним следили. Но обошлось, родился в рубашке.

В период реабилитаций его вызвала Ольга Шатуновская из Комиссии партийного контроля, и он перед ней оправдался. Шатуновская знала, что он был следователем одной женщины, члена Московского комитета партии, расстрелянной в 37-м году. Н.Л. показал в деле этой женщины своё заключение о том, что следствием не установлена её вина. Кто-то распорядился её расстрелять, несмотря на заключение следователя.

Н.Л. очень хорошо относился к нашей семье и после освобождения. Ирину приютил, тебя. Человек не однозначен. Как странно, что неплохой, в общем, человек мог работать в этом учреждении! Другой просто хороший человек, наш старый приятель Митя Сидоров, работал в ЧК с её основания, но в 30-м году ушёл оттуда, не выдержав беззаконий. Все двадцатые годы он исправно работал, но с 29-го стал добиваться правды — и ничего не добился. Случайность его спасла: он заболел, долго лежал в больнице. А потом все, кто совершали беззакония, погибли, а Митя уцелел. Если он уже тогда не мог выдержать, то что говорить о 37-м годе! Что касается Н.Л. — он трусоват, мелковат, небескорыстен, но не злодей. Может, это небольшая заслуга, что он не мог набрать четыре тысячи человек там, где всё уже было подчищено. Но в быту он всегда окажет услугу, никогда не сделает пакости. Как в лагере говорили: не очень подлый. При другой системе этот человек прожил бы приличную, респектабельную жизнь и, вероятно, никому бы не сделал зла. Злодеями рождаются, а он — человек обыкновенный.

Сидя в тюрьме, я часто думала: Сколько же Н.Л. перевидал таких, как я! И в это же время ласково гладил кошку. И меня

иначе не называл, как «Надечка». Он очень ласковый был. И уходил из нашего дома — туда.

Жена его тоже работала в органах. Она значительно умнее его и не давала ему слишком при нас распускаться. Ему всегда хотелось показать, что он — важная персона, а у неё такой потребности не было. Он порой говорил лишнее, и это его чуть не погубило. Эта история с допросом Ягоды — просто чудо, что его не посадили. Органы иногда не очень спешили, если человек был у них в руках.

Я рассказала ему, как меня из-за него мучили на допросах, но без подробностей, не хотела его травмировать. Он помнил своё ощущение страха и поэтому тоже считал себя жертвой культа личности и держался с нами на равных.

Только в родильном доме, в декабре 37-го года, я чувствовала себя в безопасности, думала: Сюда они вряд ли придут. В тот день, когда я родила, Сталин выступал по радио по поводу конституции. Когда в тридцать пятом году обсуждался проект конституции, я всё принимала всерьёз, но в конце 37-го у меня никаких иллюзий не осталось.

Наступил 38-й год. После родов я стала приходить более или менее в норму. Не то, что ужас прошёл, но я стала как-то спокойнее относиться к происходящему. До этого я была на грани сумасшествия. Тогда как раз перестраивали Москву, почему-то вырубили деревья. Раньше было много бульваров, маленьких скверików, а теперь образовались страшные голые пространства, залитые асфальтом.

Как-то я случайно встретила старую приятельницу, которая приехала из Запорожья за мануфактурой — в провинции ведь ничего нельзя было купить — и она мне рассказала, что Виктор давно живёт в Москве, что его арестовали, но выпустили. Я о нём ничего не знала с 20-х годов. К этому времени я ещё никого из побывавших там не встречала, кроме Мули Хаевского, которого посадили в 37-м и через два месяца выпустили, благодаря вмешательству Ярославского и Марии Ильиничны Ульяновой. От Мули я впервые услышала, что на следствии бьют, но подробностей не знала.

Мы встретились с Виктором и сразу перешли к этой теме. Он мне рассказал, что признался на следствии в том, что отравлял зерно, поджигал элеваторы. Я знала, что он необычайно стойкий человек. В Одессе его называли Муций Сцевола. Я спросила: «Почему же ты подписал этот бред?» «Потому, что не выдержал мучений. И жить хотел. А то забили бы». Очень страшно слышать такое от близкого человека. Поэтому я не могла его расспрашивать о подробностях. Только видела, что ему выбили

зубы и что-то повредили внутри — когда мы с ним гуляли, он иногда скрючивался и бледнел.

Он подписал протокол, и его отнесли обратно в камеру. На следующий день следователь встретил его бранью: «Как ты мог всё это один сделать? Давай сообщников». Виктор сказал: «Я анархист-индивидуалист, работаю в одиночку». Он обвинялся, между прочим, в том, что в молодости был анархистом. Неизвестно, убедил ли он следователя, его ещё побили немножко, на этом дело и кончилось. Он сидел в ожидании приговора. Камеры были забиты, люди не знали, что Ежова убрали. Повели его на суд. Он решил на суде отказаться от своих показаний. Ждал своей очереди вместе с другими заключёнными. Наконец, его вызвали. За столом сидело несколько человек. Спросили имя, фамилию. Виктор Андреевич Родионов… Они поговорили между собой, он не прислушивался. Потом все ушли, он остался один, и ждёт, что его поведут обратно в тюрьму. Вдруг кто-то заходит и говорит: «Чего же вы не идёте домой? Вас ведь оправдали. Что, на трамвай денег нет?» Дали 10 копеек, и он приехал домой. Между прочим, я потом слышала и от других, что когда просочился этот слабенький ручеёк освобождений, людей отпускали безо всякого разбирательства, и при этом ничего особенного не происходило. Как раньше у них был процент, так и тут дали процент. И Виктор попал в этот счастливый процент. Может быть, они обратили внимание на дикость признаний Виктора. То, в чём он признался, было не под силу не только одному человеку, но и тысячной организации.

Потом мы с ним часто встречались, до самой войны. Он жил недалеко от нас, на Беговой. Из наших друзей почти никого не осталось, и у него тоже. И было нам о чём поговорить! Во время войны он пошёл на фронт и погиб.

Почему люди на следствии признаются в фантастических преступлениях, почему оговаривают друг друга, нам к тому времени стало более или мене понятно.

8. Перед войной

1937–1938 годы были кульминацией. Потом появилось ощущение, что острый период кончился. Жизнь, казалось, входила в обычную колею. Правда, отца уволили из Академии им. Фрунзе за опоздание. Он был там на самом хорошем счету, но ничего нельзя было поделать — только недавно ввели драконовские законы «о борьбе с опозданиями». Но он довольно быстро устроился снова — в Артиллерийскую академию. Там тоже кого-то уволили, нужен был преподаватель. А я кончила институт, и меня направили в Академию им. Фрунзе. Там ещё помнили отца. Тяжело было. К тому времени Академию уже основательно почистили, но и при мне раза два оказывалось, что «к нам затесались шпионы и вредители, а мы проглядели». Парторг зачитывает резолюцию: повысить бдительность, осудить, потребовать самого сурового наказания. И я принимала в этом участие. Я говорила отцу: «Как мы можем жить, как мы можем уважать друг друга? Я не могу уважать никого, кто делит со мной позор моего существования».

А материально стало легче. В последний год перед войной у отца было твёрдое положение, он делал блестящую преподавательскую карьеру, ему предлагали писать учебники по военной терминологии, по методике. И я довольно много зарабатывала. Иногда мне поручали индивидуально заниматься с высокопоставленными лицами. В Академии им. Фрунзе, где я работала, обучение языкам велось на высоком уровне. Когда требовались хорошие преподаватели, обращались к нам.

Однажды меня вызвал начальник кафедры полковник Куцнер, попросил подобрать группу для важного военного учреждения и вместе с ними туда пойти. Оказалось, речь идёт о Четвёртом управлении. Я испугалась. Мы знали, как много народу оттуда взяли, и радовалась, что о нас забыли. Но все мои ссылки на перегруженность уроками не помогли.

Несколько лет назад я приходила туда, как в родной дом. А теперь — всё совсем другое, ни одного знакомого лица, как будто я здесь впервые. Выписали пропуска. Встретили нас трое работников, один из них подполковник, Виктор Александрович Герасимов.

Я стала заниматься с ним индивидуально. Он прилично знал язык, нуждался только в разговорной практике. Оказался интересным человеком. Меня волновало то же, что и два года назад, и, как всегда, я не могла воздержаться от высказываний. Но он, по-видимому, обо всём давно передумал. И просил: «Да

бросьте, неужели вы не можете ни о чём другом говорить?» «Не могу и не хочу. Во мне это сидит, как заноза».

Когда Ежов пришёл в НКВД, Разведупр и контрразведка НКВД объединились. Не знаю, остались ли они объединёнными, когда Ежова убрали. После урока мой ученик частенько говорил: «Мне надо ехать на Лубянку, а потом я вас подброшу к метро». То ли учреждения ещё не разделялись, то ли он работал в обоих. Мне было ясно, что мой ученик настроен, как и я, но, тем не менее, он делал своё дело. Мы всё время встречали таких людей, которые ненавидели систему так же, как и мы, и, как и мы, работали на неё так, будто были ей преданы всей душой. Это превосходит Оруэлла и Кафку! В то время студентов в Академии обучали по специально подобранным русским текстам, переведённым на английский язык, и никакой слушатель, когда я вела урок, не мог бы ко мне придраться. Главное было — хулить всё иностранное и прославлять нашего великого вождя, без этого не проходил ни один урок. Но один раз я попалась. Меня опять вызвал начальник кафедры и, с жалостью глядя на меня, сказал: «Поступило сообщение, что вы на занятиях хвалите Гитлера». Я посмотрела на него не с недоумением даже, а с ужасом: «Неужели вы этому верите?» «Нет, не верю, но вы, может быть, неосторожно выбираете материал». «Мы не выбираем материал, нам его дают. Нам подчёркивают, что читать студентам». Дело было так. Мы читали и переводили на английский статью из «Известий» о том, что Гитлер берёт одну область за другой и в то же время заявляет, что не хочет войны. И я позволила себе заметить: «Конечно, зачем ему война, если он может от западных империалистов получить всё без войны?» Один из семи курсантов моей группы написал, будто я сказала на занятиях, что Гитлер не хочет войны. Донос бездарный, но стукач должен стучать, а начальник — реагировать. Он говорит: «Будьте осторожны, следите за каждым словом». И вот при таких обстоятельствах мне тут же в Академии дают нового адъюнкта для индивидуальных занятий. Я сижу с ним на уроках и сама завожу опасный разговор, начинаю всё с того же: где он, мой ученик, был в 37-м году?

Приближалась война. Кого надо, уже посадили. Остался Мулька, слегка поблекший[23]. Мы уцелели. Вроде бы опасность огульных, массовых арестов миновала. Мы снова стали ходить друг к другу в гости. И как-то у Мульки встретились со старым большевиком А.А.Сольцем. То, что Сольц на свободе, мы, конечно, знали[24], иначе бы на Мульке, его родственнике (Грета, жена Мули, — племянница Сольца), отразилось бы, но к этому времени Сольц в политическом отношении сошёл на нет. Заведовал каким-то музеем.

В начале 20-х годов Сольца называли «совестью партии». Он был председателем Партийного контроля. Приблизил к себе Мулю. Муля оказался в высоких сферах — был знаком с Марией Ильиничной Ульяновой и Емельяном Ярославским. Через него и мы приобщились к этим сферам. У Сольца в Доме правительства, где кинотеатр «Ударник», я познакомилась с Марией Ильиничной. Маленькая, худенькая, с высоким лбом, она была так похожа на Ленина, что в первый момент в её присутствии мы чувствовали себя неуютно, но она располагала к себе и, вероятно, была неплохим человеком. В эти годы у неё было трудное положение: друзья гибли один за другим, а она ничем не могла помочь.

И вот, в доме у Мульки, мы снова встретили Сольца. Он постарел и не производил былого импозантного впечатления. Шёл сороковой год. Только недавно кончилась лихорадка арестов. Заговорили на ту самую тему. Сольц возмущался: «Брали людей, возводили нелепые обвинения. И как все трепетали перед Ежовым!» Он назвал крупные имена. А вот он — не боялся, за кого-то заступился. А нам с отцом было жгуче интересно узнать: что же он думает на самом деле? И мы его всё подогревали. И когда он совсем уже был «готов», я вдруг говорю — так мягко, осторожненько: «Разве дело только в Ежове? Что-то неблагополучно в партии». Сольц вскинулся: «Как — партия? Партия никогда не ошибается!» Отец меня поддержал, и Сольц вдруг обнаружил, что говорит с людьми, которые замахиваются на партию! «Вы работаете в Академии, с командирами? Вы же можете нанести непоправимый вред обороноспособности страны! Как вас там держат?!» Тут я не выдержала: «Держат, пока никто не донёс. Но конечно — кто-нибудь донесёт». Он понял намёк: «Я — не доносчик». Ему лично старое воспитание не позволяло, но он сказал, что надеется, что кто-нибудь другой доложит: «Вас близко к Академии нельзя подпускать!» И до чего же стало противно! Что это за человек, если верит в такую глупость, такой бред, что, дескать, был один злодей — Ежов, а теперь его нет, и всё хорошо. Кажется, мы были тогда у Мульки в последний раз. Нам было неприятно, что мы подводим его своей несдержанностью. Собираясь в гости, мы уговаривались: «Не будем высказываться. Зачем пугать людей?» Но каждый раз не выдерживали. Постепенно бы теряли друзей, а новых особенно не приобретали — такое было время.

Пакт с Германией и финскую войну я застала в Академии; эти события тоже надо было обсуждать на занятиях, давать для перевода тексты о том, как «на нас напала финская военщина».

«Освободили» Польшу, и советским гражданам стало

интересней жить. Среди преподавателей было много жён военных. С польской кампании возвращались героями. Главное, появились кофточки, шарфики, пуговицы! Началась «красивая жизнь». Мир расширился! Правда, в «освобождённые районы» пускали только по специальным пропускам, но вот мы узнаём, что Академия едет на лето в Гродно в лагеря. Конечно, первые, кто там оказался, сняли в магазинах сливки, но всё равно — кое-что и нам осталось. Гродно было голубой мечтой. Поехала чуть ли не половина преподавательского состава, в том числе и я.

Мы были в Гродно, когда немцы взяли Париж, и Гитлер выступал по радио из Гранд-Опера. Рядом со мной сидел генерал Н., он слушал с удовольствием. Я спросила: «Вас это радует?» «Пусть они друг друга сожрут». «А вы не думаете, что и до нас дойдёт?» То, что Гитлер — в Париже, я приняла как личную трагедию. В Гродно было несколько преподавателей, которых посадили в 37-м и освободили в 39-м, после снятия Ежова. С одним из них, полковником, мы как-то вечером гуляли. Он совсем не был похож на военного — небольшого роста, хилый, и всё кашлял. Пошёл дождь, я говорю: «Вы простудитесь». И вдруг он отвечает: «Я прошёл через такое, что теперь меня ничто не возьмёт». Тут мы поговорили! Виктор, который мне встретился первым из немногих освободившихся в то время, был очень сдержанным человеком. А этот полковник рассказал подробно, что с ним проделывали. И он ни в чём не признался. «Значит, всё-таки можно выдержать и не подписывать протоколов?» «Не принимайте это чересчур буквально. Нельзя выдержать. Им просто от меня было мало нужно». Командир корпуса показал на него, будто он — член татарской националистической организации. Когда ему предъявили показания, он был готов убить командира. Им дали очную ставку. «Я смотрел на него и, кроме ужаса и жалости, не чувствовал ничего. Он говорил голосом автомата. И лица я бы не узнал, так его изуродовали».

Этот человек не простил! Он жил воспоминаниями. В начале войны он исчез — погиб или попал в окружение. Есть такая вещь, как русский патриотизм, но он был татарин. А советским патриотом он точно не был. Если он попал в плен, его не удалось бы выдать после войны нашим — он бы скорее покончил с собой, чем вернулся.

Мой следователь потом на допросах добивался, с кем я встречалась из тех, кто сидел и вышел, потому что в романе Блондена описываются методы ведения следствия. И когда я не могла больше выдержать, я назвала этого полковника. Я старалась выгородить его, даже считая, что его нет в живых. Рассказала, что на него были ложные показания, рассказала об

очной ставке с командиром. Следователь был доволен, что получил от меня хоть что-то, дал закурить.

Разговоры с полковником были для меня самым интересным событием в этом летнем лагере. На ловца и зверь бежит… А в это время наши наперегонки бежали на базар. Иногда кто-нибудь брал меня с собой. Боже, каким жалким зрелищем был этот базар! Но наши женщины были потрясены: какие детские вещи! Как простые крестьянки одевают детей! На базаре с нами иногда заговаривали евреи. Год назад они с радостью встречали советские войска, но теперь все их иллюзии поблекли, ничего хорошего от новой власти они уже не ждали.

Комната, в которой я жила, была реквизирована у местной жительницы. Можно себе представить, как она ко мне относилась. Я попросила у неё тряпку и ведро, и она вдруг закричала: «Берите, берите, это всё ваше! Что вы меня спрашиваете!» Я ей говорю: «Ничего моего тут нет. Я не виновата, что мне отвели у вас комнату. Я — на службе. Мне просто нужно вымыть пол». И она как-то со мной примирилась и в дальнейшем относилась вполне терпимо. Кто-то у неё уже был арестован, сын, кажется.

Вовсю шло гитлеровское наступление в Европе. По радио передавали о том, что французская армия разбита, беженцы на дорогах. Наши комментировали сдержанно, но весьма благожелательно по отношению к немцам. В это время мы поехали за город на пикник. Место называлось «Каскады». Так уж устроен человек — я хорошо помню, какая там была прекрасная река и какой лес. У меня до ареста сохранялось несколько фотографий, на них виден столик, уставленный бутылками, и ты сидишь рядом на траве. Следователь добивался: «Это водка?» «Нет, — говорю, — пиво». «Как же — пиво? Водку пили!» «Мне случалось и водку пить. Если это в ваших глазах преступление, пожалуйста, пишите: водка». Но главное: кто такой тот, кто такой этот? Я помнила — здесь сидел начальник курса, здесь — комиссар. А кругом — курсанты, преподаватели и преподавательницы. «А какие у вас были с ними отношения?» Какие могут быть отношения? Вместе на пикник поехали — и всё. С Академии следователь не поживился…

В тот последний перед войной год мне сделали серьёзную операцию. Я получила от месткома путёвку в санаторий. Была зима. Почти всё время я проводила одна. С утра после завтрака уходила в соседние деревни, и после обеда — опять. Придя в себя, постепенно начала общаться с людьми и познакомилась с одним биологом. Он по работе соприкасался с академиком Лысенко, и от него я узнала потрясающую вещь: оказывается, Лысенко вовсе не великий учёный, а жулик и негодяй, и все его

открытия — сплошная туфта. Прибавился ещё один штрих к общей картине, а уж эту сторону советской системы — положение в науке — мы никогда под сомнение не брали. Прекрасно я провела время в этом санатории! Не могла дождаться встречи с отцом, чтобы рассказать ему о том новом для нас, что узнала. Он тоже был поражён. И когда встретил в лагере генетика Владимира Павловича Эфроимсона, уже был подготовлен к его рассказам.

9. Во время войны

Я вернулась на работу. Жизнь стала спокойнее, я собиралась летом поехать на Кавказ с приятельницей из Академии. За полтора месяца до войны отца призвали в армию на переподготовку. Был у него чин капитана, списанный с потолка. В Разведупре у него была должность, соответствующая по зарплате и прочему генеральскому званию — он ведь резидентом был, а когда вводили новые знаки различия, он сидел в тюрьме в Дании, ему и дали самое невысокое звание, тем более, что он беспартийный. Его отправили на три месяца в Нару, недалеко от Москвы. Раз приехал домой на выходной, вроде как в командировку, учебную литературу получать. Сказал: «Готовимся к войне с Германией. Сказали, что война неминуема». Через неделю снова приехал и сообщил: «Война отменяется. Все слухи о войне, оказывается, провокационные». Значит, думаю, можно ехать на Кавказ. Я ведь Бог знает, где побывала, а Кавказа не видела. 22-го июня, в воскресенье, стояла над сундуком и раздумывала, что взять в дорогу. Накануне из Одессы приехала мама, чтобы забрать вас, детей, к себе. Вдруг телефонный звонок. Звонит моя подруга Джека: «У тебя радио включено?» «Нет, конечно». «Напрасно, включи. Война». Ну, я перестала вещи собирать.

Мои воспоминания не могут быть интересными, потому что я способна рассказать только о событиях из своей жизни, а о чувствах и мыслях, даже на «общественную» тему, мне говорить трудно.

Перед самой войной я давала уроки английского языка в Генштабе. В первый раз после большого перерыва получила доступ к иностранной прессе. Мы с учеником-полковником читали английские газеты за 1940 год о массированных налётах немецкой авиации на Лондон. В наших газетах об этом упоминалось только мельком. И первая мысль после звонка Джеки была: Нам предстоит то, что было в Англии. Отец ушёл в свою часть. Скоро началась эвакуация, Академия уехала в Ташкент. Мы решили отправить детей с мамой на Восток, а мне пока оставаться в Москве. Ведь если я уеду, порвётся с ним связь.

Я раздумывала, куда бы пойти работать. Решила, что сейчас главное — бить Гитлера. Война эта — наша, как бы мы ни относились к советской власти. Хотела пойти на военный завод, чтобы работать на войну. Отец приехал на пару дней, сказал: «Нечего тебе делать на военном заводе». В это время в газетах сообщалось о пресс-конференциях Совинформбюро, которые

проводил заместитель наркома иностранных дел Лозовский. Отец позвонил Лозовскому, которого знал в молодости, сказал, что уходит на фронт, и спросил, не найдётся ли у него для меня работы. Лозовский отозвался очень живо, просил прийти назавтра. Я пришла, сказала, что хочу работать «на войну». «Можно вас взять и в Соинформбюро, и в наркомат, но больше всего вы нам подойдёте для работы с иностранными корреспондентами». Я говорю: «Работать с иностранцами мне бы не хотелось. Боюсь, что после войны это может повредить Александру Петровичу в связи с нашей прошлой работой за границей». «О чём вы говорите! — возразил Лозовский. Да будет ли это „после“?! Вы знаете, какое положение на фронте? Уже Смоленск взят. Немцы подходят к Москве. Сейчас речь идёт о том, быть нам или не быть».

Он объяснил, почему я подхожу для работы с иностранцами: хорошо говорю по-английски — лучше его самого. Бывала за границей. «Наши люди, при самых лучших намерениях, допускают иногда грубые просчёты, глупости. А для нас этот участок теперь — важнейший. От того, как будут корреспонденты освещать события, зависит американская помощь». Я сказала: «Мне трудно будет скрыть от иностранцев, что я жила в Америке. У меня акцент американский». Лозовский посоветовал простое объяснение: была в командировке с мужем, который работал в Амторге[25]. «Так что не скрывайте, что жили в Америке. И вообще — чем меньше врать, тем лучше».

Лозовский позвонил в Отдел печати, и я встретилась с начальником отдела Пальгуновым. Тот тоже, по-видимому, решил, что я им подхожу, предложил прийти на следующий день: «Будет ещё один товарищ, с ним вы обо всём договоритесь». Этот «другой товарищ» сперва расспрашивал меня, потом сказал: «Как раз недавно приехал один американец, ему нужен секретарь. Вот номер его телефона. Конечно, мы будем к вам время от времени обращаться. Нам нужно знать, что собой представляют эти люди, как относятся к Советскому Союзу. И всё такое прочее. Я вам буду звонить. Не беспокойтесь, мы вас не оставим, будем давать инструкции, наставлять. Об оплате договоритесь с американцем сами». Не очень мне всё это понравилось, но делать нечего, я уже согласилась.

Американца, корреспондента Чикаго Дейли Ньюз, звали Арчибальд Стил. Я ему читала советские газеты и ходила с ним, куда ему надо было, в качестве переводчика. Первое время я была чрезвычайно осторожна, боялась сказать лишнее слово. И он, кажется, единственный корреспондент, с которым у меня не сложилось никаких личных отношений. Через несколько дней

пришёл ко мне тот самый «товарищ» — ни имени его, ни фамилии я не знала: «Напишите, с кем дружит корреспондент, куда ходит, как относится к Советскому Союзу». Я написала, с кем Стил дружит из иностранцев, но твёрдо решила ни одного русского имени никогда не упоминать. Написала также, в какие учреждения мы с ним ходим. А что касается отношения к Советскому Союзу, то я спокойно писала, что хотела. Даже если я точно не знала, то представляла себе отношение к нам нормального американца. Ему от этого никакого вреда. Впоследствии я даже позволяла себе приписывать иностранцам свои собственные мысли! Могут же они критиковать отдельные порядки! И надеялась с помощью этой критики кое-что исправить. Надеялась, конечно, напрасно.

Я была осторожна со Стилом, во-первых, потому что он и не располагал к откровенности. Кроме того, я действительно серьёзно отнеслась к тому, что сказал Лозовский, — что от отношения корреспондентов к Советскому Союзу зависит американская помощь. Как это ни странно, вся моя оппозиция к системе прошла. Мне даже приснился Сталин, и во сне я чувствовала к нему любовь. Вот до какой степени я была настроена на победу! И старалась представить иностранцам советскую действительность в самом лучшем свете.

Корреспондентов понаехала уйма, представители всех газет. Советский Союз их очень занимал. Особенно их интересовали 1937–1938 годы, ведь с тех пор прошло не так много времени. Они меня спрашивали: «Как вы относитесь к процессам?» Но я эти разговоры пресекала: «Меня процессы совершенно не занимают. Никого из русских они не занимают. Сейчас, когда гибнут миллионы, какое имеет значение прошлое?» Американец Уолтер Керр однажды сказал мне: «Вы знаете, на Западе было много спекуляций — почему обвиняемые на процессах признавались в ужасных преступлениях». И не дожидаясь моего ответа, боясь, что я оборву разговор, продолжал: «Выдвигались разные теории. Одни считали, что арестованных пытали, другие — что применялись химические методы воздействия, гипноз. Но недавно появилась книга, где даётся очень правдоподобное объяснение». Я, конечно, навострила уши, но не показываю вида, что меня это интересует. «Вам знакомо такое имя: Артур Кестлер?» «Конечно, знакомо. Это венгерский писатель-коммунист». «Он больше не коммунист. Стал „ренегатом“.» Меня это ещё больше заинтересовало: «Да? И что же?» «Кестлер написал замечательную книгу, прототипом её героя считается Бухарин». Я бы дорого отдала, чтобы эту книгу получить. Может, у Керра она была, но я не спросила. И только через много лет, в

60-х годах, прочла эту книгу в самиздате.

Стил тоже заводил со мной всякие разговоры. Ему хотелось знать, как относятся советские граждане к тому, что к Москве приближаются немцы. Но через меня он ничего узнать не смог. Каждый раз, как он спрашивал о том, что я собираюсь делать, если немцы придут в Москву, я отвечала: «Надеюсь, что они не придут». И вот 15 октября, когда я ещё жила в Покровско-Стрешневе и ездила оттуда в «Метрополь» на работу, Стил говорит: «Вы должны решить и сказать мне завтра, что вы собираетесь делать, если немцы займут Москву». Я ответила, как всегда: «Надеюсь, что они не придут». «Я это уже слышал. Очень хорошо, надейтесь. Но надо быть готовым к худшему. Дело обстоит так. Завтра специальным поездом, вместе с дипломатическим корпусом, мы уезжаем в Куйбышев. Русский штат поедет на машинах послезавтра. Вы можете ехать в моей машине». Я тогда ещё не решила, что делать, но по дороге домой в Покровско-Стрешнево видела, что Москву оставляют. Это была настоящая паника. По моему убеждению, немцы могли взять Москву голыми руками, потому то в городе не было власти. Я думала потом, что это бегство из Москвы будет описано много раз. На Западе достаточно русских, которые тогда были взрослыми, и это помнят. Я ехала из дома на трамвае. Люди довольно миролюбиво и откровенно переговаривались. Те, которые бежать не собиралась, беззлобно относились к тем, кто бежал. На трамваях, с узлами, бежали простые люди. На своих машинах, поездом удирало начальство. У какой-то женщины-крестьянки не было никаких узлов. Её спросили: «А вы что, никуда не собираетесь?» «А зачем мне от немцев бежать? Чего они станут нас трогать? Хлебушек-то всем нужен». Почему евреи бегут, понимали все. Тогда же слышала, что бежал НКВД, что перед этим жгли бумаги. Дела они, как позже выяснилось, не сожгли все вывезли, но площадь Дзержинского была, действительно, покрыта пеплом от каких-то бумаг, это я сама видела.

Назавтра я сказала Стилу, что решила ехать, проводила его, опять поехала домой, встретилась с Джекой. Она провела со мной эту ночь, я собрала вещи, кое-что отдала ей. Утром поехала в американское посольство. Там — толпа: русский штат посольства, все переводчики. Я уже сидела в машине, когда подошла с двумя детьми Мэри, бывшая американка, из тех, кто сотрудничал с нами в Америке. Она боялась остаться с детьми на погибель и привела их в посольство, надеясь, что их, рождённых в Америке, согласятся взять. Первый секретарь ещё оставался в посольстве, но он ничего для неё не сделал, и она бросилась с плачем ко мне,

умоляя спасти детей. Это было душераздирающее зрелище, но я помочь не могла.

Приехали в Куйбышев. Корреспондентов и переводчиков поселили в «Гранд-Отеле». Корреспондентам дали по комнате, а нам — одну на четверых. И всё-таки мы были в гораздо лучшем положении, чем просто русские. То есть просто русских, рядовых советских граждан, в гостинице не было, они устраивались, как умели. Но внизу, в подвальном помещении гостиницы, было общежитие для писателей. Проходя мимо, я увидела полуодетого Эренбурга, койка его стояла в общежитии, вместе с семнадцатью другими.

К моей большой радости, я встретила в Куйбышеве Мэри и её мужа Чарли. Оказалось, что Радиокомитет, где работала Мэри, эвакуировался поездом на следующий день после нас. Была борьба за места в вагонах, им удалось сесть в последний момент. Я чувствовала себя виноватой, что не помогла им в Москве, оставила её плачущую, с детьми, и была рада, что теперь смогу их подкормить. Было голодно, но в специальном магазине для иностранцев хлеб, масло и другие продукты продавались без ограничений. А при мне было корреспондентское удостоверение.

Мы, работающие с иностранцами, оказались в Куйбышеве в привилегированном положении, и к нам частенько наведывались гости. Русские вообще тогда почувствовали какую-то необычную свободу, перестали так страшно всего бояться. Приходя в «Гранд-Отель», встречались там с иностранцами. Многие потом за это поплатились. Там я познакомилась с Бородиным, когда-то самым знаменитым человеком в Китае, с поэтом Щипачёвым. Правда, писатели нуждались только в первый год войны, уже в 42-м они сорганизовались, стали получать специальные пайки.

В Куйбышев эвакуировалась партийная элита, а также Большой театр. Я встретила своего знакомого, администратора театра, и спросила: «Ты не голодаешь? Я могу помочь». «Это я-то голодаю? Да если мне понадобится пушка, мне её доставят. За билет в Большой театр дадут что угодно». Рассказывали, что некоторые балерины получали посылки от своих покровителей из осаждённого Ленинграда! Корреспонденты всё это видели и поражались. Маклоглин говорил: «Что за страна, какая страшная страна!» Это было, как пир во время чумы. Англичанин Пол Холт уверял, что и Черчилль, и английский король живут на свои пайки, правда королю иногда привозят из его поместий дичь. Ни один русский такому не поверит, но когда я выразила сомнение, Холт очень обиделся: «Поймите, король не может, как я, покупать продукты на чёрном рынке!»

В конце ноября в Куйбышев приехала новая группа

корреспондентов, среди них англичанин Паркер и австралиец Маклоглин. Паркера потом, с помощью переводчицы Валентины, завербовало МГБ. Все, кто работал с иностранцами, давали о них сведения, но Валентина была настоящим сотрудником органов: всё время тёрлась среди иностранцев, держалась с ними особенно свободно; чувствовалось, что в этом и заключается вся её работа. У них с Паркером начался роман, она открыто поселилась с ним вместе. И он настолько попал под её влияние, что остался в Советском Союзе. Правда, он и раньше был левым.

Переводчики разобрали всех корреспондентов, остался один, австралиец Маклоглин. С первого же дня корреспонденты нуждались в секретарях, и Стил попросил меня поработать также и с австралийцем. Сказал, что Маклоглин — прекрасный человек и хотя и алкоголик, но в пьяном виде совершенно безобиден. Я пошла к нему в номер, стала объяснять, что я умею. Он прервал: «Бросьте это. Мне нужно только человеческое тепло. Пожалуйста, выпейте со мной». Он был слегка нетрезв. Я выпила немножко. Он заявил, что, конечно, ему нужен переводчик, но главное — иметь дело с человеком. А он видит, что я симпатичный человек. Попросил рассказать о себе. Потом стал распространяться о своих симпатиях к Советскому Союзу. Он восхищается стойкостью русского народа. Не надо, говорит, путать австралийцев с англичанами. Англичане — снобы, а австралийцы очень демократичны, сочувствуют угнетённым. А тут народ сам хочет строить свою судьбу и терпеливо переносит все тяготы. Он уже слышал, что некоторые корреспонденты недовольны — цензура их не устраивает, то, другое. «Не беспокойтесь, у меня не будет проблем с цензорами. Я никогда не напишу ничего, что может повредить Советскому Союзу. Цензоры лучше знают, что им нужно. В этом отношении у вас будет лёгкая служба». Я-то знала, что на цензуру жаловались даже представители коммунистических газет, а «просто друзьям Советского Союза» приходится труднее всего. Но я ничего ему не сказала: ладно, мол, сам увидишь. Он продолжал пить и вдруг, после всех разговоров «на высоком уровне», заявляет: «А что касается нашего быта, то это — как вы захотите. Можем снять квартиру. Я человек покладистый, со мной можно жить». Я поняла, что у этого интеллигентного и прогрессивного иностранца несколько превратные представления о моих обязанностях.

Тогда, в Куйбышеве, для меня было тяжёлое время. Дети где-то в эвакуации, связь с отцом потеряна. Я очень остро переживала всё, что происходит в стране, и мне было абсолютно не до шуток и не до романов, тем более, что я вообще к этим вещам всегда относилась совсем не легкомысленно. Маклоглину я устроила

классическую сцену. Оскорблённая, встала и заявила: «Простите, вы не совсем поняли мою роль». Потом мне самой было смешно. Я ушла наверх, к своим коллегам-переводчицам, с которыми у меня тоже не сложились отношения. Девицы эти чувствовали себя в своей стихии. Жилось им весело: в ресторане музыка, танцы, мужское общество. На следующее утро все переводчицы ушли к своим корреспондентам. Явился совершенно трезвый Маклоглин: «Я вас чем-то обидел?» «Нет, но вы на меня не рассчитывайте, я у вас не работаю». И закрыла дверь. За него просили его коллеги, и, в конце концов, я стала с ним работать. Держался он безукоризненно, очень боялся меня обидеть. С утра был трезвым и работал. А потом пил, и я старалась с ним не встречаться. В это время у него начались неприятности с цензурой, с Отделом печати. Он, действительно, был всей душой за Советский Союз, но ужасался глупости цензоров: «Они же не понимают своей пользы, что они вычёркивают? Ни один клеветник не причинил этой стране столько вреда, как Отдел печати!» В войну вступила Америка, Австралии угрожали японцы, Маклоглин загрустил: «Какого чёрта я здесь сижу?» Стал критически относиться к Советскому Союзу. Рассказывал мне о том, что между собой говорят корреспонденты. Вообще он был мне ближе, чем другие, он действительно был демократом, «человеком доброй воли». И я с ним тоже говорила довольно откровенно. К тому времени немцев отогнали от Москвы, и ко мне вернулось моё обычное отношение к советской системе.

15 декабря мы прилетели на самолёте на несколько дней в Москву, чтобы показать иностранцам лагерь военнопленных. Потом опять ненадолго уехали в Куйбышев и окончательно вернулись в Москву в начале 1942 года.

Лагерь военнопленных находился под Москвой. Мы зашли в длинный барак, и я помню ощущение ужаса от встречи с немцами. Пленные стояли у стены, проход был неширокий, и я боялась к ним прикоснуться, хотя была в шубе. Стали их интервьюировать, спрашивать, где и как они попали в плен. Один офицер сказал, что раньше он воевал во Франции. Корреспонденты спросили с надеждой: «А где были тяжелее бои — здесь или во Франции?» Неожиданно для всех немец ответил: «Во Франции. Воевать здесь, конечно, труднее: холодно, и никакой цивилизации нет. Но там, где французы дрались, они дрались лучше русских». Потом корреспонденты обсуждали между собой: действительно ли пленный так считал или просто хотел выразить своё презрение к русским?

Большинство пленных офицеров знали английский, но солдаты говорили только по-немецки, и я переводила с немецкого

на английский. Из переводчиков в эту поездку взяли только меня. И в другой раз, когда мы посетили лагерь военнопленных возле Урала — тоже меня взяли.

В Москве мы поселились в гостинице «Метрополь». Москва была пуста. Я ходила в Наркомат иностранных дел и на Центральный телеграф на улицу Горького и среди дня встречала за весь путь одного-двух человек.

Потом корреспондентов повезли в освобождённые от немцев районы. С нами были начальник Отдела печати Пальгунов и ещё один цензор. Проезжали Истру, Новый Иерусалим, ехали по разорённым, страшным местам. Истра была вся разрушена. От деревень остались одни печные трубы. Приехали в подмосковную деревню, где уцелело несколько домов. Там стояла виселица. Пригнали народ для интервью. У одной девочки были обморожены кисти рук, пришли ещё какие-то калеки — несчастные, оборванные, страшные на вид, и мы их интервьюировали. Я переводила. Один крестьянин говорил о немцах с большим ожесточением и вдруг ляпнул: «Если раньше мы ждали немцев, то теперь я сам первый пойду воевать». Я надеялась, что Пальгунов и другой цензор не расслышали этих слов.

Немцы устроили в этой деревне укреплённый район. Население выгнали, дав 10 минут на сборы. Стояли сильные морозы, и многие помёрзли на дороге. Конечно, корреспонденты были потрясены: впервые увидели настоящие страдания, которые немцы причинили народу.

После того, как мы «поработали», нас пригласили в дом. На столе — белая скатерть, сверкает самовар, и стол ломится от закусок. Настоящий банкет! Обжора Пальгунов первый кинулся на еду: «Давайте закусим!» Корреспонденты опешили. Пришли в ужас. Один из них стал расспрашивать хозяйку, которая нас обслуживала. Она говорит: «Ой, что эти немцы творили! Всё у нас забрали!» «Однако вам оставили самовар». Конечно, самовар был не её. Это всё привезли специально, чтобы принять корреспондентов. А мы, готовясь к поездке, взяли с собой, по совету Маклоглина, продукты, чтобы раздать жителям. Но мы поняли, что здесь, в этой комнате, бессмысленно оставлять провизию. Перед отъездом, когда садились в машину, мне удалось кому-то из деревенских сунуть пакет. В машине корреспонденты между собой возмущались: «Какая мерзость! Что они делают! Как можно среди такого несчастья устраивать банкет? Неужели они не понимают, какое это производит на нас впечатление?» Один из них объяснил: «Понимаете, столько лет за границей писали, что в России голод, русские всегда это

отрицали и привыкли иностранцев угощать, изобилие своё показывать. И тут — по инерции не сообразили, что это же немцы народ разорили».

Иностранцы были недовольны своим положением, говорили: «Какие же мы военные корреспонденты, если фронта не видим?» К войне их не подпускали на пушечный выстрел. К тому же, иных мучила совесть. Они хорошо зарабатывали, жили с такими удобствами, каких во время войны ни у кого не было, разве только в Америке. Но американские военные корреспонденты были на фронте. А тут, в Москве, они как сыр в масле катались.

Маклоглин не смог выдержать. К тому же вообразил, что влюблён в меня. А раз я не отвечаю взаимностью, то нечего ему здесь делать. Уехал, и я перешла работать к другому корреспонденту, Джефу Блондену, с которым мы вскоре подружились. В это время шла битва за Сталинград. Мы были далеко от фронта, но следили за сводками, которые поступали в разное время от Отдела печати. Он не мог обойтись без переводчика, и поэтому мы много времени проводили вместе.

Отец Блондена был чуть ли не один из основателей Социалистической партии Австралии. В начале 20-х годов товарищ отца по партии приехал в Россию, но в «великом эксперименте» разочаровался, и у Блондена с детства не было иллюзий в отношении Советского Союза. Если Маклоглин, не будучи социалистом, был вначале настроен просоветски, то Блонден — нет. В экономическую сторону дела он не вдавался: строить социализм — дело нелёгкое, естественно, что приходится терпеть лишения. Он интересовался, главным образом, тем, чем и мы все: арестами.

У нас начались откровенные разговоры. У него была с собой книга супругов Уэбб, посетивших Советский Союз в конце 20-х годов. Книга — апологетическая, но в определённом смысле довольно информативная, со списками членов ЦК и военного командования. Блонден предложил: «Посмотрим, кто из этих людей погиб во время чисток». Стали мы отмечать галочками погибших, впечатляющая получилась картина! Я его просветила на тот счёт, что пострадала не только партийная верхушка, что погибли или оказались в лагерях миллионы рядовых советских людей из городов и деревень.

Всем, что происходило в Советском Союзе, он глубоко интересовался. Позже у него, конечно, появились другие источники информации, кроме меня.

Корреспонденты, так сказать, подбирались к нам, русским, хотели узнать, что мы за люди. Кроме сотрудников определённого учреждения и нас, секретарей и переводчиков,

вокруг них всё время были молодые девушки. Некоторых специально подсылали к иностранцам. Иностранцы были для многих девиц таким соблазном, перед которым невозможно было устоять. Одну из этих девушек мне удалось спасти. Встретила я её в номере знакомого корреспондента, и она мне сразу показалась порядочной, интеллигентной, непохожей на тех, которые обычно крутились возле иностранцев. Надо понять ситуацию: русские, встретясь у иностранцев, относились друг к другу с подозрением. Однако я решила с ней поговорить и, уходя к себе, сказала, в каком номере живу. Она ко мне зашла, и мы разговорились. Как видно и она почувствовала ко мне доверие. Рассказала, что познакомилась с иностранцем случайно. Я спросила: «Вы не боитесь с ним встречаться?» «Очень боюсь. Но мне так интересно. Расскажите, пожалуйста, что он за человек. Это очень неприлично, что я к нему пришла?» Я сказала, что человек он вполне хороший, но при существующих у нас порядках видеться с ним — опасно. Она ужасно расстроилась: «Но я ничего дурного не собираюсь делать. Я кончила Институт иностранных языков, а по-английски говорить не с кем. Ведь теперь они наши союзники». И уходя, сказала: «Всё-таки мне не хочется отказываться от этого знакомства. Это так интересно — узнаёшь другую жизнь».

Если бы это продолжалось, через два-три визита её бы заметили, вызвали бы в МГБ и сказали примерно так: «Вот вы ходите в „Метрополь“. Пожалуйста, ходите, заводите побольше знакомств. Дадим вам явку, кличку, а вы несите нам материал. Будете хорошо работать — вознаградим». Одним словом, завербовали бы. А попасть к ним однажды, значило никогда не вырваться. И, как потом оказалось, девушкам дают работать, пока в них есть надобность, а потом сажают. Всех их посадили. В МГБ хорошо понимали, что, побывав с иностранцами, девушки по существу перестают быть советскими. Вот если какой-то из них удавалось то, что удалось Валентине, которая помогла завербовать англичанина Паркера, тогда другое дело. Да и то ей повезло, что Паркер умер после Сталина, если бы раньше — её бы тоже посадили. Сколько я таких девушек потом встречала в лагерях и тюрьмах! Ведь всякий контакт с иностранцем расценивался как преступление. Даже, если он на улице спрашивал дорогу, его полагалось отвести в милицию. Моё положение было иным: я встречалась с иностранцами по службе, меня не могли шантажировать тем, что общаюсь с ними незаконно. А когда кончила работать в Отделе печати, я обегала «Метрополь» и знакомых иностранцев за версту. Впрочем, в конце концов и меня ведь посадили: я тоже «плохо работала».

Говорить с той девушкой начистоту я не могла, я её видела в

первый раз. Но, встретив её опять, сказала прямо, что ей грозит. Может быть ещё не поздно: не так уж сразу они хватают — всё-таки это было во время войны. Я сказала, что она рискует не только собственной свободой, но и благополучием всей семьи. Больше она не появлялась. Вспоминая о своей работе с иностранцами, отношу этот случай к числу «мицвот» — богоугодных дел.

На следствии меня обвиняли во всех смертных грехах, чуть ли не в том, что я поставляла девушек корреспондентам. И я в ответ рассказала следователю об этом эпизоде. Он оживился: «Как её зовут? Кто она такая?» «К сожалению, не могу дать никаких указаний, по которым вы её сможете найти», — ответила я. На всякий случай, я всегда старалась не знать имён. Следователь злился: он же всё время требовал: «Давайте имена, давайте людей!»

О другом случае рассказал мне Блонден. Один корреспондент познакомился с молоденькой и хорошенькой русской девушкой и зажил с ней к взаимному удовольствию. Вдруг, недели через две, девушка загрустила. В чём дело, что случилось? Случилось страшное, она не должна с ним встречаться. Оказывается, её вызвали в МГБ и потребовали, чтобы она на него стучала. Но она — человек честный, она его любит и не пойдёт на такую подлость. Но даже если она с ним расстанется, это ей уже не поможет, ей уже всё равно не простят. В общем, ужас. Он говорит: «А что ужасного? Ну и стучи!» «Как? Чтобы я писала на тебя — что ты говоришь, с кем встречаешься?!» «Ну и пиши. Если сама не умеешь, я буду диктовать». Так они и продолжают счастливо жить. Каждую неделю она встречается со своим боссом из МГБ, приносит всё, что от неё требуют, то, что иностранец ей продиктовал.

Замечательную историю с Гильмором и его женой хорошо знают в Америке. Гильмор приехал в Москву в конце 1941 года. В «Метрополь» ходила хорошенькая девушка, пухленький подросток, ей не было 16-ти лет. Перебывала во всех постелях. И вдруг в неё влюбился сорокалетний степенный американец, у которого в Америке остались жена и дети. Корреспонденты смеялись над Гильмором, а он её не отпускал от себя, поселил в номере. Развёлся с женой. И собирался по истечении положенного срока жениться на Тамаре, браки с иностранцами ещё не были официально запрещены. Запретили после войны. Но однажды она вышла без него на улицу, и её схватили. Он с ума сходил. Поехал в Америку, встретился со своим конгрессменом, тогдашним вице-президентом Уоллесом, который когда-то приезжал в Советский Союз и был в дружеских отношениях со Сталиным. Уоллес послал

Сталину телеграмму: «Мой друг Эдди Гильмор любит и уважает русскую девушку, хочет на ней жениться. По недоразумению она арестована. Прошу Вашего распоряжения устроить счастье двух влюблённых». Тамару освободили мгновенно. Вернувшись в Москву, Гильмор застал её у себя в номере. Они поженились и уехали в Америку. Из-за Тамары Гильмор много девушек сидело — из тех, что с ней вместе ходили к иностранцам. Она, между прочим, интересная личность: дочь дворничихи или уборщицы, кончила 5 классов, но удивительно легко усвоила английский. Ещё не будучи женой Гильмора, ходила с ним на дипломатические приёмы, приобрела манеры. Он умер, а ей теперь лет пятьдесят.

Однажды для корреспондентов и дипломатов устроили просмотр фильма. Переводила девушка из ВОКСа[26]. Два года назад она кончила Институт иностранных языков и очень прилично говорила по-английски. В антракте пили кофе. Я сделала комплимент её английскому, она что-то ответила и тут же заговорила с моим корреспондентом, Полом Холтом. Я их познакомила. Через два дня Холт говорит: «Предприимчивая девушка эта Татьяна. Позвонила и спрашивает, не нужен ли мне секретарь». Он ответил, что секретарь у него есть, но он с удовольствием с ней встретится. «Надя не откажется сыграть роль хозяйки». Она пришла и совершенно явно нацелилась на Холта. Но Холт был женат, с ним не вышло. А англичанин Мэтьюс, рохля и вообще неудачник в жизни, был холостой. И она перекинулась на Мэтьюса. И Мэтьюс очень клюнул. Началась жуткая игра: кто победит: она или МГБ? Девушка решила идти ва-банк. У неё была дочка лет 4-х и мать. Не могло быть речи, чтобы взять их с собой. По советским законам ребёнок — советский гражданин. Она постаралась забеременеть от Мэтьюса. Посольство и все корреспонденты берегли её, следили, чтобы она не выходила одна. Вовлекли в это дело посла Криппса. В конце концов им удалось пожениться. Я помню, как они пришли из загса. Но брак — это ещё полдела. Он без неё не уезжал, ждал, чтобы ей разрешили выезд. В общем, ей удалось добиться своего. В «Метрополь» приходила её мать, однажды мы сидели с ней за столиком в столовой. Тяжело было видеть её измученное лицо. Иные женщины из зависти к Татьяне в присутствии матери злобно шипели: мол, уезжает, оставляет ребёнка! Я старалась её отвлечь, но мы не могли, конечно, говорить откровенно. Безусловно, она была соучастницей дочери. Положение было такое, что раз дочь хоть как-то соприкоснулась с иностранцами, она пропала. Но мать наверное и до того знала, что дочь не может там жить. Видно было, что и мать не могла там жить. Отец у

Татьяны погиб в тюрьме. Так пусть хоть дочь избежит этого ужаса.

Это всё случаи с благополучным концом. О других случаях я узнала в тюрьме и в лагере. Сотни серьёзных и несерьёзных девушек сидели за иностранцев, которые напрасно пытались их спасти. Посадили несколько законных жён, обвенчанных по католическому обряду, мужья потом не могли жениться вторично. И ничего нельзя было сделать. Причём всем жёнам дали по 25 лет сроку.

А война продолжалась. После Сталинграда, когда Паулюс, командующий немецкой армией, сдался, иностранцам в первый раз показали так называемый — то есть, уже после сражения — фронт. Корреспондентов второстепенных газет решили в поездку не брать, и Блондена сочли второстепенным. А для него лишиться такой поездки было бы катастрофой. Столько времени его держат в Москве, платят ему, а тут произошло важнейшее событие, все газеты получат сообщение, а его газета не получит. Я воевала за Блондена, и он поехал в Сталинград. Ничего особенного не увидел, но всё-таки побывал там. Прямо скажем, я заслужила срок, который мне за него дали.

Ещё одну вещь я для него сделала. Когда на следствии это обнаружилось, было страшно. Как все иностранцы, Блонден мечтал побывать в русском доме. Они жили в Москве годами и ни разу не бывали ни у кого в гостях. Для того, чтобы иностранцу посетить русскую семью, требовалось подать официальную просьбу в Отдел печати, как для поездки на фронт или встречи с министром. Я обещала Блондену это устроить, понимая, что тот, кто согласен принять у себя иностранца, рискует свободой. Советские служащие, работающие с иностранцами, домой никогда не могли их привести, об этом не могло быть и речи. С фронта приехал отец, мы жили с ним у меня в номере, а наша квартира в Покровско-Стрешневе была закрыта. Но мы — не типичная советская семья, и дом у нас не типичный. Я хотела его повести в настоящую московскую коммунальную квартиру.

Ко мне в «Метрополь» нередко приходили знакомые, погреться и искупаться в ванной. Приходила и Рахиль Афанасьевна, модистка-шляпница, которую я познакомила с Блонденом. Когда я сказала ей о его желании, она откликнулась: «Пусть приходит к нам, но только, чтобы никто не знал». А кто может узнать? Только её подруга, Лидия Романовна, с которой они вместе жили, да я. Комната их была расположена удобно. Советские люди научились так жить, что в коммунальных квартирах соседи часто не знали, что происходит рядом. Подруги долго готовились принять гостя. Я заранее принесла продукты. Корреспонденты ведь абсолютно не ограничивались в закупке

продуктов. Нормы на них не распространялись, они покупали все продукты в специальном магазине. В этом отношении они жили лучше в голодающей Москве, чем жили тогда англичане где бы-то ни было. Наконец, привела его. Кстати, отсюда взялось имя героини романа Блондена Рахиль. Для него это был подарок! Женщины жили в двенадцатиметровой комнате, спали вдвоём на узкой кровати. До своего ареста там жил и сын Рахили Афанасьевны. Тогда на ночь ставилась раскладушка, а другую мебель выносили. Это была, действительно, типичная московская квартира, многонаселённая, с длинным коридором. Блонден переоделся в советскую одежду, зашёл, никем не замеченный, мельком глянул вглубь квартиры, но у него было достаточно воображения, чтобы представить, что это была за жизнь.

Эти женщины умели принять гостя, не то, что я. Как всё было приготовлено, сервировано! Он сразу отметил, что когда-то они жили по-другому…

Сидели долго и довольно откровенно разговаривали. Женщины рассказывали, я переводила. Муж Рахили Афанасьевны занимался когда-то экспортом сибирской пушнины, был процветающим купцом. В начале 30-х его взяли как «бывшего». Из Сибири она переехала в Москву, жила в этой маленькой комнатке, растила сына и зарабатывала тем, что делала шляпы. Мечтала только о том, чтобы её оставили в покое. Сын кончил Институт иностранных языков, работал учителем. Как видно, числился в списках неблагонадёжных. В сорок первом году его взяли, и больше она о нём ничего не слышала.

Женщины дружили с юности, вместе учились в гимназии, и судьбы их были схожи: мужа Лидии Романовны, в прошлом крупного адвоката, тоже взяли в 30-х годах как «бывшего». Лидия Романовна была красивой женщиной — статной, породистой, дворянских кровей. Вязала на продажу кофточки, делала пуговицы. В этом союзе Рахиль Афанасьевна была сильнее, крепче, выносливее.

Мы совершили ещё одно преступление, в котором я никак не хотела признаться на следствии: Рахиль Афанасьевна дала Блондену адрес своих родственников, которые после революции уехали в Шанхай и на Филиппины. Блонден обещал им написать, рассказать о её судьбе.

Ушли мы поздно. Он был потрясён и растроган. Он тогда уже задумал роман из советской жизни. Квартира в его романе[27] списана с этой квартиры, расположенной возле Смоленской площади, на правительственной трассе. Все корреспонденты знали, что по этой трассе проезжал Сталин.

Рахиль Афанасьевна ждала ареста всё время. Несколько раз

её вызывали в органы, предлагали стучать, но она отказывалась. После ареста сына опять вызывали, угрожали, и опять она отказалась. Она рассказывала, что тот, кто её вербовал, возмущённо говорил своему товарищу: «Полюбуйся на неё — муж, враг народа, — расстрелян, сын сидит, а она отказывается работать!» О том, чтобы стучать, не могло быть и речи, даже ради сына. Она понимала, что если бы она даже стучала, её бы всё равно посадили. Семья была обречена. Посадили её за год до меня, в 1947. А как обнаружилось посещение Блонденом её квартиры, я узнала на следствии. «Признавайтесь, с кем из русских вы его знакомили, в какие дома водили!» Я, конечно, отпиралась, пока следователь не предъявил показания Рахили Афанасьевны. Из протокола её допроса было ясно, что она вела себя с исключительным мужеством, что выдала нас её подруга, Лидия Романовна. Я думала, что Лидия Романовна тоже арестована. Но с ней решили сыграть по-другому. И, встретясь с Р.А. в лагере, мы ужасались: что же они с ней делали?! Ей, вероятно, было страшнее, чем нам.

Незадолго до ареста Л.Р. вышла замуж за пожилого адвоката. Р.А. радовалась за подругу, но конечно, после замужества та от неё отдалилась. Как видно, в связи с арестом Р.А. её вызвали в МГБ, как вызывали и раньше. В этом же 47-м году вышла книга Блондена, где были детали, которые могли навести МГБ на подозрение: название «Комната на трассе», имя героини Рахиль. Может быть, ещё раньше проследили, как Р.А. ходила в «Метрополь». Поздний, счастливый брак лишил Л.Р. мужества. Впервые за много лет ей было, что терять. Она боялась за мужа, боялась за себя. Её легко можно было шантажировать, запугать, поймать. И она рассказала о посещении Блондена.

Для Р.А. предательство подруги было, вероятно, одним из самых больших потрясений в жизни. Она всех потеряла, и ближе у неё не было человека. Через что они вместе прошли!

Думаю, что Блондену не мешает знать и об этой жертве.

После освобождения Р.А. из лагеря в 1956 году они обе жили на Арбате, иногда встречались на улице, но отворачивались друг от друга. Ещё одна деталь: Р.А. освободили, не реабилитировав. Она добивалась реабилитации, так как от этого зависело, дадут ли пенсию, комнату. Её дело пересматривалось, снова вызвали Л.Р., и она подтвердила, что Р.А. всю жизнь была антисоветским человеком. Р.А. рассказала мне об этом уже на воле. Наверное, муж Лидии Романовны, юрист, внушил ей, что если она откажется от своих слов, её привлекут к ответственности за дачу ложных показаний. Р.А. всё-таки реабилитировали под горячую руку. Повезло, что такое время было. Вторичное предательство

подруги её доконало. Может, первое она бы простила, но не это — в 56-м году. Сколько таких историй было! Лучшие друзья предавали. Мне повезло — меня никто не предал. А ведь я жила в «Метрополе», в окружении стукачей, и — видит Бог — была менее осторожна, чем другие. Л.Р. и Р.А. напуганы были давно, а я всё-таки меньше, потому что прожила большую часть жизни, говоря, что думаю, и долго думала так, как полагалось.

Не знаю, как у Блондена, а у меня, хоть и столько лет прошло, интереса к прошлому не убавилось. Какой он теперь человек? Может быть, он забыл обо всём, что тогда было? Когда мы встретились с Р.А. в Потьме на 10-м лагпункте и вспоминали о нём, мы представляли, как должен себя чувствовать человек, зная, что из-за него так пострадали. Он был очень мягким человеком, относился к людям с состраданием.

Году в 1959, сестра нашей приятельницы, бывшей американки Мэри[28] приезжала в Москву, перед этим повидавшись в Париже с Блонденом, который там жил после войны. Он её куда-то пригласил обедать, и она ему рассказала то немногое, что она тогда знала — что я сидела за его книгу, что, кажется, сидела вся моя семья. Он с ней какое-то время поддерживал отношения, с большим интересом, конечно, но возможностью нам с ним вступить в контакт не воспользовался — считал, что для меня это очень опасно[29].

…До войны и в самом начале войны корреспонденты коммунистических и буржуазных газет не поддерживали друг с другом никаких контактов, встречаясь только на совместных пресс-конференциях. Но постепенно контакты установились. На пресс-конференциях Лозовского я встречалась с молоденькой американской коммунисткой со Среднего Запада, которая, в отличие от большинства коммунистов, не была еврейкой. Я заметила, что она задаёт Лозовскому крайне глупые вопросы. Доверившись мне как советскому человеку, она рассказала, что корреспондентам коммунистических газет Отдел печати указывал заранее, какие вопросы задавать Лозовскому. Вопросы должны быть такого типа, чтобы ответы на них показывали преданность советского народа партии и вождю. Чем больше мы сближались, тем она больше жаловалась: «Как тошно! Почему они нам не доверяют?!» Она понимала, что подтасованные вопросы и ответы на них только роняют престиж Советского Союза в глазах американцев, приносят только вред. И сидела вся пунцовая от стыда за свою партию.

В конце войны в Москву приехала Анна-Луиза Стронг, старая коммунистка, давно связанная с Советским Союзом. В «Метрополе» она вела себя, как хозяйка. Рассчитывала, что перед

буржуазными корреспондентами ей будет оказано преимущество. И напрасно рассчитывала: начальство знало, что на общественное мнение Америки коммунистические газеты большого влияния не имеют.

Корреспонденты старались подкормить тех русских, с которыми соприкасались: горничных, секретарей, курьеров, переводчиков. Я сама брала оставленные иностранцами бутерброды. Анна-Луиза Стронг выбрасывала не съеденные продукты. Считала, что отдавать нам еду — значит оскорблять советский режим. Заявляла, что партия и правительство достаточно обеспечивают советских людей. В 1948 году её арестовали как «шпионку» — я об этом узнала в Вологде на пересылке и, думаю, что это был один из сладчайших моментов моей лагерной жизни. Американское посольство за неё хлопотало и, продержав в тюрьме два-три дня, её всего лишь выслали из Советского Союза. Позже я узнала, что в Америке её исключили из партии. Американская компартия, одной из основательниц которой она была, поверила МГБ, что она — шпионка! Она описала свои злоключения в газете «Нью-Йорк Таймс». В 1956 году её реабилитировали, снова приняли в партию, но она осталась сталинисткой даже после речи Хрущёва на XX съезде КПСС. Последнее, что я о ней узнала: она у Мао, в Пекине. Кажется, она недавно умерла.

С английской коммунисткой Айрис Морли я познакомилась благодаря тому, что её муж работал для газеты «Дэйли Экспресс». Первый корреспондент этой газеты в Москве Пол Холт был обыкновенным буржуазным журналистом. Я учила его русскому языку, и мы были в хороших отношениях. Его характеристика, которую я написала для «товарищей», в общем, соответствовала действительности. Их интересовало его происхождение. Дед его был ткачом, и Холт гордился тем, что стал настоящим джентльменом, но особыми симпатиями ни к правым, ни к левым не отличался. Он был настроен консервативно, что наших как раз устраивало, потому что левые журналисты очень разочаровывались. Холт восхищался Черчиллем, который во время всеобщей забастовки в 20-е годы организовал студентов-штрейкбрехеров, выполнявших самые насущные работы. Холт сам был в числе этих студентов.

Приезжая, новый корреспондент подавал в Отдел печати заявку: что бы он хотел посмотреть, кого повидать. Пол Холт хотел сходить в ЦУМ. До войны он в Москве не жил, чего ему, дураку, ходить, с чем сравнивать? Но ему было любопытно. Магазин находится напротив «Метрополя». Так зачем ждать, пока разрешат? Ведь каждый может туда зайти, в том числе и

иностранец. На почту — можно, на телеграф — можно, почему нельзя в магазин? Я пошла с ним. Магазин, конечно, оказался пустым, а меня за этот случай на следствии обвинили в шпионаже. Я возмущалась: «Да разве это роняло Советский Союз в глазах иностранцев? Наоборот: Холт, посетив магазин, написал статью о тотальных усилиях советского народа, о том, что народ живёт только для победы, приносит жертвы…»

Поскольку дед Холта был ткачом, он хотел также посетить настоящую рабочую семью ткачей. Я подала заявку в Отдел печати. Прошёл год, пока ему подыскали такую семью. Мы пришли, нас угощали. Мы увидели счастливую ткачиху, которая только при советской власти могла так прекрасно жить, и квартира оказалась у неё — представляешь? — трёхкомнатная! Может, это действительно была её квартира — она работала на Трёхгорке 25 лет. Власти думали пустить Холту пыль в глаза этой квартирой, но, узнав, что в ней живут восемь человек, он вытаращил глаза. А на меня квартира произвела прекрасное впечатление. И я даже удивилась, что он это так принял.

В 1943 году Холт поехал недели на три в Англию, оставил в «Метрополе» свои вещи: спальный мешок, лёгкий, из гагачьего пуха, тёплое мужское бельё, коричневый клетчатый плед. Мне хотелось, чтобы Холт вернулся — с ним было хорошо работать. И вдруг вместо него от «Дейли Экспресс» приезжает Аларих Джейкоб. Я его спрашиваю: «Холт приедет?» Он ответил неопределённо, видно было, что не хотел распространяться на эту тему. Вскоре приехала жена Джейкоба, коммунистка Айрис Морли. Она мне откровенно объяснила, что произошло, когда Холт приехал в Англию и они встретились. Он высказал всё, что думал о советской действительности. Айрис пошла в советское посольство, рассказала об антисоветских взглядах Холта и посоветовала не пускать его больше в Советский Союз. Вместо Холта назначение получил её муж Джейкоб, который тоже работал в «Дэйли Экспресс». А она приехала, вроде, как помощница ему, а также от газеты «Обзервер».

Айрис Морли происходила из старинной аристократической семьи. Она написала и подарила мне исторический роман из жизни своих предков. В партию вступила в 1939 году, уже после пакта с Гитлером. Айрис считала, что заключение пакта — было мудрым шагом советского правительства. Она была отчаянной коммунисткой, ничего плохого о Советском Союзе знать не желала, но когда в московском ателье, где она заказала платье, её заставили ждать, она пришла в неистовство. Я только одного желала — чтобы эта заносчивая аристократка сделалась советской гражданкой. Джейкобы кормили сардинами кота, и на

вас, детей, которые только что вернулись из эвакуации, это произвело сильное впечатление. Для советского человека, если вдоволь хлеба — уже было роскошью.

Айрис любила балет, сама когда-то хотела стать балериной. Через своего приятеля, администратора Большого театра, я доставала билеты и ходила с ней на все спектакли и на интервью с балеринами — Улановой, Лепешинской, Семёновой. Вернувшись в Англию, она написала книгу о советском балете и прислала мне. В предисловии выразила благодарность мне и приятелю-администратору за оказанную помощь[30]. На следствии я очень беспокоилась за приятеля. И действительно, его несколько раз вызывали в МГБ. Следователь ставил нам в вину, что мы помогали известной шпионке. Для них всякий иностранец — шпион. Мне бы очень хотелось, чтобы Айрис узнала, что она в глазах МГБ была шпионкой. И мне достаточно из-за неё досталось на следствии. Жаль также, если английский писатель-коммунист Джеймс Олдридж не узнает, что и он считался «шпионом». Впрочем, ничего им не поможет: они, коммунисты, точно глухие. Несколько лет назад Олдридж встретил на Кавказе Джорджа Грина, которого знал во время войны. Тот ему рассказал, что сидел, имел 25 лет срока. Но Олдриджа это нисколько не заинтересовало. У нас с Олдриджем во время войны были довольно откровенные разговоры. Он оправдывал финскую кампанию: дескать, этих фашистов-финнов следовало потеснить. Я с ним спорила. Услышав о моём аресте, он мог бы подумать: правильно её посадили. Но узнать, что он и сам в своё время попал в шпионы, было бы ему полезно.

Одно воспоминание связано с молодым корреспондентом из Американ Бродкастинг Сервис, обыкновенным парнем, озабоченным только своей карьерой, с которым я занималась русским языком. У него были специальные минуты для передачи по радио. Передачи, естественно, проходили цензуру. А цензура ни с чем не считалась. Иногда принесёшь им материал, и они проверят за 5-10 минут, а иногда, в спорных случаях, проходили часы: сам цензор не мог решить, должен ещё к кому-то обратиться. Запретить он может сам — тогда ответ приходил тоже быстро. Я иногда как секретарь объяснялась с цензором и имела даже право делать небольшие поправки в тексте. И довольно часто бывало, что корреспондент не мог выступить с передачей, потому что его материал не пропускали. Однажды, когда этому американцу в очередной раз запретили передачу, он решил дать совсем безобидный материал, чтобы следующее выступление состоялось наверняка. Написал очень милую статью. Начал с того, что, приехав в Советский Союз, он решил поскорее

выучить русский язык. Ведь если человек живёт в стране год-два без языка, что он может о ней знать? А рядом оказалась прелестная женщина, профессиональный преподаватель. Она начала урок русского языка с того, что объяснила ему, как легче всего изучить этот язык, и совершенно его убедила в преимуществе русского языка перед английским. Главное — по-русски пишется, как говорится. Это его очень привлекло, потому что он намучился в жизни с английским правописанием. И что же оказалось? Какое разочарование! Он привёл несколько примеров, когда по-русски «пишется, как говорится». Но самое зловредное в русском языке — это мягкий знак, который, оказывается, меняет значение слова. А почему меняет — неизвестно. Написал изящно и остроумно, мы с его женой слушали и хохотали. Жена его расцеловала. И я себе представила, как его слушают в Америке и испытывают тёплые чувства к русскому народу. Отнесла статью, и довольно быстро цензор выносит решение — запретить. То есть как — запретить? Почему? «Издевательство над русским языком!» Все мои аргументы не смогли убедить цензора, и передача не состоялась. Американец пришёл в ярость и говорит: «Ну ладно. Больше мои передачи запрещать не будут».

В мои обязанности в первую очередь входило читать ему газеты. Я выбирала важные сообщения и статьи и переводила ему. А всякие обращения граждан, особенно из «Московского большевика», я только просматривала. В основном, мы брали, конечно, такие газеты, как «Правда», «Известия». Но он уже имел представление о советских газетах — несколько раз я ему читала о том, как советские граждане благодарны правительству и лично товарищу Сталину за заботу. Например, одна работница писала в заметке «Дорогая сладость» о том, что её семья ест конфеты, а это возможно только при советской власти.

В то время газ в Москве был лишь в немногих домах, например, в доме, где жили крупные партработники и иностранцы. В большинстве домов газ появился только после войны. И вот в «Московском комсомольце» — целая полоса благодарственных писем трудящихся по поводу проведения газа.

Я просматриваю газету и говорю: «Ну, это неважно, это письма рабочих». Но он просит: «Пожалуйста, переведите мне эти письма слово в слово, ничего не пропуская». И записывает характерные обороты, вроде: «только забота партии и правительства». И готовит выступление о том, что, мол, в Москве сейчас важнейшее событие, которое широко освещается в прессе, — в таком-то районе провели газ. Точный перевод из газеты, только вступление добавил. Я, как услышала, аж задохнулась от удовольствия: такое издевательство! Тем более

представила себе, как он прочтёт соответствующим тоном и как это прозвучит за границей. Зато мы получили разрешение немедленно.

Конечно, Отдел печати представил обо мне в МГБ неважный отзыв: хлопот со мной было много, а радостей никаких. Следователь меня упрекал: «Мы знаем, на кого вы работали, вы на врагов работали! Ради иностранцев вы скандалили с цензорами». Я говорю: «Цензоры — тупицы». Рассказала об эпизоде с американцем и передала мнение корреспондентов о том, что чиновники вроде заведующего Отделом печати вредят престижу Советского Союза больше, чем настоящие враги. Я знала, что Пальгунову мои слова не повредят. Вредить я даже ему бы не стала. Конечно, на следователя мой рассказ не произвёл никакого впечатления.

В 1943 году мы посетили лагерь военнопленных в Казани. Поехало несколько корреспондентов, в том числе Александр Верт, которого я хорошо знала. Он родился в Петербурге в семье дипломата. Не очень талантливый журналист, при других обстоятельствах он бы карьеры не сделал. Но он знал язык, страну; дорожа возможностью ездить в Советский Союз, старался не портить отношений с нашими властями, но был более или менее порядочным человеком. В посёлке очистили для нас дом, поставили настоящие железные кровати. Лагерное начальство устроило нам потрясающий ужин — с икрой, балыками, замечательной сметаной. Это в сорок третьем-то году! Единственное, чего там не было — это настоящей уборной, вместо неё — чистенькая, специально для нас приготовленная будка. Утром я слышу — Блонден говорит Верту как знатоку русских обычаев: «Всё очень хорошо и удобно, только одна проблема: я не представляю, как можно справиться в уборной». «Очень просто, — отвечает Верт, — „орлом“!»

С пленными мы встретились ещё до этого безобразного ужина. Вывели их в зону, дали каждому корреспонденту группу. Все офицеры говорили по-английски. Корреспонденты спрашивали, где они попали в плен, как с ними обращаются. Узнав, что с ними разговаривают англичане и американцы, немцы просили сообщить их семьям, что они в плену. «Какой будет вред Советскому Союзу, если я напишу, что нахожусь в плену, в хороших условиях?» Корреспонденты сказали, что не могут этого сделать. «Если советское правительство не разрешает вам писать, мы не можем нарушать правил». Тогда пленные попросили, чтобы корреспонденты упомянули их имена в своих сообщениях, надеясь, что таким образом близкие узнают, что они живы. Корреспонденты согласились. Записать имена поручили мне.

Немцы решили, что я тоже журналистка. Один обратился ко мне: «Вы женщина, вы поймёте. У меня жена беременна, ей вредно волноваться. Возьмите адрес, вам же ничего не стоит послать открытку, дать ей знать, что я жив. Вы ведь из Европы». Я себе не отказала в удовольствии: «Вы ошибаетесь, я не из Европы, а из России. Более того — я еврейка». Немец от меня отшатнулся.

Не знаю, может быть, кто-то из корреспондентов и упомянул в сообщениях их имена. Но пленных было слишком много, всех не упомянешь. Между прочим, держали они себя не униженно и одеты были ещё в свою одежду. Выглядели неплохо, получше советских людей. Один корреспондент заметил: «Немцы тоже не балуют советских военнопленных». Пленный возразил: «Наш фюрер предлагал советскому правительству соблюдать Женевскую конвенцию, но русские не согласились».

Когда мы сидели за столом, иностранцы спрашивали чекистов, какой у пленных рацион, и я отметила, что кормят их лучше, чем советских граждан. Чекистам можно было бы не верить, всё, что показывали иностранцам, было потёмкинскими деревнями, но пленные действительно выглядели прилично. А на советском пайке, казалось, выжить невозможно. Да мы сами, когда заключёнными были, в 1955 году, получали хлеба больше, чем иные вольные, и бросали им свою пайку через проволоку.

Для меня это было тяжкое время. Каково мне было знать, что мои собственные дети бедствуют в деревне, в эвакуации, а я хлеб и масло могу покупать килограммами. Я изыскивала способы, чтобы что-нибудь вам переслать. Посылки отправлять нельзя было. Я давала людям, которые ехали в Челябинскую область, сколько им нужно самим, чтобы они передали и вам, но очень мало что доходило. Отправила несколько посылок отцу на фронт, он получил только одну. И я себя чувствовала виноватой перед всеми.

Летом 1942 года я поехала в деревню Ужовку, где вы жили в эвакуации. Отдел печати Министерства иностранных дел дал мне бумагу, благодаря ей я попала на поезд. Сначала посетила отца в госпитале. В начале войны я несколько месяцев не получала от него писем, дала объявление по радио о том, что нахожусь в Куйбышеве, но ответа не получила. В декабре 1941, когда мы вернулись ненадолго в Москву и поселились в «Метрополе», я поехала в Покровско-Стрешнево в надежде найти там письмо от отца. Дома ничего не нашла, отправилась в комендатуру нашего Военного городка, там застала сплошное разорение. Спрашиваю: «Нет ли писем?» «Посмотрите вон в той комнате». Комната была завалена письмами. Села на пол, стала их просматривать и нашла открытку от отца, посланную сравнительно недавно. Он писал,

что в ноябре был ранен и лежит в госпитале в городе Кургане. К тому времени, как я поехала к вам в эвакуацию, отец уже находился в Свердловске. Я ехала через Свердловск и навестила его. Пробыла с ним три дня. У отца было тяжёлое ранение в бедро, но он, как всегда, бодрился и пользовался всеобщим расположением. Я ухитрилась передать в палату бутылку коньяка. Я взяла в дорогу несколько бутылок спиртного: водка и папиросы были тогда универсальной валютой.

Вам в деревню я везла много вещей и продуктов. Приехала в Челябинск, а оттуда до Ужовки ещё 20 км. Вышла из поезда ночью совсем одна. Что делать? Вынула пачку «Беломора», закурила, в надежде, что кто-нибудь «откликнется». Действительно, довольно скоро подошёл человек, и мы договорились: «Что дадите?» «Водку». Села в телегу и дремлю. Вдруг открываю глаза и вижу картину, похожую на ту, что видела под Москвой, проезжая разорённые немцами деревни. «Что такое, почему дома разрушены?» Возница отвечает: «Коллективизация!» Ехали часа три. Наконец, приехали.

Я была поражена, увидев, до чего вы грязные. Я очень боялась вшей. В Куйбышеве от сыпного тифа умер первый секретарь английского посольства. Англичанам предоставили отдельный особняк, но как-то туда эта зараза пробралась. В детстве вши были для меня заурядным явлением, но за столько лет я от них отвыкла.

На обратном пути я снова заехала к отцу. Он всё время упражнял ногу. Говорил: «Обману врачей. Ещё повоюю». Но снова на фронт его не взяли. Отец огорчался, считал, что прошёл войну бесславно. Потом он тоже побывал у вас в деревне.

Я ему послала вызов — иначе нельзя было добраться до Москвы. Он приехал и искал, чем бы заняться, чтобы работать на войну. Обратился к Ивану Папанину, начальнику Главсевморпути, которого знал с Гражданской войны. Всё снабжение шло через северные порты, и Папанин был там диктатором, маленьким Сталиным. Нужны были переводчики, и он охотно взял отца на работу. В Бухте Провидения на Чукотке и в Бухте Находка на Дальнем Востоке отец встречал пароходы с оружием и продовольствием из Америки. Но до отъезда он прожил какое-то время со мной в «Метрополе» и очень сошёлся с Блонденом. Новый 1943 год мы встретили втроём. Блондену было с нами интереснее, чем на торжествах в посольстве. Мы пошли вместе в театр, а потом вернулись потихоньку, чтобы никто не видел, и долго сидели. Отец рассказал ему несколько эпизодов из времён Гражданской войны, которые Блонден потом использовал в своей книге.

Корреспонденты с самого начала войны мечтали получить интервью у Щербакова, одного из ближайший помощников Сталина. Официально он считался главной Совинформбюро, а Лозовский — его заместителем. Для всех внешних сношений от Совинформбюро выступал Лозовский, а Щербакова никто из иностранцев не видел. Наконец в 1943 году корреспонденты добились интервью с ним. У них накопилось много претензий к Отделу печати, и они надеялись, что эта встреча разрешит все вопросы. Собрались в боевом настроении, приготовили свои жалобы. Присутствовал и Пальгунов, к которому у них больше всего было претензий. Долго ждали, наконец, Щербаков вошёл. Фигура — совершенно необычайная, огромных размеров, невероятно толстый. Одет в гимнастёрку и галифе. Корреспонденты стали жаловаться на Отдел печати, на то, что у них нет условий для работы. Но только открыли рот, как он грубо оборвал: «А второй фронт когда откроете?» Корреспонденты опешили: при чём здесь они? И вся их напористость пошла насмарку. Осевшими голосами стали просить по мелочам и получили отказ на все просьбы, причём в самой грубой форме. Пальгунов сидел с победоносным видом. Они собирались его уничтожить, но только возвысили в глазах Щербакова. Шли домой, как побитые собаки. Я подумала: если Сталин умрёт — чего я так давно и так страстно жаждала — и на его место придёт Щербаков, то может быть ещё хуже.

Всё время доходили слухи о том, что делается в Ленинграде. Корреспонденты реагировали на эти слухи очень болезненно. Они знали, что в Ленинграде тяжело и страшно, но в своих сообщениях этого не касались. О Ленинграде писать не разрешалось, они и не пытались нарушить запрет: советскому правительству видней, о чём можно писать, о чём нет. И вдруг получают приглашение встретиться с женщинами из осаждённых городов, Ленинграда и Севастополя. Корреспонденты разволновались, отменили все свои дела и пошли на эту встречу. Как обычно, стол уставлен закусками. Одна женщина — писательница Вера Инбер, другая — обыкновенная, неизвестная женщина. Вера Инбер рассказала о Ленинграде. Тут произошло самое позорное изо всего, чему я была свидетелем во время войны. Начала она свой рассказ эдаким бодрым голосом: вы, мол, знаете, как героически защищается Ленинград. Немцы окружили его, но он и в блокаде живёт полной, насыщенной жизнью. Работают учёные, и театры не пустуют. Изобразила такую картину, что я почувствовала холод в животе: что она говорит?! Как это? Ведь мы уже слышали многое. Знали о том, что трупы на улицах валяются. Что дошло чуть ли не до людоедства.

Корреспонденты мрачнеют, а она читает приготовленный доклад и пересыпает его игривыми шуточками, дескать, и дети ещё в Ленинграде рождаются. Я перевожу. Она кончила, стали задавать вопросы. Пол Холт спрашивает: «Скажите, есть ли у хозяек возможность накормить каждый день семью обедом?» Инбер отвечает игриво: «Да, конечно, такая возможность есть, но, может быть, вы не сочли бы такой обед настоящим. Мы, русские, привыкли скромно жить». Другой спрашивает: «Какова норма хлеба?» Она запнулась: «Не помню точно, но, в общем, хватает». Они продолжают: «Каждый ли день удаётся топить квартиры, чтобы поддерживать приблизительно нормальную температуру?» «Не очень, конечно, тепло, но вполне терпимо». И всё в таком роде. Я слышу, как они бормочут: «Сука…Dammit», — а она ничего не замечает. Тут один из них, Пол Уинтертон, выступил с большой болью: «Зачем нас сюда позвали? Мы знаем, что история Ленинграда — одна из самых тяжёлых страниц этой войны, может быть — не только этой войны. Мы никогда не обращались к советским властям за сведениями, не собирались писать о Ленинграде. И тут приходит человек из Ленинграда. Мы даже удивились — значит, уже можно обнародовать правду? Или, может быть, нас просто хотят информировать о том, что делается, а писать мы будем тогда, когда нам разрешат? И что же? Разводят какую-то розовую водичку — героический народ, героизм. Но если всё, что рассказывает мадам Инбер — правда, то я могу сказать, что в Лондоне во время бомбёжек в сороковом году приходилось много хуже. Мадам Инбер говорит, что она не помнит — не помнит! — какой в Ленинграде паёк. Да если бы мне пришлось пережить такое, то до самой смерти и я, и любой другой человек, не могли бы этого забыть!» И другой, и третий корреспонденты опять задают вопросы. Они её довели до того, что она разрыдалась и выскочила из комнаты. Что тут началось! В общем, разразился скандал.

Мне и жаль её было, и противна она была до глубины души. Зачем она согласилась на эту роль? Она ведь не дура, как Пальгунов. Перед выступлением женщины из Севастополя объявили перерыв. Очевидно решили всё переиграть, и та уже нарисовала правдивую картину, сказала, что город разрушен на столько-то процентов, не работает водопровод, нет электричества, много жертв. Имя Веры Инбер стало среди корреспондентов символом казённой лжи, всю войну они вспоминали её выступление.

Я много думала о ней тогда. Конечно, она всю жизнь жила под страхом расправы. Ведь Троцкий был её родным дядей, она — его любимая племянница, в своё время посвящала ему

восторженные стихи. Какой же ценой — как говорила мне её двоюродная сестра в лагере — она купила себе жизнь и свободу, если пересажали всех родственников Троцкого?

В последние дни войны состоялось интервью с Эренбургом. Мы пошли к нему вдвоём с Джейкобом, без цензора. Как видно власти полагались и на Эренбурга, и на Джейкоба. Джейкоб до сих пор настроен просоветски, я читала в «Морнинг Стар» положительную рецензию на его последнюю книгу. Тогда он не собирался смущать Эренбурга, интервьюировал без подковырок. Я не помню ничего интересного из разговора, помню только впечатление о самом Эренбурге. Раньше я его ненавидела, он же был одним из свидетелей в Катыни, заявлял, что польских офицеров расстреляли немцы, а не русские. Но, увидев его, я почувствовала к нему острую жалость. Это был глубоко страдающий человек с потухшими глазами. Когда в лагере его поминали недобрым словом, подозревая, что не случайно он один уцелел из всего Антифашистского комитета, я никогда не присоединялась к этим разговорам.

Блонден уехал весной 1943 года. Зная, что он собирается написать книгу о Советском Союзе, я предупреждала: «Помните, что для нас, русских, ваша книга может плохо обернуться». Но он заверил: «Не бойтесь, это будет роман». И даже мне не пришло в голову, что за роман можно кого-то привлечь к ответственности. Потом я узнала, что не я одна сидела «за роман».

После отъезда я жила в номере, который числился за ним. Я сама могла стать корреспондентом какой-нибудь западной газеты, но мечтала о преподавательской работе.

Книга Блондена «Комната на трассе» вышла в 1946 году, а через год в Москве проходила конференция министров иностранных дел. Отдел печати попросил меня поработать на этой конференции. Приехали журналисты, многих я знала со времён войны. Я надеялась повидаться и с Блонденом, зная, что он теперь в Европе, а из Европы ведь проще приехать в Советский Союз, чем из Австралии. Я потому, главным образом, и согласилась на эту работу, что мне хотелось с ним встретиться. Один из журналистов мне объяснил: «Зачем ему приезжать? Он побывал в Англии, посетил лагеря для военнопленных, разговаривал с власовцами, был в лагере для перемещённых лиц в Германии, а там можно узнать гораздо больше, чем в Советском Союзе. Вы же нам ничего не рассказываете, а они рассказывают. Он свою книгу написал, материал получил, и ему незачем приезжать». Этой аргументацией я пыталась защищаться на следствии. «Откуда он мог знать о советской жизни, если не от вас?» — спрашивал следователь. Я сослалась на приведённые

выше слова корреспондента. Но это следователя, конечно, не убедило. «Мало ли что! Тех, кто за границей, мы ведь посадить не можем!»

Ясно, что Блонден и при желании не смог бы приехать в Советский Союз после того, как вышла его книга, которую в наших газетах сразу же определили как «клеветническую» и «антисоветскую».

Мне её прочесть дала Аннабелла Бюкар, сотрудница американского посольства и редакции журнала «Америка». Познакомились мы в последний год войны. Было ей 28 лет. Крупная, красивая блондинка (она была югославского происхождения — должно быть, отсюда её славянские симпатии). Ей хотелось знать русский язык, я ходила в посольство, давала ей уроки.

Я ей сказала, что мы можем встречаться только до тех пор, пока я не начну работать в Институте международных отношений. Тогда я порываю всякие контакты с иностранцами. Она ужасно огорчилась: «Я теряю всех своих друзей».

У неё был друг югослав, полковник, герой войны. Познакомились они в Москве, и он её просветил насчёт Советского Союза, а потом он исчез. И ещё у неё был друг, русский, и тоже исчез. Она ужасалась: «Что это за страна, где люди не могут дружить?» Она была поражена несвободой и страхом, которые царят в Советском Союзе.

Правда, и об Америке она говорила без восторга. Америка — страна социальных контрастов. В юности она очень нуждалась, и когда училась в колледже, ей приходилось одновременно работать. Но всё-таки Америку нельзя сравнить с Советским Союзом. И она всё повторяла: «Как страшно жить в этой стране!»

Ей хотелось бывать среди русских. Иногда она мне говорила о каких-то своих русских друзьях. Но я ей всё время внушала: «Не называйте при мне никого из ваших русских знакомых и, говоря с ними, никогда не называйте моё имя».

Она собиралась в отпуск, могла бы поехать в Швейцарию, но решила воспользоваться тем, что она в России, и побывать в Крыму или на Кавказе. Посольство предупреждало американцев, что такие поездки небезопасны. Я ей говорю: «Если посольство вам запрещает…» Она возмутилась: «Это вам могут запретить, а мы — свободные люди, нам просто не советуют, потому что это небезопасно». И вот летом 1947 года она мне сообщает, что всё-таки решила поехать в Крым со своими русскими друзьями. «Не знаю, почему они не боятся со мной ехать, но это неважно — мне-то бояться нечего. Я хочу развлечься, а мои спутники — актёры». Я выразительно на неё посмотрела, но промолчала. Ей пора было

понять, что советские граждане могли поехать с ней только с благословения определённого учреждения. Я бы, например, с ней не поехала, хотя была не из трусливых.

Раз я чуть не столкнулась с одним из её друзей. Советские люди никогда не встречались друг с другом в обществе иностранцев, но то ли он пришёл раньше, чем его ожидали, то ли я ушла позже обычного. Звонок. Она кого-то впустила, провела в другую комнату, я заметила только спину и элегантное заграничное пальто. Аннабелла сказала: «Это тот друг, с которым мы вместе поедем». В этот день я сказала ей, что мы больше не увидимся. «Но хоть позвонить вы можете? Вот я вернусь из Крыма, может, нам всё же удастся встретиться?» Я обещала позвонить. Мне тоже хотелось с ней ещё раз встретиться, кроме прочего, и потому, что должны были прибыть из Америки вещи, которые она для меня выписала в счёт платы за уроки. Она мне показывала каталоги американских фирм, и я выбрала для вас, детей, чудные вещи. Прошло полтора месяца, я позвонила. Она только что вернулась. Голос у неё был тревожный: «Мне необходимо вас повидать. Неужели это невозможно?» Я говорю по-английски: «Cold feet» [«боюсь»]. И она сказала: «Может быть, вы правы».

Я уже работала в институте, боялась встречаться с иностранцами. Решила: пусть пропадают вещи. Когда я была у неё в последний раз, я шла с надеждой, что вещи уже прибыли. Но нет. Она ужасно извинялась. И я говорю отцу: «Вероятно, она потому так настаивает, что чувствует себя неловко — всё-таки она осталась мне должна. Но я думаю, что лучше не надо этих вещей. Не стоит встречаться». Отец говорит: «Как хочешь». Но голос её по телефону звучал слишком тревожно. Тут что-то другое. И я прибавила: «Я вам позвоню через несколько дней». Позвонила из отдалённого района, приняла все меры предосторожности и сказала, что решила всё-таки с ней повидаться. А она меня перебила и говорит таким бесцветным голосом: «Слишком поздно». Я тогда не поняла, в чём дело, но подумала: «Тем лучше». Попрощалась с ней, и мы больше не виделись.

На следствии меня про неё много расспрашивали. При обыске в квартире нашли её записку. «Признавайтесь, с кем из иностранцев вы переписывались!» Записка была совершенно невинной, по поводу урока. Следователь допытывался: «Какие у вас были отношения, что вы о ней знаете?» Я на всякий случай отвечала нейтрально: «Ну, какие бывают отношения между преподавателем и ученицей?»

И вдруг в камеру на Лубянке пришла с воли новая девушка и

рассказала, что в газете появилось большое письмо Аннабеллы Бюкар. Она попросила политического убежища в Советском Союзе и выпустила книгу «Правда об американских дипломатах», в которой доказывала, что все их дипломаты — шпионы.

Я знала, чего ей стоил разрыв с близкими. После смерти матери она осталась за старшую в семье, вырастила детей, дала им образование. Особенно любила младшего братишку. Он был такой юный политикан, вроде нашего Саньки, рассуждал о холодной войне, о Советском Союзе. Она им гордилась, показывала мне его письма. И я думала в тюрьме: что же с ней сделали? От своих же сокамерниц я узнала подробности. Она попала в провокацию. Её «забеременели». Её друга, мелкого актёришку из Театра эстрады, специально подсылали к иностранкам. Я знала ещё одну американку — спать-то она ним спала, очень уж он был неотразим, но перехитрила его, вышла сухой из воды. А Аннабелла — добрая, доверчивая девушка, для своей семьи она на пьедестале. И оказалась беременной. Может быть, он сказал, что за связь с ней его арестуют. Её нельзя было купить, на неё можно было воздействовать только эмоционально. Она вышла за него замуж, и они до сих пор живут в роскошной квартире на улице Горького. Я думаю, он и дальше продолжал «работать».

Освободившись из лагеря, я передала ей через общих знакомых в Радиокомитете, где она служила, что хотела бы встретиться. Мы почти договорились, но что-то помешало встрече. Я не стала вторично проявлять инициативу, и она больше не звонила.

На конференцию министров иностранных дел приехал молодой журналист Сайрус Солсбергер. Я познакомилась с ним в начале войны в Куйбышеве, потом мы несколько раз встречались в Москве. Контора «Нью-Йорк Таймс» оставалась в Москве, а Солсбергер то уезжал, то возвращался. В 1942 году приехал его дядя, Артур Солсбергер, мы вместе отправились на прогулку. Дядя очень радовался роспуску Коминтерна и спрашивал моего мнения — не обычная ли это уловка советских властей, рассчитанная на обман заграницы? Я уверила его, что роспуск Коминтерна — никакая не уловка, а настоящее предательство социалистического движения, так же, как и искусственное усиление в стране религиозного влияния и преклонение перед исторической славой русского оружия.

В последний приезд Сайруса Солсбергера в Москву он повёл меня в Гранд-отель, мы немножко выпили, и он сказал: «Надя, вам я верю. Скажите, правда ли то, что говорят о государственном антисемитизме в СССР?» К 1947-му году меня этот вопрос уже

достаточно интересовал. Я хорошо знала, что евреям трудно устроиться на работу, попасть в институт. Но побоялась сказать Солсбергеру правду, и не зря я боялась: он был настолько предан своему журналистскому делу, что я была уверена — этот разговор не останется между нами. Я знала, что Пол Уинтертон написал книгу о Латвии, упомянув в одной фразе о происходивших там арестах, и из-за этой фразы посадили его курьершу, молодую девушку-латышку, от которой, в частности, он мог слышать об этих арестах. К тому же, Солсбергер представлялся мне типичным буржуазным корреспондентом, чужим человеком, не то, что бывший социалист Блонден или «левый» Маклоглин, откровенничать с ним у меня не было никакой потребности. И я сказала: «Нет, государственного антисемитизма не существует. Усилился только бытовой антисемитизм — под влиянием гитлеровской пропаганды».

С чувством стыда вспоминала я в тюрьме об этом разговоре. Как много я позволяла себе высказываться, как свободно болтала с незнакомыми людьми, а евреев — предала! И своему следователю я сказала: «Я изменила не родине, а своему народу».

Интереснее, чем с Солсбергером было поговорить с Эдгаром Сноу, о книге которого «Красная звезда над Китаем», посвящённой китайской революции, мы слышали ещё в Шанхае[31]. Он приехал в Москву во время войны, жил в «Метрополе», за связь с ним посадили русскую девушку. Я постаралась с ним встретиться. Говорить с ним «на полную мощность» я, конечно, не могла, но мне хотелось, чтобы именно он знал правду о Советском Союзе. Он у меня спросил, как у нас проходят выборы. Я рассказала, ничего не приукрашивая. Он всё восклицал: «Надя, вы меня убиваете!» Хотя он уже слышал о 37-м годе, но какие-то надежды на то, что здесь и впрямь строится социализм, у него оставались. А я всё поставила на своё место, причём, не рассказывая ничего особенного.

Институт международных отношений открылся во время войны. Я встретила заведующую английской кафедрой, она восхитилась моим английским языком и пригласила работать. Меня институт устраивал во всех отношениях — удобно добираться из дому, и хорошо платят. И в 1947 году я начала там работать. Таких огромных анкет, какую мне дали в институте, я никогда не заполняла. Требовалось перечислить все города, все адреса, где я жила в России и за границей.

Я преподавала на четвёртом и пятом курсах. На последнем курсе учились те, кто поступил в 1942-43 годах, вернувшись с фронта. Евреев туда не принимали, даже детей крупных чиновников. Единственным евреем на пятом курсе был Мороз,

сын Светланы Аллилуевой, и то потому, что был из первых студентов, а на других курсах не было ни одного. Это, вероятно, было первое такое учебное заведение. В институте учился сын Деканозова, проходившего потом по делу Берии, внук Коллонтай, Юрий Жуков. Группы были маленькие, как и в Институте иностранных языков, потому что здесь язык был главным предметом. Бросалось в глаза, что студенты здесь более сытые, лучше одеты и интеллигентнее обычных советских студентов. Это, действительно, была элита. В перерывах, куря вместе с ними, я иной раз болтала, о чём не следовало. Однажды разговорилась со студентом четвёртого курса. Он был чем-то недоволен. Я говорю: «Вы учитесь в таком институте, в прекрасных условиях, перед вами блестящее будущее!» Он возразил: «Не уверен, что студентам других институтов, которые живут в обычных общежитиях, стоит мне завидовать. Студент-медик кончит учиться и станет врачом. Другой будет инженером, кто-то — зубным врачом. Что касается нас — кто знает? Всё зависит больше от анкетных данных, а это ещё неизвестно, как обернётся». У этого студента, когда его приняли, были самые блестящие данные, но, может быть, за это время что-то произошло в его семье или в семье его друга, и он увидел, что их положение очень непрочно. А врач или инженер устраивались даже в лагере или в ссылке. И сын репрессированного работал врачом. Пусть не в Москве, а в деревне, но всегда — так он мне сказал — мог заработать себе на хлеб. Правда, и они могли быть просто учителями английского языка. Кроме того, туда не принимали девочек. Но когда я туда поступила, приняли на первый курс дочерей Молотова и с ними несколько других.

Институт находится на Крымской площади, на углу, за ним — стоянка машин. Однажды я вышла с одним преподавателем-евреем, в 30-е годы он жил в Америке, но почему-то уцелел. Нужно сказать, что преподавателей-евреев в институте было много, требовалась высокая языковая квалификация, и закрывали глаза на 5-й пункт. Мы выходим, и он говорит: «Обратите внимание на машины. По утрам они привозят студентов на занятия, главным образом, из Кремля, а к этому времени разъезжаются. Вот это, например, машина Молотова». «Но разве они не могут хотя бы уехать, а вернуться потом? Не представляю себе, чтобы дети американского президента позволяли себе держать машину с шофёром целый день». Говорю, а сама побаиваюсь — я плохо его знала. Я всегда торопилась домой, к семье, не задерживалась на работе, и у меня не завязалось в среде преподавателей никаких дружеских отношений. А он отвечает: «Дети американского президента сами бы приезжали на своих

машинах. Посмотрите на морды шоферов — здоровые молодые люди, и в этом вся их работа. Что ж — страна богатая!»

Мне безусловно повезло с этим институтом. Туда все стремились попасть, это была очень высокая марка. Условия — великолепные, состав студентов интересный. Я не считала себя хорошим преподавателем, у меня же не было настоящей учебной практики всю войну. Но я хорошо знала язык, хорошо одевалась — немаловажное обстоятельство в этом институте, и у меня были прекрасные отношения со студентами. Когда я выпустила пятый курс, устроили торжественное прощанье. Выступал Юрий Жуков, студенты благодарили меня, в частности, за то, что я их не слишком угнетала.

На любой хорошей работ всегда ходят слухи. В этом году выпускают курс, уменьшилось количество учебных часов. Намеченные жертвы среди преподавателей уже знают, что их должны уволить. Я-то не беспокоилась, потому что для последних курсов от преподавателей требуется настоящее знание языка. И вдруг в декабре меня вызывает заведующая кафедрой, с которой я была в хороших отношениях. «Надежда Марковна, у меня к вам неприятный разговор». И смотрит в сторону. У меня ёкнуло сердце. «Мы выпускаем пятый курс, не хватает часов, нам придётся расстаться». Это была совершеннейшая чепуха: через полгода у них опять будет пятый курс, где они возьмут преподавателей? Если увольняют, то слабых. Она, конечно, была членом партии, иначе не занимала бы должность заведующей кафедрой, но всё-таки — бывшая американка, больше обычного позволяла себе в разговорах с сотрудниками, и она со мной делилась: в начале года приняли двух очень слабых преподавательниц. Они были первыми кандидатами на увольнение. Я их жалела: несчастные — в каких безобразных они ходили босоножках! Я ей говорю: «Как-то несколько не вяжется. Меня действительно увольняют, потому что нет часов?» «Какая вам разница, почему увольняют? К чему этот разговор? И я вас прошу о личном одолжении: пожалуйста, никому ничего не говорите до конца госэкзаменов». Я решила, что меня увольняют из-за работы с иностранцами. Для меня, конечно, это был большой удар.

Хожу в институт, как ни в чём не бывало, сижу в перерыве за столиком в тамошнем роскошном кафе с преподавателями, которые ждут сокращения, и одна из них говорит: «Ну, вам-то опасаться нечего!» А я фактически уже уволена.

Меня всё время звала к себе заведующая кафедрой английского языка Полиграфического института, с которой мы вместе работали ещё в Академии им. Фрунзе. Там нужно было

усилить кафедру. «Правда, евреев не принимают, но вас-то уж я смогу взять». Я ей позвонила: «Могу начать работу со следующего полугодия». Но она поняла, что я не ушла бы по своей воле из Института международных отношений, и меня бы просто так, без вмешательства свыше, не уволили бы: «Хорошо, посмотрим, поговорим».

Настало трудное время. О том, что меня собираются посадить, я не подозревала, думала: ну вот, теперь пойдёт за мной хвост — работа с иностранцами. На жизнь я как-то зарабатывала. Нашла кружок в Министерстве тяжёлой промышленности. Работа эта не шла в трудовую книжку, не засчитывалась в стаж. На настоящую, постоянную работу было мало надежды. И у отца начались неприятности. Он был научным сотрудником Главсевморпути, а где его дипломы? К тому же, его стали вызывать в Отдел кадров всякие молодчики, допрашивать о работе в Разведупре. У нас обоих было мерзкое состояние.

10. Арест и следствие

К Новому 1948 году я испекла первый и единственный пирог в жизни. И это был первый раз, когда мы с отцом встретили Новый год в своей семье. Пирог получился горький, в пятнах, потому что я плохо размешала соду. Ты помнишь мой тост? — Чтобы следующий Новый год мы опять встретили вместе. Конечно, ты не помнишь. Мы с отцом очень хорошо умели скрывать от детей все неприятности. И ты не заметила, какое это было для нас страшное время. Я боялась, что с отцом что-нибудь случится, разговоры с «товарищами» вели к чему-то нехорошему. К тому же, у нас отключили телефон — какому-то генералу понадобился номер. Это тоже показалось мрачным признаком: ведь мы жили в Военном городке на птичьих правах.

Ирина[32] болела почками, и я, наконец, решила: время у меня есть, надо её тщательно обследовать. Ездила с ней по врачам, проделали все анализы, назначили лечение. Помню, была суббота. Я в этот день ходила по аптекам, заказывала лекарства и с понедельника собиралась приступить к лечению. И вот под вечер являются двое: «Мы — из Отдела печати Министерства иностранных дел. Возникли вопросы по поводу корреспондента, с которым вы работали. Вы можете помочь их разрешить. Мы — на машине, просим подъехать ненадолго в Министерство». Я говорю: «У меня ребёнок болен. Приеду в понедельник». «Нет, нет, сейчас. Мы вас отвезём туда и обратно. Это дело на полчаса». Одеваюсь, говорю отцу: «Скоро вернусь». Ему всё это очень не понравилось, вид у него был мрачный. Сели в машину. Почему-то я точно знала, что машина эмгебешная, хотя в номерах не разбиралась. Но я точно знала, потому что подумала: Мне-то ничего, но каково ехать на этой машине арестованному! Незадолго до того арестовали Джорджа Грина и ещё несколько человек, которые работали с иностранцами.

Отдел печати находился против Министерства госбезопасности, но меня привезли прямо на Лубянку. Это меня тоже не смутило, я понимала, что все дела Отдела печати связаны с этим учреждением. Мы зашли в кабинет. Там сидел молодой человек. Тот, который меня привёл, говорит: «Садитесь, подождите». И идёт в соседнюю комнату. Мне стало неприятно: им бы следовало быть любезнее. Что значит: подождите? Проходит пять, десять, пятнадцать минут, и чем дольше я сижу, тем больше злюсь: Какая наглость! Сволочи. Приезжают, вызывают, а теперь жди их. Ждала я больше получаса. А дома волнуются: пора ужинать. Но когда тот, кого я ждала, прошёл в

свой кабинет и не поздоровался, у меня ёкнуло сердце: так с людьми не обращаются! Тем не менее, я и тут не догадалась, что происходит. Просто была злая, и противно мне было — в какой стране мы живём! Пришедший поговорил с тем, кто меня привёл, наконец, вызывает. Захожу в кабинет. Он, правда, встал, поздоровался. Довольный такой, улыбается. Первых слов его не помню. Потом говорит: «Мы решили вас арестовать». Я тоже улыбнулась: «Интересно. А за что же?» «За что — вы сами знаете. Мы ещё поговорим. Впрочем, всё зависит от вашего поведения». Я подумала: Арестовали. Вот оно как бывает. А я ничего не чувствую. Я слышала, что когда пуля попадает в человека, он в первый момент не чувствует боли.

После слов: «Вы арестованы», по детективным романам полагается прибавить: «И всё, что вы скажете, может быть использовано против вас». Но этого вряд ли можно здесь ожидать. И вряд ли я отвечу: «Не буду разговаривать, пока не увижу своего адвоката».

Меня держали в кабинете всю ночь с субботы на воскресенье, весь воскресный день и ночь на понедельник. Твердили одно: «Признавайтесь в своих преступлениях». Потом я усвоила правило: никогда не варьировать своих ответов. Выбрать одну формулировку и повторять. Но вначале я пыталась с ними спорить: «Не понимаю, в каких преступлениях я должна признаться. Предъявите обвинение, и я постараюсь доказать, что это неправда».

Несколько следователей допрашивали меня по очереди. Первый днём спал и на следующую ночь был свеженький. Меня хорошо кормили, давали ту же еду, что и следователю. И я даже ела. Спать мне не хотелось, хотя накануне я несколько дней и дома была переутомлена из-за болезни Ирины. Но возбуждение было так сильно, что и на вторую ночь спать не хотелось. Следователь понял, что я могу не догадаться, за какое преступление меня арестовали. Стал меня «подталкивать»: «С какими корреспондентами вы работали и что для них делали?» Я, по возможности, отвечала на вопросы. Но ему пришлось объяснить мне, что речь идёт о Блондене и его книге: «Вы дали материал для антисоветского романа». Я ни в чём не признавалась.

Ордер на арест был выписан 23 февраля, а привезли меня 21-го. Может, у меня была ещё какая-то возможность, кроме ареста, ведь взяли без ордера, формально не арестовали. Может, следователь действительно хотел познакомиться, посмотреть, как я буду себя вести. Других арестовать по моим показаниям, а я им пригожусь на свободе. Следователь так и говорил:

«Признавайтесь. Вы ещё не в тюрьме. Мы ведь не каждого сразу и окончательно берём». «Что ж, — говорю, — ничем не могу вам помочь».

Я всё думала о вас, об отце: Он ещё ждёт меня. А теперь уже не ждёт. Понял уже. Но мне особенно не давали размышлять. Всё время допрашивали. А через день на утро спустили в тюрьму. Лекарства и рецепты были со мной в сумке, и меня ужасно мучило, что ничего не будет сделано для лечения Ирины.

Я вошла в одиночную камеру, просторную комнату метров 14-ти, с паркетным полом. Койка, тумбочка, столик. Большое окно с «намордником»[33]. Всю жизнь мечтала об отдельной комнате и дождалась. В это утро меня не кормили у следователя, и я почувствовала голод и усталость. Пришло в голову: Кофе бы сейчас. Никакого кофе больше в жизни не будет. Жизнь раскололась. Мы знали, что арест — это конец. Села на койку, прислонилась к стене, и тут же застучали кормушкой, но я вначале не поняла, чего от меня хотят, не обратила внимания. Входит надзирательница: «Заключённая, нельзя прислоняться к стене!» «А что можно?» «Можно ходить». Я стала ходить по камере. Страшное, наконец, случилось. Но, слава Богу, что одной ошибки я в жизни не совершила — не вступила в партию. Я почувствовала как будто просветление. И другая мысль пришла в голову: Вот бы Фоля меня сейчас увидел. Какой я была когда-то уверенной и гордой по сравнению с ним! Потом, как все, наверное, стала читать висевшую на стене инструкцию: что в тюрьме запрещается, а что разрешается.

Моя жизнь кончилась, но это неважно. У меня было столько шансов умереть молодой! Меня могли повесить, как Дусю Зельдович, я могла погибнуть в Китае. Мне сорок пятый год, и для того пути, который я сама выбрала, это немало. Всё, что надо и не надо, я в жизни сделала, всё, что человеку отпущено, у меня было. И умереть не только не страшно, но, может быть, даже справедливо. И время. Но вы, моя семья! Я представляла тебя приниженной. И Ирину, которая так гордо вскидывала голову, говоря: «Моя мама…». Даже если я сейчас умру, это за вами пойдёт на всю жизнь. А отца и так уже дёргали, а теперь, в связи со мной, ещё хуже будет, его возьмут. И тут я стала страшно себя упрекать в том, что погубила семью. Как я смела, имея детей, выражать вслух недовольство системой? Передо мной прошла вся моя жизнь. Я вспомнила все разговоры, которые я так свободно вела. Как я смела?! Я сказала следователю: «Признаваться мне не в чем. Я отказываюсь отвечать на вопросы. За это полагается высшая мера? Пожалуйста!» Смеялся он ужасно: «Высшая меря — само собой, но сначала вы всё нам скажете».

Так я ходила по камере, потом принесли еду. Много хлеба. Аппетит вдруг совсем пропал. Я думала, что мне предстоит голод, а тут — столько хлеба. На Лубянке давали хороший хлеб. Я никого ни о чём не спрашиваю, и ко мне никто не обращается. Там никаких разговоров с заключёнными не ведут. Я не заметила, как просигналили отбой, хожу по камере. Всё время в глазок смотрят, неприятное чувство — как будто подглядывают. Открылась кормушка, и шёпотом: «Раздеваться, ложиться!» Легла, в это время открывается дверь: «К следователю!»

На Лубянке, когда ведут на допрос — это целая процедура: из тюрьмы передают заключённого в следственный отдел. Я механически отвечала на вопросы. Привели к следователю, посадили за столик в углу комнаты, а он занимается своими делами. Прошёл час. Он ничего не говорит, и я молчу. Думаю: Как странно! Если он занят, мог бы меня позже вызвать. Ещё не поняла, что это делается специально, чтобы не дать спать. Следователь был довольно молодой и красивый. Виктор Александрович Мотавкин. Мне даже жаль, что я помню его имя, потому что он оказался прав, когда говорил: «Вы меня на всю жизнь запомните!»

Сначала — формальные вопросы, биографические сведения. Потом он дал мне лист бумаги: «Пишите список ваших родственников и знакомых». Я знала, что каждый, кого я назову, окажется под угрозой, но, как ни странно — он сказал, и я сделала. Правда, попыталась уклониться: «Откуда у нас друзья? Большинство — с Гражданской войны, их уже нет. В Институте международных отношений я не успела завести с коллегами никакой дружбы. Я даже соседей по квартире почти не знала». Роберта и Джеку, наших старых друзей, не назвать было невозможно. Так и оказалось: о них знали и без того. Когда мы уезжали за границу, они оставались доверенными для ведения наших дел. Но их именами не обошлось. При обыске в нашей квартире нашли чьи-то письма, прибавились новые имена. О родственниках я сказала, что их у меня почти не осталось. Мать уцелела от немцев, потому что приехала накануне войны в Москву. Из московских родственников назвала безногого двоюродного брата, потому что он приходил ко мне в «Метрополь» искупаться, подкормиться. Я знала, что никаких политических претензий к нему не может быть. Получился такой куценький список, какого у людей вообще не бывает. Когда я его подала следователю, он швырнул бумагу обратно: «Это что — все ваши знакомые и родственники?» Но потом возникали всё новые, и новые имена. Пришлось называть. Следователь знал, что в Гражданскую войну я была в подполье. «Когда-то вы были

советским человеком. А в какой момент вы продались?» И ещё сказал: «Вы — разведчик, я — разведчик, надеюсь, мы найдём общий язык». Напрасно ты надеешься, — подумала я.

Допрос кончился перед подъёмом. Я ужасно устала, не спала уже три ночи. Думала, что меня случайно вызвали на допрос ночью. Пришла в камеру, разделась, выключилась на полчаса — подъём! Оделась, думала до завтрака подремать сидя. Не давали. И я была ещё настолько наивна, что пожаловалась надзирательнице: «Вы же знаете, я три ночи не спала».

На другую ночь повторилась та же история: меня привели, я сидела чуть не три часа, пока следователь мной не занялся. Увидев, что меня вызывают каждую ночь, я сказала надзирательнице: «Какой смысл раздеваться?» «Не положено! Надо лечь в постель!» Этот допрос прошёл не так мирно, как прежде. Следователь говорил с угрозой, что он обо мне всё знает. Он основательно ознакомился с моей биографией, создалось впечатление, что им, действительно, многое известно. И при каждом имени, которое он называл, у меня что-то обрывалось внутри. Потом разговор пошёл об иностранных корреспондентах. «Вы шпионили в их пользу. Давали им сведения. Вы — антисоветский человек. Свои антисоветские взгляды вы высказывали не только корреспондентам. Рассказывайте, не то будем изобличать». А я достаточно трепалась с людьми в своём «Метрополе». Удивительно, как работала память: я вспомнила абсолютно всё, что говорила и даже думала против власти. Но я держалась. Думала, что удастся всё отрицать. Я утверждала, что для меня советская власть — святыня, что я много раз рисковала ради неё жизнью, — всё это было правдой десять лет назад. И думала так продержаться. Я понимала: всё, в чём я признаюсь относительно себя, касается и отца. Угрозы усилились, и однажды он даже поднёс кулак к моему лицу. Несколько раз, проходя мимо, он лягнул меня ногой, но слегка.

Я сидела в одиночке, ничего больше не знала о тюрьме, жила, как в тумане, всё время себя бичевала за то, что погубила семью, и очень страдала физически. Мучило не только то, что не дают спать, но, главное, — невозможность принять горизонтальное положение. Я ощущала своё тело, как мешок больных костей. И вот опять наступила суббота, и меня не вызвали. Оказывается, следователь не работал в ночь на воскресенье.

Так было в первую неделю, и во вторую. Я всё утверждала: «Никогда и ни с кем никаких антисоветских разговоров не вела, и другой власти, кроме советской, не мыслю». Он говорит: «Я понимаю, что вы — за советскую власть, но за какую? Не за такую ведь, как сейчас?» Тут я покривила душой: «И за такую, как

сейчас, я отдала бы жизнь». И спрашиваю его: «А вы разве не думаете, что наша действительность нуждается в улучшениях?» «А в каких, в каких? Каких бы вы хотели улучшений?» «Любой гражданин желает, чтобы страна была богаче, чтобы каждый на своём месте лучше работал» А он опять: «Признавайтесь, кому вы давали шпионские сведения, когда вы стали на путь контрреволюции?»

Но это — общее направление наших разговоров, когда мирно было, когда он не ругался матом. Матюкнул он меня в первый раз на вторую или третью ночь. Как у «старого конспиратора» у меня было правило: придерживаться одной линии поведения. Например: «Такого-то числа вы встретились с таким-то человеком. О чём говорили?» «О театре, о литературе, о погоде». И никаких вариаций на тему. Когда я несколько раз повторила одно и то же, он разразился бранью, и я ему даже посочувствовала.

Я пыталась его убедить, что я советский человек. Сказала: «Не верю, что вы всерьёз думаете, что я шпионка». «Если бы мы руководствовались тем, что мы думаем, мы бы пол-Москвы посадили. Сейчас не 37-й год. Когда мы берём человека, мы точно знаем, что он совершил преступление. Мы не думаем, а знаем, что вы — шпионка. Но шпионы бывают разные. Не обязательно быть завербованной, состоять где-то в списках. Вы давали иностранцам шпионские сведения, потому что вы настроены антисоветски».

Я почти не ела. Пайки скапливались. Я ждала следующей субботы, надеясь поспать. Отбой, легла. Вдруг приходят, вызывают на допрос. Меня допрашивали тринадцать ночей подряд, а днём нельзя прилечь, и я совсем дошла. Когда меня реабилитировали, то спросили в прокуратуре: «Применялись ли к вам меры физического воздействия?» «Особых мер не применяли, только не давали спать». «Сколько времени?» «Тринадцать суток». Эти тринадцать суток были зафиксированы в деле.

Каждое утро в 9 часов приходил какой-то офицер, спрашивал, нет ли жалоб, претензий. Я сказала: «Никаких жалоб, кроме того, что мне совершенно не дают спать». Повернулся и вышел, не сказав ни слова.

Я не выдерживала. Помню, шла с допроса, и мне стало ясно: больше не могу, меня не хватит. Каждый раз мне называли новые имена. Ужас был в том, что я могла кого-нибудь посадить. Я стала искать способа покончить с собой. Со всех точек зрения лучше умереть. Даже для вас, оставшихся на свободе, легче знать, что меня нет, чем представлять мои мучения. Будут проходить годы, а вы все будете из-за меня страдать. А умер человек — и всё. Я

думала о тебе. Может, полюбишь кого-нибудь, и тебя полюбят, но ты не сможешь радоваться жизни, зная, что я страдаю. Но как покончить с собой? Я вспоминала самоубийства заключённых, о которых читала в книгах, например, поджечь постель, разбить голову. Но не было такой возможности. Чтобы покончить с собой, нужны физические силы, а у меня их уже не было.

Нет выхода. Надо говорить. И я стала говорить. О себе. О своей «блестящей» юности и преданности революции, советской власти. Всё это они знали. О том, как в 37-м году начались у меня сомнения. Говорила более или менее правду. Знаешь, как бывает — вдруг наступает какое-то расслабление и потребность «излить душу». Всё было очень мило, следователь дал мне закурить. Но продолжал вызывать на допросы. Ему не излияния мои были нужны: «А с кем вы говорили о своих настроениях?» «Ни с кем не говорила». Я начисто отрицала, что с кем-то делилась. И облегчения получить мне не удалось.

Я сидела в одиночке уже два месяца и думала, что все так сидят. И как-то после допроса, перед самым подъёмом, меня привели вместо камеры в бокс. Подержали там недолго, потом повели дальше, открыли дверь, и я вошла в большую камеру. Было ещё темно, но я разглядела двух женщин. Я так удивилась, увидев людей! Они, конечно, тоже заинтересовались: «Давно с воли?» «Я из одиночки». «А мы с самого начала сидим в общей камере».

Помню первый разговор: «У вас что?» «Шпионаж, а у вас?» «Тоже шпионаж. А третью от нас вчера увели, боюсь, что в Лефортово». У меня сразу появилось любопытство: «А она кто? Тоже шпионка?» «Нет, та — действительно шпионка». «Разве такие бывают?» «Она была в Германии, там её завербовали». «Как интересно!»

Они сидели вместе больше трёх месяцев. Я говорю: «Знаете, у меня такое чувство, будто мускулы моего лица разучились улыбаться». Но я была всё-таки очень взволнована и радовалась, что встретила людей.

Моими сокамерницами оказались эстрадная балерина Лола Добжанская и девушка по имени Галя, посаженная за связь с иностранцами. Сестра Гали была замужем за американцем, сотрудником посольства, родила ребёнка, но уехать в Америку ей не разрешили, и она не выходила из посольства, боясь ареста. К тому времени жён иностранцев уже сажали, и посольство ничем не могло им помочь. Вместо сестры взяли Галю, так как она тоже встречалась с иностранцами. Ребёнок сестры был у родителей, которые жили под Москвой.

В разговорах прошло время до завтрака. Лола меня зовёт:

«Надежда Марковна, садитесь кушать». Я подхожу к столу и вижу странные вещи — колбасу, масло, сыр. «Откуда это?» Лола говорит: «Вот вы и улыбнулись». Оказывается, Лола получила первую передачу.

Началась такая интересная жизнь! Мы не только улыбались, мы смеялись. И я — первая. Я вообще мало смеюсь, но помню, что в этой первой общей камере мы даже хохотали. Мы узнали, что у следователей одни и те же приёмы: «И мне то же сказали». «И мне».

Галя была красивой девушкой весьма свободного поведения. Следователь на допросах всё время напирал на любовь: «Сколько было любовников?» Она назвала шестнадцать. Я говорю: «Галя, зачем вы их всех назвали?» Она — удивлённо: «Всех?!» Мы покатились со смеху. Я сказала: «Запомните, Галя: то, чего вы не сообщаете следователю, нельзя говорить в камере, независимо от того, как вы относитесь к сокамерницам. На всякий случай». И о каждом, кого она называла, она должна была сообщить, какие он ведёт разговоры. Мои сокамерницы считали, что от следователя ничего серьёзного нельзя скрыть. Это никому не удаётся. Будут мучить, пока не признаешься. Поэтому лучше сразу сказать всё. Самое страшное, если отправят в Лефортово. Среди любовников Гали были крупные особы, громкие имена, главным образом работники искусства: композитор, который и сейчас здравствует, популярный джазист, известный актёр. Она была хорошей девушкой и не хотела никого закладывать. О джазисте она сказала только, что он хвалит американский джаз, что ему нравятся американские куртки. Кажется, никого из названных ею людей не посадили.

Когда приходишь в новую камеру, тут же на тебя набрасываются: «Когда вас посадили?» Их арестовали на три месяца раньше меня. Что произошло за это время? Перед самым моим арестом умер Эйзенштейн. Из-за него Лолу допрашивали несколько ночей. Она сказала о нём совсем невинные вещи, но они этим не удовлетворились. И поэтому она перекрестилась, узнав от меня, что он умер. И допросы о нём прекратились.

Когда Гале говорили: «Завтра расскажете об Н., идите и думайте», — она советовалась с нами: «Если я скажу о нём то-то или то-то, его не посадят?» То, что она сказала о джазисте, следователя не устроило. Он заорал на Галю: «Вы хотите сказать, что он доволен советской властью, да?» Тут она возмутилась: «А почему ему быть недовольным? Какой-то плюгавый еврей, а живёт в Москве, в прекрасной гостинице, у него роскошные любовницы, масса денег. Конечно, он доволен советской властью, очень даже доволен».

Так мы жили. На миру и смерть красна. В общей камере реже заглядывают в волчок. Можно ухитриться подремать днём. И физически стало легче, а главное — рядом люди.

Однажды Галю вызвали на допрос днём. Лола говорит: «Надежда Марковна, мы с вами будем несколько часов вдвоём. Хотите выслушать мою историю?» Ей было 36 лет. Кончила балетную школу в Ленинграде вместе с Улановой, но Уланова стала серьёзной балериной, а Лола — эстрадной, и всё оттого, что она — непролетарского происхождения. Отец был до революции богатым купцом, и родителей выслали в Ташкент. Лола была молодой, не очень красивой, но сексапильной. Политикой совершенно не интересовалась. Конечно, ей было больно за родителей, и она знала, что ущемлена из-за своего происхождения, тем не менее, у неё была очень интересная жизнь, интересные поклонники, и среди них даже один крупный чекист, начальник отдела. Он очень её любил, был настоящим другом. Когда ей исполнилось 18 лет — вдруг вызывают в НКВД и предлагают стучать. «Ни за что!» Она девушка с правилами, со школьных лет знает: доносчику — первый кнут. Ей сказали: «У вас родители в ссылке, какое право вы имеете отказываться? Таких мы вообще не держим в учебных заведениях». Стали угрожать, что её тоже вышлют. Но она твёрдо отказалась. Опять её вызвали. И опять. И в третий, и в четвёртый раз вызвали в другой кабинет и стали говорить иначе: «Вы будете людей спасать. Мы ведь можем ошибиться, случайно посадить хорошего человека, преданного советской власти. Согласитесь — и будете как сыр в масле кататься, а нет — вышлем, и не будете учиться, никогда не станете балериной». Итак, ей предстоит блестящая карьера, и она, к тому же, будет «спасать людей»! А она, действительно, не считала их извергами, у неё ведь был приятный знакомый-чекист. Но всё-таки она не соглашалась. Следователь заготовил бумажку — только подписать, и — всё, положил перед ней на стол, ушёл и оставил одну в кабинете. Она сидела с утра, и ей понадобилось в уборную. Чувствует, что не может больше терпеть. В это время открывается дверь, и она: «Ради Бога, выпустите меня!» А он говорит: «Подпишите — и выпустим». Она была в таком отчаянии, что подмахнула бумажку и выскочила. Уборная была рядом.

Пришла домой и встретилась со своим чекистом. Просила, чтобы он её вызволил. Он сказал ей: «Зря подписала, теперь ничего нельзя сделать. Надо было — в ковёр». Но она всё-таки думала, что никогда не будет давать настоящие показания. Ей назначили явку, раз в неделю она встречалась в определённой квартире с каким-то человеком. Квартира не имела к тому

учреждению никакого отношения. Она должна была писать, например, о Мейерхольде, с кем и какие он ведёт разговоры. И писала — о том, какие все хорошие, как любят советскую власть. И была очень довольна, что никому не делает зла.

Один, второй раз её там хорошо встретили, стали делать какие-то поблажки, что-то пообещали насчёт родителей. Обращались мило и игриво, как всегда с ней обращались мужчины. В третий раз она приносит на ту же явку материал, он читает, — и вдруг этот милый и игривый как обложит её матом: «Ты что с нами — в бирюльки играть? Этот — любит советскую власть, да? А когда он был там-то и с тем-то, что он сказал? То-то и то-то он сказал!» Она, по своей наивности, думала, что всё обойдётся. Но тут поняла, и очень хорошо поняла, что никогда не «работает» одна. Что всегда присутствует ещё один стукач и её контролирует. Что ничего из её намерений не выйдет. Её запугали, и она стала давать настоящий материал. Говорит, что хотела покончить с собой, с балкона бросалась, но продолжала у них работать — боялась.

На следствии одним из обвинений против неё было — разглашение тайны. Она насчитала 30 человек, которым открыла тайну. «Зачем вы это рассказывали?» «Ну, как же — да чтобы при мне не высказывались, остерегались. Особенно при свидетелях». Она, вдобавок, боялась, что люди могут сами что-то сказать, а потом донести, что она не донесла первая. Поэтому, если она жалела человека, то предупреждала его: «Вы при мне ничего никогда не говорите».

Ещё до 37-го года она разошлась с одним из своих мужей и встретила будущего известного маршала. Он хотел на ней жениться. Она ему рассказала обо всём, и он обещал её вытащить. Её оставили в покое, и она вздохнула свободно. Странно, что большой чин в самом НКВД ничего не мог сделать, а этот человек помог. И несколько лет она прожила со своим военным очень счастливо. Но потом они разошлись. Какое-то время её не трогали. Она уехала в эвакуацию в Среднюю Азию и забыла обо всём, как забывают дурной сон. Жила себе спокойно и свободно и наслаждалась жизнью, а жизнь она любила. И вдруг в 1942 году к ней явились снова. В 37-м году весь аппарат НКВД пересажали, но это остаётся за человеком навсегда. И тут уже пошёл другой разговор: сейчас война, страна в опасности. Она была настроена патриотически, подумала, что и в самом деле может принести пользу. Потом, когда она вернулась из эвакуации в Москву, её пустили по иностранцам. Впрочем, русскими тоже интересовались, особо узкой специализации не было. Она, конечно, вращалась в самом высшем свете, ходила ужинать в

«Националь», и как-то в конце войны сел к ней за столик генерал и рассказал о том, что делается на освобождённых территориях, как там свирепствует МГБ, как расстреливают и вешают девчонок за связь с немцами. И она на него донесла. Когда я спросила: «Как вы могли?» — она рассердилась: «От меня всё время требовали показаний на несчастных бывших дворян и купцов, а тут генерал, член партии». Для неё он был одним из них. Вот какие разные вещи уживались в человеке! Галя злобно о ней говорила: «Сколько она людей посадила», рассказывала, как с этого генерала погоны срывали.

Незадолго до моего ареста в газетах была серия публикаций об иностранцах, высланных «за поступки, несовместимые со званием дипломата». Потом был случай, что кого-то иностранцы хотели вывезти в сундуке. И все эти истории я узнала от Лолы «изнутри». Лола и её три подруги, одна из них — внучка знаменитой народоволки, «работали с иностранцами», и всех четырёх потом посадили. Они шли по одному делу. По рассказам Лолы получалось так, что она — хоть и старая стукачка, но порядочнее других. Они встречались с иностранцами и получали точное указание от МГБ, когда начинать с ними спать. По заданию МГБ жена известного киношника Валя стала жить с французским атташе, забеременела и сообщила об этом своим шефам. Ей сказали: «Хорошо, на этом деле мы его и возьмём». Тогда аборты были запрещены, но ей обещали устроить это в самой лучшей больнице. Она сообщила своему французу, что беременна. Ясно, что надо делать аборт. Лола тоже была с ним знакома, заверила его, чтобы он не беспокоился: «У нас есть хороший врач, который это сделает». И конечно, сразу после операции француз навестит Валю. Пять дней подряд из роддома в коммунальную квартиру привозили ведро с зародышами, а Валя лежала в постели. В ожидании атташе все участники спектакля были на месте. Надоело им ужасно, но ведь дело-то государственное! И вот в один прекрасный день — звонок, француз пришёл. У постели — врач в белом халате, под кроватью — таз с зародышами. Лола открыла дверь, сказала «Только сегодня сделали». Француз подошёл к кровати, нежно поцеловал Валю. В это время — опять звонок. Входит милиционер. Сразу — к кровати, нагнулся и вытащил таз: «Это что такое?» Увидел врача: «Гражданин такой-то?» Сделал вид, что арестовал врача, и обращается к французу: «А вы кто такой?» «Я — дипломат». Показывает документы. Записали его данные и тут же составили протокол. «Вы знаете, что это преступление, которое карается законом?» Но кому нужен был его арест? Его требовалось выслать, искали, к чему придраться.

О другом случае рассказала Галя, вторая моя сокамерница. Опять-таки незадолго до моего ареста все в недоумении читали невероятную историю о том, что за антиобщественное поведение выслан работник американского посольства. Будто бы он приставал в машине к актрисе-цыганке. Американца предупреждали в посольстве, что советские ищут повода, чтобы его выслать. Он был очень осторожен, никуда не ездил один. На каком-то вечере в посольстве американец ухаживал за Галей, а цыганка к нему пристала, чтобы он отвёз её домой. Ему не хотелось, но она всё-таки села в машину, в которой он был с Галей, сказала, что ей — по пути. Он высадил Галю возле её дома, и та видела, как цыганка в него вцепилась с криком: «Он меня хочет изнасиловать!» Сбежались милиционеры. Тут же доложили послу.

Когда я сидела, было много слухов, что в самом МГБ угнездился шпион. Лола была в этом убеждена, судя по тому, что арестовали её и других таких, как она, которые так хорошо работали. Я тоже верила в такую возможность. Однажды Лолу подослали к американскому лётчику, который бросил бомбу на Хиросиму или Нагасаки. В 1947 году его отправили в Москву, чтобы он отдохнул, пришёл в себя, а заодно и поработал в посольстве. Я забыла, конечно, его имя и фамилию, но американцы знают, кто был в 1947 году в Москве. Он был очень хороший парень, типичный простодушный американец, но нервный. Говорил, что не может забыть того, что он сделал, и всю жизнь будет помнить. И что он ей расскажет кое-что, и она поймёт, почему он в таком состоянии. А она всё докладывала шефам. Но ей не разрешали с ним спать, несмотря на её просьбы. Так она и села без того, чтобы с ним поспать. И в этом она видела лишнее доказательство того, что американский шпион засел в МГБ, в самом центре. Ведь американец должен был ей сообщить что-то важное, а её посадили! И не за что было её сажать, просто обрубили в самом расцвете карьеры. Интересно, что за всё время работы с иностранцами только один раз они к ней обратились с целью вербовки. У неё были всякие романы, разрешённые и неразрешённые, а один — с работником голландского посольства, много лет жившим в Москве. Они были друг с другом вполне откровенны, и она думала одно время, что, может быть, он на ней женится и увезёт её. Она всегда мечтала о заграница. Голландец предложил ей на них работать. Причём сказал, что именно работая на них, она будет в полной безопасности. И вот, хотя по словам моего следователя, «половина Москвы — шпионы», она была так потрясена его предложением, что убежала и больше с ним не встречалась. И только на следствии впервые рассказала об

этом случае. В первый и единственный раз, когда действительно обнаружился какой-то шпионский центр, и его можно было раскрыть, МГБ своевременно об этом не узнало.

Тому, что рассказывала Лола, я полностью верю. Такой она тип — не склонная ничего драматизировать и вымышлять. И она ведь мне выкладывала душу.

Широко известного теперь Виктора Луи Лола тоже знала. В то время он уже сидел. Сама я с ним познакомилась в начале войны, когда он был мальчишкой лет 14-ти, околачивался в «Метрополе», подбирал за корреспондентами окурки, выпрашивал жевательную резинку. Бюробин — Бюро обслуживания иностранцев — его официально не брало на работу, не «аккредитовывало». Потом я его потеряла из виду. Встретила снова в 1945 году в гостинице «Националь», в номере у новозеландки Рут Лейк, с которой я тогда подружилась. Оказалось, что он работает при новозеландской миссии курьером. Говорил прилично по-английски и выглядел интересным юношей. Но всё-таки для меня он оставался мальчишкой, я ему «ты» говорила. К 1948 году, когда Лола и Галя сели, он у них котировался как мужчина. Ему было лет 20, он свободно тратил деньги, изображал из себя американца. Его арестовали — то ли он пытался удрать за границу в каком-то сундуке, то кто-то другой пытался, а он устраивал, при чём, всё было спровоцировано МГБ. Он замешан во многих провокациях — и это при всей своей любви к иностранцам, при страстном желании удрать. Я теперь не помню подробностей этой истории, Мексиканцы были замешаны, посольство Чили: посадили жену чилийского дипломата. Сколько тогда таких историй было!

Лола говорила: «Какой бы мне срок ни дали, я конченый человек. Я в неволе жить не буду». Я ей возражала: «А как вы раньше жили? Вы считаете, что были свободны?» Но она ценила свои успехи на эстраде, свои романы, рестораны, хотя не раз была близка к самоубийству, бегала в церковь замаливать грехи и мечтала уйти в монастырь.

Ей дали 8 лет нережимных лагерей. Она попала в самый город Воркуту, работала в культбригаде. Я получила от неё в лагере очень нежную записку. Она писала, что никогда меня не забудет, что её поддерживает надежда на встречу со мной. С культбригадой она ездила по лагерям и могла оказаться на нашем лагпункте. В 1951 году она умерла в лагере от желтухи.

Галю во время следствия усиленно расспрашивали об её отце. Уже она призналась, что он антисоветски настроен, всегда был против советской власти. Но от неё требовали фактов. И когда она пришла от следователя и рассказала, что весь допрос был об

отце, я поразилась: «Они требуют от вас показаний на отца?» Она на меня посмотрела с удивлением: «А как я могу не давать показаний? Надо, чтобы верили, что я с ними вполне откровенна».

Галя была уверена, что сестра её находится в безопасности в американском посольстве. Посольство снабжало их семью продуктами. И получив от матери обычную бедную московскую передачу, она рвала и метала: «У них лежат продукты ящиками!»

Меня увезли с Лубянки в Лефортово, и мы больше не встречались, но вернувшись опять на Лубянку, я от других сокамерниц узнала, что американец уехал, а сестра Гали наглухо засела в посольстве: жён иностранцев уже брали на улице. Но однажды она всё-таки вышла в кулинарию купить антрекоты, и её арестовали, привезли на Лубянку вместе с антрекотами и дали 25 лет. А отца посадили по показаниям Гали. Галя узнала об арест сестры на оправке — прочла надпись, нацарапанную на стене в уборной: «Ира здесь». Тогда она поняла, почему такой бедной была передача, и убивалась, что напрасно ругала своих за скупость. На что вообще жила её мать с маленьким внуком, если обеих дочерей и мужа арестовали? У них конфисковали всё, и ящики с продуктами тоже.

Вскоре после ареста сестры Галю выпустили. Тогда освободили несколько девушек, сидевших за иностранцев, вероятно, для дальнейшей работы на МГБ.

Я просидела в этой камере месяца два с половиной. Продолжала «плохо себя вести» — не давать показаний. Следователь пугал Лефортовым: «Там заговорите!» И однажды после допроса меня завели в бокс, оттуда — в воронок. В нём — отдельные клетки. Мало воздуха, я задыхалась.

Привезли в Лефортово и поместили в камеру, где находилась ещё одна женщина по имени Наташа. Как это ни странно, я никогда не думала, что ко мне подсадят стукачку. Обрадовалась, что опять не одна. У женщины было воспаление яичников, и она страдала от сильных болей. Я ей очень сочувствовала. Оказалась стукачкой, но не из тех, кого специально для этого держат, а просто её на следствии запугали, и всё, что могла, она про меня рассказала следователю.

Когда мы разговорились, то оказалось, что меня привели на место Майи., которую я знала маленькой девочкой. Девочка приходила в «Метрополь» к матери, работавшей с 20-х годов секретарём английского корреспондента Чарльстона, которого я тоже знала. Я спросила Чарльстона, почему он не возвращается в Англию. Он ответил: «Если я уеду, возьмут моего секретаря, её мужа и ещё несколько человек. Пока я здесь, они в безопасности».

Но в 1946 году он уехал на две недели. Он и раньше ненадолго уезжал. Но на этот раз советское посольство не дало ему визы. И тогда взяли мать и отца Майи. Я узнала об этом в тюрьме. Мать получила 10 лет, отец 5. Когда взяли Майю, мать привезли из лагеря на допрос в Москву. Сокамерница мне рассказала, что Майя оказалась «твёрдой» девушкой, не давала показаний.

Незадолго до ареста Майя вышла замуж. Когда её забирали, муж сказал: «Вот жизнь — уводят жену, а ты ничего не можешь сделать». Потом он благополучно женился на другой.

Майя перестукивалась с соседней камерой, где сидели трое немцев и итальянец. С итальянцем у неё завязался через стенку настоящий роман. За перестукивание Майя попала в карцер. Следователь и мне много раз грозил карцером, но всё-таки я ни разу там не сидела. Сокамерница рассказывала, что Майя пришла из карцера в ужасном состоянии, вся дрожала, сказала, что там раздевают почти догола.

Мы сели ужинать, вдруг слышим стук. Сокамерница говорит: «Это майин стучит, никак не может успокоиться, бедняга, не знает, что её уже здесь нет». После отбоя — опять стук. Она мне говорит: «Слушайте, ответьте, жалко его». Оказывается, он привык каждый раз, как приносят еду, стучать: «Приятного аппетита», вечером: «Спокойной ночи», утром: «Доброе утро»! Я сказала: «Стучите сами, я не умею». Она говорит: «Майя тоже не умела, но быстро научилась». Но я ещё в предыдущей камере заметила, что не в состоянии ничего запомнить, неспособна ни на какое умственное усилие. Это со мной случилось в первый же месяц тюрьмы. Соседка моя перестукиваться не могла, её койка стояла у другой стены. Она лежала со страшными болями, с трудом подходила к параше. Я просила вызвать к ней врача, тем не менее, через несколько дней её повели к следователю. И она всё-таки, через силу, пошла на допрос. Как видно, следователь должен был дать ей инструкции насчёт меня. Вернулась она совершенно без сил. Так прошёл день, два, сосед всё стучит, наконец, я соблазнилась: если Майя могла, может, я научусь? И когда он постучал, как обычно, во время обеда, я ответила. То есть просто постучала. Он страшно обрадовался, раздался дробный стук. Я расхрабрилась, потому что слышала, что кругом перестукиваются. Ответила ещё раз и потом научилась. Не по старой тюремной азбуке, а просто в порядке алфавита. Лёжа на койке, под одеялом, можно было перестукиваться совершенно безопасно. Нашего соседа звали Ромео Маскетти — так мне запомнилось. Я назвала себя Леной. Он рассказал, с кем сидит и за что. Вначале я очень плохо понимала. А через неделю мы перестукивались на разные темы, как будто не было между нами

стенки. Оказалось, что они, в его камере, сидят с 1944 года. Он работал в итальянском посольстве в Румынии. Рассказал мне массу интересного о том, что было в Румынии, когда туда вошли советские войска. Когда Румыния капитулировала, работников посольства — и его, и немцев — арестовали. Я потом, на Воркуте, встречала девушек из этого посольства. Ромео рассказал, что как одно из условий капитуляции Румыния оговорила, чтобы не трогали иностранцев — но с этими договоришься! С тех пор дипломатов держат в тюрьме. Посол их сидит в Лефортове, как и они, пятый год. За это время Ромео так изучил тюрьму, что знал все здешние звуки. Он жаждал ссылки в Сибирь: на свободу никто из них не рассчитывал, не надеялся увидеть близких. Они ничего не знали о том, что произошло в мире со времени их ареста, поняли только, что кончилась война, слыша залпы в честь победы. Сидели вчетвером с самого ареста, не видели ни одного постороннего человека. С Майей Ромео, действительно, только «занимался любовью», она не могла рассказать, как выглядит современный мир, советская зона. Они не знали, что в странах Восточной Европы существуют коммунистические режимы. Всё это сообщила Ромео я, а он передавал своим. И я через стенку чувствовала безумное волнение людей, отрезанных от мира четыре года. В тюрьме Ромео познакомился с коммунистической литературой и пересмотрел свои взгляды. Считает теперь, что коммунизм — это будущее человечества. На что я ответила ему цитатой из Гейне: «Sie stinken beide» («Одинаково воняют»). Вот как мы разговаривали! Он сообщил, что был итальянским консулом в Одессе и вообще всё время был на дипломатической работе. Я стучу: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» — Слишком хорошо для человека, который всего лишь какое-то время был консулом в Одессе. «Я же вам сообщил, что родился в Одессе». Оказывается, он мне это объяснил в самом начале, когда я понимала с пятого на десятое. Он как джентльмен представился: имя, фамилия, где родился, возраст и прочее. В Одессе когда-то была целая итальянская колония, итальянцы жили там сто лет. В 1919 году, в Гражданскую войну, многие государства забрали своих граждан из России. Помню, что итальянцы прислали специальный пароход. Ромео уехал в четырнадцатилетнем возрасте. У деда его на Дерибасовской был книжный магазин, и я этот магазин «Маскетти» хорошо знала. И в гимназии он учился на знакомой мне улице. Вот это, действительно, фантастика! О себе я из осторожности очень мало рассказывала, но сообщила немножко о советской действительности, предупредила на всякий случай, что строй наш — тот же фашизм, так что незачем менять одно на другое.

Он спросил, за что я сижу. Я ответила, что у нас сажают ни за что. Тогда он решил, что раз я не участвовала в заговоре и не совершила террористического акта, значит, скоро выйду, и на всякий случай дал адрес своей жены: Штутгарт, Штайнвег, 42. Я ни разу не пробовала писать по этому адресу[34]. Наверное, он вышел раньше меня, вместе с другими иностранцами. Он очень хотел узнать мой адрес, чтобы написать из Сибири. Я пыталась объяснить, что это не имеет смысла. Даже если мы оба окажемся на свободе, для советского человека переписываться с иностранцем слишком опасно.

Ночные допросы прекратились. Я немного отдохнула физически. От моего соседа я узнала всю тюремную рутину. В Лефортове большая слышимость. На Лубянке не слышно даже, когда ведут в соседнюю камеру. Там ковры, а здесь — много звуков и много перестукиваний.

Ночью мне было легче, я перестукивалась, но ведь были ещё и дни. Я ничего не знала о вас, не знала, живы ли вы. Прошло столько месяцев, за это время мои сокамерницы получали от родных деньги. А мне — ничего. Я часто думала, что отца нет на свободе. Но кто-нибудь же остался? У меня было такое состояние, что — глухо, и у меня, может быть, больше никого нету. Почему вы должны были исчезнуть, я не знаю, но вот так я чувствовала — я просто одна, и всё. И вдруг заходит корпусной: «Вам деньги, 50 рублей». Я этого пожилого человека никогда не забуду. В тюрьме с заключёнными не разговаривают. Когда спросишь, какое сегодня число, отвечают: «Обращайтесь к следователю», если вообще отвечают. Это было такое потрясение! Я бросилась к корпусному. Он испугался: «Что вы, что вы, я думал, вы обрадуетесь, а вы плачете!» «Я от радости плачу! Столько месяцев ничего не слышу о своих. Спасибо, спасибо!»

Наташа, сокамерница, угощала меня своими продуктами, и когда в определённый день пришли из ларька, я сказала, что тоже хочу сделать заказ. Но мне ответили обычной фразой: «Спросите у следователя». Потом я узнала, что отец каждый месяц передавал мне по 200 рублей. Почти все деньги пошли за мной в лагерь. Моей лубянской сокамернице Лоле следователь тоже не сразу разрешил пользоваться ларьком. Некоторым позволяли покупать продукты только в конце следствия.

Благодаря соседу моё существование, несмотря ни на что, было выносимо. Это была такая напряжённая жизнь! Мы часами вели интереснейшие разговоры. И в один прекрасный день по распоряжению следователя меня за перестукивание забрали в карцер.

Сокамерница пугала меня карцером, сама она там ни разу не

побывала. Я как старый революционер ей отвечала: «Знаю, карцер — неприятная вещь, читала в книгах. Все сидели в карцере!» Она давала мне понять, что если ей пригрозят карцером, она не выдержит, всё про меня расскажет. Тем не менее, я с ней разговаривала довольно откровенно. Она так хорошо ко мне относилась!

Ну, ты знаешь, в карцере тяжело. Был это самый обыкновенный карцер, в каком и ты сидела — со скамейкой в углу. Заставили снять бельё, чулки, я осталась в тонком платье. Села на скамейку, прислонилась к стене, а на ней — иней, изморозь, я в ужасе отшатнулась. Но потом вспомнила: я ведь хотела покончить с собой! У меня в резерве замечательная вещь: в молодости в лёгких был туберкулёзный процесс. Врачи говорили: «Пока вы в нормальных условиях — не страшно — произошло обызвествление. Но процесс может вспыхнуть в любой момент. Заболеть воспалением лёгких для вас — смертельно опасно». Кстати, перед отъездом в Израиль, в 1975 году, врач опять меня предостерёг: «Будьте осторожны!» Я только посмеялась про себя.

Я всё время страдала из-за своих близких, но в карцере подумала: Мне так плохо, мои дорогие, что уже не до вас. Если бы я предвидела, что и ты окажешься в таком положении, я бы пожелала тебе смерти. Хорошо, что человеку не дано решать судьбу другого. А это продолжалось всего трое суток, но я их не считала и уже не ждала, когда это кончится. Я не принимала ни пищи, ни воды. Мне бросали хлеб, но я к нему не прикасалась. По дороге назад в камеру меня поддерживали — я не могла идти самостоятельно. Ты говоришь, что бегом бежала из карцера — разница в возрасте. И до того я была ужасно слаба после бессонных ночей. Из карцера меня привели в одиночку. Когда я вернулась, в камере было всё, что я выписала, но аппетит совсем пропал. Этой же ночью вызвали на допрос. Следователь, как обычно, писал. Тишина, только слышится скрип его пера. Вдруг из соседнего кабинета донёсся страшный звук, который до сих пор у меня в ушах. Это был мужской рёв сквозь сжатые губы. Так кричат от пытки. Прекратилось, потом повторилось снова. Следователь дал мне некоторое время послушать. «Ну как, нравится вам такая музыка?» Я не ответила. «Мы это и с женщинами делаем». «И чего добиваетесь таким образом — правды?» «Я с самого начала предупредил, что здесь все говорят». Но я вдруг утратила страх: «Что ж, попробуйте». Он подошёл и произнёс такую тираду: «Чтобы я из-за говённой бабы свою карьеру испортил! Не будет этого. Надо мной все смеются. Больше полугода вожусь с вами, и всё без толку». Отправил меня в камеру. Тогда шли допросы об отце. Следователь знал, что одно

время он жил со мной в «Метрополе», был знаком с Блонденом. Я этого не могла отрицать: «В цивилизованном обществе принято знакомить, когда заходит человек». «Что он высказывал?» «Ничего не высказывал».

На следующем допросе следователь спрашивает: «За что вы попали в карцер, какое совершили нарушение? С кем перестукивались, что говорили? Говорили то-то и то-то! Мы всё знаем!» Как будто это сам итальянец рассказал.

Выдала меня сокамерница. Так пытались меня деморализовать. До карцера я как-то отдохнула, а тут опять стали каждую ночь вызывать и требовать новые имена. Я начинала вся дрожать, когда за мной приходили. С трудом могла одеться. Перестала есть. Выливала еду в парашу. Дошла до такого состояния, что не могла ходить по камере. Просто сидела, скрючившись, с ногами на койке — в Лефортове это разрешалось. На Лубянке в наказание у меня иногда отбирали шубу, тогда я скулила, как побитая собака. Шуба была для меня, как живое существо. Теперь, возвращаясь с допроса, я стремилась к моей шубе. Даже не читала — уже не хотелось, днём сидела в полудремоте. А ночью не могла спать, не лежалось на месте, хотелось почему-то ходить. Мне стучали: «Нельзя ходить! Лежать!» И тут начались галлюцинации. В кабинете у следователя смотрю — стена у него за спиной изгибается вместе с портретом Берии. Однажды днём сижу я в своём углу, открывается дверь, и впускают мужчину в длинном халате, в тюбетейке на бритой голове. Я думаю: «Татарин! По ошибке впустили в мою камеру!» И мне стало страшно, что за чужую ошибку меня накажут. Смотрю на него с испугом, а он, не обращая на меня внимания, садится на парашу и в этот момент поворачивает ко мне голову и со смущённой улыбкой опускает полы халата. Хорошо помню его лицо. А однажды я отчётливо увидела: Ирина упала с велосипеда, смотрит на меня и отряхивает юбочку. Я так отчётливо это видела — её синюю юбочку и стриженые волосы, что, помнишь, спросила бабушку на свидании: «Что, Ирину остригли?» Бабушка стала оправдываться: «Ты же знаешь, она не любит мыть голову, пришлось остричь ей косы.»

В одну из этих ночей, когда я не могла лежать, в камеру опять зашёл корпусной, тот самый, пожилой, «наш», что и к тебе заходил. Как всегда, открыта дверь, и другой надзиратель поодаль стоит. Стал меня убеждать: «Ну зачем же вы ходите ночью? Ложитесь на койку». Оглянулся и погладил меня по спине. Я в него вцепилась: «Не могу! Понимаете, я сама не хочу нарушать режим, но не могу». Мне стало легче оттого, что он ко мне прикоснулся, что было, конечно, против всяких правил.

Не знаю, было ли это при тебе, но когда я сидела в Лефортове, там было много сумасшедших, много безумных криков по ночам. Одна женщина вопила: «Я жена маршала Василевского!» Но я не замечала, что тоже схожу с ума. Пропали страх и настороженное отношение к следователю. Он мне казался каким-то знакомым, которому что-то от меня надо, но не было к нему антагонизма. Это тянулось несколько недель. Следователь заметил моё состояние: «Вот до чего дошла, совсем чокнулась». Однажды я ему что-то охотно о себе рассказывала, и вдруг он задал вопрос, связанный с чьим-то именем. Я добродушно ответила: «Да нет, это неинтересно, этого я вам не скажу».

В тюрьме я, к своему ужасу, непроизвольно вспомнила такие вещи, о которых на воле давно забыла. Вспомнила, что говорили при мне другие. Была семья, с которой отец познакомился на Севере во время войны. Мы пришли к ним в гости, хозяйка меня видела в первый раз, и вдруг при ребёнке, который сидел на горшке, что-то сказала про нашего вождя такое, что я вздрогнула: как она не боится! Мы с отцом, как большинство граждан, никогда этого имени вслух не произносили. Я тогда подумала: Есть люди, которые болтают ещё больше меня. И я вспомнила в камере, какие у нас с этими людьми потом пошли разговоры. И ужасалась: как страшно, зачем я всё это вспоминаю? Вдруг сойду с ума, потеряю над собой контроль! Но даже оживлённо болтая со следователем, я помнила, что есть вещи, о которых нельзя говорить. Вот так однажды в Берлине мы были в ресторане с белым генералом, которого мы завербовали, и я сильно напилась. Не помню, как вышли из ресторана, как сели в машину. Сидели все вместе — отец, наш товарищ Василий Зеленин, генерал и другой белый. Но я помнила, что они — чужие, и говорила отцу: «Ты за меня не беспокойся». Так и здесь, в тюрьме, инстинкт меня не подвёл.

Раз захожу к следователю в кабинет. Что стена изгибается, я уже привыкла. А тут вижу: у его стола — огромная дыра в паркете. Говорю: «Такое солидное учреждение, и вдруг — дыра. Неужели нельзя починить?» Тут, видно, он решил, что ничего со мной не поделаешь, и меня отвезли на Лубянку, в общую камеру. Может быть, ему представился более благоприятный случай поправить карьеру.

Я вошла в камеру, и мне показалось, что я вижу сцену из оперы «Пиковая дама»: яркое освещение, хрустальные люстры. Ходят великолепные дамы с царственной осанкой. Я говорю: «Ой, какие вы все здесь нарядные!» Оказалось их там девять человек. Койки стояли тесно. Сокамерницы говорят: «Вот свободная койка, садитесь». Ко мне отнеслись очень бережно, не в первый раз

видели в тюрьме помешанную, им уже таких приводили, именно в их камеру, где были старожилы. Спросили, откуда я, из Лефортова? Ну, это они знали. Я стала говорить, говорить. Привезли меня поздно вечером. Спать не могла. Уже в Лефортове последние ночи не спала, так была возбуждена. Одна женщина говорит: «Отбой, надо соблюдать тишину, но если хотите, я буду с вами разговаривать. Я сижу уже четыре года, и мне разрешают спать днём». Я стала её расспрашивать о её деле. От её рассказов осталось впечатление, как от чего-то невероятно увлекательного. Муж её был связан с власовцами. По этому делу сидит масса военных. В конце концов, я заснула.

По утрам по очереди выносили парашу, но меня из очереди исключили. Утром мне показалось, что я вижу всю тюрьму Лубянку: открытые камеры, койки стоят так же тесно, как и у нас, и лежат на них укрытые одеялами люди, я не вижу, мужчины это или женщины, но знаю, что все они — югославы. Я спросила соседку: «Почему вся тюрьма полна югославами? За что они здесь?» «Какие югославы?» Помолчала, потом говорит: «Ну, ничего, ничего». Так странно я вела себя три дня.

Красивая немка Хельга Фидлер разговаривала с другой сокамерницей. Меня резануло от немецкой речи, и вначале я её как-то обходила. А Хельга была ко мне особенно внимательна и предупредительна. Она удивительно умелая, ловкая. Установила в камере замечательный порядок: все продукты делились поровну. Некоторые женщины получали дополнительное питание: винегрет с кусочком селёдки на ужин. Человека три выписывали продукты из ларька. Большинство не получало ничего сверх тюремного пайка. Как самая расторопная, Хельга чувствовала себя хозяйкой камеры, устраивала по возможности уютный и красивый ужин, мы садились за большой стол, и она мне подносила еду: «Битте зеер, фрау». Она понимала мои чувства к ней, немке, и не навязывалась. Вначале я не хотела говорить по-немецки, но она плохо знала русский язык, и постепенно я перешла на немецкий.

Меня перестали вызывать на допросы. Первые дни я много говорила и жадно слушала, каждого просила рассказать его историю. Потом возбуждение прошло, я совсем умолкла и много спала. Режим в камере был ослабленный. Все здесь сидели давно, и надзиратели не стучали в дверь при малейшем нарушении режима.

Наверное, мой случай мог бы заинтересовать психиатра. Утром меня поднимали на оправку, я шла, проделывала, что надо, возвращалась в камеру, садилась на койку, закутывалась в шубу и засыпала. Лежать, конечно, было нельзя, но я спала сидя,

а сокамерницы меня загораживали. Потом Хельга сажала меня за стол, я ела, как все, возвращалась на койку и снова спала. Так продолжалось две недели. Я спала по 19 часов в сутки. Ни с кем не разговаривала, ни о чём не думала, отвечала только на самые простые вопросы. А через две недели выздоровела.

Хельга — интеллигентная девушка, гордая, принципиальная. Было интересно слушать её рассказы.

В детстве она, конечно, была в гитлерюгенд. Эта игра ей нравилась. Её ловкость, знания и умения — во многом благодаря этой организации. У немцев не то, что наша показуха: их так готовили, что и на необитаемом острове могли бы выжить. Разводить огонь без спичек — это минимальное из того, что они умели. Отец её, какой-то чиновник, по обязанности состоял, конечно, в нацистской партии. А дядя был противником режима. Родители при ней о политике не говорили, но однажды в 1943 году, когда казалось, что немцы победят в войне, она слышала, как дядя сказал: «Самым большим несчастьем для немецкого народа будет, если мы выиграем войну». Но в целом это была обыкновенная нейтральная семья. Словам дяди она поверила и победы Германии не желала. Вскоре после Сталинграда родители поняли, что война проиграна, ждали прихода Красной армии, только бы скорее всё кончилось.

Хельга много рассказывала мне о том, как было, когда в их город пришли русские. Я впервые об этом слышала. Она куда-то шла, и по дороге её изнасиловали восемь раз. Но самое страшное было в Чехословакии, где она оказалась по мобилизации в какой-то части. Просто удивительно, до какого зверства может дойти народ. Она оказалась между чехами и русскими и бежала к русским — у тех была надежда как-то выжить, но чехи убивали сразу. А когда кончилась война, русские завели такие порядки, что она решила — это очень несправедливая власть, не лучше Гитлера. Ещё Хельга обижалась за аннексию — сама она из Бреслау. Она мечтала сделать что-нибудь для своего народа. Многие занимались шпионажем и с нашей, и с западной стороны. Хельга попала в антисоветскую шпионскую организацию. Их арестовали. Когда её везли из Германии, она встретила своего начальника, главного шпиона. Он ей сказал: «Нет смысла отпираться, говори всё, как было». Но она пыталась кого-то спасти, покрыть. На суде держалась с достоинством. Ей дали 25 лет, и она была горда, что сидит за дело.

Я расспрашивала, с кем она сидела. От неё я услышала о сёстрах Лене и Лиле Ильзен. В 1937 году, после ареста родителей, девочки остались одни. Большое участи в их судьбе принял друг семьи, художник. И этот друг на девочек исправно

доносил в МГБ. Вскоре после ареста родителей, когда Лиле было лет восемь, она сказала этому другу: «Я вырасту и убью Сталина». И на этом основании её через много лет арестовали и дали статью «террор». Таких вообще брали по малейшему поводу — что их держать на воле? Может, друг оправдывал себя тем, что иначе, как донося, он не мог бы помогать сироткам? Лиле дали 15 лет, а Лене, заодно, 10.

Сидя в тюрьме, узнаёшь новости от недавно арестованных. А в этой камере состав менялся мало. За два месяца, что я там провела, только один день привели девушку с воли. Она рассказала о разрыве с Тито, о том, что уже сажают за связь с югославами. Мой бред, оказывается, был провидческим.

Удивительно, как много люди о себе рассказывают в камере. От прошлой жизни мы отрезаны, тюрьма — другая планета, и то, что говорится здесь, не имеет для прежнего никакого значения. Мы никогда так много, как в тюрьме, не узнавали друг о друге, даже если были знакомы на воле по 20 лет. У Хельги никого на воле не осталось, родители умерли. Она всем сочувствовала и понимала, насколько ей легче сидеть, чем другим, у кого остались близкие. Она была жизнерадостным, здоровым человеком, меня очень жалела, зная, что у меня на воле дети. Я повторяла ей ваши имена, рассказывала подробности вашей жизни. Она знает твои первые слова, знает о твоём детстве столько, сколько ты сама не знаешь. И в день твоего рождения, когда тебе исполнилось 16 лет, она устроила настоящий праздник! Готовилась целую неделю, специально заказывала что-то через тех, кто пользовался ларьком. Главное — она сделала маленькую свечку. Сыр, оказывается, покрыт воском, а она всё использовала, ничего не выбрасывала. Когда тебя арестовали, я, между прочим, подумала о Хельге — Боже мой, если бы она знала! А ведь она была потом в Тайшете, на твоей трассе, вы могли бы встретиться.

Между первой — после одиночки — камерой на Лубянке, где была Лола, и этой, последней, я сидела ещё в двух общих камерах. Два раза меня возили с Лубянки в Лефортово и обратно. Не все люди были интересны, не всех я запомнила. Были такие, что придут с воли, сядут на койку и молчат. Всё казалось им безмерно страшным. Некоторые поражали сосредоточенностью только на своей судьбе. Такой оказалась Надежда Александровна Бородина. Когда я пришла в новую камеру, мне сказали, что с ней невозможно разговаривать, она всё время твердит: Миша-Коля, Коля-Миша. Как будто она одна на свете. Мне пришлось лечь рядом с ней. В большой камере на Лубянке было много коек, крайняя — возле параши. Тот, кто приходит последним, ложится

на эту койку. Она пришла дня за два за меня, поэтому мы оказались рядом. Я люблю поговорить, но умею и слушать. Надежда Александровна рассказала мне свою поразительную историю.

Коля — муж Надежды Александровны, Миша — сын, которому было тогда 11 лет. Мы с ней решили, что поженим наших детей, Ирину с Мишей. Мы всегда женили своих детей, и тебя я в лагере поженила с Радиком Кушнировым, сыном моей приятельницы Любови Абрамовны и еврейского поэта. Когда мать рассказывает о своём сыне, хочется за него выдать замуж дочь.

Надежда Александровна — простая, добрая женщина. «В чём дело, за что вы сидите?» «Не знаю». Она только два раза была на допросе. Расспрашивают о муже, говорят ужасные вещи. Взяли её из гостиницы, где она жила с сыном. «Боже мой, что теперь будет, гостиница ведь дорого стоит». За них платило учреждение, а теперь Мишу выбросят, куда он денется?

Она родилась и выросла в большой кубанской станице, где даже была женская гимназия. Отец — ветеринар, принадлежал к станичной интеллигенции, был общественником, играл на гитаре, у них в доме собиралась молодёжь. С длинными русыми косами, всегда нарядно одетая, Надежда Александровна была очень хорошенькой, это было заметно даже в тюрьме. Хотя она одного со мной возраста, но не такая прыткая, как я, в Гражданскую войну политикой не занималась, И отец её не пострадал. Когда всё улеглось, она стала вполне советским человеком. Там же, в станице, жил Коля, на год её моложе, сын вдовы-учительницы, которая одна растила своих детей. Семья жила тяжело, бедно. Коля давно мечтал, что когда вырастет, женится на Наденьке. После революции социальные различия утратили былое значение, они поженились. Перед ними открылись все дороги. Он прошёл рабфак, кончил институт. Она жила его жизнью, потому что она именно такого типа женщина. Пока он учился, она работала лаборанткой, помогала ему в его экспериментах. И он оправдал все её надежды. Был честолюбив, стремился к научной карьере. Конечно, вступил в партию. В Баку, в научно-исследовательском институте, работал по пенициллину, стал директором института. Долго у них не было детей, наконец, родился Миша, чудесный мальчик, отец в нём души не чаял. Когда Миша подрос, они решили, что и он станет, как отец, учёным. После рождения сына она не работала. Анкетные данные помогали продвижению Коли по службе: и русский, и член партии — настоящий, убеждённый. То есть как — убеждённый? Кое-что и ему не нравилось…

Его пригласили в Москву, назначили директором института, послали в Америку. Платили очень хорошо. В Москве у них ещё

не было квартиры, временно жили в гостинице. Он писал ей замечательные письма о том, как его принимали профессора-американцы. Поездка в Америку его сильно изменила. Она мне потихоньку призналась, что он говорил об Америке с восторгом. Восхищался не только американским уровнем жизни, но и тем, как американцы друг с другом откровенны, какие они простые. И ещё она мне доверила, что помимо работы, ему дали здесь какое-то задание. Это считалось в порядке вещей. Вернувшись, он получал из-за границы письма от коллег. И жаловался ей: «Как тяжело быть русским человеком! Я не могу просто так написать коллеге, я должен прежде отнести письмо, куда следует, просить разрешения ответить, думать, как они посмотрят на мою переписку — чёрт знает что!» Но пока всё шло благополучно. Колю опять послали в командировку, на этот раз в Англию. Он поехал во главе группы, оттуда писал, посылал телеграммы. Наконец, такого-то числа, на таком-то пароходе, должен был вернуться. Она всё время была в контакте с жёнами других учёных, которые с ним поехали. И вдруг, накануне его возвращения, её арестовали. Следствие только началось, она ещё не понимала, в чём дело. Я говорю: «Вероятно, он остался за границей». «Этого не может быть». Они так любили друг друга. Вся его жизнь была в семье. Продолжение своей жизни он видел в Мише.

Мы были с ней в одной камере месяца полтора. И она меня убедила, что не может быть, чтобы он стал невозвращенцем. Это исключается: скорее всего, его арестовали. И только после подписания 206-й[35], ей показали его письмо. Она постаралась хорошо запомнить содержание письма и передала его мне. Адресовано советскому послу в Лондоне И. Майскому. Начинается так: «Я люблю родину, люблю свой народ, но я не явился на пароход, который отходил такого-то числа, потому что решил остаться. Я убедился, что жизнь в Советском Союзе для учёного — невозможна». Он приводил всякие примеры с учёными, которых арестовали, уничтожили из-за контактов с иностранцами. Тогда были какие-то такие истории. Исследователь не может существовать сам по себе, он должен общаться с коллегами, а он, Бородин, чувствует, что много ещё даст человечеству как учёный. Обещал не делать никаких разоблачений, просил не трогать его близких — они ни в чём не виноваты. Надежда Александровна была совершенно потрясена. Значит, он действительно остался! «Как же Коля мог меня предать?» Я предложила утешительную для неё версию: поскольку он переписывался с кем-то за границей, то, вероятно, чувствовал, что если не останется, его арестуют, и семья будет в

таком же положении.

Это была одна из самых драматичных историй, выслушанных мною в тюрьме. Надежда Александровна ко мне привязалась. Она знала, что таким, как она, полагается ссылка. Лагерь дают, если МГБ считает, что семья знала о намерениях невозвращенца. И она говорила: «Я бы лучше пошла с вами в лагерь, чем одна в ссылку». Вся её жизнь с детских лет прошла передо мной. У неё была неудержимая потребность всё время изливаться. Я представляла себе её жизнь, как сценарий фильма. И вот после лагеря, в 1957 году, мне дали кружок английского языка в научно-исследовательском институте, где Бородин был когда-то директором. Я встретила людей, которые его помнили и проклинали. Из-за него в институте столько народу село! Между прочим, Надежда Александровна уверяла меня, что её муж в жизни не смотрел на других женщин. На следствии ей говорили о любовнице Бородина, как они это всегда делали, чтобы настроить против него. «Глупости, — возражала она, — никогда не поверю. Каждую свободную минуту он проводил в семье». А оказалось, была-таки у него связь с одной сотрудницей. Её тоже арестовали. Весь институт перетрясли. Ведь при Сталине это было, в 1948 году!

У Николая Бородина осталась мать, он её нежно любил и жалел, помнил, что она прожила трудную жизнь. Говорил, что обеспечит ей спокойную старость. Арестовали и его мать, и сестру.

От нашей общей сокамерницы, с которой я встретилась через много лет на воле, я узнала, что Надежда Александровна получила 8 лет ссылки, освободилась ещё до 1956 года и живёт на Кубани. С сыном всё благополучно. Он не попал в детдом, его взяла к себе сестра Надежды Александровны. Миша вырос здоровым мальчиком, отец заставлял его делать гимнастику, вообще уделял ему в детстве много внимания. После Америки Бородин всё рассказывал, как там увлекаются спортом. И про тамошних женщин говорил — что они соблюдают диету. Сама Надежда Александровна была довольно полной.

В ту же камеру, где за мужа сидела Надежда Александровна, приводят новенькую. Хватается за голову: «Какой ужас! Не может быть!» Немного успокоившись, рассказала, что только сегодня утром прибыла поездом из Берлина, вместе с двумя детьми, которых тут же забрали. Они с мужем жили под Берлином, он служил в оккупационных войсках. А потом муж получил приказ ехать в Москву. Собрались они — и было что собирать, наши в Германии на всю жизнь себя обеспечивали. Ехали через Берлин. Там получили документы и деньги. Он пошёл на вокзал за

билетами, оставив жену и детей в гостинице. Она знала, когда должен был прийти поезд, но муж к этому времени не вернулся. И тут же — поезд ещё не ушёл — пришли к ней: «Где он?» «Не знаю». Ей объявили, что он сбежал в Западную зону. Чуть ли не этим же поездом её отправили в Москву. Она умоляла подождать: могло же что-нибудь случиться! Но её не слушали, уверены были, что он сбежал. Привезли её на Лубянку, взяли адрес матери в Ленинграде, сказали: «О детях не беспокойтесь, отвезём к матери». Следствие у неё было тяжелее, чем у жены Бородина. Она жаловалась: «Они ведут себя так, будто я ему помогла бежать». Какой ей прок был в том, что он сбежал? Вообще-то она была малосимпатичной особой. У меня с ней произошёл конфликт из-за Надежды Александровны. Бородина была беззащитным человеком, а эту, как, впрочем, и других, раздражало, что она носится со своими Колей и Мишей.

Однажды меня заводят в новую камеру, закрывают дверь, и вдруг кто-то ко мне бросается: «Надежда Марковна!». Смотрю, вижу знакомые черты, но не узнаю. «Я — Женя Перекрёстова». Меня она узнала по красивому зелёному костюму, который я носила ещё в «Метрополе», мне привезли его из Швеции. Кроме того, она слышала, что я на Лубянке. Взяли её раньше меня, она сидела во многих камерах, а там всё про всех знают.

В Бюро обслуживания Интуриста[36], где она работала, был большой штат сотрудников, все, конечно, стучали. В этом месте приходилось быть очень осторожной. Но известно, что некоторые выполняют свои обязанности ретиво, а с другими можно себе кое-что позволить: больше необходимого минимума не донесут. Такой была Женя — приятная интеллигентная девушка. Я с Бюро обслуживания была связана по работе — мы получали от них и газеты, и билеты в театры и на концерты. И я была с Женей в хороших отношениях. Особой короткости быть не могло, потому что она была для меня интуристской девушкой определённого типа. А каким оказалась человеком!

В камере мы, конечно, сошлись. Она была очень несчастна. Все мы выглядели ужасно, но чтобы измениться до такой степени! Из хорошенькой молодой женщины превратилась в старуху. Она рассказала мне свою историю. Она — «из бывших», из дворян. Знала языки. Детство было тяжёлое. Наконец, устроилась, жила, как все. После института её послали работать в итальянское посольство. Там она познакомилась с секретарём посольства, образованным юристом-евреем, в первый раз она встретилась с таким блестящим человеком. Он был членом Социалистической партии Италии, антифашистом, при Муссолини эмигрировал в Швейцарию. Полюбил её, захотел жениться. А она в это время,

как положено, ходила на явку в МГБ и писала о нём. Но писала только хорошее. И всё шло хорошо, они были счастливы вдвоём. Но его надумали завербовать, решив, что он ради неё на всё готов. Но не так просто завербовать человека, для этого надо устроить провокацию. Тут она поняла, что скорее сама погибнет, чем погубит его. Она мне изложила все перипетии этой истории — как от неё упорно требовали, чтобы она помогла заполучить его, обещали ей неприкосновенность на всю жизнь.

Женя всё ему рассказала. Он соглашался остаться в Советском Союзе, стать советским гражданином, но она знала, что от них так просто не отвертишься. Он бодрился: «Пусть нас арестуют, мы будем вместе в Сибири!» «Но мы не будем там вместе!» И ей пришла в голову идея: временно сбежать. Её мать жила в глухой деревне. Женя решила переждать какой-то срок у матери, может быть его оставят в покое, и убедила его в необходимости своего побега. На прощанье он дал ей адрес швейцарского банка, где у него был счёт. Через этот банк его всегда можно найти. Этот банк был её единственной надеждой на будущее. Свой побег она тщательно продумала. Из Москвы поехала не прямо к матери, а в другую сторону. Он её провожал, они вместе прибыли на ту станцию, где она должна была пересесть на другой поезд. Она понимала, что за ней следят, но надеялась их запутать. Её взяли, как только она с ним рассталась, и она убивалась, что он остался в полной уверенности, что она благополучно доехала до деревни. Женя всё твердила, что убежит из лагеря — единственный человек из политических, встреченных мною, кто помышлял о побеге.

Одно свойство присуще мне больше, чем многим другим: интерес к судьбам людей. В одиночке меня не покидало отчаяние из-за того, что я погубила свою семью. Не думала я, что меня что-то может отвлечь от этих тягостных мыслей. Но в первой же общей камере у меня пробудился интерес к окружающим, и, несмотря на то, что в тюрьме всё так закупорено, закрыто, я даже в разгар следствия жила волнующей, напряжённой жизнью, а от собственной судьбы как-то отвлеклась. И корила себя, вспоминая вас: мои близкие страдают, а я ещё чем-то интересуюсь!

В тюрьме я узнала вещи, о которых раньше только кое-что слышала, например, о семье Игоря Гузенко[37]. Игорь и его жена Светлана, может быть, ещё живы и встречаются где-нибудь в Канаде с новыми эмигрантами. После войны через американку Аннабеллу Бюкар я познакомилась с девушками из канадского посольства, получала от них газеты. Даже в нашей прессе было, кажется, что-то о деле Гузенко. Игорь работал шифровальщиком в советском посольстве в Канаде. Человек на таком месте был,

конечно, чист, как стёклышко, в смысле биографии и анкетных данных. Но в один прекрасный день он ушёл из посольства, захватив все материалы по советскому атомному шпионажу. Дело было в субботу, все разъехались на уик-энд, а он предварительно отправил из посольства свою семью, и пути назад не было. Пришёл в полицию, там его не стали слушать, приняли за сумасшедшего. В совершенном отчаянии он ходил из одного места в другое, наконец, явился в редакцию газеты. Там, хотя сразу ему тоже не поверили, но решили, что, возможно, в его рассказе что-то есть, во всяком случае можно сделать «стори». Так он добился своего, выдал всю шпионскую сеть.

Оказалось, что в одной из камер на Лубянке сидит сестра жены Гузенко. Там же, на Лубянке, — и родители Игоря, и отец его жены. Взяли всех под гребёнку. Рассказывали, что отец жены Гузенко — крупный учёный, в тюрьме ему дали возможность работать. А сестра жены так деморализована, что стала наседкой. У неё на воле остался сын, и она проклинала сестру, которая со своим ребёнком благополучно живёт за границей. Сначала ей дали всего 4 года общих лагерей просто как члену семьи невозвращенца, и она уже отсидела пол срока недалеко от Москвы. Но оказалось, что, ещё находясь на свободе, она попросила подругу, повариху из канадского посольства, переслать письмо сестре. В письме она упрекала сестру, что из-за них с Игорем посадили его родителей, а её уволили с работы. Года через два подбирали всех, кто работал с иностранцами, и повариху посадили. И на следствии она призналась, что отправила жене изменника родины письмо от её сестры. Тут сестру взяли из лагеря в тюрьму и стали терзать. Она уверяла следователя, что в письме только упрекала сестру, но разве им что-то докажешь!

Мы там много узнавали о разных людях. Там я услышала об актрисе Зое Фёдоровой, о том, как мужественно она держалась на следствии, как воевала с надзирателями и запустила в одного из них чайником. По всей тюрьме об этом говорили. Позже, в 1951 году на Воркуте, я встретилась и подружилась с сестрой Зои, Марией Александровной, милой, хорошей женщиной, она умерла в лагере от рака.

А потом, когда прекратились бессонные допросы, меня захватило и собственное следствие. Ведь что бы ты ни слышал о тюрьме, это не то, что испытать самому. Я даже сказала однажды следователю: «Если бы не дети, я бы не жалела, что попала к вам, потому что теперь я всё знаю доподлинно. А для меня самое важное — знать». На это он ответил «Кажется, вы и теперь не жалеете». Я, например, всё-таки не представляла себе, что можно

требовать от дочери показаний на отца или от жены — на мужа. Я спросила следователя: «Как вы можете ожидать, что я дам материал на своего мужа, отца моих детей, который единственный, если он ещё на воле, может их прокормить?» Следователь был возмущён и удивлён: «Так разговаривает враг, настоящий враг!» Видишь ли, я всегда, кроме как в период помешательства, твёрдо знала, что с ними нельзя вступать ни в какие разговоры. Отвечала на вопросы по возможности кратко. Настолько кратко, что следователь выходил из себя. Но потом, когда следствие уже фактически кончалось, мне стало казаться: существуют же основные вещи, общие всем людям. Он же человек, у него тоже есть дети. И я начинала с ним говорить, как с человеком.

Да, личный опыт был очень важен, но, пожалуй, слишком дорогой ценой он достался. Главное — я боялась за отца. Мне казалось, я не переживу его ареста. Но когда это случилось, я поняла, что с моей стороны было глупо так за него бояться. Каково ему было на воле после того, как меня арестовали? В тюрьме быть или на воле — особенно большого значения для него не имело, такой уж он человек. А ведь я из-за него больше всего воевала. Весь ужас моего следствия в том и состоял, что я боялась посадить его и других людей. К счастью, из-за меня никто не сел. Роберта довели до инфаркта бесконечными вызовами в МГБ, но всё-таки не посадили.

Из камеры, где я встретила Хельгу, меня вызвали, дали подписать 206-ю и предъявили весь материал по делу. Оказалось, что дело моё — совершенно смехотворное. Всех протоколов я не читала, просмотрела только показания свидетелей. Никаких серьёзных показаний на меня не было, а только в таком роде: я жаловалась сотрудникам в «Метрополе», что моя дочь приехала из пионерлагеря завшивленная, рассказывала, что в Москве эпидемия гриппа и одна курьерша заболела. Меня очень порадовали показания Джеки и другой моей приятельницы, Фриды Давыдовны. Я же целый год видела, как, как, прочитав показания друзей, женщины возвращались в камеру растерзанные, а я пришла такая весёлая, будто отправлялась на свободу.

Фрида Давыдовна была не храброго десятка, и всё-таки на вопросы о том, какие она слышала от меня антисоветские высказывания, был один ответ: «Никогда никаких антисоветских высказываний от неё не слышала. Она — советский человек». А у Джеки они выпытывали другое. У меня же, кроме прочих, была статья «разглашение государственной тайны». И её спрашивали: «Что Улановская рассказывала о своей работе за границей?» «О

работе не рассказывала ничего, только об отдельных смешных случаях». И она передала эпизод, как я зашла в Берлин в магазин купить шляпу, перемерила все, и только одна мне понравилась — хорошенькая розовенькая шапочка. Надела её, и муж сказал: «Как она тебе идёт!» Оказалось, что это была шапочка для душа. А я в ней ходила по улицам! В таком роде исписала много страниц.

Прочитав весь материал, я даже улыбнулась: «Что, дело закончено?» «Да, и если вы сейчас захотите давать показания, я не буду слушать». «Какое же это дело? Где тут преступление?» «Это вы увидите. Я предупреждал: ваша неоткровенность вам дорого обойдётся!» Я подумала и чуть не сказала вслух: «Моя откровенность обошлась бы мне ещё дороже». Я призналась только в одном: что с 37-го года у меня появились сомнения. Не может быть в стране столько предателей и врагов народа. В одном протоколе была формулировка, что я «мысленно клеветала на органы». И следователь ожидал, что раз я хоть в чём-то «раскололась», дальше пойдёт, как по маслу. Ведь я должна была с кем-то делиться своими сомнениями? А я утверждала, что ни с кем не делилась, а только «думала» про себя. Но и этим признанием, я считала, я ставлю под удар отца. Следователь стучал по столу, подходил ко мне со сжатыми кулаками, и я соображала: Интересно, если он даст в зубы — выбьет или нет? Мне было жаль зубов. Он кричал: «С кем вы разговаривали? Думала, думала — и никому не говорила?» «Никому». «С мужем-то говорили?» «Некогда было разговаривать, всегда дети были рядом». Так ни разу и не призналась, что с кем-нибудь делилась. Иногда следователь говорил: «За мысли мы не наказываем, только за разговоры». А иногда кричал: «Говорите о ваших мыслях!» О мыслях я говорила. И теперь была в недоумении: за что же меня судить?

Я знала, что раз берут, то уж не выпускают. И решила, что «за мысли» мне дадут года три. Но всё равно — три года или тридцать — жизнь кончена, что за жизнь после 58-й статьи? И вот недели через две после подписания 206-й меня вызывают, как обычно, неизвестно, куда и зачем. Оказалось, в кабинет начальника тюрьмы. Кроме начальника, сидел ещё какой-то эмгебешник. Присутствовал врач. «Встать!» Я потом жалела, что встала. «Именем Союза Советских Социалистических Республик…» Приговор — 15 лет. Врач ко мне придвинулся. А я улыбаюсь. Если бы услышала «5 лет» вместо ожидаемых 3-х, то, наверное, огорчилась бы. А 15 звучало слишком фантастично и не пугало.

Потом я ждала, пока ещё одной женщине читали приговор. Ей дали 10 лет. После приговора нас перевели в другое крыло

тюрьмы. Я пришла туда в крайне возбуждённом состоянии.

Я поняла, что отца арестовали, когда меня вызвали и стали расспрашивать о его национальности, имени и месте рождения. Когда они берут человека, то выясняют о нём всё до мелочей. Значит, не о чем больше беспокоиться. Я себя чувствовала так, словно мне море по колено. Мы пели в камере. Очень странно там наказывали: взяли сначала в холодный бокс, потом в горячий. Я не замечала разницы, даже спросила: «Это у вас игра такая?» И прислушивалась: может, в соседнем боксе отец сидит, нарочно громко говорила.

В этой последней перед отправкой на этап камере я встретила Евгению Михайловну Фарих., жену лётчика, который в конце 20-х годов был очень знаменит. Куда-то он впервые долетел без посадки, и в Америке по этому поводу выпустили сигареты. Он был настолько известным лицом, что ей не велели даже надзирателям называть свою фамилию. А я была в таком разудалом настроении. Говорю: «На вашем месте я нарочно бы громко называла свою фамилию». Арестовали всю их семью. Сидя у себя дома с друзьями, они говорили о том, как относятся к советской власти. А власти, вероятно, давно чувствовали, что Фарих — не их человек, и устроили слежку. Мужу и сыну дали по 25 лет, а ей — 10. Сидела и другая семья. Разговоры они вели только между собой. Евгения Михайловна была ужасно настроена против той семьи — они давали показания. Вероятно, когда их вызвали, они просто подтвердили оперативные сведения[38]. Попробуй, не подтверди! Через два дня привели в камеру женщину из той, другой семьи. Она чувствовала, что их семья виновата, и побаивалась Евгении Михайловны. Но, в общем, они договорились, поняли, что не имеет особого значения, кто больше сказал на допросе, кто меньше.

Сын Фариха, тоже лётчик-испытатель, был арестован вне дома. Поехал провожать девушку, и его взяли по дороге. Евгения Михайловна долго не знала о его аресте. Ей специально не сообщали об этом, чтобы добиться признаний: «Признавайтесь в своих преступлениях, не то возьмём сына». Мы с ней встретились через несколько лет в Потьме. Она умерла года через три после освобождения. Муж и сын уцелели.

Физически я была очень слаба. Когда шли по железнодорожным путям к столыпинским вагонам[39], я отставала, хотя у меня с собой был только маленький узелок. Слышу, конвой командует: «Короче шаг, старушка не поспевает!» Я оглянулась: кто эта старушка? И с интересом отметила: так это обо мне! Ни разу за год тюрьмы я не видела себя в зеркале. На Лубянке при кабинетах следователей — роскошные уборные, и

там я заметила большое зеркало, но не подошла, почему-то побоялась на себя посмотреть. Но знала, что волосы у меня совсем седые.

Одна женщина в вагоне, генеральша, сокрушалась: «Почему мой муж не погиб на фронте? Так было бы лучше и для него, и для меня». Их посадили за разговоры, которые они вели между собой. Я в первый раз поверила, что в некоторых домах ставят микрофоны. Следователи меня пугали: «Мы знаем, о чём вы говорили в „Метрополе“! Вы же не маленькая, понимаете. Признавайтесь». Я не поверила, и слава Богу. И всех в камере уговаривала: «Не поддавайтесь следователям, ни черта они не знают!» Но сама однажды попалась. Следователь сказал: «Мы знаем, о чём вы говорили с мужем. Однажды вы высказывали ваши мысли, а муж сказал: „И что же ты предлагаешь? Что мы можем сделать?“ Что — неправда, скажете? Муж-то ваш уже признался.» И я поверила: да, это его слова. Это было в Лефортове, перед тем, как я свихнулась. Вернулась с допроса, в ужасе бегаю по камере: что же они с ним делают, если он даёт показания?! И вдруг сообразила: да что особенного сказал следователь? Они ведь знают, что в тысячах семей ведутся одинаковые разговоры. А если следователь брякнет невпопад, что он теряет? На следующем допросе я сказала: «Нет, такого разговора не было». И действительно, ни в чём таком отец не признавался, до ареста его ни разу на допрос не вызывали, и никаких микрофонов у нас не было. Иначе они услышали бы гораздо больше! Нет, в микрофоны я не верила. Но в то, о чём рассказала генеральша — поверила, потому что они с мужем говорили на запретные темы только в постели. Ей дали 10 лет, а ему 20. Говорят, генералов и министров и сейчас прослушивают.

Во время войны прослушивались посольства. В 1947 году, во время совещания министров иностранных дел, американцы прислали специалиста, чтобы проверить, не установлены ли микрофоны. Но и после этого все важные разговоры вели только в машинах. Но в гостиницах у корреспондентов микрофонов не было, это точно. Сейчас, конечно, более развитая техника: у Синявского в квартире был микрофон. На процессе об этом говорили.

В первом этапе нам попался необыкновенный начальник конвоя. Он ужасался: «Что делается! С ума посходили! Дают 25 лет каторги за побег из ссылки!» И я тоже высказывалась, хотя так корила себя в одиночке, что погубила семью своей несдержанностью.

11. Лагерь

В камеру вологодской пересылки я вошла вместе с красивой девушкой, которая получила 10 лет за иностранцев. Я была в шубе, в зелёном костюме, весьма ещё элегантная, она тоже — в цигейковой иностранной шубе. Вошли, стали у дверей и осмотрелись. В первый раз мы оказались в настоящей пересыльной тюрьме. Камера была переполнена. У дверей — огромных размеров параша. Пройти некуда. Всё занято: на сплошных нарах и на полу вплотную лежат люди. Даже у параши вытянуться нельзя, а я едва стою на ногах. Тут женщина с крайних возле параши нар поджала ноги, говорит мне: «Садитесь». Я села. В это время подошла другая женщина, представилась: «Этель Борисовна Качер». Я обрадовалась: опять услышу какую-нибудь историю. Для неё тоже нашлось место, и она начала свой рассказ.

Этель Борисовна была военным врачом и в июне сорок первого года попала в окружение, а потом в лагерь для военнопленных. Удивительно, что ей удалось скрыть своё еврейское происхождение. Более того, когда она потом оказалась в гестапо, её обследовали по всем правилам немецкой науки и освободили, признав, что она не еврейка. А между тем, в её родном Киеве, где она живёт до сих пор, никто её ни за кого другого никогда не принимал. Правда, немцы не могли разобраться в её плохом русском выговоре. Вместе с ней попал в окружение сын профессора из Киева, тоже врач. Она уговаривала и его не признаваться, что он еврей. «Да что вы, как же я стану скрывать? И вы поверили советской пропаганде?» Врача расстреляли, как и всех евреев, кроме неё.

Сначала их лагерь был на Украине. Люди вокруг мёрли, как мухи, немецкий врач пытался спасти людей, много сделать не мог, но ей как коллеге помогал. Когда пленные попали в Берлин, появились русские эмигранты, приглашали иногда пленных к себе домой на праздники. Они не могли не догадаться, что она еврейка. Неизвестно, кто в конце концов на неё донёс, и тогда она провела шесть недель в гестапо.

В 1944 году пленные устроили побег. Этель Борисовна принимала активное участие в его организации, но в последний момент заболела. Просила взять её с собой. А если не сможет идти — пристрелить. «У нас не хватит духу вас пристрелить, и всё сорвётся», — отвечал ей её друг-полковник. И её оставили. Побег удался. Она дала полковнику адрес своей сестры, которая жила после эвакуации во Львове, он там побывал, рассказал о ней

и поддерживал связь с сестрой, пока его снова не отправили на фронт. Перед этим он прошёл специальный фильтрационный лагерь для советских граждан, побывавших на Западе. После войны Этель Борисовна напрасно пыталась его разыскать. Когда её посадили, то на следствии она ссылалась на этого полковника как на человека, знающего о её роли в подготовке побега. Она вообще — очень мужественный человек, решительная и умелая. Следователь ей говорил: «Если бы вы погибли, то заслужили бы посмертно звание Героя Советского Союза. Остались в живых — расплачивайтесь». Через несколько лет на Воркуте она нашла своего полковника. Он тоже получил 10 лет. Все участники этого замечательного побега, как видно, были арестованы.

Таких, как она, побывавших в немецких лагерях, я ещё не встречала. Мы проговорили полночи. Мимо нас ходили, садились на парашу, но нам ничто не мешало. Всё-таки надо было поспать. Я бросила свою роскошную шубу на пол возле параши и только пристроилась — снова подходит Этель Борисовна: она переговорила со своими соседками по нарам, с Анечкой Генкиной и ещё с кем-то — они там находились уже две недели и занимали самые лучшие места на нарах, как раз против двери. И согласны потесниться и взять меня к себе. Я была худой, много места не занимала. Было так тесно, что от холода мы не страдали. Повернуться на другой бок невозможно, но всё же лучше, чем у параши.

С пересылки регулярно отправляли этапы, и скоро в камере стало просторно. Самое главное — оттуда можно было, наконец, написать домой. Я послала открытку — ты помнишь? — «Кто жив, кто где?» И с трепетом ждала ответа. Вскоре получила телеграмму: вы с бабушкой спрашивали, можно ли приехать на свидание. Ответила: «Выезжайте немедленно», — и снова стала ждать.

Каждый день вызывают на этап, и у меня сердце обрывается: вот сейчас увезут. Со мной вместе переживали все мои новые друзья. С тем, кто приезжал на свидание, мы передавали записки на волю. Просишь каждого, люди берут записки, а потом многие забывают или не могут передать. По всякому бывало. Бывало, что человека уже арестовали, а нам это неизвестно, и мы шлём записки, ждём ответа.

Прочтя на пересылке в первый раз газету, я испытала ужас и удовольствие. Ужас — узнав, что произошло с Чехословакией, что Китай стал коммунистическим. Как могли западные державы допустить такое? А удовольствие испытала, узнав подробности разрыва с Югославией. Кроме того, получила удовольствие, узнав, что посадили старую коммунистку Анну-Луизу Стронг. Ещё

узнала, что американского корреспондента Роберта Магидова, который много лет работал в Москве, объявили шпионом. Цецилия Нельсон, его секретарь, написала о нём в газету. На меня обрушилась масса информации. Словом, жила я полной жизнью.

На пересылке произошёл эпизод, о котором я вспоминаю с гордостью. Тогда мои друзья меня узнали. С нами оказалась компания очень наглых уголовниц. Им все уступали, не хотели связываться, хотя нас, политических, было человек пятьдесят, а их всего пятеро. Приезжали на свидание родные, привозили еду, и вот одна из блатных, совсем девчонка, подходит к нашей компании и требует доли. Я говорю: «Убирайся». Она матерится. «Меня матом не испугаешь. Смотри, сколько нас. Будете вести себя прилично — мы вас не обидим. А иначе будет худо». Получив передачу, я не дала блатным ни крошки. Потом, правда, сунула им кое-что: всё-таки жалко их было, они ведь ничего не получали. После этого эпизода они были как шёлковые. Даже Этель Борисовна боялась блатных, говорила: «Вы не знаете, на что они способны, они такие отчаянные, не дорожат ни своей, ни чужой жизнью». «И я не дорожу своей жизнью. Чего ею дорожить?»

На пересылке я в первый раз встретила религиозных женщин, и мы друг к другу потянулись. Я заинтересовалась одной благообразной старушкой. Она была православной, но в церковь не ходила, они собирались молиться на квартирах. Она говорила: «Вы сами не знаете, что вы верующая», и уверяла, что я — угодна Богу. А рядом другая, сидит и вяжет. Я к ней подошла: «А этому очень трудно научиться?» «Что вы! Очень просто — вот так». Она научила меня вязать, проявила большое терпение — целых два дня учила. Я стала вязать, меня это немножко рассеяло. Ожидая вас, я была в ужасном напряжении. Всё время отправляли этапы. Раньше я мечтала попасть в лагерь вместе с Этель Борисовной — мы знали, что нас всех везут на Воркуту, но там ведь много лагпунктов. А теперь, когда вызывали на этап, у меня внутри всё сжималось. И вот вызвали Этель Борисовну, и Анечку Генкину, и всех моих новых друзей. Камера почти пустая. Если завтра вы не приедете — всё пропало. Наконец, вызывают на свидание.

Свидание продолжалось 15 минут. Ты не заметила, как я истощена. В тюрьме я носила чёрное платье, просидела его насквозь и чуть не вдвое заворачивала его вокруг себя. Но в зелёном костюме, который я надела на свидание, худоба была не так заметна. Ещё до встречи мы с тобой успели обменяться письмами. Ты находчиво выразилась: «Папа был на свободе до 3 марта». Молодцы, что привезли телогрейку, это меня научили

написать — благодаря ей я смогла избавиться от шубы и передать её вам. Мне было тяжело её таскать, я с трудом несла даже маленький узелок. Впечатление от встречи трудно передать — потрясение было слишком сильным.

Через день меня отправили на этап, и я ужасалась — ещё немножко бы вы задержались, и всё было бы напрасно: и моё ожидание, и ваши усилия.

После свидания я успокоилась. Тогда я узнала невероятную историю немецкой еврейки фрау Дитмор. Когда-то она была известной балериной Берлинского оперного театра. В неё влюбился немец, моложе её лет на 8. Он учился на менеджера гостиниц, окончил институт в 1932 году. Политическая атмосфера в Германии становилась уже тяжёлой, и она, беспокоясь о нём, не хотела выходить за него замуж, но он настоял. После свадьбы поехали за границу, побывали в Париже, в Италии. Он знакомился с тем, как поставлено гостиничное дело в Европе на примере лучших отелей. Средств у них хватало. Они были очень счастливы, но после их возвращения в Германию Гитлер пришёл к власти. Муж получил место в Потсдаме, в прекрасном отеле, где останавливались нацистские начальники. Того, что у него жена еврейка, он скрыть не мог — слишком был на виду. Понятно, что от него требовали, чтобы он с ней развёлся, вся его карьера могла пойти насмарку — и хуже того, но он не соглашался. И на неё закрыли глаза, сделали вид, что её не существует, но она нигде не могла показаться, месяцами не дышала свежим воздухом, только изредка, по ночам, он выводил её гулять. Он и сам, кроме службы, никуда не мог пойти, вот какая была жизнь. Она сама настаивала, чтобы он от неё отказался, хотела его освободить. Кстати, после войны оказалось, что в самом Берлине уцелело какое-то количество евреев, потому что на них также закрывали глаза. Так тянулось больше 10-ти лет.

Но зато когда пришли советские войска, её сразу вызвали в комендатуру, спросили, что ей требуется, чтобы организовать балет, который был прежде в Берлине на таком высоком уровне. Она была счастлива, что теперь может выручить мужа: в отелях же использовался при нацистах рабский труд, работали советские граждане. Конечно, он как государственный служащий должен был автоматически состоять в нацистской партии. Его хотели арестовать, но она собрала подписи бывших рабочих под заявлением, что он с ними хорошо обращался, и его не тронули. Организовала балетную школу, ей дали машину — на это ни один немец не имел права, им оставили их большую, хорошую квартиру, ничего не тронули, и несколько месяцев счастью не было границ. Ведь настоящим нацистом он никогда не был,

просто был аполитичен.

И вдруг его арестовали. Её не тронули, оставили ей её школу и машину. Она, конечно, стала кидаться во все учреждения. Рассказала мне подробно, как её в первый раз вызвали и сказали, что её муж шпион. Что когда они ездили ещё до Гитлера в свадебное путешествие, он, оказывается, занимался шпионажем. Против неё они ничего не имеют. Знают, как она предана новой власти. Но он должен признаться в своих преступлениях. Зная его отношение к ней, они уверены, что только она может на него повлиять. Он признается, что ж — его накажут, а её оставят на воле, и она сможет ему помогать. Потом он вернётся.

В то, что он шпион, она не поверила. Она знала каждую его мысль. У них была такая близость, какой почти не бывает между людьми. Но — мало ли что! Она согласна, ради Бога, дайте свидание, он сделает для неё всё, потому что он для неё уже делал невозможное. Ей дали свидание. Выглядел он ужасно. Она сказала ему: «Если что-нибудь есть, признайся. С ними надо — как перед Богом. Я буду тебя ждать, помогать тебе». Он ответил: «Ты знаешь всю мою жизнь. Если бы что-нибудь было, я бы ради тебя признался». Она ушла, убеждённая, что он ни в чём не виноват, — и так она им и сказала. И к ней продолжали вроде бы хорошо относиться. Через какое-то время вызвали во второй раз. Опять дали свидание с тем, чтобы она на него повлияла. Она опять застала его в ужасном состоянии, и к этому времени её предупредили: «Если он не признается, мы вас тоже посадим». И она ему говорит на свидании: «Если ты не признаешься, погибнем оба». «Ты пойми. Я для тебя жизнь бы отдал. Мне сказали, что тебя посадят. Если бы я мог в чём-то признаться, разве бы я этого не сделал для твоего спасения?» Когда она его увидела в третий раз, он уже не реагировал на её слова, так его запытали. Она понимала, что оба они пропали. Перед последним свиданием у неё уже всё забрали, чтобы показать, что это серьёзно, не пустые угрозы. Её арестовали, дали 8 лет, а ему 25.

Когда её везли из Германии, остановились два арестантских вагона, и ей удалось его увидеть. Но он был невменяем, не был самим собой. С ужасом вспоминала она эту встречу. И всё повторяла: «Варум?» — почему, за что? И ни на что не надеялась.

И действительно: за что? Более преданных новой власти людей, чем они с мужем, трудно себе представить. Ведь он жил в аду столько лет, он их так ждал, ждал, как избавителей. Они жили только друг другом, были так далеки от политики, не думали ни о своей родине, ни о чём подобном. Если даже и замечали какие-то безобразия, то не могли и не хотели на них реагировать. Чего от них хотели? Кому они помешали —

ресторатор и балерина?

Мы с ней провели почти целую ночь, и её отправили в Инту. Я очень жалела, что мы не попали вместе. Больше мы не встречались. С ней потом сидели мои знакомые, но ничего особенного не рассказывали — обыкновенная немка. Дитмор — это её фамилия по мужу. Её сестра, певица той же Берлинской оперы, уцелела, живёт за границей. Их девичья фамилия была другой, я её забыла.

Из всех историй, какие я слышала, эта меня особенно потрясла. И как она её рассказывала! Сидела, окаменевшая, и монотонно излагала. У неё лицо серьёзного, значительного человека. И выглядела она, несмотря ни на что, моложе своих лет. Освободили её вместе с другими немками. Может быть, она ещё жива.

* * *

Пересылка на Воркуте была переполнена. Я очень устала и ослабела. Мне уступили место, и я легла. Возраст мой выделялся — мне было 46 лет. Заключённых старше 50-ти на Воркуту вообще не посылали.

На пересылке были мужчины. При мне освободился режиссёр Каплер, отбыл свой первый пятилетний срок. Было известно, что сидел он из-за Светланы, дочери Сталина. Мы с ним немного поговорили. На этой же пересылке я в первый раз встретила сиониста из Прибалтики или из Польши, весьма образованного человека, с учёной степенью и знающего языки — и при этом религиозного еврея. Он сказал что-то об Израиле. Я выразила полное равнодушие и к сионизму, и к еврейскому вопросу. Он не удивился: «Мы советских евреев давно уже сбросили со счетов». Эта фраза запала мне в память.

Донимали нас на пересылке страшенные клопы. Днём они не очень кусали, но ночью я из-за них совсем не спала. Там же нам дали грязные, старые бушлаты, вата из них совсем вылезла. И я вспомнила, как мы с отцом ехали в Америку первым классом на лайнере «Бремен». К обеду надо было переодеваться, что было ужасно утомительно. Отец надел смокинг, я — вечернее платье, он оглядел меня и сказал: «Всё-таки это красиво». Но я чувствовала, что быть в таком наряде мне совсем не положено, что это — как игра. Но, надев свой первый бушлат, я вспомнила эту сцену в каюте и подумала: Однако *такого* я тоже не заслужила.

Потом нас отправили на Предшахтную, лагерь,

расположенный в трёх километрах от пересылки. Собрался довольно большой этап, человек сорок, нас под конвоем повели пешком, а вещи наши поехали. Я едва одолела эти три километра, конвой из-за меня останавливал строй. Но меня поддерживало любопытство: что там за воротами?

Когда я сейчас это рассказываю, то вижу себя, как в кадре из фильма, стоящую у ворот лагеря. Ты знаешь, как долго принимают этап. Наконец, ворота открылись, мы прошли в зону сквозь строй заключённых, которые непрерывно выкликали, главным образом, по-украински: «Кто из Дрогобыча? Кто со Станиславщины?» А иногда на каком-то из прибалтийских языков, которые я на слух ещё не различала. Этапники откликались и тут же отходили к своим, довольные, радостные. Это было грандиозно: собрались все народы. Меньше других выкликали своих русские.

Вначале нами никто не занимался. Сказали: «Идите в любой барак». Тогда происходила реорганизация — из режимных лагерей увозили тех, кто не подлежал особому режиму, и потому в бараках оказалось много свободных мест, даже на нижних нарах. Грязь, которую я увидела, меня потрясла — такого я всё-таки себе не представляла. Крысы бегали тут же, среди бела дня. Мы к ним привыкли, как к кошкам. С нами было несколько «мамок» — заключённых с детьми года по два, и дети играли с крысами, честное слово! А у меня даже мыши всегда вызывали отвращение. Я положила свой узелок, оглянулась — на нас смотрели с любопытством старожилы, свесившись с верхних нар. Я говорю: «Здесь так грязно! Это, вероятно, очень плохой лагерь!» А одна женщина возразила: «Почему же плохой? Я во многих лагерях побывала, это ещё очень хороший лагерь!» Она спросила, какой у меня срок, я ответила, прибавив, что 15 лет — это фантастическая цифра. Она говорит: «Почему же фантастическая? Отсиживают. Вот я, например, сижу двенадцатый год». Я легла, мне расхотелось разговаривать, задремала, вдруг слышу удивительно интеллигентный голос: «Есть здесь кто-нибудь из Москвы?» Подняла голову: «Я из Москвы», — и увидела совершенно поразительную фигуру: длинная, худая, в каком-то, как мне показалось, сером халате, оказалось, это было застиранное лагерное платье. Бушлат грязнейший, паршивый, и на голове какая-то тряпка. Фигура придвинулась ко мне: «Вы не возражаете, если я присяду?» Это была, конечно, Ляля. Началось: где вы жили до ареста, какой срок и т. д. Она мне рассказала, что лежит в стационаре, у неё туберкулёз, язва, что она в лагере ещё не работала, что она — жена известного литературоведа Бориса Сучкова, об аресте которого я слышала, ещё когда работала в

Институте международных отношений. Сама она была актрисой Художественного театра. Когда я почтительно отозвалась: «А-а! Художественный театр!» — она стала рассказывать о том, как из неё и ещё нескольких поступивших туда молодых талантливых энтузиастов ничего не вышло, потому что им не давали ролей. Лучше бы она работала в самом захудалом провинциальном театре. Мы проговорили несколько часов. Ляля заявила: «Вы в таком состоянии, что вас наверное положат в стационар. Рядом со мной как раз освободилось место, я поговорю с нашим врачом — тоже заключённая, прекрасный человек, она безусловно вас положит. Работать вы не можете. Только должна вас предупредить: я ругаюсь матом». Я поинтересовалась: «А зачем вы это делаете?» Она объяснила: «Я получила 20 лет срока из-за того, что на следствии испугалась мата!» «Так вы их уже получили! Впрочем, выдержу как-нибудь, если вам надо». «Очень надо! Увидите, как это помогает, даже в стационаре. Там лежат блатные, получившие срок по 58-й статье». Эта врач-заключённая оказалась Этель Борисовной. Как я обрадовалась, что она здесь!

Посадил Лялю её муж и сам сел. Как я поняла, случилось это так. Среди знакомых, которых он назвал, был Джордж Грин, с которым познакомила его Ляля. А с Джорджем она познакомилась во время войны: хороший еврейский мальчик — как она объяснила на следствии — сидел и читал английскую книжку. Оказался «шпионом», получил 25 лет сроку. Следователь ей говорил: «Ваша среда вся антисоветская, разложившаяся». Ну, её решили тоже взять. Она отделалась бы, вероятно, 10-ю годами, но с ней очень хорошо поработала её сокамерница, дочь расстрелянного наркома Лена Бубнова. Когда следователь обложил Лялю матом, она восприняла это как катастрофу, а стукачка Бубнова ей внушила, что с ней так плохо обращаются, потому что она не признаётся. И Ляля призналась, что она — всемирный шпион, лишь бы матом не ругали. Однако ни одного человека за собой не потянула, а могла бы. В общем, у нас было, о чём побеседовать. И мы знали, что тем для разговоров нам хватит надолго. Она всё повторяла: «Вы должны долго-долго лежать в стационаре, просто так тут не выживешь. У каждого что-то должно быть для поддержки. Я должна выжить, чтобы выйти на свободу и убить Лену Бубнову. И выживу, наверное, из-за слабости своей, потому что я вся больная. Весь срок пролежу в стационаре». Увидев, как я оживилась от разговора, она сказала: «А вы выживете, потому что вам всё интересно. Но надо знать, как себя вести. Самое главное — не попасть на общие работы. Для этого надо быть слабой. Вы достаточно слабая, но не должны становиться сильнее». Ляля ушла, и тут же, как только смогла,

прибежала Этель Борисовна. Страшно обрадовалась мне, моему состоянию: «Да, никакого сомнения, начальница санчасти, конечно, согласится положить вас в стационар. Может быть, мы найдём, кроме слабости, какие-нибудь болезни, у вас их должна быть масса». И положили меня в стационар, рядом с Лялей.

Лежим мы с Лялей в стационаре и с упоением разговариваем. Конечно, там было почище, чем в бараке. Лучше кормили. Кроме того, при стационаре — кухня, где Ляля вечно стряпала какие-то блюда. Мы с ней никогда не ели просто кашу, Ляля её всегда чем-то сдабривала. И однажды я увидела её «в действии». Положили в стационар старую, матёрую блатную, и слышу на кухне разговор и виртуозные ругательства. Блатная заговорила обо мне, о том, что видела меня на этапе в роскошной шубе, в зелёном костюме: видно, из очень важных фраеров. Ляля изобразила настоящую блатную: дескать, я — её добыча. Та поддалась на лялину игру. Другие блатные про Лялю спрашивали: «Кто она такая, почему мы о ней ничего не слышали?» Этой мистификацией она гордилась больше, чем своими художественными достижениями на воле.

Как-то в стационаре мы разговорились о следствии, о том, что в Москве, дескать, в наше время пыток не применяют. В Ленинграде хуже — у Герты Скворцовой выбили ребёнка. Она была беременна, её били по животу. Но всё-таки теперь не 37-й год. Женщина с верхних нар вмешалась: «Посмотрите на мои руки». Пальцы её были покалечены.

Я очень быстро приходила в норму. Сначала Этель Борисовна не выпускала меня из стационара, потом разрешила погулять. Я ходила, как совсем старый человек, но недели через две она подошла ко мне на улице и сердито говорит: «Вы что — хотите, чтобы вас на работу отправили? Какая у вас походка? Вы должны двигаться, как больная, иначе я не смогу держать вас в стационаре. Неужто вы действительно так быстро пришли в себя?» Тут мы стали немного конфликтовать. Я ей сказала: «Так дело не пойдёт. Если для того, чтобы спастись, надо болеть, тогда я предпочитаю быть здоровой». Она мне внушала, что у неё большой опыт, она ведь бывала и в немецких лагерях, и в наших, и знает, как себя вести, чтобы выжить. А я совсем неопытная, а берусь судить. И меня выписали из стационара.

Комиссовали и дали пред-инвалидную категорию. Друзья старались найти мне работу придурка[40], но все эти должности на Воркуте занимали малосрочники — те, у кого было до 10-ти лет. У Анечки Генкиной было почему-то 3 года, никто о таком маленьком сроке не слышал, и её сделали культоргом. А у меня — 15 лет. Но можно устроиться — при большом блате. Но у меня

уже были на этот счёт совершенно ясные взгляды — что я ни на какую придурковую работу не пойду. Никаких принципиальных возражений против этих должностей у меня не было что, дескать, я помогаю лагерной системе действовать. В этом смысле работа придурка не хуже, чем общие работы. Но к этому времени я уже была в чёрном списке.

Месяца через полтора после прибытия меня вызвал опер. Когда меня стали все наперебой учить, как жить в лагере, чего опасаться, то прежде всего объяснили, что самое страшное — это если начинает вызывать опер и вербовать. Страшно потому, что *они* не отстают. Несколько человек рассказывали, как их вызывали. Опер начинает так: «Вы ведь советский человек?» «Конечно!» «Ну так вот — вы должны нам помочь, ведь здесь сидят враги, которые убивали наших людей. И даже сейчас могут принести много вреда советской власти, нашей стране. Подпишите бумагу, что вы согласны». Обычный ответ: «Нет, не могу. Если узнаю о чём-нибудь, что может принести вред, — о каком-нибудь заговоре, сама приду и расскажу, а подписывать бумагу, давать обязательства — не могу, у меня память плохая». Или отказывались под другим предлогом, в том же роде. Раз отказался, опять вызывают. Я все эти разговоры слушала, и поначалу на меня тоже напал страх. Ляля говорит: «Вас обязательно вызовут. Они именно таких вызывают — интеллигентных, из Москвы. И отвертеться от них — столько нервов стоит!» Этель Борисовна ещё на пересылке рассказывала, что ей пришлось пережить из-за отказа «сотрудничать». Могла провести весь срок подо Львовом, поблизости от родных, а её таскали по всей стране, сколько она этапов пережила. Наконец попала на Воркуту, и здесь её больше не трогали, потому что уже было известно, что она не годится в стукачи.

Однажды после таких разговоров я поразмыслила и поняла, что я должна делать. И говорю: «Всё это чепуха. Меня вызовут только один раз». Пока ты была на воле, мне ещё было что терять: я получала от тебя письма. Начнутся этапы, гонения. Но всё-таки решила: ну что ж, посмотрим. И довольно скоро меня вызвали. Шла я к оперу безо всякого трепета. Я знала его в лицо — совсем не страшный. Принял меня хорошо: «Садитесь, какой у вас срок, какое дело? Вы из Москвы, Надежда Марковна? Вы, конечно, советский человек? Срок у вас большой, но и в лагере люди живут. Правда, жить можно по-разному. Мы можем дать вам работу полегче». Я сказала ему, что меня обвиняли на следствии в том, что я клеветала на органы, будто арестовывают честных людей. «А вы говорите, что я советский человек!» Он немножко испугался: «Но ведь бывают ошибки». «Ничего себе ошибки!» Тут

он поправился: «Ага, значит вы — враг?» «Что значит „враг“? Я думала, что здесь только враги и сидят». Он — с угрозой: «От того, как вы себя поведёте, будет зависеть ваша жизнь в лагере и после отбытия срока». Тут я и вовсе почувствовала себя на коне: «Если я доживу до конца срока, мне будет 60 лет, и мне в высшей степени безразлично, что вы тогда со мной сделаете». А ему, между прочим, только 25 лет, и эти мои слова произвели на него впечатление. Он меня отпустил, и больше меня за весь срок ни разу не вызывали. Когда я вернулась в барак, меня распирало от гордости. Я чувствовала свободу и уверенность: ничего они со мной не сделают. Ляля, Анечка и Этель Борисовна с трепетом меня ждали. Этель Борисовна твердила: «Они очень много чего могут сделать». И они-таки сделали — отправили меня с ближайшим этапом. А ведь я могла прожить на Предшахтной, может, и до конца срока. Пришлось расстаться с друзьями. Но и на новом месте я нашла друзей.

Но до этого я уже была в «чёрных списках». И считала, что если я буду работать придурком, мне уже будет, что терять, я не буду свободна. А я этого не хочу. И меня устроили на кухне — чистить картошку. Заодно и подкормиться можно. Походила я на кухню два-три дня, но работала слишком медленно. Потом работала в зоне — снабжала сушилку углём и чурками. Помню, как несла в паре носилки с углём. Несу и чувствую, что больше не могу. А сказать, остановиться — неудобно. Напарница, украинка моего возраста, идёт себе, несёт, а я не могу. В конце концов, носилки просто выпали у меня из рук. Я была страшно сконфужена: если мне самая лёгкая работа не по силам, то что со мной будет? Но через три дня я таскала носилки так же ловко, как моя напарница. Этому нельзя научиться, пока само тело не приспособится действовать так, как нужно. Тяжеловато было, даже очень трудно, но не смертельно.

А до этапа жилось так. В нашем бараке жила бригада ассенизаторов. Бригадир Роза Соломоновна сидела за оккупацию. Она выжила при немцах потому, что скрыла, что она еврейка. По их представлениям была абсолютной арийкой: курносый нос, светлые волосы, круглое лицо. Работала на кухне при воинской части, стирала немцам бельё. Её посадили и дали 25 лет сроку именно потому, что она выжила в оккупации. Муж, майор, от неё отказался, ребёнка отправили в детдом. Роза Соломоновна мне предложила: «Если вас не пугает работа ассенизатора, идите ко мне в бригаду. У вас будут нижние нары возле меня, будет своя тумбочка. Я вас в яму не пошлю, будете подчищать снег возле уборных». Я ответила, что, к сожалению, не могу принять её великодушное предложение: «Антисемиты скажут, что евреи

своих устраивают». Она стала меня убеждать: ей наплевать, кто что скажет, она на хорошем счету, чувствует себя уверенно. И я согласилась. Но при этом решила, что буду работать, как все. Потом выяснилось, что она меня обхаживала неслучайно.

В это время из города Воркуты с металлургического завода в наш лагерь прибыла Стелла Корытная (в лагере её называли Светлана), племянница Якира, дочь бывшего секретаря Московского комитета партии. Я пошла к ней в барак. Мне по-прежнему было интересно всё, что связано с 1937-38 годами, а её интересовало поколение её родителей. Когда арестовали всех её родных, ей было 12 лет, и с тех пор она не встречалась с бывшими революционерами. Ты знаешь, как мы сблизились. Несколько дней, пока новый этап не послали на работу, она с утра прибегала ко мне. Это было незадолго до того, как меня выписали из стационара, и мы всё время проводили вместе. Потом она стала работать за зоной. Должность ассенизатора меня очень привлекла из-за обещанных Розой Соломоновной нижних нар, потому что Светлана спала на сплошняке, на верхних нарах, и нам негде было после работы посидеть, поговорить. А тут она сможет приходить ко мне, как в отдельную квартиру. И она приходила, а Роза Соломоновна, сложив руки на животе и глядя на нас умильными глазами, сидела напротив и слушала наши интеллигентные разговоры. Поскольку все эти удобства были по её милости, мы старались и её вовлечь в беседу. Светлана писала стихи, приходила и тихонько читала мне, и нам было неудобно: как бы Роза Соломоновна не подумала, что мы ей не доверяем. Всё было замечательно и благородно, пока я не пошла в яму. Два дня я расчищала снег. Я ненавидела этот снег. Я говорила: «Это — как советская власть, гребёшь, гребёшь, а конца не видно». Но, кроме того, бригадницы мои, украинки, между собой рассуждали: «Конечно, Роза Соломоновна её в яму не пошлёт». А, между прочим, это были привычные к труду деревенские женщины, хотя, конечно, нельзя сказать «здоровые», если работали в зоне. И я решила, что лучше «фекалий», чем снег и эти разговоры. Однажды Роза Соломоновна увидела меня в яме и вспылила: «Кто вас туда послал? Я — бригадир, ставлю людей, куда надо». «Но я не хочу привилегий, не хочу, чтобы у вас из-за меня были неприятности». «За меня не беспокойтесь, я знаю, что делаю». «Я тоже знаю, что делаю. В бригаде я буду на таком же положении, как все. Иначе я не могу». Она явно рассердилась и всячески стала высказывать мне своё неудовольствие.

Когда я ещё лежала в стационаре, на лагпункт прибыла Бригитта Герланд. Она находилась в лагере уже три года. Взяли её в Лейпциге летом на улице, в босоножках, без пальто. Она

оказалась совершенно удивительной немкой — с красивыми, но неумелыми руками, абсолютно беспомощной в практических делах, неряшливой. Её обрили, потому что на голове у неё появились какие-то волдыри. Одно время у неё и вши водились. В общем, что-то страшное. Но она прибыла с отличной рекомендацией от медсестры Лены Ильзен, лялиной подруги, у которой лежала в стационаре. Оказалась необычайно интересным человеком. История её такова. Бабушка Бригитты была одной из первых немецких социалисток, арестованных по бисмарковским законам против социалистов — забыла её имя, оно известно наряду с именем Клары Цеткин. В 1923-24 годах, как раз в то время, когда мы с отцом находились в Германии, она была депутатом Рейхстага от коммунистической партии. А ещё раньше в доме бабушки жила перед самой своей гибелью Роза Люксембург. Бригитте было 6 лет, когда это случилось, но она помнила. Потом у бабушки вместе с троцкисткой Фишер возникли разногласия с партией, её отозвали из Рейхстага. Тогда в Германии я следила за всеми этими событиями. И теперь, встретив Бригитту, очень интересовалась подробностями жизни той среды, в частности, дальнейшей судьбой бабушки, которая порвала с партией и уехала в Швейцарию. В 1934, вместе с группой молодёжи, детьми ранее репрессированных социал-демократов и коммунистов, Бригитта была арестована за антигосударственную деятельность. В их руках оказалась денежная касса коммунистов, они выпускали листовки. Кстати, Гитлер расправлялся с непокорной молодёжью помягче, чем наши. Членам этой группы дали по 2–3 года лагеря. Родители Бригитты никакой политикой не занимались, отец был известным адвокатом, и Бригитта, благодаря связям отца, отделалась шестью месяцами тюрьмы, а потом эмигрировала во Францию. Там она вышла замуж и родила ребёнка ещё до начала войны. Во Франции она вращалась в левых кругах, дружила с Андре Жидом, Мальро — такими людьми, о которых я знала только понаслышке. Когда немцы заняли всю Францию, её как германскую подданную, призвали в часть противовоздушной обороны и увезли в Германию.

После войны, работая журналисткой от западногерманской газеты «БерлинерТагеблатт», она оказалась в Восточном Берлине. Написала несколько статей о немецких военнопленных в России и была арестована. Она говорила мне, что если бы ей предстояло отсидеть 10 лет и вернуться домой, она считала бы удачей, что попала в лагерь, потому что была писательницей, журналисткой, и узнала здесь так много нового. Но после лагеря её, как всех, ждала ссылка в Сибирь навечно.

С Бригиттой мы очень сблизились. Я о ней заботилась, старалась, чтобы она выжила. Но знаешь, как в лагере бывает: начала ревновать Ляля. Я говорила: «Да, Бригитта мне дороже всех, потому что она — свидетель. Ни у кого из нас нет надежды рассказать миру о себе, а она всё-таки иностранка, у неё есть какой-то шанс». Я хотела, чтобы она работала рядом со мной, ведь она была невероятно неприспособленной к физическому труду. До того я не встречала людей, более неумелых, чем я, и все меня опекали. Я шутила, что моя нежность к Бригитте основана на чувстве превосходства, которое я испытываю благодаря ей. Кроме того, в нашей бригаде работали парами, а имея такую напарницу, можно жить! Можно кирковать и черпать «фекалий» и в то же время общаться! Я устроила её в нашу бригаду. И мы, действительно, одно время были просто счастливы. И не замечали, когда «фекалий» из-под кирки летел в лицо.

Но с Розой Соломоновной у меня начались конфликты. Её злило, что мы с Бригиттой разговариваем по-английски. Немецкий язык она знала, но мне было легче говорить по-английски. Она возненавидела Бригитту. И ко мне стала охладевать и соответственно хуже со мной обращаться. Вдруг узнаём, что она получила разрешение послать дочери в детдом посылку. Это в пятьдесят первом-то году! Уж она-то могла собрать посылку: как бригадиру ей подкидывали отовсюду. На Предшахтной карцер находился в том же помещении, куда ходили стукачи. Сидела в карцере знакомая и видела, как Роза Соломоновна приходила к оперу. Но мне её роль была ясна и раньше, по тому, как она нас с Бригиттой преследовала за то, что мы говорим по-английски. Наконец, она отнесла оперу стихи Светланы.

Оказалось, что она была ко мне приставлена. С самого начала говорили, что она стукачка. Но я долго не верила, ведь она так хорошо ко мне относилась! Потом, когда мы вместе оказались в Потьме, она рассказывала своей приятельнице, как опер её вызывал, требовал, чтобы она на меня стучала. Она жаловалась: «Сколько я из-за них со Светланой перенесла!» Понятно поэтому, что она не боялась в первое время делать мне поблажки.

Когда меня отправляли на этап на Кирпичный завод, Роза Соломоновна пришла попрощаться, но я ей сказала: «Я не могу подать вам руки. За себя я бы простила, но как вы могли ради посылок своему ребёнку предать Светлану, которая тоже выросла в детском доме?» Она расплакалась: «Нет, я её не выдавала». Но мне было понятно: ещё при немцах она привыкла спасать себя и своего ребёнка любой ценой.

Ты знаешь, что такое этап. Тяжело оставлять друзей,

тащиться неизвестно куда и на что. Тут уже как-то пристроился, обжился. Мы сидели на вещах в зоне, подошла Этель Борисовна: «Ну вот, я предупреждала, что с вами расправятся. Вам это нравится?» Я говорю: «Не очень нравится. Но это не смертельно. И есть в этом какая-то свобода — жить, не теряя уважения к себе. Думаю, за это стоит пострадать».

Как только объявили этап, Светлана побежала к начальнице санчасти Марии Николаевне просить, чтобы её отправили со мной. Светлана объяснила, что уезжает женщина, которая заменила ей мать, а она не знает матери с детства. И хотя матерей с дочерьми и вообще родственников полагалось разлучать, Мария Николаевна была очень хорошим, добрым человеком и отнеслась сочувственно, и Светлана поехала со мной. И Бригитта тоже оказалась с нами.

Прибыли мы на Второй кирпичный, совершенно пустой лагпункт, с которого только что отправили немцев, по-видимому, офицерский состав. Лагерь был гораздо благоустроеннее, чем Предшахтная: немцы постарались себе создать более человеческие условия.

С этим лагерем и тамошним дежурным офицером связана история Любочки Сапоговой. Любочка сидела за англичанина. Она работала во время войны в военной миссии в Мурманске, и у них была настоящая любовь. Но англичане не одобряли романов своих солдат с русскими девушками, и когда он решил на ней жениться, его отправили из Советского Союза. Любочка была совершенно прелестным существом — хорошенькая яркая блондинка с нежной кожей, добрая и весёлая. Она сидела с восемнадцати лет, с 1944 года, но в лагере ей очень повезло. Каждому хотелось ей помочь. На Воркуте оказалась женщина-врач, еврейка, которая, как и Этель Борисовна, была в немецком плену и выжила, выдавая себя за азербайджанку, отсидела у немцев несколько лет и, как водится, оказалась в наших лагерях. Любочка когда-то после семилетки училась в фармацевтическом училище, и вот в лагере эта женщина-врач взяла её в аптеку. К тому времени, о котором я рассказываю, Любочка отсидела уже 7 лет из своих 10-ти, но казалась существом с другой планеты. На Воркуте у работяг лица от загара чёрные, нигде загар не даёт такой черноты. Стоит только раз выйти за зону на работу — и лицо чернеет. А Любочка была беленькая, ходила не в телогрейке, а в своём пальто. Она заведовала аптекой и жила там же а кабинке. Все её любили и многие перед ней заискивали. Ляля меня тут же с ней познакомила. В её кабине можно было посидеть, поговорить. И спирт у неё был, там мы справляли Новый год. Но в один прекрасный день опер стал требовать,

чтобы она стучала. Как-то ей удавалось до сих пор избежать вербовки. Может быть, её считали недостаточно серьёзной, а тут она подросла, что ли.

О том, чтобы стучать, не могло быть и речи. Ей стали угрожать, что пошлют на общие работы. Она ведь здоровая и молодая, у неё первая категория. На неё свалилось несчастье, страшное, как арест.

Её сняли с работы и послали на общие. И она мне жаловалась: «Все теперь относятся ко мне по-другому». Раньше у неё не находили недостатков, а теперь иные стали говорить о ней с некоторым раздражением. Раньше она была королевой — сколько могла сделать для людей! А тут стала, как все, жила в бараке, и её бело-розовое личико покрылось чёрным загаром. Она очень убивалась, но не сдавалась. И понемножку привыкла. И вдруг — этап на Кирпичный завод, и вместе с другими неугодными попадает туда и Любочка. На новом лагпункте она оказалась единственным аптекарем. С этим же этапом прибыла медсестра Полина, которую по той же причине, что и Любочку, сняли с работы и послали на общие. Обе они были моими хорошими друзьями. Тут же им дали аптеку, поселили в отдельной кабинке, и мы опять понемножку зажили. Через несколько месяцев чем-то провинился опер с Предшахтной, его сняли с должности и прислали на наш лагпункт дежурным офицером. По вечерам ему было скучно, он заходил к Любочке и медсестре в кабинку и раза два заставал меня там. Я, будто зашла на минутку — тут же убиралась, мне не положено было там находиться. Он, конечно, понял, что за публика там собирается. Однажды Любочка прибегает ко мне: «Ой, какой у нас вечер был! Этот — она уже называла его по имени — сидел у нас пьяный и до часу ночи высказывался». Любочка его спрашивает: «Вы не боитесь при нас такие вещи говорить?» «При вас не боюсь — я-то вас знаю». «Почему же вы нас так мучили?» А он говорит: «А что я мог сделать? Должность такая!» «Но почему вы именно к нам привязались? Разве трудно найти стукачей?» «А нам именно такие и нужны, как вы, которые вызывают доверие».

Позже Любочка попала вместе со мной на этап в Потьму. Ей оставался год до конца срока. И снова началось: её стали вызывать требовать, чтобы она стучала. Держали в кабинете опера по четыре часа подряд, даже из Москвы кто-то приезжал для разговора с ней. Она прибегала ко мне: «Надежда Марковна, больше не могу выдержать!» Я её убеждала: «Надо выдержать. Если проявите слабость, вы из их рук никогда не вырветесь». Потом нас разлучили, она освободилась без меня, но, думаю, ей удалось выстоять. А ведь никто бы не подумал, что она способна

выдержать такое давление — она была простенькой девушкой, политикой не интересовалась, о природе советской власти не размышляла. Она говорила: «Лагерь мне легко достался, и сколько хороших людей я здесь встретила, никогда бы не узнала таких на воле. Только жаль, что годы проходят — 10 лет всё-таки, а потом будет ссылка».

Я тоже заявила о своей профессии — ассенизатор. Но, к сожалению, на Втором кирпичном была другая система: не специальная бригада работала на нечистотах, а просто два человека, причём очень здоровых. В ассенизаторы меня не взяли.

Там, на Втором кирпичном, я перестала получать письма. Посылки от бабушки идут по-прежнему, а писем никаких — ни от тебя, ни от бабушки, которая, боясь сообщить о твоём аресте, решила не писать вовсе. У нас читали по баракам списки писем. Дошло до того, что когда приходила почта, друзья старались быть рядом со мной. И опять писем нет, и опять. И нет никакой возможности послать «левое» письмо и выяснить, что случилось.

На Кирпичном я буквально тосковала по работе ассенизатора, потому что научилась хорошо с ней справляться. Когда пришла весна и всё растаяло, мы с напарницей на прежнем лагпункте вытаскивали из ямы по 50-ти черпаков «фекалия», каждый черпак — величиной с ведро, и наполняли большую бочку. Напарницей моей одно время была украинка лет 30-ти. Как я её хорошо помню! Крупная, с большими мужскими руками, совсем неграмотная, она поначалу казалась мне тупой, как лошадь. Но скоро я почувствовала в ней что-то глубоко человечное. Приходилось орудовать тяжёлым ломом, и она повторяла: «Вы негодны», — и всё старалась помочь. Однажды мы сидели в ожидании машины, на которую должны были погрузить бочку, и я стала её расспрашивать. Она — с Западной Украины. В семье было четверо детей. Жили бедно. Отец не хотел мириться с долей бедняка и уехал в Америку на заработки, чтобы вернувшись, купить землю и машины, выбиться в люди. Тяжело им было. Порой подолгу не получали от отца писем, тогда оказывалось, что его надули, он потерял всё, что заработал. Сам жил впроголодь, знал только работу и всё откладывал деньги. Наконец, через 8 лет, в 1938 году, вернулся. Выглядел паном. Привёз красивые вещи, всех одел. Но, главное — купил землю и машины. Ей уже поздно было учиться, но младшие дети пошли в школу. Отец был жаден до работы. Но очень мало они успели попользоваться достатком: пришли большевики, и он оказался в кулаках. А для него — чем отдать всё, что он с таким трудом нажил — лучше умереть вместе с детьми. Так и случилось. Он тут же погиб, не помню как, но сопротивляясь. К тому времени, как мы с ней

встретились, она осталась в живых одна из всей семьи. Но доброта её и желание помогать людям были поразительны. Она воображала, будто я — профессор, и то, что я оказалась в таком же положении, как она, и не жалуюсь, её трогало. Она размышляла о моей судьбе, о судьбе других людей, старалась переосмыслить свои прежние понятия о жизни. Горизонт её очень расширился. Раньше, в своей деревне, она видела только таких людей, как она сама и её отец, который всю жизнь бился ради достатка, а в лагере узнала, что много есть на свете разнообразного. И говорила: «Я таких людей, як тут, николы не бачила». Интересно, как у неё дальше сложилось. Для меня эта неграмотная украинка была существом какого-то высшего порядка. Встреча с ней — из тех, что оставляют след на всю жизнь.

На Кирпичном заводе были всякие работы в жилой зоне. Мы снабжали углём гарнизон и кухню, грузили уголь на телегу и впрягались по восемь человек. На Воркуте было тепло в бараках, потому что угля — вдоволь. Печки топились круглые сутки. Попав впервые в рабочую зону, я ухитрилась сломать ногу. Мы поднимались с кирпичами вверх по сходням, как на пароход. Лебёдка отправляла кирпичи дальше. Я споткнулась и упала, почувствовала острую боль в ноге. Не могла ступить, до конца рабочего дня лежала. Поднялась температура. Кстати, там я впервые встретилась с мужчинами. Моя приятельница-адвентистка ещё до того, придя с работы из рабочей зоны, сказал мне, что мужчины спрашивают, есть ли на Кирпичном еврейки. Нас там было несколько человек, и она, конечно, прежде всего подумала обо мне. Была осень, и они спросили, знаем ли мы, что такого-то числа наступают праздники? Я о праздниках ничего не знала и не знала, что надо по этому поводу делать. Всё же мы с Любовь Абрамовной Кушнировой были тронуты, почувствовали, что принадлежим к чему-то. Там были ещё старые коммунистки, но я им даже ничего не передала.

На Кирпичном часто случались аварии, поэтому там был медпункт. Там я лежала до конца дня. До жилой зоны — километра полтора. Я опиралась на двух женщин, и они меня тащили. Один из заключённых мужчин, бывший полковник, подошёл и сказал, что был моим слушателем в Академии имени Фрунзе. Он отнёсся ко мне почтительно и заботливо, предложил смастерить для меня вязальные спицы и кружку. По Академии я его не помнила, но несмотря на сильную боль и температуру, на мучительный путь из рабочей зоны в жилую, была сильно взволнована этой встречей: что-то в жизни происходит!

Меня положили в стационар. Первые две ночи было тяжело, а

потом жизнь оказалась прекрасной: работать не надо, лежишь в тепле и чистоте. Рядом со мной лежала немецкая еврейка Алиса Абрамович, Приехала в 1933 в СССР как коммунистка, работала в Коминтерне. Её мужа, известного венгерского коммуниста[41], арестовали в 1935 году и, как видно, расстреляли. Потом посадили её. До ареста она дружила с Еленой Стасовой, и та посылала ей в лагерь письма и посылки, немного помогала и сыну Алисы, который жил один в Москве и писал матери ужасные письма, как он голодает, как ходит зимой в брезентовых туфлях. Алиса обращалась к Вильгельму Пику, с которым была когда-то дружна, просила её вызволить, но безрезультатно. Освободилась она вместе с немками. Может быть, заняла высокий пост в ГДР, получила все блага к концу жизни.

Мне очень повезло с этим стационаром. Продержали там месяца три. Когда смогла ходить, оставили работать при стационаре. В то же время там оказалась и Бригитта. В первый же раз, как её послали работать на железную дорогу и она подняла шпалу, у неё образовалась грыжа. Ей сделали удачную операцию и перед отправкой на общие работы оставили на две недели в стационаре. Но, оказавшись снова на тяжёлой работе, она снова заработала грыжу. Что-то было у неё со стенками живота, отчего она не могла поднимать тяжести. Ей вторично сделали операцию. Пока стояла зима, она была довольна — пусть режут, лишь бы не работать. Но когда её опять послали на общие, она впала в депрессию. Она сидела уже 6 лет и знала, что после лагеря попадёт в ссылку в Сибирь. А Сибирь для многих была хуже лагеря — здесь ты хоть обеспечен пайкой и крышей над головой. Бригитта почувствовала, что в жизни больше нет смысла. Предстоят одни мучения. Но если не стоит жить — тем более не стоит работать. И она официально отказалась от работы. Её отговаривали от этого шага. Даже начальство шло навстречу, обещало, что дадут ей самую лёгкую работу. Пусть не работает вовсе, но без официального отказа. Иначе придётся принимать меры. Бригитта именно этого и хотела. И меры были приняты. Прежде всего, посадили в карцер. Оттуда выводили на работу в наручниках. И однажды, идя через мостик, она в наручниках сиганула в воду. Её, конечно, вытащили. Ещё до забастовки она носилась с мыслью о побеге. Встретилась в рабочей зоне с каким-то заключённым американцем, и они планировали бежать вместе. Тогда я её отговорила: как с Воркуты убежишь, и куда?

Я напрасно отговаривала Бригитту прекратить забастовку. Вскоре её от нас увезли, и я узнала, что на неё заведено новое дело. Шла она на верную смерть. Всё равно, как если бросилась бы на запретку. Нам не раз зачитывали на проверке сообщения о

расстрелах заключённых за отказ от работы. Я решила: всё, кончено, и жалела Бригитту, хотя в глубине души считала, что, пожалуй, она права: смысла жить не было.

В это время на наш лагпункт прибыло несколько евреек с Московского автозавода имени Сталина. Одна из них, Соня, маленькая хромая женщина, много лет работа инженером на заводе, была там на хорошем счету. Посадили всех евреев с завода. Ещё в 1949 году мы встретили женщину с этого завода, а в 1951 они прибывали массами, и все с 25-летним сроком. Соню страшно мучили на следствии, а в личном деле записали: «Использовать только на общих работах». А сама она была — в чём только душа держалась. Мы со Светланой взяли её под своё покровительство.

Весну и лето мы пробыли на Втором кирпичном, а осенью со всей Воркуты собрали большой этап из старых, больных и ослабленных. Кроме Сони, на нашем лагпункте была ещё одна женщина-инженер с Завода имени Сталина. У неё, как и у Сони, следствие было мучительное, и её посылали только на тяжёлые работы. Она очень просилась в этап. Обычно нам не было известно, куда нас везут, а тут мы знали, что этап — в Потьму. А там — климат мягкий, и не должно быть таких тяжёлых работ, как на Воркуте. Эта еврейка по стандартам Воркуты была немолода — 46 лет. Её было уже занесли в списки, но из соображений высокой политики — оставили. И Соню тоже. Им, с завода Сталина, не было никаких послаблений. Светлане тоже не удалось попасть в этап, и нам предстояла разлука. Я делала, что могла — пошла к нарядчице, обещала в благодарность отдать все свои сокровища, которые мне прислала бабушка: резиновые блестящие, совсем новые сапоги и меховой воротник — считалось, что это лиса. Нарядчица ответила: «Надежда Марковна, если бы я могла, я бы это сделала даром. Не могу». И мы со Светланой расстались. Встретились снова в 1956 году на воле.

Привезли на Предшахтную, где формировался дальний этап. Для нас очистили барак и отделили от прочих заключённых. Но всё-таки удалось повидаться с Лялей, а Этель Борисовна оказалась в нашем этапе.

Я узнала, что здесь, на Предшахтной, сидит в ожидании тюрьмы и суда Бригитта. У Ляли был с ней контакт. Ляля руководила самодеятельностью и имела в лагере большую власть, потому что самодеятельность заключённых была единственным культурным развлечением лагерных начальников. Однажды, в бытность мою на Предшахтной, она пригласила на репетицию весь лагерный бомонд, в том числе меня и опера. И обращалась за

суждениями по очереди то ко мне, то к оперу, чтобы все видели, какая я важная персона… После этого я перестала ходить на репетиции, и отношения наши с Лялей охладились.

Ляля подтвердила моё опасение, что отказ от работы может стоить Бригитте жизни. Единственный человек, который мог бы на неё повлиять, это я. В каждом из нас живёт старый предрассудок против самоубийства. И хотя действительно жизнь для Бригитты была страшнее смерти, но короткую записку, которую взялась передать Ляля, я постаралась написать, как могла, убедительно: «Я, как и ты, считаю, что человек волен распоряжаться своей жизнью. Но ты хочешь смерти только потому, что не веришь в свободу. Так вот — у меня есть веские основания надеяться на то, что в ближайшие два года произойдут серьёзные перемены. И стоит ради этого жить». Бригитта решила, что я неспроста пишу о возможных переменах, что мне что-то известно, и сдалась, капитулировала. Меньше, чем через два года она освободилась вместе с другими немками. И вскоре умерла от рака.

Бригитта была умным, высокообразованным человеком, безо всяких комплексов, предрассудков и заскоков. У нас с ней были одинаковые реакции на события, сходные оценки людей. Имела значение прикосновенность нас обеих к социалистическому движению. Мы друг для друга были в лагере находкой. Её книгу о Воркуте[42] ругают те из моих знакомых, которым удалось её прочесть. Сама я её не читала. Может быть, освободившись, вынужденная заново завоёвывать положение в литературном мире, она слишком поспешила с изданием книги, и это отразилось на её качестве. А то, что она назвала имена и фамилии встреченных ею людей, не учитывая, что это может им повредить — так многие иностранцы этим грешат — Чеймберс, например, с его рассказами об отце. Они советской жизни не понимают, даже те, кто сидели.

Когда мы только познакомились с Бригиттой, она рассказала, что встретила в лагере пожилого врача, начальника санчасти, который отбыл срок и работал вольнонаёмным. По-моему, она назвала фамилию Левин. Он ей сказал, что Горький действительно был отравлен, этот факт обнаружился при вскрытии. Яд был из Кремля. И все, кто присутствовал при вскрытии, в том числе и этот врач, были арестованы[43]. Удивительно много осталось свидетелей преступлений, которые потом, в лагерях, рассказывали о них другим заключённым. Они были так уверены, что никто оттуда живым не выйдет, что иногда не спешили уничтожать свидетелей. Рассказу Бригитты я верю абсолютно. Она никогда не врала, ничего не преувеличивала и не

драматизировала.

Потом был этап. Как в кинокадре вижу около тысячи человек, в основном старухи, инвалиды, калеки. Открылись ворота, и мы выходим строем. В октябре на Воркуте уже темно, но тут слепят прожекторы. Светло даже не как днём, а как будто сияет тысяча солнц. По обеим сторонам от нас — генералы и полковники в высоких каракулевых папахах, надзиратели, солдаты с автоматами и рвущимися с поводков псами. И всё это — ради таких, как я. Что эти военные должны были чувствовать? Я ещё была крепче других, поздоровела на свежем воздухе. Рядом со мной, например, шла горбатая старуха. А какой крик стоял!

Ветка железной дороги, которую мы сами заканчивали, проходила тут же. Погрузили нас в теплушки. Лежали в битком набитых вагонах, стиснутые с боков. Ну, ты знаешь, как это бывает. Есть нам давали селёдку, а воды было мало, и я тогда поняла, что от жажды можно умереть или сойти с ума. Но закончу на мажорной ноте. После тяжкого, изнуряющего этапа мы вдруг увидели деревья!

Потом въехали в зону лагерей — в Потьме ведь кругом лагеря — и увидели заключённых с номерами на спинах. На Воркуте номера были только у каторжан. Но это неважно. А важно то, что мы, наконец, доехали. Открываются вагоны — и сияет солнце. День такой хороший, и мы опять видим деревья.

В Потьме тоже было много начальства, но они нас как бы приветствовали. Как потом мы узнали, начальник нашего лагеря оказался необыкновенно мягким для такой должности человеком. Подали повозки, спросили, есть ли больные, что не могут идти. Но почти всем захотелось идти пешком по лесу. Прибыли на 16-й лагпункт, с которого только что увезли его прежних обитателей. В столовой на столах лежали остатки хамсы. Мы попробовали — хорошая, вкусная рыбка. Если оставляют еду, значит, здесь здорово кормят.

Я по-прежнему не получала писем. Расставаясь, мы договорились со Светланой, что она исхитрится послать бабушке «левое» письмо, попросит, чтобы та обязательно мне написала, что бы ни случилось. Самое страшное для меня — совсем ничего о тебе не знать. И через некоторое время бабушка прислала мне твоё первое письмо с Новосибирской пересылки по дороге в лагерь. Помню фразу из него: «Вы же знаете, что я всегда была очень здоровой, а в Сибири, как известно, хороший климат». Я не знала, за что тебя посадили, но с мыслью о твоём аресте уже свыклась. До того меня пытались утешить: «Что вы так беспокоитесь? Да она просто решила вам не писать. В нашем положении хорошая мать должна радоваться, если дочь от неё

отказалась». Я отвечала: «Моя дочь от меня не откажется». Но это всё пустые разговоры: никто не радовался, когда близкие отказывались.

На новом месте устроили карантин — шесть недель не гоняли на работу и не присылали новых заключённых. Мы ходили по зоне и наслаждались теплом — на Воркуте в это время уже зима. Подходит ко мне молодая женщина, крупная, высокая, похожая на блатную. И спрашивает: «Где я могу найти Надежду Марковну?» «Я — Надежда Марковна, а что?» «Так вот — меня зовут Елена Герасимовна Горшкова, давно мечтала с вами познакомиться. Я сидела в карцере с Бригиттой и много о вас слышала. Вы видите, какая я сильная? Если нужно будет кого-то побить, обращайтесь ко мне.»

История её такая. Она плавала радисткой на судах, бывала за границей. Много было денег и тряпок. Но всё-таки жизнь за границей показалась ей куда интереснее и лучше советской, и она решила удрать. Встретилась в одесском порту с английскими моряками. Языков, конечно, не знала, но много ли нужно, чтобы договориться? Иностранные пароходы перед отплытием обыскивали, но она спряталась так хорошо, что её не нашли. Но слишком рано вышла из укрытия, и её заметили со сторожевого судна. Существует какое-то расстояние в советских водах, в пределах которого можно остановить иностранный пароход. Её судили и дали 10 лет. Встреча с Бригиттой её поразила. Она, такая отчаянная, всё-таки не решилась отказаться от работы, а никчемная Бригитта — решилась. Они сидели вместе несколько дней, и Бригитта ей рассказывала обо мне. Немка о еврейке говорила с такой любовью! Когда начались разговоры об освобождении — а мы и не мечтали, что нас отпустят по домам, думали, что пошлют в ссылку — Елена Герасимовна уверяла меня с полной серьёзностью: «Мы будем жить вместе. Я буду работать, кормить себя и вас, устрою для нас дом». «А я что я буду делать?» «Вы будете украшением дома». Освободившись, она писала мне из ссылки, звала к себе. Не помню, почему прервалась наша переписка.

Вместе с нами с Воркуты приехала бывшая сионистка Блюма Моисеевна Кантор[44]. В начале 20-х годов она была арестована в первый раз, недолго сидела в тюрьме, кажется, в Одессе. Сионисты были тогда определённой политической силой. После отсидки переехала в Москву, вышла замуж, работала маникюршей. Вдруг в 1951 её снова арестовали, дали 10 лет. Блюма Моисеевна впервые заронила во мне догадку, за что ты сидишь. На Лубянке она встретилась с девушкой по имени Сусанна Печуро, членом молодёжной организации. И я

почувствовала, что Сусанна имеет какое-то отношение к тебе.

Я ждала прибытия новых людей, надеялась что-нибудь о тебе узнать. Наконец кончился карантин, и прибыло несколько человек, в основном, арестованных повторно или сидящих с 1937 года без перерыва. На Воркуте их было мало, они же все — старые. Познакомилась я с одной из них, получившей 15 лет в 1938 году. Она из Вологды. Муж её был работником райкома. Его посадили и расстреляли. Она осталась с тремя детьми, двумя мальчиками и девочкой. Старшему было 9 лет. Продолжала жить в райкомовской квартире. Вышла, оставив детей дома, и в квартире случился пожар. Никто не пострадал, но её обвинила в том, что она — жена врага народа и сама враг — из мести подожгла квартиру — вместе со своими тремя детьми! До самого конца войны она не знала, где её дети, но к тому времени, как мы встретились, она получала от старшего сына прекрасные, трогательные письма. Все дети после её ареста оказались в детдоме. Старший сын кончил ремесленное училище и, зная, что она скоро освободится, специально попросился на работу в Коми АССР, чтобы быть ближе к ней. Он хорошо зарабатывал, получил комнату. Потом забрал из детдома брата, дал ему возможность кончить школу. А сестрёнка пока оставалась в детдоме. Но он собирался взять и её и мечтал о том, что она кончит десятилетку, пойдёт в институт. Сын сообщал матери, что купил пару брюк младшему, раскладушку для девочки. Писал ей: «Мама, ты войдёшь хозяйкой в дом. Мы тебя любим и помним. Я женюсь только тогда, когда ты вернёшься». Мать ходила по зоне счастливая: столько лет ничего не получала, а тут её ждёт дом! Сын знал, что она, как и все, может писать только два письма в год, но сам писал каждые две недели.

Приближался конец её срока, и тут она стала страшно беспокоиться, что после лагеря её зашлют в Красноярский край. И в первый раз обратилась к начальству с просьбой — назначить ей местом ссылки Инту, где живут её дети. Конечно, ответа не получила. Она писала, писала во все инстанции — безрезультатно. И от тех, кто приехал с 16-го лагпункта после меня, я узнала, что она кончила срок, и её действительно послали в Красноярский край. Даже отказа на свои просьбы она не получила. Шёл 1953-й год, и вскоре её, вероятно, реабилитировали. Если бы не это, то ей так и жить в Красноярском крае, а её детям — в Коми.

Люди для *них* просто не существовали. Помню, что когда кончилось следствие, я просила дать мне свидание с мужем. Следователь удивился: «Зачем это?» Как ему было это объяснить? Так и тут — зачем это нужно, чтобы мать после 15-ти лет разлуки

встретилась с детьми? Известны случаи, когда муж и жена просили отправить их по окончании срока вместе в ссылку, а их посылали в разные места. Из ссылки нам писали отчаянные письма. Молодые сходились с кем попало, лишь бы выжить, а старикам вовсе была погибель. А такие ребята, как дети этой женщины, для которых событием была покупка пары брюк, не смогли бы даже денег на дорогу к матери собрать. Но я надеюсь, что всё у них кончилось благополучно, если только она не умерла тогда от горя. Но она неплохо держалась, последние годы её поддерживали письма сына.

Прибыла к нам пожилая повторница, еврейка, кажется, её звали Матильда. Её положили к Этель Борисовне в стационар, я приходила туда и познакомилась с ней. Однажды напоролась на скандал. Пришёл большой этап, и в стационар попала отвратительная баба, барахло с большими претензиями, бывшая дворянка. И потребовала, чтобы Матильда (оставлю за ней это имя), которая была моложе её, уступила ей своё место на нижних нарах. Этель Борисовна сказала: «Я здесь решаю, кто тяжелее болен. Я её наверх не подниму — ей нельзя, а вам — можно». «Ну, конечно, евреи всегда друг для друга стараются!». Кое-кто из больных тоже высказался против евреев. Матильда испугалась, что у Этель Борисовны будут из-за ней неприятности, разволновалась и настояла на том, чтобы её сейчас же выписали из стационара. Я поговорила с той бабой, сказала, что антисемитизм нынче в моде, наш опер будет ею доволен. И ушла к себе в барак. Вскоре приходит Матильда. О её деле я ничего не знала. Обычно было известно, кто за что сидит. Кто вдавался в подробности, а кто нет. Матильда вовсе о себе не рассказывала, а прямо спросить: «За что сидите?» — было неловко. И вдруг она говорит: «Надежда Марковна, вы меня поразили. Чувствуется, что вы их не боитесь. А я всю жизнь боюсь. Наверное потому, что у меня очень страшное дело. Никому я об этом не рассказываю, но вам доверю. Я — племянница Троцкого». Мы шли по зоне, она сказала это, оглядевшись по сторонам. И мне самой стало страшновато. Она продолжает: «С девятнадцати лет живу с этим клеймом. Сижу в третий раз. На последнем следствии меня обвиняли и в том, что я рассказываю об этом, и в том, что скрываю».

В мордовских лагерях сидели ещё две родственницы Троцкого. И на Колыме, ты говоришь, была его племянница. Сидела вся его родня: и братья, и племянники, и мужья племянниц, и жёны племянников. С Троцким они невесть когда и встречались. Единственная родственница, с которой он действительно поддерживал отношения до революции и после —

это поэтесса Вера Инбер. И она единственная не пострадала. Матильда ужасалась: «Какой же ценой она купила свободу?!» Мы ходили с ней до самого отбоя. Она говорила: «Я выросла среди людей, которые всего боятся. И все, кто с нами общался, тоже боялись. Вы первый человек, в котором я не чувствую страха. Может быть, так и следует жить?» А я уже пришла к выводу, что в жизни нет ничего страшнее страха. И действительно не боялась.

Три дня Матильда встречала меня в обеденный перерыв возле столовой и приходила ко мне в барак по вечерам. А на четвёртый день умерла. Я вернулась с работы, умылась, иду в столовую. У входа — толпа. Подхожу и вижу: она лежит мёртвая. Этель Борисовна говорила, что Матильда смертельно больна. Уход из стационара, возможно, ускорил её конец. Я пошла в стационар, где лежала эта стерва, которая её выжила, и сказала ей пару тёплых слов: «Радуйтесь, ещё одну еврейку удалось угробить». Она обиделась: «Разве я виновата? Я — что? Я — ничего».

Мы похоронили Матильду на кладбище возле зоны. Нашу бригаду, предназначенную для таких незапланированных работ, послали рыть могилу. На вахте труп, как положено, проткнули штыком. Мы копали яму, и она наполнялась водой. Гроб опустили прямо в воду, и он поднялся вверх. К ноге привязали бирку. Нам разрешили её одеть. Когда-то она жила за границей, и среди её вещей мы обнаружили плед и нарядное платье. Кто-то из бригады пожалел было вещи, но всё-таки мы завернули её в этот замечательный плед.

Коммунистки-повторницы держались особняком. Я была для них, с одной стороны, вроде бы своя, а с другой — «новый тип». Но всё-таки они мне доверяли. Разговоры, хотя и не в полный голос, о том, что Сталин «перегибает» — допускались. Но посягнуть на святая святых — на Октябрьскую революцию — было немыслимо. А я посягала. И ещё я их убеждала: «Ну чего вы боитесь?» Ведь они все в один голос твердили, что самое страшное время для них было в перерыве между лагерями. И страх ареста терзал, и физически было не легче, чем в лагере. Однажды я довела одну из них, Соркину, которая вела себя, как «настоящий советский человек», до того, что она прошипела: «Что вы знаете, что вы видели? Теперь, по сравнению с тем, что мы пережили — рай. Вы не можете ненавидеть эту власть так, как я». И она рассказала о 12-13-летних детях, осуждённых по политическим статьям и умиравших на её глазах. «К чему же вся ваша игра?» Она развернула теорию: «Настоящие враги не должны себя обнаруживать». «А вы что — собираетесь воевать с советской властью? Ведь единственное, что можно сделать — это показать другим заключённым, что мы, бывшие революционеры,

всё это ненавидим. Других возможностей борьбы у нас нет. А вы, прикидываясь другом режима, работаете на них».

Такими-то разговорами развлекалась я в ожидании известий о тебе. А жизнь шла своим чередом. Иногда в бараке случались дикие сцены, ведь мы жили вместе с блатными, получившими, кроме своих, ещё и политические статьи. И я думала: всё это моя дочь видит, слышит.

Кончились времена, когда у меня была солидная профессия ассенизатора. Самым гнусным было разгружать мясо для гарнизона из вагонов и тащить его на склад. Потом мы вместо лошадей возили на себе дрова и воду. Воды в Потьме хватало. Зимой приходилось подолгу ждать, пока наполнится колодец. Ночью нас по несколько раз подымали: в таком-то колодце появилась вода. И эта работа считалась ненастоящей, потому что была ненормированной.

Очередным этапом с 10-го лагпункта прибыла аварка по прозвищу Ханум и сообщила, что на 10-м находятся твои одноделки, Тамара Рабинович и Нина Уфлянд, которые поручили ей рассказать мне о тебе и о вашем деле. Было воскресенье. Чаще всего мы работали и по воскресеньям, но на этот раз был выходной. Погода хорошая, в зоне много народу. Я спросила Ханум, какой у тебя срок. «Срок большой». Мне стало жутковато: ведь 10 лет считалось у нас небольшим сроком. «Как? Больше 10-ти?» «Много больше. 25». Сначала я ушам своим не поверила. Потом меня как ужалило: «Моей девочке, моему ребёнку — 25 лет?! Да они с ума сошли, им конец пришёл, раз детям дают по 25 лет!» Мне говорят: «Успокойтесь», — а я в исступлении кричу: «Конец им, конец!» Куда девалась вся моя «мудрость»? Не я ли твердила, что сроки наши не имеют значения?

Ханум в общих чертах рассказала всё, что знала от твоих одноделок. Теперь я стремилась непосредственно от них узнать всё. Мечтала попасть на 10-й. Вскоре произошёл эпизод, после которого меня решили удалить с нашего 16-го лагпункта. Привезли к нам с 10-го женщину. Её там только что судили, было 5, дали 25. Её должны были по прибытии к нам посадить в изолятор, а назавтра отправить в тюрьму, но начальство как-то замешкалось, и она пробыла с полчаса в зоне, среди нас. Я успела с ней поговорить. До ареста она жила в Москве, спокойно работала в Академии наук, о репрессиях 37-го года, например, даже не задумалась. Но когда её взяли, она, увидев, что творится, впала в такое неистовство, что стала открыто провозглашать всё, что думает о нашей славной действительности. И когда её уже в лагере арестовали и стали предъявлять доносы стукачей, она сказала: «Не надо всего этого. Дайте карандаш и бумагу, и я вам

напишу больше, чем на меня донесли». И написала: «Я — русская женщина, люблю свой народ, но я молю Бога, чтобы пришли какие-нибудь американцы, завоевали эту страну и освободили нас». Её отправили в тюрьму, и больше я о ней не слышала. Эта встреча произвела на меня большое впечатление. Может же человек сказать им то, что думает! Если моя дочь сидит, какая мне разница, в тюрьме быть или в лагере? Хотя я очень дорожила возможностью двигаться, быть на свежем воздухе, но за удовольствие чувствовать себя внутренне вполне свободной, тюрьма — не слишком высокая цена.

Наш разговор подслушали, на меня поступил очередной донос. В итоге — этап. Грустно было расставаться с друзьями, но мы надеялись, что, Бог даст, я окажусь на 10-м. Боялась я одного: как бы перед отправкой не отобрали у меня письма и фотографии — хотя они прошли цензуру, но это иногда практиковалось. Но обошлось. Ехала я в большом напряжении. И, наконец, меня высадили на 10-м.

Впустили через вахту в лагерь, и тут же ко мне подошла Рахиль Афанасьевна с двумя девочками, расцеловалась со мной и говорит: «Это Нина, а это — Тамара». Удивительно — я не только не чувствовала нетерпения, но даже хотелось отложить разговор, поговорить потом, как следует, основательно. И я спокойно пошла в барак устраиваться, девушки ходили за мной, но о тебе не заговаривали. Потом пообедали. И вот, когда у нас оказалось впереди несколько часов свободного времени, Тамара подробнейшим образом рассказала мне, как она впервые увидела тебя в институте, как ты была одета. И о том, как в полном одиночестве ты встретила Новый год (а мне писала в своём последнем письме, что встретила его очень весело). Потом рассказала о Жене Гуревиче. И так мы ходили по зоне час за часом. А Нина уходила, приходила, тоже что-то добавляла — о других однодельцах, о Сусанне. Потом Тамара и Нина рассказали мне о суде, о твоём последнем слове. И у меня было чувство, что я не напрасно прожила свою жизнь.

Сейчас людям трудно понять, почему я так оценила твоё выступление на суде. А я переношу себя в период своего следствия, когда я ни во что не верила. Но повторяла: «Я умереть готова за советскую власть». Даже на следствии мысль о том, чтобы открыто высказаться против власти, казалась невероятной!

Так я начала свою жизнь на 10-м. Мы возили бочки с водой, бушлат и валенки становились от замёрзшей воды будто стеклянными. Встречая меня, повторница Берта Владимировна Аникеева говорила: «Глядя на вас, мне плакать хочется». А я совсем неплохо себя чувствовала. Берта Владимировна жила в

стационаре. Когда выходила погулять, казалось — развалина движется по зоне. Мы с ней были до самой амнистии 1953 года, когда освободили тех немногих, чей срок был не больше 5-ти лет. Узнав, что амнистия не распространяется на рецидивистов, Берта Вдадимировна взволновалась. А я удивилась: куда она пойдёт? Никого из близких у неё не осталось. Более дряхлое существо трудно себе представить. В лагере хоть кормят. И эта безумная жаждала воли! Её выпустили. Встретились мы в 1956 году в Москве. Мы с отцом шли по Кузнецкому Мосту, и вдруг меня окликнули. Я едва её узнала: пожилая, но красивая и цветущая женщина. Я расхохоталась: «Вы что же, весь срок симулировали?» «Это так свобода действует!» Оказывается, её реабилитировали, живёт она в специальном заведении для старых большевиков, в отдельной комнате. Дома у неё — настоящий салон, к ней ходит молодёжь. Умерла только 4 года назад.

Однажды я разговорилась с женщиной с нового этапа, Галиной Серебряковой. Первый её муж был крупным советским деятелем, проходил по одному из больших процессов. Я смутно помнила, что сама она была писательницей. За второго мужа — другого крупного деятеля, Сокольникова, она отсидела свои первые 8 лет, а недавно была арестована повторно. К нам её привезли из Владимирской тюрьмы, и она убивалась, что ей придётся работать. А для неё самое страшное в лагере — это физический труд. Я спросила, как же она провела свой первый срок. Оказалось, что она не очень-то работала. Довольно скоро завела роман с начальником санчасти, который назначил её врачом. Из её рассказов следовало, что она жила и с одним начальником, и с другим, и даже с опером. И не видела в этом худого.

Она говорила мне: «Посидели бы вы в наше время. Сейчас вы можете себе позволить иметь собственные убеждения. А мне во время войны приходилось свидетельствовать о мастырках[45], а это значило подписывать смертный приговор. Легко ли мне было?» Благодаря старым связям, ей удалось устроиться врачом в полустационар, где доживали век старухи, калеки, неизлечимые больные. Там жила бывшая актриса Ляля Островская[46], пожилая, глухая и больная астмой. В углу барака у окна было единственное место, где она могла дышать. Серебрякова перевела Лялю на верхние нары и заняла её место сама. Медсестра рассказывала, как грубо обращается она с украинками, как вымогает у них посылки. Ведь от неё зависело, получит ли больная лекарство, задержится ли в полустационаре. Позже, когда стали в лагере платить зарплату, у неё и деньги появились. Нечего и говорить, что жилось ей тепло и сытно. И вот однажды она даёт мне письмо

из Москвы от своей дочери. Письмо было без обращения: «Чего ты от меня хочешь? Я должна дать образование Лане (сестре), я содержу Таню (лагерная дочь Серебряковой). А Генрих (муж дочери, Г.Цвейг, тоже был тогда в лагере) болен туберкулёзом, ему надо слать посылки. Я посылаю тебе 50 рублей в месяц, большего сделать не могу». Я прочитала. Она смотрит на меня, ждёт реакции. «Вы у дочери просили посылку? Зачем вам? Разве вы в чём-то нуждаетесь?» «Неважно, что я сыта. Она должна знать свои обязанности». А я-то думала, что она собирает продукты, чтобы послать детям. Многие женщины в лагере сушили сухари, чтобы освободившись, послать родным в деревню.

10-й был инвалидным лагерем. Из Центральной больницы с тяжёлой стенокардией прибыла твоя одноделка Сусанна. В истории её болезни говорилось, что ей нельзя физически работать. Её положили в полустационар. Мы тут же с ней встретились, проговорили до самого отбоя. Назавтра я застала Сусанну в страшном волнении. Оказывается, за это время с ней побеседовала Серебрякова: «Я вижу, что вы наша, советская девушка, комсомолка. Здесь кругом враги, срок большой, и чтобы выжить, надо с самого начала занять правильную позицию. Вас вызовет опер, и от разговора с ним зависит вся ваша дальнейшая судьба. Вот я видела, как к вам приходила Улановская, вы разговаривали до отбоя. Вы не должны с ней поддерживать отношения. Она — не советский человек». Серебрякова очень сурово дала понять Сусанне, что за дружбу со мной она её лечить не будет, выпишет из полустационара.

Начались гонения на Сусанну. Прежде всего Серебрякова уничтожила документ из Центральной больницы, в котором говорилось, что Сусанне нельзя физически работать. Нам рассказала об этом, дрожа от страха, медсестра. Наконец Серебрякова выкинула Сусанну на общие работы.

Её зачислили в нашу бригаду — перебирать на складе гнилую картошку. Потом мы работали в поле и не давали ей, самой молодой среди нас, таскать тяжёлые носилки. Постепенно она окрепла. А у меня в это время разыгралась язва желудка. Стоило нагнуться или поднять носилки, начиналась рвота. Помню один такой особенно тяжёлый для меня день. Было тепло, солнечно, мы варили на костре картошку — чистую, свежую, но обычного удовольствия от еды я не получала. Кончили работу, поехали в зону в битком набитых открытых грузовиках. Сусанна возле меня полумёртвая, голова набок. А я вдруг оглянулась на лес — такой красоты, таких красок, от темно-бурого до золотого, я в жизни не видела! «Сусанна, посмотри!» Она подняла голову: «Ой!» Я говорю: «Может, стоит жить, чтобы увидеть такое?» Только

обидно, что когда мы прибыли к воротам лагеря, нас обыскали и отобрали припрятанную картошку. А нам так хотелось угостить наших друзей. В поле мы работали последний день. Иногда удавалось пронести по паре картофелин: подымешь руки для шмона, и держишь в кулаке.

А с Воркуты помню впечатление от северного сияния. Я испытала ещё больший восторг, чем в мордовском лесу. Шёл первый мой год в лагере, когда я ещё была «свеженькой», недавно с воли. Всё ещё во мне кровоточило. Летом мы работали по ночам, потому что именно ночью приходила машина для вывоза нечистот. Но в это время на Воркуте нет ночи. Светло, как днём. Но свет не дневной — безразличный, а яркий, разноцветный. Небо загорается внезапно. В зоне тихо: несмотря на свет, у людей есть день и ночь, ведь они должны работать. В бараке тускло, окошки маленькие, закопчённые. Но внезапно помещение освещается, как заревом, залито золотым и красным светом. Выходишь на улицу и видишь сполохи по всему небу.

Машину наливали сверху, приходилось забираться на неё по лестнице, и туда, наверх, нам передавали черпаки с нечистотами. А я всё время мысленно вела разговоры со Сталиным. И тут, увидя красоту северного сияния, подумала: Ты решил, что ты меня уничтожил? Нет! Если я могу это видеть, я благодарю Бога, что он привёл меня сюда. В Бога я, положим, не поверила, но думала именно этими словами. Тут мне даровано было что-то такое, чего я никогда в жизни не видела, чем может быть, и не интересовалась. Мне всегда интересны люди, больше всего занимают человеческие дела. И ни до, ни после этого я не испытывала такого чувства — чего-то высшего.

…Как всегда на новом лагпункте, я искала интересных людей. Однажды говорят: «Здесь есть меньшевичка, которая сидит третий раз». Я много ожидала от знакомства с ней. Оказалась женщиной лет 50-ти, на редкость бесцветной. Но историю её стоит рассказать. Родилась в Томске. К началу революции было ей 17 лет. Простая девушка, политикой не увлекалась никогда. Но все стали бегать на митинги, демонстрации, и она ходила со всеми, как до тех пор ходила на танцы: всё-таки развлечение. Однажды, сразу после октябрьского переворота, когда все партии ещё протестовали против захвата власти большевиками, попала на меньшевистский митинг. Митинг разогнали. Часть народа окружили, привели в ЧК, записали имя, фамилию и отпустили. Она продолжала спокойно жить, устроилась в какое-то учреждение делопроизводителем. А в 1924 году её арестовали. И пошла она с тех пор как меньшевичка. В первый раз дали всего 3 года. Но потом пришлось писать в

анкетах: была репрессирована. Ни на работу, ни учиться — никуда не принимают. Второй раз арестовали в 1935 году. Опять то же. И допросы пустяковые, от неё не требовали никаких признаний. Просто дали 8 лет — как меньшевичке. А мать старела. Жизнь проводила в том, что посылала дочери в лагерь посылки. А с каких заработков слать? Дочь отсидела 8 лет, опять на работу не берут. Даже на курсы машинисток не взяли. Пробавлялась случайными заработками. Убогое и несчастно было существование. В 1948 арестовали опять, на этот раз дали 10 лет. А она так случайно попала на тот митинг, ни в лагере, ни на воле ничем на свете не интересовалась, только бы выжить как-нибудь. Даже не могла рассказать ничего яркого о лагере, о людях, с которыми сидела. Но кончилось вот как. Когда мы встретились с ней, она была совсем неверующей. Знала с начала революции, что Бога нет. Закрыли церкви — она не огорчалась — не нужны они ей были. Словом, обыкновенный советский обыватель. И вдруг стала дружить с религиозными женщинами. И я заметила, что она будто распрямилась. До того она всё повторяла: «Кончится срок — куда я пойду?» Мать умерла вскоре после её последнего ареста. Через год её освободили досрочно, она была бодра, знала, как ей дальше жить. Чувствовала, что принадлежит своему товариществу. Это было последнее, что я о ней узнала. Если бы я умела об этом рассказать! Я вижу, как я с ней разговариваю, и помню даже моё при этом настроение. Она такая высокая была, худая, мускулистая. И как она стала совсем другой — человеком, у которого появилась цель в жизни, братья, сёстры. Как это было хорошо!

Я с удивлением обнаружила, что в лагере было много верующих, — имею в виду не только осуждённых за веру. И пришла к заключению, что самые устойчивые атеисты — евреи. Религиозных евреек я не встретила, а развитое национальное самосознание отметила только у четырёх молодых сионисток из Бессарабии. Когда-то они были членами молодёжной организации, с детства готовили себя к жизни в Палестине, но существовала квота: каждый год уезжало ограниченное число людей. Остальные ждали своей очереди. Эти не дождались. В Бессарабию пришли советские войска, и их посадили.

Сионистки были самыми уважаемыми еврейками в лагере, потому что умели работать. С одной из них, по имени Сара, мы одно время работали вместе — наливали бочку водой, ставили на телегу, впрягались и везли. А когда пошли либеральные времена и неудобно стало использовать нас вместо лошадей, в зону привели старую клячу. Кроме Сары, никто в нашей бригаде не умел запрягать лошадь. А она умела, потому что когда-то

«училась на сионистку». Когда Сара попадала со мной в одну смену, всё было в порядке. Но без неё мы не справлялись. И однажды решили: чем возиться с этой дурацкой клячей, давай по-старому, как привыкли. Впряглись сами и поехали. Навстречу начальник лагеря: «Это что такое?! Вредительством занимаетесь? Хотите показать, что в советских лагерях на людях воду возят?» А только месяц назад другого способа мы и не знали! «Мы не умеем запрягать лошадь», — говорю я. Как — не умеете? — изумился он. «Не учили нас этому в институте». Он пригрозил карцером, но обошлось, не посадили. А Сара умела всё — чинить электричество, показывать кино. И другие сионистки всё умели, и к ним относились очень уважительно, хотя звали их Сара, Этя, Хая. Жаль, что я с ними потеряла связь. Интересно, здесь ли они.

Никаких разговоров об Израиле у меня с ними не получилось. Меня мало интересовала возня кучки евреев где-то на Востоке. Сара и её подруги считали меня чужой и не хотели делиться тем, что им дорого.

Когда говорят об общем усилении антисемитизма в связи с делом врачей, я тоже вспоминаю о проявлениях антисемитизма в лагере, но не могу сказать, что он усилился именно в этот период. Расскажу о нескольких поразивших меня случаях. Когда я приехала на Воркуту, моя приятельница Ляля познакомила меня со «светлыми личностями» нашего лагеря. Среди них была благообразная старушка с розовым сморщенным личиком, сидевшая не в первый раз. Знакомя нас, Ляля, неуёмная в своих восторгах, шепнула: «Посмотрите, какие у неё глаза — голубые, добрые». Мне-то сразу показалось в её глазах что-то холодное и жёсткое, но раз Ляля говорит: «светлая личность», ничего не поделаешь, надо верить. К тому же, над нарами старушки висело известное изречение Белинского: «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию через сто лет…» Изречение звучало издевательски и являлось достаточной рекомендацией старушки в моих глазах.

Раз Бригитта удивлённо говорит: «Никогда не думала, что в Советском Союзе существует такой страшный антисемитизм. Послушали бы Маргариту Ивановну, с которой вы и Ляля поддерживаете отношения!» «Не может быть!» «Как не может быть? Да я своими ушами слышала, как она сказала другой интеллигентной даме: „Только в одном Гитлер промахнулся — не уничтожил всех евреев“.» Я говорю: «Может быть ты её не поняла?» «Да нет, почему же? Они говорили по-немецки. Как раз шёл общий разговор с одной немкой о Гитлере». Я — к Ляле: «Поговорите с Маргаритой Ивановной на эту тему». Поговорили. И та призналась Ляле, что ненавидит евреев, считает их

воплощением мирового зла. И прежде всего — виновниками Октябрьской революции.

Другой инцидент связан с пожилой француженкой, которая всю жизнь прожила при католической церкви в Москве. Я сидела на Лубянке в камере, где она побывала до меня, и мне рассказали сокамерницы, как мужественно она держалась на следствии. Беспокоилась только о дочери — как бы ту не арестовали. А дочь, оказывается, в это время уже сидела. В тюрьме дочь сошла с ума и однажды «вымыла» голову в параше. И когда я встретилась с матерью в Потьме, я к ней очень потянулась, потому что столько о ней слышала. Ей было известно, что дочь сидит, но что та сошла с ума и про тот случай с парашей она не знала. Гуляя по зоне, мы иногда останавливались, чтобы почитать газету, вывешенную на стенде. Раз прочли об аресте католического священника. Я говорю: «Ну конечно — очередной „шпион“.» Поговорили на тему о шпионах. Через какое-то время узнаём о деле врачей. Мне кажется, что арест врачей не вызвал в лагере особой реакции. Помню только, как начальник лагеря зашёл в стационар, и ему одна еврейка из больных пожаловалась, что ей не дают нужных лекарств. Он ответил: «А стрихнина вам не надо?»

И вот лежу я как-то на нарах ничком, меня не видно, моя католичка сидит ко мне лицом на соседней вагонке, а напротив — русская женщина. И я слышу их разговор. Та, другая, говорит: «Подумайте — ну чего этим евреям не хватало? Им так хорошо живётся при советской власти, а они на такое подлое дело пошли!» Моя католичка отвечает: «Знаете, они ведь очень любят деньги. А жадный человек ради денег на всё способен». Я подняла голову и встретилась с ней глазами. Она почувствовала неловкость и начала: «Конечно, в любом народе всякие люди встречаются». Её собеседница меня не видит, не понимает, почему та изменила тон, и продолжает: «Да, они такие, они на всё способны». Наконец почувствовала, что что-то неладно, оглянулась, увидела меня и тоже смутилась. Я была поражена. Ведь эта француженка не верила ни одному слову, исходящему от властей. Только несколько дней назад мы рассуждали о том, что если они говорят «шпион», значит, это такой же шпион, как мы с вами. Ведь и ей дали 25 лет за шпионаж. А про евреев поверила. Это меня заставило призадуматься.

Смерти Сталина я жаждала и ждала. Всегда верила, что с его смертью произойдут перемены к лучшему. И многие так считали, но все наши беседы на эту тему кончались одной фразой: «Грузины долго живут». Мы не надеялись его пережить.

В марте 1953 года я работала «на воде». В зоне было два

колодца. Один — с журавлём, а в другой мы просто спускали шест с ведром, вынимали и выливали воду в бочку. Работали по двое. Бригада была самая паршивенькая. Напарница моя — неграмотное, дикое существо из глухой деревни. И получила 25 лет по политической статье! Я так и не добилась, за что она сидит: она всё путала. Одна из нас вытаскивала ведро, передавала другой. Другая стояла на телеге и наливала воду в бочку. Минут через сорок нас сменяла другая пара. В перерыв я пошла в барак взять кусок хлеба. Открыла дверь. Пусто, все на работе. Как всегда, галдит радио. Вдруг обращаю внимание на торжественный голос диктора. Прислушалась: сообщают о болезни вождя. Нет слов описать мои чувства! Вот оно! Оно ли? Не может быть иначе! Никогда бы о его болезни не сообщили, если бы оставалась малейшая надежда, что он выживет. Что делать? Нет в зоне никого, с кем можно поделиться. Надо идти работать. Я иду и вижу себя со стороны: мне кажется, что у меня лёгкая походка, молодое лицо. А у колодца ждёт моя напарница. И хотя знаю, что бесполезно с ней разговаривать, но всё равно — мне надо кому-то выразить свои чувства. Я её нисколько не боялась, она даже стучать была неспособна. Стукачка была в другой паре: молодая, здоровая. Говорю напарнице: «Вы знаете, по радио передают, что заболел наш вождь». А она: «Да-а?» — и так тупо смотрит. Я бодро принялась работать. Ведро у меня в руках играет. Я, кажется, могла бы горы своротить. Не успели кончить — прибегает молодая: «Надежда Марковна, вы слышали?» «Что?» — спрашиваю равнодушным тоном. «Товарищ Сталин болен!» «Ну что же? Каждый может заболеть. Врачи хорошие, вылечат». «Вы думаете?» — растерянно спросила стукачка.

Погода хорошая, работается чудно, но — не с кем поделиться. День как-то прошёл, вечером стою у вахты, чтобы первой сказать, поразить своих друзей, которые работали за зоной — в полной уверенности, что они ещё ничего не знают. Открылись ворота, заключённые входят по пятёркам, я вижу одну из своих приятельниц, и у неё сноп света из глаз такой, что мне и спрашивать не надо — сразу поняла, что им всё известно.

Начальство рыщет, наводит страх. Целой сворой врываются в барак, всех подняли на ноги. Чего они нервничали? Боялись, что ли, что мы подымем восстание? Правда, нашлась одна сумасшедшая украинка, начала орать, дескать, теперь-то собака скоро умрёт, ну, её тут же — в карцер, ещё несколько человек забрали, которые высказывались. Мы-то ведём себя корректно: очень нужно именно в такой день попасть в карцер! Молча прохаживаемся, ищем места, где можно поговорить. Меня там прозвали «ребе». «Ну, ребе, как думаете — что теперь будет?»

«Безусловно, начнутся перемены к лучшему. С течением времени, не сразу — стена начнёт расшатываться». Иные опасались: «А вдруг он выздоровеет?!» «Да он, наверное, уже умер!» Но когда, наконец, сообщили о его смерти, я почувствовала облегчение: так-то оно надёжнее. Собрали заключённых в столовой — у вас, конечно, было то же самое — и прочли официальное сообщение о смерти. Тут уж надо делать грустное лицо, а то худо будет. Я, как все, задумчиво смотрела в одну точку. И так, слава Богу, прошёл этот день.

Некоторое время мы жили в эйфории, но постепенно настроение стало падать, поскольку лагерный режим даже ужесточился. Но довольно скоро произошло довольно ощутимое событие: освободили врачей. И очень было приятно видеть, с какой радостью восприняли это русские и украинцы. Вдруг в июле арест Берии. Оказался «матёрым шпионом». Нам развлечение, по крайней мере. Но тут стали прибывать совершенно фантастические этапы — у каждой по 25 лет сроку. Интересно, за что теперь дают 25 лет? И вот, после работы, в хороший летний вечер, мы с приятельницей остановили одну из новеньких, усадили на скамейку и стали расспрашивать. Она убивается: «Боже, что я наделала! Я руки на себя наложу!» «Да бросьте, люди и здесь живут». «Что это за жизнь! Я так хорошо жила на воле. У меня дома такой шифоньер». «Ладно, расскажите о своём деле». Она была проводницей в поезде, который ездил на юг. С юга везла одно, назад другое. Хорошие деньги зашибала. Какая у неё была шуба, какой ковёр! Только мужа не было, погиб на войне. «И вот на свою беду, взяла я одного инвалида. Голый, босый. Я его ублажала во всём. Сначала всё шло хорошо, а потом он, неблагодарный сукин сын, гулять начал. На кой он мне нужен такой?! Грозила ему: „Выгоню из дому — куда ты пойдёшь?“ Наконец, не стало терпения. Стала выбрасывать его вещички, говорю: „Чтобы духу твоего не было!“ Он мне: „Да как ты смеешь меня гнать? Я за родину, за Сталина кровь проливал!“ А я — что я наделала! — говорю: „А поди ты на … вместе со своим Сталиным!“ он и донёс.» «Как, — смеёмся мы, — и это всё? Какая же у вас статья?» «Террор». «Террор?! А следствие тяжёлое было?» «Да нет, меня и вызвали-то на допрос всего три раза. Следователь, гад, тоже смеялся, звал других — полюбуйтесь, мол, на террористку». «А как он формулировал показания? Вы ведь подписывали протоколы?» «А что мне было делать? Подписывала». «Но почему террор?» «Так я же им сама говорила: „Да разве ж *это* оружие?“ А он мне: „А вот увидишь, какое оружие“.» И дали 25 лет. И опять крики: «Ну, чего мне нужно было! А теперь — конфискация имущества!» «Не отчаивайтесь,

напишите заявление, может, вас помилуют.» Судили её за месяц до смерти Сталина. Освободили одной из первых. Но всё-таки года полтора она отсидела.

Этапы 25-летников продолжали прибывать. Некоторых посадили за то, что, узнав о смерти Сталина, сказали: «Жаль, что раньше не подох». У всех статья — «террор». Девушку из Одессы арестовали за анонимное письмо в Президиум Верховного Совета, в котором она писала о преследовании евреев. Чтобы опустить письмо в ящик, она специально поехала на отдалённую станцию. Её нашли через два года. Она — не единственная, кто сидел по такому делу. Какой же аппарат требовался, чтобы найти человека по анонимному письму!

Первой с нашего лагпункта освободилась дочь крупного чиновника Константинова, сидевшая за связь с иностранцами. Пришла с работы, и прямо с вахты её позвали к начальнику. Встретил словами: «Ну, что вам сегодня снилось? На свободу пойдёте». Она вышла от него ошарашенная: такого не было в истории лагерей. Через месяца два стали приходить ответы на жалобы заключённых. Ещё до того несколько человек освободилось по мартовской амнистии. Из моих знакомых ушла Ольга Ивинская.[47]

Я о ней слышала от той сотрудницы Академии наук с 10-го лагпункта, что сама себе 25 лет намотала, и она сказала, что Ивинская была старостой её барака и давала на неё показания. Староста барака — тоже не очень уважаемая должность, но можно объяснить тем, что у неё было всего пять лет сроку. Ещё раньше я о ней слышала на Воркуте. Пришёл этап, и одна из девиц, арестованных за иностранцев, рассказала, что сидела в камере с женой Пастернака. Это меня, конечно, заинтересовало. Рахиль Афанасьевна была знакома с Пастернаком, поэтому я кое-что знала о его личной жизни и стала расспрашивать — кто такая, что собой представляет? Та её назвала — Ольга Ивинская, переводчица корейских поэтов. «И что она нам о нём рассказывала!» В общем, типичные разговоры в камере, какие вели эти самые девицы. Мне показалось немного странным, и когда я в Потьме узнала, что она тоже на 10-м, мне не очень захотелось с ней встречаться. Но были и другие отзывы — что она очень приятный, интересный человек, обаятельная и интеллигентная. И я подумала: это больше подходит жене Пастернака! Оказавшись на 10-й, я встретила Рахиль Афанасьевну, которая с ней была в очень хороших отношениях, правда, с некоторыми оговорками. Р.А. говорила, что Ивинскую в бараке не любят, что она «очень невыдержанная». Но когда я с ней познакомилась, она мне очень понравилась, и мы

подружились. Она рассказывала о своём романе с Пастернаком, что мне было довольно интересно. Следствие её всё велось по «Доктору Живаго». Она знала очень многих писателей, рассказывала мне о них. Рассказывала о своих детях. А потом, когда оказалось, что она подпадает под амнистию, в эти последние дни, когда было уже известно, что их освободят, мы особенно сблизились. Она ведь будет в Москве, и она мне, знаешь, что сказала? Что Ирина будет у них. Ирина — одного возраста с её дочерью, и — она вызовет Ирину в Москву, пошлёт ей деньги на дорогу. У неё же будут деньги. Пока их отослали, довольно долго это тянулось. И каждый день мы встречались и говорили об Ирине — что она должна ей сказать и сделать. «Что я вам буду говорить! Я надеюсь, вы донесёте до неё моё тепло, мою любовь». До того я читала замечательные, потрясающие письма её дочери. Я приготовила, собрала всё, что у меня было. А у меня были такие прелестные вещи. Знаешь, дни рождения у меня проходили особенно: мне дарили искусно сделанные вещи. Потом — помнишь — у меня был зелёный джемпер, мне привезли из Стокгольма, совсем почти новый. И ещё — я перевязала из старого синего свитера прелестную кофточку. Я представляла это на Ирине. Ты же понимаешь — всё, что у меня было. И каждый вечер после работы мы с ней проводили. И в самый последний вечер, когда на другой день её должны были отправить на волю, её вызвал опер. И как раз перед этим свиданием с опером мы очень с ней много ходили. Она несколько волновалась — зачем её вызывают? Никого из освобождавшихся не вызывали, а её вызвали. Но особенно мы говорили о том, как она встретится с Ириной, а может быть, и со Светланой, расскажет им обо мне. И всё было нормально. Её вызвал опер, и я её ждала. Она очень долго там сидела, часа полтора, и когда вышла от него, была в страшном волнении. И совершенно изменилась по отношению ко мне. Даже не хотела дольше со мной быть, и видно было, что там, у опера, произошло что-то очень серьёзное. И как-то очень сдержанно рассказала о своём с ним разговоре — никаких подробностей, как мы вообще привыкли говорить друг с другом. И у меня было весьма неприятное ощущение, что произошло что-то нехорошее, что ей дали какие-то задания. Что-то она мне всё-таки сказала — что её спрашивали о каких-то писателях, я уже не помню, о ком. Но помню, что я ей ничего не сказала, что могло кого-то подвести. Мы расстались, а утром их отправили.

Я знала, что у неё были поручения и от других — от писательницы по фамилии Адольф, мужа которой расстреляли, подруги Лидии Чуковской. Мы ждали, что Ивинская нам напишет, что будут какие-то отклики на наши поручения. Прошёл месяц,

два, четыре, но мы ничего не услышали и не узнали. Я воздерживалась от того, чтобы выражать какие-то сомнения, но Адольф мне несколько раз говорила, что Ивинская — такая, что ничего она не сделает. И выражала в отношении её всякие чувства. Прошло полгода, год, и мы перестали на что-либо рассчитывать. Я старалась об этом просто не думать. Перед отъездом Ивинская оставила мне адрес и телефон квартиры на Чистых Прудах, где она жила до ареста с матерью, и освободившись, я написала по этому адресу письмо и довольно скоро получила ответ — очень взволнованный, с выражением любви и уважения. Она ужасно казнила себя, что не выполнила поручения — потеряла адрес Ирины. Кончалось письмо так: «Не осуждайте меня, при встрече вы всё поймёте… Вы, вероятно, больны и нуждаетесь, я кончаю большую работу, за которую мне хорошо заплатят, и я вам смогу помочь». Чувствовалось, что она хочет, чтобы мы остались друзьями и продолжали встречаться. Я ответила ей неопределённо — что в жизни всякое бывает, что я её не осуждаю, и пусть она об этом не думает. Что когда мы встретимся, всё выяснится и мы останемся друзьями. Ответила она опять-таки очень хорошим письмом и даже предложила познакомить меня с хорошей вязальщицей, которая свяжет Ирине кофточки. И послала 200 рублей. Старыми. Писала о детях и о том, что Пастернак ей хорошо помогает, но что она себя будет чувствовать гораздо лучше, когда выйдет какой-то сборник и у неё будут свои собственные, заработанные деньги, которыми она сможет распоряжаться. И вроде возместит мне эти кофточки. Я ей тоже написала, но больше ответа не было. Мы получили квартиру очень близко от Чистых Прудов, и я ей позвонила. Не застала, позвонила опять, оставила свой адрес и телефон, просила передать, чтобы она мне позвонила. И поскольку от неё ничего не было — она, по-видимому, решила, что расплатилась со мной — я больше ей не звонила, и мы с ней больше никогда не встречались.

То, что она никак не реагировала, познакомившись с тобой и узнав, что ты — моя дочь — это совершенно невероятно. У нас была такая дружба, особенно в последнее время, но и до того мы читали друг другу письма наших детей, о многом говорили. Она производила на меня впечатление весьма респектабельной женщины, что совсем не вязалось с тем, что я слышала от её сокамерниц. И я забыла об этих рассказах, как будто их не было.

Когда её второй раз посадили, всем было её жалко. Конечно, я совсем забыла историю с кофточками. Но потом я встретилась с поэтессой А.А.Барковой, которая сидела с ней в одном лагере во второй раз, уже во времена Хрущёва. Она же при тебе рассказывала — что Ивинская передала оперу её стихи. Кто её

знает! И всё-таки в ней что-то было. Всякое было, от самого низкого до самого высокого. Та женщина из Академии наук — она же мне о ней рассказывала, и я вроде поверила, но поскольку та равнодушно отнеслась и сказала: «Зачем вы мне это читаете, не нужно никаких показаний, дайте мне карандаш и бумагу, я напишу вам больше, чем стукачи могут рассказать» — то после этого, когда я с ней встретилась, это как бы изгладилось.

Второй раз её посадили по уголовному делу, так что она свободно может жить в Москве. Рубины, мои знакомые, были с её дочерью Ирой в очень хороших отношениях, но мне никогда не хотелось с ней больше встречаться, ни даже вспоминать о ней.

Началась либерализация, и разрешили писать письма из лагеря в лагерь. До того у нас в Мордовии, на 10-м, свирепствовал цензор. Твоё первое письмо с новосибирской пересылки я получила в другом лагере, а на 10-м Евгении Михайловне Фарих пришло окольным путём, через Москву, письмо от её сына из Казахстанского лагеря, и цензор не отдал ей этого письма! Я-то знала, что значит для Евгении Михайловны увидеть несколько строк, написанных рукой сына, и в первый раз пошла по своей инициативе к начальству. Говорю цензору: «Как вы можете так поступать? Письмо пришло из Москвы, вы не обязаны знать, что оно из лагеря». «Но я знаю, что у неё сын в заключении. Не положено писать из лагеря в лагерь». Я сама боялась цензора, уж с ним-то не следовало ссориться, но не сдержалась: «А вы не думаете, что если времена изменятся, вам припомнят вашу жестокость?» Он уверенно ответил: «Не настанет таких времён». Я ничего не добилась и вышла от него с мыслью: Вот кого стоит повесить!

И буквально через два месяца разрешили переписку между лагерями. Светлана, которая освободилась сразу после смерти Сталина, потому что её отца лично знал Хрущёв, связала снова нашу семью. Письма хлынули потоком. В лагерь стали ездить прокуроры, к ним можно было обращаться с просьбами, и они отвечали. Я пошла к такому заезжему прокурору, просила разрешения послать тебе посылку. «А где ваша дочь?» «В Тайшете». «А может, она уже не там? Подождите с посылкой. Через две недели приеду снова». И через несколько дней узнаём, что в Мордовию прибыл этап из Тайшета.

Этап из Тайшета! С других лагпунктов приходят люди и подтверждают: к ним уже прибыли из Тайшета. Вдруг ты — в Мордовии, и окажешься в другом лагере? Ужас, какие терзания. И вдруг терзания кончились. Приехали и к нам тайшетские. В первый же день я увидела новеньких на проверке, подошла, стала расспрашивать. Тебя многие знали и тут же сообщили, что ты в

этот этап не попала. Мягко говоря, я была разочарована. Но порадовалась за украинку пани Зосю, которая в этот день встретила свою дочь, ходит с ней по зоне! И мы могли бы с тобой ходить вместе!

Утром я пошла пилить дрова в хоздвор, и в нашей бригаде оказалась новенькая, с хорошим, приветливым лицом, евангелистка Оля Михина. «Вы из Тайшета? Может, вы знали мою дочь?» Она внимательно на меня смотрит: «Подождите, не называйте имени. Я сама скажу, кто ваша дочь. Майя Улановская? Как же, знаю! Мы встретились на пересылке». «Ради Бога, расскажите всё, что помните. Как она выглядела, во что была одета?» «Она зашла в столовую, такая молоденькая, в синей кожаной куртке, в беретике. Я сразу к ней расположилась. Не беспокойтесь, ей плохо не будет. Её любят, ей помогают». Мы пилили с ней в паре, и всё время она про тебя рассказывала. От каждой женщины я узнавала, с кем ты дружила, где была и что делала. Они приходили ко мне в барак после работы, чтобы сообщить ещё какую-нибудь подробность о тебе. Кто-то рассказал, как ты не могла разжечь костёр, кто-то вспомнил, как у тебя заболели ноги по дороге с работы и ты села возле вахты прямо на землю, кто-то сообщил, как ты обматерила бригадира. Молодая белоруска Валя говорила: «Я целый день думаю, что бы вам ещё рассказать». Это было так трогательно! Даже от маленькой воровки Тамары Зайцевой я получила о тебе самые лестные отзывы. Кстати, прибыла группа блатных, и у меня украли комбинацию, но потом вернули с извинениями. Я оказалась на особом положении — все знали, что у меня в Тайшете дочь. Я жаждала встретить кого-нибудь из твоих близких друзей. Наконец прибыла Надя Коваленко. До неё приехала её единоверка, привезла от неё привет и рассказала, что у Нади были трения с другими религиозными женщинами из-за дружбы с тобой, неверующей. Надя оправдала все мои ожидания. Жаль, что мы потеряли друг друга из виду. Она так тебя любила, как любят только в лагере, когда нет никого, кроме подруги. Мы много времени проводили вместе, пока она не ушла в барак «монашек», совсем отказавшись от работы.

Чтобы отправить посылку, больше не требовалось специального разрешения. Прежде всего, я послала тебе 20 рублей — деньги, полученные от бабушки. От нас требовали подписываться на заём. Одна коммунистка говорила: «Покупая облигацию, я снова чувствую себя советским человеком. А вы разве не собираетесь подписываться?» «Нет. У меня нет ни малейшего желания чувствовать себя советским человеком. Я пошлю эти деньги дочери». Я ходила в ларёк, рассматривала

продукты и прикидывала, что ты сможешь купить на эти деньги в вашем ларьке.

А как мы с Настей собирали посылку! Я послала тебе тапочки, варежки, ночную рубашку, голубую кофту, перевязанную из старого свитера. Носки и косынка были от Нади. Надя вместе со мной укладывала ящик и гладила вещи: «Майечка будет носить!» Отправив посылку, я думала о каждой вещи: как ты будешь на неё реагировать. Потом ждала ответа. Наконец пришло от тебя письмо. Помню фразу из него: «Меня останавливают в зоне и расспрашивают об этой замечательной посылке». Разве может по силе ощущений что-нибудь сравниться с тем, что мы тогда чувствовали? Меня просили: «Почитайте письмо». Каждую вещь ты упомянула. Кстати, что случилось с голубой кофтой? Кажется, ты её ещё носила после освобождения. А потом она полиняла. Она с самого начала была немного линялой. Я её распустила и использовала, вместе с другими старыми вещами, чтобы связать покрывало для постели. На воле кофта утратила всю свою былую прелесть.

Надя дала мне твои стихи о неверии. Они перекликались с моим собственным настроением. Я их переписала, твердила всё время, но запомнить не могла — со времени одиночки утратила способность заучивать стихи наизусть.

С отцом долго не было никакого контакта. В конце 1954 г. его актировали[48], но деваться ему было некуда — в Москву не пускали. Он оказался в инвалидном доме под Карагандой и примирился со своим положением. Но я не примирилась — тут же стала хлопотать, чтобы кто-нибудь из родных, живших в провинции, взял его к себе. Вся переписка с отцом в первое время была сосредоточена на этой теме. А потом он писал об интересных людях, встреченных за прошедшие годы, о прочитанных книгах. Часть наших инвалидов из Мордовских лагерей тоже актировали, и некоторые из них попали в тот же инвалидный дом в Казахстане, что и отец. Они рассказали ему обо мне. Письма от него стали приходить очень часто, и все они сохранились.[49]

Всё чаще стали освобождать заключённых, подавших заявление о пересмотр дела. Бабушка хлопотала за меня, добилась приёма у прокурора, и он ей сказал: «Ваша дочь не пишет жалобы, значит — виновата». Бабушка умоляла меня просить о пересмотре дела. Но я не стремилась на волю, пока ты сидела. И вообще не хотела обращаться к *ним* ни с какой просьбой. И так-таки ни разу не обратилась. Никто в лагере не понимал такой позиции, но я не могла иначе.

…В лагере я была связана со многими людьми. Мария

Ивановна, о которой я сейчас расскажу — из тех, кого я близко знала, кто читал мне свои письма, рассказывал своё дело. Это у неё сияли глаза, когда я стояла у вахты, чтобы встретить своих друзей, первой сообщить новость о Сталине. С очень славянским лицом, красивая, видная, как изображают русских красавиц. Лет сорока, кажется, из Курска, и фамилия какая-то очень русская. Умная, хорошая женщина. Она любила со мной говорить, а я любила её слушать. Сидела она за оккупацию. Муж, офицер, был на фронте. Она осталась с двумя детьми и работала в управе — там же, где и раньше — регистрировала смерти, рождения. Никаких других «преступлений» не совершала. Но после освобождения её арестовали и обвинили в том, что она работала на немцев. Приехал муж, майор, член партии. Раньше, до войны, они были благополучной советской семьёй. Судили открытым судом, со свидетелями, при большом стечении народа. Когда мужу задали какой-то вопрос о жене, он возразил: «Она *была* моей женой, теперь она — враг народа». Не помню, сколько ей дали. Сестру тоже арестовали и дали 5 лет — только за то, что от неё не отказалась. Дети, шести и восьми лет, остались у старухи-матери. Мать в редких письмах писала, что муж, хотя и платит детям, но страшно их против неё настраивает, внушает им, чтобы забыли, что была у них мать, чтобы ей не писали. Так она и жила — одно письмо хуже другого, посылок не получала. А была такая любовь, такая семья. Сама она считала, что ни в чём не виновата — их бросили все — и советская власть, и армия, предоставив умирать вместе с детьми. Десятки миллионов должны были лечь и умереть. А она не хотела умирать, и детей сохранила. Немцев она ненавидела за все несчастья, никогда не имела с ними никаких контактов, ждала конца войны, и всё. Беспокоилась, вернётся ли муж, выживут ли дети.

Но вот, что было дальше. Во-первых, освободили сестру, и она оказалась дома. Мария Ивановна была счастлива — ведь сестру схватили из-за неё. Та писала, что муж стал их навещать, взял детей, что он её любит, не женился. А она — ни за что! Ведь он не делал никаких попыток с ней встретиться после её ареста, поговорить, помочь, что-то выяснить. Ещё до суда официально от неё отказался и тут же, автоматически, получил развод. И как себя вёл потом! Но сестра в письмах всё подбиралась к этой теме. «Знаешь, какое было время. Он бы только сам напрасно погиб. А так — он смог помогать детям». Мария Ивановна говорила: «До чего может дойти человек!» Она бы, конечно, так не поступила. Она просто поняла, какой он ничтожный, жалкий человек. Её освободили в 1955 году по пересмотру дела. И под конец я ей тоже сказала: «Ладно — выйдете, может, ещё будет у вас с ним

жизнь». Вот она была из тех, кого лагерь и всё, через что она прошла, сделали больше, крупнее. Мы обменялись письмами, но слишком много было у каждого своего.

«За войну» сидела и молодая, красивая двадцатипятилетница Валя. К нам она прибыла ещё в 1952 году. Учительница, комсомолка, жила районном городишке, где-то на границе с Украиной. Во время войны была в парашютных войсках. Году в 44-м её сбросили в тыл к немцам, и она попала в плен. Оказалась в лагере для военнопленных, в очень тяжёлых условиях. Надежды выжить очень мало. Лагерь стал посещать какой-то русский эмигрант, уговаривать советских военнопленных пойти в немецкую разведывательную школу, где он сам работал. Приближался конец войны, наши наступали, уже бомбили Берлин. И он их убеждал, что воевать им не придётся, что за шесть месяцев, пока они будут в этой школе, война кончится. Они были хорошими комсомольцами, но решили, что тут — верная смерть, и согласились. Привезли куда-то под Берлин. И однажды бомба попала в эту школу, и они разбежались. И были уверены, что все документы пропали. После войны они поддерживали связь друг с другом и знали, что ничего ни с кем не случилось. Но она говорит, что никогда не была спокойна. Она тихо-тихо жила в этом самом районном городишке, вышла замуж за бывшего военного, майора, муж её очень любил. Родила ребёнка. И чем больше проходило времени, тем больше она успокаивалась. Мужу рассказать о своём прошлом она боялась, и так и не рассказала. И уже в 1952 году, когда столько времени прошло после войны, её арестовали, оторвали от ребёнка, от мужа. Правда, то же самое могло с ней случиться и безо всякой школы, а просто «за плен», но тогда, наверное, ей дали бы 10 лет. «Ни за что 10 лет дают!»

На 10-м лагпункте я сблизилась с Екатериной Борисовной Матусис. Впервые я услышала имя её дочери Ирины в камере на Лубянке от недавно арестованной девушки. Во время войны эта девушка преподавала в техникуме во Владивостоке английский язык. Однажды на пляже познакомилась с американцами, сотрудниками военной миссии, которые пригласили её на «файв-о-клок». При этом присутствовали русские служащие консульства и миссии. Может, и была среди них Ирина Матусис, но та девушка этого не знала. Она продолжала работать в техникуме, стала заведующей кафедрой английского языка. И вдруг в 1948 году её арестовали. Из Владивостока в Москву везли одну, персонально, в сопровождении двух охранников в купе международного вагона. Поезд шёл десять дней, и никто в вагоне не знал, не заметил, что она арестована. Везли государственного преступника! Доставили на Лубянку, и, как обычно: «Шпионка,

признавайтесь в своих преступлениях». Ей не в чем было признаваться, и тогда ей предъявили показания Ирины Матусис о том, что она встретила эту девушку в американской военной миссии. И этого было достаточно, чтобы её, такую незапятнанную, из пролетарской семьи — арестовали. Правда, дали всего 5 лет: это в 48-то году, когда всем подряд давали по 25.

Как я потом узнала, десятки людей сидели по показаниям Ирины Матусис. Брали каждого, кого она называла, каждого, кого она хоть раз встретила в обществе иностранцев. Если удавалось выбить признание в шпионаже — хорошо, тогда давали по 25 лет, а если не удавалось — то 5. Если бы Сталин не умер, то после пяти лет она попала бы в ссылку, и жизнь всё равно была бы кончена, а так — она вышла в 1953 г. по амнистии. Во всех камерах, где я побывала, попадались жертвы Ирины, и везде её проклинали. Та первая встреченная мною девушка ничего об Ирине не знала. Только смутно помнила молодую женщину, прекрасно говорившую по-английски, которая держалась с иностранцами свободно, как своя среди своих. Другие рассказывали, что Ирина вела себя не просто свободно, а вызывающе. Говорила, что ей плевать на Советский Союз, её родина Америка. И всех приводила в ужас своей демонстративной ненавистью к режиму. В тюрьме говорили о ней, как о дьяволе. Поэтому в моей памяти застряло это имя.

И вот, на другой, кажется, день после приезда на 10-й, было воскресенье, хорошая погода и нерабочий день — редкое сочетание, мы гуляли по зоне, и Рахиль Афанасьевна познакомила меня с женщиной постарше меня с очень хорошим и милым лицом и представила: «Это мой друг, Екатерина Борисовна, познакомьтесь». Так было принято у нас — знакомить с лучшими своими друзьями, они же — лучшие люди лагпункта. После первых же слов она спросила: «Вы с Воркуты? Может, слышали что-нибудь об Ирине Матусис?» Я хотела сказать, что Ирина — страшный провокатор, известная стукачка, но что-то меня удержало. Я замялась: «Да, мне знакомо это имя». Вдруг Екатерина Борисовна говорит: «Мне вы можете сказать всё, что знаете. Я — её мать. Вам говорили, конечно, будто она людей выдавала? Я всех о ней спрашиваю, но никто не может сказать, где она, осуждена ли».

Скоро я узнала всю историю Екатерины Борисовны, как и она — мою. Когда-то они с мужем были анархистами в Америке, жили в коммуне — забыла, в каком городе — которая просуществовала с начала века до первой мировой войны. После Октябрьской революции многие анархисты вошли в только что созданную

компартию. Такие люди, как она с мужем, претворяют свои убеждения в действия. И в начале 30-х годов вместе с единственной дочерью Ириной, они приехали в Советский Союз. У Екатерины Борисовны была в Америке большая родня, обыкновенные преуспевающие американцы. Брат её умолял: «Оставьте девочку здесь. Когда устроитесь, можно будет её вам доставить». Напрасно. Приехали втроём в Одессу, возможно, они были оттуда родом. Муж перевёлся из американской компартии в советскую, где-то служил, и, несмотря на тяжёлые материальные условия, они были счастливы. Ирина — темпераментная, увлекающаяся, была горячей комсомолкой, всегда стремилась быть там, где всего труднее. Одно время хотела пойти в армию. В 16 лет занимала высокий пост в комсомоле. До 37-го года они ничего дурного в Советском Союзе не замечали: репрессии по отношению к буржуазии и кулакам их не смущали. Наконец, очередь дошла до своих. Взяли бывшего американца, преданнейшего коммуниста, которого они хорошо знали. Ошибка. Бывает. Выпустят. Но не только не выпустили, но взяли ещё кого-то из друзей. Отца стали тягать «за связь с врагами народа», исключили из партии, уволили с работы. Он уже ждал ареста. Дочка никогда ничего не делала наполовину — она выросла в Америке, была непуганной, и здесь до сих пор находилась на особом положении. Поэтому, когда отца исключили из партии, она разорвала и бросила на собрании свой комсомольский билет. Началась война, семья уехала в Архангельск. Для бесчисленных американских и английских миссий понадобились люди, знающие языки. Ирина стала работать в одной из миссий. Зная, что каждый, рождённый в Америке, никогда не теряет американского гражданства, она считала себя американкой. Из Архангельска попала во Владивосток, жила там с американским военным атташе. Екатерина Борисовна боялась за дочь и благодарила Бога, что муж умер в начале войны: они с дочерью очень любили друг друга. Ведь именно из-за отца Ирина прежде всего оскорбилась, потому что считала его святым человеком.

Всю войну Ирину не сажали. Она практически жила в консульстве. Про неё, конечно, знали, но терпели — во время войны многое терпели. Она переехала в Москву, жила в посольстве или в одном из этих домов, среди американцев, работала у кого-то из них секретарём, не имела уже ничего общего с советской жизнью, никуда не выходила одна. На таком положении, как американские жёны, которые годами так жили. Схватить её удалось только в 1947 году. Что с ней делали на следствии — неизвестно, ни один человек её не видел, кроме как

на очных ставках. Тогда от неё слышали одно: «Да, в таком-то году я видела такого-то или такую-то в обществе иностранцев». Так она сказала и о девушке, которую я встретила на Лубянке, прибавив, что та стояла у окна и разговаривала с военным атташе. «О чём говорили — не знаю, при этом играло радио». Следователи сами делали вывод, что девушка сообщала собеседнику «шпионские сведения». И радио, дескать, включили специально для того, чтобы заглушить разговор.

Узнав Екатерину Борисовну ближе, я убедилась, что такого прекрасного человека, как она, я в жизни не встречала. Доброта, которую она проявляла к людям, была исключительной. Достоинство, с которым она держалась, стойкость, с которой переносила своё горе — трудно себе представить. Никогда не жаловалась, а только всех ободряла, как будто у неё самой не было никаких забот. Она была еврейкой, но ни один человек не сказал о ней худого слова.

Только с одной просьбой она многократно и тщетно обращалась к властям: сообщить о судьбе дочери. Наконец, уже в период либерализации, получила ответ: «Ваша дочь умерла в заключении во время следствия в 1949 году». Сослались на какую-то болезнь. Неизвестно, расстреляли её или запытали. У Екатерины Борисовны было 10 лет сроку. Сидела за дочь, никакого собственного обвинения ей не предъявляли. Весь срок она не поддерживала ни с кем на воле никакой связи, не получала ни писем, ни посылок. В последние годы можно было списаться даже с американскими родственникам, но она не хотела, чтобы близкие знали о её судьбе, не хотела признаваться в полном крахе всего, чем жила когда-то. Пусть лучше думают, что они погибли, как многие во время войны. В Одессе жила её подруга, которая была ей ближе родной сестры. Но Екатерина Борисовна из гордости и ей не писала. Сидела у нас одна одесситка. Когда она освобождалась, я попросила её связаться на воле с подругой Екатерины Борисовны, рассказать о ней и дать наш адрес. И вот в 1955 году приходит почта и объявляют, что Екатерине Борисовне есть письмо. Она не поверила: «Это ошибка». Оказалось — письмо от её подруги. И такое нежное! Подруга писала: «Как ты могла причинить мне такое горе! Ведь я считала, что тебя нет в живых. Все эти годы я могла бы тебе помогать». Из другого письма: «После освобождения ты будешь жить у меня». Ещё несколько писем послала. И потрясающие посылки. Но, освободившись и навестив подругу, Екатерина Борисовна решила поселиться в инвалидном доме в Потьме. По дороге из Одессы в инвалидный дом заехала ко мне. У меня с обитателями этого дома, особенно с ней, связь была до 1961 года,

а потом пропала. Возможно, у неё есть родня в Израиле.

Она мне много рассказывала о своей дочери — какая это была девочка, как росла. И повторяла: «Не могла моя дочь предавать людей». Возможно, Ирина, измученная следствием, решила: нечего покрывать советских граждан перед их МГБ. Ведь 90 % людей, на которых она показывала, были связаны с органами. И если разобраться — какие она давала показания? Поклёпов не возводила. Разбирайтесь, дескать, сами, все вы одинаковые!

Сравнивая положение Екатерины Борисовны со своим, я думала: никогда не бывает так плохо человеку, чтобы кому-то не могло быть ещё хуже. У моей дочери 25 лет сроку, но совесть чиста. А для матери нет страшнее беды, чем несчастье её ребёнка, связанное с позором.

…Бывшей американкой была и Фанни Лейб, которую родители привезли в Советский Союз в восемнадцатилетнем возрасте. Обычная история — простые рабочие, коммунисты, работали на революцию. В 20-е годы в их доме из 6-ти комнат всегда околачивались друзья-коммунисты, семью содержала мать, у которой была редкая профессия — она занималась художественной штопкой. В Москве им дали одну комнату. Мать наладила в Советском Союзе новое ремесло. Отец умер во время войны, он с трудом переносил советские порядки. Страдал, переживал и хорошо, что не дожил до ареста Фанни. Следователь на допросах твердил: «Признавайтесь, что хотели вернуться в Америку». «Что значит — хотела? Какие были возможности? Что это за обвинение?» Дали 10 лет.

Когда мы разговорились, я сказала Фанни, что у нас, наверное, есть общие знакомые, и назвала Асю, тоже бывшую американку, которая до сих пор живёт в Москве. Оказалось, что Ася — её старый друг. Фанни была талантливым физиком, работала в Академии наук, но её уволили как еврейку и никуда не принимали. Ася помогла ей достать переводы. Я говорю: «А ведь вы могли мою дочь встретить у Аси. После моего ареста она часто бывала в этой семье». «Нет, к сожалению, не встречала». И только через несколько дней вспомнила: «Так я же видела вашу дочь! Она лежала на диване и читала». Когда Фани вскоре опять пришла в эту семью, Ася с ужасом сообщила, что ту девочку, которую Фанни недавно у них встретила, на днях посадили. Фанни много о тебе слышала в лагере от твоих одноделок, но никак не связывала с той девочкой на диване.

Она пробыла у нас всего несколько месяцев и освободилась. Потом мы дружили на воле. Старший брат Фанни остался в Америке. В 1959 году приезжал в Москву туристом, навестил

родню и сказал: «Если для построения коммунизма надо жить в одной комнате, то пусть это делают другие, а не я». Что не мешало ему оставаться коммунистом в Америке и не одобрять антисоветских высказываний сестры.

Как-то Фанни встретилась с Биллом Вайнштейном, старым коммунистом, членом ЦК американской компартии, который до сих пор регулярно наезжает в Москву. Он знал Фанни в Америке, казалось бы — уж ей-то он поверит. Но стоило в разговоре коснуться неприятных тем, например, когда Фанни вспоминала о своём аресте — он смотрел на неё отсутствующим взглядом, совсем, как когда-то английский коммунист Джордж Харди в разговор со мной. Фанни спросила Вайнштейна, на какие средства он живёт. «Получаю пенсию». А этот человек с двадцатилетнего возраста был платным партийным работником. «Американское правительство платит вам за то, что вы всю жизнь работали для партии?» Он возмутился: «Мне платит народ!» Тут она расхохоталась: «Понятно: нам, советским гражданам, всё даёт наше правительство и ЦК партии — и обучает нас, и лечит, и пенсию платит. Из своего кармана, по доброте. А вам — народ платит!» В общем, сволочи они, иностранные коммунисты.

В Израиле, в кибуце, у Фанни есть родственники, семья двоюродного брата, племянника её матери, не помню их фамилии. Они спаслись из Польши, из гетто. Я читала их письма. Уверена, что она давно была бы здесь, но она умерла через несколько лет после освобождения.

На этом же 10-м лагпункте я познакомилась с Гертой, дочерью старого финского коммуниста, арестованного в 37-м году. Тогда же арестовали брата её отца, тоже коммуниста. Когда пришли за третьим братом, он находился в командировке. Вернувшись через несколько дней, узнал от жены, что за ним приходили. И даже не передохнув с дороги, отправился в органы, и больше его не видели. И никому из семьи не пришло в голову, что можно себя вести иначе с советской властью. Приговор всем братьям был: 10 лет без права переписки. Герте было 16 лет. Она ездила по каким-то смутным слухам в Сибирь, искала отца. Безрезультатно.

Летом 1941 года Герта с матерью и младшим братом оказались в Гатчине, под Ленинградом, где она работала в музее искусствоведом. Пришли немцы. Кстати, всё, что было взорвано и уничтожено в Гатчине — дело рук русских, а не немцев. Был приказ: ничего не оставлять врагу. Когда немцы стали угонять молодёжь в Германию, они списались со своими финскими родственниками, и вместо Германии им удалось всей семьёй выехать в Финляндию. Герта прекрасно знала языки, отправилась

в Швецию, где работала переводчицей в одной из популярных газет. Полюбила молодого юриста, владельца фирмы, в газете уже сообщили об их помолвке.

Кончилась война, в Финляндию пришли советские войска. Мать писала Герте в Швецию, что ведут они себя в стране, как хозяева. Обнаружили всех бывших советских граждан. Впрочем, очень вежливы, относятся к ним, как к соотечественникам, приглашают братишку в гости в военные части. Мальчик в полном восторге. Регулярно наведывается советский офицер и уговаривает вернуться в Советский Союз: «Родина вас ждёт!» Убеждает её, что «10 лет без права переписки» — это действительно 10 лет сроку, а ведь прошло уже 8. Герта отвечала матери: «Ты же их знаешь. Они всё врут. Отец погиб, с этим надо примириться. Вернуться в Советский Союз будет напрасной жертвой». Мать писала: «Может, и вправду его нет в живых, но мы этого точно знать не можем. Будешь ли ты счастлива, думая, что отец, старый и больной, выйдет из лагеря и нас не застанет?» И Герта, уже получив свои 25 лет сроку, говорила мне: «Положение было безвыходное. Я бы всю жизнь мучилась, представляя, какой ценой купила своё счастье». Жених уговаривал её не возвращаться. Но под влиянием матери и своих собственных чувств, она однажды взяла билет, написала ему записку: «Не ищи меня, я не могу иначе, возвращаюсь», — и ушла. Она знала, что расстаётся с ним навсегда. И кончилась вся эта жизнь — такая интересная и лёгкая.

Приехала в Финляндию, там формировался поезд. С речами, цветами и музыкой довезли до советской границы, и, как по волшебству, всё изменилось: сразу же отобрали тех, кто сотрудничал с немцами, остальных отправили в фильтрационный лагерь. Там продержали некоторое время, и Герта видела, как то одного, то другого берут, и тут даже мать с братишкой приуныли. Но на этот раз всё для них обошлось благополучно. Их отпустили — правда, не в Ленинград, а в Гатчину, где у них была дача. Время от времени Герта слышала об арестах тех, с кем они были вместе в лагере, и чувствовала себя очень неуверенно.

Прошёл год. Герта — удивительно трезвый, практичный и рассудительный человек. Сначала страдала по своему жениху, наконец поняла: с прошлым покончено, надо устраивать свою жизнь с тем, что есть. Предстоит жить в этой стране. И поддерживать старую мать и братишку. Значит, надо постараться выйти замуж, родить детей, получить учёную степень. Поступила в аспирантуру и стала искать подходящего мужа. Шёл 46-й год, жилось весело, возвращались из оккупированных стран военные. И вот на одном из вечеров в университете она заметила молодого

лётчика. Не очень майор был интеллигентен, зато красив, обаятелен, вся грудь в орденах. И чувствовалась в нём большая душевная чистота. Герта сразу решила: он должен быть моим. И очень быстро его очаровала. Да и сама к нему привязалась. Но когда он сделал предложение, ей стало его жалко. Она считала себя обречённой, а это значило, что, связав с ней свою жизнь, он тоже погибнет. Во всяком случае, погибнет его карьера. Она ему всё рассказала, объяснила, что на ней — пятно, её прошлое, которое может и ему всю жизнь искорёжить. Но, как и многие в Советском Союзе в первый год после войны, он чувствовал себя хозяином страны. Ведь такие, как он, выиграли войну. Отношение Герты к Советской власти его мало беспокоило. Ясно, что если отца забрали — безобразие какое! — Как она может относиться иначе? Он-то, конечно, был членом партии, из рабочей семьи, с безупречной биографией. А то, что она работала в газете — так не в гестапо же! И в Германии не была. «Да если бы и в Германии, что с того?» И они поженились.

Он стал начальником военно-воздушных сил округа, куда входил Тарту. Герта продолжала там учиться. Она ведь и эстонский язык знала. Родила дочку, и он говорил: «Вот всё моё счастье: жена и дочь. Для вас я живу. Никому вас не отдам». А однажды высказался ужасно, и она об этом рассказала стукачке: «Если дойдёт дело — Алёнушку под мышку, и — любой самолёт. Швеция близко». И стукачка поимела совесть. Алёнушке было полтора года, и они уже «завязали» второго ребёнка — Володьку. Герта начала понемногу успокаиваться. Кончила аспирантуру и поехала в Ленинград защищать диссертацию. Оппоненты заняли места, она вышла на кафедру, и в этот момент: «Извините, можно вас на минуточку?» В кабинете ректора её ждали: «Пожалуйте с нами». Привезли в Большой дом, и тут началось. В Ленинграде в это время «физические меры воздействия» очень даже применялись. Выбили из неё Володьку. И продолжали таскать на допросы. Собственно, от неё не требовали никаких признаний в шпионаже. Шпионажем для *них* было уже то, что она переводила немецкие сводки для шведской газеты. За всё, что появилось в газете антисоветского, она несла ответственность. Били просто так — может, ещё что-нибудь расскажет. После суда дали свидание. Мог прийти только один человек, и мать уступила это право мужу.

Командование требовало, чтобы он от неё отказался. Ему говорили: «К тебе мы ничего не имеем: понятное дело: авантюристка, шпионка окрутила простого советского парня». Он отвечал: «Она не шпионка». «Как ты можешь знать?» «Я про свою жену всё знаю». «Как ты можешь верить шпионке?» «Она не

шпионка. Она моя жена». Его долго уговаривали, ничего не добились. Демобилизовали, лишили всех чинов, и он пошёл работать гражданским лётчиком на трассу Якутск-Новосибирск. Зарабатывал хорошо.

А свидание прошло так. Он стоял в кабинете следователя, смотрел в окно и ждал. Открылась дверь, её ввели, он скользнул взглядом и спросил надзирательницу: «Когда же приведут мою жену?» Герта к нему бросилась: «Миша, ты не узнал меня?» Он отшатнулся: Вид у неё был ужасный. Она из тех женщин, которые хорошо выглядят, если ухожены. А тут — волосы заплетены в две жалкие косицы, сама сгорбленная. Потом он овладел собой. Свидание было коротким. Она успела ему сказать: «Миша, я от тебя ничего не скрыла». Он ответил: «Я тебе верю. Как Володька?» «Володьки не будет». Так они расстались.

Мать взяла ребёнка, уехала в Алма-Ату к старшей дочери. Муж посылал матери много денег на ребёнка и посылки Герте. Посылки спасли ей жизнь: была она очень болезненной и откупалась посылками от работы. Однажды показала мне письмо от сестры: «Миша — это какая-то Пенелопа в штанах. Весь год работает, а каждый отпуск проводит с нами.» Это было уже на восьмом году её заключения.

В последнее время она, в основном, лежала в Центральной больнице. В 1955 её сактировали по инвалидности и освободили. Она уехала с мужем на несколько месяцев в Крым. Оттуда посылала мне фотографии, писала, как счастлива с Мишей, какой он замечательный человек. Она решила родить ему второго ребёнка, хотя врачи очень не советовали. В общем — полное счастье. Увиделись мы снова в 1961 году в эстонском городе Пярну, где я жила летом с внуком, и отпраздновали наше освобождение. Там, в Пярну, Миша встретил товарища, с которым начинал службу. Товарищ за эти годы стал генералом. Миша описывал нам, как тот живёт. Я говорю: «Вот какую цену вы заплатили за свою жену». «Не считаю, что заплатил слишком дорого». «Но на что вы рассчитывали? О чём думали, когда узнали, что ей дали 25 лет?» «Ни о чём не думал. Ведь она — моя жена. А жена — это навеки, навсегда». «И вы бы ждали её 25 лет?» «А как же иначе?».

Реабилитировали её через много лет. Но не нужна ей была реабилитация. Она не работала: он всегда прокормит. И за ребёнком маленьким он ухаживал. Но почему-то некоторых людей жизнь бьёт непрерывно. Хорошо, что у них родилась вторая дочь. Старшая заболела раком и умерла. А он, такой всегда здоровый человек, в 50 лет перенёс тяжёлый инсульт и после него не оправился. Пришлось ей пойти работать. Очень

тяжело ей теперь живётся. Но когда они в последний раз приезжали ко мне в Москву, она рассказала, как они отметили окончание её 25-летнего срока. Уже после инсульта, уже не тот, что прежде, он ей сказал: «Сейчас бы я стоял у вахты лагеря и ждал свою старушку». Он бы дождался, но она наверняка бы не выдержала.

…Режим всё больше смягчался. Разрешили носить свою, неказённую одежду. Чувствовалось, что разваливается лагерная система. Некоторые проявляли ужасное нетерпение. Я по-прежнему не ждала воли. Я ждала только писем и свиданий.

Ко мне на проверке подошёл надзиратель и сказал доброжелательным тоном: «Приоденьтесь-ка. Есть у вас, во что? К вам приехали на свидание». Надзиратели вообще были тогда настроены добродушно. Мне доверительно говорила одна из них: «Кто же пойдёт в лагерь с охотой? Но мы в деревне — голодные и оборванные, а здесь — кормят, обмундирование дают, и можно ещё помочь своим. Не думайте, что все мы злые. Я жалею заключённых и когда дежурю в карцере, всегда стараюсь помочь. Но среди вас, знаете, попадаются такие суки, что могут продать нашего брата». Тогда народу в деревнях жилось немногим лучше, чем нам. Случалось, что вольные подбирали хлеб, когда он у нас оставался.

О самом свидании я рассказывать не могу. Помню, что когда появилась Ирина, все в зоне говорили о том, какая она красавица. А ведь Сусанна была красивее, но женщины этого не замечали. Ирина была для них, как посланница с заманчивой и прекрасной воли.

Наконец, Сусанна уехала на переследствие. То, что я узнавала о вас, находившихся в Москве, волновало больше всего. Вскоре нам написали о докладе Хрущёва на XX съезде.

А потом приехала комиссия — освобождать заключённых. В разных лагерях комиссии работали по-разному. У нас освобождали с формулировкой: «За нецелесообразностью дальнейшего содержания под стражей». В суть дела не вникали и требовали признать свою вину. Освободили сотни заключённых, но кое-кого оставили «за тяжестью преступлений». Среди них — пожилую украинку и молодую литовку из портняжной мастерской. Обе принимали активное участие в партизанской борьбе, у обеих — как они признались — была «кровь на руках». Их отправили в другой лагерь.

Меня вызвали: «Расскажите о своём деле». Я коротко рассказала. «Признаёте ли вы себя виновной?» «Безусловно, нет». «Тогда мы освободить вас не можем. Реабилитировать мы не компетентны. Для реабилитации необходимо переследствие». И

меня оставили.

Не освободили также и одну из моих приятельниц, Ксению Борисовну. Она была дочерью царского генерала, начальника Юго-Западной железной дороги. Отец ушёл с белыми. Семнадцатилетней девушкой она осталась за главу семьи. В 20-х годах вышла замуж за известного украинского националиста Чекаленко, прожила с ним недолго, его арестовали и расстреляли. Можно себе представить, какой была её жизнь. Неудивительно, что она ушла с немцами. Переводила в Германии в каком-то учреждении документы. Там её и взяли. Капица, двоюродный брат Ксении Борисовны, помогал оставшемуся на воле сыну Ксении Борисовны. Сыну было лет 15, когда наши взяли Берлин. Стал большим патриотом, как многие белые, вступил в какую-то часть. Сильно страдал из-за её ареста, писал ей очень редко.

Говорили, что Ксения Борисовна антисемитка. Но вульгарных антисемитских взглядов она никогда не высказывала. Это было дурным тоном, а Ксения Борисовна — человек воспитанный. На этом же лагпункте жила Сара Лазаревна Якир, вдова расстрелянного командарма. Ксения Борисовна знала её по Киеву, где до самого 37-го года та была «первой дамой». Весь антисемитизм Ксении Борисовны, если он и был, возник на почве подобных воспоминаний. До революции она видела евреев, только проезжая в коляске мимо синагоги. Наверное они ей казались кем-то вроде мусорщиков. И вдруг эти мусорщики превратились в хозяев страны, а она — дворянка, дочь генерала — стала парией. И тут, в лагере она, которую все уважали за то, что она умела работать и держалась с достоинством — при отсутствии посылок, — убедилась, каким ничтожеством оказалась «первая дама». Встречая любого начальника, Сара Лазаревна подобострастно кланялась: «Здравствуйте, гражданин начальник!» Ладно, оставим в покое Сару Лазаревну, она умерла, бедняга. И достаточно в жизни настрадалась.

Письма из Москвы меня совершенно подготовили к твоему освобождению. Получив 25 апреля телеграмму, что ты вышла из тюрьмы, я стала тебя ждать. Ведь Москва так близко от Потьмы. А ты не едешь. Промежуток времени до 1 мая, когда ты, наконец, приехала, показался мне ужасным.

Свидание наше было для меня тяжёлым переживанием. Не могу я об этом говорить. Я тебя не узнала. Лучше бы ты надела в дорогу лагерную телогрейку. В незнакомом длинном пальто ты показалась мне чужой.

Под конец нас осталось человек тридцать. Зону ликвидировали, а нас поселили в помещении конторы.

Освободили меня без реабилитации. Вместо «измены родине» дали статью: «разглашение служебной тайны». Ещё несколько дней манежили в Потьме. Там же выдали паспорт.

Я ехала поездом в Москву и смотрела на вольных с отчуждением. Обратила внимание, что люди очень ярко одеты. При виде военного или милиционера хотелось держаться подальше. А с друзьями всё было просто. Я ни на кого не была в обиде. Все они вели себя достойно во время моего следствия. Правда, они не писали мне в лагерь писем, ну и что же? И я ведь не писала своим друзьям, арестованным в тридцать седьмом году.

Как я встретилась с вами, как вошла в дом — об этом говорить трудно. Как будто внутри что-то обрывается.

Рассказ дочери

Дело Слуцкого, Фурмана, Гуревича и др

I

Мне было 15 лет, когда арестовали мать. 21 февраля 1948 года я пришла вечером из библиотеки и разглядывала, лёжа на диване, атлас звёздного неба. Вдруг обратила внимание на то, что отец сидит в неудобной позе на стуле. Спросила: «А где мама?» «Боюсь, что маму арестовали», — ответил он тихо.

С обыском пришли на следующую ночь, перевернули всё вверх дном в квартире. Перевернули всю жизнь. Ещё долго я не хотела этого понимать, жила прежними детскими интересами, беспокоилась об отметках в школе, ходила на каток. Но арест матери висел над душой, как туча.

До этого дня я совсем не задумывалась над вопросами, которые вдруг, в один день, приобрели огромное значение. В справедливости нашего строя я нисколько не сомневалась. В 37-м году мне было только 5 лет. Того, чем жили тогда и позже мои родители, я не заметила, а они никогда не вели с нами, детьми, политических разговоров — боялись, что мы случайно проболтаемся о том, что слышали дома. Умышленно не учили нас английскому языку, чтобы свободно говорить между собой.

Я любила песни, которые пели родители с нашими гостями. В песнях звучала романтика революции и гибели за счастье народа, как и в рассказах отца о подполье, ссылке, о побеге за границу, о Гражданской войне. Какова была в Советском Союзе реальная жизнь народа, я знала плохо, только смутно помнила нищую сибирскую деревню, где провела два года в эвакуации во время войны.

Правда, в нашем доме никогда не говорили с энтузиазмом о Сталине. Однажды мать была поражена, когда я поделилась с ней сомнением: кого следует больше любить — Сталина или родителей. Но она только грустно покачала головой.

Помню, я увидела фотографию незнакомого мне человека, и мать сказала, что это — старый друг семьи, которого много лет назад арестовали. Перед арестом он спросил сына, как бы тот реагировал, если бы его объявили врагом народа. Сын ответил, что убил бы отца своими руками. Мать спросила: «А как бы реагировала ты, если бы тебе сказали о нас такое?» «Я бы не поверила». На этом разговор окончился. Я не спросила, за что арестовали их друга. Я чувствовала, что мать не хочет распространяться на эту тему.

Я считала своих родителей образцом чести, бесстрашия, нравственной высоты. Мы, дети, не были с ними особенно близки. Мы редко их видели, они жили своими интересами, читали не те книги, которыми увлекалась я. Но когда пришлось, я безо всякой внутренней борьбы признала, что правота на их стороне. Помню разговор со следователем на одном из первых допросов. Услышав от меня, что арест родителей сыграл решающую роль в формировании моих «антисоветских убеждений», он возмутился: «Ваша мать ненавидела советскую власть». «Если это правда, то так и надо советской власти». Следователь задохнулся от злости и послал меня в карцер за грубость. Но я не собиралась грубить. До тех пор я думала, что родители арестованы невинно, но если это не так, что ж — всё равно: мои родители плохого не сделают!

После ареста матери отец поговорил со мной серьёзно. Он выложил всё, что думал о нашей действительности, и прибавил: «Я знаю, что и ты будешь сидеть. Но никогда не примиряйся с несправедливостью».

Весь следующий год прошёл в ожидании его ареста. Внешне он был спокоен, но его угнетало собственное бессилие. Сам стыдясь своего поступка, он написал Сталину письмо, напомнил, что был с ним вместе в ссылке, и ручался за мать, которую знал пятнадцатилетней. Письмо, естественно, осталось без ответа и было потом подшито к его делу. Он не знал, за что арестована мать, за что его должны посадить, но в неизбежности ареста был уверен. Это случилось через год, 3 марта 1949 года.

Во время обыска — второго, но не последнего в моей жизни, производивший обыск сотрудник МГБ на моих глазах положил себе в карман деньги, которые отец хранил на случай своего ареста, чтобы я не осталась сразу же без копейки. Когда я сказала эмгебешнику: «В этой сумке были деньги», — он заявил, что это ложь, и что в случае чего поверят ему, офицеру МГБ, а не мне, дочери репрессированных. Я имела нескромность во время своего следствия рассказать об этом эпизоде следователю, и он смущённо промолчал.

Я осталась одна. Младшая сестра жила у бабушки на Украине. Меня не интересовало, построен ли в Советском Союзе социализм. Я знала только, что моих близких постигло большое несчастье и что это — обычное явление.

Тяжело было видеть страх взрослых людей, родителей моих школьных подруг, которые запрещали дочерям дружить со мной, хотя и жалели меня и внесли причитавшуюся с меня плату в школу за выпускной вечер. Подруги не слушались, но и меня мало устраивала их дружба, они мне стали чужими, и чужим стал мир окружавших меня благополучных людей. Говорить со мной о

случившемся избегали.

Я кончила школу. Надо было идти работать, но я не знала, как люди ищут работу. Всё, что было ценного в доме, конфисковали, кроме пианино, которое отец после ареста матери, ещё до обыска, отвёз к знакомым. Я продала пианино и на вырученные деньги жила. Друзья нашей семьи мне помогали, хотя сами боялись ареста — их вызывали на допросы в МГБ, расспрашивали о моих родителях, вполне могли посадить. А одна старая приятельница, к которой я пришла после ареста отца, была так напугана, что попросила к ним не приходить.

Я страдала от одиночества и даже, по молодости, немного им упивалась. Мне доставляло горькое удовольствие встретить Новый год, читая «Историю царской тюрьмы» М.Н.Гернета.

Я решила, как все мои подруги, поступить в институт. Мне не советовали скрывать, что мои родители сидят, я и не скрывала. Поэтому в одном, и в другом институте у меня даже не приняли документы, откровенно объяснив причину, а в третьем засыпали на первом же экзамене. Удалось поступить только в непопулярный Институт пищевой промышленности, тогдашнее прибежище евреев и детей арестованных, которых больше никуда не принимали. Там я сразу подружилась со своей сокурсницей Тамарой Рабинович, отец которой погиб в 37-м году, а мать с тех пор сидела. Старшая сестра, которая её вырастила, заболела болезнью Паркинсона и была совершенно беспомощна. Мы с Тамарой обратили внимание на нашего однокурсника Женю Гуревича, который, кроме нашего института, заочно учился на философском факультете Московского университета. На дневное отделение университета евреев не брали. Женя был невысокий, худенький, красивый мальчик с живыми насмешливыми глазами. Он поразил нас своей эрудицией и, конечно, покорил наши сердца.

О философии мы с Тамарой не имели понятия, но с увлечением слушали рассказы Жени о том, какая это интересная и важная наука, и с восторгом согласились, когда он предложил организовать философский кружок. К первому занятию, которое состоялось у меня дома, мы прочли «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида, «Государство и революция» Ленина и 4-ю главу «Краткого курса истории ВКП(б)» с изложением основ марксистской философии. Женя привёл своего друга, Владика Мельникова.

В самом деле, философия оказалась интересной наукой, потому что разговор наш, в основном, шёл об арестах, тюрьмах и тяжёлом положении народа. Сталин, которого Женя непочтительно называл «дядя Джо», вовсе, оказывается, не

великий человек (мне и отец об этом говорил), то ли дело Ленин! Наконец, я спросила: «Как же с этой несправедливостью бороться?» И Женя загадочно ответил, что бороться можно, что есть люди, которые на всё готовы. Разошлись поздно.

Я была взволнована: конец моему одиночеству, я встретила людей, которые думают так же, как и я, и среди них такой замечательный человек, как Женя! И когда он на следующий день предложил мне вступить в организацию, которая ставит своей целью борьбу с существующим несправедливым строем, за возврат к ленинским нормам, я без колебания согласилась. Тамара о существовании организации не знала. После встречи у меня она сказала, что у неё — больная сестра, и она не хочет пускаться ни в какие авантюры. И в дальнейшем в наших тайных разговорах не участвовала.

Итак, с конца октября 1950 до 7 февраля 1951 года я считала себя членом «Союза борьбы за дело революции», сокращённо СДР. В перерывах между лекциями мы с Женей вели крамольные разговоры. Раз он пришёл ко мне и прочёл программу организации и «тезисы». Другой раз я пришла к нему, и он прочёл «манифест». Содержание этих документов, написанных очень наукообразно, я никак не могла вспомнить на следствии, не помню и теперь. Говорилось там о перерождении социализма в государственный капитализм, о том, что власть Сталина — бонапартизм, и о том, что колхозы надо повсеместно заменить совхозами, чтобы крестьяне получали зарплату, как рабочие.

Следователь на допросах говорил, что наша программа троцкистская. Я не возражала, потому что ничего не знала о троцкизме, кроме того, что Троцкий — «враг народа», чему заведомо не верила, и ещё, что в книге Джона Рида о нём говорилось с уважением.

Я ликовала, что буду делать с хорошими людьми общее дело, мне непонятен был сарказм, с каким ещё в прошлом веке говорили про «пресловутое общее дело». Конечно, нас посадят, и мысль о тюрьме меня привлекала, потому что письма, которые я получала от родителей лагеря, разрывали сердце. Мать бодро писала с Воркуты о красоте северного сияния, о том, как ей повезло, что она сломала ногу и лежит в стационаре. Отец с рудника Джезказган писал тоже слишком бодрые письма. Невыносимо было их письма читать и хотелось быть там, где они. А иногда — страшно признаться — хотелось забыть об их существовании.

И ещё произошло событие. Когда отец находился под следствием, а мать ехала в лагерь, нам с бабушкой разрешили свидание с матерью на вологодской пересылке. Я со страхом

ехала на свидание, боясь, что мать очень изменилась — я её не видела больше года. На воле она красила волосы, а теперь должна быть совсем седой. Слава Богу, я тогда не знала, как мучили её на следствии, как довели до сумасшествия бессонными ночами. Но увидев мать, я не нашла в ней больших перемен. Только смотрела она невыносимо-тоскливым взглядом. И ещё поразило меня, как грубо с ней разговаривала присутствовавшая на свидании надзирательница и то, что мать этой грубости не замечала. Она сказала, утешая меня: «В тюрьме совсем не так плохо. Если бы ты провела здесь один день, ты бы в этом убедилась». Но тут же прибавила с каким-то ужасом: «Нет, лучше не надо».

Я не предполагала, что приобщусь к судьбе родителей очень скоро. 18 января арестовали Женю, Владика Мельникова и других незнакомых мне ребят, 7-го февраля ночью меня, а 14 апреля — Тамару.

II

Об аресте, отправке в тюрьму, долгой процедуре «приёма» заключённого за всех нас рассказал Солженицын в романе «В круге первом». Я не была такой персоной, как дипломат, герой Солженицына, но испытала то же потрясение от того, что мною, как вещью, распоряжались совершенно ко всему безразличные люди. Я почувствовала, что в первые часы после ареста с человеком происходит радикальная перемена. Он уже не тот, что был раньше. В одной тюремной песне есть слова:

И по привычке, руки взяв назад,
Свои глаза на землю опускаешь.

Такая привычка не вырабатывается постепенно, она приобретается сразу. Конечно внутренне, духовно, человек может оставаться свободным, возвыситься над унижением и презирать мучителей. Но, во всяком случае, такая высота не для 18-ти лет.

Жизнь во время следствия протекает как бы в двух планах: допросы, постепенное знакомство с делом — и знакомство с тюрьмой. Начну со второго.

Одиночка

Больше года — всё время до суда и два месяца после — я

провела, как и большинство моих однодельцев, в одиночной камере Лефортовской тюрьмы. Помещение в одиночку не было мерой наказания. Именно те, кто мало знал по существу дела, сидели одни. В общей камере держали «главных», от которых с помощью стукачей рассчитывали получить дополнительную информацию.

Есть мнение, что в одиночке сидеть лучше, чем в общей камере. Так считал, например, мой отец. Человек с богатым жизненным опытом может, конечно, на досуге обдумывать свою жизнь и решать наболевшие вопросы. Но в молодом возрасте, при недостатке внутренних ресурсов, когда даже вспоминать-то вроде нечего, одиночка — не скажу невыносима, потому что мы все её вынесли, но очень тяжела.

Библиотеки в московских тюрьмах хорошие. Там попадались, между прочим, запрещённые на воле книги, часто с вырезанными портретами и замазанными фамилиями «врагов народа». Но 3-х книг, которые давали на две недели, было недостаточно, и выбирать их по своему желанию не полагалось. Некоторые книги попадались мне по несколько раз, например, роман Горького «Мать». Большой удачей было получить стихи: их можно учить наизусть и тем занять время. Побывал у меня том стихотворений Некрасова. Целым событием был «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского. Я выучила эту поэму наизусть, воображая, как буду в лагере читать её товарищам. Но заключённые не любят стихов о тюрьме. Мне так хотелось получить стихи Пушкина, что я даже решилась попросить их у библиотекаря, такого же безмолвного, как и надзиратели, но он ответил: «Обращайтесь к следователю». Но просить у следователя Пушкина было невозможно.

Итак, прочтёшь по два раза каждую из трёх книг — чем ещё себя занять? Идут часы, дни, и ничего не происходит. Мысль о времени, уходящем впустую, гнетёт рассудок. В лагере наоборот: каждый момент бездействия воспринимается как благо. «Час кантовки — год здоровья», — говорят лагерники. Я ходила по своей просторной камере — 7 шагов вперёд, 7 назад — обдумывала, что скажу следователю на допросе, а чаще сидела на койке, закутавшись в старую бобровую шубу, вяло перебирая в уме свои скудные воспоминания.

Я люблю рассказывать историю нашей шубы. Мать купила её в Америке ещё до моего рождения. Продавец сказал, что это вечный мех. В шубе мать провела год в этой же Лефортовской тюрьме и на Лубянке. На свидании в Вологде она отдала её мне. При аресте я её надела, зная, что оставшиеся вещи конфискуют. При регулярных обысках в тюрьме шубу вспарывали и

прощупывали множество раз, однако, рассматривая её в камере, я обнаружила спрятанные ещё матерью запретные предметы: зубец от гребешка с дырочкой, которым можно было шить вместо иголки, кусок проволоки, булавку. На этапах шубу подстилали, лёжа на полу, ею укрывался, кто хотел (у меня ещё было одеяло). В лагере она была мне не нужна и лежала в каптёрке. Когда режим смягчился, мне разрешили послать её на Украину сестре. Сестра, когда подросла, её носила. После смерти сестры в 1961 году и до отъезда в Израиль носила её я. В Иерусалиме зимой на улице слишком тепло для бобровой шубы, но дома, в часы, когда не топят, приятно её накинуть. Делать из неё коврик, как мы собирались, ещё рано.

Самыми волнующими моментами в тюрьме были вызов к следователю и выдача книг. Кто сидел в Лефортове, помнит стук понемногу приближающейся к камере тележки с книгами. Немаловажным событием был переход летом от кислых щей к зелёным, хотя и зелёные были удивительно невкусные, как и вся тюремная еда, впрочем, достаточная для меня по количеству.

Я не получала передач, хотя на воле оставалось много родственников и знакомых. При аресте при мне было 50 рублей. Часть денег пришлось потратить на покупку новых очков. Остальных хватило, чтобы дважды заказать продукты в ларьке. Когда принесли колбасу, масло и одновременно я получила из библиотеки комедии Аристофана — это был праздник!

В хорошую погоду каждый день водили на прогулку. Прогулочные дворики были залиты асфальтом и огорожены досками, на которых весной проступала смола. Весенние запахи и долетающие издалека звуки музыки кружили голову. Конечно, хотелось подышать свежим воздухом, ведь тюремные запахи — хлорки, кислых щей и испорченной канализации — так опротивели, но постепенно охватывала апатия, пропадало желание выходить из камеры. К тому же, в тюрьме отбирают резинки, пояса, шнурки, обрезают металлические пуговицы, крючки, кнопки. Не обнаружив в себе никаких способностей Робинзона, я не могла справиться со спадающими чулками, и когда снова наступили холода, отказалась гулять. Попав в общую камеру, я поняла, насколько я неизобретательна и безрука. Драгоценный зубец, найденный в шубе, я быстро сломала, а мои сокамерницы не только умели резать хлеб без ножа, обходиться без резинок и шпилек, но они шили и вышивали с помощью спичек и рыбьих костей!

Надзиратели и надзирательницы были молчаливы и бесстрастны. Днём и ночью они через каждые несколько секунд заглядывали в волчок. Запрещалось сидеть, прислонившись к

стене, дремать днём, лепить что-нибудь из хлеба. Не положено было петь. В Лефортове часто гудел какой-то мотор. Ходили легенды, что под шум мотора расстреливают. Как выяснилось позже, рядом с тюрьмой был авиационный институт. Под шум мотора я иногда напевала, думая, что меня не слышат, но надзиратели замечали любое нарушение режима и, открыв кормушку, приглушённо рявкали. Это грубое рявканье стало через несколько месяцев одиночки выводить меня из равновесия, и я заливалась слезами. Раз я спросила у надзирателя: «Какое сегодня число?» Он ответил: «С вопросами обращайтесь к следователю». Непохожим на других был пожилой корпусной, которого запомнила и моя мать. Может, он догадался, увидев меня в Лефортове, что я её дочь — по фамилии и по шубе. Он несколько раз обращался ко мне по-человечески, и взгляд у него был не таким безразличным, как у других. Однажды я купила в ларьке папиросы. Он зашёл в камеру и стал меня уговаривать не курить, а лучше купить на оставшиеся деньги печенье. И мне было неудобно его не послушаться. В другой раз в камере испортился водопровод, и натекла лужа. Надзиратели требовали, чтобы я вытерла пол. Но так как мне сразу стали угрожать карцером, где я уже побывала, я в раздражении и страхе отказывалась выполнить это пустяковое требование. Стычка закончилась бы для меня плачевно, но пришёл пожилой корпусной и своим нормальным, человеческим голосом меня вразумил.

Очень угнетали грязно-зелёные стены и чёрный бетонный пол. На стенах мои предшественники пытались что-то нацарапать, но надписи были тщательно стёрты. Тягостно было даже то, что в камере находились только самые необходимые предметы — и больше ничего. Никогда не думала, что глаз тоскует по необязательным в бытовом отношении вещам! Правда, попав позднее в Бутырскую тюрьму, я оценила немаловажные преимущества Лефортова: умывальник и унитаз вместо обычной параши; с другой стороны, понятия о необходимом в этой военной тюрьме были своеобразными: не выдавалось ни бумаги, ни ваты, при регулярных обысках изымалась любая тряпка. Многое можно сказать на эту тему, но ограничусь наблюдением, что женщине в советских тюрьмах ещё тяжелее сидеть, чем мужчине.

Ближе к концу следствия меня перевели из камеры 87 в соседнюю. Там стояли две кровати. Я решила, что ко мне приведут сокамерницу, долго надеялась и волновалась в ожидании. Но напрасно. Я так и осталась одна.

Окно с матовыми стёклами и впаянной в стекло проволокой

было забрано решёткой, а снаружи доверху забито досками, так что видно было только маленький квадрат неба через фортку, которую утром открывал, а вечером закрывал надзиратель с помощью длинного шеста. Я следила за тенями, которые в солнечный день отбрасывала решётка на пол и на стены камеры, и ощущала с возрастающим безразличием, что жизнь кончена. Мне казалось, что и к нашей жизни подходят слова Шильонского узника:

То было тьма без темноты,
То было бездна пустоты,
Без протяженья и границ,
То были образы без лиц,
То страшный мир какой-то был
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без Промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть, как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжёлой мглой,
Недвижный, мёртвый и немой.

Карцер

В тюрьме каждый сидит на свой лад — в соответствии со своим темпераментом и понятиями. Я была довольно терпеливым арестантом. Мне помогало то, что я не считала себя арестованной напрасно. А тюремные порядки были так безличны, что протестовать против них было не только бесплодно и опасно, но даже казалось как-то неловко, нелепо. И всё-таки я попадала в карцер — три раза в Лефортовской тюрьме и один раз после суда, в Бутырской.

Карцер — страшное место. Даже заурядный карцер — самое умеренное, что существовало в этом роде. На ночь откидывается полка, уснуть нельзя, но можно полежать. В карцере, где сидела одна моя одноделка, такой полки не было, и она по 24 часа в течение трёх суток сидела на треугольной скамейке в углу. Бывали карцеры с крысами, бывали залитые водой по щиколотку. В моём карцере хуже всего был холод. Сняли всё, кроме тонкой блузки и юбки. Пространство тесное, согреться ходьбой нельзя. На стенах иней. Сидела, скрючившись, согревалась только собственным дыханием. 300 граммов хлеба в сутки и две кружки

кипятку. Но от голода начинаешь страдать только на третий день, настолько мучителен холод.

Сидя в карцере, я услышала оживлённый разговор надзирателей, мужчины и женщины. Я попросила надзирательницу вызвать врача: мне нужна была вата. Она ничего не ответила, захлопнула дверь и со смехом рассказала о моей просьбе мужчине. Надзиратель, тоже оживлённо, рассказал, что в 1949 здесь сидел один совсем голый мужик, вот смеху-то было! В другой раз я слышала разговор из-за двери в душе, когда надзиратель просил женщину-надзирательницу дать ему посмотреть в волчок, как я моюсь, но она была неумолима: «Не положено!»

Какое счастье было вернуться из карцера в камеру — к своей шубе, к недоеденному куску хлеба, к книгам!

В первый раз я попала в карцер вскоре после ареста из-за перебранки со следователем; во второй — за то, что машинально нацарапала свою фамилию на столе в кабинете; в третий — за то, что, несмотря на запрет, стирала в камере под умывальником свою единственную блузку.

Меня приводила в ярость мысль, что моя мать могла попасть в карцер. Я только надеялась на то, что человек она сдержанный, и не нарвётся на наказание. Оказалось, что она сидела там за перестукивание. Когда до ареста я думала о тюрьме, то представляла себе, как будет интересно с кем-нибудь перестукиваться. И выучила тюремную азбуку, несложный принцип которой описан в Малой советской энциклопедии. Но, попав в Лефортово, поняла, что не буду даже пытаться перестукиваться. Я боялась толкнуть неизвестного соседа на нарушение режима, боялась и за себя. В моё время перестукивались в тюрьме редко. И пользовались при этом не тюремной азбукой, а алфавитным порядком букв: А — один удар, Б — два удара и т. д. Даже, когда люди ждали ареста, они, как правило, меньше всего думали о перестукивании и тюремную азбуку не учили.

Во второй раз я сидела в карцере в августе, и меня поражала мысль: на улице лето, тепло, а ты дрожишь от холода — кому это нужно? Даже злобы к тебе не чувствуют тюремщики, а просто действуют по инструкции. И как бы научиться смиряться духом, если тело такое жалкое и уязвимое?

В третий раз я попала в карцер в октябре, в день своего рождения. Мне исполнилось 19 лет.

Следствие

Мои первые тюремные сутки прошли на Лубянке, там же состоялся первый допрос перед отправкой в Лефортово.

На Лубянке обычно царит полная тишина, нарушаемая только воркованием голубей. Это непрерывное воркование, о котором с отвращением вспоминают все бывшие заключённые, слышно почему-то во всех тюрьмах.

Но в день моего ареста там не было обычной тишины. Сидя в одном из «боксов» тюремного подвала, я услышала, как кто-то жалобным старческим голосом упрашивает надзирателей вывести его в уборную. Его не выводили. Ещё этот человек просил вернуть костыли, которые у него отобрали. Потом раздались злобные крики: «Сейчас мы тебя мордой ткнём!» И стоны. В соседнем боксе, не переставая, пела женщина:

Вставайте все,
Вставайте, люди доброй воли,
Наш путь один по всей земле,
Наш путь один — к счастливой доле!

Стоны долго сопровождались этим аккомпанементом. Взвинченная до предела, я стала стучать в дверь и кричать: «Прекратите издеваться над человеком!» Тут же ко мне ворвались и пригрозили карцером. Действительно, через несколько минут меня повели, но не в карцер, а на допрос. Следователь начал с того, что возмущённо назвал моё поведение непонятным словом «обструкция». А когда я гордо заявила, что не позволю в моём присутствии издеваться над человеком, он напомнил, что я теперь арестантка, каторжанка, и должна знать своё место. А я находчиво ответила: «И для вашей должности есть обидные названия!» Но мне всё сошло с рук, так как первоочередной задачей следователя было добиться от меня признаний. А вообще, вступаться за товарища — это самый серьёзный проступок в советской тюрьме, и всякое проявление солидарности заключённых каралось беспощадно. В «Правилах поведения заключённых», с которыми я познакомилась на Куйбышевской пересылке, говорилось прямо: «Запрещается подавать коллективные жалобы». Вторая моя попытка вступиться за товарища окончилась для меня ужасно: на меня надели «рубашку». Но об этом ниже.

Следователь потребовал, чтобы я рассказала о своих преступлениях. Естественно, я отпиралась. Но он прочёл показания Жени и предъявил мне его подпись под протоколом, где рассказывалось, как он привлёк меня в организацию. Ничего не оставалось, как подтвердить, что это так и было. Последующие

допросы до самого суда не много добавили нового к моим первым показаниям, однако, следствие тянулось почти год. За это время у меня сменилось четыре следователя: Маркелов, Смелов, Шиловский и Сидоров. Звук отпираемой в камере двери не вызывал у меня ужаса, как у большинства заключённых. Так тяготила меня одиночка, что допрос казался развлечением. К следователю иногда вызывали ночью, так же, как в баню или на прогулку, а днём не давали спать, но допросы бывали нечасто, раз в неделю-две, и я не особенно страдала от недосыпа.

Вначале меня удивляло, что следователь записывает мои ответы очень неточно, употребляя такие выражения, как «злобно клеветала», «преступная деятельность», и т. п. Протоколы с такими оборотами выглядели нелепо, но я не спорила. Только один раз отказалась подписать протокол, в котором следователь написал, что мой брат, «по словам матери, погиб на фронте». Маркелов был недоволен моим упорством, но всё-таки переписал протокол, изменив на просто «погиб на фронте». Кое-какие протоколы мне не следовало подписывать. В одном из них говорилось, что на «формирование моих антисоветских взглядов оказали влияние рассказы отца о его анархистском прошлом». Такого я не говорила, а сказала только, что отец в молодости был анархистом. В моих словах не было ничего, компрометирующего отца, но подписанный мною протокол мог причинить ему много неприятностей, а мне, по неопытности, это и в голову не пришло.

Удивительно недобросовестно записывал мои ответы Смелов. Отношение к следователю — это отдельная тема из области тюремной психологии. Когда ты общаешься только с этими людьми, то поневоле много о них думаешь. Смелов мне казался даже симпатичным и похожим внешне на портрет Жуковского в старости[50]. Он никогда не говорил со мной грубо, а мне это было важнее всего. Он первый меня спросил, не обсуждалась ли на наших «сборищах» возможность совершения террористического акта. Я ответила: «Нет, не обсуждалась. Мы ведь марксисты, а это метод не марксистский; кроме того, убивать людей из-за угла вообще безнравственно». «Но вы бы стреляли в своих врагов!» — Возразил Смелов. Я заявила, что цель не оправдывает средства. В результате он записал мой ответ так: «Хотя я считаю, что в борьбе все средства хороши, но террористические методы отвергала из-за их нецелесообразности». Мне было неловко уличать его в прямом извращении моих слов, и я подписала этот протокол.

Несмотря на эти искажения, которые мне казались неважными, я не считала наше дело сфабрикованным, и это избавляло от дополнительных переживаний. Только потом,

встретив других заключённых, я смогла оценить, насколько сравнительно лёгким было моё следствие.

О полковнике Георгии Петровиче Шиловском вспоминаю с отвращением. Он, правда, не искажал смысла моих слов, записывая их в протокол, зато ему доставляло удовольствие издеваться над моей потрёпанной одеждой, над спадающими чулками, над всем моим неприглядным видом. Понятно, у меня не было зеркала, и я постоянно ощупывала своё лицо и расковыривала болячки, которыми оно покрылось. Меня и без его насмешек угнетало, что я так жалко выгляжу. Однажды я попросила у него иголку (её можно было получить только с разрешения следователя). Он с гнусной усмешкой стал расспрашивать, что именно из одежды мне надо привести в порядок, и не в первый раз довёл меня до слёз. Шиловский допытывался, о ком это, не называя имени, я писала в дневнике, изъятом при обыске. Я думала, что главное — не писать в дневнике ничего крамольного, а личное никого не интересует. Какое заблуждение! Конечно, следователь понял, что я писала о Жене, и так как я отказалась разговаривать на эту тему, он решил добиться «признаний», читая вслух мой дневник.

Вопрос о терроре был снова поднят Шиловским. Я настаивала, что ничего об этом не знаю, и мне устроили очную ставку с Тамарой. В самой процедуре очной ставки удивительным было то, что присутствовавший при этом стенографист записывал не сами наши с Тамарой ответы, а то, что диктовал ему следователь. Впрочем, тот особенно не перевирал. Тамара сказала, что в присутствии нас обеих Женя сказал о необходимости террора. Я это отрицала. После очной ставки мне стало казаться, что такой разговор действительно происходил, и я его просто забыла. Но была довольна, что отрицаю хоть что-нибудь.

Меня удручало, что я во всём призналась. Порядочный революционер, я считала, должен на допросах всё отрицать. Но я видела, что следователи знают о нашем деле гораздо больше меня, и полагала, что отпираться бесполезно. Мне, повторяю, казалось, что мои показания никому не могут повредить. Даже нравилось не скрывать от следователей, как я настроена. Я призналась Смелову, что поносила советскую власть «с восхода до заката». А он смеялся и говорил, что уважает меня за откровенность.

Никаких попыток меня «перевоспитать» следователи не делали, а только изумлялись моей закоренелости. Какой-то чужой следователь зашёл в кабинет и назвал меня «змея очковая» и «вторая Фанни Каплан». Я преувеличивала интерес

следователей к моим убеждениям. Перевоспитывать или нет — зависело от потребностей дела. От меня им просто было мало нужно.

Надо ли объяснять, как меня беспокоила судьба Тамары. Сказали бы мне тогда: сиди всю жизнь в тюрьме, а её не тронем, — я бы с радостью согласилась. Но факт — в её деле значилось, что арестована она по показаниям Жени, Владика и моих. А я сказала только, что она была не согласна с нашими намерениями, не понимая, что из этого следует, что она была в курсе этих намерений, и этого достаточно, чтобы её арестовать. Узнав, что её арестовали, я страшно терзалась. Мне снилось, что она тонет на моих глазах. А Тамара, оказывается, мучилась, что сказала на очной ставке неправду: разговора с Женей о терроре не было, но следователь буквально ей внушил, что он был.

И вот однажды я поддалась на «разговор по душам», который завёл со мной следователь Сидоров. Он стал говорить мягким, сочувственным тоном, что прекрасно понимает, в каком я была состоянии, когда встретилась со «своими единомышленниками». Бедная девочка — одна, без родителей. Я вдруг почувствовала желание излиться перед этим пожилым, так всё хорошо понимающим настоящим коммунистом. Но как именно изливаться, в чём ещё признаваться? И я призналась, что действительно разговор с Женей о терроре — был (а может, он и вправду был?). Следователь, деловито записав всё в протокол, сразу изменил тон. Мне хотелось ещё поговорить, и я начала какую-то фразу: «Мне кажется…» Но Сидоров резко оборвал: «Нас не интересует, что вам кажется». Я вернулась в камеру совсем опустошённая.

Правда, это моё признание никакого реального результата не имело. Организация в целом была признана террористической, и все мы, независимо от того, говорили ли о терроре или нет, получили, наряду с другими, статью 58-8 — совершённый террористический акт. Больше года группа офицеров Следственной части по особо важным делам день и ночь неутомимо трудилась, получая регулярно повышение в чинах, для обоснования такого вывода, чтобы предстоящий суд вынес свой приговор.

Кроме «молодёжной», «антисоветской» и «террористической», организация называлась в деле «еврейской», хотя нам даже не пытались приписать никаких националистических идей. Достаточно было и того, что кто-то из нас где-то сказал, что евреев не принимают в институты. Но главное, что почти все мы были евреями; а в случаях с полукровками следователи поступали так: если мать была русская, а отец еврей, и в паспорте

стояло: русский, следователь доказывал, что национальность определяется по отцу, и писал в материалах следствия: еврей. В обратном случае уверял, что главное — национальность матери. Наша совесть интернационалистов была чиста, и мы не придавали значения этим махинациям.

Проявления антисемитизма со стороны следователей искренно удивляли. Раз пришли ко мне на допрос два человека, как видно — большое начальство, и стали ругаться, издевательски изображая, как мы идём «стройными рядами», а впереди — сопляк-Гуревич. Один из них убеждённо сказал: «Потому-то вам была не дорога Россия, что вы — еврейка, человек без родины». Я возмутилась: «Вот уж не знала, что услышу такое от советских следователей!». Он ответил: «Вы ещё многого не знаете». Смешным, наверно, было моё возмущение: шёл 1951 год, и многое, действительно, предстояло узнать.

С большим начальством я беседовала ещё один раз, как я потом узнала — с самим министром госбезопасности Абакумовым. Меня повезли куда-то в воронке, ввели в большую комнату с не зарешечённым окном, из которого, как мне показалось, был виден Кремль. Вдоль стены стояли чекисты, а посреди комнаты сидел в кресле кто-то толстый, черноволосый. Задал странный вопрос, была ли я влюблена в Гуревича. Не успела я удивиться, как вмешался какой-то военный и объяснил толстому, что у меня арестованы родители. Тот кивнул, и меня увели. Как видно, министр интересовался мотивами наших действий.

Несколько раз следователи заводили разговор о предстоящем суде. Смелову я сказала, что не жду ничего хорошего. Он возразил: «Почему же? Вы ведь не убили человека!» А Шиловский предложил угадать, какой мне дадут срок. Я сказала, что у матери — 15, у отца — 10, а у меня, наверное, будет нечто среднее. От ответил: «Ну, это ещё по-божески!» Этот противный Шиловский всегда говорил гадости! Насколько симпатичнее рассуждает на эту тему Костя Смелов!

Двести шестая

По окончании следствия нас ознакомили с материалами дела и предъявили 206-ю. Дали для просмотра более 30-ти папок «Дела Слуцкого, Фурмана, Гуревича и др.», по 1–2 папки на каждого из нас. Арестовано было только членов организации 16 человек (причислили к нам и Тамару), кроме того, много родственников и знакомых.

Каждая папка начиналась с ордера на арест и протокола обыска. В папке Жени находилась фотография найденного у него пистолета системы «велодок». Пистолет не стрелял — в нём застряла спичка, которой, за неимением патронов, Женя пытался выстрелить. Прилагалась экспертиза комендантского взвода Министерства государственной безопасности, которая гласила, что это оружие в исправном состоянии и заряжённое соответствующими патронами, будучи направлено в наиболее уязвимые части человеческого тела с расстояния до 2-х метров, может произвести смертельный выстрел. Так вот почему организация названа террористической! Были также найдены программа, тезисы, манифест. У Гриши Мазура — материалы для изготовления гектографа, у Бориса Слуцкого — портрет Троцкого, у кого-то Библия на иврите, у одной девушки — стихи Маргариты Алигер, перепечатанные из вышедшего незадолго до того сборника её стихов и начинающиеся словами: «Родину себе не выбирают». Стихи были очень патриотические, и я спросила, почему они приложены к делу как улика. Следователь указал на строчки:

Обожгла недоброю любовью
Русского шального мужика —

оскорбление русского народа! В другой раз, когда я читала историческую работу Бориса Слуцкого, находившуюся в деле, следователь заметил: «Вот здесь о Бухарине говорится отрицательно, потому что он русский».

Я с волнением разглядывала тюремные фотографии незнакомых мне девушек и ребят; фотографии троих — Бориса Слуцкого, Владика Фурмана и Жени Гуревича — были больше форматом и лучшего качества. Было непонятно, почему их так выделили. Внимательно читала протоколы допросов. Старшей из нас к моменту ареста был 21 год, младшей — 16.

Летом 1950 года, перед приёмными экзаменами в университет, Женя Гуревич познакомился с Борисом Слуцким и его другом Владиком Фурманом. Все трое выросли в благополучных советских семьях, ни у кого не сидели родные, но сильно развитое чувство справедливости и не по возрасту богатая политическая эрудиция позволили им рано понять колоссальную ложь, которую под именем социализма преподносят советским людям. Они умели добывать информацию, читая между строк советские газеты, разбирая примечания к сочинениям классиков марксизма, анализируя изъятые из обращения книги. Им достаточно было побывать летом в деревне, чтобы увидеть, в

какой нищете живёт народ. Сменявшие друг друга послевоенные кампании, в особенности борьба с космополитизмом, воспринимались как явно антисемитские. Неудача с поступлением в университет, куда им как евреям был закрыт путь, несмотря на успешно сданные экзамены, явилась дополнительным личным звеном в цепи сложившихся представлений о советской действительности. Созрела готовность бороться с режимом, с этой целью создать организацию и постепенно развернуть широкую агитацию в народе. То, что дело их безнадёжно, они, в общем-то, понимали, но не желали мириться со злом.

Борис написал манифест, Женя — программу организации. Борис привлёк старшего брата, Гришу Мазура, студентку Педагогического института Инну Эльгиссер и ученицу 10-го класса Сусанну Печуро. Сусанна до встречи с Борисом была активной комсомолкой и, узнав о существовании организации, колебалась: сообщить ли о ней в райком комсомола или в неё вступить? Она предпочла второе и распропагандировала своих одноклассниц, Катю Панфилову и Ирэну Аргинскую, и двоюродную сестру, шестнадцатилетнюю Нину Уфлянд. Ирэна съездила с Борисом в Ленинград и привлекла в организацию свою двоюродную сестру Галю Смирнову, студентку Института кинематографии. Студент-медик Владлен Фурман сагитировал в Рязани своего однокурсника Феликса Воина. Женя, кроме меня, принял в организацию знакомых студенток, Иду Винникову и Аллу Рейф[51].

Гриша Мазур и Владик Мельников приготовили гектограф. Успели напечатать письмо-листовку в ответ на какую-то статью в газете. Встречались в квартире Бориса в Кривоколенном переулке. Собирали материал для написания объективной истории Советского Союза, изучали произведения классиков марксизма. Наши теоретики, Борис и Женя, писали статьи (в описи изъятых при обыске у Жени материалов упомянуты были 14 статей «антисоветского содержания», написанных им за последние полгода). На одном из «сборищ» Женя, действительно, предложил обсудить возможность покушения на Сталина и Берию (остальные высказались против). Секретарь Алла вела протоколы обсуждений, которые, естественно, были найдены при обыске.

Тут же была папка с делом Тамары. С ужасом глядела я на её тюремную фотографию, читала опись её жалкого имущества. Зловеще выглядел в деле каждого «Список скомпрометированных лиц». Эти имена всплывали на допросах, но не набралось пока достаточно материала для ареста. В некоторых папках были свидетельские показания родных и знакомых. Родители Бориса,

Владика Фурмана и Жени были арестованы. Кое-кто из свидетелей включён в «Список скомпрометированных лиц» и дожидался своей очереди. Пыталась я разобраться, кто нас выдал. В деле находилось три доноса, но и мне, неискушённой, было ясно, что это — не главный источник информации.

Ещё на воле Борис говорил товарищам, что о существовании организации знает один взрослый, внештатный инструктор райкома комсомола Михаил Биркенблит. Он сказал Борису, что участвовал когда-то в борьбе с бандами грабителей под Москвой, но теперь разочарован в комсомольской деятельности, готов вступить в организацию и стать её военным руководителем. Но окончательного решения не принял. Михаил ездил с Борисом в Ленинград одновременно с Ирэной для вербовки сторонников, но Ирэне на глаза не показывался. Там он познакомил Бориса со своей приятельницей. Втроём они довольно откровенно поговорили (донос приятельницы на Бориса был в деле).

Показания Биркенблита, самого взрослого среди нас, в материалах следствия не фигурировали ни как привлечённого к делу, ни как свидетеля. Не попал он и в списки скомпрометированных лиц, хотя имя его неоднократно называлось на допросах. Его роль провокатора очевидна.

Перед отъездом в Израиль я рассказала о нашем деле известному московскому диссиденту. Он был поражён: Михаил — его научный руководитель, прекрасный товарищ, «чистый, как Христос». Быть не может, чтобы он так поступил! Пришлось мне, лично Михаила не знавшей, заняться поисками доказательств, потому что он, что, кстати, весьма типично для бывших стукачей, не ограничивался сферой научной деятельности, но активно подвизался на «гражданском поприще», вращаясь в различных московских кругах. Доказательств набралось достаточно, но все, к сожалению, косвенные: погибшие не встанут из своих безвестных могил, а КГБ не откроет архивов. Помянутый диссидент сейчас сидит[52]. Остаётся надеяться, что бывшие провокаторы нынче не используются — они ведь тоже осознали «ошибки времён культа личности».

Судя по протоколам, следователи жгуче интересовались нашими личными симпатиями. Мои однодельцы хорошо помнят, как их мучили разговорами и расспросами на эту тему. Особенно отличался следователь Овчинников, который предпочитал выражаться матом. К счастью, меня он не допрашивал, а других следователей мой заморённый вид не вдохновлял на такие беседы. Не то, чтобы они интересовались мотивами наших поступков — такой бескорыстный интерес был, как видно, у одного министра Абакумова. Цель таких разговоров была — себя

развлечь и потешить, нас деморализовать и настроить друг против друга. Обычные, широко известные чекистские приёмы, но нам-то было внове!

Следователь как-то сказал мне полупрезрительно, полусочувственно: «Снять бы вам всем штаны, да всыпать хорошенько!» А ведь он знал, что нас ждёт.

Суд

За несколько дней до суда нам выдали на руки обвинительное заключение. В нём мы официально назывались «Еврейская антисоветская молодёжная террористическая организация». Сначала нам давалась общая характеристика как кучке морально разложившихся отщепенцев. В случаях с Инной, Ирэной, Тамарой, Феликсом и мной упоминались арестованные родители. О Фурмане говорилось, что на него оказывала вредное влияние учительница литературы, Эрика Яковлевна (в действительности — Янкелевна) Макотинская, которая до революции была меньшевичкой. Цитировались материалы из архива Охранного отделения о её нелегальной деятельности под кличкой «Дружная». О брате этой учительницы было сказано, что он проходит по другому делу[53]. О погибшем на фронте отце Слуцкого было сказано: «умер», зато отмечалось, что по убеждениям он был троцкист и воспитал сына в уважении к Троцкому. У кого-то родственник привлекался по уголовному делу, чья-то мать была когда-то сектанткой.

Торжественность этого документа не казалась преувеличенной, мы и сами себя считали серьёзными деятелями.

Главное чувство в ожидании суда — волнение от предстоящей встречи друг с другом. Меня беспокоило, что ребята будут обриты, как, я знала, полагается в тюрьме. И была обрадована, увидев их с волосами — преимущество военной тюрьмы. Как будут одеты? Как я сама выгляжу? Недели за две до суда стали лучше кормить, давать к обеду по кусочку мяса — как видно, пережиток открытых процессов.

Суд начался 7 января 1952 года и продолжался две недели. В той же Лефортовской тюрьме в большой продолговатой комнате стояло 16 стульев, на них нас рассаживали каждый день в определённом порядке. На некотором расстоянии впереди сидели за столом два члена Военной коллегии Верховного Суда СССР и председатель, генерал-майор юстиции Дмитриев. Слева был стенографист, а справа, у дверей какой-то сотрудник, который каждый раз при появлении судей вскакивал и объявлял: «Встать,

суд идёт!»

Мы внимательно разглядывали друг друга. Конечно, все помнят, где кто сидел, в каком порядке: Борис Слуцкий, Владик Фурман, Женя Гуревич, Владик Мельников, Сусанна Печуро, Гриша Мазур, Инна Эльгиссер, Нина Уфлянд, Ирэна Аргинская, Феликс Воин, Катя Панфилова, я, Ида Винникова, Алла Рейф, Галя Смирнова, Тамара Рабинович.

Всей церемонией распоряжался какой-то тип, сидевший рядом со стенографистом. Прочитав обвинительное заключение, он изрёк удивительные слова: «Подсудимые освобождаются от вызова свидетелей и от защитников».

Каждого из нас попросили рассказать о его преступной деятельности. Потом каждому задавали вопросы. Можно было задавать вопросы друг другу, но не всегда разрешалось на них отвечать. Впечатление от всего этого было слишком сильным и многообразным, чтобы я теперь смогла его передать, хотя зрительно всё помнится отчётливо. Борис Слуцкий — высокий, в синем кителе, сапогах и галифе, выглядел внушительно и солидно, говорил красиво и убедительно. Владик Фурман — тоже высокий, но худой и нервный. В его следственных материалах было заключение судебно-психиатрической экспертизы, которая признала его нормальным, но отметила чрезвычайное возбуждение и многословность. Это возбуждение было заметно и на суде. Он сказал, что только они трое — он, Борис и Женя — сознательные деятели, а остальные — политически незрелы и находились под их влиянием. Он-то «с семи лет читал газеты и интересовался политикой». Женя — в старой, знакомой мне гимнастёрке, с деревянными пуговицами и без ремня, держался гордо и спокойно. Владика Мельникова я плохо видела. Мне удалось их с Женей спросить, сидели ли они в карцере, и получить утвердительный ответ. Замечательно хороша была Сусанна. С её романтической, утончённой внешностью очень гармонировало всё, что она говорила, а в речах её было очень много типично комсомольской горячности. Инна плохо себя чувствовала, ежилась от холода, но не унывала. Гриша, симпатичный чёрненький мальчик, держался скромно. Совсем ребёнком казалась Нина, которая сидела передо мной в сером шерстяном платке, завязанном крест-накрест. Ирэне удалось проявить изобретательность: волосы в порядке, завязаны бантиками. Феликс — угрюмый, большой, в валенках — жаловался, что за время следствия на нём истлела его единственная рубашка. Катя сидела рядом со мной, но в разговор не вступала. Очень смешной и жалостный вид был у Иды. Её мучил насморк, и форточку над ней по нашей просьбе то

открывали, то закрывали. Кажется, только она одна не хорохорилась, только ей одной было страшно. Алла пыталась мне сообщить какие-то фантастические сведения о «моральном облике» Жени, внушённые ей следователем. Помню длинные косы моей будущей лагерной подруги Гали. Тамара сидела за мной, и я всё время пыталась с ней поговорить. Это не удавалось, и она только грустно мне улыбалась.

Не знаю, слушали ли судьи нас с таким вниманием, как мы — друг друга. Я знала из присутствовавших только троих, никто не знал всех. Основное впечатление от выступлений моих однодельцев — полная искренность. Может быть, на нас подействовали месяцы одиночки, но каждый, казалось, хотел рассказать суду, а главное — своим товарищам, всё как можно подробнее. Нас не перебивали. Слушали даже как будто с участием. Вид у судей был скорее благодушный. Не чувствовалось, что здесь решаются судьбы. Похоже было на экзамен. К сожалению, мы не могли поговорить друг с другом, рассказать, как у каждого проходило следствие. Удавалось обменяться несколькими словами только с ближайшими соседями, за это нам делал замечание сидящий справа сотрудник, грозил вывести за дверь. Было несколько истерическое оживление.

Некоторые вносили поправки в следственные материалы. Борис рассказал об отце, который в начале войны пошёл в ополчение и погиб. Алла Рейф объяснила, как стыдно ей было жить в прекрасной трёхкомнатной квартире после того, как она узнала, что народ бедствует.

Каждый день мы приходили, рассаживались по местам, и суд продолжался. Когда до меня дошла очередь, я тоже рассказала всё, как было. Потом у каждого спрашивали, нет ли просьб к суду. Просили: разрешить свидание с родными; Сусанна просила свидания с «названным братом Борисом Слуцким», кто-то просил вернуть изъятую при обыске машинку постороннему владельцу. Я попросила не конфисковывать имущество. Всё ценное забрали после ареста родителей, и я хотела, чтобы хоть что-то вещественное осталось от нашего дома (В 1956 году, когда я вернулась, сотрудница домоуправления рассказала мне, что всё, что не подлежало конфискации, было в её присутствии сожжено, ей удалось сохранить лишь моё свидетельство о рождении. Удивительный поступок: к нам, арестованным, относились, как к покойникам, никто не ждал нашего возвращения). Конечно, ни одна просьба не была удовлетворена, но в тот момент всё это с серьёзным видом выслушивалось, а стенографист записывал.

Потом каждому предложили сказать последнее слово.

Накануне в камерах не спалось, обдумывали, что скажем. И опять нас слушали, не перебивая.

Каждый из моих товарищей вставал и говорил о том, как раскаивается, что вступил на путь борьбы с советской властью, как, размышляя обо всём в тюрьме, понял, что заблуждался. Один из ребят сказал: «Никакое наказание не покажется мне слишком суровым».

Я слушала с удивлением и отчаянием. Я была убеждена, что каждый говорит, что думает. И в голову не приходило, что некоторые, лучше меня понимая, чего можно ждать от этого суда, пытались таким путём добиться снисхождения. Вероятно, следователи им отечески внушали, что повинную голову меч не сечёт. А большинство и в самом деле осуждали себя, сидя по одиночкам и с каждым днём убеждаясь, какие мы невежественные и глупые, и как много горя мы принесли близким. Конечно, вся эта история с организацией казалась безответственной игрой. А следователи всё-таки взрослые, опытные люди, хотя и делают в протоколах грамматические ошибки. Наверное, для бесед с нашими теоретиками были брошены лучшие силы этой «Следчасти по особо важным делам». Некоторые из девушек не хотели говорить иначе, чем те ребята, перед которыми они преклонялись. А у некоторых вступление в организацию было случайным порывом. Галя мне рассказывала в лагере, что страдала в одиночке от галлюцинаций: ей мерещился номер её комсомольского билета. И она до самого XX съезда любила Сталина.

Правда, такое постоянство для нас не было типичным…

Тяжело мне было говорить моё последнее слово, тяжело было остаться среди товарищей одинокой. Я с самого начала знала, что нас посадят прежде, чем мы решим, что нам делать. Но не было чувства раскаяния. Может быть, все наши программы и манифесты — сплошной вздор. Но не вздор — аресты и гибель невинных. И подлая ложь. Масштабы жестокости ещё далеко не были нам известны сполна, но кое что и мы знали. Как же такое простить? Я потому спрашивала Женю и Владика Мельникова, сидели ли они в карцере, что карцер убеждает лучше всяких аргументов. Если можно так мучить человека, то уже неважно, строится ли при этом социализм или нет. И я сказала, что, к сожалению, ни в чём не раскаиваюсь, что так же, как и на воле, и даже ещё сильнее, чувствую себя абсолютно чуждой всему строю нашей действительности[54].

Моё выступление не было проявлением какого-то особого мужества. Я сказала, что думала. Да и о каком мужестве могла быть речь, когда всё было предрешено, когда не только от наших

выступлений, но и от судей ничего не зависело. И кому вообще было важно, что мы говорим?!

И вот нас собрали в последний раз, чтобы прочитать приговор: Именем Союза Советских Социалистических Республик приговариваются:

Борис Владимирович Слуцкий, год рождения 1932,

Владлен Леонидович Фурман, год рождения 1931,

Евгений Зиновьевич Гуревич, год рождения 1931,

— к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего им принадлежащего имущества.

— Владик Мельников, Сусанна Печуро, Гриша Мазур, Инна Эльгиссер, Ирэна Аргинская, Феликс Воин, Екатерина Панфилова, я, Ида Винникова, Алла Рейф — к 25-ти годам; Нина Уфлянд, Галя Смирнова, Тамара Рабинович — к 10-ти годам лишения свободы с отбытием срока наказания в исправительно-трудовых лагерях строгого режима с последующей ссылкой и поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества.

— «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит».

— В этот момент Борис пошатнулся, конвоир его заботливо поддержал. Последнее, что мы слышим: «Приговорённые к расстрелу имеют право обратиться в Верховный Совет с просьбой о помиловании».

* * *

В феврале-апреле 1956 года по заявлению родных наше дело было пересмотрено. Сроки наказания были снижены до 5-ти, а двоим из нас — до 3-х лет. Вместо статей Уголовного кодекса 58-1а, 8, 10 и 11, оставлены только 58–10 и 11 (т. е., исключены измена родине и террор, а оставлены антисоветская агитация и организация). Таким образом, мы подпадали под действие Указа об амнистии от 1953 и 25 апреля были освобождены со снятием судимости и поражения в правах. Тамару реабилитировали. Каждому из нас была выдана справка об освобождении, на основании которой мы получили «чистые паспорта».

Родителям расстрелянных ребят выдали в прокуратуре аналогичные справки, где было сказано, как и у нас, что дело пересмотрено, статьи переквалифицированы, и срок наказания снижен до 10 лет[55].

Конец срока — 1976 год

1. Общая камера

Первые недели после приговора особенно плохо помнятся. Слишком сильным было потрясение. Месяца два я продолжала сидеть в одиночке. Я по-прежнему металась целыми днями по камере, мало думала о будущем, вспоминала суд и приговор. В то, что ребят расстреляют — не верила. Никто из нас в это не верил, как не верили их родители, и только с годами это становилось всё более очевидным. Но «органы» так никогда и не сказали правды.

И вот меня забрали «с вещами» и привезли из Лефортова в Бутырскую тюрьму, и, наконец, я попала в общую камеру. Там были четыре женщины, первые мои собеседницы. Как поразительны были первые услышанные мною истории! Таня Егоркина, уголовница с 15-тилетним сроком сидела за вооружённый грабёж с убийством. Это была здоровенная девица с грубым, но довольно красивым лицом. Пожилая женщина Елизавета Николаевна была арестована вместе со всей семьёй. Они, сидя дома за столом, «злобно клеветали», кто-то из них сказал: «Может, когда Сталин умрёт, будет легче жить». Сосед подслушал, донёс. В приговоре, который ей дали на руки (почему-то некоторым давали, а некоторым — нет), было чёрным по белому написано: согласно Закону об отмене смертной казни, такая-то, из купцов, приговаривается к 25-ти годам по статьям таким-то, в том числе 58-8 через 17 — террористические намерения. Ещё была Лиля — жалкое, чрезвычайно истощённое существо. Как и я, она не получала передач. Сидела за шпионаж, но для кого шпионила, было неясно. Четвёртой была Феня, в прошлом колхозница. Сидела за плен — была поварихой в военной части, попавшей в окружение. Так как её трудно было обвинить в шпионаже, нашлось другое. Её родители погибли во время голода на Украине. Следователь долго к ней приставал: как она после этого относилась к советской власти, должна ведь была разозлиться? Наконец, Феня обложила матом и следователя, и власть, и получила 10-й пункт — антисоветская агитация. Она была первым «человеком из народа», с которым можно было поговорить, и я упорно её расспрашивала: как же всё-таки живут крестьяне? А она то подозрительно косилась на меня, то разражалась бранью. Выводы приходилось делать самой.

Тогда я заметила за собой одну особенность: мне хотелось

услышать что-нибудь хорошее о нашей действительности. Ещё хотелось во что-то верить, ещё мало мне было.

До сих пор стыдно — до чего я была болтлива, встретив впервые людей после года одиночки. Чего только не рассказывала я о себе и своих однодельцах. И как-то ночью, после отбоя, мои сокамерницы, думая, что я сплю, обсуждали вопрос: не «куруха» (то есть стукачка, доносчица) ли я, и уж, во всяком случае, — жидовская морда. Я вскочила, стала возмущаться, и надзирательница их упрекнула: дескать, вместе сидите, зачем же эти нехорошие разговоры? И пригрозила всех отправить в карцер.

Особенно меня имела основание презирать уголовница Танька, которая гордилась тем, что не зря села, хоть пожила в своё удовольствие.

Елизавета Николаевна и Танька получали передачи, но с остальными не делились. И однажды, когда все ушли на прогулку, кроме нас с истощённой Лилей, она предложила мне изъять у старухи по куску сахара, и хотя Лиля мне совсем не нравилась, я из солидарности не отказалась.

Нет, не из-за любви к своим сокамерницам я вскоре жестоко пострадала, а из чистого протеста против несправедливости. Нас всех, кроме Елизаветы Николаевны, отправили в карцер за ряд нарушений — и за тот ночной скандал, и за то, что мы пели в камере (Танька учила меня блатным песням к неодобрению Елизаветы Николаевны, которая с упрёком говорила мне, что вот моя одноделка Сусанна, с которой она сидела раньше, — та не подвержена дурным влияниям), а ещё за то, что мы бросали на прогулке снежки. Когда нас повели, я стала возмущаться, что и Лилю наказывают, хотя она совсем не виновата. Молодой офицер заявил мне, что я скоро сдохну, и никто обо мне не пожалеет, «спишут, как ненужную тряпку, и сообщат, что умерла от гриппа». И для большей убедительности организовал экзекуцию, известную в тюрьме под именем «рубашка». В соседней большой комнате на меня набросилось с полдюжины солдат, схватили за руки, хотя не сопротивлялась, и один из них стал колотить меня мешком, набитым песком, по голове, лицу и плечам, приговаривая: «Фашистка!» Потом на меня надели длинную брезентовую рубаху с прикреплёнными к рукавам ремнями, скрутили руки за спиной, бросили на пол и стали подтягивать ноги к затылку. Боль нарастала, и я чувствовала, что каждый из этих мужчин и женщин, которые видели меня в первый раз, старается причинить боль посильнее, затягивая ремни туже и туже. Я прохрипела: «Гады». Потом услышала дикий рёв, не понимая, что кричу я сама. Так я лежала минут десять, видела возле своего лица чёрные сапоги и судорожно пыталась принять

такое положение, чтобы уменьшить боль, а они наперебой спрашивали: «Так мы гады, по-твоему?» «Не гады, не гады, развяжите!» Когда, наконец, развязывают, то в первый момент нельзя пошевелиться, но они торопят, грозят повторить, и идёшь, пошатываясь, держась за стену, в бокс, где сокамерницы, дрожа от страха, слушали доносившиеся до них вопли. Молодой офицер к ним зашёл, спросил: «Ну, кто следующий?» И Лиля взмолилась: «Гражданин начальник, мы так не настроены!» И нас повели через двор в карцер. Боль в пояснице довольно быстро прошла и не осталось следов от побоев, а карцер в первые часы показался совсем не страшным, только действовал на нервы скулёж Лили за стеной, из соседнего карцера. Но постепенно холод пробирал всё тело. Я терпела, но когда стало совсем скверно, я тихонько спросила надзирательницу, нельзя ли пообещать, что я больше не буду — и чтобы меня выпустили? Ответа не последовало, я отсидела, как и другие, пять суток, и меня даже похвалила Танька за мужественное молчанье. Сама она была толстая, а толстые меньше мёрзнут.

Позже, в лагере, я узнала, что «рубашку» полагается надевать на буйных уголовников, чтобы смирить физическое сопротивление, и что при этот присутствует врач и щупает пульс. Ещё рассказывали, что иногда в таком изогнутом, как баранка, положении человека иногда подвешивают, но я не представляю, что при этом можно выжить.

Сокамерницы советовали мне никому о случившемся не рассказывать: обвинят в клевете, будет хуже. Естественно, я их не послушалась, и если не рассказывала всем подряд, тот только потому, что в первое время мне было трудно об этом говорить.

В этой общей камере я впервые ощутила антисемитскую атмосферу. Впервые услышала о «Протоколах сионских мудрецов», хотя никто не знал точно, что это такое. Елизавета Николаевна утверждала, что среди евреев нет гениев, а только таланты, и удивлялась, как это русский может жениться на еврейке! Когда наоборот — ещё понятно. Кто-то из них с возмущением рассказал, как радостно евреи приветствовали приехавшую в Москву Голду Меир. Потом их, по каким-то спискам, естественно, всех пересажали, и правильно сделали. Танька — в том ночном разговоре — выразила убеждение, что в лагере я захочу, как делают обычно евреи, жить, не работая, а чтобы за меня работала она. «Но с русского Ивана — где сядешь, там и слезешь!» Удивительно, что говорила она об этом с самой искренней злобой, а ведь побывала уже в лагере и знала, что каждый там работает за себя.

Меня удивляла эта неактуальная злоба. Никто из них не

сидел из-за евреев, никого не допрашивал еврей. Потом я поняла, что в тюрьмах, больницах и везде, где сходятся люди по случайному признаку — ругать евреев так же принято, как рассказывать неприличные анекдоты.

Ещё мои сокамерницы любили обсуждать, что бы они сделали с теми, кто их посадил. Они придумывали изощрённые пытки. А на меня, наверное, действовало воспитание, диктующее ненависть к «системе», а не к «людям», а такая ненависть значительно абстрактнее. Персонально я не могла желать мучений даже офицеру, распорядившемуся надеть на меня «рубашку», только запомнила на всю жизнь его лицо. И ещё я чётко чувствовала, что на воле мне не место.

Первая встреча с людьми в тюрьме — какое это важное событие! Любые люди, даже если не получается с ними никакого душевного контакта, если их ненавистнические разговоры ты запомнишь навсегда — всё равно — эти люди тебе так нужны!

Ты узнаёшь, что хотя таких дураков, как я со своими однодельцами, чтобы самим в петлю лезть — мало, но как много нас, заключённых, и это «мы» ты чувствуешь. Мы — это не только твои друзья, а огромные массы людей, с которыми отныне ты связана общей судьбой.

Ты узнаёшь, за что сажают. Я всегда верила рассказам заключённых и убеждена, что о своём деле люди, в основном, говорят правду или помалкивают. «В этом платье я только на базар ходила» — подобные заявления часто слышишь от женщин в тюрьме. Но этим обычно и исчерпывается их фантазия.

…Ты узнаёшь, каким бывает следствие. Я не услышала о настоящих пытках. Кого-то пытали, конечно, и тогда (начало 1952 года), но мои сокамерницы были осуждены без больших хлопот. Они сидели на следствии в карцере и выслушивали изощрённую брань следователей. Особенно на это жаловалась почтенная Елизавета Николаевна. О прочих методах воздействия я узнавала постепенно.

Танька Егоркина рассказывала о жизни в лагере. Хотя нам, политическим, предстоял несколько другой опыт, но мы этого тогда ещё не знали. Нам и та жизнь, которую она описывала, совсем не нравилась. Я впервые услышала о тюремных и лагерных стукачах. Рассказывали о женщинах с очень бледными лицами, сидевших подолгу в тюрьме и известных своей провокаторской деятельностью. Едва ли мои сокамерницы всерьёз подозревали, что я «такая». Для этого нужны другие качества.

И очень много полезного, нужного в тюрьме и лагере узнаёшь в общей камере. Одно из моих двух одеял они разорвали и сшили с помощью рыбьих костей и спичек две отличные сумки с

ручками — одну мне, другую — одной из них, и это мне очень пригодилось.

Наконец меня вызвали на этап, и я распрощалась с ними навсегда.

2. Этап

Из Бутырской тюрьмы через пересылки: куйбышевскую, челябинскую, новосибирскую и тайшетскую мы — уже другие «мы» — ехали в Озерлаг. Озерлаг — Особый закрытый режимный лагерь — это система лагерей на трассе Тайшет-Братск. Но никто вначале не знал, куда нас везут; об этом мы узнали только, приближаясь к цели. Ехали мы полтора месяца, и в Тайшете оказались в начале мая.

«Мы» — на этот раз группа женщин из Бутырской тюрьмы, в том числе москвичка Ирина Гаврилова, с которой я очень подружилась на этапе и в первые месяцы в лагере, пока нас не разлучил очередной этап. Она, побывав потом, уже без меня, на нескольких лагпунктах нашей трассы, была отправлена в Мордовию, где встретилась с моей матерью, которую привезли туда с Воркуты, а также с моими одноделками, Тамарой и Сусанной.

Лагерная дружба — чтобы описать этот феномен, требуется перо, посильнее моего. Самое главное в лагерной жизни — это с кем ты дружишь и какую работу тебя заставляют делать. Связь с домом оборвалась, и только постепенно связываются нити, чтобы, может быть, порваться опять. Будущего нет, прошлое не имеет значения. Не будет у тебя семьи, не будет детей. Будет только эта каторга до конца дней. Кто может всерьёз думать о конце срока, если у тебя 25 лет, да ещё зачем-то 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах? Можно было фантазировать — что вот умрёт Сталин и, может быть, действительно станет легче? Некоторые надеялись на другое (позднее), что вот станет в Америке президентом Эйзенхауэр, будет война, и всё тогда провалится к чертям, пускай и вместе с нами. Но мне это было неинтересно. Только люди были интересны.

Лагерная дружба, её радости и печали, заменили нам все радости и горести на свете. И что ж удивительного, что, заменив все привязанности, заслонив все помыслы, она искажалась, омрачалась, переходила все естественные границы и оборачивалась порой болезненной зависимостью, превращалась из блага в зло? И где границы добра и зла в этом мире, где зло царит?

Видя мой жгучий интерес к тому, кто за что сидит, одна

старая лагерница, бывшая переводчица Микояна, а ныне известная тем, что носит чулок на голове для тепла — Вера Николаевна «мит штрупф», как её называли немки — уверяла меня, что этот интерес скоро пройдёт, и будет меня больше всего занимать, когда, например, выдадут пайковый сахар. Но мне, как оказалось, предстояло отсидеть совсем небольшой срок — 5 лет и 3 месяца — и я до этого не дошла. И особенно в первое время — всё расспрашивала.

Ира на воле была машинисткой и, как многие, сидела «за иностранцев». И она любила их общество, и муж её тоже. Муж им чего-то «наклеветал», и его расстреляли, а Ире дали 25 лет. Помню песни Вертинского, которые пела Ирочка в Куйбышеве на пересылке, оплакивая свою молодую жизнь и жалея меня и всех. Рассказывала она о красивой жизни, и мне было смешно и любопытно. Помню также, что о евреях и она была неважного мнения, несмотря на хорошего человека, своего бывшего жениха. Помню, как немного позже, на 49-й колонне, мы рыли канаву, пошёл дождь и лил много часов. Работать было невозможно, спрятаться некуда, а нас всё не снимали. Ирочка стояла в линялом платье второго срока, в белой косынке, опершись на измазанную глиной лопату, и плакала, что всё так ужасно.

Как и многие, она вернулась в 1956 году в Москву. Теперешний её муж сидел 18 лет, всё помнит и всего боится. И он еврей[56].

От Москвы до какой-то из пересылок, откуда часть заключённых отправили в Караганду, с нами ехала Ева, которая сидела с Ирой целый год вдвоём в одной камере в Лефортове. Это была крайне странная девица, случайно замешанная в деле, подобном нашему, только в Ленинграде. У них тоже было три смертных приговора. Помню фамилию одного из расстрелянных — Берлин[57]. Ева перестукивалась в камере со своим соседом, а потом донесла, что он высказывает антисоветские взгляды. Говорят, что и в лагере она продолжала из патриотизма стучать. Когда мы в набитом, как полагается, арестантском вагоне ехали от Куйбышева до Челябинска, ночью с нами тремя разговорился конвоир. Он стоял по другую сторону решётки и тихо говорил нам, как ужасно служить так, как он, ведь он не верит в то, что все мы — враги. Мы молчали и, зная, на что способна Ева, мы с Ирой очень за него боялись, но прекратить его исповедь было невозможно, и он всё говорил и говорил, пока не ушёл куда-то, а мы уснули. В этом же вагоне была такая сцена. Как всегда в этапе, нас кормили селёдкой, воды давали два раза в день, и на оправку водили два раза, утром и вечером. С нами ехала старая женщина, адвокат Ревекка Исаковна Гойхбарг (ей дали всего 5 лет. Чтобы

она призналась в антисоветской агитации, её посадили в карцер. Она призналась, но потом ей как-то удалось отказаться от показаний. Отпустить было нельзя, вот и дали такой необыкновенный срок. Надеюсь, она благополучно прожила ещё год с небольшим и попала под амнистию 1953 года, когда освободили тех немногих из политических, у кого было не более 5-ти лет). Р.И. не могла выдержать такого режима и просила вывести её. Естественно, её не выпускали, хотя, надо сказать, что с нами, женщинами, обращались мягче, чем с мужчинами: их просьбы вывести в уборную раздавались целыми днями. Хорошее изобретение эти вагоны! Только непонятно, почему люди терпят, почему не выразят протеста единственным доступным образом? Это сразу прекратило бы издевательства. Мне рассказывала мать об одной актрисе, которая согласилась стучать потому, что следователь не выпускал её из кабинета в уборную. В нашем случае голос протеста подала я, меня решили наказать и, за неимением в вагоне карцера, заперли в этой самой, недостижимой для всех уборной. Я очень веселилась, но старуху так и не вывели до срока.

Первая пересылка — Куйбышев. Первая встреча с лагерниками. Впервые мы увидели номера на спинах и ужаснулись: человек с номером! У женщин номера — на спине и на подоле, у мужчин — на спине, на штанах и на шапке. Эта мера, рассчитанная на психологический эффект, вскоре перестаёт действовать, только много возни с этими номерами: они должны быть чётко написаны на белом лоскуте и аккуратно пришиты к одежде. В некоторых местах, например, в Караганде, номер полагалось не пришивать, а вырезав в одежде прямоугольник, вшить его с изнанки. Если тебя увидят без номера — обеспечен карцер, а когда их в 1954 году отменили, то стали наказывать тех, кто не успел или не захотел их вовремя отпороть.

Любознательному з/к наличие номеров позволяет заняться статистикой. В мае 1952 года в Тайшете я получила свой номер АН-553. Итак — А-1, А-2, А-3 и т. д. до тысячи, потом АБ-1, АБ-2 и т. д. до тысячи. Следовательно, к тому времени на нашей трассе было 13 533 заключённых, не считая тех, кто числился не в спецлагере, а в ИТЛ — исправительно-трудовых лагерях, вместе с уголовниками, и так же, как эти «друзья народа», не носил номеров. В приговоре у всех значилось: ИТЛ, но сидели в этих лагерях с режимом помягче, по сравнению с нашими, только «малосрочники» — те, у кого срок был не больше 10-ти лет и только 10-й пункт: агитация. Встречались и другие комбинации букв и цифр — эти заключённые приехали из других лагерей. К нам, например, приходили этапы с Колымы и из Караганды, а от

нас отправляли в Кемеровскую область и в Мордовию.

В этапе мы встретили много уголовниц. Это были молодые девицы дикого вида — раскрашенные, лохматые, горластые. Они виртуозно ругались, иногда — совершенно беззлобно, как будто просто не знали другого языка. Они пели, часто это у них получалось хорошо. Некоторые песни я знала от своей сокамерницы Таньки, очень популярны были эмигрантские «Журавли». Когда они пели, их грубые физиономии смягчались, и нам было их жалко. Это были погибшие люди, ещё более погибшие, чем мы. Иные сидели по тюрьмам с детства и ничего другого в жизни не знали. Жалкими были их воспоминания о кутежах в ресторанах и прочей «красивой», но короткой жизни в промежутках между отсидками. Нас они не могли терроризировать, они были в меньшинстве, и всё-таки — женщины, не то, что уголовники-мужчины. Кое-что они выклянчили, кое-что украли, но, в общем, особого зла не причинили. Их гнусный жаргон, особенно ужасный, когда они переговаривались с мужчинами — звенел в ушах, но что ж — он был частью этой новой жизни, можно было потерпеть. В дальнейшем уголовницы были всегда у нас в спецлагере в меньшинстве. К нам попадали те из них, кто, кроме своей, получал ещё и 58-ю статью, чаще всего 58–14, саботаж: за отказ от работы или побег.

Я не встретила среди них ни одной интересной личности. Не было у них и своей воровской солидарности и хоть зверских, но каких-то устоев. После смерти Сталина нас стали с ними соединять — поставили на одну доску, наконец. К нам хлынули целые орды этих особ. Почти у всех волосы были обесцвечены перекисью водорода — такая была у них мода. Тогда приходилось внимательно присматривать за вещами — они способны были украсть последние казённые трусы. Зато с удовольствием вспоминаю их пение под гитару. Татарка Люба Исакова, о которой говорили, что она зарубила топором надзирателя, учила меня играть на гитаре, но я не проявила способностей. Они варили «чифир» — откуда-то добывая чай, который в лагере не продавали и не пропускали в посылках, но они доставали — и постоянно находились под его наркотическим воздействием.

Как-то очень холодным зимним днём я шла по зоне и увидела одну из них. Ей было плохо, наверное, от «чифира», почему-то она была без рукавиц и без платка. Я одела её и проводила до барака. Потом она пришла ко мне, чтобы вернуть вещи. Меня отругали обитатели нашего барака, не желавшие, чтобы к нам приходили блатные. Через какое-то время пришлось мне работать вместе с ней в паре на кирпичном заводе. В конце дня она пожаловалась

бригадирше, что я работала плохо. Наверное, она даже не помнила, как я её обхаживала.

Ещё в этапе мы впервые встретились с «религиозницами». В продолжение всего срока эти женщины меня очень интересовали. Знакомство с ними, а через них с Евангелием имело большое значение в моей жизни.

В теплушке, где-то между Куйбышевым и Челябинском, ночью меня разбудило пение. Пели хором:

Христос воскресе из мёртвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.

Оказывается, была Пасха. Вагон качало, пение было нестройное, визгливое, на остановках конвой стучал колотушкой в стену, а они всё пели. Не помню, были это украинки или так называемые «монашки» — особый элемент в лагере, где много было других, тоже осуждённых за веру. «Монашки» были православными, но не посещали церквей. В лагере они вели себя чрезвычайно мужественно и последовательно: отказывались от работы — полностью или только по праздникам, не ходили на проверку, не носили номеров, а были и такие, что и лагерную баню считали проявлением воли антихриста. Были они вегетарианками, поэтому часто не ели даже лагерной баланды. Лица их были бледные, почти прозрачные. За отказ от работы их всячески преследовали. Они часто сидели в БУРе, бараке усиленного режима — разновидность карцера, но с режимом помягче, зато сажали туда на более длительные сроки, чем в карцер, обычно на несколько недель. Рассказывали ужасные истории, как их насильно тащили на работу, сажали полуголыми на мошку, но сломить их было нельзя. Они постоянно молились и пели. Помню такую песню:

Я сидел за тюремной решёткой,
Вспоминая о том, как Христос
Крест тяжёлый покорно и кротко
На Голгофу с смирением нёс.
Нёс Спаситель свой крест, лишь молился,
Не пеняя Отцу на врагов,
Был Он чудным примером страданья,
В Нём горела святая любовь
и т. д.

Помню и другие их песни. Но общаться с ними было невозможно. Они были замкнуты и не обращали внимания на чужих.

В другом роде были баптисты и евангелисты. Из последних помню Олю Михину — милую женщину с добрым лицом, с которой мы много говорили на тайшетской пересылке. Нас двоих послали мыть столы в столовой. Оля была первой, но не единственной верующей, пытавшейся привлечь меня к вере. Я часто вызывала у религиозных людей надежду, что меня можно обратить. Я-то знала, что это дело безнадёжное, но им казалось иначе. Интерес мой к вере был очень велик. Я выросла в абсолютно атеистической семье и, к тому же, как многие мои сверстники, была очень невежественной во всём, что касалось веры. В детстве я не ощущала никакой потребности в религиозном знании. Но, может быть, эта потребность подспудно жила, как во всяком человеке. Я спорила с Олей, повторяя обычные банальности антирелигиозной пропаганды. Но то, что это — банальность, я не сознавала и была вполне искренней. И, может быть, верующие люди понимали мою искренность и поэтому не сердились на меня.

Только много позже, больше зная и больше думая об этом, я поняла, что атеизм мой действительно глубок и неисправим, что коренится он в особенностях натуры, а не в случайностях воспитания. Интерес к вере и уважение к отдельным религиозным людям остались навсегда. Но если было бы у меня желание спорить, боюсь, что я не смогла бы сказать что-то принципиально новое на эту тему по сравнению с моими тогдашними возражениями Оле. Я могу опять повторить те же общие места. Мир устроен несправедливо. Я чувствую зло мира и отвращаюсь от него. Небо пусто, человек один и спастись от отчаяния может только любовью к себе подобным. Зла нельзя делать, потому что и так жаль людей и всё живое, обречённое на страдания и смерть, а смерть есть самое главное зло. Всякое оправдание зла религиозными людьми со ссылками на Божий Промысл я считаю аморальным и ужасным со своей человеческой точки зрения, а другой точки зрения для меня не существует.

Но склонности к антирелигиозной пропаганде у меня нет, может быть, оттого, что я обещала не использовать против веры своих небольших познаний. Это обещание я дала Наде, тоже православной, не желавшей молиться в церкви, но не «монашке». Я встретилась с ней позже. Надя — рыженькая невысокая женщина, арестована была беременной, родила в тюрьме, потом ребёнок умер. Она очень привязалась ко мне и страдала оттого, что любит меня больше, чем своих единоверок. Конечно, ей очень

хотелось, чтобы я уверовала. Сначала она наблюдала за мной. Она видела, что, придя с работы, я подолгу сижу неподвижно на нарах, прежде, чем лечь спать. Ей казалось, что я молюсь, но я просто была очень усталой, не хватало сил сразу раздеться. Она предложила мне прочитать Евангелие, своё сокровище, которое чудом удалось сохранить от лап надзирателей после всех обысков. Однажды книгу нашли и бросили в уборную, пришлось отмывать каждую страницу. Книгу я прочла. И тогда я дала ей это обещание и сдержала его. Я читала Евангелие впервые, непредвзято и с большим волнением. Христос мне очень нравился. Несколько раз переписывала Нагорную проповедь и дарила подругам к празднику. Но к вере так и не приблизилась, к большому огорчению Нади. Не вера появилась, а сожаление о неверии. Позволю себе привести стихи, которые я тогда написала:

Молитва

О Боже, я в Тебя не верю,
Не славлю мудрого Творца,
И для меня закрыты двери
В страну, где счастью нет конца.
Закрыты двери в край забвенья,
Где нет ни горя, ни утрат,
Где людям радость утешенья
Дарит Твой мудрый, кроткий взгляд.
Душе усталой, одинокой,
Слабеющей в мирской борьбе,
Так сладок веры сон глубокий,
Молитва жаркая к Тебе.
О Боже, дай блаженство веры,
Неверью моему прости,
И дух, измученный без меры,
Направь по верному пути.

Когда через три года разрешили переписку между лагерями и у меня с родителями завязалась переписка, я написала отцу в одном из писем что-то в таком роде: мы не знаем, где истина, мы не можем о ней судить, она где-то вне нас. Верующие люди считают Бога источником истины. Отец очень огорчился, решив, что я «впала в религиозность», и несколько писем посвятил подходящим к случаю разоблачениям. Мне не сразу удалось

убедить его, что он ошибается. Сам он до конца оставался атеистом. Перед смертью он попытался с помощью Евангелия свести счёты с прожитой жизнью, но отверг учение Христа так же решительно, как в молодости. Сказал: «Всех любить — значит никого не любить»[58].

И Оля, и Надя оказались потом с моей матерью в Мордовии. Мать не слишком беспокоилась за чистоту моего неверия и была очень рада, что я встретилась с такими хорошими женщинами. Олю я увидела в последний раз, когда освободилась и приехала к матери в Потьму на свидание. Я, со справкой об освобождении в кармане, ещё без паспорта, шла по зоне вместе с матерью и увидела Олю. Нам некогда было поговорить, и она только улыбалась со значением — она-то всегда верила, что свобода близка: они все тоже ждали приезда комиссии, которая должна была их освободить, — а я ни во что не верила. И в этот майский день 1956 года мне так живо вспомнились и наши разговоры в мае 1952 года на тайшетской пересылке, и неистребимая её улыбка на 50-тиградусном морозе зимой 1953 года: закутана до самых глаз, на ресницах иней, а глаза улыбаются.

Надю я больше не встретила. Мне было тяжело, что я не оправдала её надежд. Она не знает, как много для меня значила встреча с ней и с дорогой ей Книгой, а мне трудно было бы это объяснить не только ей, но и себе.

Были и несимпатичные верующие. Все сидевшие согласны, что таких особенно много встречалось среди свидетелей Иеговы. Это не потому, конечно, что вера влияет на людей, а наоборот, таки жестокие, человеконенавистнические верования привлекают, может быть, людей особого склада. Они вечно говорили об Армаггедоне, ожидая конца света, когда погибнут все, кроме них. Удостоилась я и их внимания. Одна из них сказала мне как-то: «Я видела сон об Армаггедоне, все погибли. Уцелели мы, и ты с нами». Объяснила она мне свою симпатию тем, что я еврейка, а они нас очень уважают. Боюсь, что я ответила ей с излишней резкостью. Другая «свидетельница» как-то выразилась весьма знаменательно. В ответ на обычный упрёк, что, мол, в Бога верите, а к людям относитесь плохо, она ответила, что служит Богу, а не людям. Не знаю, было ли это её собственное мнение или общая их установка. Я плохо разбиралась, чем отличается одна секта от другой. Думала, что впереди у меня так много лагерного времени, что всё успею узнать, и все песни выучить, и даже языки. К счастью, я ошибалась.

На пересылке в Новосибирске я встретила свою одноделку Галю. На воле мы не знали друг друга, но встретились, как друзья после долгой разлуки.

Перед арестом она училась в Ленинграде, а вообще жила под Москвой в Новогирееве. Родители её были вполне преданы властям. Мы много спорили, но это не мешало нам сильно привязаться друг к другу. В лагере она выглядела не на месте (если вообще можно кого-то представить на месте в лагере). С круглым лицом, наивными глазами, длинными косами, она даже одета была совсем, как её сверстницы на воле — когда начальство не запрещало ходить в своём. На неё обратил внимание начальник режима в Тайшете, вызывал к себе для разговоров, разрешил написать домой внеочередное письмо, и поползла о ней дурная слава. Но она была чистейшим человеком, самоотверженным в дружбе. Такими же были, как видно, и её партийные родители. Позже, посылая ей посылки, они клали что-нибудь специально для меня, а ведь могли бы ненавидеть одну из тех, кто сбил с пути их дочь.

Она умела и нашему жалкому быту придать видимость уюта. Всячески старалась порадовать меня, даже умудрилась испечь ко дню моего рождения пирог, и я, при всём желании, не могла бы за ней угнаться в этом отношении.

Мы вместе ехали от Новосибирска до Тайшета, потом её взяли на этап, и мы встретились только через год. Пробыли вместе несколько месяцев и снова расстались, а потом увиделись на несколько минут ещё через год, на сельхозе. Нас оттуда увозили, а её привезли. Снова мы встретились только на воле. И всегда мне приходилось сдерживаться, чтобы не оскорбить того, во что она продолжала верить. Как видно, XX съезд и развенчание Сталина поразили её и подорвали все основы, а потом примирили и с моими высказываниями. На воле всё было не так жгуче, не так актуально. Очень тяжело было прощаться навсегда, уезжая[59].

Стоит ли описывать подробно этап? О кораблях и портах Архипелага рассказано другими. Немного воображения — и понятно будет, каково это: ехать полтора месяца в столыпинских вагонах и теплушках, выгружаться на пересылках, устраиваться на нарах — ближе или дальше от параши, с уголовниками или без них, идти в баню в толпе голых женщин, а в дверях мужчина-банщик бдительно следит, чтобы не пронесли мы в баню своего белья для стирки — это не положено, но если попросить, то иной может и разрешить. Каково тащиться со своим узлом несколько километров от станции и знакомиться с овчарками, с этими неизвестно на что способными существами — идут сзади, полаивают, а может, и тяпнут при случае? И слушать «молитву» начальника конвоя, которую потом будешь слушать каждый день по несколько раз: «Внимание, заключённые! По пути следования идти, не растягиваясь, не разговаривать, с земли ничего не

поднимать, шаг влево, шаг вправо — считаю побег, конвой применяет оружие без предупреждения!» (Бывает, что и применяет).

Каковы эти регулярные шмоны, когда перед очередными воротами заставляют вытряхивать на землю всё из мешков, и если есть у тебя фотографии и письма (у меня пока ничего такого нет и ещё долго не будет) — думай, как их припрятать. Хотя всё это прошло цензуру, но захотят — и отберут.

И эти постоянные разлуки, разлуки с каждым встреченным человеком, вечный страх разлуки, когда, казалось, нечего тебе уже бояться. Но всегда есть, чего бояться, и есть, что терять. На этапах встречаются старые лагерницы, их куда-то везут. В те времена на настоящую волю никто не ехал, но некоторые ехали в ссылку.

Помню старую лагерницу на челябинской пересылке, с седыми короткими волосами и жёстким, загорелым лицом. Она кончила 10-тилетний срок. Выслушав, за что я сижу, она пробормотала неприязненно, что на месте моей матери убила бы меня своими руками. «Почему же, — поразилась я, — разве не оправдано враждебное отношение ко всем этим порядкам? Разве вам не на что жаловаться?» «Девчонка, что ты знаешь! Ты не знаешь, что мы пережили!» И она стала рассказывать то, что я много раз слышала потом: как их привозили зимой на пустое место, как они жили в палатках, сами строили бараки и натягивали колючую проволоку, а по ночам волосы примерзали к стене.

Старым лагерникам обидно, что нам гораздо легче, чем было им 8-10-15 лет назад. Они любят пугать новичков. Учат жить. Объясняют — что в лагере самое главное. «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Тут ты должен для себя решить, будешь ты жить по таёжному закону: только бы выжить, или следовать законам, что узнал с детства, в семье, в том, другом мире. Ведь хотя и говорится, что лагерь — это СССР в миниатюре, но не надо это понимать слишком буквально. Несвобода в политическом смысле и теперешняя ежеминутная несвобода — это всё-таки разные вещи. И хотя взамен мы получили абсолютную внутреннюю свободу, но я этого не могла оценить. Посадили меня так рано, что я не успела ощутить как следует, что такое внутренняя несвобода.

И ещё разные вещи — несвобода в тюрьме и в лагере. Эта новая жизнь после тюрьмы — люди, воздух, движение куда-то — заставляют притупившуюся мысль работать; и смотришь, слушаешь — и живёшь тем, что есть: без надежды, но умирать не хочешь. Что ж — другие живут, буду жить и я.

3. Тайшетская пересылка

Тайшетская пересылка — последняя остановка перед лагерем. Там мы пробыли недели две. Это — ещё лёгкая жизнь. Мы чинили огромные и безобразные ватные рукавицы, ходили по зоне, смотрели, расспрашивали, что это такое — трасса Тайшет-Братск. И — новые встречи. Встретились мы с Инной Эльгиссер. Сейчас она тоже в Израиле, вместе с другим нашим однодельцем, Гришей Мазуром. Рядом, в мужской зоне, в это время оказался отец Инны, который, окончив 15-тилетний срок, ехал в ссылку. Им разрешили десятиминутное свидание «без слов». Невозможно было не дать им говорить, но что они могли сказать друг другу за 10 минут?

От неё я много узнала о Борисе Слуцком, о Владике Фурмане.

Однажды в Иерусалиме я выступила в клубе для новоприбывших со своими воспоминаниями. Как всегда, преобладали пожилые люди. Одна из старушек, пришедшая просто так, как она ходила на все мероприятия, подошла ко мне и сказала, что она — тётка Фурмана, Анна Моисеевна Блюмина. Она приехала в страну несколько лет назад. Потом я её навестила, и она мне показала единственную сохранившуюся фотографию Владика — тюремную фотографию из дела[60], которую отдали его родителям в 1956 году, когда они освободились. Мать Фурмана была на приёме у генерального прокурора Руденко, спрашивала о судьбе сына, и он ей сказал: «Полина Моисеевна, их убили наши фашисты, что я могу вам ещё сказать?». Позже приехали в Израиль и родители Владика, и здесь умерли[61].

Вместе с Инной мы оказались в нашем первом лагере. Помню, как ужасно она страдала от укусов мошки, ходила вся опухшая, слепая, даже до столовой не могла дойти без посторонней помощи. Была она маленькая и, по-видимости, слабая, но как только становилось полегче — не унывала.

В Тайшете на пересылке мы встретили несколько «повторниц». Значение этого странного слова ужасно. Эти женщины повторно получили срок и снова ехали в лагерь. Как правило, им даже не предъявляли нового обвинения, а просто снова брали по старому делу, считая, как видно, что отсиженный когда-то 10-тилетний срок — это устаревшая мода. Другие, отбывая ссылку после первой отсидки, заработали там новый срок, обычно за «антисоветскую агитацию» — кому то рассказали о лагерях и выразили неудовольствие тем, что жизнь их загублена ни за что, ни про что.

Повторницей была Мирра Капнист, женщина

неопределённого возраста, худая, с резкими чертами лица. Предком её был известный русский писатель 18 века. В первый раз её посадили в 1934 году по «кировскому делу». Мне она рассказала, что в день убийства стояла с букетом цветов на остановке трамвая в Ленинграде. Там же оказался приятной наружности мужчина, также с букетом. Улыбнулись друг другу и обменялись букетами. Это оказался Киров, а её обвинили в том, что она с помощью манипуляций с букетом подала сигнал убийце. В Тайшет ей должны были привезти на свидание дочь, но Мирру вызвали на этап до её приезда, не помогли мольбы и истерики несчастной матери. Потом я встречала её на других колоннах. При мне она освободилась, ехала зимой в ссылку в Красноярский край. Она шла к вахте с мешком и деревянным чемоданом, какие делали работники хоззоны за 20 рублей, и вид у неё был чудной: на голове еле держалась кокетливая самодельная шляпка. Кто-то из женщин отдал ей тёплый платок.

С давних лет сидела тёща Бухарина, мать его второй жены, врач. Родство не афишировалось, было известно, что она — жена старого большевика Ларина. «А муж ваш не сидит?» — поинтересовалась я. «Мой муж похоронен у кремлёвской стены», — ответила она с достоинством. Напрасно я расспрашивала её, она о жизни в лагере не распространялась. Это была моя первая встреча с представительницей той, уже немногочисленной, прослойки бывших партийных дам, которые, как правило, не вызывали у меня большой симпатии, хотя и подумать страшно, как они настрадались. Ничего не могу сказать о ней лично, но обычно это были люди совершенно искажённых понятий. Они остались верноподданными. Вернее — так они говорили, а что хранили в душе, один Бог знает. Я считала, что они искренни, и удивлялась такому идиотизму, но моя мать, как и многие другие, была убеждена, что они притворяются, и, если бы не страх, могли бы и нас удивить запасом ненависти к режиму. Этот их страх — самое поразительное. Они всё в жизни потеряли, мужья их были расстреляны, дети в детдомах, а постарше — в лагерях и ссылке. Краткий промежуток между отсидками был у всех мучительным, но он всё дрожали.

Позже я встретилась с первой женой Бухарина, с сёстрами Зиновьева и Пятакова. Когда с 1954 года в лагере началась известная либерализация, они принимали самое активное участие в «общественной жизни», были членами всяких советов и комиссий и назойливо приставали, чтобы все подписывались на заём. Заработки были ничтожные; для покупки самой дешёвой облигацию, нужно было нескольким заключённым сложиться. Я отстаивала своё право вместо облигации купить в ларьке зубной

порошок, туалетное мыло и нитки. Они очень не одобряли моей позиции. Им по-своему хотелось меня спасти от растлевающего влияния контриков, но это было безнадёжно.

Эсфирь Исаевна Гурвич, первая жена Бухарина, показалась мне поначалу незаурядным человеком. Я так мало в жизни знала, а романтические представления о революционерах были слишком живучи, и я пыталась вызвать её на разговор о Бухарине, но она уклонялась, предпочитая обсуждать другие вопросы, например, чем набить матрац, опилками или стружками. Но всё-таки у нас были хорошие отношения. Через много лет, в 60-х годах, я снова увиделась с ней, уже глубокой старухой. В библиотеке, где я работала, я встретила дочь Эсфири Исаевны Светлану и вспомнила о её приезде к матери на свидание в 1954 году. Свидания им не дали. Дочь была за зоной, а мать залезла на крышу бани и пыталась её увидеть. Открылись ворота, проехала телега, запряжённая, как обычно, заключёнными-женщинами. Дочь стояла за воротами, а мать в зоне. Конвоир кричал «Не положено!», ругался, но несколько секунд не закрывал ворота, дал им посмотреть друг на друга.

Встретив Светлану в библиотеке, я передала привет её матери и вскоре получила приглашение прийти в гости. Эта встреча меня поразила. Я сразу поняла, что если и было что-то в этой женщине с гордым красивым лицом, то оно исчезло. Тогда как раз ходили слухи о возможной реабилитации Бухарина. Об этом я и заговорила, хотя лучше было бы спокойно пить чай и любоваться её новой квартирой. Она очень убеждённо (но искренне ли? Не боялась ли «провокации»?) доказывала мне, что такая реабилитация — несвоевременна теперь, когда в разгаре война во Вьетнаме, когда западный образ жизни оказывает вредное влиянии на нашу молодёжь и т. д. Под конец она заявила, что рада отсутствию при нашем разговоре её дочери, не такой испорченной, как я.

К этому же типу «несгибаемых», хоть и другого поколения, относилась Клара Соловьёва, дочь крупного партийного работника, расстрелянного по «ленинградскому делу». Я с ней встретилась сразу по приезде в лагерь, на 49-й колонне. Она держалась со мной очень отчуждённо, хотя из многих сотен женщин в лагере я была её единственной ровесницей. Мы поговорили с ней только один раз. Шли в одной пятёрке на работу (заключённых водили строем по пять человек в ряд), и, посмотрев на неё в профиль, я сказала, что она похожа на моего однодельца Бориса Слуцкого — я видела его только в профиль во время суда. Она ответила, что ей это совсем не льстит, что она осуждает нас за наше дело.

Она считала, что все, кроме неё, сидят по заслугам, ужасалась, что должна терпеть такое окружение. Она рассказала, что её совсем не допрашивали, ни в чём не обвиняли, просто дали 8 лет по статье 58-1в, как члену семьи изменника родине, и — об этом она говорила со слезами на глазах — даже не поинтересовались, какую большую комсомольскую работу она вела. Из деликатности я не спросила, как она относится к своему отцу, простила ли, что его расстреляли. Естественная неприязнь, вызванная её отношением ко всем окружающим и ко мне лично, мешали мне почувствовать весь трагизм её положения.

На пересылке было много самого разного люда. Большинство, как везде в это время, составляли украинки. Было много женщин и из Прибалтики, особенно литовок. Помню молодую литовку Бируте Линкайте без передних зубов и с переломанными ногами, на костылях. Во время следствия она выбросилась из окна кабинета, но только покалечилась. Потом мы с ней оказались в одной бригаде — несмотря на увечье, её отправили на земляные работы. Сидела она за сестру по имени Марите, крупную деятельницу подполья, тоже арестованную. Бируте боялась, что сестру расстреляли и просто клокотала от злобы, когда в лагерной столовой нам показывали фильм о счастливой жизни советской Прибалтики.

Помню на пересылке цыганку Ираиду из Шанхая. Вернулась, как многие эмигранты, на родину. Некоторых прямо от границы отправили в лагеря, а другим дали пожить какое-то время на воле, но они неизбежно попадали туда же — за антисоветскую агитацию.

Ираида не унывала, плясала посреди барака «цыганочку», рассказывала о жизни эмигрантов в Шанхае. Она лично знала Вертинского и поведала нам о нём много забавных историй. Нас повели в мужскую зону на концерт. Зрелище с непривычки было довольно жуткое: бритоголовые унылые артисты развлекали на допустимом расстоянии «дорогих женщин». Потом разрешили сплясать Ираиде. Она нам рассказала, как за кулисами её обступили артисты, каждый хотел хоть прикоснуться к женщине, а Ираида приговаривала: «Я вся ваша, мальчики!»

Итак, на тайшетской пересылке мы чинили рукавицы и слушали разные истории, лагерные и нелагерные, а иногда и стихи. Огромное количество стихов знала ленинградка Лидия Васильевна. Стихи — любимое развлечение и утешение лагерной интеллигенции. Лидия Васильевна читала и свои собственные сочинения, в которых фигурировал какой-то Альберт-баронет. И весь облик её был изысканный и почтенный. Я как-то сказала ей, что совсем не думаю о конце срока, ведь 18 + 25 это будет 43 —

ужас! Она возразила: «Почему же ужас? Вот мне — 43 года, это нестарый возраст»[62]. Через какое-то время, когда Лидия Васильевна была на рабочей колонне, к ней приехал на свидание муж, инженер из Ленинграда, но свидания, конечно, не дали. Инженер (не Альберт ли баронет?) залёг в канаве у дороги, по которой строем водили заключённых на работу, и пытался высмотреть свою жену. Но жену за зону не отправляли, она была инвалидом, ходила с палочкой.

В лагерях больше всего любят стихи Гумилёва — за их романтику, красочность, любят Блока. Очень популярно мандельштамовское «За гремучую доблесть…». Об этом поэте я прежде не слышала. Со своей стороны, я пыталась привить публике любовь к Некрасову, чью поэму «Рыцарь на час» я выучила в одиночке, но это плохо удавалось.

Я узнала много новых песен. Главное сокровище в этом жанре ждало меня впереди, когда я познакомилась и по возможности сблизилась с представительницами самой многочисленной лагерной прослойки — западными украинками.

4. Лагерь

49-я колонна

Покантовались в этапе — теперь давай работать. Нас предупреждали, что надо дорожить каждой минутой отдыха. Я знала, что работать мне будет тяжело — и от непривычки к физическому труду, и из-за тюремного истощения. Только один был у меня козырь — близорукость. Говорили, что на лесоповал меня не пошлют.

49-я — первая наша колонна. Нас прокомиссовали, с этой целью мы прошествовали голыми перед медицинской комиссией, состоявшей из трёх врачей — вольного и двух заключённых. Я ни на что не жаловалась, но надеялась, что мой вид сам за себя скажет: худая, с пятнами авитаминоза на лице, я казалась типичной «доходягой», но в целом была ещё довольно здоровой, хотя сил было мало. Врач оттянул кожу на спине и убедился, что настоящей дистрофии нет. Дали 2-ю категорию и Ире, и мне. Это действительно избавляло от лесоповала, но в лагере много другой, достаточно тяжёлой работы.

49-я расположена (была расположена. Нет её уже, слава Богу. После 1956-го года её уничтожили. Некоторое время там ещё находились уголовники, а потом работали вольнонаёмные на строительстве знаменитой Братской ГЭС) ближе к Братску, у реки

Анзёбы, притока Ангары. Место живописное, кругом тайга. Но сибирскую природу я не смогла оценить. И почти против воли запомнились грандиозные восходы и закаты, мощные сосны и лиственницы, яркие цветы — почему-то без запаха. Деревья и цветы — не в зоне, конечно. Это было время, когда приказали уничтожить в зоне любую травку — пусть гады-заключённые не радуются. Потом, постепенно, возобладали другие тенденции, и на других колоннах были клумбы с травой, а потом — и с цветами. Но меня это не волновало, как и номера на спине.

Дали нам казённую одежду. Всё было старое, даже бельё, а бушлаты — рваные, вата лезла из дыр. Ира переживала, я — не очень. Потом, постепенно, и я поддалась общей, неистребимой потребности женщин прихорашиваться, и последние две мои телогрейки, на этот раз первого срока, то есть совсем новые, доставили мне удовольствие, и я, как и другие, пришила хлястик, сделала карманы, и т. п.

Мы работали на земляных работах. Знатоки уверяют, что это тяжелее лесоповала — на земляных работах время идёт медленней. Рабочий день продолжался 10 часов, да ещё дорога на объект и обратно отнимала полтора-два часа. Началась жара, одолевала мошка. На моё счастье, меня она ела меньше, чем других, но вообще мошка — настоящий бич. Вольные в этих местах спасаются всякими мазями и хорошими накомарниками из тюля. Нам давали под именем накомарников балахоны из толстой материи, и только впереди был маленький квадрат из тюля. Было душно, мошка проползала даже через густые ячейки и жалила. Некоторые мазали тюль мылом, чтобы заклеить ячейки, и дышать было совсем скверно. Вместо брюк выдали белые мужские кальсоны. Мошка лезла под рукава, под штанины. От её укусов распухало лицо. Нам привозили на объект обед, и пока, бывало, проглотишь свою баланду, в миске полно мошки («как гречневая каша»). Эта дрянь попадала в нос и рот, и на вкус была сладкой от нашей крови. Чем больше человек кутался и потел, тем больше она жрала. Лучшим выходом было игнорировать её, одеться полегче и вместо накомарника надеть венок из травы или берёзовых веток. Мы строили железнодорожное полотно. Орудовали кирками и лопатами, возили землю на тачке. Бригадирша сидела поблизости, в шалаше. Чуть перестанешь шевелиться, из шалаша голос: «Майя, Майя, я не сплю».

Так как мы не укладывались в срок, не выполняли план, нас часто лишали выходных. За невыполнение нормы давали штрафную — уменьшенную — пайку. А кто мог выполнить норму? Это бригадиры должны были постараться, чтобы натянуть выработку. Они, конечно, «туфтили»[63], и бывали случаи, когда

за туфту давали второй срок. Другая моя бригадирша получила за это 5 лет вдобавок к своим уже отсиженным 10-ти. Я на штрафном пайке была весь сентябрь, и весь сентябрь не давали выходных, так что я очень «дошла». Нормальная пайка — 800 граммов. Кажется, что это очень много, но ведь хлеб — единственная настоящая пища, и когда его меньше, то постоянно хочется есть. Начинаются разговоры о еде. Раньше были — о вольной жизни, о кино. Цвет лагерного общества мог похвастать тем, что видел «Унесённые ветром» с Вивьен Ли, фильмы с Гретой Гарбо. А теперь говорят только о еде. Мне сказали, что, если после ужина, когда все бригадиры уже поедят, подойти к раздаточному окну в столовой и попросить, то бывает, что дают. Бригадиров кормили отдельно и давали не так, как нам, работягам, а по полной миске каши, а я, на штрафном, эту кашу или не получала вовсе, или она была без масла. Льняное масло поначалу казалось очень противным, а потом ничего, привыкли. Я пришла, и мне дали. Я пришла назавтра опять. Раздатчица сердито сказала: «Уходи, мне нечего тебе подать!» Я устыдилась и ушла.

В нашем лагере было много инвалидов. Нам казалось, что им живётся легко. Они обычно не работали, и у них иногда оставался хлеб, хотя получали они меньше нашего. Они раздавали его работягам. Придёшь к какой-нибудь инвалидке вечером вроде для культурного общения, сидишь и ждёшь, когда она предложит хлеба. А она под конец скажет: «Когда вам понадобится хлеб, вы скажите, у нас остаётся. Сейчас, правда, нет, но обычно бывает». Почему-то трудно было уловить благоприятный момент. Так сытый не разумеет голодного, своего же брата.

На работе нас плохо снабжали водой. Хотелось пить. Соблазняла вода, оставшаяся от дождя в вырытых нами кюветах. Крикнешь, бывало: «Девочки, здесь никто не ссал?» И пьёшь. Ничего. Вода коричневая, как какао, зато холодная. Во время эпидемии дизентерии в то лето воду кипятили в котлах. Я не заболела, хотя мне очень хотелось заболеть — не дизентерией, а чем-нибудь полегче. За весь срок у меня только дважды повысилась температура.

Если шёл дождь без перерыва несколько часов, нас снимали с работы, а день актировали. Мы радовались, хотя и знали — ближайший выходной наверняка отнимут. Привыкали жить сегодняшним днём. Когда, наконец, объявляли воскресенье нерабочим днём, то часто устраивали какое-нибудь мероприятие: то инвентаризацию — проверку казённого имущества — то морение клопов. Наши двухэтажные нары-«вагонки» надо было разобрать и сунуть в котлы с кипевшей, но изрядно остывшей

водой. Клопы не реагировали, а у нас несколько часов пропадало. Если изобретатель этого шаткого сооружения заботился о гигиене, он ошибся. Единственное преимущество «вагонки» перед сплошными нарами в том, что на некоторых колоннах, где хватало места, проходы между «вагонками» не забивались дополнительными досками, и у тебя был один ближайший сосед, а не два.

В выходной день иногда на несколько часов отправляли мыть полы в гарнизоне, где можно было почитать стенгазету для солдат и узнать, какие мы опасные преступники и только кажемся безобидными женщинами. Однажды в воскресенье нашу бригаду послали пилить дрова для гарнизона. Время шло, кончался выходной, а мы всё работали, и не было видно этому конца. Я возмущалась — всё ещё не разучилась возмущаться. И тогда украинка Люба прикрикнула на меня с большим раздражением. Мои напрасные протесты вывели её из себя.

Люба Совирко мне очень нравилась. Была она школьной учительницей, сидела, конечно, за национализм. Она рассказала мне грустную историю. Любила она в молодости поляка, но замуж за него не вышла, потому что он был не «свой». Потом её мужем стал какой-то украинский деятель, с которым она прожила жизнь, как и следовало по их представлениям. Но Казимира своего забыть не могла. О России говорила с гневом и горечью, теряя свойственные ей мягкость и юмор, считала, что русские ничего не дали миру, кроме насилий и зверств. Бесполезно было с ней спорить, называть прославленные имена — она их знала не хуже меня. Я никогда её больше не встречала и не знаю, смягчилась ли она или так и будет жить со своей ненавистью до самой смерти.

А в выходной так много надо было сделать. Во-первых, поспать. Усталость накапливалась. Ноги болели даже утром, перед работой, не успевали отдохнуть за ночь. Жили мы человек по сто в бараках. Ночью было очень душно. На ночь барак запирался, форточек в окнах не было. Особенно душно было на верхних нарах. Но усталость брала своё — спали крепко. А яркая лампочка под потолком привычна с тюрьмы. В выходной надо было постирать. К счастью, воды было вдоволь. На нашей трассе была 9-я колонна, знаменитая, кроме тяжёлых работ, и тем, что там не хватало воды. Все боялись этой колонны. Я туда не попала, хотя была уже в списках на этап. На следующей, 20-й колонне, я работала на слюдяном производстве и не выполняла нормы. Каждый начальник старался избавиться от плохих работников, и меня решили отправить. В последний момент меня вычеркнула из списков тогдашняя моя бригадирша, блатная Быкова, и потом

объясняла: «Я видела, как она работала на земляных: замахнётся киркой и вместе с ней валится вперёд. И пожалела». Быкова гордилась своим поступком, и совершенно справедливо. Конечно, я работала плохо. Как бы ни старалась, всё равно толку было мало. Кроме того, я вообще не понимала, зачем надо надрываться. На кого работаем? Мы же рабы, а труд рабов, как известно, не производителен. Я даже подозреваю, что железнодорожное полотно мы делали не по всем правилам. Надеюсь, там потом не было аварий.

Я работала, потому что заставляли. Для такой позиции, какая была у «монашек» — для полного отказа — не хватало твёрдости и убеждённости, что именно так надо поступать.

Отношение к работе в лагере бывает разное. Моя мать, например, хотела доказать, что евреи и интеллигенты умеют работать не хуже других. Поэтому она всё время была на общих работах, хотя по возрасту могла добиться инвалидности. В лагере сорокалетние ходили в старушках: так выглядели, так и чувствовали себя. Матери моей её теории и гордость не позволяли прибедняться.

Мне такой подход был абсолютно чужд. Боюсь, что честь еврейской нации я в этом пункте не поддержала. Зато никто не мог сказать, что я умею устраиваться. Правда, устроиться мне было некуда. Я с самого начала знала, что в «придурки» мне не попасть. Ничего я не умела, и когда приезжала на очередной лагпункт, мне не надо было выдавать себя за нужного в лагере специалиста. Никто бы не поверил, да и не приходило в голову.

Описанное Солженицыным во 2-й части «Архипелага ГУЛАГ» суетливое стремление энергичного зэка бежать, захватывать удобное место — было мне несвойственно. Мне не доставались ни удобные места на нарах, ни хорошая лопата, когда раздавали инструмент. А иногда и вовсе не доставалось никакой лопаты, и бригадир, чертыхаясь, придумывал, чем меня занять — работничек, трам-тарарам![64]

Были и такие, которые говорили, что трудом своим мы служим народу, осваиваем Сибирь и проч., значит, мы как-то связаны с жизнью на воле. Одна женщина, которая сама работала культоргом, даже говорила мне, что когда заключённым впервые разрешили подписаться на заём, «мы целовались от радости». Думаю, что такие теории рождались от сравнительно лёгкой жизни, которая была у «придурков». Правда, у них были свои проблемы, нам неведомые: над ними постоянно висела угроза отправки на общие работы.

И конечно, мне недоступна была увлечённость работой. Увлечённость впервые появилась только на слюдяной фабрике.

Но то была работа лёгкая, в тепле и чистоте, создававшая подобие нормальной жизни, когда не думаешь с тоской каждое утро о предстоящем рабочем дне.

На 49-й колонне все знали вольнонаёмного экономиста, временно занимавшего должность начальника КВЧ — культурно-воспитательной части, Августа Лефантьева, симпатичного молодого человека, хорошо относящегося к заключённым. Когда он шёл по зоне в конце дня, и женщины, вернувшись с работы, умывались полураздетые перед стоящими возле бараков умывальниками, он опускал глаза, а не таращился, как другие начальники и надзиратели. Он писал стихи и приносил в КВЧ, чтобы женщины прочли и оценили. Нам всем очень нравилось, хотя некоторые стихи казались слишком утончёнными для такого простого парня. И вдруг одна ленинградка, Фаина Борисовна Элиашберг, сказала мне, что стихи эти — плагиат, что их автор — поэт Владимир Муравьёв, погибший в ссылке в Сибири. Она хорошо знала Володю и всю его семью. Я ей не поверила, мне экономист тоже был симпатичен. Через много лет я убедилась, что это было правдой. Но, может быть, А.Л. считал, что, пропагандируя стихи погибшего поэта, даже под видом своих, он поступает правильно?

А у меня с этим экономистом был такой случай. Пришла в КВЧ одна заключённая и прочла ему свои стихи о родине. Слушать эту верноподданническую риторику было противно. А.Л. сказал, что ему не нравится. Женщина ушла, а я вдруг предложила дать ему почитать свои лагерные стихи. Я принесла всё, что написала, несколько листов обёрточной бумаги. Было там и о родине. На следующий день меня позвали к «гражданину начальнику», и он, попросив истопницу, возившуюся с печкой, выйти, сказал, что не может смотреть на мир моими глазами. Я стала горячо говорить, что тоже не могу смотреть его глазами на тайгу, не могу любоваться её красотой — «я здесь на каторге». Он довольно холодно сказал: «Я тоже здесь работаю. Впрочем, мы — по разные стороны баррикад, и не поймём друг друга. Вот, возьмите — он протянул мне пачку прекрасной бумаги, — и пишите другие стихи». Я взяла бумагу, сказала: «Не буду я писать другие стихи», — и ушла. Больше я не решалась даже заходить в КВЧ. Как видно, и он предпочитал со мной не сталкиваться.

Обычно от вольных мы были отгорожены стеной взаимной неприязни. По дороге на работу встречные избегали на нас смотреть. Наш серый строй в сопровождении конвоя и иногда собак был для них, наверное, чем-то очень неприятным, о чём лучше не думать. Настоящей ненависти я с их стороны не замечала.

Связи вольнонаёмных и начальников с заключёнными тщательно скрывались. Вольных за это сурово наказывали, у заключённых бывали неприятности. Об известных мне случаях я бы не решилась рассказать даже сейчас. Теоретически даже такой возможности не существовало, а с заключёнными-мужчинами мы были разъединены, однако на трассе имелись специальные «мамские колонны», где матери после родов жили несколько месяцев с детьми, пока кормили их грудью. Если по прекращении кормления женщинам удавалось задержаться на «мамской колонне», работая в обслуге, они иногда могли видеть своих детей, но, в конце концов, их неизбежно отправляли на другой лагпункт, а детей, когда они немного подрастали — в детские дома, если не находилось кого-то из родных, кто согласился бы их взять.

Вольные, с которыми мы сталкивались непосредственно, были нескольких категорий. Во-первых, начальники: начальник колонны, начальник режима, старший надзиратель, оперуполномоченный (коротко — опер, занимался вынюхиванием крамолы, но у нас, когда у большинства было 25 лет срока, ему особенно было нечего делать, разве что разведать, кто смастерил себе в хоззоне нож и загнать в карцер), начальник КВЧ, ЧИС (что-то, связанное со снабжением), начальник ППЧ (планово-производственной части), начальник санчасти. Первые четверо заведомо были «псы», хотя и с некоторыми вариациями. Были особенно свирепые. Известен своим садизмом был начальник 9-й колонны майор Онуфриенко, изрекший классическую фразу: «Мне нужна не работа ваша, а ваши мучения». Жуткого вида был на 49-й колонне её начальник, капитан Борчо. Он расхаживал по объекту — лесной делянке, где мы работали на шкуровке, — обдирали кору сваленных другой бригадой сосен — и был недоволен нашей неповоротливостью, с особой злобой смотрел, как работает полька Ванда, крайне худая и болезненная женщина. В ответ на его злобное бурчание я сказала, что даже лошадей сначала кормят, а потом заставляют работать, а мы здесь все недоедаем. Он отвернулся и отошёл, но меня не наказал. Прочие начальники могли быть сносными, а начальник санчасти, случалось, бывал и добрый, как наш на 49-й, бывший работник цирка, который по своей инициативе освобождал каждую женщину раз в месяц от работы. Его красивая жена Флора работала надзирательницей и тоже была не злой. Надзиратели и надзирательницы были обычно нашими самыми непосредственными врагами. Время от времени они совершали набеги на бараки, ходили в сапогах по нарам, ворошили наши вещи, и всё, что было, по их мнению, не положено иметь —

отбирали. В отличие от конвоиров, были они вольнонаёмными, обычно жителями окрестных деревень, шли работать в лагерь от тяжёлого труда в колхозе.

Конвоиры — наши ежедневные спутники на работу и с работы. В известной лагерной песне есть куплет:

> Конвой там — друзья заключённых,
> Там сын охраняет отца,
> Он так же свободы лишённый,
> Он должен стрелять в беглеца.

Хотя это мобилизованные парни, которые не вольны выбирать себе род службы, но обычно они вполне соответствовали своему назначению. На политзанятиях в гарнизонах им прививали ненависть к нам. Казалось бы — есть у них глаза, они должны были видеть, что собой представляют эти враги народа. Но воспитание приносило свои плоды. У нас был конвоир по фамилии Распутин, мрачного вида детина, про которого было известно, что он не так давно застрелил бригадира Бирюкову перед самым концом её 10-тилетнего срока. Она попросила разрешения у другого конвоира выйти за запретку, чтобы собрать цветы (пространство, где мы работали, обставлялось колышками с поперечной планкой, за них нельзя было выходить), конвоир разрешил, а Распутин, хотя и видел, что не бежит она, выстрелил и убил её. За убийство заключённого, вышедшего за запретку, конвоиру полагалась награда — месячный отпуск, 25 рублей и часы. Но Распутин, как говорили другие конвоиры, польстился не на награду. Он ненавидел заключённых. Теперь он не такой, понял, что поступил плохо. Товарищи его тоже осуждали, и когда он сопровождал наш строй, предупреждали: надо быть осторожными. Рассказывали всякие истории: как конвоир узнал в заключённом своего отца, а другой, говорят, узнав об аресте отца, застрелился прямо на вышке.

Бывало, что они дружелюбно с нами болтали, вопреки инструкциям, а однажды я видела, как конвоир, обленившись, попросил женщину понести его винтовку.

А со мной был такой случай. Настала осень. Мы больше не работали на дороге, ходили расчищать лес. Конвоир попросил бригадира дать ему в кострожоги самую молодую. Бригадир охотно отпустила меня. Костёр мой никак не разгорался, конвоир занялся им сам, а меня стал расспрашивать, за что я сижу. Я рассказала, он качал головой и удивлялся. А после обеда сказал: «Иди, укройся за хворост, поспи». Тогда, помню, я, шикарно устроившись, сочинила стихи — из тех, что дала экономисту. В

другой раз, с наступленьем больших холодов, мы возили в зону из лесу дрова, и другой конвоир, видя, как я мёрзну, всё приговаривал: «Сейчас разожжём костёр, согреешься». А потом, когда все устроились у костра, довольно заметил: «Ну вот, обогрелась, зачирикала».

Так что они тоже были разные. Но назвать их «друзьями заключённых» будет преувеличением. Большинство были тупыми, звероватыми, с убогой речью. По утрам, когда мы, ещё в темноте, строились у ворот на развод, до нас доносилось их пение — они тоже строем шли на свою «работу»:

Стоим на страже всегда-всегда,
Но если скажет страна труда…

И от этого монотонного пения становилось ещё тошнее.

Бывало, что конвоир, разоткровенничавшись с нашим братом или допустив какое-нибудь послабление (отправив письмо, купив что-то за зоной), тяжко за это расплачивался — на него доносили из нашей же среды. После этого он, наверное, с полным правом нас ненавидел.

Ещё выходной был нужен, чтобы почитать, в обычный день было некогда. В отличие от тюрьмы, в лагерях редко попадаются хорошие библиотеки. Приехав на новое место, устроившись на верхних нарах и выяснив, нет ли знакомых и вообще — москвичей, я отправлялась в КВЧ посмотреть книги. Обычно бывало какое-то количество советской литературы, неизменная «Даурия» Седых, которую я, из чувства протеста, так и не прочитала. Бывал Горький, Салтыков-Щедрин и другие классики. Всё жадно проглатывалось. Выясняла я, у кого какие есть свои книги. У украинок бывали Шевченко, Франко и Леся Украинка. Я учила наизусть отрывки из драматических поэм Леси Украинки и стихи Пушкина, которые позже мне прислали из Москвы. До 1954 года нам не положено было читать Ленина. Симпатичный экономист, исполнявший обязанности начальника КВЧ, объяснил мне, когда я спросила о причине запрета, что мы, заключённые, можем неправильно истолковать Ленина. И предложил вместо Ленина собственную книгу стихов Гейне. Удовлетворившись заменой, я всё-таки не оставила намерения продолжить своё политическое образование, и когда запрет был снят, добросовестно читала, но было скучновато. Интересными оказались статьи по национальному вопросу.

Мой собственный интерес к этому вопросу возник постепенно. Семья наша была ассимилированной. Мать смолоду порвала связь с еврейством, о местечке, где провела детство,

всегда вспоминала с неприязнью. Неприязнь эта оказалась устойчивой и не исчезла даже после того, как многое в жизни было пересмотрено и переоценено. Отец к своему происхождению был равнодушен. Со времён побега из ссылки и Гражданской войны числился русским — так было лучше для дела революции. За границей разве что китайцем не был.

В нашем доме разговоры о национальности избегались как неприличные. Ведь кто человек по национальности — неважно. Но, перестав быть евреями, мы неизбежно становились русскими — по складу личности, по склонностям и по образу жизни. Не абстрактно-советскими, а именно русскими, тем более, что слово «советский» ко времени моей юности лишилось в семьях, подобных нашей, всякого положительного смысла. Нам не нравились еврейские имена, они были неблагозвучны для нашего русского уха. Родителям всё еврейское напоминало убогую жизнь местечка, а для нас, детей, такое отношение было естественно. То, что во время войны погибли миллионы евреев, ужасало, как ужасает злодейство, на кого бы оно ни было направлено.

Так в нашей семье, где настолько было развито понятие о долге и чести, что отец мне, шестнадцатилетней, перед своим арестом сказал: «Я знаю, что и ты будешь сидеть. Но никогда не примиряйся с несправедливостью», — совершалась большая несправедливость, но мы этого до поры не замечали.

А на дворе стояли 1948, 1949, 1950 годы.

Получая паспорт, я охотно предпочла записаться русской: отец так и остался по документам русским, и я по закону имела право выбора. Разоблачил меня следователь, не поленившись выяснить, кем на самом деле был по национальности мой отец, и угрожая исправить моё отчество с «Александровны» на «Израилевну». Унижение, пережитое в этот момент, было очень сильным. Мне больше не хотелось, чтобы меня принимали за русскую, и это, наверное, было первым толчком к развитию процесса, который продолжается поныне.

Конечно, проявления антисемитизма меня возмущали. Что за вздорные, бесчеловечные теории! Ведь люди по-настоящему отличаются друг от друга не по национальному признаку, а по тому, добрые они или злые, умные или глупые и т. п. И объединяет людей или разводит не это. Мне возражали: антисемиты, однако, объединяют евреев по признаку их еврейства, не интересуясь их человеческими различиями. Но мне казалось, что логике антисемитов я не обязана следовать. Со временем я убеждалась, что логика антисемитов нас тоже к чему-то обязывает, но в те лагерные годы была тверда в своём горячем интернационализме, и это определяло и моё отношение к людям,

и всё восприятие жизни.

Прочитав книгу А.И.Кауфмана «Лагерный врач»[65], я поразилась, до какой степени расходятся наши свидетельства. Он сидел, как и я, в начале 50-х годов, и, судя по его воспоминаниям, и в эти годы среди лагерного начальства встречалось много евреев. А я, кроме добряка-начальника санчасти на 49-й колонне, не встретила ни одного. По моим наблюдениям, в этот период в системе МГБ-МВД вообще было очень мало евреев, во всяком случае, у нас на трассе. Может, и остался кто-нибудь на больничных лагпунктах, но я там не побывала. А может быть, я просто не заметила евреев-начальников, как не обращала особого, заинтересованного внимания на евреев-заключённых. Сионистов я вообще не встретила, но слышала, что на нашей трассе они были. Мне, например, рассказывали о молодой сионистке Нюсе Рабинович, но большого интереса я к этому не проявила. Мне было совершенно непонятно, как можно стремиться уехать в Израиль, казалось, что я не имею к этой стране никакого отношения. В лагере иногда обсуждался вопрос: если была бы возможность эмигрировать — вы бы уехали? Я бы предпочла любую волю тюрьме, а моя подруга Галя говорила, что лучше отсидела бы свой 10-тилетний срок.

Больше всего евреев я встретила в лагере среди наименее мне симпатичного слоя бывших партийцев. Но даже немки были мне понятнее и ближе этих людей. Было несколько евреев среди инвалидов, в том числе жена поэта Фефера. Помню, как она возмущалась тем, что антисемиты считают евреев хуже других народов. «Как можно один народ считать хуже другого? Евреи — не хуже других. Если на то пошло — они лучше!» Она не знала тогда ничего о судьбе мужа. А он в то самое время, летом 1952 года, когда мы с ней беседовали, дожидался в камере смертников своего страшного часа — или уже погиб.

Инженер с завода им. Сталина Шустер рассказала, что там посадили много евреев по обвинению в национализме. Она мне особенно была неприятна своими патриотическими высказываниями. Встречала я и просто еврек — москвичек, ленинградок и из других городов, но еврейского в них осталось — лишь фамилия и семитская внешность. Почему меня должно было это интересовать? Воистину они были не лучше и не хуже других.

Подружилась я с одной немецкой еврейкой с очень драматичной судьбой. Семью её немцы вывезли в Польшу, в гетто Ченстохова. Она рассказывала мне о жизни в гетто, о восстании его обитателей. Отец там погиб, а они с матерью бежали с помощью поляка, её будущего мужа. После войны вернулись в Германию. Потом её посадили «наши» за визиты в Западную зону,

где у неё оказался знакомый, американский или английский полковник — то, что немки с грустным юмором называли «бисхен шпионаж». Но никакого шпионажа, как почти во всех подобных случаях, не было. Рита просто любила общество интересных, блестящих людей. «Ненавижу несчастных», — говорила она, и после некоторого препирательства со мной соглашалась изменить суждение: не «несчастных», а «несчастье». Русские песни казались ей слишком грустными. Любимым выражением было «фабльхафт люксус» — баснословная роскошь. На нашей же колонне, в инвалидном бараке, жила её мать, над ними постоянно висела угроза разлуки: родных в лагере разлучали. Но у них были разные фамилии, и им везло больше других. Были они «лицами без гражданства», и когда в 1954 году иностранцев освободили, они остались. Потом я потеряла её из виду. Как это часто случается, судьба её была не по масштабу личности. «Жертва нацизма и коммунизма» — как она себя называла — была, по сути, маленьким человеком. Бедная красавица Рита, где она теперь?

Еврейство своё она сознавала как проклятие, скрывала его, дружила обычно с немками, которых всё-таки предпочитала всем остальным. Она мне говорила, что в Германии антисемитизм насаждался сверху, а в России свойственен самому народу. Русских считала варварами.

Описывая последние месяцы перед смертью Сталина, Кауфман вспоминает о взрыве антисемитизма со стороны начальства и заключённых как реакции на дело врачей. Ничего подобного я не видела. Хорошо помню, как приходили в КВЧ, читали газету о врачах-убийцах, о буржуазном националисте Михоэлсе, агенте «Джойнта». Читали с ужасом и проклятьями, но — не по адресу евреев. Всем было ясно, что это очередной фокус МГБ, что врачи невинны.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что идеологическая, так сказать, неприязнь, т. е. направленная не на отдельных лиц, а на народ, в лагере была больше выражена по отношению к русским, чем к евреям. Хотя в этот период на Украине ещё попадались следователи-евреи, но их было не так много, и в целом украинцы, прибалты и прочие народы считали своими врагами русских. У немок были для этого особые причины: они помнили дни разгрома Германии. Бытовало фольклорное выражение, что все немецкие женщины от 7-ми до 70-ти лет были изнасилованы нашими солдатами. Случалось слышать рассказы немок о собственном опыте, и нельзя было не верить — такое не сочиняют.

Чаще приходилось защищать от огульных обвинений русский народ, чем евреев. Евреев ненавидели заодно с русскими как

представителей власти.

Не хочу впадать в распространённую ошибку, утверждая: антисемитизма не было, потому что я его не испытывала. Отношение ко мне заведомо не могло быть враждебным, какие бы настроения ни преобладали. Женщины жалели меня за молодость, никакого положения я в лагере не занимала, т. е. была безвредной (да и «бесполезной») и ни у кого поперёк дороги не стояла.

Вспоминаю несколько антисемитских выходок и по отношению к себе. Дневальная из блатных назвала меня жидовской мордой — я прошла нечаянно по свежевымытому полу в грязных ботинках. Я ответила, что я уже 20 лет жидовская морда — ну и что, при чём тут пол? В другой раз, во время Пасхи, когда я в приподнятом настроении гуляла по зоне и об одном лишь беспокоилась — как ответить, если мне кто-нибудь скажет: «Христос воскрес», я же не имею права отвечать «Воистину воскрес», если я не верю? И, конечно, подошли ко мне и произнесли, улыбаясь, эту фразу, и пришлось мне кощунственно ответить — куда денешься? В эту Пасху моя соседка по нарам, молоденькая украинка, совсем дикое существо, весь день на меня злобно косилась и время от времени бурчала, что евреи, дескать, Христа распяли. Я не могла на неё сердиться. Когда украинки приглашали меня на свои праздники, называя «наше кудлате жиденя» и удивляясь, что их рождественские колядки у меня так хорошо получаются, когда Надя дарила мне в эти дни подарки — меня беспокоил не «еврейский вопрос», а моё неверие. И я всегда поражалась, что это неверие их не отталкивает.

Настоящее юдофобство я встретила, увы, в интеллигентной среде, преимущественно русской, в той среде, к которой считала себя принадлежащей, не зная другой. И самое болезненное было — выслушивать антисемитские высказывания от друзей — а это бывало и в лагере, и после. Никогда не забуду очередного этапа, когда мы лежали в теплушке на нарах, и очень дорогая мне подруга, тоже привязанная ко мне, долго-долго говорила мне ужасные вещи про евреев, главное, о том, что они плохо воевали. У меня, как и у неё, погиб брат на фронте, воевал мой отец — пошёл на фронт добровольцем и был тяжело ранен, а из другой родни — кто погиб, кто покалечен. Я чувствовала страшную несправедливость её обвинений, но она была «взрослой», а я так мало знала и могла только затаить на всю жизнь обиду, несмотря на пуды соли, съеденные вместе.

Мне было подарено в лагере больше любви, чем я способна была вернуть, но антисемитизм, хоть и единичны были его проявления и выражался он безлично — тяжко ранил. Возможно,

эта обострённая чувствительность связана с ощущением собственной вины — я ведь знала, что мой отец еврей, но предпочла когда-то считаться русской. И не из трусости. Быть «дочерью репрессированных» — куда больший изъян, чем быть еврейкой, но мне бы в голову не пришло отречься от родителей для облегчения жизни. Но еврейкой я себя не чувствовала, оттого и не чувствовала до поры позора отречения. Тем острее реагировала потом на проявления антисемитизма. В каких отношениях находится эта реакция с сионистской идеей, было прочувствовано гораздо позже.

Как бы то ни было, и в лагере, и на воле я не сходилась с людьми по национальному признаку. Связи возникали по своим собственным законам — по законам человеческой симпатии.

В связи с еврейской темой вспомнилась мне история румынки Лауры — Ларисы Фоминичны Кришталюк. Мы были вместе на нескольких колоннах, но не дружили. Причина тому — её тяжёлый характер и замкнутость. Кроме того, я помнила, с какой злобой она однажды говорила о евреях. Её часто принимали за еврейку, и тем обиднее ей было.

Однажды, не находя другого собеседника, она поделилась со мной своим горем: от неё отказалась дочь. В первый раз Лауру арестовали, когда «наши» пришли в Бессарабию. Она приехала из Бухареста к родным и вскоре оказалась в Сибири. Её двухлетняя дочь Адриана попала в детдом, где-то сгинул муж. Отсидев 10 лет, она разыскала дочь и прожила с ней года два в ссылке. Потом её снова забрали, и дочь снова оказалась в детдоме. Оттуда она сначала писала матери нежные письма с такими выражениями, как «святое слово „мать“», а потом вдруг сообщила, что её приняли в комсомол и она решила порвать всякую связь с ней как с врагом народа, потому что родина ей всего дороже. После детдома она оказалась в ремесленном училище. На фотографии, которую показала мне Лаура, была изображена 17-летняя девица в шинели и грубых башмаках — впрочем, не хуже, чем были у матери. Лаура была в отчаянии, тем более, что жаждала чем-нибудь помочь дочери и не могла: дочь не хотела её знать. Она показала мне мешочек сахару, который скопила за много месяцев, отказываясь от лагерной пайки. В этот же мешочек складывала она каждую конфету, которой её угощали. И однажды со стыдом призналась, что истратила часть сокровищ — понадобилось вставить зубы.

Когда я стала переписываться с отцом, мы с Лаурой решили, что как посторонний и пожилой человек он мог бы повлиять на Адриану. Отец попробовал её образумить, но напрасно. Лаура освободилась, приехала в Томск и пришла в Геологический

институт, где училась дочь. Директор института вызвал Адриану и сделал ей внушение. В 1956 году Лаура не была врагом народа ни для директора, ни для прочих граждан, только для родной дочери, которая отказалась с ней разговаривать. Так они жили несколько лет в одном городе и, когда встречались на улице, дочь отворачивалась. Мать же продолжала искать возможности ей помочь. По просьбе Лауры я посылала из Москвы редкие книги по геологии по каким-то посторонним адресам, откуда их пересылали Адриане. Потом Лаура связалась со своей румынской роднёй, стала получать посылки и всё пересылала дочери. Иногда она слала деньги мне («Саше — моему сыну — на конфеты»). Напрасно я просила этого не делать. В ней жила неистребимая потребность дарить, отрывать от себя.

Подруги осуждали Адриану, но она была непреклонна. Окончив институт, уехала из Томска в неизвестном направлении, и мать, несмотря на все усилия, не смогла её разыскать. Тогда Лаура решила вернуться в Румынию, к сёстрам. После долгих хлопот ей это удалось. Но и на родине она не нашла покоя: буржуазное благополучие родни отталкивало её, с тоской вспоминала она Россию и встреченных там прекрасных людей. Узнав, что я уехала в Израиль, она осудила меня за этот шаг, хотя, конечно, пожелала счастья. Нашему знакомству много лет. Я помогала ей, чем могла. Она платила мне со всей щедростью одинокого, несчастного человека. О нашем первом разговоре с ней — о евреях — я не забыла. Но впечатления о нём и причинённая им боль, не исчезая, отступили, оттеснились на второй план.

42-я колонна

Осенью 192 года был этап с 49-й колонны на 42-ю. Туда отправляли слабых работников. Был это инвалидный лагерь, где мы, трудоспособные, обслуживали себя и несколько сот инвалидов. С начала ноября мы узнали, что такое сибирские морозы. Доходило до 58 градусов, но нас в любую погоду выгоняли из бараков. Вообще при температуре ниже 40 градусов за зону не посылали, но для нас предела не существовало: нашу работу как бы и за работу не считали. Мы спасались тем, что забегали в обогревалку, если работали в хоззоне, или в барак, если, не придумав ничего другого, нас просто посылали разгребать снег.

По прибытии на 42-ю произошёл такой эпизод. Нас заперли в бараке, так как заключённых-мужчин, живших здесь до нас, ещё не увезли. Подошли к дверям несколько мужчин и отодвинули наружный засов. Но мы заперлись изнутри, так как нам внушили надзиратели, что если мужчины ворвутся — это очень опасно: они ведь много лет не видели женщин. Мужчины стучали, просили открыть дверь, чтобы одним глазом на нас взглянуть, а мы испуганно молчали. Наконец, я решила, что всё это неправда, что нам о них говорят, и отодвинула засов. Несколько человек вошли, озираясь, как будто тоже с испугом. Они ходили между вагонками, присаживались на нары и говорили нам с упрёкам: «Товарищи женщины, как вам не стыдно нас бояться, разве мы звери?» Только они стали нас расспрашивать — откуда мы, искать землячек, как ворвались надзиратели и их выгнали, а нам было стыдно, что мы поверили псам, настраивающих нас против наших же братьев.

Мужчин мы видели обычно издалека, как они идут сплошной серой колонной — бритоголовые, одетые ещё более убого, чем мы — у нас хоть бывали пёстрые платки и блузки, если начальство позволяло выходить за зону в своём. На них конвой чаще кричал, громче лаяли собаки, и они казались ещё более забитыми и покорными, чем мы. Мы их жалели, а они нас. Иногда удавалось поговорить с ними на этапах и на пересылках. Позже они приезжали к нам в составе культбригады. Некоторые расконвоированные женщины встречались с мужчинами за зоной. Бывала переписка, если они работали поблизости от нашего лагеря.

Однажды кто-то принёс в барак записку, в которой некий Гена предлагал любой из нас начать с ним переписку, так как он

соскучился по женскому теплу. Я ему ответила. Он прислал фотографию и написал, что сидит по «военной статье» и имеет возможность ходить за зону без конвоя. Я тоже послала ему фотографию — тогда, в 1954 году, можно было сниматься, — но написала, что у меня 58-я статья, 25 лет сроку, и за зону меня без конвоя не пускают. Он ответил, что на снимке у меня симпатичный и интеллигентный вид, что на воле у него была знакомая, похожая на меня, но жизнь наша слишком тяжела, чтобы переписываться без надежды на встречу. На том дело и кончилось, и осталась у меня на память фотография: парень в кепке и безрукавке — принарядился для снимка.

Здесь, на 42-й колонне, я встретилась с Верой Прохоровой. Пришёл очередной этап, и в столовую потянулось новое пополнение. Вера выделялась высоким ростом, шла, прихрамывая на обе ноги — обморозила в этапе. Из-под нахлобученной мужской ушанки глаза глядели задумчиво и отрешённо.

Мне сказали, что она из Москвы, и я пошла вечером к ней в барак поговорить. Скоро мы подружились. Я узнала поразительную историю её ареста. И всё в ней меня поражало, начиная с происхождения. С отцовской стороны её предки — всероссийски известные фабриканты, со стороны матери — дворяне. Были среди её родичей известные писатели, артисты, учёные. Пастернак был её другом, и художник Фальк, и другие замечательные люди, чьи имена я в первый раз от неё услышала.

Она была религиозна, и мне было легче понять с её помощью высоту религиозного сознания. Я почувствовала в ней утончённость большой европейской культуры, которую получаешь по наследству. В юности Вера была комсомолкой, проклинала своих предков-капиталистов, за что, как она считала, и покарал её Бог тюрьмой. Я помалкивала, но удивлялась такой логике: как это Он и наказал, и наградил нас всех здесь одинаково — тюрьмой! Что не мешало ценить, с каким исключительным смирением и кротостью, она переносила заключение. Она казалась мне похожей на христианскую мученицу, представлялась воплощением добра. Она стремилась творить добро, бесконечно привлекала к себе людей, но её не хватало на всех, кто к ней тянулся. Я впервые столкнулась с особым явлением: добротой из принципа, которая была выше человеческих возможностей.

История её ареста представляла собой нечто из ряда вон выходящее.

Был у неё друг, композитор Шуринька, известный и теперь. Познакомилась она с ним в трудный период своей жизни, после разрыва с любимым человеком, тоже музыкантом. Визиты

Шуриньки, проникновенные с ним беседы, когда он глядел на неё и бормотал из А.К.Толстого: «Таких очей, благих и ясных, никто не видел никогда» — очень её утешали. Он был утончённым человеком, его волновали, например, проблемы предательства, личность Иуды Искариота. Он соглашался с толкованием образа Иуды, предложенным Леонидом Андреевым, по которому Иуда любил Христа. Были у Шуриньки и неприятные черты. Известно было, что он жесток с влюблёнными в него женщинами, что брошенная им, одна девица покончила с собой. А ещё он был морфинистом. Чаще всего в их уединённых беседах Шуринька поносил власть. Формалист в музыке, он имел много неприятностей по профессиональной линии и вообще был крайне нелоялен. Он, бедный, просто жить не мог — так его всё это душило. Верочка, будучи женщиной, считала, что в жизни есть много другого, заслуживающего внимания, кроме власти — Бог с ней совсем! Например, любовь. «Ах, что — любовь? Нет любви!» — проповедовал Шуринька. «Как мне вас жаль», — сокрушалась Верочка. Впрочем, до поры всё было увлекательно и мило. И Вера ему сказала: «Вы сыграли в моей жизни необычайно благотворную роль», — и вспоминала потом, как дико он на неё взглянул при этих словах. Итак, Шуринька регулярно к ней ходил, носил цветы и высказывался в определённом духе. А Верочка тоже порой не скрывала своих взглядов, да и взглядов своих знакомых. Например, Шуринька — опять о предательстве: «Как можно на допросах говорить неправду? Ведь лгать же нехорошо?» И Верочка с убеждением говорила: «Глядя в глаза солгу, если из-за такой „правдивости“ человек пострадать может!» Это «глядя в глаза» очень веселило потом следователя. Короче, Верочку посадили. И вот постепенно, в ходе следствия, она с ужасом убеждалась, что доносил на неё не кто иной, как её драгоценный друг — все беседы с ним происходили с глазу на глаз. Была ещё у Веры надежда, что у неё в комнате пристроили магнитофон, но по одной детали она поняла, что магнитофон тут ни при чём: имя её другого знакомого музыканта Тошка, а следователь, уличая, произносил «Томка», и ошибка такая получается, если следователь плохо разобрал донос стукача. И свидетелем по делу Шуринька не был — как и полагалось сексоту, остался в тени. Впрочем, следователь и не скрывал этого обстоятельства и своего злорадства: «Нечего было, Веруня, связываться с жидами!» Увы, Шуринтька был еврей. Еврей да ещё формалист — не было ему ходу. И с жильём было плохо. Только перед самым арестом Веры получил прекрасную квартиру на Ново-Песчаной улице. Всё следствие Вера проплакала — от нестерпимой обиды. И мечтала, что если освободится (дали ей 10

лет, хоть ни в чём она не призналась) и встретит его случайно, то обязательно спросит: «А цветочки тоже МГБ оплачивало?»

После ареста Веры он продолжал ходить к ним в дом, а услышав о приговоре, грустно вздохнул: «Мы потеряли её на много лет!» Но при первой же возможности Вера написала сестре, воспользовавшись как шифром бытовавшим в семье жаргоном, какую роль сыграл Шурик в её судьбе. Холодно встреченный в очередной приход, он больше не появлялся.

Я освободилась раньше Веры и сразу же узнала в справочном бюро адрес Шуриньки, благо хорошо запомнила, как его зовут: Александр Лазаревич Локшин.[66] Я написала ему письмо, выражая своё презрение. Когда я поделилась на этот счёт с отцом и показала письмо, он его порвал и сказал: «С предателями не переписываются, их убивают. Если хочешь, пойдём к нему, и я его убью». Но об этом я не могла и помыслить. Какое убийство! Много ли в нашем кругу били стукачей?

Слышали мы потом, что уличать Локшина приходил посаженный им же А.С. Есенин-Вольпин. Локшин вышел к нему с младенцем на руках, рядом суетилась ничего не ведающая жена, и у Алика пропал весь энтузиазм.

Через много лет мой муж А.А. Якобсон, хорошо знавший верочкину историю от неё самой, работал учителем литературы в школе для математически одарённых детей. И по своему предмету курс построил так, чтобы дать возможность детям проявить большую самостоятельность мысли. Он приносил домой сочинения своих учеников — много интересных работ. Замечательно написал восьмиклассник Саша Локшин о поэзии Заболоцкого. Фамилия Локшин не задела нашего внимания — мало ли Локшиных! Потом мальчик опасно заболел, и муж пошёл его навестить вместе с одноклассниками, взяв в подарок для Саши томик стихов Пастернака, с трудом добытый мною у знакомой продавщицы. По дороге он понял из разговора с ребятами, в какой дом он идёт. Но его ждал больной мальчик, повернуть назад было невозможно. Придя в дом, он не мог вести себя иначе, чем было естественно в такой ситуации — мальчик ничего не знал об отце. Пили чай, беседовали. Всё-таки муж не удержался, ввернул несколько слов с подтекстом, понятных лишь Александру Лазаревичу. Говорили о самовыражении художника в искусстве. Локшин утверждал, что искусство объективизировано, отвлечено от личности художника и выражает реальный мир, а не душу человека. А муж в ответ: «Но если у художника, допустим, культ Иуды Искариота — должно это сказаться в его творчестве?» И ещё, перед самым уходом: «А у нас с вами общие знакомые — Вера Ивановна Прохорова и Александр Сергеевич Есенин-

Вольпин. Привет вам от них». Тот поглядел стеклянным взглядом и ответил: «Спасибо».

Муж сказал, что Локшин безобразен: шея морщинистая, черепашья, так и хочется её раздавить. Однако, ушёл восвояси — ввиду всё того же, хоть и подросшего, младенца.

Года два собирался муж открыть глаза мальчику на прошлое его отца. Наконец, Саша сам подошёл к нему за объяснениями — до него дошёл слух, что Анатолий Александрович плохого мнения о его отце. Муж ему рассказал всё, что знал, и посоветовал обратиться, так сказать, к первоисточникам — к Вере Ивановне или Вольпину. Мальчик ответил: «Я это сделаю, но не теперь. Мне скоро поступать в университет на мехмат, где Вольпин имеет большое влияние, он может мне навредить». Больше говорить было не о чем[67].

Коллеги знали о прошлом Локшина и не любили его. Но, помню, что фильм в сопровождении его музыки имел большой успех — с чудесной природой, трогательными оленятами.

Наконец и я его увидела. Пошла с сыном на концерт в Большой зал консерватории, и всё второе отделение звучала его музыка. Я слушала с отвращением. Музыка казалась мне бесчувственной, деревянной. После концерта на аплодисменты вышел композитор. Он кланялся, как заводная игрушка, и казался мне не человеком, а куклой. Я столько лет его ненавидела, часто представляла себе этот момент. Шла по проходу к сцене и думала, что подойду и скажу ему «Иуда». А он всё кланялся, как заводная игрушка. Этот сверхъестественный злодей был просто нелюдь, ничто. И у меня вместо гнева образовалась пустота.

Несколько лет назад в Иерусалиме побывал Р.Баршай и пригласил меня на свой концерт, чтобы поговорить о Локшине. Опасаясь, что от меня, через русский журнал, где впервые были напечатаны эти воспоминания, пойдут порочащие музыканта слухи, он напомнил мне за кулисами, что «гений и злодейство — две вещи несовместные», а Локшин — гений и потому не мог быть стукачом. «Я кое что понимаю в музыкальных гения». «А я понимаю в стукачах».

Баршай напомнил также, взывая к милосердию и цитируя Тацита, какое страшное в России было время. Но я не участвую в кампаниях, тем более в музыкальных, и не пишу историю страны. Я просто рассказала об одном предательстве[68].

Стукачи, которые мне встречались в лагере, были, как правило, жалкими существами. Они редко могли совершить крупное предательство, в основном, гадили по мелочам. Мне казалось, что подлое ремесло написано на их лицах, и совсем не надо их бояться — они все наперечёт, увидишь — и отвернись. И

25-тилетний срок давал большое преимущество — что ещё можно было намотать? Стукачи были «бытовым явлением», неизбежным злом в лагере, но куда большим злом было бы не доверять людям из страха нарваться на стукача.

А в лагерях более раннего времени, когда 25-тилетники ещё не составляли большинства, стукачи были большим злом. Нередко бывало, когда перед самым концом срока создавалось новое дело, «наматывался» новый срок.

О процессе вербовки я знала понаслышке. 25-тилетникам реже предлагали стучать, чем малосрочникам. Однако, венгерка с 10-тилетним сроком (о ней расскажу дальше) в ответ на предложение «помочь», рассмеялась оперу в лицо, и ничего ей за это не было. Опер у нас воспринимался скорее, как комическая фигура, а на 42-й колонне даже по виду был шут гороховый.

На этой инвалидной колонне произошло у нас радостное событие — мы поставили пьесу Островского «Снегурочка». Время от времени возникала проблема — участвовать ли в лагерной самодеятельности? Обычно была какая-нибудь дама из Москвы, кровно заинтересованная в том, чтобы происходили культурные мероприятия, иначе она бы не удержалась в должности культорга. На 49-й, где была такая трудная жизнь, желающих после работы заниматься «искусством» было мало. Помню, как чуть не со слезами меня просили не отказываться от репетиций. Поскольку я жаловалась, что нет на это сил, культорг добилась для меня недели УП, что, кажется, расшифровывается как «упадок питания» — блаженное состояние, когда не работаешь, а кормят получше. Но никакой самодеятельности на 49-й всё равно не получилось. А на 42-й был хор, которым руководила настоящая музыкантша. Пели мы патриотические песни, от которых тошнило, пели про любовь — всё было дико, но хотелось развлечься.

«Снегурочка» нам удалась. Нас освобождали от работы, и мы много и добросовестно репетировали. Вера играла царя Берендея, я — пастуха Леля. Начальник КВЧ, посмотрев, сказал с восхищением: «Кто мне ндравится, так это Лель». Мы играли с увлечением. Красота романтической сказки, поставленной на жалкой сцене в лагерной столовой, захватывала и умиляла. Те, кто видел этот спектакль, не забудут, какой надеждой звучал голос Веры:

Изгоним же последний стужи след
Из наших душ и обратимся к солнцу,
И верю я, оно приветно глянет
На преданность покорных берендеев.

Весёлый Лель, запой Яриле песню
Хвалебную, а мы к тебе пристанем,
Палящий бог, тебя всем миром славим,
Пастух и царь тебя зовут, явись.

Но в дальнейшем всё чаще хотелось уклониться от участия в лагерной самодеятельности. Росло сознание того, что мы, «артисты», вносим свой вклад в общее грандиозное надувательство. Когда мы на сцене изображали мужчин, а те на своих колоннах — женщин, как ощущалась эта подлая нелепость! Позже была на нашей трассе настоящая культбригада из профессиональных артистов. Там мужчины и женщины были вместе. Многие им завидовали — лёгкая, интересная жизнь. Но чего это стоило, сколько было драм, связанных с подневольным положением, могу только догадываться. Как-то они к нам приехали, и я увидела двух дочерей атамана Семёнова — красивых девушек, отца которых повесили, у каждой по 25 лет сроку, а они играют и поют. Я иногда хорошо понимала «монашек», для которых любое сотрудничество с властями было от Антихриста. Но мы были не монашки, а обыкновенные люди, без чётких идейных установок, просто всего лишённые мужчины и женщины, живущие врозь. И что делать в лагере хорошо, а что плохо, каждый решал за себя. Ничего похожего на ту солидарность, о которой мы слышим теперь, тогда не было.

Но грандиозные возмущения в лагерях бывали именно в наше время. В 1954 году к нам прибыл этап из Кенгира, и стало известно, что там было такое возмущение. В зону ввели танки, заключённых давили и расстреливали из пулемётов. Две мои одноделки, Ирэна Аргинская и Ида Винникова, были свидетелями этого. Свидетелей было достаточно, и много часов мы слушали поразительную историю мужества заключённых и зверства карателей. И в других лагерях были массовые вспышки — на Воркуте и в Норильске — и так же безжалостно подавлялись. Всё это было уже после смерти Сталина. Позже мы узнали о другой форме протеста заключённых — в мужских лагерях убивали стукачей.

Мы были на 42-й колонне, когда умер Сталин. Приходит в барак одна немка и говорит: «Унзер эзель ист гешторбен» — наш осёл подох. И добавляет, что вчера видела сон, будто сидит у Сталина на коленях. Сначала трудно было поверить — он казался бессмертным, неподвластным времени и неуязвимым для проклятий миллионов. Слухи передавались потихоньку, слишком хорошо было известно, что за одни только высказанные вслух

помыслы о его смерти давали статью 58-8 — террор. Но вдруг нас созвали в обязательном порядке в столовой, и начальник прочёл по газете официальное сообщение. Заключённые молчали. Особой радости на лицах я не заметила. Наверное, никто тогда всерьёз не ожидал, что с его смертью в нашем положении что-то изменится к лучшему. Некоторые даже опасались, что будет хуже. А иные — правда, только единицы — даже плакали. Прораб Марина сетовала: «Как мы оторваны от жизни страны, такое событие, а мы как будто в стороне». Помню вечернюю проверку, когда тысяча обитателей нашего лагеря выстроилась, как обычно, посреди зоны, и что-то тяжёлое было в мартовском закате. На следующий день мы должны были почтить память вождя вставанием. Мы тогда работали в ночную смену на слюде (уже началось слюдяное производство), а днём спали. Нас подняли по случаю торжественной минуты, из-за этого многие не выспались. На следующую ночь я на работе клевала носом и попала в карцер. Дирижёр нашего хора, престарелая Наталья Михайловна Мензбир, дочь известного русского учёного-зоолога, сидела в соседней камере за то, что вздумала в этот день играть на гитаре. Ещё, как всегда, сидели рядом в БУРе «монашки» и пели свои песни, а в другой камере билась в эпилептическом припадке уголовница. Больше ничего об этом роковом для всей страны дне не припомню

Ещё долго всё было по-прежнему. Перемены входили в нашу жизнь постепенно.

20-я колонна

Летом 1953 года был этап на 20-ю колонну. Там началась новая жизнь. Связано это было со слюдяным производством, которое на 42-й только налаживалось. Тяжелы были ночные смены, и вредная это работа — рассказывали, что когда умирал кто-то из работавших на слюде, то при вскрытии было видно, что все лёгкие покрыты слюдяной пылью. Рабочие помещения плохо проветривались. Но мы были счастливы, помня работу зимой на морозе, а летом на жаре и мошке. Норма была высокая, мало кто её выполнял, и всё время висела угроза отправки со слюды на более тяжёлую работу. На 20-й были цветы — признак либерализации режима. Там я снова встретилась с Галей, там по-прежнему была Вера и несколько симпатичных немок.

В лагере были русские немки — фольксдойч — и немки из Восточной Германии.

Каролина Шнайдер, немка с Поволжья, рассказывала мне, как

во время войны их привезли в ссылку в Архангельскую область: «Это было глухое место. Мы мёрзли и голодали, дети не ходили в школу. Мой муж — простите — целый год был импотентом. Раньше там жили ссыльные поляки, так они все вымерли. Только мы, немцы, могли это выдержать».

Немок из Восточной Германии арестовала немецкая полиция, судил немецкий суд за преступления, совершённые против Восточной Германии, но срок они отбывали почему-то в Сибири и, как и все другие иностранцы, попадали после отсидки в ту же ссылку, что и советские граждане.

Я относилась к немкам без предубеждения. С тех самых пор, как отец во время войны сказал, что нельзя ненавидеть целый народ и что он много хороших немцев знал в молодые годы — я это твёрдо усвоила. К тому же, когда я с ними столкнулась впервые, они были в исключительно тяжёлом, даже по сравнению с нами, положении. Совсем оторванные от близких, чужие в чужой стране, лишённые даже того жалкого имущества, которое было у каждой из нас, они только за несколько месяцев до своего освобождения в 1954 году стали получать через Красный крест посылки, а писем не получали никогда.

Большинство из них сидели за контакты с Западной зоной или за связь с русскими. Мне хотелось узнать, что это за люди. Люди были разные. Помню Рут Гроцапко, худенькую интеллигентную девушку, которая познакомила меня со стихами Рильке. Я их учила наизусть. Рут рассказывала мне про Ницше, племянником которого был её «трук», и её рассказы не укладывались в рамки представлений бывшей советской школьницы об этом мыслителе. Портниха Лена Ниссен тосковала по детям, о которых ничего не знала уже шесть лет. Я говорила ей, что она похожа на типичного карикатурного «фрица» — очень светлые волосы и глаза, голова закутана до самого кончика замёрзшего длинного носа в тёплый платок, её единственное сокровище. Ленхен и её подруга Ирма Вагнер угощали меня отличным муссом, приготовленным из кваса, который нам давали от цинги, учили содержать в порядке вещи, а к Рождеству, когда немки делали друг другу подарки, они и мне дарили всякие вещицы: пёстрого клоуна для иголок и ниток (долго я его хранила, но он совсем истрепался и в Израиль не попал), мешочек для ложки. Когда разнёсся слух, что их должны освободить, Лена и Ирма подарили мне свои блузки. В блузке Лены я в 1956 году сфотографировалась для своего первого после освобождения паспорта.

Ирма была очень хорошенькой, с наивным взглядом бархатных глаз. Одного не могла простить Лена своей подруге —

у той был на родине роман с советским полковником. Ради неё он оставил семью, они решили вместе бежать в Западную зону, чтобы пожениться. Он перебрался первый. Она ждала его звонка, но позвонил чей-то чужой голос, она решила, что это провокация, и осталась дома. Её арестовали. Не дождавшись её, полковник вернулся, пришёл к ней домой, и его взяли тоже. Больше она о нём ничего не слышала и часто плакала, боясь, что его нет в живых.

Бывало, я разговаривала с немками о фашизме. Могу констатировать, что немки — наименее заражённый юдофобством лагерный элемент. То соображение, что они, может быть, скрывали свои чувства, я не беру в расчёт. Была у меня возможность убедиться, что это люди меньше всего скрывают. Помню, правда, рассуждения одной немки о том, что Гитлер не зря был против евреев. Они захватили все места в Германии, а немцы — народ мягкий, добродушный, вот их и вытеснили отовсюду…

С молодой венгеркой Иринкой Геренчир я дружила ещё на 49-й колонне. Её брат воевал против русских. Сама она участвовала в какой-то подпольной молодёжной организации, членов которой посадили вскоре после войны. Маленького роста, с круглым лицом и широко расставленными глазами, она поражалась, что дружит с «коммунисткой» — такое у неё сложилось обо мне впечатление. Но не могу сказать, что её взгляды на жизнь как-то в корне отличались от моих. Помню, как я излагала ей по дороге на работу свои представления о бессмертии души. Я говорила, воображая, что это очень оригинальная мысль, что бессмертие человека — в памяти о нём, в его добрых делах, и этого достаточно. Иринка радовалась, что мы говорим о таких умных вещах, читала мне стихи Петефи о том, как хорошо погибнуть на поле боя за родину. Она сидела уже 6 лет, не упуская возможности чему-то в лагере научиться. Её русский язык был безупречен, и она очень любила Пушкина. С 49-й колонны её отправили на этап. Мы изредка обменивались записками через других заключённых, которых перевозили с колонны на колонну. Перед освобождением (вместе с другими иностранцами) она написала письмо мне и ещё одной москвичке, Маше Чувиловой. В начале войны Маша училась в 10-м классе. Попросилась на фронт и прославилась как десантница: в лагере была женщина, знавшая на фронте о её подвигах. Маша попала в плен, встретила в лагере чеха, после войны они поженились. Она осталась в Чехословакии, где её и арестовали. Следователь на допросах говорил: «Не захотели стать Зоей Космодемьянской и погибнуть — теперь сидите». В лагере Маше повезло: она

работала сапожницей. Письмо Иринки Маше и мне кончалось словами: «Прощайте, никогда не забываемые, дорогие русские!»[69].

Однажды Иринка вспомнила, как куда-то гнали евреев, а они с братом стояли и смотрели. А потом она стояла и смотрела, как гнали её брата, и глубоко чувствовала закономерность происходящего. Она не сказала мне, в чём была вина её брата, а я не спрашивала.

С принятием судьбы своей и своих близких как закономерности я встретилась и со стороны некоторых знакомых немок. Это не мешало им ненавидеть своих нынешних тюремщиков.

Я тоже чувствовала, что в моей судьбе, в том, что я нахожусь здесь, есть своя закономерность, связанная с судьбой моих родителей, активных участников революции. Сами они давно освободились от заблуждений прошлого. А я много думала о том, как становятся революционерами, какие силы на это толкают, и хотя в каком-то высшем смысле осуждала этот путь, моё осуждение не было однозначным, безоговорочным.

Принятие своей судьбы как закономерности — не то же, что принятие возмездия за грехи отцов, своего класса или народа. Я признавала и признаю только личную ответственность за свои поступки и не считаю себя причастной к трагедии, которая произошла в России. Когда Вера говорила, что ей стыдно здесь, в лагере, быть русской, так как «мой народ угнетает другие народы», — мне это было непонятно. И позже я спокойно ездила в Прибалтику, чувствуя себя там гостем, а не оккупантом. Если бы на меня кто-нибудь косо там посмотрел, я бы объяснила, почему не надо ко мне чувствовать вражды.

Я даже подозреваю, что это упомянутое чувство вины — не многого стоит. Оно абстрактно: такую вину нельзя искупить, в ней бесплодно каяться.

На 20-й колонне я дружила ещё с одной немкой, Урсулой. На эту дружбу с беспокойством смотрели мои подруги и знакомые. Лена печально констатировала, что её соплеменница «швайн»: Урсула была из тех, кого в лагере называли по-разному — от смешливого «оно» до, по-блатному, «кобёл». Термин «лесбиянка» не был принят. Желая походить на мужчин, такие женщины часто ходили в брюках и коротко стриглись. Особенно много их было среди блатных, на втором по количеству месте — немки, бывали они и среди нашей интеллигенции. Украинки — в своём большинстве крестьянки — а также религиозные, были неподвержены моральному разложению, неуязвимы для всякой лагерной заразы — доносительства, воровства, сожительства с

начальством и, наконец, лесбиянства[70]. Среди религиозных женщин случалось наблюдать проявления экзальтированной дружбы, но не более того.

Откровенно вели себя блатные. Явление это запечатлено в их фольклоре. Известна поговорка: «Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика». Впрочем, говорят, что, попав в нормальные условия, большинство заражённых этим пороком быстро от него избавлялись. Помню частушку, которую под гитару пела одна блатная:

Ой, спасибо Сталину,
Сделал с меня барыню:
И корова я, и бык,
Я и баба, и мужик.

Помню, как во время работы на слюде одна молоденькая блатная рассказывала эпическим тоном: «Я была тогда девушкой. С мужиками не жила, только с бабами».

Однако и среди них, совсем пропащих, можно было встретить большую самоотверженность, связанную с этой дружбой. Чтобы избежать этапа, не допустить вечно грозящей в лагере разлуки, они были способны сделать себе «мастырку» — искусственную болячку, рану. Помню смешную маленькую блатную Зайцеву, избежавшую этапа с помощью грифеля от химического карандаша, и победоносно ходившую по зоне с фиолетовыми глазами. А одна женщина умерла, впустив себе мыло в вену.

В интеллигентной среде всё было скрыто, завуалировано, двусмысленно. Довольно редко открыто признавались в пороке, но и это бывало. Мне говорила Тамара, дочь русских эмигрантов, влюблённая в красивую эстонку Ванду: «Я была два раза замужем, но только от Ванды хотела бы иметь ребёнка». Тамара страшно ревновала свою красотку к известной разлучнице, чешской еврейке Елене. Именно этим Елена была знаменита на трассе. Из обольщённых ею помню художницу-литовку, хрупкую блондинку, которая обменивалась с Еленой любовными письмами с рисунками. Рисунки изображали две парящие в воздухе женские фигуры, обвитые чёрной змеёй. Письма эти Елена показывала с гордостью, наверное не мне одной.

И вот Ванду отправляют вместе с нами и с Еленой на этап. Бедная Тамара, вцепившись в решётку, отделяющую этапников от других заключённых, смотрит, как Ванда любезничает с Еленой. Потом Ванда с Еленой уехали дальше, а мы через несколько месяцев вернулись на 20-ю. Тамара жадно расспрашивала меня о Ванде. Я сказала, что Ванда подала просьбу о помиловании.

Тамара была в отчаянии — и от ревности, и от того, что Ванда сделала такой политически компрометирующий шаг. «Как я покажу её своим родителям, если она так низко пала?» Тамара была когда-то честной журналисткой, убеждения её остались бескомпромиссны, но душу пожрала страсть к этой девице.

Не одна Тамара мне исповедалась. Почему? Может быть потому, что я никого не осуждала. Не знаю, есть ли благо в таком понимании, но я в лагере поняла, что от добродетели до греха — только шаг, и грани порой размыты. Я не только не могла бросить камня в несчастных, обездоленных женщин, но осмеливалась считать эту убогую страсть любовью.

Немка Урсула была на год старше меня. Выросла при Гитлере, так же естественно была в гитлер-югенд, как я в пионерах. Рассказывала, как это было интересно. Награждалась даже медалью за мужество, проявленное при тушении пожара.

Она говорила, что её отец, начальник полиции в городке под Берлином, всю войну прятал у себя в доме еврейскую семью, рассказывала содержание трогательных послевоенных фильмов, где героинями были прелестные еврейки, их спасали благородные немцы; учила меня легкомысленным немецким песням и заливалась слезами, вспоминая своего жениха. Высокого роста, растолстевшая, с милым лицом и ярко-синими глазами, она была добродушной, весёлой и наверное совсем пустой. Не то, что о Гейне, она о Шекспире ничего не слышала.

Лена забила тревогу. Вера меня призвала и потребовала прекратить эту сомнительную дружбу, угрожая, в противном случае, поссориться со мной навсегда. Услышав о такой угрозе, Урсула с горечью согласилась, что это справедливо, и призналась, что всё, что о ней говорят — правда. Я всё-таки попыталась какое-то время противиться общественному мнению, но Вера добилась, чтобы меня перевели в другую бригаду, а вскоре Урсулу, вместе со всеми иностранками, куда-то отправили, как оказалось, на свободу.

Перед этим им выдали одинаковые синие сатиновые платья с цветочками и жёлтыми воротниками и новые, по ноге, ботинки. На прощанье она написала мне трогательные немецкие стихи. Набравшись блатного фольклора, она, помню, повторяла: «Я девшёнка совсем молодая, а душе моей — тисяша лет». Надеюсь, всё у неё в порядке. Расставаясь, я выразила надежду, что получу от неё когда-нибудь фотографию, где она будет изображена в подвенечном платье, похудевшая, вместе со своим Гюнтером и кучей детей. Она, смеясь, возразила, что дети и подвенечное платье — это неприличное сочетание. Больше я о ней ничего не слышала.

У каждого из нас к нарам была прибита бирка с указанием номера, фамилии, имени, статей Уголовного кодекса, срока и даты конца срока. Я оторвала бирку Урсулы и долго её хранила. Пыталась сочинить стихи, в которых были строчки:

Между мной и тобой стало чёрной стеной
Безнадёжное слово: порок.

Рифмой должно было быть: «километры дорог», но ничего не получалось. И довольно скоро я поняла, что эта история закончилась для меня самым благополучным образом.

23-я колонна

Зимой 1954 года нас привезли на 23-ю колонну. Там я пробыла с перерывами два года. Зимой мы работали на слюде, а летом и осенью нас возили то на какое-нибудь предприятие, временно нуждавшееся в рабочей силе, то на сельхоз. На сельхозе лучше кормили, но работа была довольно тяжёлой. И что удивительно: ведь нас, заключённых, всегда было много, однако, копать картошку, например, нас привозили из года в год слишком поздно, когда уже выпадал снег. Добывать её из-под снега было очень трудно, много её так и осталось в земле. Собранная в бурты, она долго лежала в поле, мёрзла и гнила, и опять покрывалась снегом. Постепенно мы привыкали относиться к этому с безразличием рабов, но поначалу было жаль.

Вспоминаю жизнь в 1954 году на Тарее, летней командировке, куда нас привезли строить школу. Удивительная получилась школа — и кто её так спланировал, что все окна выходили на север, и даже днём там было темно. Нас поселили в железнодорожных вагонах и водили каждый день за несколько километров на строительство. Я была на подсобных работах — таскала с напарницей на носилках камни для фундамента, разводила цементный раствор, потом шпаклевала стены. Шло так — день тяжело, назавтра полегче. После переполненных бараков жить в вагонах было приятно. Мы поселились втроём — Вера, молодая финка Хельми и я. За что сидела Хельми, я не помню. На 23-й была ещё одна финка из Ленинграда, Ольга Эльви, с печальной и романтичной судьбой. Во время войны она оказалась в Финляндии, где встретилась после войны с советским морским офицером. Они решили пожениться, но начальство не позволило ему заключить этот компрометирующий брак. Он поехал хлопотать о разрешении и вскоре вызвал её с матерью в

Ленинград. Когда они приехали, то оказалось, что моряк женился на другой, а Ольгу вскоре арестовали.

С Тареи был дальний этап, мы должны были в него попасть, но в последний момент нас оставили. Этап, оказывается, ехал в Потьму, где была моя мать.

Вернувшись на 23-ю, мы с Верой расстались. Она уехала в Мариинские лагеря, и мы встретились только на воле. 5 сентября 1973 года она проводила нас в Шереметевский аэропорт, и с той, всем известной галереи, я увидела её в последний раз[71].

* * *

Большинство лагерного населения были западные украинки, в основном, крестьянки. У некоторых были родственники «у лісі» — в лесу, в партизанах — другие сидели за то, что хоть раз накормили пришедших в деревню партизан. Иногда под видом бандеровцев приходили сотрудники МГБ и требовали их накормить, а потом всю семью забирала. Эта, на первый взгляд, серая лагерная масса оставила по себе ярчайшее воспоминание. По всем лагерям звенели их песни. Пели в бараках, пели на работе — если это была такая работа, как слюдяное производство — пели хором, на несколько голосов. Эпические песни о казацкой славе, тоскливые — о неволе, о покинутой семье, и бандеровские — всегда трагические, о гибели в неравной борьбе.

На Рождество 1954 года начальство не препятствовало традиционным представлениям. Ходили по баракам ряженые, разыгрывали историю рождения Христа. Гонений на песню я не видела никогда. Начальство, как видно, предпочитало не замечать. За бандеровские песни на воле давали по 25 лет сроку, поэтому их пели потихоньку. Я попросила записать для меня одну такую особенно замечательную песню, и мне было велено, заучив, тут же уничтожить запись:

Вот эта песня:

Спіть, хлопці, спіть, спіть, хлопці, спіть,
Про волю-долю тихо сніть,
Про волю-долю Вітчизни,
Чи можуть бути кращі сни?

За рідний край, за край святий
Ви віддали вік молодий.
Ви віддали юнацкі сни,
Вишневий цвіт, життя весни.

Летіли ви, мов ті орли,
Ні мамин плач, ні крик сестри
Не зупинили вас на мить:
Цить, мамо, цить, цить, сестро, цить.

І ви пішли в щасливу путь,
І ви пішли, щоб не вернуть.
Червоний штик, кривавий шлях,
Стоять могили по полях.

Но прийде день, великий день,
День радощ і день пісень,
І загуде свободи дзвін,
До вас ми прийдем на поклін.

І там, де ви лягли кістьми,
Ми ляжем вільними грудьми,
На ваших тихих могилах
Замас наш побідний стяг!

Я влюблена была в эти песни, знала их бессчётно. Потом на воле пела их своим друзьям, но не могла, конечно, передать их очарования. Их надо петь хором — это народное действо. Я слышала однажды пластинку с записями колядок в артистическом исполнении, но это было совсем не то. Не было безыскусности и настоящей торжественности. Даже на воле я помнила, что есть песни запретные, и долго не позволяла записывать некоторые из них на плёнку. Но теперь я рада, что в далёкой Москве есть несколько записей с моим слабым, подражательным пением — память москвичам обо мне и о замечательном явлении — украинской песне.

Через год после подавления восстания в Кенгире украинцы устроили в одном из бараков панихиду по жертвам. Там пели две песни:

Коли ви вмирали,
Вам дзвони не грали,
Ніхто не заплакав за вами,

Лиш в чистому полі
Ревіли гармати,
Та зорі вмивались сльозами.

Як вас хоронили
У темну могилу
Від крові земля почорніла,

Лиш тучами круки
Літали над полем,
Та бурею битва греміла.

На ваших могилах
Хрести похилились,
Калина зігнулась до долу.

Спіть, хлопці-соколи,
Ми гострімо зброю
И ждемо на поклик до бою.

Более осторожный вариант двух последних строчек:

Ми будем молитись,
Щоб Бог Україні дав волю.

Вторая песня, которую пели на панихиде:

Заквітчали дівчатонька
Стрілецьку могилу,
Замість мали заквітчати
Стрілецькую милу.

Невисокий хрест берези
Заплели віночком,
Замість мали заплетати
Косу барвіночком.

И пісочком посипали
Стежечку довкола,
Замість мали застелити
Рушник до престолу.

Похилилися берези
Наліво, направо,
А між віттям вітер грас
Про стрілецьку славу.

Заключённые пели песни и молились, стоя на коленях. Я тоже была на панихиде, пела со всеми, но не молилась. Как и я, немного в стороне от других, стояла молодая украинка Нюся Людкевич, студентка Львовского университета. Она была в Кенгире, там погибли её подруги. Но молиться она не могла — потеряла веру с тех пор, как в лагере умер её отец.[72]

Всего лишь одно поколение отделяло таких, как Нюся, украинских интеллигентов, от самой гущи народной стихии, но она ощущала отрыв от этой стихии, ощущала его болезненно, катастрофически. Причина этого была не только в её неверии, но и в том, что, как она мне объясняла, народ в массе не понимал политической цели их движения. Народу не столько нужна была независимость Украины, сколько то, что «за Польщи» не было «колгоспов», а потому жилось хорошо.

Мы лежали с Нюсей на нарах, говорили и спорили без конца. Наши отцы могли воевать друг с другом в Гражданскую войну, а мы одно время были неразлучны. Я не пыталась вникать, должна ли Украина быть «самостийной», но трагизм их неравной, обречённой борьбы с властью поражал воображение.

Мы обе с Нюсей не были сильны в истории. Когда я её расспрашивала о прошлом, пытаясь понять, в чём причина старинной вражды наших народов, которая только теперь перестала быть актуальной, — она затруднялась мне объяснить. И бывало, мы замолкали и отворачивались друг от друга с тяжёлым чувством, но ненадолго.

Через несколько лет, уже в Москве, на свободе, я купила в магазине украинской книги нарядное издание «Кобзаря» Шевченко, чтобы послать его Нюсе — как некий символ и итог наших разговоров.

Прошлое не забыто и не отброшено — ни историческое прошлое наших народов, ни наше собственное общее прошлое в тайшетских лагерях.

Мы недолго были вместе. У Нюси обнаружился костный туберкулёз, и её отправили в больницу. Перед отъездом у нас произошёл очень странный разрыв. Я как-то призналась ей в отвлечённом разговоре, что способна солгать, притвориться, чтобы не обидеть человека. И она решила, что не имеет морального права со мной дружить. Поэтому она уехала, не попрощавшись, но потом из больницы прислала покаянное письмо, проклиная свой фанатизм. До самого моего отъезда в Москву мы продолжали слёзную переписку, мечтали о встрече. Потом я освободилась, а Нюся уехала в ссылку в Якутию, где после лагеря жили её мать и сестра. Там она вышла замуж за парня с Восточной Украины, отсидевшего 12 лет тоже за

национализм, с которым встретилась во время кенгирского восстания. Через несколько лет им разрешили вернуться на Украину. Они ехали через Москву и познакомились с моей семьёй. В последующие годы мы понемногу переписывались — не хотели терять друг друга из виду, мечтали встретиться и наговориться всласть. Перед отъездом в Израиль я написала им и попрощалась. И вдруг, в разгар последних сборов, появляется Нюся с мужем и ребёнком. Приехали на два дня, чтобы попрощаться по-людски. Получив моё письмо, они тут же побежали на станцию, но билетов на поезд в Москву не было. Они ходили от вагона к вагону, показывали проводникам письмо: люди уезжают насовсем в Израиль, надо повидаться. И им сказали: «Вон в том вагоне проводник еврей, он вас устроит.» Так и получилось. До побачення, дороги друзи! Но какое побачення, когда?[73]

Пользуюсь случаем, чтобы вспомнить безвестную, может быть, жертву советских застенков. Украинки, приехавшие из Кенгира на нашу трассу, прочитали мне стихи молодого парня, сидевшего в кенгирской тюрьме в ожидании расстрела. Я ничего о нём не знаю и стихи помню не до конца:

Боже, Ты бачиш страждання і муки,
Хай діється воля Твоя.
То тебе я зношу з кайданами руки
І шлю ці останні слова:

Прости мене, Боже, що були хвилини
Зневіри в моему житті,
Що часто не бачив ті чисти перлини,
Що криють завіти Твоі.

Що часто блукав я один манівцями,
Шукаючи інших доріг,
Що часто чорнів я своіми устами
Все чисте і біле, як сніг.

Великий, могутній, Тебе я благаю:
Прости всі провини, прости,
Дай келих налитий терпінням до краю,
Спокійно до уст донести.

Дай волю друзям, які ще остались,
Друзям, яких щиро любив.
Дай сил ім боротись, щоби не здавались,

Й пощади у ката ніхто не просив.

А ти, моя мати, що вмерла в Сибірі
За те, за що нині я тут,
Скріпи мое серце і душу у вірі,
Я йду, де немае облуд.

* * *

С весны 1954 года началась либерализация. Нам велели отпороть номера. Даже жаль было расставаться с этим выразительным знаком нашего рабского положения. Нас соединили с уголовниками, сняли с окон решётки, перестали запирать на ночь бараки. Исчезла непременная принадлежность барака — параша, и можно было оценить плюсы и минусы этого явления, особенно зимой.

И самое главное — разрешили неограниченную переписку, сначала с волей, а потом и между лагерями. Для меня началась новая жизнь. Я связалась со своими родителями, о которых ничего не знала с самого ареста. До этого я получила только два письма от бабушки, о родителях она не писала ничего, ей казалось, что так поступать — благоразумнее, но я чувствовала полный разрыв с семьёй. И вот всё изменилось. Сначала я получила письмо от Светланы — Стеллы Корытной, — лагерной подруги моей матери. Она была дочерью крупного партийного работника, близкого к Хрущёву и расстрелянного в 1937 году. Придя к власти, Хрущёв сразу же освободил Светлану, её мать — сестру И.Э.Якира, и его сына Петра. Светлана, вырвавшись на волю, сделала всё, чтобы с помощью переписки снова связать всех членов нашей разбросанной семьи. Переписка стала главным делом жизни. Уже не так важно, какая работа, если, придя домой, находишь несколько конвертов с письмами. Власти потеряли контроль над перепиской, цензура не справлялась. С воли писали подруги Светланы, чудесные девушки, не жалевшие сил, чтобы скрасить нам жизнь. Мои родители и я стали получать замечательные посылки. Нам присылали книги. Я получила Пушкина, Блока, учебник английского языка, другие книги. И от матери из Потьмы пришла посылка. Там была связанная ею голубая кофточка и ночная рубашка — довольно странный в лагере предмет, но мать понимала, как это приятно — владеть такой роскошной вещью. Лежать на нарах в ночной рубашке и читать Блока — это жизнь! В посылке были также шерстяные

носки, связанные Надей Коваленко, которая, оказывается, приехала с нашей трассы в Мордовию и оказалась вместе с моей матерью. Светлана писала больше всех, иногда несколько писем в неделю. Как удавалось ей выкраивать время, как хватало на всё души в первый свой год на свободе — трудно понять. Получив в Москве какое-то жильё, она взяла к себе мою младшую сестру и кормила её на свой жалкий заработок. Писем от Светланы было так много, что часть их я уничтожила. Остальные почти все сохранились: от родителей, от сестры, от одноделок, Сусанны и Тамары, которые тоже оказались с матерью в Потьме. И мать хранила письма, с самого первого, которое получила от меня в лагере, когда я ещё была на свободе. Все годы они хранились у нас в доме, но мы никогда их не перечитывали — не доходили руки. Перед отъездом в Израиль я долго перебирала эти драгоценные для нас страницы, но углубиться в чтение не было возможности, я только привела их в порядок. Они остались в Москве дожидаться оказии. Хотя они прошли когда-то лагерную цензуру, вывезти их обычным путём через таможню было нельзя — какой чиновник стал бы их читать!

Прошло полгода, и большая пачка писем совершив почти кругосветное путешествие, вернулась ко мне. Я перечитала письма в Иерусалиме с удивлением и разочарованием: в памяти пережитое запечатлелось ярче, и использовать письма для «оживления повествования» я не решаюсь. Ниже помещаю только одно своё письмо, посланное сестре «через волю»[74].

Итак — новые веяния в лагерном быту послесталинского времени. Среди нас усилилась воспитательная работа. По идее заслуживали одобрения только попытки организовать для нас разные курсы — счетоводов, переплётчиков, и т. д. Мы ценили возможность чему-то научиться, но все эти мероприятия были недолговечны. Настоящим бичом были политзанятия. И времени свободного было жаль, а главное — не хотелось участвовать в комедии. Этого я избегала всеми силами. Партийные дамы напрасно старались на меня повлиять. Меня не заинтересовали и сообщения о предстоящем XX съезде партии. Думал ли кто-нибудь из лагерников, какое значение он будет иметь в нашей жизни?

* * *

Моя подруга Галя очень сокрушалась, что в то время, как наши сверстники учатся в институте, мы тут прозябаем. Ко дню её рождения в 1954 году я написала стихи, смысл которых был в

том, что и для нас это время не проходит зря, что мы учимся самым важным наукам.

Чему же научил меня лагерь?

Когда закрылась за мной впервые дверь тюремной камеры, я отчётливо поняла: это конец. Конец всей прошлой жизни, которую я очень любила, несмотря ни на что. До самого суда я ощущала происходящее как личную трагедию и жалела себя, хотя по молодости не могла вполне осознать, что мне предстоит — воображения не хватало. Да едва ли и возможно в 18–19 лет по-настоящему ужаснуться убегающему потоку времени. На суде я впервые осознала, что я не одна. А смертный приговор ребятам, десять 25-тилетних сроков и три 10-тилетних — приговор этот сразу отодвинул на задний план мою личную судьбу.

То, что я увидела в лагере — миллионы загубленных жизней — ещё больше укрепили в ощущении почти безразличия к тому, что со мной будет. Конечно, физически я чувствовала все тяготы лагерной жизни. В этом смысле я была лишена всякого стоицизма. Труд был непосилен, и я его ненавидела. Единственную возможность избавиться от него видела в открытом отказе, за которым бы последовала «закрытка» — тюремное заключение. Я ещё не была к этому готова, пока ещё хватало сил терпеть.

Арестант мечтает о свободе. Молодая, красивая белоруска Тася запомнилась мне в своей неуёмной тоске по воле. Женщины разглядывали себя в зеркале и ужасались каждой новой морщине, мазали лицо льняным маслом, вместо того, чтобы его съесть. Их было жалко, но я, по молодости, не могла чувствовать, как они. Я не мечтала о воле. Не помышляла о смерти, но о жизни не сожалела. Не верила, что когда-нибудь освобожусь, не верила ни в возможность чуда, как религиозные женщины, ни в амнистию. «Амисия», — говорили блатные. В лагере постоянно ходят разные слухи, их называют «парашами». Бывали реальные параши, например, о предстоящем этапе. А параши об амнистии — это постоянно создаваемый, но не реализующийся миф.

Большое зло в лагере — невозможность побыть одной, постоянный шум. Я от этого почти не страдала — сказывалось пережитое в одиночке. В лагере много больных, простуженных. По несколько раз в ночь встают к параше, а когда перестали запирать бараки — бегут по холоду в уборную. Бывает недержание мочи. Не у всех одинаковые представления об опрятности, особенно в убогих лагерных условиях. Носятся всякие неприятные запахи, и многие от этого страдают и ругаются. Я считала себя не вправе воротить нос и терпела, а позже стала почти безразлична и к этому. Помню блатную по

прозвищу Ква-Ква, уродливую и грязную, никто не хотел идти с ней рядом в пятёрке, и я упражнялась в стойкости, хотя с ней даже поговорить было не о чем. Помню интеллигентную, но совсем помешанную женщину, которая выражала свой протест тем, что никогда не мылась и не меняла одежду. Я узнала от неё много прекрасных стихов Гумилёва.

Немаловажной в лагере была проблема «собственности». Вера, например, считала, что получив посылку, надо всё раздать. Я поступала непоследовательно: иногда делилась только с близкими подругами, а иногда раздавала своё добро тем, кто не получал ничего. Однажды отдала полкило сахару одной немке, сказав ей, чтобы она разделила между своими. Предстояла Пасха, а им нечем было отпраздновать. Я удивлялась, что меня не благодарят, и спросила другую немку, отдала ли та сахар в общее пользование. Оказалось, съела одна. Повезло мне, что возможности мои в этом смысле были уж слишком ограничены, иначе не убереглась бы я от самого скверного — от самодовольства. Случалось мне и в одиночку, по ночам, поедать печенье из посылки. Это считалось неприличным, но ещё хуже казалось наслаждаться своим богатством на глазах у других, а раздать всё, как делала Вера, мне было жалко. Но всё это больше — из области психологии, так как посылки я получала крайне редко, редко возникали и проблемы такого рода.

В лагере много слабых и старых. Однажды с нашей колонны был этап инвалидов. У женщин всегда много имущества., мы берегли каждую тряпку, и часто ноша была непосильной, особенно, для пожилых. Инвалидный барак был далеко от вахты. Увидев, как мучаются старухи, я помогла им перетаскать узлы. Бедняги не были избалованы участием молодых: встретив кого-нибудь из работяг на узких мостках, положенных через грязь, они уступали дорогу, подчиняясь неписаному закону. Одна их старушек, чей узел я бодро тащила к вахте, шла за мной и восхищённо бормотала: «Уж не сам ли это Христос?»

Слабым я норовила помогать. Следующей ступенью была бы настоящая озабоченность судьбой каждого страждущего, но до этого мне было далеко.

Трудно не судить ближнего. Дашь поносить раздетому свою вещь, а он её загадит до невозможности. Выскажешь третьему лицу по этому поводу негодование и ославишь человека. Так уж лучше промолчать, а оно вроде нелегко, и чтобы это было не так трудно, надо раз и навсегда понять, что всё это мелочи, что наше жалкое добро пусть пропадёт даром, но прежде согреет побольше людей.

Я, увы, была восприимчива не только к прекрасному. Кроме

песен — украинских, немецких, блатных — другим распространённым жанром в лагере было сквернословие. С животной естественностью матерились блатные. С особым, вымученным смаком изощрялась интеллигенция. Некоторые стойко держались, хотя вся обстановка очень к этому располагала. Однажды меня страшно изводила бригадирша из блатных. Она придиралась, пока я во всеуслышание не выпалила по её адресу популярное ругательство. Это произвело мгновенный эффект. Бригадирша замолкла, а сопровождавший нас конвоир стал меня стыдить: такая молодая, а ругаешься. Об этом немедленно донесли Вере, которая не раз твердила мне, что подобное разложение недопустимо, и она, на моё горе, долго со мной не разговаривала.

Постепенно режим всё больше слабел. На сельхозе даже нам, 25-тилетникам разрешали на большие расстояния ходить без конвоя. Мне очень мало известно о случаях побегов. Однажды бежала блатная с соседней колонны, и её вскоре поймали. Когда я только прибыла на трассу, то услышала о побеге группы мужчин с тайшетской переписки. Подробностей мы не знали. Один из бежавших и скоро пойманных был Виктор Красин, с которым я познакомилась через много лет в Москве.

Сама я никогда всерьёз не помышляла о побеге. Мы знали, как страшно избивали пойманных, а главное — бежать было абсолютно некуда. Всегда было ощущение, что окружающее население — наши враги. Дети нам кричали: «Фашисты!», когда мы строем шли по улице, как это было в городе Заярске, где мы работали летом 1955 года на кирпичном заводе. Я понимала, что без документов на воле долго не проживёшь, если и удастся каким-то чудом скрыться от солдат и собак. Но главное — в глубине души зрело сознание того, что лагерь — и есть то место, где мне следует находиться.

Поэтому, когда в 1955 голу стали кое-кого освобождать по пересмотру дела, у меня не пробудилось никаких надежд. Я рассчитывала только на то, что удастся увидеться с отцом. Он к тому времени был сактирован и жил в инвалидном доме в Караганде. Отец хлопотал о свидании со мной — тогда появилась такая возможность. Всё чаще стали навещать наших женщин родные. Приехал отец моей одноделки Иды Винниковой, которая к нам на трассу попала за год до того из Кенгира. Я с ней встретилась летом 1955 года в этапе с 23-й слюдяной колонны на кирпичный завод в Заярске, городе на берегу Ангары. Работа на кирпичном заводе была тяжёлая, иногда в ночную смену. Я стояла у лебёдки — с помощью этой машины поднимали глину для кирпичей вверх из карьера. Я заглядывалась порой на синюю,

широкую Ангару с нависшим над ней мостом, и трос срывался вниз вместе с грузом. С этого участка меня, понятно, прогнали. Потом грузила кирпичи и подносила дрова к огромным печам для обжига.

С отцом Иды я послала сестре письмо[75].

* * *

Я всё лето надеялась на встречу с отцом. Он писал, что разрешение на свидание получил, но у него украли деньги на дорогу. Потом деньги ему снова прислали родные, но опять не давали разрешения. У нас была большая переписка. Мне даже удалось написать ему подробно о своём деле под видом жалобы в Верховный Совет. В таком виде письмо могло дойти в тот период, когда цензура не справлялась, и дошло. Вслед за этим толстым письмом я послала ему открытку, в которой предупреждала, что это — не настоящая просьба о пересмотре дела, что это — только для него. Так он и понял. Ни мои родители, ни я не обращались к властям ни с какими просьбами. Другие это сделали за нас. Родные моих однодельцев, лишь только повеяло новым духом, стали непрерывно писать, добиваясь пересмотра дела.

5. Дорога назад

В начале 1956 года нас с Идой вызвали вдвоём на этап. Была зима, меня прогнали со слюды за плохую производительность, и начальник фабрики сказал, что мне не видать больше этой лёгкой работы. С тоской думала я, что придётся всю зиму провести на морозе. Я пилила дрова в хоззоне. Напарницей моей одно время была Ольга Ляцкая, прототип известного персонажа из романа Фадеева «Молодая гвардия», тоже приехавшая из Кенгира. Судьба этой женщины в лагере была ужасной. Она отсиживала обычную десятку, как многие, получившие срок за оккупацию, когда вышел роман Фадеева. Я проходила в школе, что положено об этой книге, а живой человек расплачивался за прихоти фантазии автора. Ей дали новый срок. В лагере её травили уголовницы, конвоиры грозились пристрелить. Смелая украинка Оксана менялась с Ольгой бушлатом, чтобы отвлечь от неё внимание. Почему именно её так преследовали? Ведь столько женщин было, осуждённых на огромные сроки: казалось, естественно предположить, что кого-то сажали и за дело.

Что в действительности случилось с Ольгой, я не знаю. Была она скрытной, много горечи в ней накопилось. Тот факт, что в

1956 году она вернулась в родной Краснодон, говорит сам за себя. Но и дома жизни не было, пришлось куда-то уехать.[76]

Встретили мы 1956 год и не знали, что это последний наш Новый год в лагере. И этап из Тайшета через пересылки в Москву был обычным этапом, со всеми его прелестями. Правда, несколько часов, от Братска до Тайшета, нас с Идой почему-то под видом вольных везли в обыкновенном пассажирском вагоне. Рядом сидел конвоир, а мы делали вид, что мы — сами о себе. В Тайшете нас продержали несколько дней. Встретили мы там двух знакомых женщин, из которых одна работала врачом на 23-й колонне. Никогда я не видела такой красавицы. Марина ходила по зоне, как существо из другого мира, в каком-то невероятно роскошном полушубке. За что она сидела, что пережила — не знаю, каким была врачом — мне тоже неизвестно. Однажды я видела её в бане. Успела заметить, что и в таком виде она отличалась от толпы лагерниц — загорелых, жилистых, каких-то корявых. Вдруг вижу, как банщица ставит ей под ноги лишнюю шайку с водой, чтобы не оскверняла себя, стоя на мокром полу. Сразу я почувствовала к ней неприязнь, как будто эта Марина — мой классовый враг. И когда в 60-х годах мне передали от неё привет, прибавив, что она и теперь замечательно красива, я вспомнила свою давнишнюю неприязнь. Тогда, в Тайшете, она шепталась со своей подругой, которая вместе с ней ехала с больничной колонны на свободу. У них были свои, неведомые нам интересы, до нас долетали мужские имена. На нас они смотрели доброжелательно, но свысока.

Дальше всё пошло знакомое: этапы, зак-вагоны, пересылки. Я лежала на верхней полке в вагоне и читала «Историю моего современника», присланную мне по моей просьбе из Москвы. Очень меня волновало то место, где Короленко писал о своём отказе от присяги на верность Александру III. Многие революционеры считали, что из тактических соображений не следует отказываться от такой формальности, а Короленко, который даже настоящим революционером не был и в ссылку попал почти случайно, так поступить не мог. В вагоне раздавались обычные просьбы — выпустить в уборную. Особенно доставалось мужчинам. Конвоир объявил, что пустит того, кто голым пробежит мимо женского купе. Такой отчаянный, из блатных, нашёлся, и было у нас много визгу и смеху.

Задержались мы на несколько дней на Кировской пересылке. Там было много блатных. Они пели хриплыми голосами трогательные песни («…Ты первый, ты один, кого я полюбила»), играли в карты и бросали окурки с верхних нар на пол. Мы лежали на полу. Откуда-то взялся роман Золя «Страницы любви».

Я читала описания Парижа, как он выглядит из окна героини в разное время года. А рядом лежала больная, что-то у неё гнило, белые черви ползали по полу, и стоял смрад. Впрочем, полы регулярно мыли.

Нас привезли в Москву, сначала — в знакомые Бутырки. Мы поняли, что нас разлучат, и Ида дала мне на прощание 50 рублей, которые я исправно прокурила. В лагере я не втянулась в курение — денег не было, а тут это стало для меня большим развлечением. Привезли на Лубянку и рассадили по одиночкам.

Но как изменилась тюрьма! Что это была за одиночка! Прежде всего принесли каталог книг. Я с жадностью набросилась. Сразу заказала роман Степняка-Кравчинского из жизни народовольцев «Андрей Кожухов», «Былое и думы», «Завещание» Ж.Мелье (автор-священник доказывает, что религиозная вера — это заблуждение), пьесы Ибсена и многое другое. Давали без ограничений. Днём можно было лежать, ночью — читать, покуривая, прямо на койке. Можно было писать и получать письма, и я получила несколько чудных писем от светланиной подруги Зины Миркиной — незнакомой девушки, приславшей мне в лагерь Блока. Я почувствовала, что на воле меня ждут, как ждут родных.

Я по-прежнему не надеялась на освобождение. Думала, что в результате переследствия должны только сократить срок, и подала заявление следователю с просьбой отправить меня в Потьму, к матери: на такую милость можно было рассчитывать.

Меня ждало одно потрясение за другим. Дали 20-тиминутное свидание с бабушкой и сестрой, и я увидела Ирину, 18-тилетнюю красавицу, с которой рассталась в 1949 году, когда она была ребёнком. Она мне всё пыталась тихонько сказать, что идёт XX съезд, что-то говорила о культе личности и о том, что нас скоро освободят. Но я не хотела слушать ни о каких съездах и жадно расспрашивала, как она живёт, а главное — любовалась ею. «Культ личности» звучало странно, а свобода — я-то знала, что не видать мне свободы, и не привыкла о ней мечтать.

Незадолго до свидания я выяснила, что рядом в камере сидит моя одноделка Тамара. Мы стали с ней перестукиваться по ночам, и я сообщила ей о свидании и о каком-то «культе личности». Тамара сразу оценила, что это такое, и радостно забарабанила в стену. Она-то верила в свободу. Сам следователь нам намекал, что её освободят. Как я старалась ему объяснить, что арест Тамары — недоразумение! Освобождение Тамары стало моей навязчивой идеей: ведь она сидела только за дружбу с нами, со мной.

На переследствии мы вели себя глупо, повторяли всё, что

говорили раньше. А это было как раз такое время, когда можно было начисто ото всего отпереться, ссылаясь на «неправильные методы следствия», Но это же сообразить надо было, почувствовать, что сейчас — другая эпоха! Вот принесли большую корзину — передача от Зины и её подруг. Почему-то не хватает пачки «зефира» (что это вообще такое?) из приложенного списка. Но вот поистине ошеломляющее событие: открывается дверь камеры, и входит… Тамара! Не положено, оказывается, теперь держать заключённых по одиночкам. Родные, обивая все пороги, указали на это обстоятельство, и ввиду отсутствия в тюрьме других женщин (!), нас соединяют друг с другом. Тамара всегда вспоминала со смехом и притворной обидой этот момент: как, увидев её, я сказала: «Ну, теперь я „Бранда“ (пьесу Ибсена) не дочитаю!» И уж точно — не дочитала!

Ещё до воссоединения с Тамарой произошло нечто, немыслимое в прежние времена. На одном из допросов (было их немного, вёл прокурор Терехов) я попросила показать мне фотографию Жени Гуревича из его дела. Я не спросила Терехова о судьбе Жени, уже было ясно, что его нет в живых. Я обещала Терехову, что не устрою в кабинете сцены, посмотрю — и всё. Он ещё колебался: моя «причуда» показалась ему странной. Но я сказала: «Вы ведь не только следователь, но и человек». «Прежде всего человек», — решительно заявил он и вытащил из сейфа папку. И я несколько минут смотрела на знакомую фотографию и, как тогда, когда увидела её впервые, подписывая 206-ю, поразилась: сделали в тюрьме такой прекрасный снимок, как будто им важно было оставить о нём память[77]. Всё в том же 1956 году КГБ по просьбе родителей Жени отдал им эту фотографию. Они пересняли и подарили мне и Владику Мельникову.

Освободившись, мы с Владиком каждый год приходили к родителям Жени в день его рождения, 26 мая. Отец понимал, конечно, что сын погиб, но мать продолжала верить в чудо и ждать возвращения. Отец хотел, чтобы сына посмертно реабилитировали, просил меня ходатайствовать о новом пересмотре дела. Но я ни о чём не могла писать, и его желание было мне непонятно. Владик написал. Его вызвали и сказали: «Скажите спасибо и за то, что вас освободили». Ясно, что реабилитировать они нас не могли даже в самые либеральные времена[78]. Потом отец Жени умер, и мы продолжали ходить к матери. Чуть мы заговаривали о самых, казалось нам, невинных вещах, она испуганно твердила: «Тише, соседи слышат», а узнав, что некоторые едут в Израиль, не могла понять, как можно покинуть нашу социалистическую родину?

Но всё это — уже потом. А пока мы сидели с Тамарой и всё

говорили, говорили. Она была в Мордовии вместе с моей матерью и другими моими одноделками, Ниной и Сусанной. Опять принесли передачу, и мы объелись жареной курицей так, что не могли видеть её останков. Вдруг вызывают «с вещами». Быстро опустошив банку сгущёнки — как её унесёшь? — мы собрались. Ведут, сажают в бокс. Спрашиваем у надзирательницы: «Что, в другую тюрьму?» А она отвечает загадочно и странно: «Всё плохое у вас позади». Тамара надеется на скорое освобождение и дарит мне телогрейку. Хотя у меня есть своя, совсем новая, но ничего, пригодится. Очень странно: дают мне два письма от отца — нераспечатанные. Что-то мелькнуло в сознании, но тут же подавлено. Потом вызывают к начальнику тюрьмы, сначала меня. Начальник зачем-то спрашивает: «Кто у вас есть в Москве?» «Сестра», — говорю. А он: «Ну вот, пойдёте на свободу», — протягивает справу об освобождении и просит расписаться. Я тупо расписываюсь и бормочу: «Что за порядки у вас, неожиданно сажаете, неожиданно выпускаете». А он возражает: «Ареста-то вы должны были ожидать!» И любопытствует: «Что, будете ещё заниматься антисоветской деятельностью?» Я плохо соображаю, но автоматически отвечаю «уклончиво»: «Какая там деятельность!» Потом расписываюсь, что осведомлена о том, что дадут мне три года, если я буду:

1) выполнять на воле поручения заключённых и

2) разглашать сведения о тюремно-лагерном режиме.

Со справой в руке иду в бокс и говорю Тамаре, как она считает, возмутительно-спокойным тоном: «На свободу, говорят». «О-о-й», — стонет Тамара и идёт к тому же начальнику, а потом нас ведут вверх по лестнице, а я всё думаю, что не может быть, что на свободу, но и шуток таких тоже ведь не бывает, и вот она — справка. А потом отрывают дверь[79], и мы выходим на улицу и стоим, оглушённые, не понимая, что делать дальше. И никто не обращает внимания на двух странных особ в телогрейках и с мешками. Из тех же дверей выходит солдат и предлагает проводить нас до такси. Ведёт через площадь, сажает в машину, и мы едем по московским улицам. Всё необыкновенно красиво. Какие яркие платья у женщин! 25-е апреля, чудесный весенний вечер. Мы восхищённо смотрим в окно.

И вот я в незнакомой квартире, адрес которой ещё на свидании дала мне сестра; она сама временно здесь живёт — это старые друзья наших родителей[80]. Весь вечер только и делаю, что разглашаю их тайны и смеюсь, что можно вообразить такое — не разглашать. Удивляюсь каждой мелочи в этой обыкновенной московской квартире и тому, что ем яичницу — вилкой. Примеряю вещи сестры — мои, говорят, совсем не годятся для

новой жизни. И, наконец, засыпаю, поверив, что я — на свободе. И мне снится лагерь, как когда-то, после ареста, ещё долго снилась воля.

Эпилог

26 апреля, на следующее утро после моего выхода их тюрьмы, сестра решительно заявила, что в своей новенькой, первого срока, телогрейке я не могу появиться на улице и, обрядив в чужое долгополое пальто, повезла по солнечной, суетливой Москве знакомить с Зиной, которая писала мне чудесные письма в тюрьму. В семье Зины меня встретили цветами, устроили в честь моего освобождения пир.

Вечером я встретилась со своими однодельцами, и не было конца нашим разговорам. Ведь мы снова все вместе в Москве, все, кроме тех, кто никогда не вернётся, кого нет в живых.

Через несколько дней я увиделась со Светланой, лагерной подругой моей матери, и она ужаснулась тому, что я до сих пор не съездила в Потьму на свидание. Но у меня ещё не было паспорта, не было своих денег, и я делала то, что подсказывали другие. Я ещё как бы не имела своей воли. Светлана сказала: «Возьми деньги, поезжай к матери». И я поехала.

Билеты на поезд достать было непросто, и я оказалась в мягком вагоне. В пути со мной разговорился немолодо военный. Узнав, что я сидела, он вздохнул и покачал головой: «Культ личности, истребление кадров!» Не сообразил, что я по возрасту никаким кадром побывать не успела. Приехала в Потьму. Ближайший поезд до посёлка Явас, где был расположен лагерь, ожидался через несколько часов, и я пошла пешком вдоль полотна железной дороги через весенние мордовские леса, собирая цветы, чтобы принести матери, потом бросила их, торопилась и не решалась присесть и отдохнуть.

Добралась к вечеру. Мать меня ждала. Я подошла к вахте лагеря, увидела через зеленоватое стекло окна знакомое лицо в ореоле седых волос. Вдруг лицо исказилось от страха и отпрянуло. Странно, за эти восемь лет я, по-моему, мало изменилась, а матери показалась чужой. «Лучше бы ты приехала в телогрейке», — сказала она.

Я пробыла у неё три дня, и очень скоро это непонятное отчуждение прошло. Начальство нам не мешало, изредка заходили подруги матери посмотреть на меня, принести поесть. Одна из них сшила мне голубое летнее платье с цветочками.

Такой царил либерализм, такое благодушие со стороны лагерных властей, что мне разрешили зайти в зону, и мы посмотрели демонстрировавшийся по случаю первого мая венгерский фильм. По зоне я шла, как по родному дому, женщины радовались, видя нас вместе с матерью. Встретилась

мне евангелистка Оля Михина, с которой мы 4 года назад рассуждали на тайшетской пересылке о Боге. Она ничего не сказала, только улыбнулась.

Уезжая, я захватила большую часть вещей матери, чтобы ей потом не тяжело было возвращаться. В том, что она приедет, мы не сомневались. Шла от старого метро «Калужская» к Спасо-Наливковскому переулку к Зине, но ещё плохо ориентировалась. Спросила дорогу у молодого человека, он объяснил, но помочь тащить узлы не догадался. Я удивилась — мы в лагере друг другу помогали.

Скоро освободились родители. Своего жилья у нас ещё не было, и мы жили в просторной квартире Зины. Её семья жила на даче.

* * *

В каждом доме нас встречали, как мучеников, как героев. Водили по городу, рассказывали, что изменилось за время нашего отсутствия, показывали новые журналы и книги, прочтя которые мы должны поверить, что то, что было, больше не повторится. И всё было удивительно, и, прежде всего, то, что мы и в самом деле на свободе. А подспудно жил страх, что они одумаются, посадят опять. Этот страх ослабнет и растворится только со временем, через несколько лет.

Первые дни мы воспринимаем людей на улицах как «вольняшек», помня, как где-нибудь в Заярске, в Иркутской области, мы шли по улице строем по пятеркам на кирпичный завод, а они, вольные, привычным, невидящим взглядом скользили мимо нас. А теперь, оказывается, вокруг — обыкновенные люди, такие, как мы. И мы ходили среди людей, как все, и нам казалось, что на наших лицах печать вернувшихся из ада.

Каждый день мы ходим друг к другу в гости. Я знакомлюсь с солагерниками родителей, они узнают моих однодельцев. Вокруг нас собирается молодёжь, друзья моей младшей сестры, которая единственная из нашей семьи не сидела. Они слушают наши рассказы, затаив дыхание. Едва ли «органы» всерьёз рассчитывали, что мы будем хранить их тайны. Довольно до нас молчали бывшие узники!

Наши юные друзья, конечно, не такие «испорченные», как мы. Они верят, например, что революция была не напрасной. А теперь ликвидирован культ личности и все его последствия, законность восстановлена, и — не бойтесь — это не повторится! Вот в «Новом

мире» напечатан роман Дудинцева «Не хлебом единым», а вот стихи Ольги Берггольц. Хорошие стихи, но нам кое-что в них не по вкусу:

Но те, что возвращались, шли сначала,
Чтоб получить свой старый партбилет.

Да, большинство вернувшихся с радостью получали назад свой партбилет — восстановленные в партии, в жизни. Людям ведь жить надо, кормиться, работать, получать пенсию. Кое-кто из вернувшихся, получив двухмесячный оклад, персональную пенсию и комнату в Юго-Западном районе Москвы, сидел, забившись, в новом жилье и не желал ворошить прошлое. Становился агитатором-общественником, писал воспоминания о революционных подвигах погибших близких, стыдливо опуская обстоятельства их смерти — не от белогвардейской петли, не от немецкой пули, а в подвалах родной Лубянки. И даже внукам своим не заикался о том, как всё в действительности было.

Но не все вернувшиеся так «великодушны». Мы, к примеру, чётко сознавали, что не имеем к этой партии и власти никакого отношения. Наши молодые друзья колеблются в своих убеждениях и спрашивают нас, видавших виды, что можем мы предложить взамен обветшалой идеологии? Как жить? Что делать? Да ничего особенного не делать. Просто жить. Правду знать. И только в это мы можем помочь, потому что мы знаем очень много правды.

Но что это? Вы слышали? Хрущёв сказал, а в «Правде» напечатали: «Мы Сталина врагам не отдадим». И клеймят Дудинцева и других писателей и поэтов, поверивших «оттепели», за идеологические прочёты. 1958 год. Разразилось дело Пастернака. Это дело шибает старыми, не выветрившимися из сознания, камерными ароматами хлорки. Так повторится или не повторится?! 22-й съезд партии вселяет новые надежды. Жадно читаем газеты, ищем в речах делегатов необходимые нам заверения. Открыто сказано, что Сталин виновен в убийстве Кирова. Создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств убийства. Собираются реабилитировать Бухарина, поставить памятник «жертвам необоснованных репрессий». Не всем жертвам, конечно, только партийцам, но и это прежде было немыслимо. Правда, комиссия делом Кирова позанималась и бросила, о памятнике забыли. Никого из осуждённых на больших процессах не реабилитировали.

Из инвалидного дома в Караганде вызывают в московскую прокуратуру М.П. Якубовича, последнего оставшегося в живых

подсудимого на процессе «Союзного бюро меньшевиков» (1931 год). Старик с тех самых пор не видел свободы. В прокуратуре встречают сочувственно: «Напишите правду о своём деле. Мы разберёмся. Применялись ли к вам недозволенные меры воздействия?» (Как же — применялись, применялись). В нашей новой квартире у Красных ворот Якубович сидит, пишет письмо генеральному прокурору. Пишет всю правду, только правду. И о «недозволенных мерах», и о беседе с прокурором Крыленко, который, словно начитавшись Артура Кестлера, внушил ему послужить революции на новом поприще — на предстоящем открытом процессе. Измученный узник согласен. Крыленко давно знает Якубовича и не зря рассчитывает на его преданность революции[81]. Михаил Петрович отдал ей молодость, отдаст и все долгие годы, которые предстоят — той же революции, но другому её воплощению.

Послал письмо, ждёт ответа. Наконец, конфиденциальный звонок его старого приятеля А. Микояна: «Чтобы вас, М.П., реабилитировать, надо пересмотреть дело о Меньшевистском центре. А это сейчас несвоевременно.» И будет несвоевременно до исхода дней. Не только якубовичевых, а советских, вечных. На всякий случай обыскали конурку в инвалидном доме в Караганде и забрали всё, что старик написал, надеясь сохранить для потомства правдивые образы современников, которых знал лично: Ленина, Сталина, Каменева, Зиновьва, Троцкого. Поколебались — не запрятать ли старикашку в сумасшедший дом? И махнули рукой.[82]

И вдруг собираются печатать повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Выйдет в следующем номере «Нового мира». Мы эту повесть прочли в самиздате, ещё под псевдонимом Рязанский. Читали и волновались, ведь она про нас! Неужто напечатают, неужто они и впрямь изменились? Повесть вышла. О ней пишут, говорят по радио, выдвигают на Ленинскую премию. Собираются печатать «Раковый корпус», мы, на всякий случай, прочли в самиздате. Ходят в самиздате и стихи, смелые, талантливые. Москва наводнена стихами. Дозволенные стихи приходят слушать на стадион в Лужниках тысячи молодых людей. Недозволенные читают на площади Маяковского, у памятника поэту. Но писать и читать стихи — дело рискованное. Зарвавшихся любителей поэзии, кого — слегка припугнули, на кого — завели дело впрок, а молоденького Алика Гинзбурга, редактора рукописного журнала «Синтаксис» — посадили. Но пока стесняются давать политическую статью. И срок совсем маленький, два года.

1962 год. Хрущёв, знаменосец либерализации, пришёл на

выставку картин российских художников в Манеже, не выдержал зрелища не совсем реалистических экспонатов и грянул войной на абстракционистов. Печать привычно подхватила, но ничего — обошлось без кровопролития.

Впрочем, не всё так идиллично и в эту эпоху. Втихаря сажали за анекдоты даже в 1956 году, таком счастливом для нас. Возникают дела и посерьёзней. Мы с удивлением встречаем тех, что сидели в то время, как мы благополучно учились, работали, женились, рожали детей. Мордовские лагеря, где так недавно царили патриархальные отношения между немногими оставшимися там заключёнными и помягчевшим начальством, постепенно наполняются вновь, и скоро там станет тесно, и откроются новые лагеря в Перми, ужесточится режим. При том же Хрущёве сотнями расстреливают за валютные операции, за взятки. Рассудок не принимает такого средневекового зверства. Но ведь это — нас не касается, ведь это не наш «профиль».

1964 год. Полетел со своего поста Никита. Что это значит, и не начнут ли нас теперь сажать? Отношение к Хрущёву у нас двойственное. Известно, что он такой же разбойник, как они все, но какой-то сентимент у нас к нему есть, всё-таки он вернул нам свободу. А нас-то тысячи. И когда через несколько лет он умер, толпа бывших заключённых пришла на кладбище, тщетно пытаясь пробиться через кордоны охраны к могиле. И время от времени на эту могилу на Новодевичьем кладбище анонимная рука кладёт цветы. Не остаётся без украшения и другая могила — на Красной площади, у Мавзолея, могила Сталина.

Каждый год, чаще всего, у Аэропорта, в писательском кооперативном доме, собираемся в годовщину смерти Сталина и отмечаем это событие. Сидим за богатым столом. У каждого рядом с тарелкой — кусок чёрного хлеба с довеском, закреплённым щепкой. Символическая пайка остаётся цела до конца ужина. Хозяйка дома, Е.А.Ильзен-Грин, ежегодно раздаёт гостям сувениры — то пластмассового солдата с ружьём, то изящную картонную вышку, то тачку. В этой компании я моложе всех, зато у меня был большой срок. Допоздна рассказываем невыдуманные истории. Вот этот пузатый дядька — дважды сидел в камере смертников, А этот — отбарабанил 18 лет. А вот эта хорошо сохранившаяся интересная дама, которая не позволяет курить за столом, — писательница Евгения Гинзбург, автор книги «Крутой маршрут». На Западе особенно ценят книгу за то, что автор описывает события (37-й год, Колыма) с партийных позиций. Надеюсь, что не оскорблю памяти покойной Евгении Семёновны, сообщив неизвестный советологам факт: особыми симпатиями к партии писательница среди собравшихся не

выделялась. Скорее наоборот. Другой писатель, Ю. Домбровский, за которым неотступно следит жена, чтобы он не увлекался водкой, каждый год читает отрывки из своей книги, и скоро она увидит свет. Конечно, не на родине.

Тем временем клюют Солженицына. В библиотеке, где я работала, в ФБОН, назначена встреча с писателем. У нас приличное учреждение, с либеральными традициями, но в последний момент встречу отменяют. Отменяют встречи и в других учреждениях, но в Институте народов Азии — состоялась.

А у нас — позже — состоялся вечер памяти Ахматовой. Директор просит не читать неопубликованных стихов. Подождав, чтобы он вышел, я во всеуслышание читаю «Реквием», и дрожь пробегает по спине у меня и у собравшихся, когда слышатся строчки:

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание чёрных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

В сентябре 1965 года приезжаем домой с Кавказа и узнаём: арестованы наши друзья, Синявский и Даниэль. Через год толпимся у здания суда. Ещё много раз мы будем толпиться, мёрзнуть зимой, изнывать от жары летом, мокнуть под дождём. В зал суда нас, конечно, не пускают. Решается судьба наших друзей, нас самих, всей страны. Либерализация, чахлая хрущёвская либерализация, кончилась. В газетах в связи с процессом гнусные статьи. Нобелевский лауреат Шолохов вспоминает славные времена, когда таких отщепенцев, как Синявский и Даниэль, без суда ставили к стенке. У советской литературы свои традиции: писатели издавна и поныне забегают вперёд КГБ и приветствуют истребление своих собратьев.

Молодые твердят: надо бороться. И общество борется, защищается. Есть у нас общественное мнение! Писатели из молодых подписывают петиции, Алик Гинзбург составляет Белую книгу, посвящённую делу Синявского и Даниэля. Молодёжь выходит на демонстрацию.

Процесс Гинзбурга и Галанского порождает тысячи подписей под письмами в их защиту. Среди нас, бывших сидельцев, колебания: подписывать или нет? У большинства нет никакой веры в то, что с властями можно вести переговоры, выступать «с открытым забралом». Списки идут прямо в КГБ и никого, кроме КГБ, не интересуют. Единственный ответ на петиции — массовые увольнения с работы подписавших их граждан. Но это только

первая реакция. Имена «подписантов» останутся в КГБ, и предоставлять им свои имена по списку могут только небитые фраера. Но неудобно не подписать, и подписываешь. Хотя мне больше по душе действовать иначе: передать письмо заключённого за границу, поехать в город, где в тюремной психушке томится друг, сфотографировать больницу-тюрьму (на копи-райт не претендую), приютить у себя человека, за которым охотятся «органы», перевести, напечатать на машинке и распространить разоблачительный документ, принять иностранца, который тайно привёз книги. А все эти нынешние методы — демонстрации, письма протесты и смелые речи на якобы открытых судах — мне не по нутру. Ведь по самой своей сути они — те же, и только ждут удобного момента, чтобы закрутить гайки, и мы — те же, и не может у нас с ними быть никакого диалога.

Но вот — суд над Анатолием Марченко, и в тот же день — советские танки в Праге. Отчётливое чувство: конец, мы живём в 1952 году. Но не у всех такое чувство. 25 августа у Лобного места на Красной площади демонстрация семи человек. Держат плакаты: «Руки прочь от Чехословакии!», «Позор оккупантам!» Читатель свободного мира, понимаешь ли ты, что это значит: демонстрация протеста на Красной площади? Суд над демонстрантами, и в толпе у здания суда на Серебренической набережной — и молодые, и пожилые, и средние. И бывшие арестанты, и будущие. И очень много «представителей общественности». Часть представителей устроилась в зале, чтобы в нужный момент «выражать мнение народа», а часть крутится возле нас и бросает походя реплики про Сталина. И как последняя идиотка, я что-то кричу в истерике. Оказывается, легче рассуждать, что протест в этой стране не имеет смысла, чем действительно устраниться, ведь среди подсудимых — опять наши друзья, и всё происходящее для нас — глубоко личное дело. И личное, и общественное. И ты, уже привыкнув жить на свободе, утеряв былую готовность сидеть, опять попадаешь в диссиденты, и снова ты у них на крючке, и никуда не денешься.

Снова аресты друзей и знакомых, и вот уже кое-кто из «молодых» вернулся из лагеря. Сроки теперь дают поменьше, в наше время такие сроки называли «детские», и снова, как в 1956 году, — встречи и обмен лагерными впечатлениями. Кое кто из наших загремел повторно, но повторно сидеть — ох, как не хочется, а молчать мы безнадёжно разучились.

Наконец, дело Якира. Обыск в доме. Можно сравнивать с тем, как это делалось «в наше время». Разница, конечно, огромная. Теперь не всегда после обыска людей уводят. И знакомые не бегут

от тебя, как от чумы, а приходят на обыск, выражают солидарность. Кого следующего посадят? Жду ареста мужа, Анатолия Якобсона, на него есть показания как на редактора «Хроники текущих событий».

О том, что мы евреи, мы вспоминали редко. У нас было своё товарищество, где нет ни эллина, ни иудея. Свои и чужие различались для нас не по национальному признаку. Но антисемитизм не дремал. Не только государственный и народный, но и свой, выражающийся интеллигентским языком нашей среды. И судьба Израиля, героического и одинокого во враждебном мире, была нам не чужой.

* * *

Десятилетиями в Советском Союзе не издавались книги по еврейской истории, замалчивался даже факт катастрофы европейского еврейства во время 2-й мировой войны («Дневник Анны Франк» в первый и последний раз издан в 1960 году). Но при желании можно было ознакомиться с еврейской тематикой во всём её объёме. В моём распоряжении была большая библиотека, где я работала и где хранятся книги на еврейскую тему, изданные до революции и в первые годы советской власти. Доставали мы книги и на иностранных языках: конечно, роман Юриса «Экзодус», из которого я перевела для своих знакомых главу о восстании в Варшавском гетто, «Последний из праведников» Шварцбарта, «Источник» Миченера, «Мои прославленные братья» Говарда Фаста. Знаменательно, что роман о Маккавеях был, кажется, единственной книгой Фаста в бытность его коммунистом, не увидевшей света на русском языке. Все эти книги в конце 60-х — начале 70-х были переведены бескорыстными энтузиастами для самиздата, но я прочла их раньше, в оригинале.

Интерес всё возрастал. Но наше ущербное национально сознание питалось больше отрицательными явлениями: преследованием евреев во все века, национальной катастрофой, гибелью деятелей еврейской культуры (но не самой культурой) при Сталине, современным антисемитизмом. Занимал нас также вопрос об участии евреев в русской революции и их роль в современном движении за права человека.

Помню, как в 1957 году, во время международного фестиваля молодёжи в Москве, мы охотились за израильскими значками, как напрасно старались попасть на концерт израильской делегации в Сокольниках. Нам удалось только мельком увидеть

выходящих из автобусов высоких и необыкновенно красивых молодых людей и прокричать им непривычное ещё для нас слово «Шалом!» И они отвечали нам, радостно и растрогано улыбаясь: «Шалом!» Удалось мне побывать на концерте израильской певицы Геулы Гил. Наверное, певица никогда не забудет, какой успех ей выпал в Прибалтике, Ленинграде и Москве. Помню, ей очень хотелось, чтобы зал ей подпевал. И как непривычно было нам участвовать в этом еврейском празднике. Нас сковала немота. Мы не знали ни иврита, ни идиш, и только могли хлопать и опять кричать: «Шалом».

За год до Шестидневной войны мы вдвоём с Юлиусом Телесиным, сыном еврейских поэтов, стали заниматься ивритом по самоучителю Риклиса. Дело продвигалось туго, потому что, встретившись, мы обсуждали волнующие события: шёл процесс Синявского и Даниэля. Комната Юлиуса на Малой Бронной была завалена самиздатом. Его мать, поэтесса Рахиль Баумволь, умоляла сына быть осторожней. Но у Юлиуса была теория, что все беды нашего общества происходят оттого, что люди боятся. Меня он тоже упрекал, за то, что, опасаясь обыска, я не держу дома многое из своих книжных и рукописных сокровищ. А я раздражённо думала: Вот познакомишься с Галиной Борисовной (так мы называли Комитет государственной безопасности), тогда увидим, какой ты смелый. Познакомиться пришлось скоро, и очень близко: арестовали знакомого, пришли с обыском, унесли массу рукописей (не отметив этого в протоколе) и стали вызывать на допросы. Но Юлиус не испугался. В полном соответствии со своими правовыми представлениями, он писал заявления в КГБ, возмущённо требуя «вернуть награбленное», и держался на допросах так, что гебешники бесились от злости. До 1968 года, пока его не уволили за подписание петиций в защиту Гинзбурга и Галанскова, он работал в Институте экономики АН СССР, рядом с моей библиотекой, и приходил ко мне в перерыв обедать. Сначала ходил с портфелем, туго набитым рукописями, а после того, как портфель унесли в КГБ, явился с авоськой, из которой торчал Уголовно-процессуальный кодекс. Я умоляла его убрать книгу с глаз моих сослуживцев, а он доказывал, что имеет полное право интересоваться советскими законами.

Мы думали, что теперь-то, после обысков и вызовов на допрос, Юлиусу несдобровать. А он подал документы на выезд в Израиль, подписал известное письмо сорока евреев и, ко всеобщему и собственному удивлению, одним из первых получил разрешение на выезд. И остался по сей день убеждённым в своей правоте, в том, что не надо бояться.

Проводы Юлиуса в Израиль происходили в просторной

квартире моей матери у Красных ворот. Ходила по Москве шутка: «Сказали, что на проводах Юлиуса произойдёт встреча сионистов с демократами. Я пришёл, а там одни евреи». Шутка характерная, отражающая положение вещей: в правозащитном движении последних лет евреи играли активную роль.

Отличие сионистов от «демократов» на проводах Юлиуса выразилось в том, что сионисты толпились и галдели в комнатах, а «демократы» пили водку на кухне и в кладовке. «Отец русской демократии» Петя Якир, посидев, сколько ему надо было, на кухне, отплясывал вместе с сионистами что-то еврейское под звуки гитары, и все хором пели: «Фараону говорю: отпусти народ мой!» Окна были открыты настежь, и изумлённые советские граждане со двора слушали, как нахально веселятся и грустят евреи, провожая Юлиуса в путь. А Юлиус ходил по квартире бледный, усталый, с отрешённым взглядом. Такие лица бывали у отъезжающих всегда, даже если отъезд в Израиль был исполнением самой заветной их мечты.

Через год в той же квартире провожали в Израиль родителей Юлиуса, Рахиль Баумволь и Зиновия Телесина. В своём упрямом бесстрашии Юлиус был не похож на своих родителей. Еврейские поэты помнили страшные времена. Как мало их уцелело! И как трудно, наверное, было поверить, что времена изменились.

Узнав Юлиуса, я рассказала ему, при каких обстоятельствах я познакомилась с творчеством его отца: прочла в лефортовской одиночке историю о тёте Этл и дяде Эли, уехавших без особой нужды из царской России в Америку, там познавших все мерзости капитализма и мечтавших вернуться на социалистическую родину. Я не знала тогда, в 1951-52 годах, что такие же, как Телесин, поэты-патриоты сидят в соседних камерах, ожидая своего конца. Из уцелевших я через много лет встречала прекрасного человека С. Галкина, а стихи других, погибших, переводили с подстрочников, не зная идиш, мои знакомые и тем зарабатывали на хлеб.

За год, прошедший с отъезда Юлиуса, Рахиль Львовна узнала и полюбила многих друзей своего сына. Она очень хотела, чтобы книжная полка, шкаф и кушетка Юлиуса с Малой Бронной, а также её кресла, кастрюли, утюг и гипсовая маска Ахматовой, достались нам. Мы не знали, что скоро сами будем собираться в путь и решать, кому оставить своё добро.

Отца Юлиуса, Зиновия Телесина, только что исключили из партии, куда он вступил на фронте, и из Союза писателей за то, что он не захотел осудить своего сына за отъезд в Израиль. Но он больше не боялся. На своих проводах Рахиль Львовна и Зиновий Львович впервые видели сразу так много людей, которые не

боятся, таких же безумцев, как их сын. И они подходили прощаться и говорили: «Как жаль, что, только уезжая, мы узнали, как много у нас друзей и как много вообще хороших и смелых людей в этой стране».

Зиновий Телесин подарил мне последний сборник своих стихов. Он сказал, что давно знает от своего сына, какое я вынесла когда-то впечатление от его творчества, и как больно ему было это узнать. Я что-то пробормотала о тех трудных временах, но поэт твёрдо сказал, что времена временами, но надо дать отчёт о своих поступках, и он к этому готов.

Это было в 1971 году. Наши первые попытки заниматься ивритом относятся к гораздо более раннему времени, когда Юлиус только мечтал об Израиле, а я и не предполагала, что когда-нибудь уеду. Иногда мы обращались за помощью к Израилю Борисовичу Минцу, который прекрасно знал иврит, переводил и распространял романы Кацетника и рассказы Агнона. Вероятно, это был первый еврейский самиздат. Израиль Борисович пламенно любил Израиль и всё еврейское. Его радовало, что мы, «молодёжь», тоже приобщаемся к национальным истокам. И однажды он задумал отметить день независимости Израиля в доме моей матери у Красных ворот и привёл с собой Меира Гельфонда с женой, Владимира Слепака и ещё несколько человек.

Узнав, что Меир был в лагере на Воркуте, я спросила, не встретил ли он там одного моего знакомого. Фамилия знакомого звучала вполне по-русски, и Меир резко ответил: «Мы с такими не знались!» Я буквально отскочила от него в негодовании и сразу зачислила моих новых знакомцев-сионистов в фанатики, не уловив в эту первую встречу за резкой, демонстративной манерой Меира свойственные ему широту, а главное, доброту и человечность. Его доброту я оценила позже, при очень тяжёлых для нашей семьи обстоятельствах, когда он, врач-кардиолог, тщетно пытался спасти моего отца.

Несмотря на идейные разногласия, я охотно стала бывать в гостеприимном, типично русско-еврейском доме Меира. Туда ходили толпами, не давали хозяевам покоя, там ели и пили, читали самиздат, слушали иностранное радио, говорили по телефону с Израилем, там устраивали первые проводу с пением и плясками, и у гитариста Лёни намокала от пота рубашка. И бесконечно спорили с такими, как я, собратьями, не дозревшими до решения уехать. Непонятно, как там можно было жить. А ведь хозяин — врач, а инфаркты бывают, как известно, не только у евреев.

В этом доме я была вполне желанным, но несколько посторонним гостем. Там я постоянно слышала, что надо ехать.

Да, надо, но я не хочу. Моё место здесь.

Я к тому времени познакомилась с сионистской литературой — с воспоминаниями Хаима Вейцмана, с речами на сионистских конгрессах и, главное, с очень популярным в Москве сборником фельетонов Жаботинского. Я считала, что решение еврейского вопроса связано с государством Израиль, гордо носила израильский значок, с любовью перелистывала подаренный мне ко дню рождения Израилем Борисовичем альбом, посвящённый Иерусалиму, но чувствовала себя по-прежнему мало причастной к этому прекрасному миру.

Мои новые друзья-сионисты твердили, что не только евреи вообще, но я лично должна ехать, а меня возмущали их требования, как будто быть евреем обязывает к тому, чтобы поступать не по своей воле, а в соответствии с общей судьбой народа. Я подозревала, что они сами гипнотизируют себя этой призывной еврейской музыкой. И каждый из них для самого себя — отдельный человек, а не только частица народа, и всё это не так однозначно для них самих, как они проповедуют.

Связав свою судьбу с Израилем, они уже здесь, в Москве, потеряли черты евреев галута. Им стало безразлично, что о них думают русские, они были неуязвимы для юдофобства и — так, во всяком случае, они заявляли — их больше не интересовала судьба России: русский народ, мол, вполне устраивает советская власть. Только мы, евреи, всегда пытаемся что-то изменить в этой стране. И напрасно — пора заняться своими делами. И Меир даже признался, что его не так, как раньше, волнует лагерная тематика. Но я не очень верила таким заявлениям — я видела, как, собравшись на урок иврита, заядлые сионисты жадно читают книгу Гроссмана «Всё течёт», передавая по кругу машинописные листки. Уже здесь, в Израиле, я слышала, как один из виднейших тогдашних активистов алии и бывший заключённый сказал: «Я по России не скучаю, я скучаю по Колыме: там климат здоровый».

Когда я сейчас изредка приезжаю из Иерусалима в Петах-Тикву и навещаю хлебосольный, русско-еврейский дом Меира, я радуюсь встрече со старыми друзьями, готовыми по-прежнему помочь в трудную минуту. Я не пытаюсь разобраться, прав ли Меир, упрекая бывших активистов в том, что остыл их прежний пыл, что они изменились. Я не верю, что люди с годами меняются. А все они были хорошие люди, хотя и фанатики.

И о том, надо ли всем евреям ехать в Израиль, мы больше не спорим. Раз мы здесь — о чём же спорить?

…Побывав в доме Меира (в Москве), я стала снова заниматься ивритом, на этот раз у Вадима Меникера, с которым впервые познакомилась во время процесса над Синявским и

Даниэлем (он написал письмо в их защиту). Хозяева, художник Натан Файнгольд и я занимались с Михаилом Зандом, который был очень хорошим учителем, но мы с нетерпением ждали конца урока, чтобы за кофе и бутербродами наговориться всласть. Однажды Миша принёс пластинку Шломо Карлбаха. Мы её часто и с наслаждением слушали, переписывали на плёнку. Потом эту плёнку слушали другие мои друзья и тоже восхищались. Но пение Карлбаха было им чуждо. Для них оно было — как выражение торжества еврейского духа над их обречённым миром.

* * *

Наши отношения с властями и контакты с сионистами принято считать политикой. И могло показаться, что мы слишком много для нормальных мужчин и женщин занимаемся этой политикой. Почему, в самом деле, какой бы за последние годы ни разразился сандал, кого бы ни сажали, ни судили, ни клеймили, ни выгоняли с работы — всё это оказывались или наши друзья, или знакомые, или знакомые знакомых? Почему мы газет не читали, а регулярно читали «Хронику текущих событий»? И разве А.Кестлер и Д.Оруэлл — самые крупные философы современности, что мы читали их, а не какого-нибудь Хайдеггера? Почему моя мать, далёкий от литературы человек, удостоилась принимать в своём доме писателя Солженицына, почему в этот дом он принёс рукопись своего романа «В круге первом»? Почему, вооружившись знанием иностранных языков, не искали мы открытий человеческого духа в других сферах, неизменно возвращаясь «на круги своя»: тюрьмы, психушки, положение евреев, ехать — не ехать? Это риторические вопросы. Иначе быть не могло.

Но иногда случалось забрести в чужие пределы. Туда вели не только потребности духа, которому было тесно в тисках политики. Естественно возникали привязанности, для которых нет законов и ограничений, ни политических, ни национальных. Мы не орден какой-то. И не в гетто живём. И кто нам — свои, кто — чужие?

В нашем товариществе, среди тех, кто пытался стать на пути огромной машины власти, вопроса о национальности не возникало. Но я сейчас пытаюсь рассказать о своих отношениях с группой людей, не втянутых глубоко в общественную борьбу[83], но которые мне были особенно дороги в последние годы жизни в России. И пока пишу, может, сама разберусь в клубке противоречивых чувств. И решу, наконец, не было ли ещё одного

глубокого смысла в моём отъезде в Израиль, кроме «политического». А может, была в этом внутренняя закономерность, а не просто стечение обстоятельств? Но как мне рассказать обо всём, чтобы не погрешить против правды и не дать чувству обиды и разочарования увлечь себя на путь ложных построений?

Были у меня подруги, Ира и, скажем, Ольга. Как мне их здесь не хватает! Мы ждём писем друг от друга. Это такое утешение в разлуке! Но надолго ли нас хватит?[84]

У Иры лицо типичной еврейки. Такой типичной, что здесь, в Израиле, таких и не сыщешь. Может, в древней Иудее встречались такие иссиня-чёрные волосы, резкие черты и огромные глаза.

От всех жизненных неудач Ира нашла утешение в православной церкви. При этом — и это особенность нашего времени — не только не перестала чувствовать себя еврейкой, но осознала своё еврейство ещё глубже после крещения. И это понятно. В нынешней России с Библией знакомятся, кроме специалистов-антирелигиозников, только те, кто в зрелом возрасте пришёл к вере. Еврей в России не переходит в христианство, не отрекается от иудаизма, а от голого атеизма приходит к вере. А ближайший путь к вере там — православный. При этом для властей крещёный еврей остаётся евреем. Для властей даже лучше быть обыкновенным евреем, чем верующим христианином, да ещё так, как свойственно неофитам — верующим страстно, активно, вызывающе.

Церковь к наплыву евреев пока относится положительно. Но не услышит ли моя подруга и её соплеменники-единоверцы, что в церкви, как и везде, «их слишком много»?

С Ирой мы говорили о многом, делились новостями, обсуждали житейские дела. Но были запретные темы, как бы подводные камни. Я знала, что у неё иное, не моё, отношение к судьбе еврейства, к преследованию евреев. Она ощущала вину евреев за Христа, а я про это не могла даже слышать.

Другая моя подруга, Ольга, презирала всякую политику и была равнодушна к трагедии поколения своего отца, кровавого чекиста, погибшего в 37-м году. Истинным, заслуживающим внимания, считала лишь сферу духа и сферу любви. Ольга — человек исключительного обаяния, яркая, смелая и шумная. Когда мы прощались, она плакала, а я не могла плакать — совсем заледенела. Но евреев она почему-то не любила. Не каждого в отдельности — она привязывалась к подругам-еврейкам, увлекалась мужчинами-евреями. Но помимо конкретных евреев, для неё существовало некое символическое еврейство — приземлённая, прозаическая, бездуховная сущность. И лучше нам

было не касаться этой темы, как и многих других.

Был у меня друг Саша, тончайший знаток поэзии Мандельштама. Голодный, бездомный, больной, с лицом великомученика, он не шёл на компромисс со своей совестью ради житейских благ. Обладал такими высокими понятиями о чести, что не мог принять не только гнусную советскую действительность, а просто реальную жизнь. Но у этого истончившегося существа были вполне простонародные взгляды на евреев: они умеют устраиваться! И то, что их ограничивают при приёме в университеты, он считал справедливым. Почему их должно быть там больше, чем их процент среди населения? Окружённый друзьями-евреями, которые пытались ему помочь — накормить, обогреть, приютить, он был им (нам) так благодарен, так светло улыбался страдальческой улыбкой, но никогда не забывал, что мы евреи. Он готов был признать нас лучше, добрее, великодушнее себя, но никогда — такими же, как он. И мы, не зная никакой другой культуры, кроме русской, не отличаясь ни убеждениями, ни образом жизни от «передовой русской интеллигенции», были для него существами другого мира — мира житейской тщеты, хотя был он такой же, атеист, как и мы, и «небо», к которому стремился его страждущий дух, было для него так же пусто, как и для нас.

Мандельштам, которого он так любил, что почти идентифицировал с собой, останется с ним навсегда, но мучительные, «амбивалентные» отношения с реальными евреями кончались полным крахом, увенчиваясь очередной антисемитской выходкой с его стороны. Так было и со мной.

Мы гуляли по Новому Арбату, сидели за столиком в кафе «Валдай» и строили планы совместной поездки в Ленинград, город его детства, который я плохо знала. Он показал бы мне Петербург Достоевского, город призрак, памятник былой русской культуры. Мы попрощались, и вскоре я получила по почте письмо, в котором Саша объяснял, почему он не может поехать со мной в Ленинград. Оказывается, моё появление там было бы, как угроза вторжения чего-то чуждого в родные пенаты, в родительский дом. И он надеется, что я его пойму и прощу.

Я не поняла и не простила. Мы больше не встретились, хотя до моего отъезда оставалось больше года. Этот эпизод произошёл в тот момент, когда передо мной во всей актуальности стал вопрос: ехать или не ехать?

Ещё у меня был друг — Алёша. Он не кончил университета, не имел надёжного заработка. На первый взгляд — неприкаянный мальчик, на самом деле, много передумавший человек. Каждую весну, с неизменным упорством, я указывала Алёше на «клейкие

листочки», призывала жить и довольствоваться тем малым, что сулит жизнь, но он встречал каждый предстоящий день, как последний, не видел в жизни ни малейшего смысла и нёс свои 25-26-27 лет, как невыносимое бремя. Он удивительно много знал — не о жизни, а о литературе. И прекрасное у него было качество (то есть оно есть и сейчас, но какая мне от этого радость?): он умел слушать. И всё, что происходило в моей насыщенной событиями жизни: аресты, обыски, проводы в Израиль, споры, встречи с интересными людьми, прочитанные книги, семейные неурядицы — всё обдумывалось, выкристаллизовывалось и доносилось до юного друга, до его внимательных, зеленоватых глаз. Концепция о противоположности иудейского и христианского начал часто обсуждалась в нашем небольшом кругу (Саша-я-Алёша, Ира-Ольга-я). В противоположность Саше, Алёша был осторожен и деликатен, касаясь в разговоре со мной этой темы. Он считал евреев великим народом, предсказывал еврейству невероятные достижения в будущем и победу над его, Алёши, погибающим миром.

Как-то я встретилась с активистом алии А.Воронелем и рассказала, какие разговоры ведут со мной мои русские друзья. Неожиданно Воронель ответил: «Это так и есть. Они погибают. А мы, чтобы не погибнуть с ними вместе, должны уехать. Нам нечего делать в этой стране. У нас есть свои задачи». Но мне была непривычна мысль — оставлять других на погибель и сматываться.

Узнав, что я подала документы на выезд, Алёша, конечно, загрустил при мысли о предстоящей разлуке. Но отговаривать не стал. Он знал, что так сложились мои обстоятельства. Но, испытывая своего друга, я сказала: «Я еду потому, что некому попросить: Останься ради меня». Алёша ответил: «Никто не может просить вас остаться на погибель».

Через месяц после нашего приезда в Израиль началась война Судного дня. И у нас появилась вполне реальная опасность погибнуть в буквальном смысле слова. Но, пожалуй, жить в такой опасности достойней, чем так, как живут люди там: одни — в ожидании тюрьмы и психушки, другие, отвернувшись от реальной жизни и уйдя в мир чистой духовности, третьи — вовсе потеряв желание жить. «Здоровая атмосфера» сохранилась в той стране, главным образом, в стане «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови».

Но я не искала, где лучше. Я оказалась в Израиле потому, что так сложились мои обстоятельства, и потому, что для многих, слишком многих в России, такие, как я, ассимилированные евреи, никогда не будут до конца своими.

* * *

Последние три года нашей жизни там у нас в семье, как во многих еврейских семьях в Москве и в других городах, говорили об одном и том же: «Надо уезжать. Надо ехать в Израиль». «Да, надо, но я не хочу и не поеду», — отвечала я Юлиусу, Вадиму Меникеру, Меиру и его жене Марине. Так отвечала я и своему мужу и сыну. Якобсон, чувствуя своё еврейство так же, как и я, негативно, как реакцию на антисемитизм, был по самой своей глубочайшей сути типично-русским человеком, таким типично-русским, какими бывают некоторые, определённого склада евреи. Израилю, конечно, симпатизировал, но сионизмом в его московском проявлении не интересовался, на проводы не ходил, у синагоги в праздник Симхат-Тора не околачивался. Еврейские сборища, где сходились люди, ничем друг другу не близкие, кроме желания уехать, были нам обоим не слишком милы. Нам виделось на лицах сионистов выражение самодовольства людей, постигших истину в последней инстанции, и их общество нас отталкивало, так сказать, эстетически. А может, нас просто шокировало объединение людей по голосу крови, которому мы привыкли не придавать решающего значения. Но меня привлекали на этих сборищах люди, с которыми хотелось повидаться или попрощаться, а муж их избегал вовсе. Но он считал, что надо спасать ребёнка.

Сын у нас вырос в особой обстановке. С детства он, вместе со сказками, слышал рассказы о том, как сидели его близкие — мать, дед, бабка. Позже он встречал в нашем доме таких наших товарищей, как Гершуни, Буковский, Гарик Суперфин, а потом этих прекрасных людей хватали и отправляли в тюрьмы и психушки. Большинство взрослых, с кем он сталкивался, — или сидели «в период культа личности», или исчезали в наше время, или ждали ареста. И мы просили его писать Гершуни и генералу Григоренко, сидящим в тюремных больницах, потому что письма от детей лучше доходят, а узникам они доставляли самую большую радость.

Почему-то так случилось, что он очень рано столкнулся с проявлениями антисемитизма. Он был хорошенький, смышлёный мальчик, няньки в саду его на руках носили, он был застрельщиком в разных школьных делах и проказах, но когда надо было его отругать, вспоминали, что он еврей — а он даже похож на еврея не был! «Убирайся в свой Израиль!» — слышал он тогда, когда ещё никто туда не ехал. «Правильно Гитлер делал, что уничтожал евреев», «всех вас перебить надо», — несколько раз говорили ему и взрослые, и дети.

У нас, родителей, были противовесы, противоядия, мы были связаны с Россией глубинными связями, наше восприятие было сложным и многогранным. Мы знали, что нас любят, что у нас есть товарищество. И помнили добро. А сын был по-детски прямолинеен и не хотел жить в этой стране.

Интерес его к Израилю возник как бы случайно. Летом 1967 года, когда ему было 8 лет, он уехал в подмосковный пионерский лагерь. Навестить детей разрешалось официально один раз за лето, в родительский день, но мы приезжали почти каждый выходной, и обычно нам удавалось, обманув бдительность обслуживающего персонала или уговорив нянек, которые были не такими уж суровыми и прекрасно понимали наши родительские чувства, заполучить ребёнка и погулять с ним в лесу. В один из таких приездов, в июне, отец рассказал Саше известные нам подробности о ходе Шестидневной войны, которая только что кончилась.

Сын наш не любил и не умел драться, никогда не интересовался боевым историями. Однако, он внимательно слушал отца и переживал за судьбу Израиля необычайно. Действия еврейской армии увлекли его, чуждого военной романтике, потому что это была именно еврейская армия.

Мои сионистские связи, отражавшие только часть моих интересов, захватили его. Вскоре он глотал литературу об Израиле и еврейской истории со свойственной ему способностью воспринимать информацию, ходил на проводы, бегал по субботам к синагоге и посещал детский ульпан, где праздновали Хануку и Пурим. Но дети из ульпана один за другим уезжали в Израиль, а я ехать не собиралась.

Когда муж говорил мне, что надо спасать ребёнка, когда со всех сторон мне твердили, что надо уезжать ради сына, я отвечала, что для физического спасения сына пожертвовала бы жизнью, но отъезд в Израиль — спасение не физическое (там война), а духовное. А в духовном отношении мы с сыном равноценны, в высшем, так сказать, смысле, и требовать от меня такой жертвы никто не может.

Летом 1972 года арестовали Якира, и вскоре мы узнали, что он даёт показания. Якобсона стали вызывать на допросы в КГБ, и вопрос об отъезде в Израиль приобрёл неожиданную актуальность. Пришлось решать не вообще — надо ли ехать, а ехать ли сейчас, или отцу отправляться «в другую сторону», а сыну оставаться здесь навсегда или, по крайней мере, надолго. И однажды, в декабре 1972 года, я пришла с работы и муж сказал, что говорил с сыном и, если я отказываюсь, тот согласен ехать с ним вдвоём, без меня, в надежде, что я потом присоединюсь. Это

был роковой момент. Ни слова у меня не нашлось, чтобы отговорить их от этого шага. И ни о каком воссоединении потом нельзя было думать — не в таком мире мы живём, чтобы так рисковать. Остальное, до нашего отъезда в сентябре 1973 года, были технические детали.

* * *

7 сентября 1973 года мы приземлились в Лоде. Два дня назад мы прощались в Шереметьеве с близкими, со многими из них — навсегда. И навсегда оставляли страну, с которой были связаны всей прожитой жизнью, которую одну умели ненавидеть и любить.

И вот нас подхватили, привезли в Иерусалим на Масличную гору, и оттуда показали город, где отныне нам предстояло жить. Одолев с разбегу тысячи километров, мы вдруг остановились, перевели дыханье и, глядя на открывшийся перед нами город, ощутили целебный шок. Он жил сиюминутной, преходящей жизнью, и он был вечен и прекрасен. Парящий над его холмами дух повеял на нас.

Потом нас понесло дальше, по дорогам маленькой, но неоглядной страны — через Иудейскую пустыню в Иерихон и к Мёртвому морю, через Галилею к озеру Кинерет (то же, что Тивериадское или Галилейское море!). А впереди, перед мысленным взором, брезжили нам просторы свободного мира. Но ещё долго мы терзались и ужасались окончательности происшедшего с нами, с нетерпения, как главного события дня, ждали писем и вестей оттуда, остро ощущали вину перед оставленными друзьями и даже перед авторами любимых книг. Непривычно яркое солнце слепило, мешало сосредоточиться на своих печалях. И вода была невкусной, и хлеб — не тот, а внезапно обретённая свобода казалась даже избыточной и как бы абстрактной. И не радовала.

Но увиденный в первый день Иерусалим полонил сердце. И рождалось сознание нового долга — перед этим городом, перед этим народом, перед шумной и сдержанной, разноликой и чем-то неуловимым объединённой толпой, говорящей на чужом языке. Пришло понимание, что мы — часть этой толпы, этого народа. И всю непреложность причастности к жизни новой родины мы вскоре ощутили со всей силой — во время войны Судного дня. Мы не забудем прошлого. Но наш выбор сделан[85].

Рассказ матери о последних годах жизни отца

В отличие от нас с тобой, отец удивительно мало рассказывал про тюрьму и лагерь. Следствие у него было неинтересное: никаких особых признаний от него не требовали и дали всего 10 лет — за то, что в молодости он был анархистом.

Об этом периоде его жизни мы знаем только по его письмам из лагеря и инвалидного дома, а также от сидевших с ним людей. В тюрьме и в лагере к нему, как везде и всегда, относились с большим уважением[86]. Всем он казался человеком, удивительно внутренне свободным, равнодушным к тяготам заключения, погружённым в размышления об истории страны и судьбе революции. Казалось, что для него тюрьма — незначительный эпизод. Но я-то знала, какая в нём произошла перемена. Непреклонного, вольного духа в нём уже не было. Как все, он жил в лагере письмами и известиями от близких, мечтал о встрече с нами, и чувствовалась в нём какая-то пришибленность.

Но поразительно, что освободившись, он ещё помышлял о какой-то деятельности и презирал нашу озабоченность устройством быта, возню с квартирой. Как-то он вёз нашего маленького внука Шурика в коляске — прогуливать Шурика было его святой обязанностью — и вдруг сказал: «Я ещё своего назначения на земле не выполнил», — так же, как он написал мне в своём первом письме из лагеря.[87] Я говорю: «Опомнись, тебе уже семьдесят! Воспитывать внуков — вот наше единственное назначение на земле. И самый достойный финал. Достойнее много, что мы совершили Будем самиздат читать, давать, кому надо, кому интересно. То, что мы их не боимся[88] презираем и не скрываем этого — в этом наша борьба с режимом, и этого достаточно». Думаю, что я его убедила.

Когда он вернулся из лагеря, его облепили старые «бэ», как мы их называли — старые большевики. При встрече с ним каждый из них чувствовал неловкость: они получали на старости лет персональные пенсии, а он, чьи заслуги перед революцией были так велики, остался обойдённым. И они стали для него добиваться привилегий. А он должен был решить, достойно ли пользоваться привилегиями, полученными за прошлое, которое он сам давно осудил. Они просили, чтобы я на него повлияла: нужна была только его подпись под ходатайством о персональной пенсии. Я не стала бы на него давить, но жили мы вшестером в одной комнате, а звание персонального пенсионера давало право

на дополнительную жилплощадь, и в конце концов я его уговорила. Вдова Свердлова Клавдия Новгородцева, И.Папанин и Маруся Кубанцева сами написали его биографию, хлопотали, добивались и наконец добились для него персональной пенсии союзного значения — большая редкость для беспартийного.

Во время Шестидневной войны у него пробудился интерес к Израилю. И часто он шокировал старых товарищей своими высказываниями. Он продолжал с ними встречаться, понимая, что, хлопоча за него, они преодолели глубоко укоренившийся в них страх. И когда они его приглашали — что ж, ребята неплохие, можно и встретиться. Однажды старый большевик Васька, когда-то хороший, смелый парень, отсидевший много лет, позвал нас в гости по случаю своего восстановления в партии. Пришли, едим, пьём, Алёшу все обожают. В его присутствии и прежде никогда не пили ни за Сталина, ни за партию, и на этот раз пили за здоровье престарелой Пати, которая получала кремлёвский паёк, и всё, что было на столе, дадено ею. И вдруг отец говорит: «Предлагаю выпить за единственного генерала, которого я уважаю — за Моше Даяна». Они все вздрогнули, а я: «Ну, этот тост я поддерживаю». Что тут началось! И они на меня напали, как всегда: папа, такая контра, мог что угодно себе позволить — в контрах ходила я. Васька кричит: «Не позволю таких тостов в моём доме!» Я произнесла речь: «Старые хрычи! Зачем вы продолжаете врать? Вам всем умирать пора, о душе подумать надо! Я понимаю, что в партии Ваське надо было восстановиться, но здесь, среди своих, зачем врать?» Поднялись крики: «Контрреволюция! Израиль — фашистское государство!» А ведь все евреи. «Врёте, — говорю, — каждый из вас в разговоре со мной высказывался по-другому, и ты, и ты, и ты. Чего вы боитесь? Все вы — персональные пенсионеры. Ничего вам не сделают, не лишат пайков. Даже если среди нас здесь есть стукачи, они закроют глаза, не будут слушать. И дел ваших КГБ разбирать не станет». Они мне: «Если партия ошибалась…» «И партия ваша говно, и вы сами». И мы ушли, но всё-таки на прощанье они с нами расцеловались. Слушали-то они с удовольствием, всю жизнь мечтали услышать такое, что сами знали, но о чём боялись даже подумать.

И отец говорил: «Израиль — единственная страна, которая меня сейчас интересует. Был бы я хоть на 10 лет моложе…».

В те годы в нашей новой квартире у Красных ворот бывало много молодёжи. Приходили, делились новостями, приносили самиздат. Приезжал из инвалидного дома и подолгу гостил у нас М.П.Якубович, приходил Солженицын и расспрашивал Якубовича и отца о революции, гражданской войне. Приезжали иностранцы, привозили книги. Тогда мы прочли роман А.Кестлера «Мрак в

полдень», Конквеста «Великий террор». И отец, помню, сказал: «Теперь мне всё окончательно ясно, можно спокойно умирать».

Умер он в 1971 году от инфаркта, умер, как жил. Боль, наверное, была страшная, но когда отпускало, он расспрашивал знакомых врачей, Меира Гельфонда и Ирочку, о новостях, как будто ничего особенного не происходит. Я не понимала, что близок конец, а он это чувствовал, но считал, что смерть — его личное дело, и не следует по этому поводу поднимать шума. Он сказал Меиру: «Если это конец, я предпочитаю отправиться в больницу, чтобы не тревожить близких». И потом, с носилок, крикнул внуку обычным, бодрым голосом: «Всего хорошего, Шурик!»

На похоронах было много знакомых, но всё молодые, приобретённые в последние годы. Старые друзья, крымские, не смогли вовремя приехать в крематорий — что-то случилось в этот день с автобусами. Заплаканная Маруся Кубанцева приехала с венком на такси, когда всё было кончено, и никакого официального торжества не получилось.

А потом все поехали к нам, потому что мне захотелось, чтобы Маруся, которая знала Алёшу молодым, рассказала о нём его молодым друзьям и внукам. Слегка выпили и закусили, и Маруся произнесла речь о том, что Алёша, и не состоя в партии, всегда был с ней заодно. Что он, сын бедняка-портного, достиг всего на разных поприщах, и партия ему доверяла! Партия ему всё дала. И не вступил он в неё только из-за Землячки, которая в Крыму требовала от него, бывшего анархиста, публичного отречения от своих взглядов, «чего Ленин никогда бы не потребовал». Я не выдержала и стала возражать Марусе, сказала, что Алёша всегда ненавидел партию, и пора признаться самой Марусе, что и она её ненавидит так же, ведь всю жизнь ей приходится скрывать две вещи: что она сидела и что она — еврейка. Но, Боже мой, она же действительно была добрым человеком, беспрерывно творящим добрые дела — и в старости, и всю жизнь, даже с риском для себя. Вот чего нельзя простить этой проклятой партии — сколько хороших людей она искорёжила!

Тут и молодые стали клевать бедную Марусю, она же была среди нас белой вороной! Я совсем не собиралась с ней спорить в такой момент, но как же можно так врать на покойника!

И вот — при таком большом обаянии всегда между ним и людьми существовало какое-то расстояние. С ним невозможно было делиться жизненными проблемами. И сам он никогда ни с кем не делился и не жаловался, если ему было больно. Всегда он был углублён в себя, что кажется странным в таком внешне компанейском и не слишком интеллектуальном человеке.

Приложение

Беседа с А.А. Якобсоном (Иерусалим, апрель 1978 г.)

М.У.: Расскажи о своём отношении к сионизму, сионистам и Израилю.

А.Я.: Я согласен с сионистами в том, что с момента, когда был создан Израиль, судьба еврейского племени связана с этим государством. И у меня есть глубокое убеждение в нерушимости этой связи. В этом пункте я как бы и сионист. Но те правоверные сионисты, с которыми мне пришлось иметь дело, к этому первому и бесспорному для меня пункту автоматически прибавляют второй, как бы вытекающей из посылки: что судьба каждого еврея должна быть непременно связана с судьбой его народа. А в случае определённого конфликта между личным, индивидуальным, и общим, родовым, племенным — индивидуальное должно быть принесено в жертву народному. Я этого мнения не разделяю, так же, как и ты. Кроме того, имея в виду выходцев из России и вообще ту среду, которую я знал, то есть русских евреев, причастных к сионистским делам — я считаю сионистами только тех, кто для этой цели, на этой ниве, как-то поработал. Я имею в виду не только таких героев сионизма, как Меир Гельфонд или Фима Вольф[89], которые в допотопные сталинские времена участвовали в сионистских организациях, или как Виля Свечинский[90], который через какую-то восточную персидскую границу бежал в Израиль, за что и сел надолго. Но человек, который распространял в Москве «Экзодус» Леона Юриса или учебник иврита «Мори» или что-нибудь в этом роде, тоже был сионистом. Потому что он трудился на этом поприще. А я не трудился, или труд мой был случаен и как бы побочен. Я об этом не хочу говорить. Поэтому я — не сионист.

И на сионистские сборища я ходил нечасто. Ну, во-первых, нельзя же везде ходить. Я принадлежал к некой футбольной команде, к так называемым демократам. То есть был какой-то круг, к которому я сознательно принадлежал. И у меня было огромное количество друзей, было много кругов, которые либо пересекались между собой, либо не пересекались и ни к каким общественным движениям не имели отношения. К тому же я просто работал. Даже когда не служил в школе, я всё равно работал. Переводил, давал уроки. И у меня была личная жизнь. Всё поле не обскочишь. Это всё во-первых. А во-вторых, именно как круг людей сионисты меня не очень интересовали. Я, конечно, видел, что Меир Гельфонд — человек незаурядный и

очень привлекательный, и он в ту пору сумел меня разглядеть, использовать — в самом хорошем смысле слова, за что я ему до сих пор благодарен. Он мне тоже. Другое дело — эта публика в массе своей, как я их воспринимал, например, на проводах. Наше поголовье выглядело, с моей точки зрения, симпатичнее, привлекательнее их. Я даже не могу сказать интеллигентнее, но — духовнее их. Например, когда провожали Юлиуса Телесина[91], какая-то женщина — вероятно, мученица Сиона, после этого и до этого сидела, а сейчас наверное живёт в Израиле — с необыкновенной гордостью и пафосом объясняла, почему она не любит Россию. Любовь может быть только одна, и раз она любит Израиль, то не любит Россию. Я содрогнулся от убожества её интеллекта. И подумал: Господи, что это за люди? Ну пусть они любят Израиль, но что у меня с ними общего? Я тоже люблю Израиль, то есть я за него болею душой. Я желаю ему силы, жизни и процветания, но о чём я могу говорить с людьми, которые мыслят на таком уровне? Или, помню, провожал я Сивашинского[92]. Так эти самоуверенные молодые люди в кипах, которые там стояли, вызвали у меня неприязнь. Теперь — пошёл я проводить Бориса Цукермана[93]. Я знал его достоинства и знал, что он очень много пользы приносит людям, например, своими юридическими консультациями. В общем, знал ему цену. Пошёл я с единственной целью — сказать ему два добрых слова. Мол, будьте здоровы, чтоб вам было там хорошо, в Израиле. И что же? Он произнёс целую сентенцию: «Да, мы уезжаем в Израиль, но если вы здесь, в этой стране, наведёте порядок, то мы, может быть, приедем когда-нибудь к вам в гости». Главное, что существовали «вы» и «мы». «Мы» — евреи и «вы» — демократы. Хотя недавно он скромно подвизался в доме Григоренко. Стояли эти козлы. Их лица сияли: наш гаон, как он его отбрил! А я подумал про себя, не напомнить ли ему слова из «Капитанской дочки»: «Его благородие, знать, одурел от радости»? Но сдержался.

Теперь о том, как я решил уехать в Израиль. Так или иначе, я еврей. Я всегда знал, что я еврей. С детства. Я не считал, что это хорошо или плохо. Стало быть, я всегда любил Израиль. Я любил его как еврейское государство. Прежде всего, как государство, в самом грубом, примитивном, марксистском смысле слова. Как государственную машину. Что меня роднит с этой страной? Казалось бы, ничего. Природа, конечно, очень красивая и величественная, но я люблю среднерусскую, вообще европейскую природу. Народ этот здесь, в Израиле, не вызывает у меня никаких сантиментов. К культуре этой я непричастен. Что такое для меня Израиль? Для некоторых это была Палестина, святая

земля или, может быть, «от Нила до Евфрата» или ещё что-нибудь. А для меня этого ничего не было, да и нет. Если рассматривать отдельные учреждения этого государства с точки зрения аппарата управления, то это выглядит очень несимпатично: мисрады, пакиды, пкиды [конторы, чиновники, чиновницы], бюрократизм. А всё вместе — очень хорошо. Государство — единственное, что меня привлекает. Ибо это сила, которая защищает евреев. И другой силы в мире нет и быть не может. Это я сейчас всё понимаю. Но, видимо, я это всю жизнь бессознательно понимал, потому что я еврей. Но что такое еврей? По культуре я, конечно, русский. Не хочу рассматривать сейчас твой парадокс, что я настолько русский, как только еврей может быть. Я всю жизнь знал, что я еврей, и потому моя душа тянулась к государству Израиль. Это — первое и главное. Второе — я не хотел сидеть. Мне было безумно больно расстаться с моими друзьями. Не только потому, что я их любил, а и потому, что я, действительно, хотел разделить их судьбу. Короче говоря, всё меня привязывало к России. И если проделать совсем уж беспощадный психологический эксперимент и задать себе вопрос: А если бы у тебя, Якобсон, не было сына, который нас как бы взял всех и за верёвочку привёл в Израиль? Уехал бы ты из России или нет? На этот вопрос, будучи честным, я не могу ответить. Я не знаю. Не знаю, и всё. Потому что это гадание. Конечно, я бы выглядел очень красиво и благородно, если бы мог ответить: нет, всё было ради сына. А я, если бы не сын, безусловно, остался бы в России. На самом деле — во-первых, мы не можем отрешиться от того, что у нас есть сын. Стало быть, этот эксперимент в чистом виде поставить нельзя. Но даже если мы сделаем вид, что мы ставим его в чистом виде, всё равно внутренняя честность не позволяет мне на это ответить однозначно. Я не знаю, может, я и тогда бы уехал. Почему? Из страха перед тюрьмой? Ну, известно, что я был как бы не из последних трусов в России, кое-что делал, но я был не из тех, которые делали, потому что за это сажают. А были и такие. Психологически у меня была другая позиция: я делал, несмотря на то, что за это сажают. Естественно, боясь тюрьмы, как и свойственно нормальному человеку, а ещё больше боясь сумасшедшего дома. Я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что не уехал бы, если бы не сын.

М.У.: Вернёмся к 1956 году. Когда мы освободились и стали встречаться друг с другом и с более молодыми, с теми, кто не сидел, ведь наши рассказы как-то действовали? Мы не могли в дальнейшем не чувствовать за это ответственность. Мы-то хотели устраниться. Это нам плохо удавалось, но мы хотели: дескать, ничего не поделаешь, и вообще — мы уже сидели, с нас хватит. И

поскольку ты и есть человек более молодого поколения, который сам не сидел…

А.Я.: Только в этом смысле.

М.У.: Но это очень важный смысл! Ты и есть тот человек, который не сидел, но на которого, я думаю, влиял тот факт, что твоя жена, тёща и тесть сидели. Так вот — что значила для тебя встреча с нашей семьёй, и как это повлияло на тебя в дальнейшем, когда ты пустился во все тяжкие? Я помню, мы ехали с Белорусского вокзала в Звенигород в пионерлагерь к сыну, и я сказала: «Смотри — каждый бежит по своим делам. Почему ты не живёшь спокойно?» А ты ответил: «Не у каждого посадили жену в 18 лет». Значит, это имело для тебя значение? И я думаю, что имело.

А.Я.: Ну что тут думать, это ясно! Это имело очень большое значение. Только трудно его взвесить. Факторов, которые определили моё, так сказать, идейное лицо, моё жизнеотношение, которые заставили меня в своё время — именно заставили — как-то выступить, было много. Встреча с вашей семьёй, где все сидели. Ещё раньше был миф о Сусанне[94]. Я из всех вас знал только про одну Сусанну. Я уже тогда как-то плохо относился — не к советской власти, а к существующему в России режиму. Я был так наивен, что долго оставался марксистом и, конечно же, был за Октябрьскую революцию, за Ленина и прочее. Но я знал, что в нашей стране — несправедливый строй. И Саша Тимофеевский[95] в своё время для меня, со своими смутными, романтическими рассказами про Сусанну, которая страдает за справедливость, был катализирующим фактором. Он её знал по литературному кружку в Кировском доме пионеров. Так получилось, что я сперва познакомился с Сусанной, весьма условно в неё влюбился и съездил в лагерь, где она когда-то сидела, за справкой, которую было очень трудно достать.

Ситуация была такая: ей нужно было поступать на истфак. Она из вас — самая молодая, и села, ещё не окончив средней школы. Как я помню, после освобождения она сдала экстерном за десятилетку и решила заниматься историей. Но для того, чтобы сдать экзамены на истфак, нужно было знать историю лучше, чем средний ученик. К тому времени я уже кончил исторический факультет и поэтому много с ней занимался. Она, конечно, была способной ученицей, и мы не сомневались, что по своей объективной подготовке она должна поступить. Но, с одной стороны, она была еврейкой — кстати, мы об этом абсолютно не думали, а с другой стороны, она сидела и не была реабилитирована. Это было очень существенно. И вот я решил съездить в лагерь, где она сидела, и попытаться достать справку о

том, что она работала энное количество лет на тамошнем швейном производстве. Такая справка давала привилегии при поступлении в институт. Это был совершенно безумный замысел, который, однако, увенчался успехом. А было так. Я, мальчишка, поехал в это лагерь и нашёл там начальника лагпункта. Когда я ехал из Потьмы в Явас по известной узкоколейке, по которой — судьба так устроила — я ещё не раз потом ездил и к Даниэлю, и к другим, меня совершенно потряс разговор с одним производственником, который горько жаловался на отмену сталинских лагерей. Он совершенно не касался политики. Уверен, что он был хорошим человеком. Но он мне рассказывал о том, как добросовестно работали зэки, пятьдесят восьмая статья. Про женщин говорил, про швейное производство, про то, что сейчас, когда их всех отпустили и остался лишь блатной элемент, ужасно страдает производительность труда. Как они хулиганят, как с ними трудно. С ним вместе я пришёл в столовую, мы сели за стол, он вынул огромный шматок сала, бутылку спирта, мы заказали щи. Прекрасно там, в этой столовой МВД, кормили. Мы пообедали, и я пошёл к начальнику лагеря, майору. Я сказал ему следующее: «У вас сидела столько-то лет некая Сусанна. Она не реабилитирована. Я к вам обращаюсь — и голос у меня дрогнул, — как к человеку и коммунисту». Тут он поднял на меня глаза. До этого он вообще меня в упор не видел. Я не продумал этот ход заранее, это был экспромт. Думаю, он был из новых начальников, из тех, кто пришёл после XX съезда. Когда я дрогнувшим юношеским голосом сказал: «Обращаюсь к вам как к человеку и коммунисту», — он отложил свою папку и стал смотреть мне в лицо. Я сказал: «Понимаете, она — моя подруга, и я хочу, чтобы она поступила в институт по своим объективным данным». Он спросил: «Чего вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы выдали справку о том, что она проработала столько-то лет на швейном производстве». Он задумался и думал недолго, минуты две. Потом позвонил, и явился человек лет шестидесяти. Судя по его лицу, по повадкам, он столько лет жил при советских лагерях, сколько они существовали. Был он канцеляристом и имел совершенно холопский вид. К молодому майору этот старик явился моментально, как лист перед травой, как какой-нибудь конёк-горбунок. Начальник сказал, что вот, была такая заключённая, и там, в Москве, допускаются необъективности. «Так вы напишите справку». А мне сказал: «До свидания». Я пошёл за старичком. Он моментально, бисерным, писарским старинным почерком написал справку о том, что такая-то с такого-то по такой-то год работала на швейном производстве в системе МВД. У него было малочеловеческое лицо. Не злое и не

доброе. Но, видно, он прожил такую жизнь, что непосредственные черты, которые определяют лицо человека, были вытравлены. И это лицо вдруг исказилось неподдельной радостью. Может быть, он в первый раз выписывал такую справку. И сделал это с величайшей радостью. Я взял справку и, когда вышел из лагеря, ко мне подъехал вольняшка на тракторе. На плече у меня висела торбочка, а в кармане, в кожаном мешочке, лежала эта справка. Видимо, лицо моё выражало счастье, потому что он спросил: «Освободился, парень?» Мне почему-то захотелось соврать, и я ответил: «Да, освободился». Хотя, видит Бог, у меня и волосы были не зэковские. «Ну и бляди же они, — говорит, — ну и шакалы! Ты где живёшь, в каком городе?» «В Москве». «Садись на трактор». Бросил свою работу, включил мотор и с невероятной быстротой довёз меня до станции Явас. Там я узнал, что если мне ждать поезда на Потьму, то я потеряю время. Я бросился пешком. Чтобы не сбиться с пути, я шёл по шпалам — как в той песне: «По шпалам, бля, по шпалам». Я тридцать километров бежал[96]. Полил такой ливень, какого я не видел в жизни. Но я знал, что справочка не промокнет. И я поспел в Потьму именно на тот поезд, что вот на него, я вычислил, нужно бежать пешком. Приехал в Москву, примчался к Сусанне утром. Она ещё лежала в постели, улыбнулась, я протянул ей справку. Потом, будто, эта справка ей вовсе не помогла.

К чему я всё это рассказываю? К тому, что Сусанна была для меня всё равно, что Прекрасная дама. И если говорить о влиянии, то, конечно, на меня оказал влияние её образ, созданный Сашкой Тимофеевским, и она сама. Ну, а потом, когда я познакомился с тобой и стал твоим мужем, и узнал твоих родителей, которые тогда же, в 1956 году, освободились — это конечно был могучий фактор влияния. Но ведь их было много. Экспромтом назову ещё два. Во-первых, конечно, антисемитизм. Я выдержал на воле, пока вы сидели, самое страшное давление антисемитизма.

Я имею в виду антисемитизм эпохи дела врачей, ужасный антисемитизм конца сороковых и начала пятидесятых, когда я был уже не младенцем и когда происходили вещи страшные. Правда, лично я не испытывал антисемитизма. Но когда до меня доходили правдивые рассказы о том, что сестра из больницы пришла делать укол и, увидев её еврейское лицо, её не пустили в дом, это для меня не проходило бесследно. Но и это не самое главное. Самое главное — деревня. Когда Владик вчера говорил[97], что в России всего не хватало, это было очень отвлечённо. В ту пору мы уже не голодали в Москве. Были странные вещи — фазаны продавались дешевле кур. Красная икра была дешевле масла. Буженину, конечно, купить было трудно, но

и её мы иногда ели. Но так случилось, что я два лета провёл в Коноплянке, совершенно классической русской деревне Тамбовской области. Говорю «классической» потому, что, с одной стороны, она — не пригородная, когда колхозники могут продавать продукты в городе и, значит, как-то существовать. С другой стороны, это не какая-то сибирская деревня с совсем уж побочными промыслами, где можно, например, охотиться. Это была классическая русская деревня в хорошей, чернозёмной среднерусской полосе. Где колхозникам давали сорок соток огорода — максимум того, что давали в России. Вот вчера шёл разговор о том, как притесняли крестьян. Твои однодельцы сидели в сталинских лагерях, испытали ужасное, но русской деревни они на самом деле не знали. И я сегодня, буквально два часа назад, возмущался, что не знаю русского народа. Конечно, я его не знаю. Но его и Достоевский, и Щедрин не знали. Но я знаю русский народ в том смысле, что я в нём жил. И всегда интересовался его жизнью. Кроме того, что ничего не давали на трудодень — это Бог с ним, но с этих самых приусадебных участков брали неимоверный налог, который отменили только после смерти Сталина, ещё при Маленкове. Сорок соток огорода! Человек, который жил в деревне, понимает, что такое сорок соток. С этого можно жить. Но с этого полагалось сдавать государству сорок килограммов мяса в год. Мясо на огороде не растёт. В этой самой Тамбовской области, в одном из её районов, жил когда-то Мичурин. Там росли чудные сады. Колхозники вырубили почти все сады, потому что они были обложены невероятным налогом. Но это ещё можно понять. Но что с огорода требовалось сдавать мясо, это понять очень трудно. Если человек мог выкормить свинью и сдать её государству, он выкармливал. Если нет — я лично знаю случаи, когда колхозник каким-то образом доставал деньги, покупал мясо и сдавал государству, чтобы сохранить свои сорок соток огорода. Я жил в Коноплянке летом 1949 и 1950 года, всё видел и понимал. Я понимал, что такое колхозы, что этот режим сделал с мужиком. Для меня это был чудовищный режим.

Почему я об этом говорю? Я просто пытаюсь соразмерить факторы, которые на самом деле соразмерить нельзя. Встреча с вами, что само по себе привлекало целый круг сидевших людей, к которым я заранее хорошо относился и был глубоко убеждён в ту пору, что кто сидел — уж обязательно хороший человек. И потому меня так потрясли стихи Манделя[98] того времени о том, что «большевиков сажали так бесчестно, что нам казалось — честность в них». Для меня сидевшие были люди отвлечённые, пока я со всеми вами не познакомился. Итак, влияние вашей

семьи, знание того, что людей сажали ни за что. Ведь сажали их, а не меня. Как правильно сказал вчера Владик, я ведь не испытал, как сажают. Я знал, что это ужасно несправедливо, но когда собирали налог и выла вся деревня — я этого не забыл. И глубоко убеждён, что память об этом для меня лично была важнее даже государственного антисемитизма, хотя из-за него погиб мой дядя Сёма, который заменил мне отца, когда тот умер в 1947 году от рака.

Дядя Сёма был нетривиальным человеком. В нём был нерв, средоточие родового начала нашей якобсоновской семьи. Когда-то дядя Сёма был лихим нэпманом, содержал конюшни, потом вступил в ЕКП — Еврейскую коммунистическую партию, прошу не путать с Бундом. Был он типографским работником и блестящим служащим Института санитарного просвещения, хотя почти ничему не учился. Он лично знал Маяковского, рассказывал мне про него много интересного. Это был добрый еврей. Маленький, коренастый, невероятно наполненный жизненными силами. И во все годы советской власти он жил очень хорошо, даже когда его «раскулачили» после нэпа. Он всё умел и мог. Женился он на русской женщине, дворянке и генеральской дочери Ирине Николаевне, был отчимом её дочери, тоже Ирины. Щедрый человек, из таких южных, полнокровных, как бы одесских евреев, хотя родом он не из Одессы, а из Витебска, как и мой отец. Дядя Сёма привык, зная свою силу, тратить деньги свободно. И вдруг его выгнали с работы. Он плюнул на тех, кто его выгнал — ха-ха! Уверен был, что везде устроится. У него был какой-то фантастически широкий круг знакомых. И вот его не берут, не берут, не берут никуда. В один прекрасный день, у себя дома в Брюсовском переулке, он разговаривал со своим приятелем Гальпериным, недавно получившим Сталинскую премию как хозяйственник. Дядя Сёма сказал Гальперину, судя по доносу и по тому, что ему инкриминировали в суде, что Сталин мстит нам, евреям, за Троцкого. Зная облик дяди Сёмы, я думаю, что Троцкий был для него, в глубине души, национальным и коммунистическим героем. Дядя Сёма ничего не имел против коммунизма, если при нём можно работать, много зарабатывать и красиво жить. А жить красиво для него значило жить широко, а главное, поддерживать родню. Сосед по фамилии Адольф, учитель географии, донёс на него. Я хотел убить Адольфа, но не убил, потому что испугался, что меня посадят. Дядю Сёму посадили вместе с Гальпериным, обоим выдали по 25 лет. Ну, они же не идейные люди — на следствии раскололись и клепали на всех и друг на друга, причём дядя Сёма, судя по некоторым отголоскам, вёл себя, видит Бог,

хуже Гальперина. Их судили в Московском городском суде. Обычным судом, с защитой и обвинением. Я пришёл на суд. Мой старший двоюродный брат Гришка, герой войны с тремя орденами Славы, испугался, а я нет. Жена дяди Ирина Николаевна тоже не испугалась, не предала мужа, и падчерица его тоже не предала. Они продали последние вещи, нашли хорошего адвоката. Когда начался суд, я увидел, как дядю Сёму и Гальперина провели конвоиры, вооружённые винтовками со штыками. За время следствия дядя облысел. Прежде у него были хорошие волосы с пижонским зачёсиком набок. Шёл тяжёлый, как бык, головой вперёд Гальперин. Дядя Сёма сделал нечто вроде реверанса, как бы уступая место конвоирам. Их провели в зал, а нас не пустили. Потом к нам вышел адвокат, скорчил скорбную мину и сказал: «Ирина Николаевна, я сделал всё, что мог, но увы — 25 лет». Гальперин выжил, дядя Сёма погиб в лагере. Он был лёгким человеком, легко сходился с людьми. Думаю, при его смётке, он не был на общих работах. Ирина Николаевна собирала посылки с сухой колбасой и прочим. Из Москвы их посылать было нельзя, я ездил для этого за город. И вот в 1955 году на Воркуте, на каком-то лагерном празднике, дядя Сёма, который всегда был дамским угодником, пригласил даму, стал с ней танцевать, упал и умер от инфаркта. Вскоре после этого его реабилитировали «за отсутствием состава преступления».

М.У.: Ни за что, за разговоры, обычно давали по 10 лет.

А.Я.: Эта формула правильна, но она подходит к более раннему времени, а в тот период давали уже и по 25.

Я помню день, когда освободили врачей. Я кончал 10-й класс и был «в большом законе». Я был, в общем, любимчиком школы. Вёл секцию бокса, писал стихи. И был застрахован от личного антисемитизма не на 100, а на 200 процентов. Тем не менее, когда врачей освободили, это было для меня, может быть, самым сильным потрясением в жизни. Я знал, что они не виноваты. Это была такая фантасмагория, такой сюрреализм, что трудно было что-то понять. Но инстинкты у меня были сориентированы правильно — мне просто объяснили взрослые, что всё это вздор, что врачи не виноваты. И вдруг их освободили. Я шёл в школу и — Господи Боже мой! — что со мной происходило! До этого умер Сталин. Советская власть долго морочила голову народу. Ведь Сталин умер не 5-го, а Бог весть какого марта, ведь он как жил криво, так и умер. Это Ахматова умерла 5-го марта, с тех пор я перестал в этот день праздновать смерть Сталина. Партия готовила народ к его смерти исподволь — там «дыхание Чейн-Стокса» и прочее, что было понято и обшучено более взрослым и умным Юрой Гастевым[99]. Мне в 10-м классе было 18 с

половиной лет. Из-за войны я поступил в школу поздно и в 10-м классе был здоровым, бородатым парнем. И вдруг нас выстраивают мы стоим, и наш директор школы Михаил Васильевич Козлов каким-то ноющим, неестественным голосом говорит: «Умер ты, сокол наш ясный…»

Мы с моим другом Сашкой Тимофеевским были очень возвышенные молодые люди и рассуждали не в политических категориях — в политике мы ни черта не понимали — а в категориях «справедливо-не справедливо». И вдруг Сашка, который политически созрел раньше меня — полюбил Сталина и в первый и последний раз в жизни опубликовал стихотворение о любви к нему. За что я его не только тогда не осуждал, но и сейчас не осуждаю и до сих пор храню к нему некоторую нежность. Я думаю, что это был у него абсолютно искренний порыв. Но сам я ничего не чувствовал, кроме сухой и спокойной радости. Почему-то те евреи, которые окружали меня в нашей коммунальной квартире в Хлыновском тупике, думали, что будет хуже. Тётя Муся билась в падучей, а живший у нас партиец и индустриальный командир, директор огромного сталелитейного завода в Запорожье, удивлялся и говорил ей что-то в таком духе: «Конечно, очень жалко, что умер товарищ Сталин, но что же вы, девушка — девушке, правда, было за сорок — что же вы в истерику впадаете? Товарищ Сталин умер, а вот мы подтянемся». Он был хохол двухметрового роста, а в глазах стоял чистый смех, как мне сейчас кажется, и если я вру, то не нарочно. И мне, когда мы стояли в школе в стройных рядах, а наш директор сказал, что умер сокол наш ясный, трудно было удержать смех. Потом мы с моим одноклассником Володькой Ротштейном решили прогулять школу и целый день ходили по Москве и ели мороженное. И презирали тех, кто искренно плакал.

М.У.: Давай, валяй про марксизм. Имел ли на тебя влияние мой отец?

А.Я.: В этом плане встреча с твоим отцом не имела на меня решительно никакого влияния. В порядке юмора могу вспомнить, что однажды во время спора с твоим отцом, когда я довольно лениво отстаивал основания марксизма, а отец твой тоже довольно лениво — потому что для него это было, наверное, в тысячный раз в жизни — их опровергал, и проку из этого не было и не могло быть, Надежда Марковна сказала: «Я вот тоже марксистка, в отличие от Александра Петровича, у которого как бы иммунитет против марксизма».

В школе я никаким марксистом не был. И думаю, что ваши ребята — Владик Фурман, Женя Гуревич и Боря Слуцкий и, я думаю, Владик Мельников, были гораздо более в этом плане

начитаны, чем я. Но поступив на исторический факультет Педагогического института, я решил этот марксизм изучить всерьёз, исходя из того, что это, как-никак, единственно правильная идеология.

У меня всегда была бескорыстная жажда понять мир, жизнь понять. Я был сформирован сызмальства в марксистских и домарксистских общелиберальных, общеинтеллигентских предрассудках XIX века: считал, что существует прогресс, что наука объясняет жизнь и мир. И был глубоко убеждён, что марксизм — это правильное учение. Никогда не ставил этот вопрос под сомнение. Я считал, что моё призвание — заниматься литературой, но решил сначала выучить историю, а литературой заняться без чужой помощи. Но историю надо было учить, имея в руках инструмент, правильный компас, ориентир. И я не сомневался, что есть только один ориентир — марксистское учение. И я им занялся. Без фанатизма и исступления, не как некоторые евреи, прижав к глазам, читают молитвенник. И не так, как Толя Марченко в лагере том за томом читал. Но и не так, как требовалось для экзаменов в институте. То есть, марксистом я стал, поступив на исторический факультет. И никакая жизненная практика, эмпирика, никакие обстоятельства советской жизни меня не поколебали. Сталинский режим я ещё прежде и давно возненавидел, но не отождествлял его даже с советской властью. Я думал, что Ленин был хороший. А когда догадался, что он тоже не то чтобы бином Ньютона, всё равно я совершенно чётко разделял то наивное предрассуждение, что советская власть и сталинизм — это одно, а марксизм — это другое, и стоял как бы на марксистских позициях или думал, что на них стою. Поколебала меня в марксизме, как говорил старик Иммануил Кант, «критика чистого разума». Тут будет маленькая как бы интермедия, но по делу.

Был такой человек — N., учитель истории в нашей 135 школе. Школа наша, между прочим, не была феноменальной, как 2-я математическая, но для наших сталинских времён была, конечно, школа необычайная. N. Был очень образованный историк. Он возымел ко мне некоторый интерес, я к нему — тем более. Кончив школу и поступив на исторический факультет, я стал с ним запросто встречаться. Он старше меня, но держался со мной на равных. Мы беседовали обо всём. Играли в шахматы, пили коньяк. Никогда не напивались — он был сдержан, я при нём тоже. Вдруг однажды, не помню в каком году, но точно до дела Синявского и Даниэля — а дело это и вообще в России было вехой очень серьёзной, а в моей жизни просто ось какая-то, водораздел — шли мы по улице Герцена, и он мне сказал: «Ты,

Толя, взрослеешь и умнеешь и очень много уже понимаешь. У тебя остался только один предрассудок, одно заблуждение — марксизм. Ты уже понимаешь, что советская власть, Сталин и Ленин — это всё говно. Но то, что и марксизм — говно, это ты ещё не понимаешь, потому что ты пока молод и глуп. Когда ещё подрастёшь, то поймёшь и это». Для меня его слова прозвучали крайне странно, я бы сказал, как эксцентрическая выходка. Однако, в этом плане меня ничем нельзя было удивить. Ещё в школе, в 5–6 классе, глупые мальчишки повторяли со слов своих недорезанных бабушек и дедушек, что весь коммунизм, начиная с Маркса и Лассаля и даже с Томаса Мора — настоящий фашизм и говно[100]. Я всё это с любопытством выслушивал, и даже в голове не было — донести или рассердиться. Что ж, у людей такое мнение! Так уж тем более во взрослом возрасте я на это отреагировал спокойно и промолчал. Хочу сказать, что я никогда не относился к марксизму как к чему-то каноническому. Я знал, что N — чрезвычайно умный и образованный человек, и подумал, что это у него некий закидон, а вместе с тем, что-то меня кольнуло: наверное, есть в его словах какая-то правда! Идти с ним в бой в плане эрудиции было совершенно смешно, потому что его осведомлённость, его начитанность не шли ни в какое сравнение с моими. Я это рассказал к тому, что до начала 60-х годов я, видимо, в каком-то общем смысле считал себя марксистом. Более того, когда я сейчас перечёл своё письмо в защиту Даниэля, написанное в начале 1966 года, то отметил два обстоятельства. Я ссылался на то, что соображения Даниэля, высказанные в произведениях, которые ему инкриминировались, были «в духе решений XX и XXII съездов» — так я аккуратно, деликатно выразился. Не то, что он следует этим решениям, но как бы им не противоречит. Это одно. А второе — боюсь соврать, но мне кажется сейчас, что я тогда ещё немножечко был марксистом. Конечно, съезд — чистый понт, камуфляж — что такое были для меня эти съезды! Но вот что-то такое, какая-то закваска — мне сейчас трудно подобрать слово — не то, что революционная, но связанная с традициями революции, которую принято у нас выводить от Маркса — во мне тогда ещё сидела. Но в ту пору все плоды быстро вызревали, и уже следующее моё открытое письмо было написано в другом тоне, и это не только я так обнаглел, а вообще вся атмосфера нагнеталась. Когда, скажем, вслед за Даниэлем мы защищали защитников Даниэля, то есть Гинзбурга, то и разговор был жёстче, и иллюзий никаких не осталось. Здесь я хочу отметить: когда я окончательно расстался с какими-то марксистскими следами в своём существе — я даже и не знаю. Видимо, увы, слишком поздно, где-то в

середине 60-х годов. Но сомневаться в марксизме я начал гораздо раньше, до упомянутого разговора с N. Почему он знал, что марксизм — это говно, мне неизвестно. Он вообще был учёный. А я стал испытывать очень сильные сомнения в марксизме ещё студентом, году в 1957. Как я сказал, поколебала меня «критика чистого разума». Критики моего разума не выдержал марксизм. Дело в том, что я его довольно прилично знал. Когда я говорил про Владика Мельникова и про других ваших ребят, я сравнивал школьников со школьником: они, кончившие школу и занимающиеся политикой, всякую там историю партии и марксизм заодно знали лучше меня, но когда я кончил исторический факультет, то я, естественно, знал лучше их — ну, это понятно, я был и старше, меня и не расстреляли, и не посадили, и я просто очень много читал. Конечно, есть науки более точные и менее точные. Но, тем не менее, и для гуманитарных наук есть критерий добросовестности. И вдруг я ещё в конце института почувствовал недобросовестность Маркса. В отличие от Ленина, Маркс не был гениальным политиком, а был, в общем-то, кабинетным учёным. Ленин показал, каким он на практике был политиком. Если под политикой понимать искусство захвата и удержания власти. Ленин был, конечно, великим политическим бандитом, гораздо крупнее Гитлера, а не только Сталина. Каким был бы Маркс на практике, никому не ведомо. Но будучи кабинетным учёным, он в душе своей был политиком. И я понял, что Маркс политическим вожделениям своим приносил в жертву научную истину, чего, между прочим, в самом начал не делал даже Ленин. Например, первая работа Ленина «Развитие капитализма в России», написанная в 1899 году, она-таки почти научная. Похоже, что автор хотел придерживаться фактов. Он владел нехитрой методикой того времени. Обрабатывал, как умел, земскую статистику, и не так уж плохо. А вот Маркс, тот поступил совершенно по-шулерски. Я приведу только один совершенно азбучный пример. Возьмём идею абсолютного и относительного обнищания пролетариата. Так вот — относительное обнищание — это вещь мутная. Но идея абсолютного обнищания пролетариата — насквозь прозрачна: общая тенденция будто состоит в том, что рабочие чем дальше, тем становятся беднее не только относительно класса капиталистов — это как раз так называемое относительное обнищание — Бог с ним, это вообще не серьёзно. Но что рабочий сегодня живёт хуже, чем вчера, а завтра будет жить хуже, чем сегодня — это та экономическая подоплёка, из которой выводится теория пролетарской революции. Потому что, если этого нет, то мировому пролетариату незачем совершать мировую революцию.

И на этом, в общем, зиждется весь марксизм. Если не расчленять его на довольно искусственные части: на философию, которой не было, на политэкономию, ничего общего не имеющую с наукой, и на так называемый социализм, который просто химера. Поскольку вообще, по марксистскому миропониманию, экономические отношения есть базис, а всё прочее — надстройка, то вот это самое абсолютное обнищание трудящихся создаёт необходимую тенденцию, некий императив мировой революции. Вот с абсолютным обнищанием Маркс и обнаружил себя, по-моему, как жулик. Когда Энгельс писал «Положение рабочего класса в Англии», он ничего не перевирал. Положение, действительно, было ужасное. Но в конце XIX века оно изменилось, и не зря же была вся эта ревизия, Бернштейн и прочее. Были кризисы, Господи, было очень много плохого при капитализме, я вообще до сих пор не очень люблю капитализм. Но абсолютного обнищания не было, и Маркс это знал. Но он во имя своих установок на мировую революцию истиной пренебрёг. Научная недобросовестность Маркса меня потрясла. Для меня, с другой стороны, было большим ударом, когда крупный учёный Игорь Шафаревич совсем недавно проявил явную недобросовестность в критике социализма[101]. Но я уже привык к тому, что люди приносят истину в жертву своим страстям. Но тогда, в середине 50-х годов, предчувствие того, что Маркс поступил, как вор, произвело на меня очень тяжёлое впечатление.

Когда я написал открытое письмо про Гинзбурга и Галанского, я пришёл к N. Очень радостный, принёс ему письмо. Ведь он ещё несколько лет назад был весь из себя антисоветский, а это был 1968 год, большой накал страстей, и уже было не до марксизма. Начался, действительно, какой-то поединок с советской властью. И могу с гордостью отметить, что я не питал никаких иллюзий относительно того, что мы её победим. Но была сладость и сила в самой честности нашей позиции. Ну, кроме того, и в том, что заступаешься за друзей. Я пришёл к N., и, как сейчас помню, мы пили чай, коньяк и говорили обо всём на свете. Вдруг я взял и прочёл ему своё открытое письмо. Написано оно было по материалам советской прессы. Я знал стенограмму суда, но выбрал самую, как мне казалось, выгодную и разумную позицию человека, который защищает Гинзбурга и Галанскова не как много знающий о том, какой это был Шемякин суд, а с позиции просто читателя советской прессы. Я разобрал статьи в «Комсомолке» и «Известия» так, что даже юристы удивлялись, как я сумел с чисто правовой точки зрения — это по их терминологии «с правовой», а по-моему, просто с точки зрения здравого смысла — хорошо защитить ребят. О, если бы это могло их защитить! К

письму нельзя было придраться, настолько логически неуязвимо оно было выстроено. И вдруг N. сказал: «Кто такие Галансков и Гинзбург, я не знаю. Но я знаю Синявского, которого, как ты пишешь, защищал Гинзбург. И считаю, что этот Синявский — вреднейший человек». Меня поразило: при чём тут Синявский! Я же пишу про Гинзбурга. Это был переход от прямой защиты живых людей, которых ни за что ни про что посадили, к каким-то схоластическим построениям. Ну, это он умел. Он спросил: «Почему Синявский взял псевдоним „Абрам Терц“? Он же русский. Чтобы опорочить евреев!» Я не сразу понял: «Постой, постой, о чём ты говоришь? Во-первых, в чём тут порок для евреев? Во-вторых, что же — он сел на семь лет, чтобы опорочить евреев?» А дальше началась такая грубая и примитивная демагогия, что я разозлился. Я сделал из него отбивную котлету. Конечно, словесно. То есть я тут же потерял по отношению к нему всякий пиетет и попёр на него, как танк. Тогда он применил вполне советский приём. Он сказал: «Всё это неважно. Важно — по какую сторону баррикад ты находишься». Ну конечно же, мне хотелось ему врезать. Но я встал и ушёл. И кончено, словно не было в моей жизни никакого N. Через много лет, году в 1972, то есть за год до нашего отъезда в Израиль, раздаётся звонок. Я уже был совершенно отпетым типом, меня таскали на допросы в Лефортово. Но N. мог не знать — в газетах же об этом не писали. А он жил уж совсем какой-то академической жизнью. Я думаю, что он не был стукачом, а был просто советским человеком. Внешне, конечно. В душе он люто ненавидел советскую власть, а также марксизм и всё прочее. И вдруг он звонит к нам в Зюзино и говорит: «Анатолий Александрович, я просматривал свою записную книжку и нашёл ваш телефон. Мы давно не виделись, я даже не уверен был, живёте ли вы по старому адресу. Не хотите ли встретиться?» Я говорю: «Не имею ни малейшего желания с вами встречаться. А живу я там же, где и жил: по другую сторону баррикад». Надо отдать ему должное, он не положил трубку первым. Произошла долгая пауза, я положил трубку сам.

* * *

Когда я кончал институт, у нас на кафедре преподавал теорию литературы Фёдор Харитонович Власов, мужчина лет пятидесяти. Я учился на истфаке, но под конец у нас образовался историко-филологический факультет и ввели этот предмет. Преподаватель он был смехотворно убогий, и о нём говорить с этой стороны нечего. Этот Власов был большой злодей. Конечно,

«стукач» — хорошее, выразительное, универсальное слово, очень ёмкое, но его часто употребляют не по делу. Например, называют стукачами филёров, топтунов. Но это же не стукачи! Стукач — это, так сказать, твой приятель, который ходит к тебе в дом и на тебя стучит. Власов, конечно, был стукачом, но сама категория стукачества, при всей своей ёмкости, всё-таки недостаточна, чтобы под этот знаменатель подвести личность Фёдора Харитоновича. До войны, в годы великого террора, он был, как я потом узнал, ответственным работником в области вузовского просвещения. Не помню, в каком институте он до войны работал, по-моему, в МОПИ, то есть, в областном педагогическом. Он пересажал огромное количество людей, целые группы студентов и преподавателей. По-крупному работал, был самым настоящим мясником. Палачом твёрдой руки и широкого размаха.

Окончание мной института совпало с пресловутой «оттепелью», с тем временем, когда явно стучать было не в моде. Более того, одного историка, специалиста по новому времени, разоблачили в институте публично, на учёном или каком-то ином совете не для студентов в том, что он сажал людей. И он уволился. Это — к характеристике времени.

О прошлом Власова я узнал от некоего Иосифа, мужа учительницы русского языка нашей, 135-й школы, Генриетты Моисеевны, достойной и интеллигентной женщины. Муж её сидел с незапамятных времён, с 37-го года. Той поры был узник. Она это скрывала. То есть, я и не спрашивал. Кто-то об этом знал, кто-то не знал. Посадили его студентом, и он как раз и был «клиентом» Власова. Иосиф учился в институте, где преподавал Власов. Освободился он в 1956 году, тогда я с ним и познакомился, а он снова стал жить со своей женой Генриеттой Моисеевной. Добра от этой жизни не получилось, они разошлись, родив хорошую девочку. Это и понятно — она была нормальной, разумной женщиной, а он — человек очень странный, и то, что он много сидел, я думаю, не является решающим обстоятельством. Я знал людей не сидевших, настоящих чайников и охламонов, и сидевших, которые были в жизни весьма уравновешены и нормальны.

Вскоре после того, как я окончил Педагогический институт, Власов защищал там докторскую диссертацию, как сейчас помню, по роману Л.Леонова «Русский лес». Ясно, какова могла быть научная ценность этой диссертации. Но известно, что на гуманитарном, идеологическом поприще происходили в этом смысле всякие чудеса. Любые дикари и профаны становились докторами и академиками. И вот Иосиф пришёл на власовскую защиту, чтобы разоблачить его как злодея. А ещё пришла его

матушка-старушка, свекровь Генриетты Моисеевны. Сама же она не пришла, зная, как я потом понял, характер своего мужа и боясь позора.

Порядок устной защиты таков, что о диссертанте можно говорить что угодно. Можно выступить и рассказать не только о его научной работе, но и охарактеризовать его моральный облик. Тут вот что интересно — что учёный совет и большинство преподавателей знали, что пришёл разоблачитель, и хотели этого разоблачения. В большой аудитории нашего Ленинского института сидели респектабельные преподаватели и научные работники и подавали ему знаки: иди, мол, потому что Иосиф разговаривал с ними до этого в кулуарах. Так же и студенты — как бывшие, так и учившиеся в то время — знали, что предстоит разоблачение. Не говоря уже о юных вольнодумцах, вроде меня, которые жаждали разоблачения Власова. Ведь это был злодей, самый настоящий преступник, как же его не разоблачить?! Выглядело это так: в зале на сцене — стол. За столом соискатель Власов и несколько членов учёного совета. Иосиф с места заикнулся было, что хочет выступить, охарактеризовать соискателя, и тогда кто-то из учёного совета довольно вяло возразил, что это — неизвестно что — к делу не относится. То есть Иосифа элементарно сбили. Создали самую незначительную помеху для выступления. И само простое было — несмотря на эту помеху, спокойно выйти туда, к президиуму, стать на кафедру, с которой говорили все оппоненты, и сказать то-то и то-то. И ведь была поддержка из зала. Но он уже испугался. Его храбрости хватило на то, чтобы прийти и разоблачать Власова в кулуарах. Время вообще было разоблачительное. Но, во-первых, его мать всячески препятствовала его выступлению, она и пришла для того, чтобы удержать сына от опрометчивого шага. И сколько мы его ни умоляли, по его лицу было видно, что на него напал страх. А он, между прочим, изображал из себя настоящего мужчину, битого арестанта, который ничего не боится, тем более, в такое время. Но он повторял: «Да, сейчас так, а что будет потом? Что со мной будет потом?»

Когда я как-то пришёл к Генриетте Моисеевне и познакомился с этим типом, он рассказал мне про Власова следующий эпизод. Одного из студентов Власова посадили в 1939 году и вскоре отпустили. Этому студенту на свободе было неуютно, атмосфера создалась такая, что он чувствовал себя совершенно затравленным: вот-вот опять посадят. А он не знал, что его посадил Власов. И пришёл, так сказать, в альма-матер, в свой институт и в кабинет к Фёдору Харитоновичу. А тот был чуть ли не директором института. Как минимум, декан. Крупная

шишка. И этот освободившийся, чудом высочивший из тюрьмы, пришёл к Власову и говорит ему: «Фёдор Харитонович, случилось невероятное. Меня и моих товарищей, студентов нашей группы, арестовали. Я чудом освободился, а они невинно страдают, заключены по какому-то жуткому недоразумению». И прочее. Власов ответил: «Органы безопасности разберутся. Подождите-ка немножко». Вышел, позвонил в НКВД и продолжал с ним разговаривать. Пришли чекисты и тут же, в кабинете Власова, этого студента арестовали. И с концами. Это был товарищ Иосифа. Он рассказывал об этом случае так, будто видел всё своими глазами. И прибавлял: «Да я бы на месте этого студента, если бы увидел, что Власов меня предал, неужели не схватил бы стул и не разбил бы ему голову?» У него были сильные, волосатые руки, и вообще он имел вид геройский и зверский. И тогда я подумал: Да, этот парень так бы и сделал. А тут, в 1957 году, на защите власовской диссертации, он позорно потел и дрожал. Его хватило только на одну робкую попытку. Чуть-чуть на него цыкнули, при том, что явно аудитория была на его стороне, и он испугался. Кстати, Власов не защитил в тот раз диссертацию. Его просто забаллотировали. Но, насколько мне известно, он её защитил потом. И стал доктором наук.

А на той защите, помню, выступал один генерал. Уж он-то говорил не о Власове-филологе и не о его диссертации, и не о его научных работах, а о его боевом прошлом. Власов какое-то время находился, так сказать, на фронте. Во всяком случае, в армии. Конечно, в политотделе или в особом отделе, но это неважно. По каким-то намёкам генерала было совершенно ясно, в каком ведомстве служил Власов. Да и где он мог служить? Не сомневаюсь, что он и во время войны продолжал свою деятельность.

* * *

Про «Хронику»[102] я расскажу только то, что, как та рубашка, ближе к телу. Тут связаны всякие моменты: образование Инициативной группы, предшествующий этому событию арест Петра Григорьевича Григоренко и Ильи Габая. А «Хроника» уже выходила, с 1968 года. Её делала Наталья Горбаневская. Она сделала 10 номеров, и делала их хорошо. Она вообще человек литературный, умеет писать, владеет материалом. Главное свидетельство этому, наряду с 10-тью первыми номерами «Хроники», это, конечно, составленная ею замечательная документальная книга «Полдень». Вместе с тем, «Хронику»

Горбаневская делала самоубийственно. Делала её дома, очень медленно, не понимая, что фактор времени здесь — это фактор выигрыша. То есть — побыстрее сделать, и с плеч долой. Её уже отдали на поруки матери, не хотели создавать лишнюю мученицу, временно отпустили, не посадили, и она стала у себя дома делать «Хронику». К ней приходили дважды. Находили явные следы «Хроники», улики. Ну, её и посадили. И посадили в Казанскую психушку. Я после ареста Натальи был вне себя. Мне не хотелось оставаться на свободе. И освобождение её произвело на меня потрясающее впечатление. Когда она позвонила и сказала, что говорит уже из Москвы, со мной произошло нечто непонятное, что я могу понять только сейчас, после своей болезни. Но я сейчас говорю не о себе и не о ней. Ведь «пресловутое общее дело» от её ареста тоже пострадало.

Первые 10 выпусков «Хроники» были очень тоненькие, потому что мало было материала. «Хронику» можно уподобить снежному кому. Катится маленький шарик, обрастает снегом и превращается в огромную снежную массу. В ту пору, когда «Хронику» делала Наталья, материалов было относительно немного. Когда её посадили, то случилось так, что «Хронику» стал делать я. И первые два номера после неё сделал целиком и полностью, написал от первой буквы до последней. У меня была очень хорошая машинистка и секретарша, Надя Емелькина. Секретарша нужна была мне в том смысле, что с грудой бумажек необходима была предварительная работа: только сотая часть была обработана заранее. Но условия работы были совершенно другими. Я не думал, что мы можем целые годы играть в ту игру. Я рассчитывал выпустить ещё несколько номеров и обскакать, так сказать, Галину Борисовну — КГБ — на какой-то короткой дистанции. И понял, что для этого нужно, во-первых, делать «Хронику» не дома и не в каком-то, заведомо известном КГБ месте, а искать более подходящие места и делать быстро. Кроме того, случилось так, что накопилось много материала. Доказательством этому служит то, что 11-й и 12-й номера — очень толстые. Что такое, собственно, создание «Хроники»? Это, условно говоря, три звена. Первое — собирание, накопление материала, его предварительная обработка. Этим я никогда не занимался. Существовало стихийное разделение труда. Второе звено — это как бы рабочая часть. Вот этой рабочей частью, собственно написанием или, говоря языком советской власти, «изготовлением» «Хроники», я и занимался. А третье звено — распространение, которое вело за собой отзвуки, отголоски и новую информацию. Я вначале ещё приносил домой свеженькие, напечатанные на папиросной бумаге номера, а потом стал

бояться и этого не делал. После 11-го и 12-го номеров возникли трудности. Случилось так, что следующий выпуск почти весь написал Гарик Суперфин. В своей области, в библиографии, он гений. Но когда он попытался стать автором, то это оказалось чем-то совершенно невразумительным. Дело в том, что благодаря Горбаневской, создавшей в первых 10-ти номерах определённую традицию, «Хроника» выходила на хорошем литературном уровне. Произошёл скандал. Потом Гарик был бесценным человеком. Я был заменим, а Гарик — нет. Когда же он сел не в свои сани, он наделал такого, что мне и вспомнить страшно. Я это зарубил. А «Хроника» должна была выйти вовремя. Потом уже начались всякие финты и пассажи, а в то время она выходила с точностью газеты «Известия». Нужно было спасать дело, и я привлёк других людей. С тех пор уже образовался некий коллектив, как я в шутку называл, «бригада антикоммунистического труда». Мы меняли места, меняли дома. В дальнейшем я до 27-го номера включительно оставался литературным редактором «Хроники» и автором многих материалов. Начиная с 13-го номера стало легче, потому что, кроме меня, в «изготовлении» участвовали другие люди. «Бригада» могла состоять из одного, двух, четырёх человек — неважно. Важно, что я был не один. Но я за это дело отвечал. Итак, с весны или с лета 1969 года, это легко уточнить, по осень 1972 года, с 11-го по 27-й, кроме одного, 15-го, когда меня не было в Москве, — то есть 16 номеров «Хроники» — это была моя работа. Но, начиная с 13-го — не только моя. Говорю только о второй стадии, об «изготовлении». Что касается собирания материала и распространения, то это было не моё дело.

* * *

Известно, что Инициативная группа возникла весной 1969 года после майского ареста Петра Григорьевича Григоренко в Ташкенте, а вслед за ним вскоре и Ильи Габая. Но разговоры и планы её создания относятся к более раннему времени. Я не был свидетелем очень важных разговоров, а только знал о них с чужих слов. О том, что несколько человек — почему-то мне сейчас помнятся Красин и Горбаневская — обсуждали возможность создать постоянно действующую легальную организацию. Другое дело, что фактически получилось так, что — не при КГБ будь сказано — органом этой легальной организации, Инициативной группы, стала нелегальная «Хроника текущих событий». Но это позже. Дело в том, что «Хроника» старше Инициативной группы.

Но замышлялась Инициативная группа тоже давновато. На моих глазах инициатором этого дела был Пётр Григорьевич Григоренко. Мы собрались у него в доме. И ты была и даже приняла очень активное, не по чину — я шучу, конечно, — участие, ухитрившись схватиться, сцепиться с Петром Григорьевичем. А он вообще к таким личным столкновениям относился очень болезненно, был неохоч к таким вещам. Тем более, тебя он видел едва ли не впервые. Я помню, как один раз, схватившись из-за чего-то с Якиром, он — старый человек — вышел на кухню, и у него от волнения прямо в раковину хлынула из носу кровь. Итак, был Пётр Григорьевич, Пётр Якир, Красин, Юлиус Телесин, Борис Цукерман и я. Почти не сомневаюсь, что был Сергей Ковалёв. Может, Великанова. Тогда был посажен Иван Яхимович, и Пётр Григорьевич предложил создать как бы Комитет в защиту Яхимовича. Для него была важна идея создания легальной группы, организации. Именно инициативной группы. Инициативной по существу, то есть проявляющей инициативу. Название же это пришло потом. Он, Григоренко, аргументировал необходимость создания группы так: нужно защищать Яхимовича, защищать других, а для этого должен быть какой-то центр. Теперь делает каждый, что хочет, на свой страх и риск, и это прекрасно и мужественно, но нужно как-то координировать наши действия. Допустим, в своё время Якобсон, условно говоря, написал такое-то письмо, и Габай написал такое-то письмо. А если будет координационный комитет в защиту Яхимовича или как его ни назови, тогда наши действия будут скоординированы. Пётр Григорьевич был необыкновенно трогательный человек. Он был — и есть — человек умный и трезвый, но в нём была какая-то детскость, и я запомнил, как он сказал: «Тогда все будут лучше работать». Тут ты в него вцепилась. У тебя был страх не за себя, а за нас, ты всё это подробно проходила в детстве. Особенно тебя напугало слово «организация». Пётр Григорьевич не потерпел такого натиска с твоей стороны.

М.У.: Я сказала, что они бандиты, а он ответил: «А я бандитам не хочу подчиняться».

А.Я.: Да, и сказал, что у тебя истерика. И вообще высказался весьма сурово. Впоследствии он к тебе прекрасно относился, и ты, как и Санька, и я, вела с ним переписку, когда он сидел в психушке.[103]

Я точно помню, что когда поставили вопрос на голосование, то Петра Григорьевича поддержали только я и Юлиус Телесин. Он высказался безусловно пользу этого дела и ушёл. Помню, что Цукерман сказал: «Жаль, что на моих глазах разрушается такой хороший замысел». Замысел был хороший, но Цукерман его не

поддержал. Григоренко всегда пользовался юридическими советами Цукермана. Тот ведь знал до тонкости все советские законы, и с этой стороны и нужна была его поддержка. Безусловно против были Красин и Якир. Ты, естественно, не имела права голоса, а когда проголосовали, то, мне помнится, Григоренко поддержал один я. Помню ещё, что Красин с необычайной важностью и торжественностью сказал такую фразу: «Уже два года, как в России существует демократическое движение». Я впервые тогда услышал это выражение, и меня покоробило. Что ж, известно, что Красин в енисейской ссылке сам записывал свои речи на магнитофон, и сам их слушал. А потом ему эти плёнки поставил в Лефортове Павел Иванович Александровский, его следователь. Там он повторял такую, примерно, фразу — за дословность не отвечаю, но отвечаю не только за общий смысл, но и за тон: «Волею судеб я возглавил демократическое движение России». Это в его духе! Я ещё вчера говорил, что выражение «правозащитное движение» — точнее и не то, чтобы скромнее, но отражает суть дела правильнее. Почему «правозащитное» — хорошо, объяснять не надо. Всякое же демократическое движение предполагает демократические реформы, преобразования, вернее, прожекты таких реформ. Некую демократическую программу. У нас её не было. Мы, даже и понимая, чего стоит советское законодательство и право, всё равно к нему апеллировали. И до сих пор ещё апеллируют. Ну, сейчас другие времена, другой разговор, я говорю про то, что было тогда. Мы выступали против беззаконий, против произвола, против нарушения буквы закона. Далее — демократия всегда апеллирует к массе народа. Мы особенно не апеллировали. Есть замечательная песня Кима:

> На сотню академиков и член-корреспондентов,
> На весь на образованный, культурный легион
> Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов —
> Вслух высказать, что думает здоровый миллион.

Так вот — была горсточка больных интеллигентов. Это очень точно, но со здоровым, та сказать, миллионом связи-то никакой не было. Потом, когда «Хроника» разошлась шире, может, мы стали больше связаны с массами. Но конструктивной, демократической программы преобразований у нас не было. С моей-то точки зрения, главное — было нравственно сопротивление. Но у нас было и очень хорошее как бы правовое направление — Чалидзе, например, Литвинов. Задал этому направлению тон Цукерман, но он потом отошёл, а Чалидзе и

Литвинов и сейчас эту линию гнут. И стремятся всё интерпретировать в правовых категориях. И они ввели термин «правозащитное движение», который меня, безусловно, больше устраивает, чем «демократическое движение». Он просто правильней. И потом это как-то снижает пафос. А Красин был крайне склонен к патетике.

А потом, когда посадили Петра Григорьевича, мы собрались совсем в другом месте, и здесь уже Красин и Якир, которые незадолго до этого решительно отвергли идею организации, стали её инициаторами. Ну, а я — по-прежнему, не изменив своей позиции, был «за». Тем более было очень горько, и злость большая была на Софью Власьевну — советскую власть — что посадили генерала и Ильюшку Габая. Я был «за», а самыё умные и чуткие ко всему люди, Сергей Ковалёв и Татьяна Великанова, были против, потому что Якир и в то время уже вёл себя в некоторых случаях недостойным образом. То есть, делал вещи безответственные, а бывает, что безответственность становится синонимом недостойности, и это ещё мягко сказано. Он позволял себе взять, допустим, и в какой-нибудь нашей петиции — им конца не было — поставить подпись человека, его не спросившись. Или чуть не силой навязать кому-то это подписантство. И ещё он выкинул какие-то пассажи — я уже не помню — из-за которых Ковалёв и Великанова при голосовании воздержались.

Мне-то всегда было ясно, какого мужества и какой силы человек Ковалёв[104]. Сейчас это известно всему миру. Он и Черновол — по-украински правильнее Чорновил — возглавляют великое движение узников за статус политзаключённых. И вообще, Ковалёв — титаническая личность по силе ума, по необыкновенному благородству. Но он очень тихий, очень скромный, ему всегда были отвратительны любая оголтелость и экстремизм. И сейчас его позицию в лагере нельзя назвать оголтелой. Он просто проводит свою линию. На самом деле, это, с моей точки зрения, одно другому не противоречит — то есть быть тихим и проводить свою линию.

Но я хочу сказать, что психологически получалось так, что, допустим, Ковалёв не хотел связываться с делом, которым занимался Якир, но связывался же. И я, поругавшись из-за вполне определённых вещей с Якиром в 1970 году, взял и вышел из Инициативной группы. Очень хотели узнать от меня на допросах в Лефортове, почему это я вышел. Естественно, Якир им это «осветил». Но он осветил со своей точки зрения. А они хотели, чтобы я сам рассказал. Но я на этот вопрос отказался отвечать, как и вообще на все их вопросы. Кроме таких: «Это ваша

подпись?» «Да, моя». «Значит, вы автор?» «Да, или один из авторов». Ну, а потом, когда посадили Вовку Буковского, так я опять вернулся в Инициативную группу. Потому что, связавшись, эти связи разорвать уже нельзя. Ты чувствуешь, что ты нужен, что ты можешь чем-то помочь, что очень трудно, что посадили очередного товарища. И тут вступают в борьбу две силы. Центробежная — то есть, бежать от этого страшноватого «центра», страшноватого не тем, что пребывание в нём чревато арестом, а тем, что собрались там уж очень разные люди. Что одно дело — та же Великанова и тот же Ковалёв, которые мне всегда были близки, с которыми я всегда находил общий язык и которым я безгранично доверял, как и они мне, а другое дело Якир и Красин. Значит, бежать, отделиться, не быть, так сказать, в этой обойме, в этой команде, футбольной или иной. Быть самому по себе, как Синявский, как Даниэль — свободные литераторы, каким и я был долгое время, до демонстрации в связи с оккупацией Чехословакии в августе 1968 года, когда познакомился с Григоренко. Но я уже, конечно, о нём много слышал, а он читал мои письма, в частности, в защиту Гинзбурга и Галанскова. До этого я, повинуясь голосу своего разума и своей совести, выступал на свой страх и риск. Так же, как и другие. Но Пётр Григорьевич сказал: «Давайте объединимся, и тогда мы все будем лучше работать». Григоренко и был носителем такого организующего начала. Его арест нас и объединил. Но фактически-то мы не объединились. У нас всегда были разногласия, никогда не было полного доверия всех ко всем. Потому что мы были слишком разные люди. Никто не подозревал, конечно, что Якир и Красин так себя поведут, но это были люди другого стиля. Или, например, Буковский. Он был самым настоящим борцом, чтобы не сказать революционером. В расхожем представлении с понятием «революционер» непременно связан атрибут насилия. Но если это исключить, то он был революционером — с темпераментом борца, практического деятеля, который считает, что для дела можно себе позволить очень многое. А Ковалёв был настроен совершенно иначе. Я был согласен с Ковалёвым. И хотя Вовка-то Буковский герой — да что об этом говорить! — он не был мне так близок, как тот же Ковалёв. Правда, Буковский не был членом Инициативной группы, но это совершенно неважно. Ведь то недолгое время, что он был на воле, он всегда входил в самое ядро. И больше всех, конечно, дров колол. Он всегда больше всех делал, потому что интенсивность его практической деятельности была огромна. Стоит вспомнить его обращение к психиатрам. Он функционировал с колоссальным напряжением, непрерывно, и

был самым настоящим профессионалом. Не помню — кого же это судили? Он подошёл ко мне и говорит: «Ну что ж, ты, значит, вышел из Инициативной группы, теперь ты и „Хронику“ откажешься делать?» Я говорю: «Почему же? Как делал, так и буду делать».

Приехал в Израиль из Москвы ученик Ковалёва Ривкин, и мы с ним обратились к Вайдману, швейцарскому профессору, крупному физиологу, который тоже приезжал сюда. Мы с ним встретились. И по его, и по всем отзывам, Сергей — выдающийся учёный XX века. У него есть идеи необыкновенной смелости, открытия в различных областях биологии. Это учёный огромных возможностей и уже больших достижений. И всем этим он пожертвовал делу своей совести и гражданскому долгу. Его выгнали из университета, он потерял лабораторию. Его взял к себе на работу человек большой доброты и широты, покойный Виталий Рекубратский, ихтиолог. Сергей и в этой области тут же стал делать открытия, нашёл какие-то мутации, хотя рыбы не были его прямым призванием. А в повседневной жизни он как бы человек замедленного действия. И при этом — огромного обаяния. Ещё не познакомившись с Ковалёвым, я слышал, что его нельзя не полюбить, что в нём — изумительная естественность, как в Андрее Дмитриевиче Сахарове, и в этом они сродни друг другу. И он удивительно умён. В нём нет никакой узости, какая бывает у некоторых учёных, будь то гиганты в своей области. А у Сергея — огромный интерес ко всему — просто к жизни, к людям, к литературе, искусству, к природе. С ним было всегда легко. С Таней, например, Великановой, которую я так же люблю, как и Сергея, и то бывало иногда трудно. Она как-то задыхалась от собственной огромной — внутренней — нервной и духовной деятельности. И создавала вокруг себя напряжение, как бы поле. И с ней бывало тяжело. Но я же и сам тяжёлый человек, я знаю. А с Сергеем всегда было легко. Обычно он у нас бывал, но прийти к нему на улицу 26-ти бакинских комиссаров и провести несколько часов, обычно уже до утра — было праздником. Он как-то удивительно успокаивающе действовал на людей. Хотя он вовсе не из той породы, что горьковский Лука — очень хороший, кстати, старичок. Единственный положительный герой пьесы «На дне». Лука успокаивал людей непосредственно, словами, он был против туполинейной, ранящей людей правдивости. Он их оберегал с помощью некоторых мистификаций. А Сергей как раз всегда говорил правду. Никогда не стремился ни сам в себе взрастить иллюзии, ни другим людям привить какие-то миражи. Умел смотреть правде в глаза. Какая-то исходила от него атмосфера необыкновенной внутренней уравновешенности,

доброй силы и спокойствия. И в этой атмосфере было очень легко дышать.

* * *

Пётр Якир был как бы девственник. Всех обыскивали, а его нет. Потом, из разных источников, до нас стали доходить слухи, будто он давно был связан с органами. Но я и тогда считал, и сейчас считаю, что Петя был «двух станов не боец», а боец одного, нашего, стана. Тем не менее, его не обыскивали. То ли КГБ не хотел трогать его мать, Якиршу, командармшу, то ли у них были свои тактические соображения, потому что он вёл себя так, что давал КГБ очень много сведений. Скорее всего, и то, и другое. И вдруг, по заведённому уже о хронике делу No.24 — у Якира обыск. А стиль дома был такой: как-то Ира Якир — а она-то как раз собирала информацию и была большой мастерицей — поехала на Украину с ответственным, так сказать, партийным заданием от папы, и там, на Украине, выдержала обыск, обманула КГБ и привезла в каблуке какие-то бумажки, что, в общем-то, было не так-то просто, потому что Галина Борисовна [КГБ] — вполне квалифицированная дама в смысле обысков. Между прочим, Ира Якир всегда была безупречна: и имя её, и репутация — абсолютно белоснежной белизны, как и Вали, её матери, не говоря уже про мужа Иры, Юлика Кима. И когда Ира вернулась с Украины и, смертельно усталая, заснула, отвинтив свой каблук, то тут-то и пришли с обыском и прямо взяли этот каблук с записочками. Это — я вперёд заглядываю — было после первого обыска. Я просто хочу сказать, что и после первого обыска, когда Петя в этом плане уже не был персона грата, всё равно никаких предосторожностей в доме не соблюдалось, а Петя бывал всегда пьян. Помню, как на лестнице этой проклятой Пётр рассказывал чудовищные вещи Габаю, едва тот освободился: «А вот этот номер „Хроники“ делают Якобсон и N.» А сам Якир, кстати, «Хронику» не делал, никогда близко к ней не подходил. Габай просто содрогнулся. Не удивительно, что он потом бросился из окна. Я бы не бросился, я бы побоялся, но Габай уже был травмирован. Он понял, что попал просто в гадюшник. Что действительно всё это бесовщина. И в этой совершенно бесовской атмосфере жили такие чистые люди, как Ира Якир. Всё это очень трудно понять, но знать это нужно. Когда у нас был первый обыск по делу No.24, то мы как-то сумели дать знать[105], и к нам все устремились. Уж если к нам на обыски приходили люди, то к Якиру хлынули настоящие толпы, как паломники в Мекку, только с необычайной

оперативностью. Говорят, у него делал обыск генерал. Когда пришли с обыском, дом Якира был, как обычно, полон народу. Во время обыска уходить, как известно, нельзя, и всех рассадили по диванам и стульям. А в это время новые люди валят буквально толпами. Сначала пускали, а потом прекратили: какой же это обыск, когда толпа собралась чуть ли не как на проводах в Израиль. Насколько я помню, обыск продолжался больше 12-ти часов. Многие, так сказать, мученики освободительного движения дремали на лестнице. Короче, только Якобсона там и не хватало. Каким-то образом мне дали знать, что у Якира обыск, и я туда двинулся. Когда я туда явился, было не очень поздно. Ещё и после меня приходили люди и имели героическую возможность сидеть до утра на лестнице и ждать до конца обыска. На них просто плевали. Тем не менее, вызвали большой наряд милиции, чтобы контролировать это дело, чтобы не хлынул туда народ густым потоком. Я заметил милицейские машины, их называли «раковые шейки». Сел в лифт, приехал в знаменитую квартиру 75, позвонил. Мне открыл высокого роста джентльмен, крупный офицер КГБ, и довольно вежливо спросил: «Кто вы такой?» Раздался истерический вопль Якира: «Это мой друг Якобсон!» Тогда тот спокойно закрыл перед моим носом дверь. Из квартиры вышли три милиционера. Не кагебешники, которые, будто бы, во главе с генералом делали обыск, а милиционеры. Спокойно взяли меня под ручку, посадили в лифт, и пока лифт спускался, лейтенант милиции спрашивает: «Вы почему в нетрезвом состоянии появляетесь в общественном месте?» А я говорю: «Это, может, для вас оно общественное место, а я приехал в гости к моему товарищу Якиру». А лифт всё ехал. «А почему вы такой небритый?» «Небритый я, потому что я не побрился, а вот у вас, по молодости лет, борода вообще не выросла». Это он съел, но когда мы вышли на улицу, он сказал: «Вот машина, и сейчас мы вас как пьяного хулигана доставим в милицию». А дальше он показал налево, проявив прямо-таки необыкновенное великодушие: «Но если вы сейчас же уйдёте отсюда к такой-то матери, то у вас есть шанс». Я без колебания выбрал второй вариант. Смирно и тихо свернул налево и, очень радуясь, пошёл к метро. По тому, чем я тогда занимался, мне совершенно не надо было попадать в милицию. Я уже знал, что такое милиция, это же было после нашего легендарного, а с моей точки зрения совершенно позорного происшествия на Красной площади в декабре 1969 года, с моим пресловутым растоптанием сталинского портрета[106]. Это было на первом обыске. Чёрт знает, сколько оттуда увезли. Потом ходили легенды о том, как героически Якир ругался матом и будто бы ударил кого-то из

обыскивающих. Глупости, никого он не ударил. Так же, как на знаменитую эту демонстрацию 25 августа 1968 года, на которую я из-за тебя не попал[107], а может и сам бы не пошёл, не знаю — он также ужасно хотел выйти, но почему-то оказался в милиции.

Якира посадили, как мне помнится, в июне 1972 года. Гершович[108] помнит наверняка. Через несколько месяцев поползли слухи, что Якир даёт показания. Помню, мы шли на панихиду по Галанскову в Преображенскую церковь. Отец Дмитрий Дудко держал этот приход. Там мы впервые увидели Синявского после освобождения, он пришёл туда на панихиду. И вообще, все мы пришли. Там со мной об этом говорили. Но уже не впервые. Конечно, всё началось с очных ставок. Причём, надо отдать должное честности и мужеству Иры, его дочери, потому что от Иры, я думаю, всё это и пошло. Он не сразу её огорошил — дескать, я раскололся. Он сказал, что даёт показания из тактических соображений. Что-то даёт, а что-то не даёт. Мы немножко перепугались. Потом слухи больше, больше, потом ужасно взволновалась Валюша, и мы с ней встретились. Она спросила: «Неужели ты веришь, что мой Петя…» Я в ту пору не только верил, я просто уже знал, что Петя даёт показания. Было ясно, что он говорит обо всех подряд. Почему он это делает — другой вопрос. Тут же возникла версия, что его там то ли подкуривают, то ли наркотики дают, чёрт знает что. И всё оказалось вздором. Мне хотелось, как только можно, утешить Валю. Не помню точно, что я ей ответил. С одной стороны, я не бросился ей в объятия со слезами: «Ах, что ты, Валечка, конечно же наш Петенька святой». С другой стороны, не огорчил её, а как-то мягко сказал: «Подождём, Валюша. Ты знаешь, в какой стране мы живём, и что за организация КГБ. И, Господи, ты столько в жизни пережила, ты сидела и видела, Бог знает, что. Погоди, всё выяснится». Итак, слухи пошли от очных ставок. А потом всё стало несомненным. Якир и Красин капали на всех, и на меня тоже, поскольку я был, увы, не последней фигурой во всей это заварушке. Конечно, они на меня дали бездну показаний. Но главные их показания — в плане открытых писем — это вздор, там же и так стояла моя подпись. И до этого Ирина Белогородская год отсидела, а я даже в зал суда ухитрился попасть, где её судили. Говорю: «Я — автор, почему её судят, а не меня?» В чём меня можно было уличить? В чём-то криминальном, тайном. А именно, в изготовлении «Хроники». В отличие от них, я больше ничем тайным не занимался. С корреспондентами не общался. Так они рассказали, что знали. А они знали, что я её делал. Но где, когда и как я её делал, они не знали, потому что мы их близко к «Хронике» не подпускали. Почему не подпускали — не

знаю. Конечно, сейчас очень легко сказать, будто мы были такие мудрые и проницательные. Но в действительности так получалось, что «Хронику» писали те, кто умел писать. Вначале это была Горбаневская, а потом другие люди. Но не Якир, и не Красин. Был разумный подход: людям не нужно знать лишнего. Если, условно говоря, кто-нибудь привозил из Литвы или с Украины какую-нибудь информацию, я же не обременял себя излишним знанием — где и как её раскопали. Поэтому Якир и Красин не знали, в каком доме и с кем я её пишу. А советская власть уже любила проводить чистые, с её точки зрения, процессы — чтобы были факты, чтобы всё было доказано. Даже независимо от того, как себя ведут подследственные. Ведут ли они себя, с нашей точки зрения, плохо и капитулируют, что, кстати, случалось нечасто. Либо они ведут себя безупречно. Либо ведут себя сначала слабо, а потом и уже до конца — героически. Так что Якир и Красин не могли засвидетельствовать, чем я занимался. Для этого понадобилась Надя Емелькина. Она-то и была прямым свидетелем. И она пошла на поводу у Вити Красина, и, по её собственным рассказам, два дня не давала показаний, а после очной ставки с Красиным она показания на меня дала. А потом прибежала на Автозаводскую, сказала, что так, мол, и так. Меня тут же предупредили. Кстати, в КГБ ей сказали: «Передайте „вашим“, что, если выйдет 28-й номер „Хроники“, мы немедленно арестуем Якобсона». Что и было передано. Мы собрались и обсудили вопрос: быть или не быть 28-му номеру. И я, естественно, был лишён права голоса как лицо заинтересованное, неспособное разумно, так сказать, посмотреть на предмет. И решили: нет, не выйдет сейчас 28-й номер. Он вышел, когда я уже был в Израиле, с перерывом больше года: Ходорович, Ковалёв и Великанова заявили о том, что они ответственны за «Хронику», и аргументировали её возобновление так: КГБ путём шантажа и угрозы посадить Якобсона добился временного её прекращения. Но мы считаем, что шантажу принципиально нельзя уступать.

В тот день, когда я кончил 27-й номер, я пришёл на Лесную улицу, в район Белорусского вокзала, где провожали в Израиль Гершовича. Я ему доверял и сказал: «Володя, сегодня мы кончили 27-й номер».

Когда стало ясно, что Якир и Красин дают показания, мы поняли, что положение очень фигово. И держали совет. Я в ту пору был особенно близок, и так оно и осталось до самого отъезда из России, с двумя людьми: с Татьяной Великановой и Сергеем Ковалёвым. Мы втроём всегда советовались и всё обсуждали. И даже тогда, когда мы уже знали о показаниях Якира и Красина, то и тогда оставалась по отношению к ним какая-то

«презумпция доверия». Все эти сказки о том, что к ним применяют химию, гипноз или ещё что-нибудь, оказывали на нас, по-видимому, какое-то действие, если такая на редкость умная, трезвая, неспособная к эмоциональным всплескам женщина, как Татьяна Великанова, сказала: «Если меня посадят, и вы услышите, что я раскололась — не верьте. Ничего они от меня не получат, разве что включат мне в мозг электричество.» И тогда мы с Серёжей смиренно высказали предположение, что и мы не пойдём навстречу пожеланиям трудящихся, будем держаться, вести себя, так сказать, по совести. А дальше мы приняли разную тактику. Они — тактику высокомерного неразговора с ними — действительно, высокой мерой меря эту банду, а я разговаривал. Вдруг нас стали вызывать на графологическую экспертизу, проверять почерк. И так получилось, что я дал образцы своего почерка, а они не дали. То есть я написал под диктовку этого чекиста, майора Интерна Николаевича Комарова из бригады Александровского, как он велел — и пером, и карандашом, аж рука устала, чтобы в найденных у Петеньки бумагах идентифицировали мой почерк. А Ковалёв, Великанова и Ходорович писать не стали и послали Галину Борисовну в известном направлении. Смысл их отказа был такой — не хочу с вашей преступной организацией разговаривать. А я решил разговаривать, но показаний при этом не давать. Я считал себя находчивее следователей, считал, что я не даю им, а получаю от них косвенным образом информацию. То есть по вопросам кое-что соображаю и передаю своим. Татьяна и Сергей для себя выбрали правильную линию, а я для себя. Поэтому в ту пору меня таскали на допросы больше их. И вообще, на мне, казалось, было больше грехов. Но кто взвешивает грехи? Какая-то слепая Фемида. Я к этому относился совершенно хладнокровно и ходил в Лефортово, как в дом родной. И не в ваше старое Лефортово. Они себе построили настоящий дворец советов. Лубянка стала периферией, там остался КГБ РСФСР, а в Лефортове — КГБ СССР. И я туда ходил запросто. А потом всё докладывал Татьяне и Сергею. А их время от времени туда приволакивали, и они молчали или повторяли, что не хотят разговаривать с преступной организацией.

Так оно и было до конца, когда меня стали шантажировать насчёт Израиля. Я уже подал документы на выезд. И тут другой следователь, Александровский, произнёс речь: мол, выбирайте сами маршрут поездов. Он любил такие слова, как «дилемма», «альтернатива». И вообще готовился к допросам, как учитель к уроку. Правда, зная, что я разбирал два перевода одного сонета Шекспира, он иногда путал фамилии переводчиков. Так он

сказал: «Выбирайте», — и назвал три пункта: Хайфа, Париж и Таруса. Хайфа была для него, как Марсель, олицетворением не просто Израиля, а вообще свободы. Ведь там порт, море. Ну, Париж — он и есть Париж, а Таруса — это даже лучше Москвы. Тогда это ещё не было местом, где живут ссыльные. Тогда это был просто курорт московской интеллигенции. «Либо — вы знаете, поезда идут и в ином направлении». То есть, либо вам свобода, либо другие маршруты. Давайте показания, хотя бы про себя. Конечно же, сперва про себя, а не про других. Расскажите то-то и то-то. Он хотел, чтобы я по поводу определённых документов подтвердил то, что они и так знали. Есть такой приём. На процессе Синявского и Даниэля на этом поймали свидетеля Хазанова. В КГБ знают всё, даже то, что собаку Даниэлей зовут Кирюхой, как же им не рассказать всё? Но и я был не Хазанов, и времена были не те. Я говорю: «Вы знаете, ну и знайте, и утешайтесь тем, что знаете. А я буду утешаться тем, что вы знаете это не от меня».

М.У.: Мне хочется, чтобы ты рассказал о некоторых людях, которых я тоже знала. Очень трудный для чужих глаз человек, для того, чтобы его описать — это Гарик Суперфин. А любить его очень легко.

А.Я.: Гарика Суперфина я знал с раннего его детства. Я проводил много времени в семье моего товарища и одноклассника, родители которого были давно знакомы с моей матерью. У их соседей был маленький, худенький мальчик. Я его старше лет на восемь, сейчас это не так важно. Но когда-то я учился в 10-м классе, а он во втором. Ребёнком он мне не нравился, как не нравятся вундеркинды. А он всегда был вундеркиндом. Хотя, может, он плохо учился в школе, но всегда сумасшедше много читал. И когда я уже всякими этими делами занимался — а чем занимался Гарик, было неведомо — Буковский, помню, сказал: «Гарик всегда знал всё». И в этой ёмкой фразе, на самом деле, содержится очень глубокая и ёмкая характеристика Суперфина. Но долгое время Гарик был как бы теневой личностью. И вот уж кто был, так сказать, охотником-одиночкой, кто не имел тяги ко всяким организациям, группам, партиям. Я тоже не имел такой тяги, но он особенно.

Известно, что в своей области он уникальный специалист. Сказать о нём «специалист» — это очень бледно. Конечно, он специалист. Но при том, что он не получил высшего образования — из одного института его отчислили, а второго он не кончил — он просто гигант в своей области. А область его очень обширна. Кратчайшим образом, единственным словом, я охарактеризовал бы это как источниковедение. Архивы, документы, библиография

— это его стихия. У него — колоссальные знания, феноменальное чутьё, а главное — удивительный диапазон. Например, Лазарь Флейшман, который работает здесь, в Иерусалимском университете[109], в этом смысле близок Гарику. Он тоже документалист, охотник за документами. У него тоже немалая, но всё же обозримая, сфера исследования. А кругозор Гарика и сфера, поле его деятельности, поистине необозримы. Он был бесценным человеком не только для Солженицына и Сахарова. Все, кто в последнее время, перед арестом Гарика, имели дело с документами, источниками, архивами, всякого рода справками — не могли без него обойтись. Но даже и такие сумасшедшие эрудиты, как лингвист, филолог, семиотик и Бог знает кто — Кома [Вячеслав Всеволодович] Иванов — тоже, мне кажется, обращались к его помощи. Сфера его интересов — это вся история литературы и собственно история. Помню его разговор с Верой Прохоровой[110] о генеалогии её дворянско-купеческого рода, неотделимого от русской истории и культуры. Всем этим он не просто интересуется, а обладает какими-то устрашающими знаниями. Это сказала мне потом и Вера, на которую, кстати, он произвёл самое лучшее впечатление. Но феноменальнее всего, конечно, его профессиональная эрудиция. Незадолго до ареста он сделал крупное открытие в области истории литературы — разыскал письмо Гоголя. Наследием Гоголя после его смерти и по сей день занимались, наверное, не менее усердно, чем наследием Пушкина. И обнаружить письмо Гоголя — дело нешуточное. Гарик просто его вычислил. Он понял на основании имеющейся информации, что такое письмо должно быть Гоголем написано. Исследователи не знали, где и как его искать. А Гарик его нашёл. Но не успел сделать публикацию, его посадили.[111]

М.У.: Он редактировал воспоминания Микояна.

А.Я.: Ну вот, пожалуйста! Воспоминания Микояна он редактировал! Тут надо сказать, что Микоян уже был в каком-то смысле отставным вельможей. Не опальным, а именно отставным. Был не у дел, не был одним из руководителей партии и правительства. Но всё равно был вельможей. Его воспоминания — это история революции, Гражданской войны. И это тоже входило в круг интересов Гарика. Причём, тот же Флейшман проводит всю жизнь в архивах и библиотеках, а Гарик порхал, как птичка. Непонятно было, когда он читает. У него была способность — взять любую книжку, брошюру, и сразу её как бы разглядеть, всё в ней как бы увидеть. Жил он в маленькой комнатке; для меня-то это квартира Тихомировых, но в историю она войдёт как суперфиновская квартира. Изголовье его постели и стулья были завалены грудами книг. Судя по письмам из Москвы к тебе его

матери Баси Григорьевны, он выписывал в лагере какое-то колоссальное количество книг и журналов. Другое дело — отдавали ему их или нет — за всё надо было бороться. Но мы-то, в общем, не видели, когда он читает. Он необыкновенно живой человек, никакая не архивная крыса. Я это говорю не в злом смысле, но есть такой тип — кабинетного учёного. Нельзя сказать, что Гарик был душа нараспашку, хотя с близкими людьми он был способен на очень большую откровенность, даже исповедальную. И его живые, непосредственные связи с людьми были столь же многообразны, как и его научные интересы и устремления. Отсюда — огромный круг его знакомых, масса времени, которое он проводил с людьми, в частности, с нами, к нашей с тобой радости. Конечно, он человек с разными странностями. Да и кто же не со странностями? И потому, что Гарик был такой маленький и как бы слабый — а на самом деле крепкий, жилистый — он с детства выработал необыкновенно мужественную линию поведения: если какой-то конфликт или драка на улице — никогда никому не уступать, огрызаться на любого, будь тот хоть семи пядей во лбу. Я сам был этому свидетелем, но и без меня он бывал эдаким петушком. Но вместе с тем, он где-то не надеялся на свои силы. Он боялся, что в лагере ему будет трудно, боялся физического труда. Но никакими силами нельзя было его заставить уехать из России. Его уговаривали все, в том числе, Солженицын. Я это знаю со слов моих товарищей.

Арест его был неотвратим. Гарик был неизменным консультантом, библиографическим редактором «Хроники», совершенно бесценным человеком. Накопилось много материала, и понадобился библиографический аппарат. Появилась картотека. О ней возникла целая легенда. Больше всего КГБ охотилось не за самой «Хроникой», а за её архивом, картотекой. Завладеть ею — значило засечь сотни людей. Красин дал на Гарика разного рода показания, в том числе и про это. За ним началась охота, и его посадили. На следствии он сначала проявил слабость, которую потом с лихвой искупил. Да что там «искупил»! А потом — всё его поведение на суде и после, в лагере — это образец геройства. И так до сих пор.

М.У.: А как ты объясняешь, что такой человек мог проявить слабость? Ведь это невероятно. Разумный, уравновешенный. Как они могли его охмурить?

А.Я.: Не знаю. Я ведь не сидел. Я очень смело вёл себя на допросах, но я был вольный. И у меня были ощущения вольного, а не арестованного. А как там сидят в тюрьмах и дают показания — уж если кому догадываться, то тебе, а не мне. Что я буду гадать?

И не подумаю даже. Потому что я не сидел.

М.У.: Ну, хорошо. Про Гарика — всё?

А.Я.: Про Гарика мы с тобой можем очень много говорить. Но то немного, что я сейчас рассказал, его ведь как-то характеризует?

М.У.: Да. Он везде бывал.

А.Я.: Со своим огромным портфелем.

М.У.: Что вообще его привело в этот круг? Он говорил иногда, что ему вся эта деятельность…

А.Я.: Да — как бы до лампочки. Но что значит «говорил»? Он же был ироничен, был мистификатором в высоком, прямо каком-то гоголевском смысле. Я думаю, тут было два момента. Во-первых, его любопытство. Опять же в самом высочайшем смысле слова. В словах «любопытство» и «испытатель» один корень. Испытатель — пытающий природу человек. У Гарика было любопытство к истории, к живой истории, к участию в ней. И конечно, к её документальной части. Потому что для него история облекалась в документы. Но, кроме того, это и люди. А во-вторых, чего там гадать, — совесть его привела, как и всех нас, как бы он ни иронизировал. Причём, он всегда знал всему цену, он и в людях разбирался прекрасно. Всему он знал цену и знал неотвратимость расправы над ним и мучений, которые ему предстоят.

Наша лагерная переписка

Решаюсь включить в это издание наши письма, выбирая то, что может дополнить рассказ о лагере или об инвалидном доме, по-новому характеризовать пишущего или адресата. Больше всего сохранилось писем отца. И мне особенно хочется познакомить читателя с его письмами. Мне кажется, что без них — он предстаёт в этой книге однобоко. Революционер и лихой вояка — или просто любитель приключений; удачливый, но не избежавший провалов разведчик, — что ещё увидел читатель? И даже оказав редкую честь — поместив о нём статьи в энциклопедиях — пишут о том же. Между тем, знавшие его — больше помнят о нём другое. И вот это другое в его личности я и надеюсь передать с помощью писем.

Сожалею, если слишком резкие литературно-исторические суждения отца, его выпады против религии — кого-то заденут. Прошу учесть, что родились эти суждения в особых условиях и вызваны беспокойством отца за дочь. Убрать их из текста — было бы жаль, лишило бы письма их боевого духа.

Позволяю себе небольшие поправки, в основном, синтаксические, и некоторые сокращения.

Раздел состоит из общей части, из подборки писем отца мне и из писем отца — маме 1955–1956 гг.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Самое старое по времени — это письмо отца из карагандинского лагеря матери в лагерь на Воркуту, пересланное ей, как видно, бабушкой из Черновиц:

[без даты — лето 1952 г.]

Надя, дорогая моя!

Вот уже 18-й месяц прошёл, как я получил последнее письмо от Майи. Из Черновиц я вообще ещё ни одного письма не получал, кроме одной коротенькой записки при посылке, от Иринушки.

Я знаю, что Майя заболела нашей семейной болезнью, но чем кончилась эта болезнь, и как долго будет продолжаться курс лечения — этого я не могу узнать. Черновицы молчат. Шлют посылки, но ни слова ни о Майе, ни об Ирине, ни о тебе. А гнусная вещь — неизвестность. Ты-то понимаешь, что я — не такая уж нервная барышня, чтобы мне нельзя было прямо

написать правду. Очень прошу тебя взять на себя это дело и вразумительно сообщить, что с ребятами и с тобой. Как твоё здоровье? Если ты ограничена, как я, двумя письмами в год, то перешли для меня письмецо через маму, но напиши обязательно.

Мне смертельно надоел этот дом отдыха, но жаловаться на условия жизни не могу. Я почти совершенно не работаю, много отдыхаю и привожу в порядок свои мысли. Понемногу прихожу к выводу, что нечего стыдиться своего младенчества. Не всё так глупо было в ранней молодости, как я впоследствии иногда думал. Жаль, что нечем утолять жажду знания. Добраться бы на годик до хороших книг! А пока что я стиснул зубы и жду. Десять лет — не вечность, если чувствуешь, что своего назначения в жизни ещё не выполнил. Полагаю, что ты чувствуешь примерно то же самое.

Крепко, крепко целую тебя и надеюсь, что поможешь пробить стену молчания и неизвестности о детях.

Будь здоровой и бодрой. Пиши. Алёша.

Не все наши письма сохранились. Отец вообще не хранил писем. Нет самого первого моего письма, посланного с новосибирской пересылки бабушке и сестре в Черновицы, и первого очередного письма им с 49-й колонны. В ответ пришла открытка от бабушки, отправленная, судя по почтовому штемпелю, в октябре 1952 г. Эта открытка, да ещё такое же неинформативное письмо от неё — вот всё, что, кроме нескольких посылок, я получила до весны 1954 года, когда вернулась из лагеря Стелла Корытная, лагерная подруга матери, и связала нашу разбросанную семью.

Дорогая Маичка! Твоё письмо я получила. Я уже выслала две посылки. Ответа ещё нет. Я послала очки, которые ты просила, костюм лыжный, очень тёплый, простыни старые, нитки белые и чёрные, гребень, чеснок, лук, конфеты, печенье. Больше не принимают. В следующей посылке я тебе вышлю остальное, что тебе нужно. Насчёт твоих вещей я не знаю, где они, я ещё не была в Москве с тех пор, как тебя взяли. Я заболела и не могу выдержать от такого горя, что случилось с тобой. Я думаю, что из-за комнаты это всё произошло. Чтобы я была моложе, я бы выяснила это дело. Мне уже 74 года, я еле хожу. Прошу тебя, моя дорогая внучка, напиши — на сколько, и что ты делаешь. Где твоя учёба, что ты так мучилась? Мне соседи сказали, что ты ничего не знала, крое учёбы. Что за несчастье с тобою, ты бы уже была на третьем курсе. Целую тебя крепко. Поздравляю тебя с днём рождения, и от мамы. Твоя бабушка несчастная.

Моё второе письмо было написано, как полагалось в спецлагере, через полгода после первого:

12.12.52

Здравствуйте, мои дорогие!

Накануне моего дня рождения получила от вас вторую посылку. Очень благодарна вам за всё, что вы послали, так приятно знать, что меня ещё не забыли. Ведь за 7 месяцев, кроме посылки, я получила одну открытку, в которой бабушка ничего не писала об Ирине, маме и папе. Эта открытка меня очень взволновала. Мне очень тяжело читать, как бабушка переживает из-за меня. Прошу Вас, бабушка, берегите себя. Неужели, кроме этой открытки, которую я получила месяц назад, вы ничего не писали? Почти два года прошло с тех пор, как я ничего о вас не знаю. Продолжает ли Ирина учиться? Пусть она пришлёт свою фотографию.

Я вполне здорова.

У нас уже настоящая зима. Ещё в ноябре бывали морозы в 40 гр., в январе, говорят, бывает до 60-ти. Но, между прочим, здесь большие морозы переносятся легче, чем в Москве средние, потому что климат сухой. Часто ли вам пишут мама и папа? Была ли бабушка в Москве? Как её здоровье?

Ещё раз повторяю — пишите мне почаще. Когда-нибудь, если сможете, пришлите, пожалуйста, тёплый платок, зубной порошок, несколько приколок для волос и простой карандаш.

Большое спасибо за лыжный костюм и за очки.

Целую всех вас крепко. Всего хорошего.

Не расстраивайте себя переживаниями обо мне. Привет маме и папе. Пошлите папе мою фотографию.

Будьте здоровы, ваша внучка.

Поздравляю Ирину с днём рождения. Майя.

Следующее очередное моё письмо не сохранилось, вот 4-е письмо:

2.1.54

Дорогие мои, поздравляю вас с Новым годом.

Новый год я встретила очень хорошо, как раз получила от вас посылку. Получила я посылку в середине сентября, потом к ноябрьским праздникам, и теперь снова. Большое вам спасибо, дорогая бабушка. Кроме того, получила деньги, которые вы мне послали ещё летом. И за всё это время — только одно письмо, в котором бабушка ничего не писала о маме, папе и Ирине. Ирина вообще не пишет — отказалась, наверное, от меня. Что ж, это

бывает. Но мне кажется, что бабушке было бы легче написать мне одно большое письмо о матери, отце и обо всех других, ведь я 3 года ничего ни о ком не знаю, чем посылать посылки. Теперь мне было бы дороже получить письмо, чем посылку. Сегодня привезли письма, все ходят такие счастливые, читают друг другу письма, показывают фотографии, а я только хожу да облизываюсь. Моей подруге папа прислал открытку, поздравил с Новым годом её и меня тоже. Я живу хорошо, работа лёгкая, на слюдяной фабрике, питание хорошее.

У меня есть подруга, которая ко мне очень хорошо относится, как сестра. Конечно, не так, как моя сестра, которая меня совсем забыла. Очень прошу, пришлите мне какую-нибудь мою фотографию, если можно, из последних. Галя (так зовут мою подругу) очень хочет иметь на память, ведь мы можем скоро расстаться.

Вообще, друзей у меня много, ко мне все хорошо относятся, помогают.

Следующее письмо я напишу, наверное, через полгода, раньше я, быть может, не смогу, так что вы не беспокойтесь. Но вы можете писать, сколько хотите, а пишете реже, чем я. Почему? В чём дело? Бабушка, в посылку можно класть письмо и фотографии. Очень бы хотела иметь ирину фотокарточку и вашу. У меня в комнате висела моя фотография, а под стеклом — мамина и папина маленькие фотокарточки. Пожалуйста, пришлите мне это в письме. Единственное, в чём я здесь нуждаюсь, это обувь. Пришлите мне подешевле какие-нибудь туфли номер 36 с половиной или просто 37. И пришлите расчёску и густой гребень.

Дорогие мои, не переживайте обо мне, я верю, что мы скоро встретимся. Теперь всё изменяется к лучшему.

Бабушка, если что-нибудь случилось с мамой, папой или Ириной, не скрывайте от меня, прошу Вас, я ко всему готова. Будьте здоровы, целую вас всех. Маме и папе привет и поздравление с Новым годом. Майя

П.С.: Бабушка, за халву — отдельное спасибо, она мне напомнила Черновицы и всех вас. Ещё раз крепко целую.

Ещё одно письмо от отца — маме:

6.1.54

Надя, дорогая моя!

Год начался счастливо для меня. Получил твоё письмо, из которого я узнал о Майечке. Что ж, этого нельзя было не ожидать. Славная, она не могла остаться с «ликующими, праздно

болтающими».

Однако я немного обижен. Мне она ничего не пишет и ни разу не посылала своих стихов. На младшую не сердись. Бабушка написала мне, что она лучше сама будет мне писать, а Иринушке не надо. И это справедливо. Нет, Надя, Щедрина я, конечно, читаю, но мне этого уже больше не надо, эту стадию я уже прошёл. Мне почти всё — ясно. Завидую тебе бесконечно. Я живу в таком поэтически-уединённом месте, что нового ничего не узнаю. Разделяю твою уверенность в скорой встрече. Материально живу хорошо. Мог бы обойтись даже без посылок, если бы это не было единственной связью с доченькой.

Целую тебя крепко. Держись крепко. Алёша.

Ни мои родители, ни я не могли понять, почему молчат наши близкие. Вот, что матери ещё до моего ареста написала по этому поводу бабушка, — просто и невероятно:

Дорогая доченька! Ты даром волнуешься за нас. Мы все здоровы, только писать не можем. Не могу тебе написать, почему. Посылки я высылаю каждый месяц тебе и Алёше, несмотря, что от него ничего не получаем. Дочка, я всё вышлю, что тебе надо будет. Письма не жди от нас. Так должно быть. Я как старуха 72 года ещё могу тебе написать и послать посылку. Может быть ради тебя я буду дольше жить. Мне нужно жить для тебя и для твоих детей. Они растут и хорошо учатся.

А вот, что написал матери её брат дядя Сёма в 1956 году, когда мы все освободились:

….Этого счастливого дня я ждал около 10-ти лет. Было очень трудное время, когда от всех приходилось скрывать, ибо это очень тяжёлыми последствиями ложилось на всех близких и даже дальних родственников.

А между тем, мой дядя был простым советским служащим, работал в каком-то транспортном управлении.

Иногда нам разрешали, получив посылку, сообщить об этом родным. И родные удивлялись, почему письмо такое короткое:

28.3. 54

Дорогие мои!

Вашу посылку я получила. Большое спасибо. Мой новый адрес для писем: Иркутская обл., г. Тайшет, п/я 215/023, для посылок: Иркутская обл., Тайшетский р-н, п/о Костомарово, п/я

215/023.

В посылках я не нуждаюсь.

Жива, здорова, телеграмму получила. Жду писем, целую, Майя.

Такие письма — идеал для начальства. Нам постоянно внушали, что писать надо кратко, иначе письмо не дойдёт. И теперь я не знаю точно, какова судьба недостающих писем (т. е., сохранилось меньше, чем разрешённых два письма в год) — выбросила их цензура или они пропали позже, когда бабушка и сестра, а потом Стелла, пересылали их от одного к другому.

Вот листок того времени — письмо отца, посланное маме через Стеллу и потому — без даты:

Дорогая моя!

Только что получил первое письмо от Маечки и счастлив. Угнетает только твоё молчание. Вспомнил твою уверенность, что «под наши надежды подведено серьёзное основание». Что это — разочарование? Напрасно. Не скоро сказка сказывается. Пиши, пожалуйста. Мне многого не нужно — пару слов о своём здоровье, и что ты знаешь о Майе. В её собственном письме, к сожалению, фактических данных мало. Я по-прежнему здоров, работаю немного и, как все, жду приятных новостей. Как ты?

Будь здорова, целую тебя крепко и жду весточки.

Алёша

Кое-что, конечно, «погибло естественной смертью», просто затерялось. 1-е письмо Стеллы, такое драгоценное, не сохранилось. Началась либерализация, ограничения на переписку отменили, и писать стало можно сначала раз в 2 месяца, а потом — неограниченно. Вот одно из первых моих писем Стелле, с вложенным первым письмом для матери (переписку между лагерями разрешили, помнится, только через год):

22.5.54

Дорогая Стеллочка!

Радуюсь возможности написать Вам письмо. Жаль, что я не умею писать восторженных писем, потом что обыкновенными словами трудно выразить всё, что у меня сейчас на душе.

Две недели назад получила от вас посылку. Это был второй радостный день за последние несколько лет. Первый — это когда я получила Ваше письмо. Не могу даже сказать, чему я больше всего обрадовалась — письму от папы, книгам, таким замечательным, или же в отдельности каждому пакетику, в

которых чувствовались Ваши заботливые руки. А фотокарточка! Ведь моя милая сестрица не присылала мне ни письма, ни фотографии. Честное слово, я гораздо чаще смотрю на Ваше милое лицо, чем на хитрую иркину физиономию.

Прошу Вас, Стеллочка, не присылайте мне продуктов и вещей. От книг отказаться не могу. В предыдущем письме я просила, если можно, учебник английского языка для вузов и какие-нибудь стихи. Но больше не нужно даже книг.

Вы мне должны поверить, если я скажу, что материально я ни в чём не нуждаюсь. Честное слово. Труд лёгкий, не физический. Здоровье у меня хорошее. Я хотела бы, чтобы маме и папе было так легко, как мне.

Единственная тяжесть — разрыв с семьёй. Но эту тяжесть облегчили Вы, моя дорогая сестричка. Бандероль пока не получила. Пишу пару слов мамочке:

Мамочка, как тяжело не иметь от тебя ни одной строчки. Теперь я понимаю, за что ты так хвалила Стеллу и называла её своей дочерью. Она — как добрый ангел нашей семьи. Я её больше люблю, чем Ирину. Последняя любовь к моей сестрице улетучилась, когда я прочла её первое письмо, такое холодное, без всякого сознания своей вины передо мной. Неужели она и тебя так мучает?

Я жива и здорова. Работа лёгкая, не физическая, меня не утомляет. Иногда участвую в самодеятельности. О папе и бабушке я ничего не знаю. Бабушка посылки посылает, а писем не пишет. Получила откуда-то 20 рублей. Думаю, что это от Тамары или её новой знакомой.

Очень рада, что ты теперь знаешь всё обо мне.

Я очень дружна с Галей. Тома её знает. Она мне вместо сестры. Вторая сестра — Стелла, а Ирину я даже не знаю, называть сестрой или нет, я на неё очень обижена.

Пиши, мамочка, если сможешь.

Целую тебя крепко,

Майя

20 рублей мне послала мама, я об этом догадалась. Тамара, как потом и другая моя одноделка, Сусанна, оказалась с ней вместе в Потьме, куда их отправили с Воркуты. Сестра моя, которой к моменту ареста матери было только 10 лет, причинила нам всем много огорчений. Конечно, мы судили её слишком жестоко. Когда, наконец, пришло от неё первое письмо в мае 1954 года, через два года после моего приезда в лагерь, я ответила ей со всей накопившейся горечью:

7.5.54

Здравствуй, Ирина!

Получила твоё письмо, написанное из Москвы. Это письмо меня одновременно обрадовало и огорчило. Обрадовало потому, что я, наконец, знаю, что ты жива и здорова, а огорчило потому, что ты, я вижу, до сих пор не понимаешь, какая ты свинья. Я ожидала, что ты хотя бы извинишься за своё молчание, но ты, оказывается, считаешь, что не написать сестре ни одного письма — это ничего особенного. Я помню, что ты и раньше ленилась писать письма, но по отношению ко мне я вижу не лень, а кое-что похуже.

Конечно, ты — уже взрослый человек, можешь поступать, как хочешь. Я, кстати, упрашивать тебя не собираюсь. У меня есть теперь другая сестра, более внимательная, чем ты. С тех пор, как я получила первое письмо от неё, я как будто ожила.

Мне здесь очень легко в материальном отношении, но тем тяжелее было сознавать полную оторванность от семьи. Ведь бабушка мне тоже почти не писала — всего два письма за всё время, из которых я ничего не узнала ни о ком. Конечно, большое спасибо бабушке за посылки и деньги. Я никогда не забуду этого. Только жаль, что я пока ничем не могу отплатить за её заботу.

Вот, дорогая сестрица, я и прочла тебе мораль, рискуя вызвать твоё недовольство. Может, ты опять перестанешь писать. Как хочешь.

Пойми, ради бога, что я ничего о тебе не знаю уже несколько лет. Даже твой почерк показался мне совсем чужим. Странно думать, что ты уже мечтаешь, в какой институт поступить, рассуждаешь о Бетховене и Рембрандте.

Хочу тебе посоветовать как можно серьёзнее заниматься, как можно лучше быть подготовленной. Не знаю только, какой из тебя врач получится, если ты такая бессердечная. Ну ладно, теперь о другом.

Я получила недавно от кого-то 20 рублей из Потьмы. Я думаю, что эти деньги послала мама, хотя я не знала, что она переменила адрес[112]. Хотела бы знать, так ли это. Если так, передайте ей моё спасибо. Напишите ей также, что мне бы хотелось переписываться с ней. Ведь теперь я могу писать гораздо чаще.

Ну, всего хорошего.

Если собираешься писать, то пиши быстрее. Напиши побольше о себе и бабушке, а главное — о маме и папе. Будешь писать Стелле — передай ей от меня привет. Сегодня получила от неё посылку. Большое ей спасибо.

До свидания,

Майя.

Бабушка, дорогая, простите, что я Вам пишу только пару слов. Надо ведь Иру поругать, она и вас, может, будет больше слушаться. Беспокоюсь о Вашем здоровье. Скоро напишу ещё. Обо мне не беспокойтесь. Передайте привет всем. Целую крепко-крепко, как Вы этого заслужили… Ваша внучка Майя.

Отправив письмо, я тут же об этом пожалела. Ответное письмо сестры закапано её и моими слезами:

Здравствуй, Маечка!

Получила сейчас твоё письмо. Ты говоришь, что я свинья по отношению к тебе. Мне, конечно, очень-очень обидно это слышать от тебя. Если бы ты знала, как ты не права. Ты говоришь, что я тебе совсем не пишу. Да я и сейчас пишу и не знаю, получишь ли ты моё письмо. Я, правда, писала после того, как приехала из Москвы, очень мало — всего одно письмо и записки в бандероли и посылке[113]. Но если бы ты знала, как мне тогда трудно было писать! Я через несколько дней после того, как приехала, заболела. Вернее, болела я и раньше (у меня плохо с лёгкими), но тогда мне пришлось слечь. А это было в 4-й четверти. Мне не разрешили заниматься. Сколько я обходила врачей, пока добилась разрешения окончить школу! Майечка родная, разве я могла писать тогда обо всём этом?

А потом начались экзамены. А на экзаменах мне снова «повезло». Я сдала два русских, химию, письм. математику, историю, и снова заболела. Готовилась я, лёжа в постели. Вернее, совсем не готовилась. И это, конечно, дало свои результаты: алгебру я сдала кое-как на 4, а по физике получила 3. По предыдущим экзаменам у меня 5, а в аттестате 3 по физике. Обиднее всего то, что сразу после физики я стала себя чувствовать совсем хорошо. Ну вот и об этом мне было очень неприятно писать.

Во время экзаменов я решила (вернее, не я, а врач) не поступать в ВУЗ, пропустить год и поехать в какой-нибудь санаторий. Но я скоро должна была переменить решение. Достать путёвку в санаторий оказалось невозможно, а пропустить год — тоже. Но ни в мед. ин-т, ни в университет я поступить не смогу. Если раньше я ещё надеялась, то Фима (помнишь, Юлин брат) разбил мои иллюзии. Он разговаривал со своими бывшими преподавателями. Я не знаю, что они ему сказали, но он даёт гарантию, что меня не примут даже на заочный. Я ходила в райком узнавать насчёт работы, и на этот раз мне повезло. Я, кажется, устроюсь работать старшей пионервожатой в лесную

школу (это — круглогодовой санаторий для детей-туберкулёзников). Это было бы для меня очень хорошо. Там я могла бы поправить своё здоровье. Я всё-таки буду пытаться поступить заочно на филологический. Если я не поступлю, это для меня уже не будет таким большим ударом: я себя уже подготовила к этому. Вообще в этом году в ВУЗах творится что-то страшное: по 7 человек на место уже сейчас, а ещё можно подавать документы до конца месяца. Ну, об этом хватит.

Ты извини меня за то, что моё письмо такое неприятное. Ни маме, ни папе о своём здоровье я, конечно, не писала. Ведь я надеюсь скоро выздороветь, так зачем же их зря огорчать?

Да, получила ли ты Короленко? Какие книги ещё тебе выслать? От мамы получаем теперь письма чаще, чем раньше, от папы тоже. Реже всех письма твои. Маечка родная, если бы ты только знала, как я люблю тебя и как мне тяжело без вас всех, то ты бы, наверное, не говорила мне того, что ты написала.

Ну, целую крепко-крепко. Ира.

Постепенно мы стали переписываться регулярно, взаимная обида прошла, но не сразу:

9.6.54

Дорогие мои!

Давно ничего от вас не имею. Подожду, когда кончатся у Ирины экзамены, может, тогда у неё время найдётся написать мне. Если не найдётся, я больше не ожидаю и в письмах буду обращаться только к бабушке.

Я, как обычно, жива и здорова. Опять стала играть на сцене. Письма и посылка Стеллы меня очень обрадовали и ободрили. Наконец, я немножко узнала о своей семье. Стелла послала мне письмо от папы, но я его не получила. Получила на днях от Стеллы бандеролью Пушкина. Бандероль, посланную раньше, я ещё не получила. Книги лучше доходят в посылке.

Бабушка, я никак не могу добиться, как Ваше здоровье, как Вы живёте в материальном отношении. Может быть мне удастся отослать Вам мамину шубу. Она мне совсем не нужна, только мешает в дороге.

Передайте маме большой привет. И папе тоже. О них я тоже ничего не знаю. В каждом письме я пишу одно и то же: «ничего не знаю», ответ один — молчание, не считая письма Ирины из Москвы, из которого я тоже ничего не узнала.

Я ни в чём не нуждаюсь, *только в письмах*.

Целую вас крепко.

Дорогая бабушка, напишите хоть пару строчек. Ваша внучка.

Наконец, в середине 1954 года, я получила через Стеллу первое письмо от матери:

Маюшка, родимая моя, радость моя!

Теперь ты уже, наверное, получила моё письмо. Неужели оно так-таки первое за все эти годы? А ведь я писала и в 52-м, и в 53-м. Ко мне дошло два твоих коротеньких письма. Относительно Ирины понимаю твои чувства. В прошлом году я им написала, что из всего, что мне приходится испытывать, это — самое тяжёлое, самое больное. Раза два получила от неё покаянные письма с обещаниями писать часто и мне, и тебе с папой, но после них — опять молчание на многие месяцы. Что же касается бабушки, то она стара и немного впала в детство. Когда после многих месяцев ожидания я, наконец, получаю письмо от неё и с трепетом его начинаю читать, там ничего, кроме жалоб на дядю Сёму и Ирину, нет. Только поэтому я могу догадаться, что они живы и относительно здоровы, т. к. на смертельно больных людей как-то не принято жаловаться. Не повезло нам, моя девочка, насчёт родни. Дядя Сёма и иже с ним перестали мне писать с января 1951 г. Вообще, по-видимому, щадя меня[114], они ничего лучшего не могли придумать, как бросить мне совсем писать, и я почти год совсем без писем была, при большом изобилии посылок (в виде компенсации, что ли?). Но с февраля месяца, с возвращением Стеллы, всё изменилось и, главное, не только для меня, но и для тебя, и для папы. Как хорошо иметь взрослую, умную, хорошую дочь. Моя родная, это и к тебе относится, не только к Стелле. Хотелось бы только, чтобы ты не столь лаконична была в твоих письмах. Я понимаю, что не всегда, и не обо всём можно распространяться, но всё же немного конкретнее можно было бы писать. Я рада, что ты категорически отказываешься от помощи со стороны Стеллы, но всё же хотелось бы знать, как образуется твоё материальное благополучие, получаешь ли зарплату, или как? Хотелось бы также знать больше о твоей «сценической деятельности» и вообще обо всём, чем ты живёшь, что думаешь, читаешь. Как хорошо, что у тебя есть близкий друг[115]. Те, кто знает вас обеих, говорят, что вы в своё время не очень сходились во взглядах на некоторые вещи. А как сейчас? Кстати, не приходилось ли тебе встречать кого-нибудь из моих знакомых? Ведь мир так тесен, как мне пришлось в моей жизни неоднократно убеждаться. Любимая моя, одна фраза из твоего письма к Стелле прозвучала для меня убедительно, это: «…чтобы маме с папой было так же легко, как мне». Странно, но почти то же выражение я употребила в письме к тебе в 52 г.:

«Желаю, чтобы твой путь и путь папы были не тяжелее моего». И папа не жалуется, пишет, что живёт хорошо. Что же, по-видимому, удачливая семья, не правда ли? Радость моя, какое счастье — знать, что ты жива, здорова, не очень несчастлива и что можно надеяться услышать от тебя скоро. Пока пиши через Стеллу.

Крепко целую и обнимаю тебя и Галю,
твоя мама.

Вот несколько моих писем Стелле вперемешку с письмами мне от отца и матери:

30.6.54.

Дорогая Стеллочка!

Давно не было от Вас весточек. Ирина так мне больше и не пишет. Теперь она кончила сдавать экзамены, но всё-таки не может найти для меня времени. Мне тоже не хочется ей писать. Напишу только бабушке.

Большое спасибо за Пушкина. Но, Стеллочка, зачем Вы прислали такое дорогое издание? Достаточно было маленького томика стихов. Конечно, книга прекрасная, но нельзя так тратиться. Говарда Фаста ещё не получила. Неделю назад получила бандеролью бумагу и конверты. Очень благодарна, как раз это мне теперь нужно. Кажется, теперь я могла бы написать маме и папе. Пришлите пожалуйста, их адреса, только — на отдельной бумажке.

К несчастью, письма от папы я так и не прочла. Очень обидно, но я не теряю надежды, что скоро смогу наладить с ним и с мамой связь. Напишите, пожалуйста, им об этом.

Я по-прежнему жива и здорова. Меня окружают хорошие люди, которые относятся ко мне, как к дочери. Здесь есть одна женщина, которая мне так же дорога, как когда-то Вам — моя мама. Даже профессия у неё та же, что и у мамы.

Теперь я опять работаю на воздухе. Это мне только полезно.

Стеллочка, очень жду Ваших писем. Почти все книги я уже прочла. Это — моё богатство, все у меня берут, как в библиотеке.

Всего хорошего. До свидания, крепко целую.

Адрес на конверте немного неточен. Надо: п/я 215/020-К.

Письмо отца было в посылке Стеллы, но мне его не отдали.

8.8.54

Дорогая Стеллочка!

Только недавно получила Ваше письмо от 25 мая. Вы пишете,

что только что получили моё первое письмо. Очень жаль, что у нас такая слабая переписка. Теперь я могу писать очень часто, мама и папа — тоже. На днях послала письма маме и папе. Вчера написала папе письмо. Собираюсь завтра отправить.

Открыточка мне очень понравилась. Она у нас висит на стене, и все ею любуются.

Кажется, я Вам уже писала, что сейчас у меня очень хорошие бытовые условия, живу в комнате для 4-х человек, вместе с женщиной, к которой я очень привязана.

Сейчас выходной день. До обеда я лежала и читала Пушкина. Я учу наизусть «Моцарта и Сальери». К сожалению, с музыкой тут неважно. Конечно, Бетховена не услышишь.

Стеллочка, пишите почаще. Очень бы хотелось иметь какую-нибудь мамину фотографию. Мне ничего сейчас не нужно, кроме писем. Правда, очки у меня очень плохие. Во-первых, слабые, а главное — кривая оправа. Я очень мучаюсь, даже стала немного косить. Пока здесь нет окулиста, так что рецепт выписать некому, а я даже не знаю, какая у меня сейчас близорукость. Думаю, что не больше –6. Если можно, пришлите мне, пожалуйста, очки с диоптрией –6. Оправа пусть будет подешевле, только обязательно не кривая. Знаете, Стеллочка, мне нужно, чтобы стёкла можно было вытащить, то есть, чтобы в оправе были маленькие винтики. Это нужно на случай, если стёкла окажутся слишком сильными. Футляр у меня есть. Правда, я не знаю, можно ли в Москве достать очки без рецепта. Очень не хочется беспокоить Вас такой просьбой, но приходится.

Вы спрашиваете, понравились ли мне книги. Какой вопрос! Не только мне понравились, но я их едва смогла прочесть, так их все хотели читать. Мои друзья Вас знают и восхищаются.

На фотографии мне больше понравились Вы, чем Ира. Она мне, между прочим, так и не пишет больше. До свидания. Целую, Майя.

Лирику Лермонтова и «Сакко и Ванцетти»[116] я ещё не получила.

Первое дошедшее до меня письмо отца из лагеря в Казахстане:

Теректы, 8.8.54

Маёчек, милая!

Давненько я от тебя ничего не слыхал. Я это не в порядке жалобы. Понимаю, как трудно писать, мне самому это трудно. Вот если бы устно поговорить… Но и это будет и, возможно, скоро. Меня мало трогают «ожидания», но я уверен, что кое-что сбудется несомненно. Если бы я был хоть сколько-нибудь осведомлён в

твоих делах, то, мне думается, я мог бы примерно определить, на что ты можешь рассчитывать в ближайшее время. Что, если ты вспомнишь старика Эзопа и дашь мне понять, в чём твоё дело?

Я очень рад за тебя, что ты, может быть, нашла своё призвание — искусство. У тебя и раньше, помнится, были большие способности. Одно мне совершенно ясно — что т. наз. «сроки» — вещь совершенно пустяковая. «Ничто не вечно под луной».

Старикам, конечно, много легче. Вы, молодые, часто склонны переоценивать преходящее и принимать его чуть ли не за вечное. Я же твёрдо уверен, что мы скоро увидимся.

Живу я тоже неплохо. Здоровье моё примерно такое же, как раньше. Правда, большая седая борода придаёт мне вид патриарха, но я ещё чувствую себя вполне молодцом, хотя зовут меня все дедушкой. Я теперь на новом месте, где меня совершенно освободили от работы. Жару я переношу легко, читаю и думаю о прочитанном и пережитом. К сожалению, передумывать приходится многое. Увлёкся естествознанием, в особенности физикой. Перечитываю всякие научно-популярные брошюрки, стараясь среди мусора найти ценные фактические данные. Ну вот, я увлёкся собой, и приходится сразу обрывать.

Милая, напиши о себе. Как ты живёшь, как твои глаза и, по возможности, как ты думаешь. Целую тебя крепко, мой Маёчек. Твой неунывающий папа.

Вот первое из сохранившихся моих писем матери, посланное «через волю», т. е., неофициальным путём:

3.9.54

Дорогая моя мамочка!

Не знаю, получишь ли ты моё письмо. Но — пользуюсь моментом.

Через несколько дней я вернусь на прежнее место. Там, наверное, встречусь с Галей. Но сейчас я тоже не одинока. Живу и работаю вместе с одной женщиной, о которой я тебе писала — её зовут Верочка. Какой это прекрасный человек. Твоя коллега. Но она совершенно не похожа на тебя. Некоторые находят её очень странной. Она, например, совершенно не обращает внимания на свой внешний вид. В этом отношении она перещеголяла меня. Душа у этого человека замечательная. Она совершенно не думает о своём материальном благополучии. Все люди, независимо от их положения, одинаково вызывают её любовь. Её можно было бы назвать образцовой христианкой, если бы она всегда была способна всех прощать. Она чем-то напоминает мне папу.

Конечно, во многих отношениях она мне ближе, чем Галя, хотя Галка — моя ровесница, а Вера старше на 14 лет. Ну ладно, мамочка, я что-то разболталась о своих делах. На днях получила сразу два письма — от Ирины и от бабушки. Обе пишут об одном — Ирина уехала в Москву. Трудно судить на расстоянии, но мне жаль бабушку, которая ведь очень к ней привязана. Ещё я беспокоюсь о материальном положении Стеллы. Как бы Ирина не явилась лишним бременем для неё. Конечно, я понимаю Иру тоже. Я ведь тоже не хотела когда-то уезжать из Москвы.

Ты знаешь, я себя совершенно иначе чувствую теперь, когда имею связь с тобой и с папой. Я теперь чувствую, что должна беречь себя для нашей встречи. А то я уже теряла веру, что это будет когда-нибудь.

Помнишь, я когда-то писала стихи? Уже два года я не берусь за это занятие. Что-то ничего не получается. Когда-нибудь я тебе прочту то, что я написала в 52-м г., в самое тяжёлое для меня время. Теперь мне несравнимо легче. У меня сейчас навязчивая идея — сфотографироваться и послать вам всем мою фотокарточку.

Мамочка, напиши мне, как твоё здоровье, как живёшь, какие у тебя друзья. И подробнее, как я тебе написала. Целую, Майя

Письмо мне от мамы:

8. X.54

Маюшка, моя родная! Боюсь, что это письмо не поспеет ко дню твоего рождения. Тем не менее, поздравляю тебя, моя девочка, и надеюсь, что мы ещё будем отмечать все вместе много раз этот день. В этот день я с тобой больше, чем когда бы-то ни было, думаю о тебе, вспоминаю всё с момента твоего рождения до того дня, как мы расстались. Благодаря счастливой случайности мне удалось восстановить картину твоей жизни почти до последних месяцев (до весны этого года). Жаль, что я не получила поздравления ко дню моего рождения. Знаю о нём из твоего письма от 11.9.

Ты пишешь, что решила начать заниматься усердно. Родная, старайся использовать время хотя бы для изучения языков. У тебя способности лингвистические должны быть — используй их. К сожалению, у Тамары их нет, но всё же она делает, что может, и успевает неплохо. Я получила от Стеллы всю необходимую мне литературу — хороший учебник, грамматику и несколько романов. Трудно передать, какое наслаждение мне доставляет читать грамматику Ганшиной и Василевской. Я могу предаваться этому занятию часами. Понемножку вяжу. Больших способностей

в этой области не проявляю, но всё же связала джемпер Стелле и передала с бабушкой, правда, не совсем готовый. Боюсь, что Стелла не соберётся его закончить, и он так и будет лежать. Теперь я вяжу кофточку Ирине. Ты, конечно, уже знаешь, что она сейчас в Москве. Меня мучает, что она может быть бременем для Стеллы, которой и самой нелегко.

Моя девочка, не странно ли, что я гораздо больше знаю о тебе, о твоей жизни, даже мелочи твоего быта, чем об Ирине? И страшно тревожно за неё. Всё, что я о тебе узнала, меня в значительной степени успокоило. Особенно то обстоятельство, что ты с хорошими людьми, что они к тебе привязаны, и ты к ним. Это — самое важное. Что касается твоих надежд относительно папы и меня, то пока они ещё довольно смутные. А дальше посмотрим. Вот видишь, Маёк, как я много пишу, не то, что ты. Твои письма производят такое впечатление, как будто ты пишешь их только для того, чтобы отбыть обязанность. Боюсь, что у нас семейная нелюбовь к писанию писем. Но все рекорды, конечно, побила Ирина.

Маюшка, прошу тебя, не забывай бабушку, пиши ей. Мне очень больно за неё, она страшно одинока.

Родная моя, тебе уже 22 года и, говорят, ты выше меня. Как бы мне хотелось тебя увидеть, обнять. Если бы знать, когда. А может быть, лучше не знать. Если бы в 48 г. я могла предвидеть 51-й[117], я, вероятно, не жила бы. А ты, говорят, весёлая, жизнерадостная. И я себе охотно это представляю. Кончаю, родная, всё равно всего не скажешь.

Целую тебя крепко.

Передай привет и мою любовь твоим друзьям, тем, которые тебя любят и хороши к тебе.

Мама

P.S.: Светик, родной![118] Как я жду твоих писем, подробностей посещения Люб. Абр. А как насчёт Ольги? Жалко потерять вещи. Люб. Абр. должна знать, как её найти. Возможно, что Женя Ласкина тоже знает. Извини, что обременяю тебя поручениями, родная.

Моё письмо Стелле:

11.11.54

Дорогая сестричка!

На днях получила от тебя сразу три письма. Два из них — это письма Ирины к тебе. Только по этим письмам я могу судить, что за человек моя сестра. Я очень рада, что она полна энергии и жажды жизни. Это хорошо. В прошлое воскресенье получила твою

посылку. Она шла недолго. Стеллочка, ну разве можно так тратиться! Конечно, посылка доставила мне огромную радость. Ты ведь знаешь, что это такое в моём положении. Между прочим — «Мартин Иден» — одна из моих любимых вещей. Пока я ещё не могу её читать, но я уже начала усердно заниматься.

С Галей мы расстались в марте и наверное скоро опять встретимся. Учебник хороший. Материя на платье мне очень нравится. Кроме платья, наверное, получится юбка. Между прочим, Стеллочка, в перечне ты пишешь: «шёлковый костюм, трико» Но юбки к костюму нет, и трико тоже. Синий цвет я вообще очень люблю.

Сейчас у нас дожди, уже холодно. Я надела чулки, которые вы мне послали. Банку с клубничным вареньем мы открыли сегодня, в субботу. Только, Стеллочка, я в ужас прихожу, сколько ты истратила денег! И очень жалею, что попросила, чтобы ты прислала мне очки.

Я послала маме поздравление с днём рождения. Знает ли мама мой адрес?

Стеллочка, мне кажется, что папа скоро будет дома, а, может, и мама тоже.

Книги, которые ты мне прислала раньше, я все прочла. «Моцарта и Сальери» уже выучила, теперь буду учить «Медный всадник».

Как странно, Стеллочка, стихи Некрасова, о которых ты пишешь, я тоже очень люблю и знаю их наизусть. Знаешь, у меня было время — год с лишним, когда я могла выучить много стихов[119]. Тогда мне попался Некрасов. Между прочим, я выучила «Рыцарь на час». Назым Хикмет у нас был в библиотеке, сейчас пока нет. Я его читала, но очень мало. Стихотворение, о котором ты пишешь, я не помню. Обязательно перечитаю. «Времена года» я прочла. Понравилось, хотя в худож. отношении много недостатков.

Стеллочка, сейчас уже воскресенье. Что у мамы с руками, напиши, пожалуйста. Только что получила от тебя два письма — твоё от 31.8. и папино. От папы — это первое. Как жаль, он не получил два письма, которые я послала на его адрес.

Ты обижаешься, что я мало пишу. Неправда, я тебе пишу каждую почту, пропустила только два раза. Скорее бабушка и Ирина могут обижаться. Кстати, от Ирины я опять ничего не имею. Ты ещё её оправдываешь. От тебя я всего получила 11 писем, включая мамино, а от неё — только два. Два письма за всё время! Ей, конечно, нелегко. А разве тебе легко? Ты старше её, но не в пять раз. Ещё называется сестра. Фотокарточка твоя очень мне понравилась. Но почему такая грустная? Кончаю. Крепко

целую тебя и твоих друзей. Между прочим, Ира тебе посылала фотографии мамы и папы. А у меня их нет. Понимаешь? Ну, целую ещё раз.

Майя.

Ещё — от отца:

2.10.54

Маёчек дорогой!

Я ждал, ждал ответа на мои письма тебе и маме и, не дождавшись, пишу снова. Так и ты делай — не жди ответа, а регулярно, ну, хоть раз в месяц-два пиши пару слов.

А писать тебе трудно. Я всё вижу тебя такой, какой оставил 6 лет назад, хотя знаю, что ты теперь — большая и учёная. Да и о чём писать? Ты знаешь, как мало есть о чём писать из этих учреждений.

Я жив, здоров, примерно так же, как 6 лет назад. Охотно верю тому, что ты писала в прошлом письме, что ты лучше выглядишь, чем дома в Москве.

У вас, вероятно, такая же истерика, как у нас тут. Все ждут перемен и нервничают нестерпимо. До сих пор я успешно держался вдали от этой истерики, хотя я не сомневаюсь, что перемены будут, и значительные.

Конечно, мне много легче, чем тебе. Меня никто не заставляет тяжело работать, да и вообще старикам лучше, чем молодёжи.

Я усердно «грызу гранит науки» — конечно, по собственной системе и на доступном мне материале. А трудно без систематического образования. Помню, как ты в последнем своём письме из Москвы исправила мою ошибку в понимании теории относительности. Верно, верно, масса тела возрастает неограниченно при скоростях, приближающихся к скорости света. Не знаю, Маёчек, чувствуешь ли ты, как это важно? Настолько важно, что, узнав о твоих успехах в области искусства, я немного вздохнул и пожалел, что ты не увлекаешься физикой. Ну, да ничего — ты ещё молода.

Целую тебя крепко и с нетерпением жду твоего письма,

твой папа.

18.10.54

Славная моя Маюшка!

Прав великий Панглос — «всё к лучшему в этом наипрекраснейшем из миров», и, главное — становится всё лучше и лучше. Получил твоё письмецо от 12.9. в возможно

наикратчайший срок и спешу ответить так же быстро.

Как я жалею, что я так плох в поэзии (проклятый Писарев, это всё он виноват). Я бы тебе ответил пушкинским стихом на твою цитату из Надсона. Но я надеюсь на твою память[120]. Рад, что ты увлекаешься поэзией, но я больше налегаю на прозу — на философию. Мой любимый писатель — Козьма Прутков. Вот бессмертный мыслитель. Помнишь ли ты его? «Нельзя объять необъятное», «гляди в корень», «бди», и проч. Эти вечные истины мне приходят в голову, что бы я ни читал.

Ну, а что ты читаешь? Я тут занялся ликвидацией своей безграмотности. Начал я с Аристотеля, но неожиданно осёкся. Не одолел я «Физики», в которой есть всё, кроме физики, теперь грызу естествознание, и больше по популярным изданиям.

О маме я знаю, благодаря божественной доброте Стеллы, но от неё ни одного письма не получал. Целую тебя крепко и жму руки твоим подругам.

Твой папа.

Вот единственное сохранившееся моё письмо лично бабушке:

26.11.54

Дорогая моя бабушка!

Получила на днях Ваше письмо. Я очень рада, что, наконец, что-то знаю о Вас. Правда, то, что Вы пишете, очень печально. Но, бабушка, ведь Вы у нас имеете сильную душу. Соберите все свои силы для радостной встречи с нами. Эта встреча скоро будет, надейтесь, милая бабушка. Главное, чтобы Вы берегли себя, я это всегда буду повторять. Мне очень жаль, что Вы тратите все свои силы, чтобы помочь Ирине. Я понимаю, как Вам должно быть тяжело, но Ирина скоро выучится и будет Вам помогать.

Хорошо, что Бог Вам послал на помощь такого человека, как Стелла. Теперь нам всем гораздо легче.

Милая бабушка, Вы пишете, что покупаете продукты, чтобы Стелла мне посылала. Большое спасибо, но только я Вас так всегда прошу — не тратьтесь на меня. Ведь я Вам писала, что работа у меня очень лёгкая, я совсем не устаю, и кормят нас хорошо[121]. Теперь я опять на старом месте. Летом работала на улице, а теперь в помещении. За лето я ещё больше поправилась. Вы же знаете, что для здорового человека труд, если не тяжёлый — только полезен.

Стелла и так тратится на меня, я не хочу, чтобы Вы посылали мне то, что можете сами покушать.

Дорогая бабушка, я всегда читаю Ваши письма своим друзьям. И все удивляются, какая у меня хорошая бабушка. Вас

называют героиней. И все желают Вам всего хорошего за Ваше прекрасное сердце. Конечно, Бог Вам заплатит за всё. И я верю, что мы скоро сможем Вам доказать, как мы Вас любим и ценим.

Я уже писала, что Ваши деньги я получила и на них справила день рождения. В прошлый раз я послала Вам свою фотокарточку. Надеюсь, Вы скоро её получите. Может быть, я опять сфотографируюсь одна, без людей. Я хочу, чтобы Вы видели, как я поправилась. Я стараюсь писать как можно чаще.

Знаете, я уже писала, что мне сшили хороший костюм из материала, купленного за Ваши деньги, который прислала Стелла. Я его по воскресеньям надеваю. Всем очень нравится.

Целую Вас крепко. Ещё раз повторяю — берегите себя. Ваша внучка.

Бабушка дожила до встречи с нами, а я доказала ей свою любовь и благодарность: когда в 1961 году умерла в результате несчастного случая её любимица, моя сестра, это удалось от неё скрыть. Мы тогда жили в разных городах, и я писала ей письма от имени и почерком сестры несколько лет, до самой смерти бабушки.

Мне — от мамы:

9.12.54

Доченька моя родненькая!

Какая радость иметь возможность непосредственно писать тебе и получать от тебя письма. Вчера у меня опять была бабушка на свидании. Она мне показала твоё письмо. Из него я узнала, что ты вернулась на 23-ю. Спасибо тебе, родная, за ласковое письмо, которое ты написала бабушке. Мне её очень жаль. Ведь она хороший человек, с яркой индивидуальностью, но, к сожалению, она страшно духовно или, вернее, интеллектуально, далека от тех, кого больше всего любит, и кто ей дороже всего. Отсюда — все конфликты. И она очень несчастна. Сколько горя я ей причинила, да и она мне. Будь умницей и побалуй её хоть раз в месяц большим, ласковым письмом.

Моя голубка, получила от папы сразу несколько писем. Он и тебе писал, надеюсь, что ты уже тоже получила и ответила ему. Фото твоё я получила только группу, а другая, где ты одна, пропало. Обидно до слёз. Папа получил и находит, что ты — настоящая «арестантская мадонна» на карточке. Я надеюсь всё-таки тоже раздобыть её. На днях собираюсь тебе выслать посылку, главным образом, вещи — кофточку я связала, носки — Надя[122]. Ведь я теперь вполне в курсе твоих дел, и гардероб твой мне весь известен. Думаю, что теперь ты получишь всё, что тебе нужно.

Любимая, родная, папа тебе уже, вероятно, сам написал, что у него есть перспективы скоро выйти. У меня пока таких перспектив нет, но вообще у меня полная уверенность, что всё это уже дело только месяцев и для меня. Но это меня не так уж интересует. Меня гораздо больше занимает твоя судьба. Но приятно, что всё зашевелилось, лёд тронулся. Правда, это очень нервирует. Я совсем из равновесия вышла. Не могу, как раньше, спокойно читать, заниматься, но это ничего, можно по-всякому жить.

Целую крепко тебя, моя любимая, и обнимаю тебя и твоих друзей.

Твоя мама.

Моё письмо Стелле и Ирине:

12.12.54

Дорогие девочки!

Я такая счастливая, как никто из моих друзей. Почти каждую почту я получаю по 3–4 письма. Все мне завидуют, но и рады за меня. Ведь все знают, что целых два года, не считая того времени, когда я не могла получать писем, я ничего не имела, кроме посылок от бабушки. Только по ним я могла судить, что бабушка жива.

Стеллочка, мне так жаль, что переписка с нами отнимает у тебя всё свободное время. Бедняжка, у тебя такое измученное лицо на маленькой фотокарточке. Береги себя, дорогая сестричка. Я со страхом жду посылку от тебя. Ведь я понимаю, чего она тебе стоит. Но конечно, я страшно рада, что смогу читать Блока. Передайте большое спасибо Зиночке. Я буду учить Блока наизусть. Продолжаю учить Пушкина, выучила «Пир во время чумы». Стеллочка, напрасно ты собираешься послать самописку. Я раньше писала карандашом, так было удобнее, а теперь буду всегда ручкой. А тебе это — лишняя трата.

Подражание негритянскому эпосу — прелесть. Я, конечно, выучу наизусть.

Очень рада, что Ася помогла папе. Передайте ей и другим знакомым мой привет. Лучше бы ты послала папе 100 р., а остальные взяла себе. Зачем ему такая куча денег? Правда, если он освободится как инвалид и поселится где-нибудь в Средней Азии, то ему каждая копейка дорога будет. А пока тебе бы пригодилось. Стеллочка, я разделяю твоё мнение и мнение Пастернака, что простота — это самое главное в поэзии. Поэтому я бросила сама писать стихи, так как у меня нет таланта, чтобы коротко и просто выражать свою мысль.

Ты удивляешься моему увлечению Еванг. Одно время меня очень интересовала эта вещь. Не думай — я атеист до мозга костей, но Нагорная проповедь поразила меня своей простотой. Слова Христа вообще удивительно понятны. И часто думаешь — какая вообще разница между верующим человеком и неверующим? Большинство верующих интеллигентных людей совсем не так понимают веру, как это мы думаем. У нас слишком примитивный и даже вульгаризированный взгляд на это. А, в сущности, по-моему, иногда человек сам не понимает, верующий он или нет.

Ну, целую вас. Привет Зиночке и другим друзьям.

М.

19.12.54

Дорогая мамочка!

От тебя я получила всего два письма. А папа пишет, что от тебя не получил ни одного. У меня одна мечта, что он скоро освободится и приедет ко мне на свидание. Папа пишет, что это, вероятно, будет через 3–4 месяца.

Получила письмо от Вали Кречик из Риги. Ты, конечно, хорошо знаешь её. Она мне написала, как она с тобой вспоминала обо мне. Ты можешь верить всему, что она рассказывала. Она — человек очень честный, хотя и не без недостатков. Ты, конечно, удивляешься, что общего у меня было с ней. Она — интересный тип. Доказательство, что нет абсолютно плохих или хороших людей.

Вот Надя Коваленко — прекрасный человек. Она ко мне очень хорошо относилась. Она познакомила меня с Еванг. Я надеюсь, что вы найдёте общий язык с ней, хотя у вас разные взгляды на жизнь.

Ольге [Эльви], если встретитесь, передай большой привет от меня и от Верочки. Мы слышали об изменениях в её судьбе и от души радуемся. Передай ей, что всё лето мы были вместе — Верочка, Хельми и я. Сейчас Хельми в другом месте. Верочка сейчас на той же работе, что и раньше. Если я буду перечислять всем приветы, то у меня не хватит места.

Мамочка, от Ирины я получаю письма очень редко, а ты? Но я о ней не беспокоюсь, она не пропадёт.

Я продолжаю заниматься языком. Что тебе написать о своей жизни? Ты обо мне можешь узнать больше, чем я могу написать. Вот папа, бедный, ничего не знает о нашей жизни.

От Стеллы получаю письма очень часто. Я даже предложила, чтобы она писала пореже, если это отнимает у неё много времени.

Я хочу выяснить, как насчёт моих вещей — конфискованы они или нет. Может быть, можно добиться, чтобы выплатили деньги. Ведь личных вещей у меня не было, а у папы конфискации нет. Всё-таки лишние деньги не помешают.

Целую тебя крепко,

Майя.

Дорогая Надюша, я совсем недавно узнала, что ты с мамой вместе. Я часто тебя вспоминаю и берегу память от тебя — воротничок и салфеточку. Носки твои меня очень выручают. Но сильнее всего, конечно, память о тебе в душе. Я берегу переписанную Нагорн. проповедь. Переписала её на днях чернилами. Наполовину выучила наизусть. Ты даже не представляешь, какое большое значение для меня имела ты. Наденька, я очень бы хотела знать, имеешь ли ты что-нибудь из дому. Ты ведь должна быть дома скоро — теперь другой взгляд на таких людей, как ты, тётя Мария и др. Целую тебя крепко. Пиши мне. Майя.

2.1.55

Дорогая Стеллочка!

На днях получила письмо от бабушки. Она пишет, что была второй раз у мамы. И пишет, что мама «выглядит немного лучше, чем летом». Почему мама плохо выглядит? Может быть, она больна? Я хочу знать всё.

Стеллочка, я достала Лесю Украинку и очень ею увлекаюсь. То, что ты мне рекомендовала, я ещё не прочла, потому что этих драм не было в том томе, который мне дали. Но я прочту и два других тома. Вчера и сегодня я всё время читаю. Оторвалась только, чтобы написать письмо тебе и бабушке. Я даже не ожидала, что это такая замечательная писательница. Я уже давно не читала ничего подобного. Сколько глубины в каждой строчке. Я очень рада, что легко читаю по-украински. Вообще украинскую литературу я очень люблю, хотя и недостаточно с ней знакома. Очень люблю Коцюбинского.

Как видишь, праздники проходят хорошо. Новый год встретили весело, всей бригадой вместе. Был накрыт большой стол, ёлка была красиво разукрашена.

У нас стоят большие морозы, ниже 50 гр., но я работаю в помещении, так что ничего.

Стеллочка, напиши, конфискованы ли мои вещи, я хочу хлопотать. Последнее твоё письмо было от 29.10, так что я даже немного беспокоюсь.

Привет всем твоим друзьям. Целую крепко,

Майя.

7.1.55

Моя дорогая мамочка!

Как счастливо начался для меня новый год! Вчера получила твою посылку. И подумай только — целый день на работе я жалела, что ничем не могу угостить девочек, которые празднуют Рождество. Хозяйство у нас общее, и я хотела сделать свой вклад. И вот — прихожу с работы и слышу, что мне посылка. Милая мамочка, какую ты мне радость доставила! Особенно дороги вещи, давно знакомые — платье, юбка, старое полотенце. А кофточка — неужели ты сама вязала? Какая прелесть, такой хороший цвет, мне очень идёт. Тапочки — как раз по ноге. А у меня редко бывает обувь по ноге, всегда — или больше, или меньше. И как раз мне нужны были рукавички. И блузочка очень красивая. Я всё сразу надела и не хочу снимать. У меня первый раз такой красивый платок. И в ночной рубашке я спала первый раз. Верочка и другие девочки единодушно восхищаются. Даже на улице меня останавливают и расспрашивают об этой замечательной посылке.

Но всё-таки у меня было немного тяжело на душе. Ведь я знаю, сколько хлопот тебе доставила эта посылка. И лучше бы ты сама съела все вкусные вещи, которые послала мне.

А красивая косыночка, наверное, от Нади Коваленко. Или, может быть, она просто похожа на ту косыночку, которая была у неё. Если от неё, то передай ей большое спасибо и вообще привет от меня. В прошлом письме я написала ей пару слов и жду ответа.

Мамочка, только очень жаль, что ты не написала хотя бы несколько слов. Ведь я от тебя имела только два письма, а пишу тебе очень часто. Я также надеялась, что получу от тебя фотографию. Обязательно снимись, если будет возможность. Мы ждём приезда фотографа. Я обязательно снимусь вместе с Верочкой и одной хорошей девочкой — Тан-Ток-Сук. Она кореянка. Обязательно пошлю тебе карточку. А то на той, что я тебе послала раньше, я очень плохо получилась. Знаешь, я познакомилась с одной очень интересной женщиной, Марией Павловной [Глинской]. Она — художница и музыкант. Она обещала мне нарисовать мой портрет. Мамочка, я очень хорошо встретила Новый год. Надеюсь, что и ты тоже была со своими друзьями.

Пожалуйста, если встретишь Зайцеву Тамару, передай ей привет от Манюни [Никоновой] и скажи, что она ей уже несколько раз писала. Целую тебя крепко. Привет Тамаре. Писала ли она о пересмотре своего дела? Пусть обязательно пишет.

Майя.

27.1.55

Милая, дорогая мамочка!

Твоё письмо от 9.12. я получила полторы недели назад, но отвечаю только сейчас, потому что как раз тогда ответила тебе на полученную посылку. Мамочка, я писала тебе уже, как я благодарна, нет, это не то слово — как я была потрясена и плакала, получив твою посылку. Но только жаль, что ты не вложила письмеца. Голубую кофточку я, как надела, так и не могу снять, хотя меня все убеждают, что носить её на работу — жалко. Вообще хочется всё сразу надеть на себя. Всё такое милое, домашнее.

Вчера написала бабушке письмо. Вообще я стала довольно часто получать от неё письма. Её ужасно жаль, но я её стараюсь успокоить, пишу, что у нас каждый день почти вызывают на свободу.

Между прочим, может быть, бабушка, по своей болезненной обидчивости, преувеличивает грубость отношения Ирины. Она просто с детства избалована бабушкой. И к тому же она привыкла говорить бабушке то, что думает. Я помню, что когда мы жили в 48-м г. в Черновицах, Ира, например, если ей что-нибудь не нравилось в доме бабушки или дяди, она этого не скрывала, а говорила прямо. А ты ведь понимаешь, что по сравнению с жизнью в нашей семье, всё вызывало раздражение и у неё, и у меня. Только я, по старшинству, старалась не подавать виду.

Последние несколько дней я была поглощена чтением «Домби и сына» Диккенса. Как и многое, книги тоже ценятся после того, как много переживёшь. Диккенса я очень люблю, и ты тоже, конечно. Между прочим, в прошлом письме я тебе послала пару стихотворений Леси Украинки, переведённых на русский яз. Я надеюсь ты поймёшь и эти стихи, написанные давно этой же поэтессой[123]. Если тебе понравится, я пришлю ещё несколько. Это, конечно, самоуверенность с моей стороны, но ты осуждать не будешь.

Целую тебя крепко. Привет Тамаре. Почему она мне даже привет не передаёт? Может, она сердится на меня? Целую,

Майя.

Мамочка, передай Тамаре, что я решила от своего имени написать в Москву Ворошилову заявление о ней. Ведь я её дело очень хорошо знаю. Пусть она тоже пишет, если ещё не написала. Я думаю, что по закону ей полагается не больше пяти лет за недонесение. А в таком случае, она подойдёт под амнистию. И

пусть она не боится откровенно писать, какую роль играла в этом я. Я тоже всё напишу откровенно. Мне это не повредит. А то меня четыре года мучит совесть, хотя в своё время я проявляла запоздалые старания исправить положение.

Также передай мой большой привет Надюше. Большое спасибо за носки. Между прочим, я всю зиму ношу её коричневые носки, и они совсем целые. Очень жду, чтобы она написала мне пару строчек.

Целую, Майя.

Заявление о Тамаре я уже написала. Я писала, что единственный пункт, в котором сходились наши мнения — это отношение к родителям. И ещё раз повторяю — пусть не боится нелестно отзываться о моей роли. И о некоторых намерениях Жени она ведь не знала. А главное, что была с нами не согласна. [124]

5.2.55

Ура! Ура! Наконец-то, Маюшка, получила от тебя весточку. Моя посылка дошла. Я счастлива, представляя себе твою радость. Кто из нас более счастлив, неизвестно. Моя радость омрачается только тем, что мы не получаем писем друг друга. Я пишу бесконечно, и ты, по-видимому, тоже. В чём же дело? На днях, если не начну получать твоих писем, напишу жалобу в Москву. Нельзя допустить, чтобы права, которые дарованы нам правительством, отнимались у нас какими-то бездушными бюрократами (а может быть и хуже — вредителями). Ты там, со своей стороны, сделай то же.

Крепко обнимаю тебя, моя радость, тебя и твоих близких.

Мама.

23.2.55

Дорогая мамочка!

Получила на днях твою открытку и очень беспокоюсь, почему ты не получаешь моих писем. Я сейчас же ответила коротко, открыткой.

Я тоже давно от Стеллы ничего не имею, от Ирины последнее письмо получила в начале января. От папы в декабре получила сразу три письма — второй раз за всё время. Так что у меня столько же оснований считать себя всеми забытой, что и у тебя.

Мамочка, я вообще не могу понять, как можно обижаться и подозревать, что я, например, тебя забыла. Кого же я буду помнить, если не тебя? Я тебя всегда помню, и если бы меньше помнила, то, может, не пришлось бы уезжать из Москвы.

У меня большое горе — уехала Верочка. Наверное, мы больше

не встретимся. Я к ней была очень привязана, ведь мы были вместе больше двух лет. Хотя мы никогда не были особенно близкими друзьями — только немного в последнее время, но у меня, кроме тебя и папы, кажется, нет дороже человека.

Так что я осталась почти одна. Но это ничего. Вообще я не боюсь одиночества. Тогда можно больше читать, заниматься.

Я тебе уже писала, что в прошлое воскресенье я сфотографировалась и жду карточку, чтобы послать тебе. Снялась я в том платье, материю для которого прислала Стелла. Хотя не знаю, как получусь. Я старалась улыбаться.

Целую тебя, моя хорошая.

Несколько разоблачительных писем отца, вообразившего, что я «ударилась в религию»:

Теректы, 17.3.55

Маечка, доченька моя милая!

Твоё письмо меня сильно разволновало. Оно, действительно, умное, но мне от него стало немного грустно. Дались тебе вечные, безусловные истины. Конечно, самое важное в мировоззрении каждого человека — это его точка зрения, «колокольня», с которой он смотрит на мир. Правда — но, к сожалению, не совсем. Подавляющее большинство вовсе не имеют никакой точки зрения и на мир смотрят чужими глазами. Да им и смотреть не надо и не хочется. У них твёрдые, установившиеся взгляды и, конечно, — единственно верные и правильные.

«Нагорную проповедь» я читал в последний раз лет 40–50 назад. Помню впечатление огромной нравственной силы и величия. Всё это правда, но увы — учение, созданное Христом и его учениками — христианская религия — самая подленькая сейчас и самая рабская религия в мире. Ужели тебе действительно может нравиться эта вселенская, всеобъемлющая любовная патока? Да и что это за любовь, если она распространяется на всех без исключения? Чего стоит, например, такое положение: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благоволите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». А «Бога бойтесь, царя чтите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам вашим, не только добрым и кротким, но и суровым»?

Можно отнестись с пренебрежением и даже с жалостью к побитому угнетателю; может быть, только так и нужно к нему относиться, и именно это имеет в виду А.Франс, по-моему[125], но любить… ну нет, этого я никому не должен.

И почему ты обязательно хочешь добиться окончательной

истины для всех веков и всех людей? А что будут делать наши дети, внуки и правнуки? Разве величайшее счастье — это не борьба за «правду-истину и правду-справедливость»?

Меня всегда занимала история первых веков христианства. Я никак не мог понять, каким образом кроткие яко голуби и преследуемые христиане так сравнительно быстро превратились в бездушных и прямо кровожадных гонителей всякой живой мысли. Мне кажется, я кое-что понял сейчас. Вокруг меня, прямо на моих глазах, возникают эти «общины верующих», истекающих любовью к отвлечённому ближнему и, в сущности, ненавидящих конкретного ближнего. Это всего только «покорившиеся», которые стараются подвести какую-то идеологию под свою трусость. Маечка, милая, не надо! Это не для тебя. Ты — мыслящий человек и, как ни старайся, ты им останешься. На повестке дня не любовь, а ненависть к врагам — гитлеровцам и всяким.

Прости, Маёчек, что я так много места в письме и так много времени отнял у тебя своими скучными рассуждениями. Больше не буду.

Стихи я не то, что не люблю — нет, если в них есть какой-нибудь смысл, идея — я готов простить автору его странную манеру излагать их.

Целую тебя, Маёчек, крепко. Пиши, если не сердишься.

Твой папа.

30.4.55

Доченька, моя милая!

Большое спасибо за автобиографическую справку. Наконец-то, сопоставив твоё и мамино письма, я начинаю понимать, как ты добилась таких рекордных достижений[126]. Но признаюсь, — чувства, которые возбудил твой рассказ, были далеко не христианскими…

«Наследственность» твоя меня радует бесконечно, но и несколько беспокоит. Что было хорошо для родителей, то наверное требует поправок для ребёнка. А я мало чем могу теперь тебе помочь. Боюсь, что сознание необходимости поправок и улучшений, может быть, и является причиной твоих метаний (не сердись, Маёчек). Мама прислала мне твоё стихотворение «Молитва безбожника», которое она достала у какой-то твоей подружки. Ну, конечно, оно мне не понравилось! Доченька, ты понимаешь, что дело не в Боге. А чёрт его знает, может быть и есть Бог или нет его. Всё дело в том, что стихотворение нехорошее. «Душе усталой одинокой, слабеющей в мирской борьбе, так сладок веры сон глубокий». Боюсь, что всё дело в том, что багажу у тебя маловато, что, подобно всем твоим

сверстникам, ты думаешь, что мир существует только с начала этого столетия. И тут — моё преимущество — я знаю: всё это — только эпизоды, как бы трагичны они ни были для тебя лично. И хоть бы веру ты выбрала не такую скверную!

Ну, да я опять за то же. А сколько раз я давал себе слово не говорить об этом.

Милая моя, «верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья». И верить в это уже само по себе пленительное счастье.

Целую тебя крепко, папа.

7.5.55

Милый Маёчек!

…И даже то хорошо, если пара моих писем пропала, потому что я сам жалел об их содержании. Мне так надоели «истинные христиане» с их злобной проповедью любви по расчёту, в ожидании щедрых процентов на небесах, с их нетерпимостью к инаковерующим и слепой ненавистью к знаниям, что я прямо ужаснулся от мысли, что ты могла впасть в отчаяние и что иссякла твоя «козацкая сила». Дело, конечно, не в Боге. Я с глубоким сочувствием и уважением отношусь к украинским мужикам, оторванным от своих близких, но и на чужбине чтущим свои обычаи и верования. Они — не мракобесы и не изуверы, а их моральная устойчивость несравненно выше, чем у многих и многих «просвещённых» вольнодумцев, гордящимся тем, что они слово «Бог» заменили словом «природа». У меня был тут приятель, врач, ученик Филатова. Несчастья личной жизни и отсутствие серьёзного мировоззрения его пошатнули. Он искал утешения в любви к Христу. Это было глупое и омерзительное зрелище, когда специально выделенной общиной верующих наставник, неграмотный и тупой начётчик, наставлял его в вере, грубо осаживая, когда тот старался рассуждать. Вера меня не интересует, вернее, она мне смешна. Всё равно — опирается ли она на книги, написанные 2 тыс. лет тому назад, или на достижения науки в середине прошлого века[127]. Но я тебе уже наверное надоел своими поучениями. Я всё забываю, что ты уже не 16-тилетняя школьница, а взрослый человек. Но как бы я хотел с тобой посидеть часик-другой и поболтать по душам. Но и это будет, в этом я — верующий.

Сейчас только узнал, что в нашей библиотеке имеются сочинения Леси Украинки, кажется, стихи и поэмы. Вот почитаю и посмотрю, что тебя так привлекает.

О моей судьбе, так же, как и о моём здоровье, не беспокойся. Я получил справку от Ирины о её готовности взять меня на иждивение и приступил к хлопотам. Это дело месяцев, а пока я

прохожу медицинские обследования. Я не спешу, потому что и тут «надо мною не каплет». Моё пребывание здесь — временное, а ждать здесь — не хуже, чем где-нибудь в Клину под Москвой…

Прочие письма отца помещены отдельной подборкой.
Письма от мамы и от Сусанны:

4.4.55

Хорошая моя! Получила твоё письмо от 18.3. Твоё заказное с фотографией получила и уже ответила. До того получила письмо, где было стихотворение «Матери», и тоже ответила. Я немного жалею, что дала такую суровую оценку этому стихотворению. Оно не такое плохое. Там одна только избитая фраза в конце, кот. мне не понравилась, остальное неплохо, а местами очень нравится. Страшно жалко, что не получила предыдущих двух стихотворений. Вообще меня больше всего угнетает то, что столько наших писем не доходит. Это такое мучение. Вот ты всё жалуешься, что я не пишу о своём здоровье и работе. А я писала. Здоровье у меня весьма удовлетворительно для моего возраста и состояния. Кроме сердца, которое слегка пошаливает, меня ничто не беспокоит. Вот только руки дрожат (об этом ты можешь судить по почерку). Но, в общем, мне особенно жаловаться на своё здоровье нечего. Представь себе, что с тех пор, как мы расстались, я даже ни одного зуба не потеряла. А что касается работы, то я тебе тоже писала, что вяжу. Это не утомительно и мне нравится. Так что, как видишь, у меня всё хорошо. Только вот дождаться бы мне папы. Я рассчитываю, что, как только он окажется на свободе, он приедет ко мне на свидание. Стелла бомбардирует меня письмами, требует, чтобы я писала о пересмотре дела. У меня нет принципиальных возражений против этого, но пока папы нет и у тебя — никаких изменений, я просто не заинтересована в перемене местожительства. Родная, что за странная фраза в твоём письме: «…может быть, вам с папой улыбнётся счастье…» Да мы и так — не несчастны. Разве ты — несчастна? Или папа? Бывает тяжело, тоскливо, утомительно (да и то — не так уж часто теперь), но это во всяком положении бывает. Но пока остаётся интерес к жизни, до тех пор человек живёт.

Целую, мама.

[Без даты]

Любимая, хорошая моя! Может быть это, наконец, дойдёт до тебя. Не знаю, получила ли ты хоть что-то из того, что мы с Сусанной писали тебе. Очень прошу подробно описать свой гардероб, и обязательно напиши, что тебе хотелось бы ещё иметь,

в чём нуждаешься. Шубу мою обязательно отошли бабушке. Тебя, вероятно, никуда не вызовут, но даже если и вызовут, она тебе не нужна. Правда, я знаю, насколько она тебя выручала в те годы, как и меня в своё время. Она заслужила, чтобы стать семейной реликвией. Но теперь не те времена.

Я бесконечно счастлива, что встретила Сусанну. Она — всё, что я уже отчаялась найти. Если вы встретитесь, вы будете большими друзьями, и навсегда. Я её очень полюбила. После Стеллы она первая такая — настоящая. О Тамаре я уже тебе писала. Мы уже не вместе, хотя и очень близко, даже есть надежда увидеться с ней на днях. Но ты, вероятно, сама получила её письмо, которое она послала через Стеллу. Жалко её.

Родная пиши, смотри, ответь на все мои многочисленные вопросы. Целую, мама.

[Прилагается письмо Сусанны]:

Дорогая Маюшка! Мы с мамой твоей вот уже полтора месяца вместе, всё время вместе. Много раз тебе писали, но ты, видимо, не получала наших общих писем. А очень жаль. Мне очень много нужно тебе сказать, о многом спросить, очень трудно изложить на 2-х страничках. С мамой мы бесконечно разговариваем обо всём. Я слушаю и с каждым днём узнаю очень много важного и нового. Ты, может быть, сама не знаешь, какой у тебя мама человек! Она очень молодая, всё прекрасно понимает и чувствует, по-настоящему умный и культурный человек в самом высоком смысле этого слова. Я очень благодарна судьбе за эту встречу. Благодаря этим беседам, этому постоянному общению, я живу сейчас очень интенсивной жизнью. Узнаю много и, я бы сказала, ясно. Мы много говорим о тебе. Как жаль, что мы не были знакомы! Может быть, многое было бы по-другому. О ребятах[128] я до сих пор ничего не знаю. Пишут мне мать Вл[адика]. Ф[урмана] и сестра Б[ориса] Слуцкого. Отец Вл. освободился. Получила неожиданную весточку от Аллы Рейф[129]. В каком состоянии твоё[130] дело, ты, наверное, знаешь. Не думаю, что исход его изменит что-то радикально, а остальное всё неважно. Ты пишешь очень коротко, а знать хочется так много. Пиши как можно чаще и подробнее, «философские» письма, ведь самое главное — что и как ты думаешь. У меня эти годы прошли очень интересно, много впечатлений, замечательных встреч. Так что жалеть ни о чём не приходится. Кончаю. Вкладываю стихи — перевод мой из Леси Украинки, которую люблю[131]. Те стихи, которые переводила ты, и ранние, знаю и люблю. Будь здорова, крепко жму руку, целую,

С.

16.4.55.

Дорогая моя мамочка!

На прошлой неделе я получила целых девять писем…

От папы получила замечательно бодрое письмо. Он у нас молодец. Только меня страшно беспокоит его дальнейшая судьба. Он пишет, что не может представить справки о том, кто бы его взял на иждивение. И поэтому до сих пор там же. Я думаю, что такая справка — это простая формальность, но в его судьбе может сыграть решающую роль.

Дорогая моя Наденька! Хотя и с опозданием, поздравляю тебя с праздником. Сегодня весь день вспоминаю тебя. Вспоминаю всю твою заботу обо мне, твои чудесные подарки к этому дню. А я так никогда и не смогла вознаградить тебя за твою заботу. Прости, родная, и верь, что, несмотря на мою невнимательность, я тебя всегда вспоминаю с большой любовью и благодарностью. Получила твоё письмо. Большое спасибо за вниманье. Я не пишу длинное письмо, потому что уверена, что ты не сегодня-завтра будешь дома. Тётя Мария (ты с ней гуляла вечером перед моим отъездом) передаёт тебе привет (она уехала на 21-ю), а также Клава Г., тётя Оля. Мария П. и Оля, кажется, вместе с Верочкой. Целую тебя крепко. Майя.

1.5.55.

Милая, дорогая мамочка!

В прошлое воскресенье получила твоё письмо от 4-го апреля вместе с письмом Сусанны и сейчас же ответила. Мамочка, ещё раз повторяю, что меня страшно огорчают твои упрёки и сетования на то, что я мало пишу, и вообще, что наши письма пропадают. Прошу тебя, не огорчайся, это неизбежно, ведь было хуже, вспомни, как мы долго друг о друге ничего не знали. Ведь я за 52 и 53 годы получила два коротеньких письма от бабушки, и всё. А теперь — редкую почту я не получаю писем. И ты, наверное, тоже. Так не надо переживать.

Кроме того, ты ведь понимаешь, что со мной ничего не может случиться. Здоровье у меня такое, что лучшего желать нельзя. Вообще, в материальном отношении всё в порядке. Работа лёгкая, хорошие люди тоже всегда находятся. А это, ты знаешь, самое важное. Очень жаль, что мы расстались с Верочкой и наверное больше не встретимся. Письма получаем друг от друга очень редко. Единственное, что со мной может случиться — это перемена местожительства. Но меня это не пугает. Это обещает возможность встретиться с Верочкой или Галей. И с трепетом

слушаю разговоры о возможности перемещения в ваши края.

Мария Павловна взяла шефство над моей внешностью. Я, ты знаешь, не очень обращаю на это внимание. А благодаря ей я даже иногда завиваю волосы и становлюсь похожей на папуаса, а это всем нравится. Она вообще заставляет меня прилично одеваться и даже чистить ботинки.

Ещё немного потеплеет, и буду щеголять в голубых тапочках и носочках, которые ты прислала, и в прочих нарядах. Теперь я хожу в костюме, сшитом из материала, присланного Стеллой. Все говорят, что мне в нём очень хорошо. Дорогая мамочка, я пишу всякую чепуху, но ты писала, что тебе интересно всё.

Мамочка, передай большой привет Надюше и Сусанночке, я им в прошлых письмах тоже написала.

Большой привет Регине С. от Марии Павл. и от Гражины.

15.5.55.

Моя родная, хорошая мамочка!

Приходится повторяться в письмах. Я тебе уже писала, что получила от папы два письма с нового места. Твою открытку с его адресом — не получила. Посылку, о которой ты спрашиваешь, я не получила. Вероятно, у Стеллы не было возможности её послать, там более, что я писала, что ни в чём, кроме очков, не нуждаюсь. Теперь я купила очки за деньги, высланные бабушкой. И прошу тебя, мамочка, не думай, пожалуйста, ни о каких посылках мне. Я сама собираюсь послать бабушке твою шубу. На днях у меня опять будут нужные средства, и только причины, от меня не зависящие, могут помешать мне послать шубу.

Мамочка, я прекрасно понимаю, как папе нужны наши письма. Я ему пишу тоже нередко, хотя реже, чем тебе, потому что он спокойнее, чем ты, относится к тому, что письма получает нечасто. На днях получила от него два письма и открытку. Он всё ещё убеждает меня не быть сектанткой. Хорошо, что ты меня знаешь, и тебе не приходят в голову такие нелепые предположения.

Теперь здоровье папы беспокоит меня совсем с другой стороны — благополучно ли он пройдёт мед. комиссовку перед тем, как ему разрешат уехать к Ирине.

Рада, что ты её скоро увидишь. Она тоже хочет поскорее поехать к тебе на свидание. Говорят, она у нас очень хорошенькая. От них обеих я письма получаю. Когда некоторое время писем нет, я знаю, что у них просто мало свободного времени. У нас здесь каждый день происходит что-то новое, люди часто уезжают домой. Жить в материальном отношении стало очень легко. Много раз я тебе уже писала, что здоровье моё

буквально цветущее, лучше, чем у всех моих друзей. Честное слово, это правда. Ты спрашиваешь о друзьях. Их у меня всегда достаточно. Ко мне все, за редким исключением, хорошо относятся.

У нас уже тепло. Я вам завидую — у вас природа совсем, как в Москве. Странно — почему-то, действительно, сильнее всего хочется на волю весной. А, казалось бы, какое нам дело до погоды?

Целую тебя крепко, не переживай ни за что, всё хорошо, как только может быть в нашем положении.

Сусанночка, очень была рада получить твоё письмецо и открытку. Стихи мне тоже очень нравятся. Жаль, я Багрицкого совсем почти не знаю. В предыдущих письмах я тебе писала и послала свою карточку тебе и Наде Коваленко. Очень хочу иметь твою. Боюсь, что вы преувеличиваете мои хорошие качества. Как бы мне не разочаровать вас. Пишу мало, чтобы вернее дошло. Целую тебя и жму руку. Я так мечтаю встретиться с тобой, моя милая сестричка. Майя.

Сусанна мне послала свои стихи, назвав их стихами Багрицкого.

Отца «сактировали», и суд его как инвалида освободил. Но нужно было, чтобы кто-нибудь взял его на иждивение. Соответствующая справка от сестры запоздала, его отправили в Тихоновский инвалидный дом под Карагандой. Дальнейшие хлопоты в этом направлении ни к чему не привели, так как сестра жила в Москве, режимном городе. Освободился он и приехал в Москву через год, после 20-го съезда партии.

Письмо от Сусанны (вначале) и мамы:

20.5.55

Родная Маюшка! Только что получили твоё письмо, если бы ты знала, сколько было радости! Я отвечаю сразу, очень уж хочется поговорить с тобой. Начну с того, что мама просто-таки возмутилась, и очень забавно, по поводу того, что ты её уговариваешь не беспокоиться отсутствию писем: «Откуда она взяла, что я переживаю, что меня надо утешать?», и т. д. Она такой молодец, что утешать её, действительно, не приходится. Держится чудесно, бодра, смотрит на мир очень ясными и спокойными глазами, у неё много юмора, ни в чём никаких трагедий, всё очень разумно и хорошо. Я не перестаю восхищаться её взглядом на вещи, вообще всем в ней. С ней так легко и просто, она всё понимает и чувствует.

Дорогая моя, тётя Вера[132] живёт с мужем в Донбассе.

Больше я ещё ничего о ней не знаю. Я уже два раза просила Аду, сестру Бориса, узнать у родных Мельникова их точный адрес, но пока почему-то нет от неё ответа. Я тебе писала, что число отъезда Жени и Владика — 29.4. (как сообщают), а Бори — 1 марта[133]. Я всё же верю, что они — есть. Скоро всё выяснится. А эти страшные числа — не нужно думать о них, нельзя этому верить. О Борисе я писала в разные места и в разное время 8 раз. Или молчание, или — тот же ответ. Я не могу не думать о них, не жить вместе с ними, чувствую их такими близкими, просто неотрывными, несмотря на все эти годы. О Жене — я плохо его знаю, т. е. была с ним знакома только около 3-х месяцев. Знала его очень увлекающимся, полным ребяческой романтики, хорошим товарищем, немного «путаником», которому ещё нужно повзрослеть.

Майечка, ну как ты можешь так мучиться думами о Тамаре? Она-то бесконечно тебя вспоминает, писала тебе. Если бы ты знала, как ты ей дорога!

О себе особенно рассказывать нечего. Чувствую себя лучше, правда, иногда бывает плохо, но не без этого. Занимаюсь, читаю с мамой кое-что (Салтыкова-Щедрина, например, вчера). Экзамены — после 10.6.[134] Боюсь отчаянно, хоть и знаю как будто. Работаю вместе с мамой. Как Галя? Я получила днями письмецо от Аллы. Она в культбригаде, ходит свободно. Судя по отзывам, пользуется большим успехом. Катя[135] с мамой уехали туда, где я была. Нина[136] в Житомире. Вот и всё пока, будь здорова.

С.

Родненькая, мне нравится, с какой серьёзностью ты мне делаешь внушение за мои неразумные претензии — чтобы наши письма доходили друг к другу. Ну что ж, больше жаловаться не буду. А всё же жаль, что Сусанна не получила твоей фотографии, а следовательно, и письма. Тоже очень хотелось бы, чтобы ты информировала меня, когда получаешь письма от папы, Ирины, Стеллы. О Тамаре много раз тебе писала. Она однажды просила меня (ещё вначале) написать, что просит у тебя прощения. Я этого не написала, считая несколько излишне мелодраматичным. Но считает себя виноватой перед тобой она, а тебя перед собой — нет. Она тебе написала письмо через Стеллу. Получила ли ты его? Родная, я жду Ирину на свидание в июне. Очень хочется её видеть. Пиши, родная, всё же, когда чаще пишешь, кое что доходит. Обнимаю крепко,

Твоя мама.

25.5.55.

Дорогая, любимая мамочка!

Ах, как ты меня обрадовала и огорчила! Получила твои 100 р. Моя хорошая, ну зачем же так много? И вообще, я бы могла и так обойтись. А послать бабушке шубу я могла бы и за 20–30 р. Ведь тебе нелегко было достать эти деньги, я знаю.

Спасибо, моя милая мамочка. Как больно, что не я тебе помогаю, а ты мне. Бедные твои руки, им так тяжело работать. Ты мне так и не написала, что с ними, почему они дрожат. Если бы я могла помочь тебе. Но как? Если б случилось невероятное, и мы бы встретились с тобой, кажется, я не дала бы тебе сделать лишнего движения. Но пока я могу только благодарить и мысленно целовать твои руки.

Грыжа меня абсолютно не беспокоит, я её держу «про запас», операцию делать не стоит. К тому же, врачи, может, и не согласятся — слишком маленькая, а на моей работе она вообще куда-то девалась, может, вообще исчезнет, если это бывает в медицине. Так что она существует незримо, только облегчая мне жизнь.

Мамочка, я тебе много раз писала, что в самодеятельности я уже давно не участвую. Хожу на курсы счетоводов, занимаюсь языком и читаю. Прочла недавно романы М. Пуймановой «Люди на перепутье» и «Игра с огнём». Перечитываю Бальзака…

30.6.55

Родненькая! Я тебе уже послала открытку по новому адресу, который мне прислал папа. Вчера, наконец, получила твоё письмо от 5.6. Жаль, что ты не получила наших фото, которые мы послали по старому адресу. Может, ещё получишь? А то придётся послать ещё раз. Меня огорчило известие о твоём переезде[137], но если ты не очень огорчаешься, то и я не буду. Сожалею, что ты не оказалась вместе с Ирэной[138]. Судя по отзывам Сусанны, тебе с ней было бы интересно. Но конечно, тебе есть о чём поговорить и с Идой. А мама её действительно очень хорошая. О ней рассказывала мама Сусанны на свидании. А кого ты ещё встретила там? Между прочим, мне говорили, что ты как-то давно встретила кого-то, кто знал меня. Кто это? Дорогая моя, напиши побольше о своей работе. Не забудь про свою грыжу и что тебе нельзя тяжело работать. Чем отличается новое место от старого? Я слышала, что там ещё больше комаров. Если тебе приходится работать на стройке, может быть, ты станешь штукатуром или научишься класть печи? Видишь ли, мы с Сусанной всё время играем в увлекательную игру. Выбираем себе привлекательные места для жительства, строим дома, заселяем их исключительно дорогими нам симпатичными людьми и живём коммуной. Для

этого нам нужно всё уметь делать. Но, кроме того, я думаю, что это будет тебе легче сейчас, а то все подсобные работы — очень тяжёлые, я это знаю по собственному, правда, весьма непродолжительному опыту.

Получила от папы письмо с фото. Я была так же поражена, как он, получив моё фото. Усы его очень меняют, а эта ужасная шапка совершенно меняет весь его облик. Он, правда, оговаривается, что снимок неудачный. У меня же и этого утешения нет. Все находят, что мой — замечательно удачный. Я сама этого не нахожу, но молчу, чтобы не показаться тщеславной. Всё это не столь важно. Главное, чтобы здоровье не очень было разрушено. Папа хвастается, что чувствует себя не хуже, чем когда мы с ним расстались. Я также, принимая во внимание все обстоятельства, не могу особенно жаловаться. Пиши же, моя девочка, всё о себе, уж очень ты лаконична. Получаешь ли письма от Ирины и Стеллы?

Крепко целую тебя, моя любимая, привет Иде и всем твоим друзьям.

Мама.

Моё письмо сестре, посланное через волю:

26.8.55

Дорогая Иринушка! Редкий случай поговорить с тобой по душам. Сегодня приехал к Иде папа. Я уже была у него и немножко, минут 15, с ним говорила. Ещё поговорю, если смогу. Как странно, что он поедет в Москву, увидит тебя, будет рассказывать обо всём, что видел. Я пришла с работы так поздно — часов в 11, и сейчас же, не кушая, не умываясь, побежала на вахту. Теперь уже около часу, а я ещё долго буду писать. На работу мы уходим в первом часу дня, выспаться успею.

Дорогая Иринушка, я получила уже давно твоё письмо, написанное, когда ты была на свидании у мамы. От бабушки было письмо, но ты изволила только адрес написать своей ручкой. Впрочем, не буду придавать этому факту никакого значения. У нас, лагерников, это очень болезненно — связь с домом, потому что бывают случаи отказа от родных. Я знаю одну женщину, от которой отказалась дочь. Наверное, нет несчастнее человека. И обида на дочь, и страх за её судьбу, женщина не знает, где она, а ведь девчонке только 17 лет. Где-то в детдоме, вероятно. Я так часто получаю письма, и она с жадностью слушает эти чужие письма. А ведь дочь — её единственное счастье. И ты понимаешь, что значит для меня, например, переписка. Теперь мне пишут со всех сторон, я даже не успеваю отвечать. Но это теперь, когда не

ограничена переписка, а что было прежде? И вдруг это счастье оборвётся?

Ты, наверное, знакома с моим делом. Не стоит повторять тебе. Сделала я почти ничего. В сущности, только согласилась заранее на всё. Но зарекомендовать себя успела с такой стороны, что не имею надежды на коренное изменение в своей судьбе. 25 или 10, или 15 — какое это имеет значение?

Вот почему я не хотела и жалобу писать. Конечно, жаловаться есть на что. Но они меня знают, и я их знаю. И кривить душой не стоит.

Так что связь с родными для меня всё. Но ещё раз повторяю. Если ты молчишь, я не делаю никаких мрачных выводов. Я уже знаю, что ты не такая, как мы все этого боялись. Сусанна мне все уши прожужжала, в каждом письме восхваляет тебя. Но просто хочется знать о твоей жизни. И главное — как здоровье? Так что время от времени пиши мне. Говорит, что ты меньше меня ростом. Интересно.

Я так беспокоюсь, почему папе нет ответа из Москвы. Он хочет поехать ко мне. Мне так хочется с ним повидаться.

Что же написать о себе? Сейчас довольно противно. Работа тяжёлая — подсобные работы на кирпичном заводе. Но главное, что хотя мы работаем как будто 8 часов, но на дорогу и на всякие собирания уходит ещё часа три. Так что в свободное время я едва успеваю написать два письма, а читаю за едой обычно. К тому же, работа эта грязная. Так что заниматься, даже если бы и было чем, то попросту нет времени. А жаль, годы идут, ты меня уже обогнала. Впрочем, и то образование, которое я имею, мне здесь совсем не нужно. Возить и грузить дрова и кирпич — для этого не надо образования. Но я совсем не ропщу на судьбу. Ты знаешь, я сама выбрала такую дорогу. Вот тебе я завидую — у тебя хорошие друзья. В сущности, ведь именно одиночество, отсутствие людей, думающих так, как я, заставили меня пуститься на поиски родных душ. Я их нашла и скоро потеряла. А здесь очень редко можно встретить интересных людей, даже хотя бы просто образованных. Настоящих политически грамотных людей почти нет. Громадное большинство не имеет даже среднего образования. В большинстве это простые крестьянки, украинки и литовки, русские сектантки, небольшой процент москвичей и из других городов. Но за эту интеллигенцию приходится только краснеть. Теперь нас соединили с «бытовиками» (осуждёнными не по 58-й — политической — статье). Это ужас. Такие есть страшные типы — воровки, бандитки и проч. Правда, у нас сейчас нет воровства, потому что им всем дали должности дневальных и проч., но всё равно — слышать их разговоры и грязную, дикую брань — это

мучение.

Дорогая Иринушка, как хотелось бы узнать — как ты живёшь. Папа говорит, ты ему интересные письма пишешь. И я тоже хочу получать такие умные, хорошие письма. Ты писала папе о книге Анатоля Франса «Восстание ангелов»[139]. Я тоже много думаю над всеми этими проблемами.

Дорогая сестричка, как жаль, что мне даже нечего передать тебе на память. Посылаю тебе коробочку, которую я в последний момент взяла с собой из дому. Она со мной была все эти годы, напоминая мне о доме. Пусть и тебе напоминает о прошлом[140].

Я всё-таки верю, что если не для меня, то для тебя близко время встречи не только с папой, но и с мамой.

Как мне больно, что у тебя плохое здоровье, что материально тебе тяжело. Подумай, ведь я, несмотря ни на что, прекрасно себя чувствую. Как бы ни устала, но посплю — и хоть бы что. Так что, если кто-нибудь беспокоится обо мне, так и передай — здорова, дескать, за троих, хотя, глядя на внешность, этого сказать нельзя.

Дорогая Иринка, напиши, что ты читаешь, чем интересуешься? Вот Сусанне ты же написала хорошее письмо. И о бабушке нашей напиши. Я в каждом письме о ней спрашиваю. Она же у нас героиня. Неужели ты этого не понимаешь? А как поживает дядя с семьёй? Ведь это тоже не военная тайна…

26.8.55

Дорогая Тамарочка!

Письма от тебя в ответ на своё я ещё не получила. Но ты, возможно, и не написала, ожидая письма от меня. Но я знаю, что ты получила мою карточку. Я её даже маме не послала, только тебе.

Вчера приехал к Иде папа. Я уже его видела, разговаривала с ним. Он очень хороший, простой человек. И мать у неё — очень добрая женщина. Ты знаешь, она прислала мне посылку. Я была так тронута.

Только к нам с тобой никто не едет. Мой папа всё ждёт ответа из Москвы. Как только получит документы, приедет ко мне. Но мне кажется, этого никогда не будет. Дорогая Тамарочка, если у тебя будет возможность, пришли и мне свою карточку. Так хочется посмотреть на тебя.

Я получила из адресного стола Артёмовска ответ на свой запрос. Сейчас же написала родителям Жени письмо. Если они ответят, я попрошу карточку Жени. Сусанночка пишет мне очень часто, прислала мне уже три карточки. Писала, что была у тебя. Интересно, какое впечатление она на тебя произвела. Мама от неё в восторге. И я её люблю, как сестру. Сусанка написала мне, что

Надя Коваленко поехала домой. Я так рада за неё. Как твоя Лика живёт? Нет ли улучшения в её здоровье?

Я с нетерпением жду изменения в твоей судьбе. Папа Иды рассказывал, как он хлопочет. Должен быть индивидуальный подход — так ему ответили. Я надеюсь, ты скоро встретишься со своей сестрой.

Ты знаешь, может, у нас потому такая слабая переписка, что мы не переписываемся непосредственно. Напиши мне номер своего почтового ящика. У нас здесь очень хорошо с почтой. За три недели письмо идёт туда и обратно. Это к папе мамины письма идут дольше, но обычно не пропадают.

У тебя, наверное, больше времени, чем у меня. Что ты сейчас читаешь? Я перечитываю Горького. Но времени так мало, что я даже не успеваю отвечать на письма. Я тебе писала, что я сейчас вместе с Идой. Пишу «вместе», но это не совсем так. У неё своя подруга. Она живёт с ней вместе, а сейчас и работает не в той смене, что я. И вообще, я с Галей была гораздо более дружна, чем с нею, хотя у нас, казалось бы, есть о чём говорить. Так уж получается.

Ирэна уехала в Кемеровскую область. Туда же уехала Верочка — женщина, с которой вместе я была два года. Я была к ней привязана, как к матери.

Так пусто стало теперь, ужасно. Надеюсь, что с Галей встречусь осенью, во время уборочной кампании.

Напиши мне, как ты живёшь. Как тебе даётся работа? Ты не инвалид случайно? У тебя ведь сердце больное, я помню.

Не падай духом, Тамарочка, я верю, что скоро тебе улыбнётся счастье. Я так часто вспоминаю наше знакомство. Думала ли я, что это так трагично кончится для тебя?

Пока кончаю писать. Так хочется, чтобы ты получила моё письмо и ответила. Вот с Сусанкой я так подружилась по письмам. И с Галкой мы продолжаем переписываться, получила от неё уже две карточки. Она очень хорошо выглядит. Папа Иды рассказывал, что её родители очень плохо живут, отец совсем больной. Галя тебе передаёт привет. Будь здорова, дорогая Тамарочка, целую тебя крепко. И от Иды тоже тебе привет. Жду твоего письма,

М.

24.8.55.

Дорогая сестричка Сусанночка!

Твоё большое, хорошее письмо дошло за 9 дней. Я тебе уже писала, что твою новую карточку я получила. Ида мне очень завидует, даже просила, чтоб я ей отдала одну твою карточку. Я,

конечно, не дала, но вообще ты напрасно так холодна к ней. Она всегда тебя тепло вспоминает.

Хорошая моя сестричка, не могу передать тебе, как я обеспокоена твоим здоровьем. Ещё раз прошу тебя — не переутомляйся. Подумай, как твоя жизнь нам драгоценна. Вот если бы тебя актировали. Как — об том не подымался вопрос? Пусть «медицинская часть» больше занимает места в твоих письмах.

Насчёт стихов я остаюсь при своём мнении. Поэт должен чувствовать и своё горе, и чужое. Значит, страданий на его долю должно перепадать больше. Впрочем, это судьба не только поэтов, но и всех порядочных людей.

Знаешь, я не люблю благодушных поэтов, терпеть не могу их телячьего восторга перед жизнью. Я перечитываю сейчас Горького. Критико-публицистические статьи его я частично читала, но уже давно. Возьму у нас в библиотеке. Перечитала его пьесы. Мне раньше очень нравились его «Дачники» и «Дети солнца». А теперь «Дачники» мне очень не понравились. Как всё искусственно, натянуто. Ни один персонаж не говорит естественно, кроме пошляков. Вообще Горького я очень любила, а теперь меня поражает его искусственность. Но, конечно, не везде. «Дети солнца» мне нравятся гораздо больше. Самой естественной мне кажется больная, истеричная Лиза, и мне понятен её страх и ужас перед жестокостью жизни. Да и в ней виден эгоизм — довела человека до самоубийства, неизвестно из-за чего.

Да, цвета мы научились различать, но, друг мой, это только быкам простительно кидаться на ненавистный цвет, не разбирая, в чём дело. А нам надо думать и думать. Ах, как мне надо встретиться с папой, мамой и с тобой. Ты подумай, я так долго не встречала людей, думающих так, как я. Даже те, кого я люблю и уважаю, всё-таки в какой-то степени инакомыслящие. Большинство же предпочитает уподобляться вышеупомянутым быкам.

Я у тебя давно хотела спросить: знакома ли ты с приключениями Иды и др. папиных земляков? Вот, где институт настоящий![141]

О детях я думаю редко. Я думаю, что не должна их иметь, даже, если бы условия жизни изменились. Нет, воспитывать я пока никого не берусь, надо у себя в голове полный порядок навести. Впрочем, уже «готовый» брат — это другое дело.

О судьбе мамы и папы я часто думала. И то, что они, видя своё изуродованное детище, сохранили веру и любовь к жизни, меня удивляет и вызывает преклонение перед ними, но понять этого я не могу. Я, как видно, воспринимаю жизнь гораздо

трагичнее, чем мои родители. Знаешь, я часто думаю, что, может, неудачная личная жизнь — совсем личная — играет большую роль в моём взгляде на жизнь вообще. Это нехорошо. Обидно думать, что этот мой взгляд был бы не таким мрачным, если бы…

Сусанночка, ты неисправимый романтик. И это у тебя — от чистоты душевной. И мой папаша — тоже романтик. Напрасно он боится, что его рассуждения «материалистичны» для меня. Стихов он, правда, не любит, но это от упрямства.

О молодёжи ты, возможно, судишь и правильно, но о какой молодёжи? Посмотрела бы ты на моих ровесников, обитателей Воен. городка, где я жила. Поэтому, возможно, я так увлеклась Женей, что это — первый умный мальчик, которого я встретила.

Ты пишешь: «У них нет изломов и надрыва». Но я не знаю, как это можно совместить с пониманием жизни. Хорошо сказал Гейне о цельных и «разорванных» людях в «Путевых картинах»: «Мир раскололся на две части, и трещина прошла в моём сердце. И потому оно так болит». Вообще, на эту тему я много думаю.

Бедная моя сестрёнка, для тебя драматизм ещё усиливается физической болью и вообще, слабым здоровьем.

Боже, когда мы узнаем что-нибудь утешительное о братьях! Лишь бы они были живы[142].

Ужасно больно за твоего папу. И у Гали папа тоже болеет всё время. Привет Тамаре, ответа от неё я не имела, но напишу. Привет тебе от Иды. Поцелуй маму за меня. Целую тебя и крепко жму руку.

7.9.55

Дорогая сестрёнка, хороший мой Суслик!

Получила твоё письмо от 20.8., написанное на Заярск. Как мне обидно за тебя, за твои неудачные экзамены. Но, дорогая, не принимай этого близко к сердцу, прошу тебя. Поверь, что это не так важно. Не трать своих последних сил. Твоё здоровье — вот, что важнее всего.

Вчера получила письмо от Ирэны из Кемеровской области, очень тёплое, хорошее письмо, которое меня очень обрадовало. Между прочим, Сусанка, напрасно ты не ответила Иде на её письмо. Она обижается.

Ирэна встретилась и познакомилась с Верочкой. Конечно, как и всех, Вера её очаровала. Я бы хотела, чтобы они сблизились, хотя обычно я не очень благосклонно отношусь к лицам, навязывающимся Вере в друзья.

Когда я говорю о твоём «романтизме», это в шутку. В действительности же я считаю тебя человеком с очень чистой душой и, благодаря собственной чистоте, идеализирующей

других. И я не скромничаю, говоря о своей бесхарактерности. У меня действительно недостаточно твёрдый характер. И если ты думаешь, что моё поведение в 52 г.[143] является признаком характера, ты ошибаешься. Я тогда абсолютно не делала над собой никаких усилий. Мне тяжелее было бы поступить иначе. Вообще — это интересная проблема — относительно характера. Вот у сестрицы моей, возможно, есть характер. Не удивляйся, но у меня не исчезает какая-то горечь в отношении к ней. Я понимаю, что ей тяжело, очень понимаю, но всё-таки…

Относительно ленинградцев[144] я тоже слышала. И даже встречала одну девушку оттуда. Девица весьма несимпатичная. Но она — случайный спутник, а может, есть и другие.

Как это ни странно, но ласковые руки[145] не принесли мне вреда, не избаловали меня. И оставили неизгладимый след только в душе.

Вообще, я довольно слабого сложения, но внутренности пока в порядке.

Линда К[ильвиц][146] меня тоже очень интересовала до тех пор, пока она случайно не проговорилась о своих убеждениях, которые были мне абсолютно чужды. Галка ей в этом отношении ближе. Меня она недолюбливала и за это, и ещё за другое. Я подружилась с одной немкой, которую Галя не любила. Я тебе об этом писала. Я тогда не была к Гале достаточно внимательна, а Линда очень уважала Галю. От тебя же она просто в восторге. Впрочем, мы были в хороших отношениях. Я её ценю за хорошие качества. Безусловно, она человек интересный, но расхождение в главном решает дело.

Мы с нашими мужчинами не работаем. К украинкам я тоже чувствую большой интерес. С одной из них я в очень хороших отношениях. Конечно, иногда с ними бывает трудно. Они фанатики. Но я их очень уважаю, особенно папиных земляков.

Мне было очень интересно читать о твоих друзьях. Из ребят я ни с кем не переписываюсь. Из прежних знакомых у меня нет никого, с кем я нашла бы общий язык, так же, как и с девочками.

От папы я тоже получила сегодня письмо. Он хлопочет о свидании со мной. Всё лето я ожидаю этого свидания. Вообще, раздражение во мне всё растёт, я, кажется, решусь когда-нибудь на крайние меры. Вот только, кроме свидания с папой, я очень дорожу перепиской[147].

Привет тебе от Иды. Она узнала адрес Владика Мельникова[148] и написала ему. Он в Свердловской области. В прошлом письме я послала тебе стихотворение «Сон». Будь здорова, целую тебя крепко и жму руку. Поцелуй маму. Напишу ей отдельно.

Майя.

Открытка от мамы:

13.9.55

Родненькая! Как я обрадовалась твоему письму от 28-го. Оно как раз пришло вчера. Сегодня у меня хороший день — не ходила на картошку. Последние три года я проводила этот день на уборке картошки в поле. Чувствую себя хорошо, у меня полно цветов. Хорошо, что «квартира» просторная — целый угол у нас с Сусанной. Ты права — хорошо, что мы с ней вместе. Большое огорчение, что от Ирины нет письма. Отношу это за счёт почты. От папы я получила вчера письмо, но он, по обыкновению, забыл день моего рождения. 30 лет тому назад это меня огорчало, а теперь — не очень. Голубка моя родная, как хочется быть с тобой. Думаю, что это уже последний день рождения без тебя.

Целую, родная моя, крепко. Привет Иде и Гале. С. передаёт привет.

17.9.55

Дорогая Сусанночка!

Получила твоё письмо от 1.9. Я тоже отвечаю с опозданием. И тоже — по уважительным причинам.

Ты знаешь, я получила вчера от папы странное письмо. Ему вернули медали и удостоверения к ним, прислали посылкой из Кенгира, где он был раньше. Я не смею надеяться, но мне говорят, что это означает реабилитацию. У меня теперь все мысли заняты этим. Ведь для папы реабилитация играет громадную роль, иначе он, действительно, будет жить на иждивении родных. Адрес брата Владимира я напишу в письме к маме, чтобы быстрее дошло. О твоей странной переписке с одним из твоих братьев я слышала от Ирэны, она мне это писала. Но я как следует не поняла. Не мистификация ли это? И знаешь ли ты его почерк? Хотя, как я помню, это роли не играет[149]. Дорогая сестричка, не стыдись своих «размышлений»[150]. Это болезнь возраста. Но меня удивляет в этом отношении Алла. Ведь она не шла с закрытыми глазами, как некоторые, не слепо подчинялась Жене. И неужели у неё такая короткая память? Даже если бы у неё была одна только привязанность к Жене и больше ничего — и этого было бы достаточно, чтобы никогда не знать и не искать покоя.

Ида, между прочим, тоже бредит возвращением домой. А я спокойно выслушиваю все новости. Моя мечта, чтобы Тамара уехала домой. Это для меня главное сейчас. Не могу сказать, чтобы у меня была большая любознательность к «новому краю». У

меня нет такой жажды знаний, как у тебя. У меня какой-то «мрачно-философский» характер.

В отношении «ребячливости». Ты знаешь, меня тоже считают ребёнком некоторые. Но я знаю, что это неправда. Я очень часто чувствую себя старше других. Мне говорят: ты ребёнок, когда я рассуждаю об отношении наших женщин хотя бы друг к другу. Я ненавижу настороженные, враждебные отношения. И не только за это называют меня ребёнком. А я знаю, что не я — ребёнок, а они — жалкие, несчастные дети, которые не понимают, что в жизни важно, а что — неважно. Чёрт, настолько серая масса окружает меня теперь, что чувствуешь себя каким-то странным, исключительным типом. А ведь странностей не так уж и много.

Дорогая сестричка, какая ты глупенькая — неужели тебе надо оправдываться, что ты моложе других? Тебе повезло. И все рады за тебя, желают тебе только хорошего.

Хорошее это твоё выражение: «благодарна, что могу понимать их величие». Да, я это тоже часто чувствую. Например, я очень люблю Гейне, хотя читала его только в переводах. А вот Гёте я, как ни старалась, не могла полюбить, его величие мне непонятно.

«Человека» Горького я давно не перечитывала. Последний раз читала его в тетрадке у Гали. Галя, между прочим, стала какой-то экзальтированной девушкой. Наверное, это одиночество так на неё повлияло. Я, не соглашаясь почти ни в чём с Галей, неодобрительно отозвалась и о «Человеке». Знаешь, я больше люблю его реалистические вещи. А некоторые романтические, например, «Старуха Изергиль» (не вся), «Макар Чудра» и, особенно, «Сказки об Италии» не нравятся. «Сказки» просто неприятно читать. Как-то слащаво, ненатурально. Так что у меня двойственное отношение к Горькому. Некоторые его вещи я очень люблю, считаю самыми любимыми, а некоторые не люблю. Из тех, что ты вспоминаешь, я помню и люблю «Первую любовь» и, конечно, «Хозяин», «Мои университеты». Другие не помню или не читала. Мне очень интересно было читать воспоминания Горького о некрупных, теперь не знаменитых писателях, например, о Леониде Андрееве. Одно время, ещё в школе, я им очень увлекалась. Я тогда жила одна, было мне тяжело во всех отношениях. Нервы были не в порядке, что ли, но я зачитывалась Андреевым почти до истерики. Тогда я вообще часто плакала над книгами. Например, над «Рассказом Филиппа Васильевича» Горького, над рассказами Мопассана и др. Дошло до того, что более или менее спокойно я могла читать только публицистику. Кончаю, хотя хочется ещё писать. Говарда Фаста я почти не читала. Постарайся достать драмы Леси Украинки. Это что-то потрясающее. Украинскую литературу я очень люблю.

Крепко тебя целую, жму руку, Майя.

Моё письмо сестре:

15.11.55.

Дорогая моя Иринушка!

Получила сегодня твою посылочку, как раз в последний день перед отъездом отсюда. Как я была счастлива, если бы ты знала. И книги, и вещи — одно другого ценнее. И именно те книги, которые мне хотелось иметь. Я как раз стала тосковать о настоящих, хороших книгах. И вот — такой подарок. Большое тебе спасибо, моя дорогая, за заботу обо мне. Я этого никогда не забуду. А вещи — какие все милые и очень нужные. Платок такой мягенький. Ты знаешь, я до сих пор боюсь колючих вещей. А рукавички и носки даже слишком хорошие, я таких давно не имела. И за мамину карточку спасибо. Но вместе с радостью я чувствую и огорчение. Я знаю, что это был для тебя большой расход. Как мне больно, что я ни тебе, ни маме с папой не могу помочь.

Дорогая сестричка, у тебя ведь скоро день рождения. Заранее поздравляю тебя и ото всего сердца желаю всего самого лучшего в твоей жизни. Надеюсь, что в следующий раз мы будем все вместе в этот день. Вот, будет о чём поговорить, вспомнить.

Тебе исполнится как раз 18 лет. Столько было мне пять лет назад. Как много перемен за эти годы! Бедняжка, как я беспокоюсь, выдержит ли твоё здоровье такую жизнь, ведь ты совсем не имеешь времени отдыхать.

А у меня сейчас опять перемены в жизни. Я еду на старое место, откуда приехала весною. Мне будет там гораздо легче. Может, я встречусь с некоторыми своими знакомыми.

Софье Львовне я уже написала, что получила на днях и её посылку. Бабушкины деньги я тоже получила. Я очень недовольна, что она на меня тратится. Мне приятно всё это получать, но она должна понять, что я, в основном, обеспечена, а вам там каждая копейка дорога.

И в отношении твоей посылки я себя утешаю, что это больше не повторится. Тем более, что на новом месте работа будет не физическая, так что потребностей в каком-то «дополнении» нет. Ты понимаешь, Иринушка, что мне гораздо легче живётся, чем тебе, и здоровье у меня очень хорошее. А уж отдыхаю я, безусловно, больше тебя. Но это был подарок из твоей первой зарплаты, и я с радостью получила его.

Папа мне хвастает, что у него с тобой завязывается регулярная переписка. Я так жду его к себе на свидание. Даже не

верится, что это когда-нибудь будет.

Ты, наверное, получила мою новую карточку. Я её всем послала, кроме мамы, потому что получилась хуже, чем в действительности.

Большое спасибо Зиночке, моему незнакомому другу, за радость, какую она мне доставила своей книгой. Она права, я очень хотела иметь её. Теперь я буду много учить наизусть.

Письмо написано перед этапом назад на 23-ю колонну. Я надеялась, что снова буду работать на слюдяной фабрике, что было бы очень отрадно после кирпичного завода, но пришлось отправиться на заготовку дров, и тёплые вещи, посланные сестрой, очень пригодились. Зина, старая подруга Стеллы, с которой познакомилась моя сестра, передала для меня Блока. Эту книгу я до сих пор не могу открыть без волнения. Ещё в посылке была «История моего современника» Короленко и «Герцен об искусстве» — подарки ко дню рождения. Софья Львовна и Лев Моисеевич — родители Иды. Как и родители Гали, они ко мне относились очень трогательно, помогали. Эта симпатия и взаимная привязанность нас, однодельцев, хотя большинство не знали друг друга на воле, и отношение старших — может показаться поразительным, учитывая обстоятельства дела, но это именно так. И лишний раз опровергает слишком упрощённый подход к «периоду культа личности» как к временам всеобщего озверения и ожесточения.

6.12.55

Дорогая Иринушка!

Сегодня день твоего рождения, поздравляю тебя ещё раз, моя хорошая. Целый день сегодня я думаю о тебе. Как хотелось бы знать, как ты сегодня проведёшь время. Надеюсь, ты не будешь одна.

С наслаждением читаю книги, которые ты послала. Особенно мне близок Короленко, ты понимаешь.

Мы с папой надеемся, что скоро увидимся. Моё начальство разрешает свидание. Моё заявление с резолюцией начальника отделения уже послано папе. Его начальник обещал отпустить папу, когда придёт это разрешение. Так что, если он сдержит обещание, то через пару недель мы, может быть, встретимся. Правда, я не могу поверить этому, слишком большим счастьем было бы это. К моей подруге приезжала сестра, сегодня уехала. Я ходила к ним в комнату и мечтала, как мы там будем с папой.

И с тобой, Иринушка, мне бы хотелось встретиться, но я понимаю, что это теперь невозможно, так что ты даже пока и не

мечтай.

Я часто вспоминаю то время, когда мы виделись в последний раз. Вы тогда приезжали ко мне из Черновиц вместе с Юлей. Тебе тогда было только 12 лет, а теперь ты совсем взрослая. Я не думала тогда, что вижусь с тобой в последний раз. Как мне тогда хотелось, чтобы ты у меня осталась, но у меня было неопределённое положение с квартирой вообще. Помнишь, как мы ходили в Архангельское? Так больно вспоминать всё это.

Пиши, Иринушка, как ты живёшь. Надеюсь, ты не так одинока, как я была.

У меня достаточно времени, чтобы заниматься, но как подумаешь, что ни к чему это, и руки опускаются. Правда, читаю я всегда много. Очень рада, что ты тоже любишь Лесю Украинку. Папа достал и тоже увлёкся. Мне она нравится больше Шевченко. Он очень народен, он писал только для своего народа. У него, по-моему, есть некоторая национальная узость. Впрочем, если вспомнить его жизнь, то можно и это понять. Леся Укр. просто более интеллигентна, поэтому и ближе нам.

Большой привет Зинушке. С каким удовольствием и благодарностью я открываю каждый раз Блока. Большой привет Джеке, Роберту и Фриде Давыдовне.

Письмо от мамы:

19.12.55

Родненькая моя! Раньше всего поздравляю тебя с Новым годом. Надеюсь, что следующий, 56-й, принесёт нам то, чего мы больше всего желаем, — встречу. В прошлом письме я тебе уже писала, что был сусаннин папа и сообщил, что вас, вероятно, вызовут в Москву. Впрочем, ты, наверное, всё это знаешь, т. к. идина мама и галкин папа тоже поехали к своим дочерям. Сначала мы ждали со дня на день, а теперь несколько упокоились. Возможно, что мы ещё вместе здесь Новый год встретим. Тяжело мне будет одной без Сусанны, очень я к ней привязалась. Чем больше я её узнаю, тем больше люблю. Она редкий человек.

Я сейчас очень много вяжу — срочная казённая работа — и кофточку вяжу С. Совершенно не читаю ничего, даже газет и журналов. Хорошо хоть, что слушаю радио, а то совсем бы ничего не знала. А по радио иногда интересные вещи передают. Меня очень заинтересовали счётные электронные машины. Я как-то читала статью об этом, а на днях слушала доклад по радио. Это совершенно поразительная вещь. Вообще открытия последних лет иногда даже пугают. Кажется, что человечеству уже дальше

некуда идти, что, если не образумятся, то всё может полететь к чертям, и обезьянам придётся начинать сначала. Впрочем, девочка моя, это я несколько не по адресу пишу. Я спутала — мне показалось, что я пишу папе. А вообще, я — оптимист и верю в самое лучшее. Будь здорова и счастлива, моя родная, любимая доченька.

Целую крепко, твоя мама

1.1.56.

Дорогая Иринушка, поздравляю тебя с Новым годом.

Ты наверное знаешь, что я ожидаю перемен в своей жизни. С удовольствием бы проехалась, хочется какого-то разнообразия. Думаю, что, если я приеду в Москву, ты сможешь добиться свидания. Мне так хочется увидеть свою сестричку.

Я теперь опять работаю на улице. Каждый день мысленно благодарю тебя за твои подарки. Мне так тепло теперь. Без твоих вещей мне было бы очень холодно. Ведь у нас уже больше сорока, а будет ещё холоднее. Но мне холод не страшен.

Мне сейчас очень тоскливо. Я опять рассталась со своей подругой. Пока были вместе, я не чувствовала, что она мне так нужна. А теперь очень скучаю. Скорей бы какая-нибудь перемена в жизни.

Подруги в нашей жизни — самое главное. Кроме этого есть ещё книги и письма. Но хуже одиночества ничего нет. Боюсь, что и ты уже это понимаешь.

Папа всё время добивается свидания со мной. Очень боюсь, что он может получить разрешение и разъехаться со мной.

Новый год мы с Идой отметили вместе. Сидели и мечтали о том, что в этом году, возможно, встретимся со своими близкими. Я не обольщаюсь розовыми мечтами, но на свидание с папой и с тобой, в случае поездки, я рассчитываю.

Будь здорова, дорогая, крепко тебя целую, Твоя Майя.

Вскоре произошли ожидаемые перемены, мы отправились с Идой в Москву на переследствие. С тайшетской пересылки я писала сестре:

14.1.56

Дорогая Иринушка!

Ты, наверное, уже знаешь от Софьи Львовны, что мы с Идой едем в Москву. В четверг, 12-го, мы приехали в Тайшет и вот уже несколько дней находимся здесь, ожидаем дальнейших событий. Вероятно, завтра или послезавтра поедем дальше.

Ты не беспокойся, если не так скоро приедем — всё идёт, как

нужно.

Надеюсь, что мы с тобой увидимся. Наверное, ты сможешь этого добиться. Я тоже буду об этом просить.

Думаю, что поездка приведёт к положительным результатам, хотя на слишком многое рассчитывать нельзя.

Маме и папе я уже написала, что еду. Бабушке ещё не написала, чтобы она напрасно не беспокоилась, не возлагала на эту поездку слишком больших надежд.

У тебя, Иринушка, сейчас, наверное, экзамены, и тебе не надо думать о «посторонних» вещах.

Едем мы с Идой весело, не унываем. Хорошо, что мы вдвоём, и нам не скучно. Книги читаем, вспоминаем по этому случаю тебя добрым словом.

Жаль, что не удалось встретиться с папой.

Будь здорова, крепко тебя целую, привет от Иды. Майя.

Наряду с прочими сюрпризами, которыми встретила нас обновлённая Лубянка, была возможность писать и получать письма. Правда, это разрешили не сразу:

13.2.56

Дорогая, любимая Иринушка!

Как я мечтаю о том, чтобы поскорее увидеться с тобой. Я надеюсь, что нам удастся этого добиться. На днях получила от тебя передачу и деньги.

Дорогая моя, большое, большое тебе спасибо за всё.

Прошу тебя, Иринушка, больше этого не делай. Мне, конечно, было очень приятно, это был как будто привет от тебя. Но, честное слово, ты должна мне поверить, что я ни в чём не нуждаюсь. Кормят здесь очень хорошо, из одежды у меня всё есть. Так что я даже попрошу начальника, чтобы у тебя ничего не брали, если ты вздумаешь повторить. Ведь всё это роскошь, баловство для меня, а тебе каждая копейка дорога, я же знаю. И здоровье моё не сравнить с твоим. Меня просто совесть мучает, когда я подумаю о тебе. Кусок мне становится поперёк горла. Я всё время думаю — сколько стоит всё, что ты мне притащила.

А если кто-нибудь из знакомых решит помочь мне, то пусть знает, что я ни в чём не нуждаюсь, пусть помогают тебе.

Деньги я при первой же возможности отошлю тебе обратно.

Одно мне нужно, да и то не обязательно. Просто я думаю, что в Москве это легче купить, а то я и сама бы когда-нибудь купила. Если сможешь и когда у тебя будут деньги, может быть, купишь мне какие-нибудь туфли. Кажется, они стоят рублей 60, на микропористой резине. Я ношу 36 номер, желательно, на низком

каблуке. Но это тогда, когда сможешь, а если нет, то тоже необязательно, я вполне обойдусь.

Иринушка, передай мой большой привет и поцелуй бабушке. Я не хотела, чтобы она ехала в такую даль, надеясь встретиться со мной, поэтому не написала ей.

Напиши, конечно, маме и папе, что я благополучно доехала и сейчас вполне бодра и здорова, надеюсь на лучшее будущее, а пока полёживаю да почитываю книги. Книг здесь много, и все такие интересные.

Как мне хочется знать о твоей жизни, об учёбе. Ты ведь уже скоро кончишь заниматься. А главное, хочется знать про твоё здоровье. В нашей семейке в этом вопросе никак не добьёшься правды.

Надеюсь, очень скоро мы сможем лично побеседовать. Подумай, ведь мы не виделись уже шесть лет с половиной, почти семь! Все мне так расписывают твои достоинства, внешние и внутренние, что мне просто не терпится тебя увидеть.

Итак, Иринушка, будь умницей, не тащи мне ничего. Повторяю, что я вполне сыта и одета. Мне очень совестно, что я попросила купить туфли. У меня же есть деньги, кроме тех, что ты передала. Так что, если будет трудно, лучше не надо.

Будь здорова, моя дорогая сестричка. Крепко, крепко целую тебя. Прости, что без марки. Твоя Майя.

15.3.56

Дорогая Иринушка!

Позавчера я получила от тебя третью передачу. Я надеялась также и на письмецо от тебя, так что решила два дня подождать. А мне, между тем, очень важно знать, дошло ли до тебя моё письмо, написанное после получения твоей второй передачи. В нём я писала для папы. На этот раз я думала написать маме, но пока не узнаю точно, что моё письмо дошло, не решаюсь повторять свой опыт.

Дорогая Иринушка, я устала повторять, что меня огорчают все затраты, связанные с передачами. Меня не утешает, что милые девочки берут на себя большую часть забот. Я знаю, что им тоже нужны деньги. Между прочим, у меня целы почти все консервы, весь сахар и многое другое с прошлых разов. Так что, кроме всего прочего, того, что вы передаёте, — слишком много.

Однако, большое спасибо, дорогие мои, как бы мне хотелось сделать и для вас что-нибудь приятное.

Мне передала Сусанка мамин шарф. Мне было очень приятно. Шарфик даже пахнет как-то особенно. Как мне жаль, что у меня нет ничего подходящего для подарка. Спасибо милой

мамочке, спасибо Сусанке.

Из того, что ты мне передаёшь, мне нравится всё, но не нравится, что это всё очень дорого стоит. Апельсины, шоколад — мне страшно их есть (правда, съедаю, но с угрызениями совести).

Поцелуй за меня всех девочек и скажи, чтобы они не обижались, что я недостаточно выражаю свою любовь к ним. В прошлом письме я больше выражала благодарность и симпатию.

Как живёт бабушка? Наверное, она уехала. Как обидно. Передай ей мой поцелуй. Как хочется знать побольше обо всех родных. Передавай им всем мой горячий привет. Все мои мысли связаны с нашей будущей встречей, в которую я верю.

Что же писать о моей жизни? Моя жизнь — это мечты о всех вас и чтение.

Перечислю тебе книги, которые я прочла за это время: Брюсов, Байрон (мистерии), Бунин, Бомарше (трилогия), Вольтер («Орлеанская девственница»), Верхарн, Альфред де Виньи, Герцен («Былое и думы»), Гейне (статьи), Гаршин (письма), Гауптман, Вергилий («Энеида»), Ж. Мелье («Завещание»), Стендаль («О любви»), Рабле, Пруст, Ром. Роллан («Жан-Кристоф»), Станиславский, Толстой, Помяловский, Степняк-Кравчинский («Андрей Кожухов») и многое другое. Столько книг я в другое время едва ли смогла бы прочесть за целый год. Кое-что из этого я уже раньше читала, но это ничего. Так что, как видишь, в моём положении есть много преимуществ.

Между прочим, раз уж речь о книгах. Как теперь в Москве насчёт книг? Много ли вышло новых изданий? Интересно, можно ли найти в магазине, например, Есенина? Ведь в прошлом году было 30 лет со дня его смерти и 60 — со дня рождения. Если встретится, купи для меня, я его очень люблю. Только специально не бегай. Ну, что же ещё написать? Здоровье у меня, конечно, хорошее, да и что ему сделается. Но мне было бы интересно стать твоим пациентом! Приятно, после стольких лет, подышать московским воздухом. Я чувствую, что здесь начинается весна. «У нас» в это время ещё зима. Я уже гуляю без платка.

Как ты проводишь время, Иринушка? Наверное, усердно занимаешься. Я, к сожалению, была лентяйкой, но ты ведь у нас умница. Не беспокойся насчёт мединститута, успеешь. Хорошо, что у тебя будет профессия (и уже есть). А я тоже когда-нибудь, может, буду заниматься естественными науками. Правда, медицину я не люблю. Вернее, боюсь инстинктивно, как человек, у которого за десять лет ни разу не было температуры выше, чем 36 и 6[151]. Я к врачам обращаюсь в крайних случаях, я встречала несимпатичных людей среди них. Ну, будь здорова, крепко целую. Всем привет и поцелуи. Майя.

Последнее письмо мне от матери в тюрьму меньше, чем за месяц до освобождения:

30.3.56

Дорогая, любимая!

Какое счастье — письмо от тебя. Я прямо обалдела, когда увидела его. Вместе с ним пришло письмо от папы, в кот. было вложено твоё от 25.2. До сих пор я ничего от тебя не получала. Одно твоё, которое Ирина мне послала, не дошло. Я была в совершенном отчаянии и, боюсь, причинила большое огорчение нашим друзьям своими паническими письмами. Дело в том, что у нас тут была заминка с почтой, и больше недели ничего ни от кого не было. Вчера получила, наконец, письмо от Ирины и открытку от бабушки с отчётом о свидании. Я так напряжённо ждала этого письма и была страшно разочарована, даже побранила Ирину за такое неудовлетворительное описание свидания. Бедная Ирина, нелегко ей с нами. Ведь мы «жертвы», «страдальцы», с нами нужно обходиться мягко, и она всегда во всём виновата. А между тем, я представляю себе её жизнь — учёба, работа, прокуроры, передачи и многочисленные друзья, которые являются то от мамы, то от папы, и которым нужно показаться в самом лучшем виде для того, чтобы те могли отписать родителям. Надеюсь, что скоро это кончится, во всяком случае, ты сможешь разделить с ней это бремя. Ей и то будет легче.

Я по-прежнему нисколько не интересуюсь переменой местожительства — до тех пор, пока ты несвободна. Вполне верю тебе, что ты в хороших условиях. Библиотека тамошняя[152] мне знакома. Правда, у меня не всегда был неограниченный выбор, как у тебя, но несколько хороших книг и я там прочитала. Относительно «Энеиды» согласна с тобой. На меня она всегда наводила тоску. Ты права — описание всяких героических побоищ, совершались ли они человечеством во младенчестве или в зрелом возрасте, также не вызывают у меня никакого умиления. Твоё увлечение Толстым меня не приводит в ужас, мне это понятно, но я уверена, что это ненадолго. Он всё же очень малоубедителен как философ. Советую тебе, если можешь, почитать Тагора. Знакома ли ты с философией стоиков? В ней есть одна интересная сторона, о которой мы поговорим при встрече.

Родная моя, я понимаю и надеюсь, что у тебя никогда не будет таких идеальных условий для чтения. Я также горячо желаю и надеюсь, что они у тебя будут очень недолго. Но пока

они есть, мне хотелось бы, чтобы ты читала с выбором, что-нибудь действительно нужное, фундаментальное. Анну Зегерс ты всегда сможешь почитать. Не трать времени на такое.

Голубка моя, понимаю твоё отчаяние по поводу необузданных передач. Я им уже об этом писала давно. Я именно так себе всё и представляла, т. е., твоё отношение к ним. Но что поделаешь? Отнесись к этому философски. В конце концов, это только знамение времени. А апельсины тебя напрасно беспокоят — они-то как раз не лишние. И мне кажется, я, правда, не уверена, что они не очень дорогие теперь. Самое тяжёлое это, конечно, когда не с кем разделить все эти вкусные вещи.

Но ничего, родная, может быть уже недолго осталось терпеть. Конечно, ты пошлёшь мне телеграмму как только окажешься за воротами этого гостеприимного дома. И конечно ты приедешь ко мне на свидание сейчас же, как только сможешь. Я так настроилась на это, что, если оно будет как-нибудь по-другому, это будет страшный удар. Как я рада, что тебе передали мой шарфик. Какая у тебя сестричка умненькая, чудесная.

Целую, моя любимая, радость моя, и жду в гости на целых семь дней, и гулять сможем, в лес ходить.

Мама

4.4.56

Дорогая Иринушка, милые девочки (не знаю, здесь ли ещё бабушка)!

На днях получила ещё передачу от вас. Я вижу, мои доказательства и просьбы только подливают масла в огонь. Вы дошли уже до куриц и пирожных — что вам можно сказать на это? Надо бы ругать, а приходится благодарить. Может, больше помогло бы, если бы я более решительно ругала? Но это было бы неблагодарно. Итак, мне остаётся благодарить вас, мои дорогие, хорошие девочки, непослушные и упрямые.

Иринушка, вместо того, чтобы возиться с передачей, ты бы лучше мне написала. Одно письмо за два месяца — это не очень много. Впрочем, я не сержусь, но просто хочется знать, как ты живёшь. Папино письмо тоже хочется получить — отправила ли ты его? Меня уверяют, что письмо пропасть не может.

Я всё время вспоминаю наше свидание, как жаль, что так коротко оно было. Но ничего — мы посмотрели друг на друга, а сказать путного ничего всё равно бы не успели.

Бабушку поцелуй за меня и скажи, чтоб она ехала домой. Жаль, что вы приходили вместе, но ничего, хорошо и это. Если дело затянется, просите ещё свидания. А если не затянется — то тем более.

Иринушка, я написала маме на другой день после свидания, получила ли она?

А ты, друг мой, сделала одну глупость, впрочем, не опасную. Но знай впредь, что, если я говорю «нельзя», значит, нельзя. Вот, куда ведёт недоверие к моим словам.

Иринушка, кажется, действительно, мама и папа будут скоро гулять по Москве. Судьба их скоро решится, может, скорее, чем моя. Но ты не психуй, будь спокойна. В радости спокойствие так же необходимо, как и в горе. Сусанка права насчёт маминых вещей, но я думаю, она успеет их отправить, если придётся ехать. Так же и папа. Ты им на всякий случай напиши свой точный адрес.

А бабушка пусть особенно теперь бережёт своё здоровье.

У тебя, Иринушка, сейчас страдная пора. Желаю тебе успешно готовиться к экзаменам. Разрешаю тебе пока не писать, если нет времени.

Писать что-нибудь на обёртках или коробках — дело бесполезное.

Целую тебя, моя дорогая, бабушку и всех девочек. Привет всем друзьям. Пусть Клавдия Алексеевна передаст привет Галочке. Будь здорова, Майя.

Пошли папе мой адрес.

«Глупость на свидании» — попытка сестры передать мне зеркальце, обнаруженное у меня при обыске после свидания. Почему-то это — запрещённый предмет в тюрьме, даже в 1956 г.

Клавдия Алексеевна — мать Гали Смирновой.

Последнее письмо сестре с листком для мамы, написано меньше, чем за неделю до освобождения:

19.4.56

Дорогая, хорошая Иринушка!

Несколько дней назад получила твоё письмо от 10-го, а вчера — передачу. Спасибо тебе и девочкам, как всегда, всё было очень вкусное. Тем более мне было приятно, что я теперь уже недели две вдвоём с Тамарой. Ты понимаешь, как нам хорошо вдвоём. Мама была бы очень рада, если бы узнала.

От неё я получила уже очень давно письмо от 30.3., но не хотела отвечать, потому что решила, что лучше написать вам обеим сразу, ведь, если её дело может действительно скоро кончиться, то письмо моё её не застанет. Но ты, Иринушка, всё-таки пиши маме и папе до последнего момента, ты понимаешь, какое у них теперь нервное состояние. Мне же, если нет времени, можешь не писать, я не буду сердиться. Иринушка, меня огорчает,

что ты питаешь такие розовые надежды относительно моей судьбы. Во-первых, ты напрасно так часто ходишь узнавать обо мне и тратишь время. Безусловно, это вопрос не дней, а недель. С мамой и папой решится скорее. Я мечтаю, что мама скоро приедет и сразу придёт ко мне на свидание. Тогда пусть она просит, чтобы дали побольше времени. И папе тоже.

Передай девочкам, чтобы они, если видятся со Стеллой, передали ей мой большой привет. Как её здоровье?

Что касается совершённой тобой небольшой глупости — она касается зеркала. У меня на складе есть большое и маленькое. А здесь оно мне не нужно, я ведь тебе говорила, а ты никак не хотела понимать. И хоть бы предупредила меня. Ну, ничего.

Дорогая Иринушка, желаю тебе ни пуха, ни пера в будущих экзаменах. Бедняжка, сколько волнений в такой момент.

А от папы что-то ни слуху, ни духу. Интересно, как он реагирует на ожидаемые перемены в его судьбе. Так или иначе, но наша мечта осуществится — мы увидимся и с ним, и с мамой.

Будь здорова, Иринушка. Большой привет девочкам, привет от Тамары, крепко-крепко тебя целую. Письмо моё всё-таки пошли маме. Ещё раз целую, Майя.

Прости, если письмо без марки — это не от меня зависит.

Любимая моя мамочка! Прости, что не сразу ответила, но у меня были на этот счёт соображения всякого рода.

По твоему письму, дорогая моя, я вижу, что ты себе нашу встречу рисуешь совсем не так, как это, очевидно, произойдёт. Теперь-то ты уже знаешь, что скоро решится твоя и папина судьба. Так что, если ты скоро приедешь в Москву, то, каково бы ни было решение по моему делу, мы с тобой сможем встретиться.

Больно мне очень, что ты, как и Ирина, настроилась на самые блестящие результаты от всей этой истории для меня лично. Странно это читать в твоём письме, ведь ты никогда не была склонна к самообольщениям. Будем же мужественны, мамочка. Впрочем, я сама понятия не имею, как всё это обернётся, но всё-таки готова на всё. Прости, мамочка, тебе тяжело это слышать конечно, но мне просто невыносимо это ожидание приятных сюрпризов.

Уже больше двух недель мы вместе с Тамарой. Мы не ожидали такого счастья, представляешь, как мы ликовали! Очень хочется и Суслика в нашу компанию, но едва ли удастся. Надеюсь увидеться с нею после решения. Логики в этом мало. Тамара мне рассказала, конечно, о тебе и Сусанне, она вами буквально бредит. У неё с собой несколько английских книг, но увы, они в полном пренебрежении. Читать у нас тоже не хватает времени. Но

теперь уже частично наговорились, так что опять возвращаемся к книгам. Я прочла том Ибсена: «Бранд», «Пер Гюнт», «Кесарь и Галилеянин» и др. Должна признаться, что «Бранд» не произвёл на меня большого впечатления. Я, вероятно, «не доросла». А от второй и третьей драмы я в восторге. Перечитываю сейчас Гейне, когда-то, лет пять назад, — моего самого любимого поэта и писателя. О ужас, «Путевые картины», которые меня когда-то очаровали, почти не трогают, а над памфлетом «Людвиг Бёрне» я чуть не уснула. Как странно меняются вкусы. Ещё плохо, что у нас с Тамарой разные литературные интересы, а выписываем книги мы вместе. Ну, ничего. Большой привет от Тамары. Целую тебя крепко, жду твоего приезда. Ирка продолжает таскать всяких куриц, но я теперь не сержусь. Будь здорова, М.

Из писем отца мне

В подборке представлены, по возможности полно, письма отца мне из лагеря и Тихоновского инвалидного дома в Караганде. Несколько первых его писем, в интересах композиции, помещены в «общий раздел» для усиления его «многоголосья». Остальные его письма, как мне, так (ниже) и матери, считаю правильным дать отдельно от прочей корреспонденции.

Теректы, 9.11.54.

Славный мой Маечек!

Получил твою фотокарточку с пометкой 8.IX.54 вместе с письмом. Фотокарточка, как водится, пошла по рукам. Общее и единодушное заключение: замечательная красавица, и очень похожа на меня. Соответствующий вывод о собственной наружности я сумел бы сделать, даже если не жевал бы вот уже вторую неделю учебника логики для средней школы. Кстати об учебниках и о школе вообще. Я на днях прочёл том писем Чернышевского из Вилюйска и Астрахани и, во-первых, укрепился в своём старом отвращении к школе и школьной науке и, во-вторых, утешился, что ты, хотя и невольно, покончила с этой глупостью.

Я очень рад, что ты занимаешься самостоятельно, в особенности, языками — пригодится.

Твоих приятелей я тут, увы, не встречал, но самый факт их наличия уже позволяет мне, как говорят англичане, «сложить два и два вместе». Хорошо! Твоя «глупая» болезнь меня, конечно, страшно огорчила. Но ведь можно сделать операцию. Главное — помнить, что энтузиазм хорош только в умеренных количествах.

Признаюсь, что карточка твоя мне не совсем понравилась — ты похожа, правда, на мадонну, но сильно изнурённую, перевыполняющую планы. Доченька, спокойнее — жизнь вся ещё впереди.

У меня пока никаких новостей. Но, возможно, будут скоро. Я не работаю совсем, здоров, как никогда, и ни в чем не нуждаюсь. Через пару недель приедет суд, и, если я об него не споткнусь, то ещё через пару месяцев я буду жить-поживать и добра наживать где-нибудь в пределах Средней Азии. Тогда я начну думать, что дальше делать. А пока я читаю, отдыхаю и с нетерпением жду ваших писем. Кстати, поучи свою маму, что мужа забывать — нехорошо — она мне совсем не пишет. Это у неё, наверное, наследственное от Иринушки. Целую тебя, милая, и жму руку твоим друзьям. Твой любящий папа.

13.4.55

Здравствуй, доченька дорогая!

Как ты увидишь по обратному адресу на конверте, я уже на новом месте и, по-видимому, прочно. Так-то — «человек полагает, а Бог — располагает». Впрочем, место неплохое. Называется инвалидный дом, а скорее похоже на дом отдыха. Кормят хорошо, одевают чисто, постель ослепительно чистая, по сравнению с местом, откуда я прибыл — прямо райская жизнь. Но я не об этом мечтал, и хотя «нет ничего вечного на земле», и это, я уверен, тоже не вечно, но немножко обидно.

А я мечтал уже скоро свидеться с тобою по пути в Москву, мечты эти были нереальны, я это прекрасно сам знал, но всё же какой-то шанс был. Ну, да Бог с ним — мы всё равно увидимся и, я надеюсь, скоро.

Почтовую плотину, по-видимому, наконец, прорвало, и я получаю письма пачками, и в том числе из разных мест получил твой адрес, и я пишу прямо тебе.

Я по-прежнему увлекаюсь науками, вернее, философствованиями по поводу науки. Я, например, твердо решил узнать, наконец, что такое теория относительности, и терпеливо жую статьи, ругающие Эйнштейна, стараясь по цитатам разобрать, в чем дело. Трудно. Только на днях я набрёл на номер журнала «Вопросы философии», в котором велась дискуссия на эту тему. Никогда я так не жалел о своем невежестве, как теперь. Я вспоминаю свою молодость, когда модно было толковать о необходимости «выработать себе мировоззрение», и думаю, что сейчас это даже более необходимо, чем когда-либо. С этого надо начинать.

В Москву приехал один мои старый приятель[153]. Он видел Иринку, говорил с нею и прислал мне восторженное письмо, посвященное ее красоте, уму и душевным качествам. Правда, человек он увлекающийся, Но и жена его тоже одобряет Ирину. По-видимому, она, действительно, красива. Пишет ли она тебе? И часто ли пишет? Мама к ней относится, судя по письмам, сурово и, думается, несправедливо. Неизвестно, много ли лучше остаться без отца и матери на воспитании черновицких родственников, чем то, через что мы проходим.

Из письма мамы я узнал, что у тебя есть шансы на изменение судьбы в связи с хлопотами о других. Что ж, если мне пока не удалось попасть к тебе, может быть, ты будешь счастливее. Мама меня крепко пожурила за апатию, почему я не похлопотал о справке, т. е., не нашёл кого-нибудь, кто согласен дать обязательство взять меня на иждивение. Но я решил «ждать у

моря погоды» — это, по-моему, лучше.

Дорогая моя, не сердись, что я пишу так путано. Письма мне плохо даются. До скорого личного свидания, тогда наговоримся. Привет твоим подругам, целую тебя крепко. Твой папа.

18.5.55

Здравствуй, доченька моя!

Покончив с бюрократическим делами, я могу теперь надоедать тебе «умными» рассуждениями на философские темы. Как я уже грозился в прошлом письме, я разыскал в местной библиотеке книжку стихотворений и поэм Леси Украинки. Я хотел найти источники твоих, по-моему, «зловредных» увлечении (не сердись, Маёчек, папам положено поучать своих детей, залезая иногда для этой благородной цели даже им в душу сапогами). Каюсь, я взялся за эту книжку с предубеждением против автора, — и был приятно разочарован. Прежде всего я обратил внимание на портрет поэтессы на обложке. Да ведь это же типичное лицо нигилистки, т. е. народницы прошлого столетия. И стихи её типичны для этой славной группы, только слегка окрашенные вполне оправданными настроениями её личной трагической судьбы. Да ещё — великорусское народничество заменено «украинизмом», преклонением перед былой «славой» её народа.

Конечно — она не Шекспир. Сонеты Шекспира даже я — безнадёжный тупица в поэзии — прочёл недавно с величайшим наслаждением. Она, по-моему, рядовой, чернорабочий революции, каких было много, и должно было быть еще больше. О художественных качествах её поэзии я, к сожалению, не могу судить по вышеуказанной причине своей тупости, но я полностью солидаризируюсь с её мыслью:

Звездой летучей, искрой быстролётной,
Сияньем молний, острыми мечами
Хотела б я вас вырастить, слова!
Чтоб эхо вы в горах будили, а не стоны,
Чтоб резали — не отравляли сердца,
Чтоб песней были вы, а не стенаньем.
Сражайте, режьте, даже убивайте,
Не будьте только дождиком осенним.
Сжигать, гореть должны вы, а не тлеть!

(Из цикла «Ритмы»).

Где же тут христианская слякоть всеобъемлющей и потому

бесстрастной и, т. сказать, казённой любви? Я охотно себе представляю, что в прошлом столетии она могла брать примеры для своих идей в истории первого века христианства. Историческая ценность таких примеров — ничтожна. Но тогда это оправдывалось обстоятельствами, и конкретные христиане не представляли собой такой опасности для свободной мысли, как теперь. Ну, не буду тебя больше огорчать, доченька.

Я надеюсь, что ты найдёшь возможность порадовать меня своими письмами, когда только сможешь, и не будешь брать примера со своей сестренки, которая опять меня забыла. Вот приеду в Москву и выпорю ее, несмотря на её «библейскую красоту», как её описывает один мой приятель.

Напиши, дочка, по возможности, о чем ты думаешь, что ты читаешь, и как твои дела. Приветствую твоих приятельниц и мечтаю о скорой встрече и хорошем разговоре с тобой наедине и «по душам».

Целую крепко твой любящий тебя папа.

21.5.55

Милый Маёчек!

Получил сегодня твое письмо от 6.5. и очень, очень сожалею, что в отправленном тебе несколько дней тому назад письме продолжал надоевшую и тебе, и мне дискуссию о христианстве. Теперь мне всё ясно. Мама не напрасно упрекает меня, что я старомоден в своей «нетерпимости к нетерпимости».

Однако я претендую на смягчающие мою вину обстоятельства: в отличие от мамы, я ни разу никого из твоих приятелей не встречал и ничего не знаю о твоей жизни за эти 6 лет, и ещё меньше я знаю о твоей духовной жизни.

С радостью принимаю твоё обещание прислать свои стихотворения. Неверно, что я совсем не люблю поэзии. Недавно мне попались в хорошем переводе сонеты Шекспира, и я был прямо потрясён ими. Сейчас я, тоже в переводе, перечитываю «Избранное» Уолта Уитмена. Очень хорошо!

Дяде Борису я не писал, потому что название города и республики всё же недостаточно для того, чтобы письмо дошло, хотя, возможно, что он по своему званию достаточно известная в городе личность. Но я написал снова в Керчь по адресу Розы, а фамилию указал девичью, так как забыл фамилию её мужа. Думаю — дойдёт. А вообще мне ничья помощь больше не нужна. Как я уже тебе писал, я использовал справку Ирины и теперь жду ответа Москвы. Думаю, что ответ будет положительный. Мой приятель, который подал своё заявление раньше, уже едет домой и даже получил паспорт. Если и я получу паспорт, я поеду прямо

к тебе на свидание. Там мы доругаемся.

Здоровье моё, Маечка, прекрасное. Не пишу о своём сердце и желудке ничего потому, что решительно нечего о них писать. Сердце у меня, вероятно, такое же, как было шесть лет назад, а желудок, безусловно, много лучше. Шесть лет тому назад мне доктор обещал, что я умру лёгкой смертью — лягу спать и не проснусь. С тех пор я каждое утро просыпаюсь и даже снов никогда не могу вспомнить.

Маёчек дорогой, с христианством мы покончили, но духовные твои интересы меня очень интересуют. Стихотворения твои — это хорошо. Я могу тебе обещать, что я их не читать, а изучать буду. А что, если ты мне еще расскажешь, что ты читаешь и что о прочитанном думаешь? Что плохого, если мы в чём-нибудь не сойдёмся? Ну, поспорим немного — это неплохо. Кстати, почему ты думаешь, что ко мне «в моём положении нужно быть особенно чуткой»? Это даже немножко обидно. Положение мое ничуть не хуже, чем у других, а «от столкновения мнений рождается истина». Ну, будь здорова, милая моя доченька, привет твоим приятельницам. Целую тебя крепко, и до скорого свидания. Твой папа.

28.5.55

Доченька!

Все свои новости я исчерпал в прошлых письмах. Просьбу о переводе в г. Клин я сдал, и на мои вопросы, двигается ли мое дело, получаю обнадёживающие ответы: двигается..

Хорошая сторона моей неудачной полемики с тобой — я перечитал пару книжек стихотворений. Прочёл «Листья травы» Уитмена — пра-прадеда Маяковского. Сначала меня раздражала необычность формы и размеров, а потом понравилось очень. «Я не весь умещаюсь между башмаками и шляпой» — пожалуй, короче и сильнее прозой никак не скажешь. Некоторые его стихотворения я даже переписал, хотел тебе послать, но боюсь тебе надоесть литературными поучениями, как философскими. Привет и поцелуи Папа.

6.6.55.

Здравствуй, доченька дорогая!

Получил твое письмецо от 19.5.

Теперь — всё. Инцидент полностью исчерпан. Больше того — так как всё познаётся путем сравнения, то я охотно признаю, что по сравнению с медиками, которые тебя лечили на даче[154], нельзя не признать некоторых положительных сторон «ловцов душ». Впрочем, несмотря на внешнюю показную вражду, между

ними гораздо больше общего, чем расхождений.

Большое тебе спасибо, что ты заставила меня заинтересоваться поэзией. Началось с того, что, подыскивая материал для нашей дискуссии, я прочитал «Стихи и поэмы» Леси Украинки (больше тут ничего нет), потом прочитал «Листья травы» Уитмена, а потом вошел во вкус и стал читать ещё и ещё. Положительно, стихами можно иногда сказать и короче, и сильнее и, главное, — убедительней, чем прозой. Вот, например, я вычитал в «Советской литературе» (на английском языке):

«Кто может заключить в карцер улыбку, кто может окружить песню стенами?» Это стихи Мигеля Эрнандеса. Хорошо. Конечно, если не придираться бюрократически к букве. Потому что ещё Пушкин указал (цитирую на память): «Вдохновение не продаётся, но можно рукопись продать». Можно, и даже очень можно, окружить стенами поэта. Но сказано сильно и. в конечном счёте, верно. Кстати, этот же Эрнандес (он погиб во франкистской неволе) в том же стихотворении пишет (перевожу с английского): «Я горд, счастлив и свободен, потому что есть любовь». Ну, это больше по твоей части.

Милая доченька, ты напрасно беспокоишься о моем здоровье. Оно — хорошее, и, учитывая мой почтенный возраст — даже отличное. Жаль только — рука часто дрожит. Но это только в начале письма, а потом — проходит.

Теперь о семейных новостях. Как-то скуки ради, я написал в Керчь. Одна открытка вернулась обратно с пометкой, что такой улицы в Керчи нет. Спустя некоторое время я написал опять, указав девичью фамилию тети Розы (ты её, конечно, не знаешь), и получил сразу денежный телеграфный перевод от Розы и дяди Давида, всего 200 рублей. Это очень хорошо, так как я надеюсь, если мне выдадут нормальный паспорт, поехать прямо к тебе на свидание. Для этого, конечно, нужны деньги, так как тут никаких билетов и командировочных не выдают. Остальные новости: бабушка твоя (моя мама) умерла в 1950 г. Борис заболел диабетом (сахарная болезнь) и вынужден был выйти в отставку. Остальная родня по разным городам. Роза зовёт меня в Керчь. Но теперь это ни к чему, так как заявление уже подано. Однако, я полагаю, что иметь Керчь про запас не мешает, если я в Клину не найду работы, тогда буду просить перевода.

Жизнь тут по-прежнему уютна и скучна. В прошлое воскресенье ездил верст за 30-40 купаться в Темир-Тау. Купаться не купался, но водку пили исправно и пели украинские песни. Замечательно хорошо идут украинские песни под московскую водку.

Обязательно сфотографируюсь, как только найду хорошую

фотографию. Кроме того, у меня карандашный мой портрет, сделанный тут художником. На этом портрете я с козлиной бородкой. Его я вручу тебе лично при свидании. А пока будь здорова. Целую тебя, моя хорошая, благо в письме борода не колется. Твой папа.

15.6.55

Доченька, милая!

Получил твоё письмецо от 5.6. Умница ты необыкновенная[155]. Каждое твоё новое письмо понемногу расширяет мои знания о тебе. Какие нежные, прямо христианские чувства к твоим преподавателям вызывают во мне твои дачные воспоминания! Но ты продолжай, прошу тебя, в таком же духе. Надеюсь, ты уже простила мне неуместные мои поучения, но, с другой стороны, ведь я оставил тебя совсем ещё ребёнком.

Я уже писал тебе в прошлых письмах, что надеюсь попасть к тебе на свидание, если получу нормальный вид на жительство. У меня даже были отложены деньги на дорогу, но вышла глупая история. Поехал, в первый раз за всё время, в город — на вокзал — узнать, сколько стоит билет до Тайшета, и в трамвае у меня деньги вытащили. Однако я не падаю духом. Отъезд отсюда ещё задержится на пару месяцев, а к тому времени я деньги достану.

Фотографию свою обязательно пришлю — я уже снимался, но карточка будет готова через несколько дней. Твою карточку я отправил Стелле, как ты просила, как только получил, т. е., дня 4–5 тому назад.

Меня сильно смущала мысль, что щедрость, проявленная твоими преподавателями на экзаменах, может быть, объясняется тем, где ты родилась[156], я даже решился намекнуть кому следует о своих подозрениях, хотя, как ты знаешь, я не люблю писать и ни разу не писал о себе. Но я получил ответ, что ты получила всё «по заслугам».

Кстати, в твоём адресе не указано место, где ты живёшь. Правда, указан посёлок, но на конверте он перечёркнут. Где же мне искать тебя? Для писем достаточен, насколько я понимаю, номер почтового ящика, но куда же ехать к тебе? На всякий случай подтверди, что ты имеешь адрес для визитов, и какой.

В остальном — у меня без перемен. Читаю. Получил от Стеллы сразу четыре книги на английском языке. Но еще до того я тут нашёл одного сожителя, выписывающего «Советскую литературу» на английском языке. Там печатаются лучшие произведения советских писателей. Таким образом я убиваю сразу двух зайцев: знакомлюсь с советской литературой и освежаю свой английский язык.

С поэзией здесь — туго. Но я не теряю надежду. А пока вспоминаю старое. Помнишь, кажется, у Тургенева: «Исполать тебе, крестьянский сын, что умел ты воровать — умел ответ держать».[157]

Сожалею, что мне неизвестна фамилия твоего товарища но институту, о котором ты пишешь. Может быть, он в этих местах, и я мог бы навести о нём справки среди моих сожителей.[158]

Пиши побольше, т. е., понемногу в каждом письме, о своих институтских и университетских делах. Ну, дорогая моя, горячий привет твоим друзьям. Целую тебя крепко, крепко. Твой папа.

21.6.55.

Доченька, здравствуй!

Посылаю тебе свой последний патрет. Фотограф — местный любитель, и результат — не очень удачный. Меня все уверяют, и я этому верю, что у меня очень интеллектуальное лицо, а тут получился какой-то чумак «У Киіві на риночку», но лучше хоть что-нибудь, чем ничего.

Ты совершенно права, что мы «катастрофически мало знаем друг о друге». Вот почему я с таким нетерпением ожидаю получения твоих стихов, всех — и хороших, и слабых. В наших условиях это поможет мне узнать тебя лучше.

Я уже писал тебе, что у меня спёрли деньги в трамвае — четыреста рублей. Но это не помешает мне приехать к тебе на свидание, если я только получу паспорт. Я надеюсь получить деньги от твоей бабушки. Но вот — скоро ли это будет — не знаю. У меня есть хороший приятель в Клину, куда я собираюсь, но он вдруг замолчал — не отвечает на мои письма. Другой приятель в Иванове и — тоже внезапно замолчал. Сопоставляя это с письмами, которые мы тут получаем из Терактов и т. п. мест, прихожу к заключению, что спешить в Клин пока не стоит.

Однако, «всё к лучшему в этом наилучшем из миров», и очередной поворот к лучшему где-то близко за углом.

Целую тебя крепко, жму руки тебе и твоим милым подружкам, жду твоих писем, конечно по мере возможностей, и, главное, подробностей о твоих приключениях на даче и проч. Ещё раз целую тебя. Твой папа.

29.6.55

Милая, здравствуй!

Как ты на новом месте? Одна ли ты или с подружками? А у меня всё без перемен. Жду. Постепенно схожусь с товарищами-соседями. Среди них есть интересные, прошедшие большой путь.

Днем тут страшное пекло, но вечерами гуляем и беседуем на

разные — литературные и смежные темы. В нашей компании только одна девушка моложе меня на пять лет, и мы её третируем, как девчонку. Самой старшей 72 года. Она лично знала многих людей, о которых я только в книжках читал. Не читаю — жую историю Украины на украинском языке и жду твоих и маминых писем. Жду твоих стихотворений. Дала слово — держись! Твой папа.

Получила ли ты мою фотокарточку? Если ты ещё сниматься будешь — учти меня. Привет твоим подружкам. Жму руку и целую крепко. Твой старенький, но ещё бодрый папа.

3.8.55

Здравствуй, дорогая моя!

Получил твоё письмо от 18.6. Ты понимаешь, с каким чувством я его читал, в особенности, автобиографическую часть. Не то, чтобы вопросы просвещения меня так интересовали, и не потому, что я не знаю, как проходят экзамены. Мне многое стало ясно, но не всё. Неясно главное — тема диссертации. Надеюсь, что ты постепенно и возможно популярнее изложишь и её. Это не праздное любопытство, ведь вот ты жалуешься, что не знаешь своей мамы и узнаёшь ее по письмам других. А я нахожусь в таком же положении в отношения тебя. Именно поэтому я просил тебя прислать свои стихотворения. Но если они больше, как я понимаю, не отражают твоих настроений, и если ты предпочитаешь отложить это дело до нашей встречи, то быть по сему.

Кстати о нашей встрече. Я уже писал тебе, что я обязательно поеду к тебе, если получу нормальный паспорт. Такой вариант возможен, но возможны и другие варианты. Если меня пошлют прямо в Клин или если вообще никуда не пошлют, то встречу придётся отложить. Но она обязательно будет. В этом ты не сомневайся.

О Сусанне я уже знаю из писем мамы. Как хотелось бы встретиться и пожать руку и ей, и всем вам. Хорошие вы все! И давай покончим с вопросом о моих болезнях. Ну, конечно, 65 лет — это возраст почтенный. Болезни любят такой возраст. Что у меня внутри, и что прибавилось за время пребывания в Казахстане — я не знаю. Но внешне — никаких серьёзных изменений. Я несколько быстрее устаю, руки иногда дрожат, мешки под глазами несколько чаще, и изредка побаливает где-то в области сердца. Ну, и ещё такие же пустяки. Конечно, врачи знают своё дело, но и я не настроен умирать от страха по поводу того, что когда-нибудь умру — все умрут. Так что ты, доченька, зря беспокоишься.

Обязательно подтверди получение моей фотокарточки. Если не получила — сообщи, я вышлю другую. И я рассчитываю, что ты внесёшь меня в список получателей, когда будешь фотографироваться вновь.

Я тут дожёвываю толстющую Историю Украины и всё прекрасно понимаю. Авторы используют какую-нибудь дюжину фраз, беспрерывно их применяя. Так что читаешь, как по-русски. Если это достоинство, то это единственное достоинство, замеченное мною в книге.

Я уже писал тебе о моих сожителях. Вчера один из них — историк[159] — провёл интересную параллель между Иваном Грозным и Петром Первым (оба собственноручно убили своих сыновей). Рассказал — хорошо, на основании документальных данных, и вывод не в пользу Петра. Далеко нет. Чертовски обидно, что я так мало знаю. Кстати, интересует ли тебя история? Пиши больше о себе — хочу поближе познакомиться со своей дочкой и, надеюсь, товарищем. Твой папа.

9.7.55.

Доченька, дорогая!

Получил сразу два твоих письма — от 24 и 27.6. Такого у меня ещё не бывало. Ты, конечно, молодчага.

Жаль, что я тебя напрасно огорчил сообщением о пропаже денег. Всё устроилось самым благополучным образом: получил от твоего дяди Бориса 200 руб. телеграфом и ещё 100 руб. от Розы. Вместе с теми, что у меня ещё оставались, на дорогу и к тебе, и в Москву — больше чем достаточно. Теперь дело только в паспорте. Получу и выеду немедленно.

Письма от Бориса я ещё не получал. Знаю только из письмеца Розы, что он в отставке по болезни. Семейные традиции всё же и в моей семейке имеются. Писать не любят и не умеют, но помочь рады.

Я и сам с наслаждением встретился бы с Сусанной. Мама пишет о ней восторженные письма. Ты — тоже. Но вообще я думаю — вы все славные ребята. Это очень хорошо и важно!

Я тут навожу справки о своих земляках — твоих соучениках. Пока не могу похвастать успехами, но надежды не теряю. Жаль, что мои сожители почти все старые, больше всего занятые своими болезнями и почти все из одного места, но буду продолжать.

Дожевал, наконец, Историю Украины на украинском языке и могу сейчас перейти на нормальное чтение. Попробую последовать твоему совету перечитать Пушкина. Вся беда в моей нетерпимости. Не умею отделять форму произведения от той «линии», которую гнёт писатель, и читая сейчас какое-нибудь

произведение, написанное много лет назад, я невольно сужу о нём по его теперешней «стоимости». Это, конечно, неправильно, но отвыкнуть не могу.

Кстати о поэтах. Мама прислала мне прямо прелестное стихотворение молодой поэтессы М.У. Оно начинается словами: «Вот уже 17 лет я хожу влюблённая». Очень хорошая, на мой вкус, штучка.

Конечно, очень плохо, что ты так мало успела узнать своих родителей. Но что, кроме всяких приключений, да и то не всех, можно было рассказать молоденькой девочке-школьнице? Опять приходится отложить разговор по душам до нашей встречи. Я не меньше твоего хочу узнать свою дочку.

Насчёт благоразумия моей поездки к тебе ты не беспокойся. Ты и сама не очень благоразумна, и я тебя за это очень люблю.

Всё ещё будет прекрасно. Это я не в порядке утешения. Я твёрдо верю в это. И прекрасное будущее, возможно, не так уж далеко.

Иринка пишет редко. Возможно, это у неё наследственное по отцовской линии. Получил из Москвы письмо от бабушки. Они обе едут или уже выехали к маме. Теперь я жду от них подробного отчета о поездке. Ирина проведет летний отпуск у бабушки.

Целую тебя крепко, крепко. Береги здоровье, дорогая — оно нужно не только тебе. Твой папа.

14.7.55

Здравствуй, доченька дорогая!

Я на пару дней задержал посылку очередного послания, потому что ждал обещанного Ириной отчёта об её поездке к маме и надеялся сообщить тебе последние данные о ней и, может быть, о ваших общих подругах. Ирина из Потьмы прислала телеграмму, что письмо послано авиапочтой. Но его всё нет.

Я совершенно готов выехать к тебе в любую минуту, как только придёт решение Москвы. Денег на дорогу у меня сейчас совершенно достаточно. На этот раз я принял меры против всяких неожиданностей — внёс в сберкассу пятьсот рублей и чувствую себя настоящим капиталистом. Я даже думаю, что это к лучшему, что ответ из Москвы несколько задерживается — чем позже — тем лучше. Значит, ответ будет благоприятный, так как обстановка заметно улучшается.

Время я провожу по-прежнему: читаю, гуляю и даже, чтобы предстать перед тобой во всей красе, начал лечиться. Мне, оказывается, не только не вредно, но даже полезно было бы водку пить, так как у меня пониженное давление. Радикальное лечение

придётся отложить на будущее, когда я начну зарабатывать. Но уважение моё к медицине всё не повышается.

Поэзию пришлось опять отложить — мне попалась любопытная книга, «Занимательная геохимия» покойного академика Ферсмана. Книжка издана посмертно, на основании материалов, подобранных для этого самим Ферсманом и дополненных другими. Плохо, по-моему, издана, несколько путано, и есть много недоговорённого и даже противоречивого. Но я читал её взасос. Не сердись, Маёчек, это всё же много интереснее любых стихов. Я читал книгу, как поэму. Встретится — почитай и ты, советую.

Одолел я также «Историю Украины». Безобразная книга, но — поучительная. Мне пришёл в голову такой вопрос: может ли вообще человек правильно понимать историю, если он не прошел той «высшей» школы, которую мы с тобой прошли и проходим. Сомневаюсь!

Как много мне стало понятно сейчас, чего я раньше понять не мог. Мне, например, непонятно было, как несколько сот «варягов» могли так комфортабельно устроиться в громадной стране, где и дорог-то никаких не было, и грабить огромный народ, разбросанный на огромном пространстве, среди непроходимых лесов и болот. Только, когда я прибыл в Джезказган и познакомился с бригадирами, контролёрами и проч., я постиг механику этого дела.

Постиг я также ценность утверждений о райской жизни первобытного общества, когда у людей фактически ничего не было, и это «ничего» принадлежало всем. Не сердись, доченька, что я отнимаю у тебя время пустяками — другого у меня сейчас нет.

Я все еще сгораю от любопытства узнать тему твоей диссертация на экзаменах. Жму руку твоим соученицам и целую тебя крепко. Твой папа.

14.7.55

Доченька!

Сегодня отправил тебе письмо и только что получил твоё от 3.7 с переводом стихотворений Леси Украинки и других[160]. В своём письме я упомянул о книге академика Ферсмана и сделал по этому поводу довольно плоское замечание о преимуществах научно-популярной литературы перед поэзией. Мне сейчас вдруг пришла мысль в голову, что ты можешь подумать, что я это писал после того, как прочёл твои стихотворения.

Стихотворения прекрасны. В особенности «Родине». Хороши не только по чувству, но и по технике выполнения. Неужели это

ты? Я тебе напишу отдельно, а это только, чтобы избежать недоразумения. Целую, папа

17.7.55

Дорогой Маёчек, здравствуй!

Получил, наконец, авиа-письмо Иринки. Она писала его, сидя у мамы. Из него я узнал, что мама хорошо выглядит, что она несколько поправилась, но мало изменилась, несмотря на седые волосы. Теперь я с ещё большим нетерпением буду ждать впечатлений мамы об Ирине. Я знаю, что она хорошенькая — она всегда такой была, но её духовный облик для меня совершенно неясен. В духовном отношении она нам с мамой обязана ещё меньше твоего. Какой она получилась?

Твоё письмо со стихотворениями ношу в кармане с собою и одно из них, «Родине», показываю умным людям. «Сон» я никому не показываю потому, что оно очень автобиографично, и думаю, что я не имею права его показывать. «Родине» — хорошо. Это даже мне, совершенно бездарному в поэзии, очевидно. Я имею ввиду исполнение. «Страдалец народ», «русский край» — всё это народническое, и вызывает во мне какое-то смешанное чувство. Не пройденный ли это этап? Не нужна ли какая-то другая исходная позиция?

Между молодёжью моего времени и тобой с друзьями — существенная разница. Нам не нужно было так много знать. Была совершенно очевидная, общепризнанная ближайшая задача. Все противоречия и расхождения были далеко впереди и представляли, т. сказать, академический интерес. У вас — совершенно другое дело. Вам необходимо знать неизмеримо больше, а знаете вы ещё меньше нашего.

Я уже писал тебе, что я тут беседую иногда с умными людьми. На днях я гулял с одним «бывшим» историком. Разговор как-то перешёл на такую, казалось бы, отвлечённую тему, как история Киевской Руси …[161]

P.S Ввиду единодушного осуждения моих усов, я решил принести их на алтарь красоты. Но только перед самым отъездом.

24.7.55.

Здравствуй, доченька!

Получил письмо мамы — первое после свидания с Ириной. Хорошее письмо. Она пишет что Иринка — «взрослый и интеллигентный человек», женственная, изящная, с хорошими манерами и, что меня совсем поразило, очень сдержанная. Помнишь, как по дороге в Черновицы один из наших попутчиков назвал её «шило». Нам с мамой незаслуженно повезло с дочками.

Но мама также пишет, что здоровье Ирины неважное: плохо с сердцем и лёгкие не в порядке. Живётся ей тоже нелегко.

Я исправно выполняю твоё желание: читаю Пушкина. Однако — это безнадёжно. Меня искренно интересует один только поэт — М.У., остальные меня мало захватывают, не сердись! К тому же, как на грех, первое стихотворение, которое мне попалось на глаза, когда я открыл наугад 1-й том Пушкина, было «Клеветникам России», и мои старые предрассудки немедленно проснулись. Но об этом в следующий раз.

Ты наверное ругаешься за это столь путанное послание. Я его перечитал и сам над ним посмеялся. Но я не хочу писать другого, так как почта скоро уйдёт. Привет твоим подругам. Целую. Твой папа.

28.7.55.

Дорогая моя!

Получил твоё письмо от 16.7, в котором ты, между прочим, упоминаёшь о своих институтских занятиях и о диссертации. Как я тебя понимаю, когда ты говоришь, что нужно было ещё много учиться и много знать. Но ведь ещё не поздно — ты ещё молода, и жизнь твоя ещё впереди.

Очень понимаю твой интерес к философии. Это, действительно, венец всей науки. Но, признаюсь, твои рассуждения о точных науках и, в особенности, о физике и даже об истории мне кажутся несколько легковесными (не обижайся).

Напомню: в русском языке слово правда имеет два значения: правда-истина и правда-справедливость. Не дорого стоит «справедливость», которая не опирается на истину, т. е., на знание, и не дорого стоит «истина», которая противоречит справедливости. И что это будет за философия, которая высасывает свои положения из толстого пальца, не учитывая новейшие достижения физики? Меня также поташнивает от описания беспрерывных драк и смертоубийств всяких там Святополков, Изяславов, Боголюбских, Грозных, Наполеонов и прочих «великих». Но ведь кроме этих «историй», есть ещё история прошлого человечества, без которого невозможно понять настоящего, и, стало быть, нельзя воздействовать на будущее. При встрече, если к тому времени не изменятся обстоятельства и твоей жизни, мы поговорим о том, как тебя обеспечить стоющими книгами по интересующим тебя вопросам.

Чертовски обидно, что, по-видимому, ты не все мои письма получаешь. Я пишу тебе каждые 4–5 дней, а ты пишешь, что ты две недели не получала моих писем. Поэтому я думаю это письмо направить заказным.

Пишет ли тебе Ирина? Я на своих родственников не могу пожаловаться сейчас. Только сегодня я получил два письма от Бориса с фотокарточками себя и своей дочери. Он — при полных регалиях, покрытый орденами и медалями.

Кроме того, я тут встречаю старых приятелей. Старых без кавычек. На днях я встретил жену своего кишиневского приятеля[162], которого я знал хорошо лет 50 назад. Самого приятеля уже 18 лет нет в живых. Получил письмо от одной девушки, которую я в последний раз видел в 1912 году. И представь, обе — очень бодрые особы. Нет, что ни говори — старики более консервативны и более устойчивы, чем современная молодёжь! Они знают, что мир существует уже давно и что всё, что кажется вечным — пройдёт.

В ожидании ответа Москвы я предаюсь мечтам о встрече с тобой. Вот уж поговорим, так поговорим! Несмотря на бодрый тон твоих писем, мне всё чудится, что ты несколько приуныла. Ей Богу, не стоит!

На днях я прослушал лекцию о самом сумасшедшем периоде русской истории — о «Смутном времени». Раньше я старательно избегал эту тему, когда, по словам А.Толстого, «казаки и поляки нас паки бьют и паки, мы ж без царя, как раки, сидели на мели». Но когда лектор показал мне подоплёку этого дела — мне многое стало понятным и поэтому — интересным. А там ли не была сплошная и, казалось мне, бессмысленная резня?

Дорогая моя, не сердись за бестолковость моих писем. Это происходит потому, что в коротеньком письме мне невозможно говорить по существу, а только намекнуть на впечатление от больших, серьезных тем.

Целую тебя, и до скорого, надеюсь, свидания.

Твой, с нетерпением ждущий встречи, папа.

3.8.55

Здравствуй, родная моя!

Прилагаю фотокарточку Сусанны, посланную мне, чтобы я мог на неё посмотреть и переслать тебе. Лицо её показалось мне странно знакомым. Я думаю, что это — просто ваше с ней духовное родство.

Я полностью почти восстановил связи со своей роднёй. Вчера получил от своей сестры Полины, которую я не видал лет 28–30, денежный перевод — 200 рублей. Обещала даже написать, что в моей семейке — большой подвиг. В результате у меня сейчас скопилось на сберегательной книжке 1100 руб., не считая мелочи на текущие расходы. Таким образом, у меня больше, чем достаточно, денег и на дорогу, и чтобы несколько приодеться для

свидания с тобой. Остаётся только получить разрешение и поехать. И это — будет.

Я сейчас более или менее информирован о твоей институтской учёбе. Этот вопрос имеет не только академический интерес. «Ничто не вечно под луной», тебе ещё придётся учиться и работать и, как я надеюсь, скоро. Тему для диссертации ты, по-моему, выбрала удачно. Действительно, история марксистских кружков и студенческих волнений мало разработана, несмотря на обильную литературу. Очень важно установить преемственность в их идеологии, начиная со времён Грановского, Станкевича и Герцена, преемственность — это очень важно, иначе — жабье кваканье или бессмысленная тоска по тургеневским «дворянским гнёздам». Вот почему обильные цитаты из Ленина мне кажутся вполне уместными в этой теме. Но, конечно, кроме цитат, необходимы еще свои оригинальные мысли, необходим учет исторического опыта. Мне это пришло в голову, когда я читал об увлечении Сусанны Чернышевским, Добролюбовым и проч. Недавно мне попался в руки том переписки Чернышевского. Покойный не отличался большой терпимостью, и что он знал, он знал твёрдо и навсегда. Так, в письме к сыну он страстно возмущается учёными астрономами и математиками за то, что они даже теорию Канта-Лапласа со смешной осторожностью называли «гипотезой» и не считали её аксиомой. Сейчас его жалобы звучат несколько смешно именно благодаря их страстности.

Короче, необходимо много знать и многому учиться. Ты, по-моему, слишком много останавливаешься на романтике, на «терновых венцах». Эти венцы, к сожалению, неизбежная часть «игры», но не самая существенная её часть.

Я тут веду широкую переписку. Редкий день не получаю писем и не отвечаю на них. На днях получил письмецо от своей приятельницы по Парижу 1912–1913 года. Этих «венцов» ей на долю выпало очень много, и я с большим интересом ждал ее письма. Но увы, оно меня несколько разочаровало — романтики много, но учета опыта — мало. Нужно учиться и учиться.

Мама прислала второе отчетное письмо о свидании с Ириной, она отмечает её самостоятельность, интеллигентность и наличие силы воли. Пишет, что, несмотря на юный вид, она по внутреннему содержанию старше своих лет. Мама пишет, что, как это ни странно, Иринка любит и понимает искусство, особенно музыку. Но я немножко сомневаюсь в склонности моей младшей дочери к «терновым венцам». Маёчек, я пишу тебе часто, боюсь, даже слишком часто — надоедаю тебе общими рассуждениями. Вот почему я очень огорчился, узнав, что ты, по-видимому, не все

мои письма получаешь. Это очень грустно.

Новостей у меня по-прежнему, нет. Джека прислала бандеролью пачку научно-популярных брошюр. Но я их ещё не просмотрел, так же, как не читаю английских книг, присланных Стеллой. Читаю капитальный труд — историю СССР для исторический вузов. Труд этот, хотя и капитальный, но по содержанию жидковатый. Однако жую его упорно.

С нетерпением жду твоих стихотворений, они всё же дают представление о твоих настроениях, хотя бы в недалёком прошлом.

До скорого свидания, доченька, и до беседы по душам. Твой папа.

7.8.55

Доченька милая!

Сколько событий! Почти одновременно получил два твоих письма: от 16 и 26 июля. Получил очень хорошее и интересное письмо от Иринушки, письмо от моего брата Лёни, приезд которого в Москву в 1947 году ты, может быть, помнишь. Он тогда с семьёй направлялся куда-то в Среднюю Азию, кажется, в Ашхабад. Узнав мой адрес, он прежде всего прислал 200 рублей. Одновременно пришли ещё 200 рублей от неизвестного из Красноярского края.[163] Таким образом, я располагаю, не считая денег на текущие расходы, нерушимым фондом в 1500 р. Материально наше свидание полностью обеспечено. Дело теперь только в разрешении, и это по-видимому, тоже только формальность, требующая, правда, времени.

Письмо Иринушки меня и обрадовало, и несколько обеспокоило. Она, например, пишет: «У меня бывают иногда настроения, что я начинаю думать, что сатана был прав (помнишь Франса „Восстание ангелов“?) А мне не хочется так думать». Каков клоп!

Она критически пишет и о других прочитанных книжках. Видно — девочка начала думать, а это в родителях вызывает смешанные чувства, которые тебе, я думаю, понятны.

Теперь о наших разногласиях. Да есть ли они, эти разногласия? Ты, по-моему, несправедливо решила, что я «не признаю поэзии». С таким же успехом ты могла решить, что я, например, не признаю музыки, так как откровенно признаюсь, что творения великих композиторов мне совершенно недоступны, хотя я способен пролить слезу, слушая какую-нибудь вульгарную народную песню. Точно так же мне недоступны поэтические красоты признанных поэтов, Пушкина в том числе. Это просто ограниченность вкуса, и ничего больше. Однако об идейном

содержании их произведений я, по мере разумения, судить могу.

Вот возьмём, для примера, «Бориса Годунова». Даже я не могу не восторгаться его исполнением и красотой. Замечательно сделана штука! Однако, перейдём к содержанию. Пушкин просто взял официальную, казённую версию оценки личности Бориса со слов казённого историка Карамзина. Мне очень приятно вспомнить, что Белинский отметил этот недостаток у Пушкина, а он ли не восторгался им.

Получился просто нечистый на руку, властолюбивый царедворец, убивший законного наследника, чтобы захватить его трон. Между тем, уже во времена Пушкина фактическая сторона дела подвергалась сомнениям. Царевич Дмитрий не был убит Годуновым и вообще не был убит, а умер во время припадка падучей, упав на свой нож. Белинский совершенно правильно указывает, что трагедия Годунова заключалась в том, что для решения стоящих тогда перед страной задач нужен был крутой и смелый поворот от политики Грозного, и для этого у него качества не хватило. Он был всего только способный, умный и даже лично порядочный исполнитель воли Грозного. Имею ли я право судить о высоко-поэтическом произведении Пушкина, не обладая чутьем поэзии? Вот в тех пределах, которые я указал выше — безусловно, имею.

Вот ты восторгаешься Онегиным, хочешь его наизусть выучить. Конечно, я не оспариваю поэтических достоинств этой поэмы лишнего человека. Но если не говорить о прекрасном языке и о технике исполнения, а рассмотреть отдельно его содержание, то мы найдём в ней всё того же Обломова. Но какого Обломова? Не безобидного и даже симпатичного Обломова Гончарова, а что-то очень претенциозное и пошловатое, хотя он и «как денди лондонский одет». Он, правда, не такой вредный и пакостливый, как его двойник Печорин, но всё же, такой же ненужный и самовлюблённый Обломов.

Ну вот, я опять расползся в общих рассуждениях и не уложился на четырёх страницах. Писать тебе и получать твои письма стало теперь для меня потребностью.

Чтобы тебе понравиться, я взялся перечитать Пушкина, и тут-то сказался мой органический недостаток: искать в произведении прежде всего содержания. Я всегда считал, что в обострённом интересе к подробностям личной жизни писателя есть что-то нечистое. Биография писателя — это его произведения. Какое мне дело, кого любил или как изменял он, или изменяла ли ему его жена? В Джездах я встретил такого чудака, который отказывался читать и серьёзно относиться к Некрасову, потому что тот отбил жену у Панаева. Дурак!

Но в биографии Пушкина, в его личном характере и качествах, есть моменты, без учёта которых иногда просто нельзя понять некоторых его произведений. Пушкин был лично знаком с декабристами, его ближайший друг Пущин — активный участник движения, но о существовании заговора он ничего не знал. Говорят — декабристы берегли Пушкина, не хотели подвергать Россию риску потерять своего великого поэта. Это — вздор. В то время Рылеев, например, был известен не меньше Пушкина. Нет, они просто слишком хорошо знали Пушкина… Всё это я вспомнил, когда перечитывал «Клеветникам России». И некоторые другие произведения этого периода.

Бывает, что умный писатель выведет глупого героя. Но никогда герой произведения не может быть выше, умнее и значительнее своего автора. Мысли Онегина — это «потолок» Пушкина.

Ну вот, придётся оставить всё на послезавтра. Места не хватает. А всё-таки стихотворение У.М. прелестно. Хорошо также «Родине», но «идеология» его вызывает у меня сомнения. А пока будь здорова и постарайся не очень на меня сердиться за «святотатственные» рассуждения.

Целую свою умненькую дочку.

Папа.

15.8.55

Милая доченька!

Подтверждаю получение твоей жалобы[164]. Я не мог сразу сесть и написать тебе по существу. Не могу преодолеть жестокого приступа антирелигиозных чувств. Но ты и. не ждёшь от меня юридических советов: кому и как писать. Что касается выводов, то я их сделал уже давно.

Как я хотел бы сейчас быть с тобой, чтобы пожать твою мужественную руку. Сожалею, что я так настойчиво домогался подробностей. Тебе наверное больно было их вспоминать и писать. Мама была права — больше, чем когда-либо, я люблю тебя и горжусь тобой. Будь здорова, доченька, береги себя и помни, что ты нужна. Целую тебя крепко, твой любящий папа.

— 20.8.55.

Дорогая доченька!

Я наугад подал заявление-просьбу об отпуске для свидания с тобою, и, против всякого ожидания, мне обещали ответить во вторник, т. е., 23 авг. Думаю, что ответ будет положительный, и я немедленно протелеграфирую тебе. Капиталы мои всё возрастают — твоя тётя Чара прислала еще 200 рублей, и моя поездка к тебе

в финансовом отношении вполне обеспечена. Но, так или иначе, — мы с тобой скоро встретимся.

Береги своё здоровье — я хочу тебя увидеть во всей твоей красе.

Я, как всегда, здоров и мечтаю о нашем свидании.

Целую, пока мысленно, папа

23.8.55

Доченька милая!

Какую я страшную глупость совершил, что раньше времени сообщил тебе о моих хлопотах! Сегодня, когда я явился за разрешением на поездку к тебе, мне предложили прийти завтра. Опытные люди говорят, что может пройти не одно завтра, раньше, чем я получу окончательный и утвердительный ответ. А я тебя уже растревожил. Но всё устроится наилучшим образом.

А пока я готовлюсь к основательным разговорам с тобою. Перечитал «Гайдамаков» Шевченко. В первый раз читал это ровно 50 лет назад. Эта штука стоит того, чтобы её не просто читали, а — изучали! Но об этом до личной встречи.

Прости, что я — коротко. Я как-то разволновался и не могу сесть за основательное письмо. Будь здорова, милая, целую, папа.

24.8.55

Родная доченька!

Ты, конечно, умница, но папа у тебя — совсем напротив. Одна из моих соседок уехала в отпуск куда-то в Сибирь. Узнав об этом, я немедленно помчался к нашему «духовному руководителю» и попросил отпуск к тебе. По глупости я в заявлении указал твой точный адрес[165]. Мне было обещано, что просьба моя «наверное» будет удовлетворена, и я, не дожидаясь ответа, написал тебе открытку об этом. Однако вышестоящие не хотят ещё со мной расставаться. Я тебя, таким образом, напрасно растревожил.

Подумать хорошенько — это неважно, ответы из Москвы стали приходить очень часто. Отказов не бывает пока. В зависимости от моего статуса, я или поеду прямо к тебе, или через несколько дней или пару недель — из Клина.

Получил твоё письмо, датированное 6.8. и одновременно письмо от мамы. Она совершенно правильно считает, что если бы не было трёх смертей, то ответ относительно вас всех уже давно бы поступил. Но в августа он должен быть.

Твое письмо очевидно где-то долго пролежало, но я рад, что его получил. Ты пишешь, что сердце у тебя хорошее и лёгкие — тоже. Вот это самое главное. Восторги мамы но поводу Ирины

несколько остыли, так как та, написав одно письмо, опять замолчала. Мне она написала столько же. Но я ее понимаю — о чем и как нам писать?

Мама мне пишет о каких-то твоих финансовых операциях, чтобы мне помочь, не надо, доченька. У меня теперь наличными деньгами 1700 рублей. Ничего мне не надо, и я совершенно готов выехать по первому сигналу.

Слушаясь указаний своей дочери, я достал Кобзаря Шевченко на украинском языке. Стихи даже на мои тупой вкус — прекрасны, в особенности, учитывая время, когда он их писал. Но (не сердись) я слышал, как этот же Кобзарь читали мои соседи украинцы-патриоты. Читали — а остальные слушали — с таким душевным трепетом, как верующие христиане когда-то Святое писание. Для них он не писатель прошлого века. Читали «Гайдамаков», и я ясно видел, что всё там вполне современно для них. Всё, и «ни ляхов, ни жидов» — в первую очередь. Я перечитал этих «Гайдамаков» дважды и нахожу, что более страшной книги я давно не встречал. Но я вспомнил также историю этого восстания. Конечно, в 1838 году Шевченко не мог указать, что, собственно, на Левобережье Украины положение крестьян было не лучше, чем на Правобережье, в панской Польше, что запорожские казаки во главе с Зализняком только воспользовались гражданской войной в Польше, чтобы основательно её пограбить, и что немалую роль во всём этом деле сыграли православные попы, освятившие ножи, якобы присланные Екатериной. А Гонта — сотник надвірного Уманьского козацства, — т. е., внутренних, полицейских сил Польши, зарезавший своих малолетних детей за то, что их окрестили в католики!

И на страшном фоне дикой, беспощадной резни детей, женщин, стариков — мелодрама трогательной любви Ярёмы и Оксаны.

Боюсь, Маёчек, ты меня плохо поняла. Некрасов конечно прав: «не стареет тема народных страданий», но не пора ли отбросить в сторону барскую жалость к народу и рассматривать народ как собрание полноценных людей — личностей? Жалость к народу — не отдаёт ли она немножко презрением к нему?

Кстати, почитатели Шевченко, которых я наблюдал, это, по преимуществу, интеллигенция, правда, малограмотная. Не в этой ли малограмотности все зло и причины самоуверенности гуннов всех мастей?

Пока до свидания. Целую тебя, милая, папа.

28.8.55

Здравствуй, родная моя!

В ответ на твоё письмо, помеченное 6.8., я несколько дней тому назад отписал тебе подробно, но не уложился на двух листках и продолжаю сейчас.

Меня сильно беспокоит твоё упоминание о том, что «многие относятся к тебе плохо», и в особенности потому, что это, как ты говоришь, «наш брат»[166]. Это что-то мало похоже на то, что мне писала мама и рассказывала Сусанна — нельзя ли поподробнее об этом? Кстати, сдержанность — качество неплохое,

Самая большая новость последних дней — это письмо Иринки. Прекрасное письмо (это уже второе из Черновиц, о первом я тебе писал). Девочка начинает задумываться. Получил также письмо от моего приятеля В.П из Клина и Москвы. Таким образом, мои опасения оказались вздорными.

Я послушный папа. По твоему указанию усердно читаю и даже перечитываю Пушкина и Шевченко. Удастся — познакомлюсь и с Лесей Украинкой, и с Франко. «Бориса Годунова» я и раньше читал с наслаждением, и снова перечел с таким же удовольствием. Если отвлечься от истории, которой там, увы, очень мало, это прекрасная штука.

В первую очередь я перечитал «Медный всадник» и «Моцарт и Сальери» именно потому, что ты их наизусть разучиваешь.

Велик Пушкин и велика сила его художественного гения! (За эту оригинальную мысль я авторских не требую).

> На берегу пустынных волн
> Стоял он, дум великих полн,
> И вдаль глядел…

Всего две с половиной коротеньких строчки, и перед тобой встает, как живой, могучий образ преобразователя России! Читаешь и невольно забываешь, что за время царствования Петра население России сократилось ровно наполовину, что это он создал ту бюрократическую машину — чиновничий рай — которая высасывала все соки из народа, что он превратил страну в сплошной военный лагерь (и только ли военный?). А главное — его успех окрылил сотни больших и малых Пьер ле Гранов, то прорубающих, то заколачивающих окно в Европу. Забываешь и многое другое: его страшную жестокость, массовые казни, безудержное пьянство и разврат, казнь стрельцов, когда он собственными царскими руками пытал и рубил головы стрельцам.

Такова сила таланта Пушкина, к тому же, помноженная на силу привычных, высочайше одобренных представлений.

Меня очень огорчает твоё равнодушие или даже отвращение к истории. Правда, наука эта очень брешлива, пожалуй, самая

брешливая из наук, но без нее никак не обойтись. У тебя это, по-моему, оправдывается только душевной усталостью.

Основательное знание истории тебе понадобится в работе над диссертацией, когда ты выйдешь, если, конечно, ты ещё собираешься её писать.

Ты угадала: мой старик — украинец по национальности, но в остальном ты ошибаешься. Он фигура в некотором смысле историческая — только не украинской истории, а русской. Он даже украинского языка не знает.

Надо кончать, так как я не хочу злоупотреблять терпением «третьего читателя»[167]. Целую тебя, доченька, и до скорого свидания. Папа.

3.9.55

Доченька моя!

Вчера получил твоё письмо от 20.8., позавчера — перевод от Фриды Давыдовны — 100 р. Этот перевод меня очень растрогал и сильно огорчил — деньги ей, пожалуй, много нужнее, чем мне, А сегодня я был потрясён новым событием: получил из Кенгира от бывшего моего начальства посылку — две медали, одну «За оборону Заполярья», и другую — «За победу над Германией». Главное — никогда у меня этих медалей не было.[168] В посылке также — удостоверения к медалям. Всё честь-честью. Не могу похвастать, что понимаю, что сей сон означает.

Тайны работы почтового ведомства я понимаю не больше твоего. Но, насколько я знаю, ты должна запросить бабушку, получила ли она твою посылку, и если нет, то переслать ей почтовую квитанцию, чтобы она могла затребовать посылку от почтового ведомства. Не понимаю — зачем ты вообще посылала мамину шубу — ведь она, может быть, тебе скоро понадобится.

Не беспокойся, доченька. Я ни одной минуты не думал отправлять твоё письмо от 6.8. «по инстанциям», и думаю я о тебе, как ты этого заслуживаешь, т. е., как об очень хорошем, честном и думающем человеке. Твоё несколько мрачное настроение меня, конечно, огорчает, но я не могу не признать, что оно оправдано обстоятельствами.

Цитата из Некрасова — прекрасна[169], и нужно, кроме того, помнить, что «солдат выполняет своё назначение уже одним фактом пребывания его в окопах, даже когда он, по обстоятельствам, не стреляет, не атакует и не берёт крепостей».

Очень тебе благодарен за совет — перечитать Пушкина. Несмотря на полное отсутствие музыкального и поэтического слуха, я, мне кажется, неплохо чувствую язык, слово. «Онегина» я перечитал с большим наслаждением, несмотря на то, что

«идеология» и сам герой романа мне совершенно чужды.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.

Ещё крепче, хотя и грубее, эту же мысль выразил автор «Гулливера»: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки». Ну и что же? Несмотря на кажущуюся смелость и революционность этой мысли, она совершенно бесплодна. В своё время это, может быть, и было оправдано, но сейчас звучит плоско и скучно. Не замечала ли ты, что все «сверхчеловеки», презирающие толпу, в повседневной жизни ничем не отличаются от презираемого ими мещанства? А сам Онегин?

Великий Пушкин тоже не лишён был человеческих слабостей. Возьми его смешную, тщеславную гордость своим знатным происхождением.

После победы над «псами-рыцарями» Александр Невский, этот предшественник Грозного и Петра, крепко закрутил Новгород и стал урезывать его вольность. Новгородцы возмутились и выгнали Невского из города. Великий патриот и святой отправился в Орду и там попросил помощи против своевольных новгородцев. Татары, которым ни разу не удавалось взять Новгород, охотно согласились и дали Невскому войско. Вместе с татарами и во главе своей собственной Переяславской дружины он подступил к стенам города. Там у него были свои сторонники. Боярин Радша (Пушкин) ночью открыл ворота и впустил татар и Невского. Союзники крепко похозяйничали в городе, а сам Невский расправился с организаторами и сторонниками восстания. Невский им всем выкалывал глаза. Пушкин, доказывая своё благородное происхождение, писал:

Мой предок Радша в поле брани
Святому Невскому служил.

Как бы ни относиться к ратным подвигам Радши, ссылка Пушкина на этого предка сильно понижает его право «презирать людей». Какие бы ни были люди «вообще», их нужно изучать. Изучать и искать закономерностей их поведения, как в нормальных условиях, когда они выступают как отдельные личности, так и тогда, когда они действуют «толпой». Это, в сущности, и есть предмет истории. Без этого все венцы, в том числе и терновые, совершенно ни к чему. Ну пока, до свидания, дорогая. Хочешь-не хочешь, а я буду тебя долго донимать

историей.

Целую тебя крепко-крепко. Твой папа.

9.9.55

Хорошая моя, здравствуй!

Получил твоё письмо от 28.8. ещё два дня назад и, против обыкновения, не засел сразу за ответ, а всё обдумываю его. Но сначала — о домашних делах.

Приеду — поговорим основательно о делах Лауры[170], а пока, если бы она написала дочке коротенькое письмецо и приложила отдельно ее адрес — я мог бы его переслать с припиской. Всё-таки мой обратный адрес приличнее.

Ты «не совсем согласна» с моей оценкой действий дочки Лауры. Это, думается, потому, что ты, по молодости, склонна подходить ко всем с одним и тем же аршином. Но, будь уверена, что тебя я судил бы значительно строже.

Теперь о твоих ошибках. Главная твоя ошибка — это переоценка возможностей, которые у тебя были, и переоценка результатов, которых, якобы добивались другие. Между тем, тут нужна бухгалтерия особого рода. На эту тему я уже тебе писал и, чтобы не повторяться, и чтобы сэкономить место, больше об этом сейчас не буду.

Читая о твоём «выдвижении» на экзаменах, я вспомнил сцену прощания князя Андрея с отцом в «Войне и мире». Старый князь говорит Андрею, отправляющемуся на войну: «Береги себя, мне будет жаль, если тебя убьют». И добавляет сердито: «Ну, а если будешь слишком беречь себя — мне будет стыдно». Конечно, «метать бисер перед свиньями» не стоило бы, но бывают моменты и положения, когда вступает в силу упомянутая выше «особая бухгалтерия».

Нет, Маёчек, я не думаю, что автор исторического романа или драмы обязан придерживаться исторической точности. Художественное произведение — не история. Сплошь и рядом автор сознательно «исправляет» историю, переносит события и лица из одной эпохи в другую, выдумывает события и положения, которых не было. Помню, Шекспир в одном из своих произведений помещает Чехословакию (Богемию) на берегу моря со всеми вытекающими для героев последствиями. Датского принца Гамлета, вероятно, никогда не существовало, и я думаю, что «Гамлет» остался бы великим произведениям, если бы Шекспир перенёс Данию в Конотопский уезд.

Но ведь и читатель имеет право, читая исторический роман или драму, вспоминать историю. Он имеет право также делать выводы о взглядах автора, об идеях, которые его одушевляли,

когда он писал, словом, о духовном мире автора. «Годунова» я читаю с неизменным удовольствием. Хорошо, художественно сделанная штука. Но Пушкин недаром посвятил её Карамзину. Трактовка самого Годунова, событий и других лиц — совершенно карамзинская, т. е., в угоду дому Романовых и самодержавия. Скажешь, что он вынужден был это делать, чтобы иметь возможность писать и пользоваться покровительством двора Николая Первого. Допускаю, но почему же нельзя теперь, когда Николая нет, восстановить историческую истину, которая меня интересует, потому что она тесно связана с настоящим?

Пушкин же был человек, и ничто человеческое ему не было чуждо. А вообще «монолитных» людей в природе не существует. Люди обычно сплетены из самых различных, часто противоречивых качеств. Нет ни абсолютных злодеев, ни идеально добродетельных людей, ни абсолютно умных, ни даже совершенно глупых, где-нибудь и в чём-нибудь они на месте. Ты, мне кажется, совершенно права, когда сравниваешь его с Моцартом (не настоящим Моцартом, его я не знаю, а Моцартом в драме «Моцарт и Сальери»). Гениальный поэт, может быть, ещё более крупный прозаик (в потенции), очень умный человек, умевший так тонко подмечать и карать человеческую глупость, он сам играл очень смешную и жалкую роль при дворе. Не читала ли ты Тынянова «Пушкин» — очень хорошая книга, очень грамотно и честно написанная.

Я имел в виду ответить тебе по всем вопросам, затронутым в твоём письме, но видишь, расползся в мелочах и главного не сказал. Но я пишу часто, и буду тебе писать через пару дней.

Только что получил письмо от мамы. Она, по-моему, высказывает совершенно правильную мысль, что скандальность вашего дела задерживает его пересмотр. Она также пишет, что они с Сусанной усиленно занимаются науками. Молодцы! Читаю прозу Пушкина. Очень хороши «Повести Белкина» и «Станционный смотритель». Но об этом в следующем письме. Целую тебя крепко, приветствую Лауру. Твой упрямый папа.

19.9.55

Дорогая доченька!

Получил письмо от Ирины, Она уже «целых три дня» работает. С утра она учится, а с 5.30 вечера до 12 ночи дежурит медсестрой на фельдшерском пункте завода безалкогольных напитков. Она не забывает упомянуть, что больные, обращаясь к ней, называют её «доктор». Письмо очень бодрое, хотя ей, бедняжке, очень нелегко. Прислала две фотокарточки. На одной — она с молодым человеком, которого она в письме называет

скептиком. Из письма моего приятеля В.П. я знаю, что он студент 4-го курса Черновицкого мединститута, микробиолог и, как говорит В.П., собирается не далее следующего года совершить великое открытие в микробиологии. Выражение лица у него, действительно, «скептическое», но неглупое. Хорошее лицо думающего человека. Что же касается его скептицизма, то у хорошего человека это качество — неплохое, и для Иринки полезное. Полагаю, что тебе как старшей сестре это интересно.

Хорошо понимаю твоё отвращение к истории. Я сам раньше за три версты оббегал эту скучную «муру» Тот самый Щедрин, которого «История города Глупова» тебя так утомила (меня — тоже), где-то рассказывает об одном историке, который, примерно (я — по памяти) так излагал свой предмет: «Царь имярек вступил на престол в таком-то году. Он нашёл страну разорённой и опустошённой; но великими трудами, неустанными заботами о государстве и мудрым управлением народом, он привёл её в цветущее состояние, В таком-то году он в бозе почил. Ему наследовал царь имярек. Он нашёл страну разорённой и опустошённой, но великими трудами и т. д. и т. п».

Разве это уж так не современно?

На Лубянке мне попалась История Рима известного историка Моммзена. Меня она так захватила, что, когда я в Джездах встретился со специалистом — профессором истории, я прямо закидал его вопросами: чем объяснить блестящие победы римских армий и завоевание ими почти всего известного тогда мира? Почему эти же римляне были так легко потом разгромлены варварскими германскими племенами? Ответ — римляне переживали тогда период разложения родового строя. А другие народы, например, галлы, германские племена и другие? Они — тоже. Почему же галлы и другие победили Рим, а не наоборот? Ответ: они переживали период разложения родового строя. То же самое я нашёл во всех учебниках истории, которые мне тут попадались. То же разложение родового строя, но разбавленное датами сражений, эксплуатацией, восстаниями и проч. Так ли уж устарел Щедрин?

Я расписался об истории, и даже не остаётся места для поэзии. А жаль, я недавно узнал о религиозных взглядах индусов (конечно, от своего старика, который, кстати сказать, очень плох, доходит[171]). Очень поэтично, куда красивей еврейско-христианско-мусульманской религии. Но об этом — до другого раза.

Письмо мамы, которое я только что получил — далеко не такое бодрое, как Иринки, но тревожится она не о себе, а по поводу задержек с твоим делом. Но, хотя она высказывает

совершенно правдоподобные предположения, что неудобно, после того, что сделали с мальчиками, просто разогнать вас по домам, всё же это им придётся сделать. Пахучее дело!

Я даже думаю, что ты, может быть, не дождавшись меня, скоро махнёшь в Караганду. Всё может быть.

А у меня всё по-старому, только ещё скучнее. Слухами тут буквально земля полнится.

Получил письмо от Бориса Отставной полковник, многократный орденоносец, он ютится с семьёй в сыром подвале. Прислал фотографию своей супруги — дама пудов на девять. Всё приглашает в Одессу. Только бы выбраться отсюда, а там будет, куда поехать. Привет твоим друзьям. Жму руку и целую крепко. Папа.

25.9.55

Доченька дорогая!

С неделю назад на меня вдруг напал такой свирепый грипп, с кашлем, насморком и всем прочим, что я только сегодня пришёл в себя. Вот почему я на пару дней пропустил срок тебе писать.

Мама в последнем письме очень хорошо пишет: «Несмотря на все злоключения, не жалею, что живу сейчас, и не прочь прожить ещё 50 лет». Представь, я чувствую совершенно то же самое. Очень интересно жить! Толстенный том переписки Маркса-Энгельса я проглотил, как приключенческий роман — даже выписки делал. История — не только забавная, но очень утешительная наука! Мама ещё пишет о своих занятиях в науках и правильно указывает, что молодому поколению нужно сейчас много больше над собой работать, чем это нужно было нам, когда мы были молоды. Нам было слишком легко. Ведь мы были «победителями», нам не нужно было стараться, приобретать знания, вырабатывать волю, характер. От нас требовалось только быть «на правильной стороне». Впрочем, тут она немного не права. Эта тогдашняя лёгкость нам потом боком выходила, ведь чего греха таить, и мы несём тяжёлую ответственность за то, что потом произошло.

Жестокий насморк не помешал мне вчера пойти в кино. Давали «Княжну Мэри», якобы по Лермонтову. Советую посмотреть, если у вас её показывать будут. Лермонтова там мало — просто несколько пошловатая подделка с пением и танцами.

Даже в ранней юности, когда я ещё очень увлекался демоническими героями, Печорин производил на меня отталкивающее впечатление. Ты в своем письме, конечно, правильно подчёркиваешь смягчающие его вину обстоятельства — стремление к активной деятельности при отсутствии поля

приложения своих сил и проч. Но сколько я за 7 лет насмотрелся этих демонических фигур, преимущественно среди бригадиров и прочих придурков. И ты бы послушала эти восторженные взвизгивания девиц и довольные смешки молодых людей в зале. Нет — Печорины — ещё далеко не прошлое. Но я боюсь, что ты когда-нибудь потеряешь терпение и рассердишься на меня серьёзно за мои еретические взгляды.

Ещё несколько человек получили разрешение отсюда вернуться домой. Один из них прибыл вместе со мною и тогда же начал хлопотать, когда и я. Но он, кажется, подходит под Указ[172]. Так или иначе, скоро и мой черёд подойдёт. Прямо терпения не хватает ждать.

Напиши мне, пожалуйста, что ты сейчас читаешь и чем интересуешься. Я весь ушёл в историю, но тебя она не интересует. Как жаль, я об этом мог бы писать и писать.

Если ты переписываешься со Стеллой, передай ей мой привет. Приветствуй также Лауру. Как у неё дела с дочкой? Я уже писал тебе, что мне кажется, письмо отсюда, возможно, скорее бы дошло. Что если бы она написала? Я бы переслал, и, если нужно, написал бы от себя несколько слов.

Целую тебя крепко и жажду тебя видеть. Твой папа.

1.10.55.

Здравствуй, доченька!

Получил твоё письмо от 14.IX. Ты совершенно права: больше ждали, подождём ещё немного. Свидание наше состоится и, наверное, скоро. Каждую почти неделю из нашего дома уезжают люди. Сегодня отправилась партия, и один из них прибыл сюда вместе со мною. Я, вероятно, один из ближайших на очереди. И даже лучше, если немного позже — больше шансов, что условия будут более благоприятными. И тогда ты воочию убедишься, какой у тебя папаша богатырь, а вовсе не утиль, как ты, видимо, думаешь.

А пока наша переписка тоже служит этому свиданию. Нужно обговорить всё менее важное и спорное, чтобы при встрече осталось самое важное. Очень рад, что ты, наконец, обзавелась ватным одеялом — я тут, как буржуй, летом и зимой под ватным сплю.

Твоя подруга-украинка, видимо, очень хорошая девушка, и Франко тоже был очень хороший человек и, помнится, хороший писатель. Сожалею, что тут всё еще нет его произведений, но я помню, какое сильное впечатление произвели его рассказы на меня в детстве, и сейчас, 50 с лишним лет спустя, я помню его тюремные рассказы, особенно один, где еврейский мальчик,

подстреленный часовым за то, что взобрался на подоконник, умирая, просит: «Света, больше света». Очень хорошо, что Франко по поводу «роковин» Шевченко говорил так, как ты пишешь[173], но, тем не менее, «Гайдамаки» всё-таки самое значительное произведение Шевченко и самое для него характерное.

Семейное сходство между нами видно не только в форме твоего носа — мне так же противны подвиги всех и всяческих мясников, во имя чего бы они ни действовали. Кстати, Кулиш, видный украинский деятель, тогда же, в 1846 г., советовал Шевченко сократить и переделать «Гайдамаков», и его раздражало торжество мясников и кровавая бойня. И всё-таки, Шевченко, действительно, был великим поэтом украинского народа в неизмеримо большей степени, чем Пушкин — русского. Я не знаю во всей русской литературе 19-го, по крайней мере, века писателя, который имел бы большее право на звание поэта своего народа, чем Шевченко, даже Некрасов, который идейно, конечно, много выше, даже Толстой и Кольцов.

Но, конечно, украинские интеллигенты, которые сейчас, в. середине 20-го столетия, ищут в нём практическое руководство к действию, просто доказывают, что они не тем местом думают.

Нет, Маёчек, я не беспокоюсь, что ты можешь стать сектанткой. Я этого, правду сказать, и раньше не боялся — для этого ты слишком думающий и честный человек. Дело вовсе не в мщении. Мщение кому? Трагедия именно в том и состоит, что нет конкретных виновников, и никакое мщение не может что-либо изменить, в особенности, в совершённом. Стиснуть зубы и продолжать драку, вот в чём единственно достойный ответ честного человека. А что можно взять у Христа? Любить всех — это не любить никого. Ненависть и любовь — это не противоположности, а только разные стороны одного и того же чувства. Если тебе твой возлюбленный скажет, что он тебя любит потому, что Бог велел всех любить, и что он также любит и твою кухарку, и милиционера и всех прочих, то ты не сильно возрадуешься, я думаю. А теперь о жалости и о жалости к народу. Нужно ли это? Декабристы жалели мужика, потому что они были господами и стояли выше его. Русские интеллигенты — революционеры и народники — тоже жалели мужика, и по той же причине. Но Шевченко не жалел. Он был частью своего народа, его певцом. Зачем ему было перед самим собою в лепешку расшибаться? На протяжении всей истории мужик был и остаётся основой общества. Страдает, нищает мужик — гибнет общество, государство. Рим завоевал весь известный тогда мир, но при этим он разорил своего мужика — и Рим погиб. Разве такому богатырю нужна жалость? Это все равно, что жениться из жалости. Мы —

часть народа, конечно, не украинского только, или русского, еврейского или другого. Кого же жалеть?

За семь последних лет у меня, да наверное, и у тебя, накопилось достаточно горечи. Но, преимущественно, не из-за мужика, а из-за недоучек-интеллигентов. Не нужно шоколадных мужиков — их нет, и не надо. Рабство отвратительно, конечно, с обеих сторон — и со стороны рабовладельцев, и со стороны рабов. Рабство создаёт также «гайдамацкие» подвиги.

Но я опять заговорился, придётся отложить.

Целую тебя крепко и жму руку Лауре и прочим. Папа.

3.10.55

Доченька, поздравляю тебя с днём рождения!

Не сердись, милая, пересчитал свои капиталы и прямо ужаснулся своему богатству. Перевёл тебе 100 рублей, чтобы ты могла поесть вкусного и угостить своих подруг. Я тоже отмечу этот день со своими товарищами и выпью за нашу скорую встречу в кругу близких и друзей. Не обращай внимания на гнусную действительность — она миф, её даже нет. Так, просто скверный сон. Верь, мы ещё повоюем! Целую тебя крепко, крепко и желаю много, много, счастливых праздников.

Твой любящий папа.

9.10.55

Здравствуй, милая доченька!

Ещё раз поздравляю тебя с днём рождения! Надеюсь, что тебе удалось как-нибудь отметить этот день (получила ли ты ассигнованные на это 100 рублей?). Что касается меня, ты можешь быть уверенной, что 20 октября я вместе со своими друзьями крепко выпью за именинницу.

Только что получил письмо мамы от 24.9. Оно полно надежд на наше общее скорое свидание. Кстати, она сообщает, что по сведениям из Москвы, твоё дело продвигается — обещали решение на днях. Мне трудно судить, насколько эти надежды обоснованы — живу на отлёте, вдали от источников «внутренней информации». Но даже в мою тихую обитель проникают обнадёживающие слухи о предстоящих переменах. Перемены же вообще я считаю вполне вероятными, если даже не столь радикальными, как надеется мама. Наше положение тесно связано с «текущим моментом», а он весьма запутанный и сложный. Несомненно, мы живём в очень интересное время, но, как утверждает один мой приятель, «в интересные времена бывает очень скучно жить». Вот тебе и диалектика!

Что бы я стал делать, если бы я был моложе? Я, думается,

навалился бы на приобретение знаний, на подготовку к предстоящей жизненной борьбе. Но я не молод и, кроме того, я всю жизнь и всегда увлекался не тем, что мне практически бывало нужным. Так и теперь. Мой приятель-историк познакомил меня с религиозными воззрениями индусов, и я загорелся интересом к этому незлободневному вопросу.

Буддисты также утверждают тройственность Бога. Они верят в переселение душ. После смерти человека его душа поступает в распоряжение Шивы — бога справедливости и правосудия. Если она в течение истёкшей земной жизни вела себя «по-людски», то следующий цикл она совершает опять в человеческом образе. Если же она вела себя «по-свински» и этим доказала, что она ещё не доросла до уровня, достойного человека, то она переходит в тело свиньи, волка, змеи и т. д., в зависимости от её поведения в жизни. Но решение Шивы — не окончательное. Над ним высшая инстанция — Вишну, бог любви и милосердия. Вишну учитывает и раскаяние, и человеческую слабость и даёт душе возможность исправиться в следующей земной жизни. Над Шивой и Вишну находится собственно Бог — Брама. Он — бог света, творец мира и всего живущего. Выполнив эту трудную работу, он навеки погрузился в состояние вечного блаженства — нирвану.

Верующие строят ему великолепные храмы, возносят хвалу, но совершенно бескорыстно, не ожидая за это никакого воздаяния — Брама не занимается земными делами. Будда — не Бог, он учитель жизни и ходатай по делам человеческим перед богами справедливости и милосердия.

Никакого Страшного суда, истребления неверующих или инаковерующих, — не предусматривается. Ада и рая — тоже. Предполагается, что души человеческие, совершая свои бесконечные переселения, будут постепенно и постоянно совершенствоваться, пока они, подобно богу, не достигнут вечного покоя — блаженства нирваны. Это основа буддизма. Кроме этого, существует ещё много пережитков древнейших верований и много более или менее глупых и диких суеверий, в зависимости от культурного уровня верующих.

Я ещё подожду принимать буддийскую веру, но мне она кажется несравненно более поэтичной и разумной, чем единобожие. Любой из этих богов куда симпатичней жестокого, деспотичного и раздражительного еврейско-христианского и мусульманского Бога. А эта религия возникла годов на 3–4 тысячи раньше нашей эры. Верь после этого в прогресс человечества. Но я не буду больше об этом, не то подумаешь, что я это — в порядке антирелигиозной пропаганды.

В ответ на мое письмо на восьми страницах (история

европейских народов), Иринка прислала открытку и обещание большого письма. Опять написал ей на восьми страницах на ту же тему. Добьюсь установления регулярной переписки.

Мне тут встретилось ещё одно очень поэтическое произведение. Это рассказ Куприна, о котором я хотел с тобою поговорить. Но я не хочу злоупотреблять терпением третьего читающего. До следующего раза.

Будь здорова, доченька, и до скорой встречи. Целую тебя крепко. Твой папа

14.10.55

Доченька!

Получил твоё письмо от 22.9. Чтобы опять не забыть, подтверждаю сразу, что уже давно получил от тебя штук 15 почтовых марок. Я всё забывал упомянуть об этом. Когда у меня выйдут запасы готовых конвертов, я эти марки использую.

Боюсь, что ты придаёшь чрезмерно важное значение случаю с медалями. Медаль «За победу над Германией» у меня точно была, но «За оборону Заполярья» — не было. Этот случай только доказывает, что в соответствующих инстанциях изменились некоторые порядки, и что служаки из Главсевморпути[174] меньше трясутся от страха. Это — тоже немало, но не то, что ты думаешь. Вдобавок, я никому ни разу не писал, а это, по-видимому, непременное условие. Но всё это меня очень мало беспокоит. Всё равно — всё к лучшему.

Я уже писал маме и просил её беречь свои нервы. Все эти ожидания со дня на день «торжества справедливости» треплют нервы и подрывают здоровье. Всё дело в «текущем моменте», а он — ох, как запутан! Когда я пишу эти слова, радио передаёт содержание передовой «Правды» по поводу скверного поведения иранского правительства, и это тоже имеет прямое отношение к нам и к нашему положению. И, вероятно, не это одно. Поживём-увидим, а пока, блажен, кто умеет ждать, по возможности, не теряя времени.

Ты очень умненько заметила, что «кто разочаровывается в людях и презирает людей, тот прежде всего презирает в себе те же качества и в себе разочаровывается». И в этом вся суть! Но, нужно признаться, что к себе мы склонны относиться значительно снисходительнее, чем к другим.

Тебе, доченька, крепко не повезло. Я был много счастливее твоего — я в жизни встречал очень мало действительно плохих людей. Один, по-моему, очень умный человек выразился так: «плохих людей нет, есть только очень глупые и очень трусливые люди». Тут есть, может быть, преувеличение, но есть и довольно

увесистое зерно истины.

Человечество существует уже около миллиона лет. За это время оно накопило много знаний и много полезного опыта, и продолжает его накапливать, становясь всё мудрее. Но каждый человек в отдельности живёт не миллион, а всего около полусотни лет, и должен начинать с самого начала. Современный человек ни на один грош не умнее и, значит, не лучше своего собрата времён Сократа и, может быть, даже глупее. Доведённое до крайности разделение труда не содействует развитию умственных и нравственных качеств человека. В этом противоречии между коллективной мудростью человечества и индивидуальной ограниченностью людей — может быть, основная трагедия современности. Но всё ли тут трагедия?

На днях мне попался рассказ Куприна «Тост». Это — фантазия о счастливом будущем. В 2906 году на торжественной встрече Нового года один из инженеров электромагнитной ассоциации «Всемирно-анархического союза свободных людей» произносит речь. Он прочёл книжку, которая его сильно потрясла: «История революций XX столетия». Собрание происходит на Северном полюсе. Как водится, много места в рассказе уделено замечательным техническим достижениям и, конечно, все присутствующие очень красивы и одеты в прекрасные одежды будущего.

Оратор рассказывает потрясённым слушателям об ужасах прошлого и потом переходит к рассказу о бесстрашных людях, которые в тогдашних условиях жертвовали своей жизнью и свободой в борьбе за свободу. Все молча выпивают бокал за безвестных борцов, «которые добровольно отрекались от радостей жизни, кроме одной — умереть за свободную жизнь человечества». Но женщина необычайной красоты, сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась головой к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос его о причине слез, она ответила едва слышно:

«А всё-таки… как бы я хотела жить в то время…с ними…с ними».

Тут я, к сожалению, должен остановиться и отложить дальнейшее до следующего письма. Целую тебя, дорогая, и надеюсь на скорую встречу. Привет близким. Папа.

21.10.55

Здравствуй, доченька!

Вчера вечером отпраздновал день твоего рождения. Несмотря на скромную обстановку, праздник прошёл, как выражаются сейчас в газетах, «в духе дружбы, сердечности и взаимного

понимания». Твою фотокарточку (последнюю) мы поставили на видном месте и, выпивая за твоё здоровье, обращались к ней. Приветствовали тебя так усердно, что у меня сегодня еще голова немного трещит.

Следующий твой день рождения, я думаю, мы отпразднуем всей семьёй, вместе, и в более весёлой обстановке. Несмотря на все колебания и зигзаги, у нас, как говаривал, хотя и не очень грамотно, но с большим чувством, мой начальник по Профинтерну, «динамика вперёд, а не взад». Но колебания, по-видимому, ещё будут.

Моего приятеля В.П., о котором упоминает Ирина в письме к тебе, ты не могла знать — мы с ним близко сошлись в Джезказгане. Теперь он в Москве или под Москвой. Он доктор биологических наук, учёный с мировым именем в своей области. И при всём этом — прекрасный человек, К сожалению, ему сейчас довольно туго приходится материально, иначе я был бы более спокоен за Иринку.

Надо сказать, что мне вообще везло на хороших людей «за эти годы». Может быть, это отчасти объясняется одним моим крупным недостатком — равнодушием к конкретным людям при повышенном интересе к человеку вообще, отвлечённому человеку. Это — крупный недостаток, но благодаря ему у меня требовательность к людям меньшая, и меньше и поводов к разочарованию. От людей я требую только «значительности». Меня очень обрадовало, что хотя бы в одном пункте наши литературные вкусы совершенно совпадают. Я тоже очень люблю Голсуорси. Сейчас я перечитываю его роман «Человек-собственник» (на английском языке). Это не самое его лучшее произведение и не самое для него типичное. Оно было издано в 1906 году, а через 20 лет вышли остальные книги «Саги о Форсайтах». В период издания «Собственника» он писал: «Мною руководит ненависть к форсайтизму». В книге он всё время полемизирует со своими героями, шаржирует их и ругает. Сомс Форсайт, собственник, — прямо отвратителен. За 20 лет отношение Голсуорси к своим героям значительно изменилось, в особенности, к Сомсу. Из чёрного злодея он постепенно превратился в положительного героя и даже очень симпатичного человека. Но даже в этой первой книге Саги, несмотря на откровенно отрицательное отношение автора к героям, они производят какое-то двойственное впечатление. Цель их жизни — зарабатывать деньги, и это вызывает отвращение, но они сами очень значительны (не все, конечно) и как-то симпатичны, человечны.

Для любой цели в жизни нужны значительные люди. Это и

нам нужно.

Если ты Михайловского читала только ту книгу, которая оставалась после того, как милые соседи растащили остальное, то это очень жаль. В этой книге, помнится, — только литературные заметки и отзывы об авторах, которые сейчас не представляют больше интереса. Как жаль, что тебе не встречались его основные работы. Они сейчас неожиданно приобретают актуальное значение.

Как видишь, твои марки пошли в ход. Я использую их и для писем к тебе, и к остальным моим корреспондентам. Жаль только, что мама стала что-то реже писать. У неё уборочная, и, вероятно, она сильно устает.

Я надеюсь, что ты будешь больше беречь свои силы и нервы. Пригодится. Целую тебя крепко, и до скорого свидания. Жму руки твоим друзьям. Твой папа.

[Без даты]

Дорогая доченька!

Я уже привык каждые 5–6 дней с тобою беседовать, и хотя с новостями у меня весьма негусто, сажусь тебе писать.

Сегодня ещё шесть человек получили разрешение ехать домой, значит, и мой черёд может наступить скоро. Ужасно надоело ждать!

Получил письмо от мамы. Она, между прочим, сообщает, что они с Сусанной усиленно занимаются, изучают историю философии. Сусанна изучает английский язык и, по словам мамы, делает успехи. Время распределили строго по расписанию: художественной литературе отвели один час, перед сном. Вот отчаянные молодцы!

Старый мой приятель В.П., долгое молчание которого меня сильно беспокоило, неожиданно прислал длинное письмо, посвящение, как обычно, хвалебным отзывам об Ирине. Однако сама Ирина из Москвы ничего не написала. Родственники тоже, написав по письму (Борис — два), замолчали.

У нас тут и раньше было скучновато, а теперь — зеленая тоска. Ветры — свирепейшие, и холодно. Прогулки в поле пришлось оставить. Сидим по комнатам и дуемся в шахматы. Сосед по комнате с утра очень чувствительно, но фальшиво и противным голосом уверяет, что «белой акации гроздья душистые ему не забыть никогда», а я вспоминаю, что на этот же мотив во время гражданской войны и у нас, и у белых были очень популярны бравурные марши: «Смело мы в бой пойдём» и т. д. Верь после этого, что музыка передаёт определённые чувства и даже мысли!

Так как с приличным чтивом тут всё ещё туго, то приходится ограничиваться воспоминаниями о ранее прочитанном. Кстати, помнишь ли ты статьи Михайловского?

Он очень много места и внимания уделял вопросу о различии психического состояния человека-индивидуальности и того же человека как части толпы. В толпе человек легко поддаётся внушению — гипнозу и способен совершать вещи, которые он никогда не совершит в нормальном состоянии. На английском языке, кроме понятия толпы в смысле сборища людей, есть ещё понятие «толпа» в таком именно состоянии внушения, или массового гипноза. Такая толпа называется по-английски mub. Маб линчует негров, совершает погромы и прочие подобные подвиги. Не помню, рассказывал ли я тебе о книжке Хаксли «Славный новый мир». Это утопический роман о будущем обществе. В этом будущем обществе младенцам, укладывая их спать, надевают наушники, и они сквозь сон слышат тихим, нежным голосом повторяемые нравоучительные истины. Это то же внушение, только механическое, и убеждения, таким образом полученные, на всю жизнь застревают в мозгу. Однако, прав ли Хаксли, когда он эту систему массовой штамповки убеждений, производства маб`а, переносит в будущее? В древние времена люди приходили в состояние массового гипноза только изредка, в храмах, под влиянием однообразных заклинаний, молитв и музыки. В цивилизованном мире миллионы людей, одновременно читая одну и ту же газету или слушая радио, подергаются процессу массового внушения и гипноза. Маб перестаёт быть случайным, эпизодическим явлением. Как всё это утешительно!

Перечитываю Тургенева «Накануне». Он всегда был моим любимым писателем. Голсуорси считал его своим учителем. Кстати, читала ли ты Голсуорси «Сага о Форсайтах»? Если нет — прочти — ученик, по-моему, лучше учителя много.

Всю эту философию я развел только потому, что, как я уже сказал, другого материала у меня не было, а разговоры с тобой — потребность.

Будь здорова, дорогая. Целую тебя крепко. Твой папа.

26.10.55

Милая доченька!

Получил твое письмо от 6.10 и немедленно помчался в город снова просить об отпуске для свидания с тобою. На этот раз ответ такой: «получите раньше разрешение на свидание». Одновременно с настоящим письмом посылаю письмо на имя начальника вашего отделения, вложу в конверт одну из твоих марок. Авось твой начальник растрогается и ответит. Тебе тоже,

со своей стороны, необходимо подать заявление-просьбу о разрешении свидания. Если получишь положительный ответ — немедленно напиши мне (разборчиво — я предъявлю его своему начальству).

Так как всё — несомненно к лучшему, то всё уладится наилучшим образом.

Вместе с твоим письмом пришло письмо Лауры. Я ей уже ответил, но прошу тебя, со своей стороны, убедить её ничего больше не предпринимать. Надо подождать года два, и Адриана ей сама напишет. Девочка страшно напугана, и настойчивость со стороны Лауры не поможет, а может только повредить делу. Лаура — чужестранка и не понимает, что исключение из комсомола — далеко не то же самое, что никогда в него не вступать. Это может стать началом очень многих и крупных неприятностей. Впрочем, обо всём этом мы ещё поговорим при встрече.

Очень хорошо и правильно, что мы не поджидаем ответов на письма и пишем регулярно. Только так и можно установить настоящую связь. Но я не всегда помню, что именно я писал и в каком письме, и вот — в последнем твоём письме мне некоторые места остались непонятны. Так — ссылка на моих земляков в связи с датой 13.2.1952[175], и твоя уверенность, что не может случиться, что ты ко мне приедешь раньше, чем я к тебе.

И совершенно непонятно, в какие это тёплые края ты собираешься на полгода — на год?[176] Но и это мы уточним при встрече.

Да, я думаю, что тебе нужно использовать «каникулы» и пополнить свой «багаж». Этим я не хочу сказать, что ты должна заниматься по какой-то программе, как это, по-видимому, делают мама с Сусанной, но продумать всё, что было и постараться всё понять — это необходимо. Для этого каждый может и должен идти своим путём. Нет, например, никакой необходимости обязательно изучать языки, если обстоятельства этому не благоприятствуют. Но как-нибудь уяснить себе смысл происходящего, усвоить коллективный опыт человечества, в одной области больше, в другой — меньше, в зависимости от вкуса и наклонности — это обязательно нужно. Как жаль, например, что тебя совершенно не интересует история — ну, хотя бы история культуры, цивилизации. Этому «обстоятельства», правда, тоже мало благоприятствуют, но, при способности критически читать и мыслить, можно все-таки кое-чего сделать. Кстати, с большой высоты общечеловеческих проблем «мелочи жизни» не так бы лезли в глаза — их легче было бы игнорировать.

Я не проповедую терпимости. Ни к идеям, ни к людям.

Терпимость для меня — категория юридическая. Каждый должен иметь право думать и исповедовать, что он хочет. Я знаю, что в истории человечества все попытки ограничить это право приводили только к страданиям, к несчастьям, и надолго задерживали его прогресс. Но это не значит, что можно поставить знак равенства между всеми и любыми идеями и всеми их носителями. Есть что-то глубоко безнравственное в барским безразличии к добру и злу. У Чехова какой-то гимназист, помнится, говорит своему отцу: «И я ничего не знаю, и вы, папаша, ничего не знаете — всё относительно…» Ну, опять зафилософствовался и не успел дописать. Не забудь про заявление. Целую тебя крепко и с нетерпением жду свидания. Твой упрямый папа.

31.10.55

Здравствуй, милая доченька!

Получил одно да другим два твоих письма от 10 и 16 октября. Ты понимаешь, что мрачный тон предыдущего письма меня не мог не огорчить, но я совершенно согласен с тобой, что хроническая бодрость и жизнерадостность — это как-то неловко, пошло. Нам с тобою это и не нужно, и даже несколько унизительно, такая хроническая жизнерадостность хороша, разве, для пищеварения. Но ты сама совершенно точно определила источник своего пессимизма — отсутствие веры в свои силы и, как ты говоришь, отсутствие перспектив. И это и не хорошо, и неверно.

Ты, например, утверждаешь, что «знания, самые глубокие, нам (молодежи) не помогут», но я так же глубоко убеждён, что даже самые скромные, но только настоящие, лично «выстраданные» знания, могут и откроют вам дорогу в жизнь. Но боюсь, что путь, выбранный тобою — через классическую литературу — очень кружный и долгий. Литература — дитя своего времени. Ты, например, пишешь, что тебя отталкивают выражения антисемитизма у Франко. Я вообще не могу спокойно слышать и читать такие выражения. Только евреи имеют право быть антисемитами. Эта гадость оскорбляет не столько евреев, сколько русских, украинских и прочих порядочных людей. А между тем, Франко был на редкость честным и прямо благородным писателем. Он им и остаётся — переменились только времена.

Доченька, трудная это должность — быть папой! Масса условностей в отношениях к детям, которые просто невозможно переступить. Если бы я был только хорошим товарищем, я бы не боялся так залезать тебе сапогами в душу. А папе неудобно,

нехорошо.

Мне вспомнился сейчас «Слепой музыкант» Короленко. Кстати, я очень люблю Короленко и могу его с увлечением читать даже сейчас, когда у меня полное отвращение к беллетристике. Так вот — помнишь гневное замечание чудака, бывшего гарибальдийца, слепому племяннику, будущему музыканту? А ведь у того были, пожалуй, основания для пессимизма?[177]

Вчера отправил Ирине очередное увесистое «историческое» письмо. Первоначальной моей задачей было спровоцировать её на ответ и установить с нею постоянную переписку. Результаты пока неплохие — за октябрь получил два больших письма и открытку. Дело это меня самого увлекло. К письмам приходится основательно готовиться, хотя то, что я ей пишу — это не история, а критический разбор некоторых общепринятых мыслей и положений. Тем не менее, я чувствовал, что начинаю выдыхаться — не хватает ни знаний, ни материалов, но добрая душа Фрида Давыдовна прислала мне два тома лекций Ключевского «История России». Замечательная книга! Этот не стреляет непреложными, единственно верными, научными мыслями. И я читаю взасос.

Кстати об антисемитизме. Подбирая материал для писем Иринке, я столкнулся с вопросом о роли евреев и семитов вообще в развитии культуры и цивилизации европейских народов и, в частности, Киевской Руси. Эта роль — громадная! Все народы Европы, пришедшие из степей Средней Азии в полудиком или полу-варварском состоянии, можно разделить на две основные группы: на таких, которые, подобно грекам, а потом и римлянам, вошли в соприкосновение с древними культурными семитическими народами (финикияне, египтяне), и таких, которые по географическим или иным причинам были отдалены от этого влияния. Особенно сильно было влияние евреев, арабов и юдаизированных хазар на Киевскую Русь. Расцвет Киевской Руси прямо совпадает с расцветом Хазарского царства и торговыми отношениями. Падение Хазарского царства и упадок Киевской Руси тесно связаны между собой. Когда русские ушли дальше на Север и была создана Суздальская Русь, то это привело также к упадку их культуры и кончилось разрушением Киева Андреем Боголюбским.

Вот, не умею вовремя закругляться — придется на этом пока кончать. Милая доченька, как я мечтаю повидать тебя и поговорить с тобою устно.

Целую тебя крепко, и до скорого свидания. Папа.

P.S. Напиши, как ты отметила день рождения.

5.11.55

Здравствуй, родная!

Я все еще не могу тебя порадовать хорошей новостью, доченька, тут как-то все замерло — никаких изменений. Но они, по-видимому, будут и, возможно, скоро. Даже задержка с моим отъездом, как я понял из объяснений моего непосредственного начальника, связана с подготовкой крупной отправки. Во всяком случае, шансов на скорую встречу у нас теперь больше, чем раньше: как только я получу положительный ответ на свой запрос из Заярска, мне обещан отпуск.

Сегодня получил письмо от мамы. Из него я понял, что не все мои письма к ней доходят. Жаль, я надеюсь, что с тобой я более счастлив. Впрочем, это уже бывало: получается затор, а потом его прорывает… Мама очень тепло, прямо с восхищением отзывается о Сусанне — славная девочка! В связи с этим мне кажется неоправданным пессимизм, который иногда сквозит в твоих письмах. Помнишь некрасовское (ведь ты любишь стихи): «Нет, не иссякла та природа, не погиб ещё тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай». «То и знай», может быть, с разбегу сказано, но «призыв» ваш действительно хороший и он не даёт оснований для пессимизма.

В моей безмятежной жизни хорошая книга — крупное событие. такое событие произошло недавно, когда я получил от Ф.Д. два тома Ключевского «Курс русской истории». Не могу сказать, что я во всем согласен с автором: его конек — географические условия, и он ими сильно злоупотребляет, мне кажется. Но у него нет сознательного богоугодного вранья, и в книге масса ценнейшего материала, позволяющего делать заключения по собственному разумению. А изложение — блестящее.

Меня в последнее время сильно занимает вопрос о государстве и — особенно — его происхождение. Ты, может быть, помнишь, что тема эта служила мне для диссертации в ранней молодости[178]. Скуки ради я стал пересматривать положения моего юношеского труда. Ты, конечно, знаешь, что согласно единственно правильной научной теории, развитие производства, вызывая расслоение общества (первобытного) на классы, заставляет господствующий класс, эксплуататоров, создавать государственную власть, чтобы при ее помощи держать в повиновении эксплуатируемых. Развитие производства и производственные отношения — база, государство и прочее — надстройка. В своей юношеской диссертации, как это мне тогда положено было, я многое отрицал, но это положение и мне казалось незыблемым. Но, готовясь к письмам Ирине, я нигде не

находил подтверждения этому закону. Даже напротив — везде и всегда государство, возникая иногда из необходимости защиты общества от кочевников-разбойников и организации регулирования расхода воды для орошения (Египет и другие страны орошаемого земледелия), неизбежно приводило к классовому расслоению, и эксплуататором очень часто являлось само государство.

Описывая историю завоевания днепровских славян норманнами-варягами, Ключевский рассказывает о несложной системе управления русских, т. е., норманнских, князей. «Как только наступал месяц ноябрь, русские князья „со всей Русью“, т. е., с дружиной, выходили из Киева на полюдье (сбор дани). Князья отправлялись в славянские земли древлян, дреговичей, кривичей, северян и прочих славян, плативших дань Руси, и кормились там в течение всей зимы, а в апреле, когда проходил лёд на Днепре, спускались опять к Киеву. В июне они, нагрузив лодки собранной данью, направлялись по Днепру к морю в Константинополь. К собранным товарам прибавлялась „челядь“ (захваченные дружиной пленные-рабы). Главными торговцами были киевское правительство — князь и его „мужи“-бояре. Данью князь делился со своей дружиной, которая ему служила орудием управления». Я несколько сократил выписку, а то бы не уложился. Среди этих первых купцов совершенно не встречается славянских имен. Кто тут базис, и кто надстройка?

И, как видишь, идея национализации внешней торговли — не новая. Ну, не сердись, что я тебя занимаю этой «историей». Будь здорова, милая, и выше подбородок.

Твой, любящий тебя и всех твоих близких папа.

16.11.55

Здравствуй, доченька!

Получил твоё первое письмо от 1.10 (наверное, 1.11.) и одновременно письмо Лауры от 311.10. На первое письмо я ей давно ответил. План ее мне кажется разумным, и я постараюсь следовать её советам, однако, спешить, по-моему, не следует — надо дать девочке немного успокоиться, тем более, что сама Лаура будет некоторое время отсутствовать. Да, ты совершенно права: передача запроса прокурору — необычное явление, и роль этого прокурора кажется мне странной, но именно поэтому не надо спешить, пусть и он успокоится, если он в этом деле больше чем по службе старается[179]. Я постараюсь тщательно обдумать своё первое обращение к Адриане, так как от него многое зависит. А пока желаю Лауре хороших результатов от её поездки и с большим сочувствием жму её руку.

С нетерпением буду ждать письма Гали: «друзья моих друзей — мои друзья», и в данном случае даже много больше. К Сусанне я отношусь, как к своей дочке (надеюсь, ты не ревнуешь) и радуюсь, что не я один так чувствую. На днях к одному моему здешнему приятелю[180] приехала его дочка[181]. Она только что закончила 18-летний «курс наук» и, как водится, папаша устроил в её честь праздник. Я был очень тронут, когда он предложил первый тост «за милую дочку Александра Петровича и за всех оставшихся». Он сам — ветеран этих наук — 23 года «учился». Нет, доченька, я не чувствую себя отчуждённым среди окружающих. И тебе не советую.

Как хорошо, что у нас завязалась переписка на отвлеченные, философские темы. Упомянутый выше приятель рассказывал мне, как он во время перерыва в учебе, по пути домой, узнал тогдашний адрес своей дочки, где-то под Мариинском. Он прошагал 90 километров пешком и получил трёхчасовое свидание. Дочка удивлялась его бороде, он рассказывал ей какие-то глупые дорожные приключения, и они не заметили, как прошли эти 3 часа, не успев ничего важного сказать друг другу. У нас этого не будет, мы обо всём второстепенном договоримся в письмах перед свиданием. Мы — умные!

Теперь о Михайловском. Он ставит вопрос так: человек — самоцель. Он никому ничего не должен. Стремление к личному счастью не просто его безусловное право. В этот смысл его существования. Но в чем заключается это личное счастье? Еда, половая любовь, удобства жизни — это ещё не счастье, по крайней мере, не для всех людей. Он — индивидуальность, и стремится свою индивидуальность проявить, но проявить её может только в общественной деятельности, понимая эту деятельность широко. Какие тут возможны вариации, видно из твоего замечательно глубокого заявления: «В натуре человека жертвовать собой, для этого не надо быть Христом». Верно. И это нисколько не противоречит положению, что он, человек, никому ничего не должен. Но, конечно, это ничего общего не имеет с торгашеско-религиозной установкой: «Чти отца и мать свою, и долговечен будешь на земле», «Блаженны нищие духом, ибо они наследуют царство небесное», или «воссядут одесную отца своего» или как-нибудь иначе получат за рубль — два рубля (надеюсь, ты не думаешь, что я антирелигиозную пропаганду подпущаю — эту ошибку я больше не повторю, не по отношению к тебе).

Каюсь, я совершенно равнодушен к конкретным народам — еврейскому, русскому, украинскому и прочим. Народ для меня — это собирательное имя, противоположность угнетателям всех сортов и званий. Это объект моей «общественной деятельности».

Наряду с очень умными замечаниями, ты иногда делаешь и не очень умные: «Беда, когда неуверен, что твоя жертва нужна». Дело не в твоей научной работе и её ценности. Может быть, она была и не очень ценной, но твоя жертва и страдания очень ценны и нужны (см. слова монтаньяра в «Трёх минутах» Л.Украинки[182]). И нужны именно народу.

Не беспокойся о пропавших деньгах[183]. Публика такая, что могла прихватить и их, но квитанцию к маминым часикам мне показывали. Так как меня полностью «раскулачили»[184], то деньги могли попасть не тем, а другим жуликам. Ну и чёрт с ними — ты всё-таки не пропала без них! Шубу и другие вещи я получил[185] и правильно сердился — их было много, и большей частью меня от них в дороге облегчили. Забудем об этом!!

Милая моя! Письма к тебе я имею обыкновение переписывать, иногда не один раз. Но сегодня у меня зверски дрожит рука, и я пишу, вернее, рисую это письмо уже часов пять. Поэтому оно такое путаное получилось. В другой раз постараюсь умнее написать. В другой раз я также коснусь других вопросов, затронутых тобою. Будь здорова, доченька, целую тебя крепко и также крепко жму руку другим своим дочкам. Привет от здешних моих приятелей. Твой папа.

23.11.55

Доченька!

С нетерпением, даже больше обычного, жду твоего очередного письма. По моим расчётам пора уже быть ответу от твоего начальства на просьбу о разрешении свидания. Между тем, с почтой, по-видимому, опять затор — Иринка в этом месяце ничего не прислала, и от мамы тоже давненько ничего нет.

Я тебе уже писал, что у одного здешнего моего приятеля гостит его дочка. Она, между прочим, большая любительница и ценитель стихов. Я дал ей прочесть твои «Сон» и «Родине», и они ей очень понравились. Узнав, что я тщетно ищу по магазинам Блока, чтобы переслать его тебе, она по памяти исписала много страниц стихами Блока, Есенина, Пастернака и других, и теперь я подумываю, как тебе их переслать или привезти с собою. Эта девушка некоторое время прожила вместе с Сусанной и её подружками. Это пополнило мои знания о твоих институтских делах и ходе экзаменов. «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой».

После долгих поисков я достал «Вибрани» Леси Украинки. Искал я их для того, чтобы больше войти в курс интересов и вкусов своих дочек. Каюсь, подобно многим другим, я с некоторым пренебрежением относился к «национальным»

литературам. Да и поэзия вообще, как ты знаешь, не по моей части, и поэтому я сначала рассеянно перелистывал эту книгу. Начал я с «Драматичних творів», потому что о них ты мне писала. Без особого интереса прочёл «Осеннюю сказку», «В катакомбах» и ещё пару других, пока не дошёл до «На полі крові». Эту штуку я прочёл два раза подряд. Замечательно сильная вещь! Если ты её не читала, настоятельно рекомендую прочесть. Просто непонятно, как она могла остаться незамеченной. Байрон, назло своим самодовольным и благочестивым соотечественникам, опоэтизировал Каина, первого братоубийцу, Гёте — Сатану-Мефистофеля. Сатане вообще повезло в мировой литературе. Но всё это — необычайные характеры, и именно поэтому они малопоучительны в обыденной жизни. Я не помню во всей мировой литературе ни одной попытки уклониться от традиционной евангельской трактовки Иуды, человека, который за тридцать сребреников продал своего учителя и Бога. И только Л.Украинке принадлежит образ этого презренного из презренных, злодея из злодеев, как обыкновенного, даже неплохого человека-«господаря». Он честно трудился над своей нивой и виноградником, полученными от отца, как тысячи других, не лучше и не хуже их. Его увлёк «учитель» и заставил раздать своё имущество нищей «голоте», которую он, как настоящий господарь, глубоко презирал, и самому стать нищим и прислуживать нищим. Он не понял «учителя» и вскоре разочаровался в нём. Остальное ґже логично вытекало из предыдущего — он хотел снова стать хозяином. Сильная штука и даже очень страшная, но, в то же время, и утешительная: где они, эти настоящие злодеи? Их очень мало по сравнению с общим количеством действительных злодейств, совершаемых во всём мире ежечасно и ежеминутно глупыми или трусливыми людьми, твёрдо знающими, что добро и что — зло.

Мне очень понравилась «Лісова пісня», но мне непонятно, как это может нравиться христианам. Ведь все эти лешие, водяные, русалки — это почти полное изложение языческих славянских верований до появления христианства на Руси. Но всё же очень красиво, даже мне доступно.

Прилагаю первую посылку стихов. Получение подтверди, и я пошлю ещё. Хороши они или плохи — не берусь судить, тебе виднее. Прилагаю пока один листок и не переписываю, потому что скоро почта, и я боюсь опоздать.

Сожалею, что в той книге Украинки, которую я читаю, нет «Трёх минут», они меня заинтересовали.

Будь здорова, милая доченька, целую тебя крепко и жму руку другим. Твой папа.

2.12.55

Милая доченька!

Вчера отправил тебе ответ на твоё письмо от 11.11 из Заярска, и сегодня получил первое письмо из Тайшета от 21.11. На всякий случай, немедленно написал заявление начальнику 1-го отделения и опять приложил марку. Я надеюсь, что и твоего письменного сообщения о положительном ответе на твою просьбу будет достаточно, но — на всякий случай.

Увы, недостаток почтительности у тебя, видимо, наследственный, и на моей карьере он тоже отразился. Я и не подумаю упрекать тебя за это. Но надо помнить, что гнев и раздражительность — это далеко не одно и то же. Гнев — великое чувство, а раздражительность — только слабость. Сам я, к сожалению, не крепко разбирался в этих тонкостях, но тебе, на правах родителя, считаю нужным напомнить об этом. Не надо, доченька, разменяться на мелочи. Во всяком случае, ничто не должно помешать нашему свиданию, и меня очень трогает, что ты не забываешь об этом.

К двум предыдущим письмам я прилагал по два листка стихотворений Блока, Есенина и других. Сам я их не читал — не по коню корм. Но, зная твою любовь к поэзии, я старался. И вдруг читаю в твоем последнем письме, что после вторичного чтения Блока, у тебя впечатление «не то». Долго колебался, продолжать ли посылать, и решил всё же посылать: не понравится — выбросишь.

Насчёт поэзии мы как-нибудь договоримся, тем более, что этих стихов у меня не так много. Но ты также пишешь: «Как ни стараюсь, но всё никак не могу почувствовать интереса к Киевской Руси… в этой эпохе не вижу проявления интеллекта, духа». Но ведь ты дальше пишешь, что «вопрос о государстве тебя всегда интересовал». Меня — тоже. Этот вопрос имеет самое близкое отношение к современности, и очень важно решить, является ли государство неизменным следствием развития производительных сил, развития производства, или это более или менее побочный продукт определённых исторических условий, Я глубоко убежден, что в этом вопросе классики определенно «загибают». Впрочем, не только в этом. Что же касается «торговли и грабежей», то они были во все эпохи. Эпоха Возрождения — славная страница в истории человечества, но торговли и грабежа в ней более чем достаточно.

В любви к Короленко я смело могу соревноваться с тобой, он мой любимый писатель. А вот насчёт того, «какое это было интересное время», можно поспорить. Скучное и тяжёлое было

время, описанное в «Современнике»[186], и люди тогда были, вероятно, такие же, как сейчас. Это сам Короленко — очень хороший человек, и обладал он замечательной способностью находить и показывать хорошее в людях. И показывать правдиво, без прикрас, но убедительно. И, может быть, ему помогало то, что он хорошо знал историю, в частности, историю русского народа. А знал он это не по классикам — он был их противником.

Кстати, помнишь ли ты рассказ Короленко «Чудная»? Он ведётся от лица конвоира об одной ссыльной. Прекрасный рассказ. Короленко писал героиню с действительно существовавшего лица — его товарища по ссылке в Вологодской губернии. Об этом он рассказывает в «Современнике». Ее фамилия была Улановская. Какое приятное совпадение! У тебя тоже есть немного от боярыни Морозовой.

А историей я тебя ещё долго буду занимать — писать больше не о чём, об остальном при встрече поговорим устно.

Будь здорова, милая. Целую крепко и не дождусь свидания. Привет хорошим людям!

P.S.: Смело пользуйся посылкой матери Иды, давать — большое счастье, может быть, самое большое в жизни, и надо поощрять хорошее в людях.

13.12.55

Здравствуй, доченька!

Лаура явно переоценила мои дипломатические таланты. По ее поручению я написал Адриане пространное письмо. Не упоминая про Лауру, я отрекомендовался другом их общей знакомой Ольги Мартовны, которую я встретил проездом в Таллине и которая просила меня сообщить ей все, что я сумею узнать о судьбе Адрианы. В письме я затронул ряд общих вопросов: о пользе просвещения вообще, о выборе профессии, о сравнительных преимуществах медицины и т п., стараясь возбудить в ней интерес и вызвать на переписку. Сегодня получил её ответ — всего несколько строчек, очень настороженных и подозрительных. Она удивляется, что я не послал ей прямо адреса Ольги Мартовны (которого Лаура тоже не знает), и подозрительно допытывается, откуда я узнал её адрес. Ума не приложу, как действовать дальше. Не плюнуть ли на дипломатию и не написать ли ей прямо, в чем дело?

Получил очень хорошее письмо от Ирины вместе с её фотокарточкой. Настоящая библейская красавица. Она пишет, что долго колебалась, посылать ли мне эту карточку, так как считает её неудачной. Я думал (и сейчас думаю), что она кокетничает, но моя здешняя приятельница, побывавшая летом в Москве и

видевшая ее, уверяет, что оригинал, действительно, много лучше фотографии. Вот, какие у меня красавицы-дочки!

Мама пишет, что они с Сусанной живут в постоянном страхе разлуки и даже собираются воевать за свое право на совместную жизнь.

В своём последнем письме ты упоминаешь о психическом состоянии некоторых своих сожительниц. У меня тут в этом отношении дела обстоят не лучше, а пожалуй, много хуже — мои сожители все — старики и старухи с большим стажем сильных переживаний в недалеком прошлом.

Вчера у моего приятеля, врача-психиатра, были гости, его товарищи по прошлой совместной жизни. Они только сейчас, как говорится, получили возможность приобщиться к трудовой жизни народа. Один из них меня заинтересовал. У нас оказались общие знакомые, и мы разговорились. 20 лет назад он занимал высокие посты и «руководил». Против обыкновения, он не только не дурак и остроумный, интересный собеседник, но и очень образованный человек, интересуется философией, высшей математикой и физикой, текущую историю знает, т.с., из первых рук. Я был несколько удивлён, когда по ходу разговора узнал, что он католик по убеждениям (по национальности он еврей). Не просто христианин, а именно католик! После его ухода мой приятель-врач сообщил мне, что это — его бывший пациент, психически ненормальный человек, продолжающий быстро деградировать[187]. Это пострашнее коротких буйных припадков. И это далеко не единственный случай. Вот такие факты подвергают большому испытанию мои христианские чувства.

По-прежнему интересуюсь историей. Я не совсем уверен, что знание прошлого действительно, по аналогии, помогает делать выводы о настоящем. Но нет сомнения, что близкое знакомство с настоящим проливает свет на многое, что казалось тёмным и непонятным в прошлом. А текущую историю я сейчас имею возможность получать из первых рук — со слов участников. Эх, доченька, если бы ты послушала то, чего я наслушался, то твоё отвращение к древней истории — «торговля и грабежи» — значительно уменьшилось бы.

С нетерпением жду твоего очередного письма и надеюсь на положительный ответ твоего начальства.

Будь здорова, милая. Крепко целую тебя и жму руку твоим подружкам. Твой папа.

18.12.55

Здравствуй, доченька милая!

Получил почти одновременно два твоих письма — от 29.11 и

2.12 и, кроме того, видовую открытку. Разрешения на свидание я ещё пока не получал, но, узнав из твоего письма, что твой начальник благословил нашу встречу, я немедленно помчался в город просить отпуск. Вчерашний день я потерял зря — надо было начинать здесь, на месте, у своего коменданта. Сегодня воскресенье, выходной день, и продолжать дело можно будет только завтра.

Буду торопиться, так как Иринка сообщила, что она была в прокуратуре и там ей сказали, что тебя и других скоро вызовут в Москву. Как скоро — это неизвестно, но, вероятно, в течение ближайших трёх месяцев. Иринка, конечно, со слов знающих людей, говорит, что это очень хорошо. Впрочем, она тебе наверное сама напишет подробно об этом. Прав бессмертный Панглос…

Меня очень заинтересовало твоё наблюдение, что украинцы относятся к евреям не так, как русские интеллигентские антисемиты. Наблюдение дельное, но я думаю, что ты ошибаешься в оценке его корней у русских интеллигентов. Антисемитизм не имеет никаких исторических корней ни в русском народе, ни в его интеллигенции. Это просто выражение морального, да и физического бессилия. Он все объясняет и все оправдывает и, прежде всего, свое собственное ничтожество. Словом — это религия побежденных и признавших свое поражение.

Велика сила затверженных с молодости убеждений, симпатий и антипатий. Во время гражданской войны я относился с отвращением к украинскому движению. Оно казалось мне совершенно ненужной и досадной помехой в серьезной политической борьбе между старым и чем-то новым, идущим ему на смену.

И вот, давно все изменилось, И фронт — не тот, и проходит он не там, где он проходил почти сорок лет назад, но отношение к людям и течениям механически остаётся прежним. И это нужно пересмотреть — хорошие среди них хлопцы встречаются!

Я не знаю, относится ли отмеченное тобою отношение украинцев к евреям ко всем украинцам. Я даже думаю, что разочаровавшиеся, морально побежденные украинцы ничем не сличаются от русских, но кроме этого мусора, есть и здоровое ядро, и оно заслуживает такого же уважения, с каким старые революционеры относились, например, к борющейся Польше в прошлом столетии. Герцен, Бакунин никак не были националистами, но горой стояли за Польшу, «за нашу и вашу свободу».

Я очень рад, что ты, по-видимому, легко сходишься с

хорошими людьми. Очень хотелось бы посмотреть на твою Нюсю и ещё больше — поболтать с нею.

Кстати о затверженных и общепризнанных истинах. Я с детства знал, что евреи — способный, умный и даже исключительно талантливый народ. «Еврейская голова» — это я слышал с самого детства и так же механически усвоил. Но, Боже мой, такого процента тупиц и ограниченных людей, какой я за последние годы встречал среди моих сожителей евреев, я нигде, никогда среди других народов не встречал. Только ты, пожалуйста, не думай, что я ударился в антисемитизм! Просто этот народ тут представлен, в большинстве случаев, государственными чиновниками, а чиновники народ тупой.

Доченька, я очень прошу тебя сообщить мне скоренько, на чём основана твоя уверенность в судьбе Жени и других[188]. Сообщи также, получил ли Владя-Владлен такую же отметку на экзаменах, как Женя. Мне это очень нужно для справок, которые я тут навожу.

Целую тебя крепко, и до скорого свидания! Твои друзья — мои друзья! Твой папа.

26.12.55

Доченька!

Пишу на всякий случай — Иринка сообщает, что ты, вероятно, уже к 1-му января будешь в Москве.

Заявление об отпуске на свидание с тобой я подал. С нетерпением жду ответа и боюсь, что он может прийти раньше, чем я узнаю точно, куда ты переехала или переезжаешь.

Если ты ещё на старом месте, то помни, что ты можешь писать с дороги и что в Москве ты можешь просить разрешения на свидание с Иринкой.

Разрешения твоего начальника не поступило, и это убеждает, что ты действительно переезжаешь.

Ну, ни пуху ни пера. Помни, что все жаждут тебя увидеть на воле, и есть все основания думать, что «мёртвые воскреснут». Целую крепко и жду ответа. Папа.

14.3.56

Хорошая моя доченька!

Иринушка и её милые друзья переслали мне твоё письмецо. Они удивительно славные, и ты не должна сердиться за излишества в их доброте. Конечно, им самим нелегко живётся, и они и так уже много сделали и продолжают делать для нас, но, может быть, величайшая радость, доступная человеку — это радость добра — не брать, а давать. Не надо мешать людям быть

хорошими — это качество не чрезмерно распространённое.

С интересом прочёл описание твоей «роскошной жизни». Это уже, как ты знаешь, нечто реально новое и, возвращаясь к нашим старым философским спорам, в какой-то степени является и твоей заслугой.

Ты права, у меня сильно слюнки текли, когда я читал о хороших книгах, которые тебе попадаются — в Тихоновском доме инвалидов не густо насчёт хороших книг. Но бывают случайности. Сейчас я читаю толстенный том материалов «Восстание декабристов». Меня не очень интересуют детали: подробности заговора, восстание и прочее — это «дела давно минувших дней». Не очень умно и не очень даже героично вели себя «герои декабря». Но какой поразительный эффект этого неудачного восстания! Это снова возвращает к роли фантазёров и «непрактичных» людей в истории человечества.

Мама сообщила мне, что ты хотела, чтобы я написал Нюсе. Я перечитал все твои письма, но нигде не нашёл её фамилии. Как же писать без фамилии? Если успеешь, сообщи, и я немедленно отпишу ей. Бедная девочка![189]

Получил письмо от Лауры. Она теперь уже совершенно вольная птица (в пределах Томской области), но Адрианочка осталась твёрдой до конца и, несмотря на уговоры подруг и даже директора училища, отказалась с ней разговаривать.

Мы с мамой обмениваемся размышлениями о тебе и твоих перспективах на будущее. Они нам кажутся неплохими.

Размеры этого письма рассчитаны на то, что оно пойдёт вместе с письмом Иринке. Будь здорова, моя хорошая. Целую тебя крепко, крепко. Верю, что ты не теряешь бодрости. До свидания. Папа.

Последние два письма отца мне в тюрьму я получила при освобождении нераспечатанными, как полагалось вольному человеку, но они затерялись во время наших дальнейших скитаний по чужим, хотя и дружественным домам, до получения своего жилья.

Из писем отца маме

Переписка родителей была особенно оживлённой в разгар либерализации — с середины 1955 и до апреля 1956 — кануна освобождения.

17.7.55

Здравствуй, родная моя!

Наконец-то прибыло авио-письмо Ирины, которое она писала, сидя у тебя. Теперь я с ещё большим нетерпением буду ждать твоих впечатлений о ней. Какая она получилась без нас? Она для меня совершенно неясна.

Если не считать моего нетерпения скорее увидеть тебя и дочек, я живу тут весьма неплохо. Гуляю, читаю и беседую с интересными людьми. Я уже писал тебе о встрече с одним «бывшим». На днях, во время прогулки в поле, у нас разговор как-то перешёл на такую, казалось бы, отвлечённую тему, как история Киевской Руси. Я и сейчас ещё не могу прийти в себя от этой лекции-разговора. Ну, решительно камня на камне не оставил он от моих представлений в этой части. Даже относительно фактической стороны дела. Совершенно новая картина. Норманны-варяги пришли не с севера, а с юга. Киев — матерь русских городов — первоначально — пограничная торговая фактория еврейско-хазарского царства. Даже Днепр — не Днепр, а легендарная река Самбатион. И так — обо всём. Поляне — не жители Приднепровья. Само название говорит о том, что это были жители полей, степей, которых тогда не было на среднем течении Днепра. Местность эта была покрыта густыми лесами и болотами.

Даже религия славян была не такая, какую описали Карамзин и проч. Перун — не славянский бог, а бог мореходов-варягов. Даже «вещий» Олег погиб не так, как это описано Пушкиным. Погиб он на одном из островов Каспийского моря. И вовсе он не собирался «отмстить неразумным хазарам», а во время похода по ограблению персидских берегов, и по найму тех же еврейско-хазарских царей.

Я знаю — ты, наверное, сердишься, что я заполняю письмо такими пустяками. Я и сам не мог бы указать, почему меня всё это так волнует. Но я чувствую, что всё это близко касается и меня, и всех нас. Какая тут связь — мне ещё неясно, но связь есть. Ну ладно, оставлю это пока.

Чувствую, что у тебя создалось неправильное представление, что мне не понравилась твоя карточка. Это неверное

представление.

Не пиши загадками. Почему тебе не понравилось письмо Майи? Разница между молодёжью моего и отчасти твоего поколения и Майей с её друзьями заключается в том, что нам не нужно было так много знать. Все противоречия и разногласия были далеко впереди. Им же нужно знать неизмеримо больше, а знают они ещё меньше нашего. Вот почему меня угнетает увлечение Майи поэзией. Ей нужно учиться и учиться. Но об этом я сам ей лучше в другой раз напишу. Горячий привет Сусанне и проч. Целую и жду твоего ответа. Алёша.

22.7.55

Дорогая моя, здравствуй!

Вот уже с неделю, как я получил отчётное письмо Ирины, написанное у тебя, и с тех пор ещё с большим нетерпением жду твоего письма о ней. Что она из себя представляет? Конечно, я и сам это увижу при встрече, но когда эта встреча состоится — один Бог знает. Москва — «как рыба об лёд».

Между тем, я стал испытывать настоящий кризис материала для переписки с тобою. Не писать же тебе о погоде и нашем меню.

Несмотря на то, что нас тут — свыше трёхсот человек, и продолжают пребывать новые люди, я вращаюсь в очень ограниченном кругу. И всё это — обломки, бывшие люди. Очень грустно наблюдать у некоторых из них постепенное умирание, возвращение к идеям и формам не молодости, а раннего детства. Я с нетерпением жду приезда моей парижской приятельницы, о которой я тебе уже писал. В связи с общим «похолоданием» задержался и её приезд. Очень будет интересно посмотреть, много ли и что именно она сохранила из прошлого. Она еврейка, а евреи много «консервативнее» других. Одна из здешних жительниц — девица 72-х лет — очень бойкая, живая старушка. И хотя она в жизни запросто встречалась и разговаривала со многими историческими людьми, её собственные взгляды поразительно мелки и примитивны. Она — дочь участницы «Земли и Воли» и процесса 50-ти, с умилением говорит о дворянских гнёздах. Как-то заговорили об «Обрыве» и одном из героев этого романа, страшном нигилисте. Помнишь? Моя старушка даже обиделась слегка, когда я ей указал, что её мамаша и папаша тоже были нигилистами. Самая молоденькая моя собеседница — девушка 60-ти с чем-то лет. Бывшая плехановка, уже тридцать лет, с короткими перерывами, странствует по злачным местам. Но почему — неизвестно.

У меня установилась прочная переписка с Маечкой. Стараясь подделаться под её интересы, я пробовал даже перечитывать

Пушкина. Но увы — каким я был, таким я и остался — варвар. Стараюсь заинтересовать её наукой. Не знаю, получится ли что-нибудь. Сильно мешает моя собственная безграмотность.

Очередное моё увлечение — история. Книг серьёзных нет, стараюсь обсасывать одного, видимо, знающего историка. К сожалению, он очень больной человек, редко выходит из комнаты. Его беседы открыли передо мною новый мир. Но я боюсь надоедать тебе этой темой. Скажу только, что многие факты, которые я в разное время вычитал, в том числе и такие, которые не имеют, как будто, отношения к истории, например, ледниковый период, приобрели совершенно новое для меня значение.

Дописал до этого места, и вдруг мне приносят твоё письмо от 10.7. Первое письмо об Иринушке. Вот спасибо! Прямо камень с сердца свалился. Какое прекрасное письмо, и как нам повезло с дочками. Значит — уже не даром прожили на свете. Теперь я буду ждать от тебя ещё и ещё писем о вашем свидании. Если будешь писать Стелле, передай ей горячий поцелуй. Я чувствую себя бесконечно обязанным ей за всё, что она сделала для нас, в особенности, для Ирины.

Ну, будь здорова, о себе продолжу в следующем письме.

30.7.55

Здравствуй, дорогая моя!

Привет от Елены Яковлевны Клейнер[190]. Помнишь ли ты её? Она тут работает врачом при больнице. Встретился с ней интересно: она всё ещё разыскивает своего мужа, Израиля, и приходит к нам, когда узнаёт, что прибыли новые люди, спросить, не встречал ли кто его. Честь его была восстановлена ещё, кажется, в 1939 г., и она могла бы вернуться домой, но не захотела и осталась в Караганде. Поступила правильно — здесь почти все такие, и она как хороший врач пользуется всеобщим уважением. Но рассудку вопреки, она никак не может себе представить своего Израиля мёртвым. В остальном — она умная, культурная женщина. Мне она очень обрадовалась, потому что Израиль ей много рассказывал о нашей с ним жизни в Кишинёве и потом в Туруханске.

Получаю письма от родных — от Бориса. Он прислал мне свой портрет и портрет дочери, на вид — хорошая одесская барышня. Сам он снялся в полной форме, покрытый орденами, медалями, и сверкающий шитьём и пуговицами. Зовёт к себе, хотя сам с семьёй ютится в подвале.

Маюшка мне пишет, и я ей тоже, и очень часто. Её приключения, по-моему, не прошли ей даром. Она, как ты

однажды упомянула, «мечется». Прислала мне свои стихи. В них отражается её смятение и большая личная трагедия. Знаю, что её нужно поддержать, отвлечь какими-нибудь общими вопросами, но поэзия, увы, не моя область. Я совершенно не могу настроиться на поэтический лад или вызвать в себе интерес к этому способу излагать свои мысли. Пишу ей о науке — физике и истории. Получается плохо — её это не занимает, и хотя она старательно избегает упоминания о непротивлении и проч., но, думается, что она всё ещё клонится в эту сторону.

Моя парижская приятельница ещё не прибыла, но я её жду уже с меньшим интересом. Она прислала записку, и на меня сразу повеяло 18-м годом. Эта, по-видимому, устойчива, хотя она одной ногой, и даже больше, в могиле. Очень странна та прямо трогательная любовь, с которой о ней говорят её приятельницы, столь далёкие от неё по своим воззрениям.

Пишет ли тебе Маюшка, и что ты думаешь о её письмах. Не забудь, что я всё ещё не знаю, что это был за детский сад — т. е., их ярлык. Напиши, переписываешься ли ты со своими старыми приятельницами. Москвичи меня совсем забыли.

Ну, будь здорова. Целую и жму руку подружкам Майи. Твой А.

2.8.55

Родная, здравствуй!

Получил твоё письмо — оно полностью ликвидировало мою хандру, и я даже ловлю себя на том, что я всё бормочу: «Нет, весь я не умру… я памятник себе воздвиг нерукотворный…»[191] Обе дочки у нас хорошие, хотя и каждая по-своему, и фото Сусанны тоже как-то сливается в общем впечатлении: хороша молодёжь!

Всё, всё в твоём письме меня волнует и радует, кроме покойников, конечно, но прав Чехов — «ничего не проходит».

Адрес Чары я послал тебе в прошлом письме. Повторяю… Однако, Ирина едва ли сможет у неё устроиться. Как я уже писал, сын её живёт раздельно от жены из-за отсутствия жилплощади. Впрочем, попробовать — стоит[192].

Разрыв Ирины со Стеллой меня очень огорчил. Отразилось ли это на ваших со Стеллой отношениях?

Удовлетворяю твоё любопытство относительно бытовых условий: в кино водят три раза в месяц, самодеятельность существует, говорят — хорошая, я не хожу. Бритва-самобрейка имеется, но лезвий к ней нет, и ни за какие деньги не достанешь. Это смешно, потому что автомобилей, мотоциклов и велосипедов здесь очень много. Об остальном я уже тебе писал.

Продолжаю читать капитальные труды. Сейчас жую Историю

СССР, 19 век. По качеству она совершенно соответствует Истории Украины. Но хронология есть — и на том спасибо.

Письма мои, как ты видишь, становятся всё путаней, но ты как-нибудь разберёшься. Целую тебя крепко и жму руку С. и вообще молодым. Твой Алёша.

9.8.55

Здравствуй, родная моя!

Если бы ты знала, какая у меня обширная переписка завелась! Редкий день я не получаю писем. Получил очень хорошее письмо от Иринушки. Читал его, однако, со смешанным чувством — радости и смутного беспокойства. Она, между прочим, пишет: «У меня бывают настроения, когда я начинаю думать — прав был Сатана, а мне не хочется так думать». Каков клоп, а думает! Она ещё кое-чего пишет о своих настроениях и о прочитанных книгах. А я, как на грех, читаю сейчас Историю СССР 19-го века, и мне приходят а ум грустные мысли.

А всё же — очень хорошо.

Маёчек прислала мне для ознакомления письмо С[усанны]., посвящённое впечатлениям об Иринушке. Очень меня заинтересовало в нём сопоставление двух «поколений». Интересно и назидательно, но, я думаю, многое можно отнести за счёт личных качеств Ирины.

Боже, какой это всё-таки милый «детский сад», и какие страшные душевные переживания для девушек детского возраста. Маёчек в каждом письме настойчиво допытывается данных о состоянии моего здоровья и строго напоминает, что она уже не ребёнок и что она может и должна «знать всю правду». А я не верю. У нас незаслуженно хорошие, славные дети.

С Маёчком переписка установилась прочно. Я пишу ей часто, чаще, чем тебе. К сожалению, мне с ней труднее установить контакт, чем с тобой. Ведь я ещё очень мало о ней знаю, и круг её интересов мне как-то неясен. А говорить с нею нужно, и откладывать разговор до личной встречи — нельзя. Вот я ей и пишу — «вокруг да около».

Мне смертельно надоела «райская жизнь». Хочется работать и, чувствую, что я ещё вполне работоспособен. Здоровье моё — без изменений, ничего не болит, только, разве что, быстрее утомляюсь. Начал принимать лекарство в превентивном порядке. Врач, правда, напугал меня, что у меня пониженное давление. Насколько я понимаю, это должно сказаться на понижении умственной деятельности. Но, несмотря на качество моих писем, я никогда так много не думал на отвлечённые темы, как сейчас. Я довольно много читаю и даже делаю выписки из прочитанного.

Нет, если я неполноценный, то я всегда таким был, и даже хуже.

Я не предъявляю тебе претензий писать чаще — сознаю, что времени у тебя много меньше, чем у меня. Но если сможешь — пиши больше о себе. Бытовые условия мне более или менее известны, а вот духовная жизнь меня сильно интересует. Говарда Фаста тут, к сожалению, нет, но, возможно, имеется в городской библиотеке. Доберусь — почитаю, чтобы узнать, чем это он стимулирует твою мысль[193]. На этом закругляюсь. Будь здорова, и до скорого, надеюсь, свидания. Целую крепко, твой А..

14.8.55

Родная моя, здравствуй!

Получил твоё письмо от 30.7. вместе с милой припиской С. Совершенно ясно, что одно из твоих писем, посвящённых свиданию с Ириной, до меня не дошло, и я уже начал беспокоиться о тебе. Я уже писал, что Иринушка прислала мне очень умненькое письмо, и Маёчек мне передала твои впечатления от свидания и познакомила меня с письмом С. на эту же тему. Остальное — до встречи с героиней.

Почему мы мало учились в возрасте Иринки? Я думаю — отчасти потому, что нам не так много нужно было знать — отношения были более ясными, ближайшие задачи — более или менее очевидными. А Иринкам, Сусаннам и Маёчкам нужно знать больше и — это главное — необходима большая разборчивость в выборе знаний. Вот поэтому я так подробно останавливаюсь на беседах со «стариком». Эти беседы, ты понимаешь, носили случайный характер. Мы гуляли вчетвером и беседовали на самые разные, преимущественно литературные темы, и я больше слушал воспоминания о всяких злачных местах, где мои спутники побывали вместе. Тема «Киевская Русь» всплыла как-то случайно. Источники, на которые ссылался старик, — это всякие «Повести временных лет», доступные всем интересующимся, работы историков и археологов о Хазарском царстве и работы историков, которые встречались мне, но которые я в своё время не сумел читать. Сила моего старика — в умении читать и дерзко делать выводы из прочитанного. Он — марксист из старых, но в смелости обобщений и пренебрежении к авторитетам и установленным истинам, он больший анархист, чем мы с тобой были…

Мы все читали и знаем, что гунны вторглись в Европу в 6 веке, что они прошли Восточную и почти всю Западную Европу, перешли Рейн, вторглись в Римскую империю, и что где-то в Галлии произошла Каталуанская битва, после которой Атилла повернул обратно. Вскоре после этого сам Атилла умер, и армия

его распалась. Но мне, например, никогда в голову не приходило полюбопытствовать — куда же делись гунны после этого? Их были сотни тысяч, с жёнами и детьми. Известно, что вскоре после этого появились и начали действовать авары, что славянские племена в 7-м веке обитали в Прикарпатье, откуда они распространились на юг, восток, северо-запад и северо-восток. Литовские племена заняли побережье Балтийского моря, и хазары обосновались на нижнем течении Волги. Там они пришли в соприкосновении с арабами, которые тогда достигли высшего расцвета своей цивилизации, и, по-видимому, не с одними арабами и персами, но, между прочим, с еврейской торговой буржуазией. Так или иначе, хазары приняли еврейскую религию. Это все известно. Об этом, как о курьёзе, я читал ещё, помнится, в 1908 г. или раньше и даже, помню, беседовал с тобой об этом.

Хазары были очень богатым государством. Они вели торговлю с Востоком (Иран, Индия, Китай и проч.), с Византией и её колониями на Чёрном море и со славянскими племенами на северо-западе. Известно, что хазарские каганы-цари переписывались с еврейскими учёными в Кордове, в Испании. Известно о существовании хазарского города Самбрей на реке, которую хазары, как добрые евреи, называли Самбатион, в честь еврейской легендарной реки, протекающей на краю света, вечно кипящей и швыряющей камнями. Это был крупный торговый центр. Однако археологи тщетно искали этот город на Тереке. Никаких следов Самбрей там не обнаружили, и непонятно, с кем и чем бы там торговали. Между тем, мы знаем, что хазары вели оживлённую торговлю со славянскими племенами, выменивая у них мёд, воск, пушнину. Там, на грани лесов, хазары устроили торговую факторию на берегу реки Самбатион (Днепровские пороги). Эта фактория постепенно разрослась в город, самоуправляющийся, как все хазарские города и названный хазарами Самбрей. Рассказывая мне всё это, старик уснащал свою речь цитатами из разных источников и своими соображениями по поводу этих цитат. Но это было больше месяца тому назад и, кроме того, я не умею так плавно и последовательно излагать свои мысли. Мне это показалось очень правдоподобным. Любопытный факт — в «Повести временных лет» имеется «Похвальное слово великому кагану Киевскому князю Владимиру [Святому], написанное митрополитом Иларионом.» Учти, что Владимир Святой княжил много позже, и Хазарского царства уже, пожалуй, не было, но еварейский титул каагана имел ещё большую ценность

Всё это несколько расходится с концепцией Грекова, согласно которой славяне «спокон века» жили в Восточной Европе. Кстати,

это утверждение сильно противоречит современным данным геологии, согласно которым последний ледниковый период закончился не так давно. Усиленное таяние льдов, покрывавших почти всю Европу, началось всего 11–12 тысяч лет назад. Во время ледникового периода жизнь человека возможна была разве на самой южной оконечности Испании и, может быть, на южном берегу Крыма.

Я не помню, что я писал тебе 17.7., и боюсь повторяться. Но ты сама виновата — ты просила написать ещё. Теперь пеняй на себя.

Ты помнишь, конечно, подвиги норманнов. Они многократно грабили Англию, захватили большой кусок Франции (будущая Нормандия), проникали в Средиземное море, разграбили даже Египет, не говоря уже об Италии. Папа Римский учредил даже особую молитву о спасении от норманнской опасности. Но главной целью норманнов была самая богатая страна мира — Византия. Но тут они оказались бессильными: поперёк узенького Босфорского пролива стоял византийский флот с греческим огнём. Обойти этот флот не было возможности и победить его — невозможно. Тогда норманны решили попытать счастья с севера, со стороны Чёрного моря. Туда они пробрались, вероятно, по Северной Двине и Днепру. В теперешней Тамани, где находился славянский город Тьму-Таракань, они устроили свою базу, и с большим успехом стали грабить греческие колонии и саму Византию. Не Киев, а Тьму-Таракань была, по-видимому, первой базой варягов. Киев был захвачен много позже.

В древних источниках встречается одна странность. Описывая поход Игоря из Новгорода в Киев, упоминаются места, которых Игорь физически не мог встретить на этом пути — он встречаются не на север от Киева, а на юге, между Чёрным морем и Киевом. Да и не мог Игорь прийти из Новгорода, потому что города этого тогда ещё не существовало. Он был построен много позже и назывался сначала Норгольм.

Но я вижу, что совершенно безнадёжно рассказать об этом в одном письме. Если вам ещё не надоело — я напишу ещё в следующем. Моя затея поделиться с вами рассказами старика не дала мне возможности написать Сусанне отдельно и поблагодарить её за записку. Сделай это ты за меня. Целую крепко, твой Алёша.

18.8.55

Родная моя, здравствуй!

Из твоего только что полученного письма от 7.8. я узнал, что в пути — ещё три, и что в одном из них, вместе с припиской

Сусанны, — её фото. На фото мне фатально не везёт. Одно письмо с припиской от 30.7. я получил, но фото в нём не нашёл. Сусанна там горячо заступается за Ирину, находит, что ты чрезмерно требовательна к ней, и делает не совсем лестные для «её поколения» сравнения с образованностью Ирины. Если ты имеешь в виду это письмо, то фото пропало.

Ирина, как я тебе уже писал, прислала из Черновиц очень хорошее письмо, но ни фото, ни стихов Маюшки в нём не было. Вот тебе случай проявить свою хвалёную строгость!

Впрочем, я сейчас довольно хорошо осведомлён о московских делах нашей старшей дочери. Она нашла простой и остроумный способ мне их изложить. Несмотря на то, что я был подготовлен вашими с нею письмами, это изложение вызвало у меня яростный приступ антирелигиозных чувств.

А вообще мы с ней переписываемся исправно, хотя это для меня — не легко. Она пережила страшное и ещё не совсем отошла. Её единственный эскейп — поэзия, а что я понимаю в поэзии? Но это у неё пройдёт — она из добротного материала.

Меня очень растрогали твои воспоминания о доме, домашних и домашних мелочах. Только брось уж оплакивать нашего Черкеса[194], он недаром жил на свете, его щенки — уже взрослые псы, ни в чём не уступающие своему родителю.

Гревса в нашей библиотеке нет, а в городской я ещё не записан.

Перечитываю Белинского. Очень хороша его статья о «Борисе Годунове» Пушкина. В своей трактовке Бориса Пушкин, не мудрствуя лукаво, следовал общепринятым тогда взглядам казённых историков — Карамзина и проч. В результате получилась трагедия больной совести человека, который для достижения трона не остановился перед убийством сына своего благодетеля. Всё это вздор. Царевич вообще не был убит — он умер во время припадка падучей, упав на свой нож.

Трагедия Годунова[195] заключалась в том, что он был, хотя и очень умный и способный политический деятель для нормального времени и в нормальных обстоятельствах, но действовать ему пришлось, когда требовалось нечто большее — нужен был человек, который бы мог круто повернуть от пути, взятого Грозным. На это его не хватило. Он устранил внешние, уж очень коловшие глаза проявления опричнины, убрал Малюту Скуратова, собачьи головы у опричников, их чрезмерные и скандальные подвиги, но продолжал на них же опираться и пользовался их полной поддержкой. Дворянство, т. е. также опричники, окончательно утвердились в стране. Юрьев день отменил не Иван Грозный, а Годунов, и «Смутное время» было не

чем иным, как несколько запоздалой революцией против господства дворян и за «старину», т. е. за более счастливые для крестьянства, городского купечества и связанного с ним боярства, порядки.

Долго ли продлится похолодание? Думаю, что будут ещё тёплые дни, но на резкие изменения, по-моему, рассчитывать нельзя.

Ты переоцениваешь культурный уровень моих сожителей. За редким исключением, они во многом уступают моим товарищам по Джездам, Джезказгану и проч. Но я занял больше половины письма историческими экскурсами и переписывать его не хочется — поздно. Напишу через 3–4 дня.

Целую тебя и жму руку С. Горжусь Маюшкой и люблю её подруг и друзей.

Твой А.

9.9.55

Здравствуй, родная моя!

Получил твоё письмо от 24.8 и очень обрадовался, так как на старости лет я, кроме всего прочего, становлюсь ещё и мнительным и легко начинаю воображать. От Иринушки я тоже получил всего два письма со времени вашего свидания, но на днях прибыло письмо от моего друга В.П., как обычно посвящённое нашей младшей дочери. Я хотел тебе его переслать целиком, но оно очень большое и напечатано на машинке на толстой бумаге. Ограничусь цитатами, которые тебя как маму должны интересовать. «При просмотре вытащенных ею фотографий выхватил из общей кучи одну, которую она неуклонно сдвигала в сторону (может быть, провокационно — она обезьяна из породы хитрых), на каковой был изображён молодой человек и за ним — упомянутая обезьяна. Юноша оказался студентом 4-го курса Черновицкого мединститута, микробиологом, работающим над вирусами и собирающимся не далее, как в будущем году, совершить великое открытие. В отличие от подавляющего числа Александров Македонских, он очень недурно учится и, кажется, вообще паренёк неплохой, во всяком случае, не пижон. Судя по фотографии, юноша очень интеллектуальный, но он, по-видимому, не такой „пламенный правдоискатель“, как Ирина… Были прочитаны отрывки из писем Виктора, разумеется, чрезвычайно высокого штиля, посвящённые исследованиям, которые он ведёт и вообще Наукам (с большой буквы). Дела материальные у неё неважнецкие. Собирается поступать медсестрой на полставки». Далее идут объяснения, почему В.П. не может ей сейчас материально помочь.

Не знаю, как ты, но я нисколько не обеспокоился и даже — совсем напротив. Но планы совместной работы и учёбы — мне меньше нравятся, уж очень она слабенькая.

Очень меня радует твоё благотворное влияние на молодёжь. Нажимай на своих племянниц, не жалей их. Теперь только учиться и учиться — потом некогда будет. Даже я, старая рухлядь, стараюсь набираться ума-разума.

Да, трудно бывает сформулировать свои мысли о щенках Ч. Но и мне — не легче. Я сейчас, как ты знаешь, заинтересовался историей. Особенно меня занимает Борис Годунов. Задача, которую он себе ставил, была очень проста: сохранить новый социально-политический строй — неограниченное самодержавие — и преданное ему новое дворянство, отказавшись от одиозных подробностей режима Ивана Грозного — от опричнины, собачьих голов и хвостов, бессудных расправ и проч. Он сравнительно далеко пошёл в этом направлении. Результаты — известны.

Ну, конечно, ты права относительно причины задержки ликвидации маюшкиного детского сада, но раньше или позже это решение принять придётся, и мне даже кажется, что чем позже это решение будет принято, тем радикальнее оно будет.

Стихотворений Маюшки Ирина мне не присылала, так же, как и фотографий. По словам В.П., она не присылает своей фотографии, потому что не фотогенична. Ну, бог с ней, с её фотографией, приеду — увижу оригинал. Жаль, что она маюшкину карточку не присылает.

Меня сильно занимает Женя Г. В нём, по-моему, по-моему, причина к теперешнему состоянию Маюшки. Впрочем, последние её письма — довольно бодрые и, главное, — частые. К сожалению, круг наших интересов — различен, приходится почитывать то, что я иначе бы читать не стал.

Удовлетворяю твоё любопытство по поводу «Истории СССР, 19 век». Это один из томов многотомного труда. Этот том посвящён 19-му веку. Авторы — действительные члены-корреспонденты Академии наук, профессора и т. п. в большом количестве, всех не перечесть, предназначается для исторических вузов.

Фаста я, пожалуй, теперь достану. Просматриваю пока Драйзера «Американскую трагедию».

Об истории с медалями я тебе уже писал в прошлом письме. Она, во всяком случае, говорит о то, что я не нахожусь на особом счету, и это даёт надежду на то, что меня всё-таки пустят в Клин.

Родственники, написав по письму и прислав денег, пока замолчали. Но я не скучаю и не огорчаюсь. Горячий привет Сусанне. Целую крепко. Твой А.

16.9.55

Родная моя, здравствуй!

Известий по-прежнему никаких. К тому же мои постоянные корреспонденты тоже, по-видимому, приутомились и замолчали. Молчит и Иринка. Но слухи не прекращаются. Говорят, что предстоят перемены, что нас откомандируют — не то в другие дома, не то — уволят под чистую. Доказательства: не состоялась очередная регистрация, участились посещения всевозможных комиссий, и.т.д. А пока скучновато.

Тут и раньше было скучно, а теперь — зелёная тоска. Дуют свирепые ветры, холодно, и прогулки в поле приходится сократить. Сидим по комнатам, дуемся в шахматы, читаем. Четыре человека в комнате — это всё же многовато. Один мой сосед поёт (очень скверно). Он участвует в кружке самодеятельности, и хотя поёт он одну только песню, но зато — с утра до ночи, с перерывами только для принятия пищи. Другие увлекаются радио, которое поэтому бубнит у нас с утра до отбоя. Всё это несколько развлекает и мешает сосредоточиться.

По-прежнему увлекаюсь историей, и настолько, что ничего другого читать не могу. Лежит у меня «Дон Жуан» Байрона на английском языке, но я ещё не взглянул на него.

Центральная идея раннего христианства — это ожидание Страшного суда — крушения старого мира и наступления Царства Божия в самое ближайшее время. Это не мешало, а наоборот — помогало им совершать всякие мерзости, в порядке ускорения наступления «Нового Иерусалима» (это я — на тот случай, если ты тоже увлечёшься проповедью сектантов).

Читаю я подряд всё, что относится к истории человечества, и с одинаковым интересом. На днях мне попалась в руки прекрасная книга «Избранные письма К.Маркса и Ф.Энгельса». Жаль, что это избранное, и даются только отрывки, но и то, что даётся — интересно и поучительно. Какая глубокая вера в неизбежность в самое ближайшее время крушения ненавистного капиталистического строя, в наступление всемирной социальной революции.

Энгельс, как известно, специализировался на военных вопросах. Но это — не академический интерес к науке о войне. В письме к Вейдемейеру (12 апр. 1853 г.) он сообщает, что уже изучил старые кампании, наполеоновские походы, Жомини, Клаузевица и др. «Вопрос о том, заключался ли оперативный план Наполеона в 1812 г. в том, чтобы сразу идти на Москву, или в первую кампанию продвинуться только до Днепра и Двины, снова встанет перед нами при ответе на вопрос, что должна делать

революционная армия в случае удачного наступления на Россию». Но меня, признаюсь, больше трогают поэтические места в этой переписке. Говоря о позорном поведении прусского правительства, «сбросившего пышный плащ либерализма и представшего во всей наготе перед миром», Маркс говорит, что это заставляет его закрывать глаза от стыда, и дальше высказывает прямо замечательную мысль: «Стыд — это уже революция; …стыд — это своего рода гнев, только направленный вовнутрь» (Маркс-Руге, март 1843 г.). Очень красиво.

Не сердись, что я всё письмо посвятил посторонним вопросам, но я уже сказал, что у меня мало других материалов.

У меня возникла идея послать Иринке немного денег, если бы я знал её точный адрес. Если ты уже получила от неё письмо из Москвы, сообщи мне её новый адрес.

Передай мой горячий привет Сусанне и другим племянницам. Крепко целую.

Твой А.

23.9.55

Здравствуй, родная моя!

Сегодня пишу только оттого, что срок подошёл, и я не хочу из-за мокрого носа нарушать установившийся порядок. Впервые за последние 7 с лишним лет подцепил прямо зверский насморк, из носа течёт ручьём, из глаз — тоже, горло пересохло, все удовольствия сразу. Если увидишь пятно на письме — это не слеза. Впрочем, сегодня уже лучше немного.

Твоё письмо от 6.9. получил. Прочёл и перечитываю его. «That is the spirit!»[196]. Как жаль, что Маюшке этого духа по-видимому, не хватает. Она сильно меня беспокоит. Вот уже второе её письмо с намёками на «врагов», с которыми она всё воюет. Я знаю, как эти «мелочи» могут отравлять жизнь. Не знаешь ли ты чего-нибудь об этом?

Мы с ней ведём литературные дискуссии. Ну, конечно, я не имею ничего против поэзии и не настаиваю, чтобы она вместо Пушкина читала антирелигиозную «научную» литературу. Но я очень боюсь, что её увлечение поэзией и именно Пушкиным — escape, что она надорвалась[197]. А жаль — она человечина настоящая.

С её фотографией у нас вышло недоразумение. Эту карточку я имею и при сём возвращаю тебе твой экземпляр. Кстати, получив карточку, я стал к ней внимательно приглядываться. Какой у неё измученный вид, несмотря на широкую улыбку. Неужели это всё «личные переживания»?

Очень хорошо, что она, по-видимому, «переоценивает

ценности», но как жаль, что нет у неё под рукой человека, который мог бы ей помочь разобраться во всём. Как крепко ей не повезло и всё ещё не везёт. В моей неудачной попытке попасть к ней на свидание виноват я сам. Вот старый дурак! Я ещё подожду немного и, если к тому времени не выяснится моё положение, я опять возобновлю ходатайство.

Очень одобряю твоё довольство, что живёшь именно сейчас. Действительно, мы живём в самое интересное время, может быть, во всю историю человечества, даже если нам немного оттоптали мозоли. Но я не понимаю твоей тяги в Якутию. Правда, и оттуда видно, но видеть — мало. Совершенно согласен с тобой относительно Чернышевского. Герцена я совсем недавно читал и тоже одобряю твою оценку. Белинского придётся перечитать.

А пока, не удивляйся, я с наслаждением читаю том переписки Маркса-Энгельса. В свете последующих событий отдельные места звучат довольно весело, но книга безусловно стоющая. Там, где они пишут о далёком прошлом, они вполне современны и сейчас. И Маркс далеко не был таким последовательным марксистом, как его последователи. Очень интересно объяснением различия между Востоком и Западом различием между орошаемым и неорошаемым земледелием. Жаль, что они, насколько я знаю, подробно не разработали этой идеи. А непочтительное отношение к героям Французской буржуазной революции? Например, о терроре: «Мы понимаем под последним [террором] господство людей, внушающих ужас; напротив того, это господство людей, которые сами напуганы. Это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх». А далее идёт такая резкая, без оглядки на литературные и иные приличия оценка деятелей Французской буржуазной революции, что я просто не решаюсь её тут привести и никогда не решусь повторить при молодых девушках.

Ну, а пока будь здорова, дорогая, целую крепко. Твой А.

P.S. Как у вас восприняли Указ? У нас тут некоторые волосы на себе рвут, что не служили полицаями, не расстреливали и проч. Теперь бы они были полностью восстановлены.

3.10.55

Родная моя, здравствуй!

Возвращаюсь к твоему последнему письму от 6.9., так как мне и совестно, и надоело страшно начинать словами: новостей никаких.

Поспорил на днях со своим приятелем-историком. Я повторил ему твою мысль, что мы живём в интересное время и

жить — интересно. На это он меланхолично возразил, что в интересные времена жить скучно, а интересно жить только в скучные времена. По обыкновению, он основательно подкреплял это утверждение историческими примерами, самими по себе очень интересными. Но я всецело на твоей стороне: и жить интересно, и времена интересные, хотя его позиция мне понятна. Он провёл несколько счастливых скучных лет, изучая Смутное время по подлинным документам, увлёкся (и продолжает увлекаться) Александрийским периодом древней истории и попутно занимался революцией. Большую часть (26 лет) «интересных» времён он провёл в строгом уединении и весьма скучно. Хотя, правда, наблюдательный пункт у него неудобный, всё же жить — интересно, очень.

Особенно занимательно наблюдать выкрутасы Годунова Мыкыты. Нельзя не вспомнить бессмертное изречение Эмки[198].

Я тоже усиленно занимаюсь ликвидацией своей безграмотности. К сожалению, в местной библиотеке, кроме беллетристики, почти ничего нет, а съездить в город я всё не соберусь. Я даже обратился к Фриде Давыдовне за помощью. Взял я тут читать Драйзера. Прочёл «Титан» и «Американскую трагедию». Очень занимательные книжки. Но почему «Американская трагедия» — мне непонятно. «Титан» очень любопытная штука. Писать о Чикаго 80-х годов и ни разу, ни единым словом, не упомянуть о рабочем движении, о Иоганне Мосте[199], о первомайской забастовке — это любопытно для члена партии. При этом подробные, подозрительно подробные описания любовных приключений героя и туалетов героини. Но ты это, конечно, читала.

Только что поздравил Маюшку с днём рождения, перевёл ей сто рублей для проведения праздника и трясусь от страха, что она рассердится. Она у нас строгая. А у меня денег на дорогу совершенно достаточно. Я даже думаю отметить этот день, куда ни шло. Хотел эти деньги послать Иринке — ей они тоже не помешали бы, но твоя мамаша известила меня, что переводит ей 400 рублей. С твоей мамашей у нас установилась правильная переписка. Она всё воюет с роднёй, боевая старушка!

Письма Маечки как-то мало радуют. Я думаю, что ожидание решения, хотя она считает, что лично в нём не заинтересована, ей сильно действует на нервы. Какая, однако, дикая и подлая история!

Передай от меня горячий привет Сусанне. Она как-то смешивается в моём представлении с Маюшкой. Я был бы рад, если бы она опять черкнула несколько слов. Что её интересует?

Иринке я послал длиннющее письмо и всё жду ответа, но она

не торопится. Ну и Бог с ней, хотя как писать, когда не получаешь писем и не знаешь, каков круг её интересов.

В свободное от писания писем время я почитываю. Читаю иногда английские книжки. Так сейчас одолел роман — не роман, не пойму — «Крестоносцы» Стефана Гейма, разоблачающий американских империалистов, оккупационную армию и ещё кого-то, но в чём именно, я что-то не понял. У него есть и русские герои — военнопленные, сражающиеся вместе с партизанами-французами. Я мог бы побожиться, что встречал их в последние годы.

Ну, будь здорова, дорогая. Ещё раз прошу: береги свои нервы. Целую тебя крепко. Жму руку Сусанне. До скорого свидания. Алёша.

31.10.55

Здравствуй, дорогая моя!

Не сердись — знаю, я опять на пару дней задержался с очередным письмом к тебе, но у меня есть смягчающие вину обстоятельства — я очень занят. Не помню, писал ли я тебе об этом, но я получил больше обычного мрачное письмо от Маюшки. Опять хлопочу о разрешении отпуска к ней на свидание. После того, как я написал просьбу о разрешении приехать на свидание, получил пару писем, гораздо более бодрых и жизнерадостных, с извинениями за мрачный тон предыдущего письма. Но и в этих письмах звучат пессимистические нотки — завидует душевному состоянию молодёжи нашего с тобой времени и говорит о неверии в свои силы и отсутствии перспектив… Я, конечно, её пожурил, как следует, но чувствую, что необходимо с ней устно поговорить. Ей я пишу часто — каждые 4–5 дней, иногда чаще. Она отвечает почти так же часто.

Иринке я пишу пореже, но зато помногу — 8 страниц в письме. Первоначально я задавался целью спровоцировать её на вопросы и установить таким образом постоянную переписку. Результаты пока обнадёживающие: в октябре получил от неё два больших письма и открытку. Я тебе уже писал, что ей я посылаю письма-лекции на исторические темы. Они отнимают у меня много времени на подготовку и, признаюсь, я их иногда по 2–3 раза переписываю, но не жалею об этом — мне самому интересно, и думаю, что и ей это не бесполезно. Переписываюсь с родственниками и приятелями — бывшими сожителями. Фрида Давыдовна, добрая душа, прислала мне два тома лекций Ключевского «История России». Замечательно интересная книга, но читать приходится урывками — некогда. Эта книга мне очень поможет в переписке с Иринкой.

Вернулась из отпуска Елена Яковлевна Клейнер. Она получила справку о смерти мужа. В графе о причинах смерти — волнистая черта. Бедняжка, она всё ещё надеялась…

Маёчек пишет, что она стала очень чувствительна к проявлениям антисемитизма. Даже её любимый писатель Франко отталкивает её нелестными замечаниями о евреях-эксплуататорах. Ну, ещё бы! Меня не так сильно раздражает сам по себе антисемитизм, как равнодушие к нему, нейтральность русских интеллигентов-не антисемитов. Эта гадость должна их оскорблять больше, чем евреев. Как у вас там на этот счёт?

Твои занятия сельским хозяйством, наверное, уже закончились, но пишешь ты не чаще. Я уже довольно давно ничего от тебя не получаю. А у меня по-прежнему без перемен. Впрочем, я думаю, что задержка с разрешением моего дела связана с загруженностью местного аппарата подготовкой отправки героев 17 сентября[200]. Но пока что и их не отправляют. Всё замерло, все чего-то ждут. Может быть, всё разрешится в ближайшее время. Но ждать надоело.

Ну, будь здорова, приветствую Сусанну и целую тебя крепко. Жду твоих писем. Твой А.

P.S. Ф.Д. пишет, что Роберт очень болен. У него сердце. Ирина сообщила, что он передал ей для меня какие-то вещи, что Авра[201] вышла замуж, Стелла — тоже.

18.10.55

Здравствуй, родная!

Кажется, пропустил срок очередного письма. Это произошло потому, что я целых три дня творил для Иринки. Ей я пишу — не скажу, интересно, но, безусловно, объёмно. Последние три послания — по восемь мелко исписанных страниц. Чем это кончится — не знаю, но чувствую, что начинаю выдыхаться. Однако я не вижу другого способа наладить с ней регулярную переписку. В этом месяце, за первые две недели, получил от неё две открытки с требованием — писать ещё, и побольше. Что ж, придётся поднатужиться. Впрочем, мне самому интересно писать на такие высокие темы, как история и философия истории. Я не столько поучаю, сколько сам учусь и привожу в порядок свои мысли. Пригодится. Но муки творчества — значительные.

Маюшка пишет часто и без понуждения. Меня это даже несколько беспокоит. Она работает много и тяжело и время на писание писем урезывает из своего отдыха. Она прислала мне свою последнюю фотокарточку. Личико — чудесное, но мне очень не понравились круги под глазами. Впрочем, она утверждает, что это — дефект фотографии и даже хвастает своим здоровьем.

Но писать ей труднее. Экскурсов в историю она не поощряет. По поводу твоих занятий с Сусанной она выражает восхищение вами, но пишет, что, кроме отсутствия времени, у неё нет также такой жажды знаний, как у Сусанны, и что она не надеется найти в книгах ответа на волнующие её вопросы. Это — много хуже.

Извини, что заполняю письма отчётом о своей переписке, но в этом всё содержание моей теперешней жизни. Время остановилось, и ничего нового тут не происходит. Придётся подождать. Это само по себе не так плохо — надвигается зима, и я даже предпочитаю «начать новую жизнь» весною. А пока понемножку почитываю, беседую с приятелями и, как я уже писал тебе, пишу письма.

Газеты поступают исправно, и радио звучит с подъёма до отбоя. Таким образом, я в курсе всех мировых событий. Я весь — за «дух Женевы», потому что, по-моему, сроки нашего свидания тесно связаны с этим духом. Но он, очевидно, сильно выдохся.

Ты совершенно права, что на логику полагаться сейчас трудно. Кроме факторов внешних, имеются, по всей видимости, и факторы внутренние. Наш Годунов — не один, и дружба, как и любовь, переменчива. Тут также возможны всякие неожиданности. По-моему, нам лучше запастись терпением. И, главное, беречь свои нервы. Они тоже ещё пригодятся.

Сельскохозяйственные работы, очевидно, и у вас уже закончились. Теперь ты, надо думать, будешь меньше уставать. Что ты читаешь?

Представь себе, я целых 6 страниц письма Иринке посвятил вопросу — что раньше было сделано: курица или яйцо, т. е., явилось ли образование государства следствием классового расслоения первобытной общины, или наоборот. И меня это действительно занимает, несмотря на все мировые события. Попробуй заинтересоваться таким «злободневным» вопросом, и тебе гораздо легче будет ждать, и меньше будет трепать нервы злоба дня. Я, во всяком случае, отклоняю все попытки своих сожителей беседовать на темы о предстоящих переменах. Так спокойнее.

Твой маршрут — сначала к Маюшке, потом — прямо к тебе — принимаю, но, конечно, если я поеду «на общих», т. е., с паспортом, иначе придётся сначала ехать в Клин.

Будь здорова, горячий привет Сусанне. Целую крепко. Твой А.

11.11.5

Здравствуй, родная!

Получил твоё письмо от 23.10. Подружка также благополучно прибыла и передала мне «Историю одной дружбы в

Бандерлогии»[202]. Я был уже подготовлен, но чтение этого безыскусного рассказа вызвало во мне такой сильный прилив антирелигиозных чувств, что я ещё и сейчас не могу успокоиться. Но читал я его также с чувством радостной гордости. Вспоминались семидесятники и эпоха «хождения в народ». Однако я совершенно не согласен с автором в оценке результатов работы друзей: тут нужна совсем особая арифметика, и, думается, что сами бандерлоги правильнее их оценили. К этому я ещё вернусь в следующих письмах — слишком ещё свежо впечатление от прочитанного.

Мой приятель, о котором я тебе уже писал — ходячая хронология. Я часто слушаю его воспоминания о разных исторических персонажах, многих из которых он знавал лично и близко. Выводы я делаю сам и про себя.

Возьмём литературу. Многое тут надо пересмотреть и, между прочим, Киплинга и тех его героев, о которых ты писала в вашем общем с С. письме. Они не всегда только смешны и жалки. Бандерлог-Макиавелли — это штука серьёзная! Прошлое помогает понимать настоящее, и настоящее, в свою очередь, проливает свет на далёкое прошлое. Первые века христианства не кажутся мне больше такими далёкими и чуждыми: там тоже, наряду с Гретами[203], были Черкесы. И всё вместе — Бандерлогия.

Маюшка пишет мне часто. Я продолжаю соблазнять её историей, а она меня — Лесей Украинкой. Эта писательница стала как будто нашим семейным фаворитом. В последнем письме Иринка прислала прямо восторженный отзыв о её драмах. Маёчек заполнила почти половину письма выпиской из драмы «Три минуты». И знаешь — неглупые мысли. Но я остаюсь верен своему увлечению, хотя вполне понимаю отвращение Маюшки — мне самому бывает тошно читать — уж очень поучительно. Но увлечение Ключевским у меня проходит: мой домашний историк оригинальнее.

Описывая материальный и культурный расцвет Киевской Руси, Ключевский рассказывает, что князья знали иностранные языки, что они любили читать и собирать книги, что они проявляли ревность в распространении просвещения. Они заводили училища, и даже с греческим и латинским языками. Выработался книжный русский язык, развилась оригинальная литература. Уцелевшие остатки построек IX и X вв. в старинных городах Киевской Руси, храмов с их фресками и мозаикой поражают своим мастерством. И наряду с этим: «К половине XII в. рабовладение достигло там громадных размеров. Уже в X и XI вв. челядь (рабы) составляла главную статью русского вывоза на

черноморские и волжско-каспийские рынки. Русский купец неизменно является с главным своим товаром, с челядью».

Кстати, Ключевский, вслед за другими авторитетами, считает главной причиной опустения Киевской Руси опустошительные набеги половцев. И это совершенно неубедительно. Он сам рассказывает о массовом переселении крестьянства на Запад и на Восток. Просто мужику надоела счастливая жизнь с образованными князьями, и он бежал в леса и болота. Но князья скоро находили его и там, и он бежал дальше. В сущности, вся история с колонизацией России — это история бегства русского мужика от русского государства. Так он и добежал до берегов Тихого океана, и дальше бежать было некуда. Остальное известно. Убегая от государства, он создал величайшее государство.

Ну вот, я тоже заполнил всё письмо посторонними рассуждениями. Но о чём больше писать? Не о родственниках ли своих? Они, для экономии времени и сил, перешли с писем на поздравительные телеграммы. Будьте здоровы, целую крепко и жму руку майиным подружкам. Твой Алёша.

19.11.55

Дорогая моя, здравствуй!

Получил несколько запоздалый и косвенный привет от племянницы и её подружек. К одному моему приятелю приехала погостить его дочка, недавно закончившая 18-летний курс наук. Бедняжка, она и сейчас ещё не совсем здорова — её преследует тень Льва. Как водится, был праздник, подымали тосты, и первый тост был предложен (не мною) за славную дочку Ал-дра Петровича. Разговорились, и я узнал, что приезжая проживала некоторое время вместе с Сусанной и её подружками и понаслышке знает о Маюшке и как у неё проходили экзамены. Она (приезжая) знает и любит стихи. Сейчас она по моему требованию выписывает по памяти для Маюшки из Блока, Пастернака и Есенина. Попутно она прочла мне пару стихотворений на бытовые темы неизвестного автора, которые произвели на меня большое впечатление, несмотря на мой иммунитет к поэзии[204].

Мне уже обрыдло сообщать одно и то же: нет перемен. Конечно, я стараюсь не терять даром времени: читаю и вообще разными путями стараюсь просвещаться. Я только сейчас полностью оценил преимущества вполне озвученной квартиры: за ходом женевских переговоров я следил с большим комфортом — с трубкой в зубах, только что без стакана пива, как некогда в Шанхае. Как и подобает «пивному стратегу», я старался разгадать

козни лакеев Уол-стрита, и неожиданно пришёл к заключению, что центральным вопросом, имеющим непосредственное отношение к нам, является вопрос о полётах над нашей территорией. Они хотят запечатлеть изменения в ландшафте[205].

Я тебе уже писал об одной девушке, с которой я был знаком лет 50 тому назад в Париже. Она только проехала через наш город, и я её провожал к поезду. Сейчас она где-то в ваших краях, в таком же доме, как и я. С ней у меня установилась переписка, к счастью, не слишком частая. Она совершенно законсервирована на 918 годе. Письма её производят удручающее впечатление. Этакая 70-летняя бэбэ, которая ничему не научилась и ничего не поняла. Но отвечать приходится, хотя писать очень трудно — рука зверски дрожит. Нет, Маюшка и её подружки — единственная надежда. Они могут и будут учиться. Ну, а пока ей, видимо, очень тяжело приходится, и я это понимаю. Главное — бесперспективность. Им, молодым, не на что оглядываться или «падать обратно»[206]. Я большие надежды возлагал на личную встречу, но сейчас немного сомневаюсь и в этом, она не из «ожидающего сорта».

Я зря расхвастался в прошлом письме — в этом месяце от Иринки ничего не получал. Тут тоже какая-то драма. И В.П. ничего не пишет — занят очень, и я ничего не могу узнать. В последнем письме В.П. написал, что она стала реже приходить. Я бы ей писал чаще, но пока рука не придёт в порядок — трудно очень.

Я рассчитываю, что с нового места ты подробнее напишешь о себе. Пока получил одну только открытку. Маловато.

Мысленно целую тебя и С., жму крепко вам всем руки. Будьте здоровы. Твой А.

27.11.55

Дорогая моя!

Уже конец месяца, но, если не считать одной открытки с нового местожительства, да и то от 29.10, я ничего от тебя не получал. На старости лет я становлюсь мнительным и склонен делать всякие грустные предположения о причинах перерыва в связи. Даже Маюшка, которая писала мне часто, в этом месяце умолкла.

Сегодня несколько успокоился, потому что получил письмо от Иринки. Хорошее письмо. Но как трудно ей, бедняжке, приходится. Она бодрится, пишет, что работа её не утомляет, но жалуется на скверное настроение. Ещё бы — будет плохое настроение, когда приходится и учиться, и работать, да ещё два часа в день тратить на дорогу (её перевели на новое место).

Милая чудачка, она всерьёз поняла свою задачу содержать старика-отца: строит планы нашей совместной жизни после моего приезда.

Насчёт «нахес» от дочки мы, видимо, немного поторопились — она жалуется, что не получает писем из Черновиц.

Пока я тебе пишу, над ухом у меня бубнит громкоговоритель: ой, не радуют меня новости! Конечно, «всё к лучшему», но ждать его трудно. Особенно это касается Маюшки. Б.Годунов — не Бог весть какой великан, но его младший братишка — совсем мелочишка. Но авось Бог не выдаст…

9.12.55

Здравствуй, родная!

Получил письмецо от Гали, подружки Маюшки. Письмо не очень складное, но меня очень растрогало. Оно полно похвальных отзывов о Маюшке — её лучшем друге. Маюшка тоже тепло отзывается о ней, о Сусанне и о прочих друзьях. Как это хорошо! По опыту прошлого и собственных наблюдений последних лет я знаю, что сознание морального поражения неизменно сопровождается всяческими разочарованиями в друзьях и товарищах. Где сохранилась крепкая дружба, там нет и поражения.

Письмо, как она обещает, первое по счёту. Я ответил ей поучениями о необходимости учиться, выработать мировоззрение и проч. Если ты что-нибудь знаешь о ней, — сообщи, пригодится при переписке. Детский сад меня очень интересует, в нём наше будущее, и только в нём — старое выдохлось.

Что касается внешних событий — завтраков, приёмов и прочего, то это меня мало занимает — я весь ушёл в Бандерлогию.

В остальном — без перемен, живу от письма к письму от Маюшки, Иринки и тебя. Маюшка получила посылку Иринки — тёплые вещи и книги. Пишет, что, получив книги, она прежде всего набросилась на Блока — и была разочарована. В первый раз, достав эту книгу у Аси, она просидела над ней, не отрываясь, всю ночь и думала, что впечатление останется таким же сильным всегда. Эта часть её письма меня несказанно утешила.

Одна моя здешняя приятельница специально для Маюшки записала по памяти стихи Блока […] В порядке отцовского контроля я их пробовал читать и, к стыду своему должен признаться, что не мог одолеть — скучно. По-видимому, в этом, как в музыке, требуется предварительное воспитание вкуса. Знаю, что хорошо и красиво, но моя плебейская душа не принимает этой красоты. Впрочем, одно стихотворение Гумилёва, «Рабочий»,

произвело на меня сильное впечатление. Может быть потому, что я знаю трагическую судьбу поэта, и потому, что оно странно-пророческое, в свете того, что с ним после этого произошло. Я даже имел в виду тебе его переслать, но не рассчитал, и места не хватает. Если ты его не знаешь, я пришлю. Очень сильная вещь. Сильнее не выразишь сознания одиночества и безнадёжности того дела, за которое он отдал жизнь.

Я очень рад за Маюшку — она легко заводит друзей. Сейчас она сблизилась с одной украинской девушкой. Сознаюсь, я до последнего времени не мог освободиться от предрассудков времён гражданской войны. Украинцы и их движение казались мне какой-то досадной помехой в серьёзном деле борьбы классов. Я сохранил это пренебрежительное отношение во все «эти годы». А сейчас я думаю, надо пересмотреть и эту позицию.

Кстати, в одном из своих последних писем Маюшка делает несколько дельных замечаний о сравнительных качествах украинского и русского «интеллигентского» антисемитизма. Она уверяет, что антисемитизм — не столь актуальный вопрос для украинцев, как для русских интеллигентских антисемитов. Я думаю, что она права — для последних он заменяет отсутствующую политическую программу или вообще — мировоззрение.

Читаю я мало, и в ближайшее время придётся ещё меньше читать — буду бегать хлопотать об отпуске. На днях прочёл «Село Степанчиково» Достоевского. Впечатление самое сумбурное чего-то нарочитого, чресчурного. Никогда его не любил и, думаю, не полюблю.

Целую крепко и жму руку Сусанне и прочим дочуркам. Твой Алёша.

25.12.55

Родная, здравствуй!

Получил одновременно два твоих письма от 3 и 12.12. Письма Маюшки ко мне хорошие, и на основании их не сделаешь вывода, что она «трудный случай», но тебе, конечно, виднее. Я рвусь к ней на свидание, делаю гигантские шаги в этом направлении и — всё ни с места.

Ты пишешь, что «торжество христианства не принесло того, к чему стремились первые христиане…но оно создало, хороший или плохой, новый мир» и что «инквизиция в конце концов кончилась». Не могу с этим согласиться. Торжество христианства именно тем объясняется, что оно отказалось от построения нового мира: творцы христианской церкви были такими же оппортунистами, как их позднейшие последователи и

подражатели. Что касается инквизиции, то она перестала существовать, когда Европа освободилась, наконец, от морального влияния христианства. Если не придираться к названиям, то инквизиция, т. е. активное вмешательство в вопросы совести для «собственного блага» верующих и церкви, неотделима от всех видов христианства, всё равно — имеем ли мы дело с тремя или четырьмя лицами божества.

Возвращаясь к Маюшке, я думаю, что большую роль в её настроениях (если отвлечься от личных и, увы, оправданных переживаний) играет и играла брешливость литературы. Лишённые житейского опыты, все эти детишки принимают на веру литературных «героев», сравнивают окружающих действительных людей с этими вымышленными образцами, и разочаровываются.

На днях я снова перечитал «Русские женщины» Некрасова. Над этим произведением я в возрасте Маюшки не раз пускал слезу. Но, между нами говоря, это ведь сплошная брехня. Княгиня Трубецкая была урождённая Лаваль, т. е. француженка, а кн. Волконская поехала на каторгу не за мужем, а за возлюбленным, тоже декабристом, Поджио, имела от него двух детей. В этом случае уместнее было назвать поэму «Русские мужчины», так как Волконский с большим благородством покрыл своим именем всё дело.

Мой приятель-историк — умница необыкновенный. Он очень убедительно, например, говорит о пагубной роли дворянства и дворянского землевладения в истории России. Но немало гордится своим дворянским происхождением и тем, что один из его предков был гетманом Украины, много у него и других мелких смешных предрассудков. Это не мешает ему быть в общем очень хорошим человеком.

Надо этих детишек убедить, что живые люди не бывают ни стопроцентными героями, ни абсолютными злодеями. Нужна правда, а не утешения.

Ну, будь здорова, родная. Передай мою любовь С. и другим милым детям. Целую крепко А.

1.1.56

Родная моя!

Поздравляю с «Новым годом и с новым счастьем». Пора бы этому новому счастью улыбнуться и нашему семейству.

Ты, конечно, знаешь, что Маюшка снова переехала на новое место и, по сообщениям Иринки — в Москву. Впрочем, ты это должна знать точно…

От неё я ещё с неделю назад получил телеграмму: «На днях

выезжаю». Я это сообщение воспринял со смешанным чувством. При старомодной честности и гордости нашей доченьки «личный контакт» — не большая радость, лучше бы они расхлебали эту кашу заочно… Но надеюсь на лучшее и с нетерпением жду твоего сообщения об отъезде Сусанны. Моя поездка к Маюшке сама собой отпала: я просто не явился за ответом на моё заявление об отпуске.

Разъезды продолжаются и у нас, и в окрестностях, но ничего сенсационного: по-прежнему уезжает преимущественно набор военного времени и более или менее случайная публика.

Одна из ваших дам, приехавшая сюда месяца три назад, благополучно вышла замуж. Жениху 73 года. На встрече Нового года об этом было заявлено публично. Были крики «горько», молодожёны с подобающим смущением целовались. Её зовут Кострова — поэтесса и неисправимая оптимистка.

А я пока развлекаюсь чтением. На днях мне попался объёмистый роман неизвестной мне писательницы Марии Марич «Северное сияние». Роман посвящён декабристам, и хотя он сделан довольно скверно, но прочёл я его с большим интересом. Много в нём благонадёжного вранья и просто глупостей. В прологе, например, неизвестно зачем описывается, как население Парижа восторженно забрасывало русских солдат цветами, провожало их криками: «Да здравствует русская армия!» и даже: «Да здравствует император Александр!». В романе, посвящённом истории заговора и восстания декабристов, непомерно большое место уделено истории дуэли Пушкина, не принимавшего никакого участия ни в заговоре, ни в восстании. Благонадёжность автора распространяется и на описание личной жизни жён декабристов. В ответ на объяснение в любви Поджио (отца её двух детей), жена Волконского, совершенно в духе пушкинской Татьяны, отвечает «но я другому отдана, и буду век ему верна», и проч., и проч. Тем не менее, я эти 660 стр. прочитал меньше, чем за два дня. Уж очень интересна тема, и автор, несомненно, знаком с материалами по этому делу.

Что такое «победоносная революция», и какая революция — неудачная? Что было бы, если бы заговор декабристов завершился бы 14 декабря удачно, и к власти пришли бы, вместо Николая I, — Ермолов, Сперанский и Мордвинов? Польское восстание подавил бы тогда не генерал Паскевич, а Ермолов. Пестель был бы, вероятно, казнён не Николаем, а Рылеевым и Трубецким. Неизвестно, упразднили ли бы крепостное право, но земли крестьяне не получили бы наверное, так как на этот счёт у декабристов было почти полное согласие — не давать крестьянам земли. Декабрьское восстание, Парижская коммуна, революция

1905 г. — всё неудачные революции, но так ли это? Интересно и поучительно сравнить их результаты с результатами победоносных революций. Колёса исторического прогресса смазываются кровью. Но я тебя, наверное, уже утомил своими экскурсами в историю далёкого прошлого. Будь здорова, пиши хоть понемногу, но часто. Целую тебя крепко и целую детишек. Твой А.

7.1.56

Здравствуй, родная!

Вызов Маюшки в Москву сейчас несомненно «гвоздь сезона», и меня, как и тебя, конечно, он бесконечно волнует; я с нетерпением жду всех твоих сообщений об этом, хотя бы самых коротких.

Я не одобряю намерения Иринки провести зимние каникулы у тебя. Её место сейчас в Москве. Бедняжка, лучше всего бы ей сейчас отдохнуть и повеселиться.

У нас тут по-прежнему тишь да гладь. Разъезды тоже приостановились. Морозы до сегодняшнего дня стояли прямо зверские. Я махнул рукой на спортивные упражнения и безвыходно сидел в комнате, тем более, что мне в последнее время везёт на интересное чтиво — только покончил с книгой о декабристах, о которой я тебе писал в прошлом письме, как получил первый том «Братьев Карамазовых». Книга эта скандально популярна среди моих сожителей. Поля страниц густо исписаны пометками и комментариями читателей, вопросительными и восклицательными знаками и, чаще всего, одобрительными замечаниями: «правильно», «пророчество», и проч. Общее впечатление от книги как-то сливается с впечатлением от этих пометок. В первый раз я читал её с лишним 50 лет назад и, перечитав сейчас, отложил с таким же чувством, как и в первый раз — не приемлю. Вот тебе лишнее доказательство, что я «случай задержанного развития». Я всегда придерживался взгляда, что биография писателя — это его произведения. Но к Достоевскому это правило совсем не приложимо. Наоборот — его биография определила его произведения. Петрашевец, прошедший через церемонию гражданской казни и через каторгу и помилованный Николаем I после покаянного прошения, должен был писать, как он писал. Есть что-то глубоко личное в его ненависти к «либералам».

Дописал до этих пор, и мне вручили твоё письмо от 25.12. Надо бы написать другое письмо, но у меня зверски дрожит рука, завтра я дежурю на кухне, и сейчас уже поздно. Насчёт испытания, которое ожидает детишек, ты совершенно права, в

особенности, если учесть их честность и гордость. Вот когда мне надо бы быть в Москве. Но обо мне как будто забыли, и я даже справляться не хочу, так как я наскандалил с отпуском для поездки к Маюшке и теперь не хожу туда, чтобы мне этот отпуск не вручили.

Стихотворение следующее: «Он стоит пред раскалённым горном» […][207]

Маюшка этого стихотворения не получила — её перевели к тому времени в другое место, и я от неё ещё ничего не получал. Ну, будь здорова, родная. Воображаю, как тебе тяжело теперь одной.

Целую тебя крепко и жду твоих, хотя бы самых коротеньких писем. Твой А.

14.1.56

Дорогая моя, здравствуй!

…Сожалею, что ты не послала мне письмо Зины об Иринке. Да, ты совершенно права — «очень нам повезло в жизни». Но пойдут ли наши девочки точно по нашему пути? Думаю, что они изберут свои собственные пути. А путей по-видимому, много…

Тут недалеко гостили два новых человека. Впрочем, один из них уже не новый — я тебе о нём писал, это бывший деятель и вояка, еврей и верующий католик[208]. Другой тоже был в больших чинах, побывал на родине Аси[209] после нас, в 1936 году. Очень неглуп, очень грамотен и остроумный собеседник. Три вечера и два дня мы провели в бесконечных спорах, вперемежку с воспоминаниями. В этих беседах я вполне оценил старую истину — бывшие семинаристы поставляют наиболее последовательных атеистов. «Смещённых» я за эти годы встречал немало. Обстановка и пережитое вполне объясняют их распространение, но так далеко и так основательно мои прежние знакомцы никогда не отходили. Я себя довольно неуверенно чувствовал в роли представителя старомодного материализма. Католик донимал меня теорией относительности, новейшими открытиями в физике, астрономии и биологии, не говоря уже о цитатах из философов всех времён и народов, а другой вставлял короткие и замечательно едкие реплики по новейшей истории, которую он помогал делать. А бандерлоги вопят слишком громко и слишком однообразно… Переигрывают, как всегда.

У меня корреспондентов много меньше, чем у тебя. Письмо Гали очень трогательное, но переписка наша оборвалась в самом начале. Иринка опять умолкла, и я ей реже пишу, потому что отъезд Маюшки выбил меня из колеи, и не хочется писать просветительных писем.

Ну, будь здорова, целую крепко и жду новостей от Маюшки. Твой А.

Два письма отца Ирине, посвящённые, главным образом, причинам победы нацистов в Германии, выбраны из пачки адресованных ей «просветительских» писем, за содержащиеся в них личные свидетельства. Помещены вперемежку с письмами отца маме, с соблюдением сюжетной канвы: нашего близящегося освобождения.

16.1.56

Здравствуй, доченька милая!

Давненько мы не беседовали! Вызов Маюшки в Москву выбил меня из колеи — я и читаю мало, и пишу редко, и нахожусь в состоянии хронического смятения чувств. Кроме того, мама мне писала, что ты собираешься побывать у неё во время зимних каникул, и я ждал ваших отчётов об этой новой встрече. Эта твоя поездка, по-видимому, не состоялась, и это неплохо — тебе нужно было отдохнуть немного. Сейчас, когда Маечка в Москве или скоро там будет, тебе надо быть «на посту».

На днях я получил от неё письмо, всё ещё из Тайшета. Письмо датировано 29.12., и она пишет, что ждёт отъезда со дня на день. Другие её подружки уже выехали. Это я знаю из писем мамы и из письма подружки Майи, проживающей в одном с нею городе, хотя на разных квартирах[210]. Надеюсь, что ты будешь держать меня в курсе дела.

Но я также хочу быть в курсе твоих собственных дел. Ты очень уж скупо пишешь о себе, доченька! Мама пишет, что она получила очень хорошее письмо о тебе от Зины, подруги Стеллы.

Я совершенно согласен с выводом мамы, что нам с нею очень повезло в жизни — обе дочки прекрасные. Но обидно судить об этом на основании косвенных данных — свидетельств посторонних людей.

У меня пока без перемен — скучно и однообразно, но бывают изредка и развлечения. На днях тут неподалеку гостили два новых моих знакомых. Они многое видали и многое пережили за последние 15–20 лет. Сильные переживания не прошли для них бесследно. Три дня и почти три ночи мы проспорили, спорили до полного одурения, и расстались хорошими друзьями.

Но это был, т.с., праздник, а будни проходят скучно и однообразно. Главное — однообразно. Однообразие — крупный фактор в жизни людей и даже целых народов.

Я помню — ещё в 1921 г., когда мы с мамой были в Германии, мы никак не могли объяснить себе тоску и уныние,

которые у нас вызывала эта страна. Но однажды, это было в Берлине, мы отправились на прогулку в лес. На самой опушке мы увидели столб с доской и на нём надпись: «В этом лесу 63897 деревьев, из них берёз — 18200, сосен — столько-то, и т. п.» Лес был чисто выметен, на определённой дистанции расставлены урны для окурков и бумажек, и на деревьях — электрические лампочки и указатели дорог. Порядок и однообразие — поразительные.

Когда я этот случай рассказал моим новым товарищам [по инвалидному дому], один из них вспомнил, что полицейская статистика всех стран отмечает тот факт, что наибольшее количество буйств и драк во хмелю дают счётные работники. Мы все трое согласились, что скука и однообразие жизни, отупляющий «порядок» вполне удовлетворительно объясняют «художества» немецкой истории. Это — действия охмелевших счетоводов! От скуки они приняли лютеранство, массами вступали до 1918 года в социал-демократы, а потом так же табунами — в нацистскую партию.

Я вспомнил гнетущее впечатление, которое на нас с мамой производили квартиры немецких рабочих и служащих. Надраенные до ослепительного блеска чистые половицы, полотенца и занавески, вышитые изречениями из Лютера или других непреложных авторитетов: «Бог — наша крепость», «Любовью заниматься один раз в неделю», и т. д.

Однообразная работа или служба, однообразные штампованные убеждения, строго регламентированная жизнь. Удивительно ли, что во хмелю войны они быстро превращались в зверей. И этому нисколько не противоречит их склонность к сантиментальности.

Но я тебе уже наверное надоел своими философствованиями, и не хочу больше нагонять на тебя тоску. С понятным тебе нетерпением жду весточек о Маюшке и о тебе.

Будь здорова, целую тебя крепко, крепко. Привет В.П. и его половине. Привет друзьям. Твой папа.

Дальше — снова несколько писем маме:

27.1.56

Родная моя, здравствуй!

Письмецо твоё от 13.1. получил. Не могу сказать, что оно мне очень понравилось, хотя настроение твоё мне вполне понятно и в достаточной мере оправдано. Маюшка тоже пишет о паршивом настроении, и у неё это ещё более оправдано. И я прекрасно понимаю, что дело не в физических страданиях.

На днях мне рассказывали содержание книги Веры Фигнер «Запечатлённый труд». Я эту книгу не читал и глубоко сожалею об этом. Слабая сторона подобных мемуаров в том, что они публикуются после окончания сражения, и авторы мало останавливаются на описании «мелочей жизни» промежуточного периода когда они, разбитые и жалкие, были, казалось, навсегда исключены из жизни. Это тоже «ложь во благо» с благородной целью. А маюшкам это было бы, пожалуй, полезнее, чем примеры геройской твёрдости и прочего.

Ввиду кризиса с чтивом, перечитываю первую книгу Короленко «История моего современника». Совершенно понимаю это увлечение Маюшки. Пусть он не Шекспир, но это, по-моему, самый честный из известных мне русских писателей. От книги веет какой-то личной порядочностью автора.

Вчера же получил обширное письмо от Иринки, самое обширное за всё время нашей переписки. Она сдала четыре экзамена из пяти, ходит каждый день справляться, не приехала ли Маюшка, и даже уже приготовила четыре апельсина и курицу для первого свидания. На это свидание она твёрдо рассчитывает. Со слов прочих родственников она уверена в счастливом окончании дела. Её соображение: история стала настолько известной, что выгоднее её хорошо закончить. Что ж, её «гесс»[211] не хуже всякого другого! Но, кроме семейных новостей, в письме много, неожиданно много, рассуждений и возражений против моих несправедливых нападок на христианство. Вот уж не ожидал! Правда, Иринка всё время подчёркивает, что «эта религия ей совершенно чужда», но всё же…

Родная моя, как мне понятна твоя тоска «по чему-то здоровому, нормальному». Я думаю, что нечто подобное, вероятно, испытывали древние интеллигенты в первые века христианства. Им было несравненно хуже, потому что они не могли не понимать, что это — конец культуры и разума, и во всём мире не было ничего, что можно было противопоставить этому. Сейчас далеко не то. Идёт большое и действительно новое, которому противопоставляется что-то уже бывшее и исторически осуждённое. На бандерлогах свет клином не сошёлся. Но о подробностях поговорим при встрече.

Насилу дописал это письмо — рука дрожит зверски. Это, конечно, от старости. Но почему это у тебя бывает — не пойму. Ты ещё девчонка по сравнению со мною. Я думаю, у тебя просто нервы разболтались. Попробуй обтираться холодной водой.

Крепко целую и жду твоих писем. Твой Алёша.

2.2.56

Родная моя!

Получил твоё письмо от 17.1. уже пару дней назад и не сразу ответил потому, что надеялся сообщить тебе новости о себе. Но увы, новость не сенсационная. После долгих размышлений в течение почти десяти месяцев «инстанция» решила меня в Клин не переводить. Мотивы: родственников там у меня нет, а Иринка живёт в Москве…Одновременно мне сообщили об отказе в отпуске для поездки к Маюшке, но уже без мотивировок.

Это создаёт новую ситуацию — я уже было привык к мысли, что весной увижу Иринку, побываю у тебя и поговорю по душам с Маюшкой. Я надеялся, что «переверну страницу».

Признаюсь, что последняя новость несколько испортила мне настроение. On top[212] этого, получил письмо от Ф.Д. Очень милое письмо. По моей просьбе она пишет и об Ирине и приводит свои воспоминания о Маюшке и, между прочим, рассказывает, что в 18 лет этот опасный злодей любила вертеться перед зеркалом, строя самой себе гримасы, и разговаривала иногда совсем по-ребячьи. Эти подробности заставили меня пару дней «видеть красное»[213] и отложить письмо к тебе.

По-видимому, я не скоро увижу девочек и не скоро попаду к тебе. Ни в Керчь, ни в Одессу, ни в Ленинград к Лёне мне не попасть; да мне и не хочется снова писать и проходить все мытарства. К Маюшке же ездить пока — некуда.

По-прежнему почитываю, что попадёт под руку. Сейчас увлёкся монографией действительного члена Академии наук Р.Ю.Виппера «Иван Грозный». Интересны оба — и автор, и книжка.

Он — бывший ординарный профессор, кажется, Московского университета, бывший действительный статский советник (генерал), бывший кумир студентов — легальный марксист и «почти социал-демократ». Даже я припоминаю его имя. Впрочем, несмотря на «радикальные» убеждения, он был очень преуспевающим. Его учебники неизменно рекомендовались Министерством просвещения. Но он несомненно был историком.

«Иван Грозный» он написал в 30-х годах, и от действительного Грозного странным диссонансом сохранилась его борода. Всё остальное совершенно современно.

До революции я думал, что не всё было благополучно в старой России, и не все князья и цари были благодетелями своего народа. Оказывается, это не так. Оказывается, не только сейчас, но с самого своего возникновения «мы самые, мы самые».

Книжку я читаю на английском языке. Если у вас она имеется, стоит посмотреть — и занимательно, и вполне заменяет газету.

В остальном — без перемен. Крепко жму руку, кому стоит, и целую тебя крепко.

Нас не так легко убить — мы живучие.

Твой Алёша.

3.2.56

Здравствуй, дорогая моя!

Получил вчера открытку от Зельмы, первую после её встречи с Иринкой. Отзыв обычный — «прекрасная девочка». Сейчас уже можно без всяких reservations[214] принять, что она, по крайней мере, не глупа и умеет себя держать. Это — немало. А её отказ от материальной по- мощи в её положении рисует её с новой и прекрасной стороны.

Я уже в прошлых письмах писал тебе, что не жду никаких сенсационных изменений в положении Маюшки. Однако и тут возможны большие неожиданности.

Удовлетворяю твой интерес к историческим примерам и аналогиям. Ввиду твоего несколько неожиданного интереса к христианству, сошлюсь на пример из истории этой религии, тем более, что она имеет немало общего с религией Бандерлогии.

Первый, можно сказать, установочный, собор христианской церкви происходил в 325 году. То были наивные времена. Важнейшие принципиальные и организационные вопросы, действительно, решались чуть не на заседаниях собора. Николай Мирликийский (Николай Угодник) отхлестал своего противника Ария туфлей по щекам. Произошла всеобщая свалка, и председателю, императору Константину, пришлось ввести стражу, чтобыунять святых основоположников.

Такая трогательная простота нравов давно ушла в прошлое. Действительно серьёзные дела не решаются больше на соборах. Заседания являются только парадными представлениями, демонстрирующими перед верующими «несокрушимое единство» и проч.

Нечто похожее мы наблюдаем на земских соборах Ивана Грозного. Эти соборы не имеют ничего общего с парламентами — никакой борьбы мнений или даже интересов. Это просто собрание уездных начальников и воевод, отчитывающихся в исполнении порученных им дел. И конечно, никакого расхождения во мнениях. Однако вся эта внешняя благодать не устраняет ни классовой, ни иной борьбы и грызни. Она просто переносит эту борьбу за кулисы, вне соборов, хотя кое-какие выводы можно делать на основании служебных перемещений.

Иногда приходится выбросить за борт уж очень оскандалившегося угодника, сохраняя, по возможности,

преемственность в действиях и, конечно, авторитет церкви. Я не хочу злоупотреблять твоей истинно-христианской терпимостью и терпением и пока кончаю свои исторические[215] экскурсы.

Только что мне передали письмо от одной бывшей подруги Маюшки. Её тоже вызывали в Москву и полностью восстановили попранную справедливость. Явившись в Томск, где она обязана проживать, она прежде всего явилась на свидание к дочке, учащейся в ремесленной школе и «отдающей», по словам матери, — «все свои силы науке». Произошла отвратительная сцена — дочка решительно и весьма демонстративно отказалась разговаривать с матерью. — «Зачем ты явилась, ты мне не нужна». А ты говоришь о каких-то reservations!

Я насилу дописал это письмо — у меня зверский насморк с гриппом и рука больше обычного дрожит.

Конец стихотворения Тагора мне понравился, но ты права — я действительно «мало ценю всё это». Надо думать, ты имеешь в виду «сплошную поэзию и музыку в людях». Но об этом в следующий раз.

Целую тебя крепко и жду вестей о Маюшке. Твой А.

7.2.56

Здравствуй, родная!

Получил твоё от 24.11 вместе с вложенными тремя страницами письма Зины. Хотя о письмах в 14 страниц я раньше только в романах читал и не перестаю удивляться христианскому долготерпению «третьего», но страницы прочёл с интересом. Как жаль, что два письма Зины до Маюшки не дошли, в особенности стихотворения Тагора. У них должно быть много точек соприкосновения в настроениях.

Доченьки у нас, действительно, замечательные, и Иринушка действительно умница, но образ шоколадного ангелочка, какой она получается в изображении Зины, меня оставил равнодушным — не верю. Учитывая обстоятельства её жизни, это было бы даже неестественно. Я думаю, она нисколько не «мирная, тихая и ласковая» и наверное умеет за себя постоять.

Одно время я старался использовать всякие оказии, чтобы её смотрели и мне описывали. Думаю больше этого не делать — она как будто экспонат на выставке…

С удовольствием прочёл книгу Виппера «Иван Грозный», о которой я уже писал в прошлом письме. Она до смешного современна, т. е., скорее, была современна года три назад.

Очень меня растрогало умиление автора перед Грозным за то, что он уже тогда уничтожил множество зловредных служителей культа. Например, после ликвидации митрополита Филиппа, он

уж заодно прихватил и епископов Казанского, Астраханского, Рязанского, Владимирского, Вологодского, Ростовского, Суздальского, Тверского, Полоцкого, Новгородского, Нижнего Новгорода, Псковского и Дерптского. И это по одному только делу. И опричнину он нисколько не баловал — они шли, как и прочие смертные. Он нисколько не пресмыкался перед Западом. Уже в последний год войны, когда страна была совсем разорена и истощена, он продолжал писать оскорбительные письма тем, у кого просил мира. Письма прямо поражают своей нелепостью. Например, его очень волновало, почему датский король называет шведского короля «братом», когда тот происходит от водовозов.

Всё же Виппер — профессионал-историк, и некоторые его обобщения очень занятны.

Дорогая моя, целую тебя крепко и надеюсь на скорую встречу. Твой А.

16.2.56

Здравствуй, родная моя! Давненько я от тебя ничего не получал, и не от тебя одной.

Полагаю, что у тебя не хватает времени внимательно следить за газетами или слушать радио — это очень жаль. Я с глубочайшим вниманием и интересом прослушал всемирно-исторический отчётный доклад. В нём и для нас много поучительного. Лично меня, при моей счастливой жизни, это мало задевает, но для прогнозов о делах Маюшки и её подружек материала достаточно. Пожалуй, тебе стоит заблаговременно похлопотать о совместной жизни. Нет, совершенно не прав был Соломон: ничего не проходит!

Несмотря на неудачу с планами переселения в Клин, я не совсем оставил занятия по подготовке к самостоятельной жизни. Читаю, размышляю и продолжаю пересмотр старого багажа. Самое замечательное, что я в нём, наряду с трухой, нахожу немало стоющего. Дело, по-моему, не столько в ценностях, сколько в самих нас, в подходе к этим ценностям.

Не сердись, родная, что письмо такое малосодержательное. Мне бы очень хотелось поделиться с тобою мыслями, и, в особенности чувствами, но ты знаешь мою застенчивость, и она вполне оправдана обстоятельствами. А событий у меня — никаких. Письмо Зины я сохраню и может быть перешлю его тебе частями.

Будь здорова — это главное. Целую тебя крепко, верю твёрдо, что мы ещё потрудимся и для себя, и для наших детей и даже внуков.

Твой Алёша.

24.2.56

Родная моя!

Вчера утром отправил тебе паническую открытку по случаю твоего, как я предполагал, долгого молчания. Ты уж не сердись, дорогая, я, право, твёрдо уверен, что «всё к лучшему», но когда я долго не получаю писем, я начинаю в этом слегка сомневаться, в особенности, когда замолкают все сразу. Но всё хорошо, что хорошо кончается.

Мой приятель-историк сильно хворает. Он очень плох, никуда не выходит, и я его ежедневно посещаю. Его воспоминания, когда мне удаётся вызвать его на воспоминания, меня очень занимают и волнуют. Он лично знавал героев недавнего прошлого, видал их в ореоле славы и величия, и потом на дне. И всё это только укрепляет моё отвращение к христианству во всех его вариациях.

Признаюсь, я с завистью узнал о твоей встрече со специалистом-физиком. Совершенно разделяю твои чувства. Совершенно верно, что невозможно быть «на уровне эпохи» без знания современной физики, без понимания теории относительности. К глубочайшему моему сожалению, для меня это книга за семью печатями. Тут наскоком ничего не добьёшься — нужна математика, и много ея.

Тут стоят небывалые морозы, сопровождаемые сумасшедшими ветрами-буранами. Но когда немного потеплеет, а потом подсохнет, я отправлюсь в город покупать книги. Тогда и тебе вышлю. «Иван Грозный» я читал по-английски, потому что по-русски его тут нет, книга библиотечная, из города, и переслать её тебе я не могу.

Относительно В.М. ты немножко ошибаешься. Она — не дура, но совершенно опустошённый человек. Это она 18 лет отдежурила «под тенью Льва». Лев, конечно — благородное животное, царь лесов и проч., но львята — совершенно выродились, по крайней мере, мужская их часть. Относительно их, я думаю, планы Черкеса вполне удались. Эта девица интересуется только стихами, которых знает сотни и тысячи. Сожалею, что дал ей адрес Иринки — компания мало подходящая. Но и отказать ей было неловко. Спасибо за орфографические поправки. Но чему ты удивляешься? Правописание и, в особенности, пунктуация, для меня всегда были тёмным делом. В особенности, двойные согласные. В сомнительных случаях я заглядываю в англо-русский словарь. «Сыпит» у меня самого вызывало сильные сомнения, но я торопился и, к тому же, забыл английское значение этого слова. А «интеллигент» даже и не вызывал сомнения: судя по здешним

представителям этого сословия, одного «л» им заглаза довольно.

Снова — большое письмо Ирине на интересовавшую её тему — о причине прихода нацистов к власти в Германии:

6.3.56

Милая моя доченька!

Получил твоё обширное и очень содержательное письмо от 27.2. и вспомнил, что на днях поручил Зельме Марковне, подруге мамы, надрать тебе ушки за то, что не ты, а она первая сообщила мне о прибытии Маюшки и о её первом письме. Настоящим объявляется тебе полная амнистия и, учитывая все обстоятельства, я сам прошу твоего прощения.

Весть о твоей болезни ввергает меня в глубокое уныние. Дело не в ангине, а в том, что ты сильно переутомляешься, вероятно, скверно питаешься и, наверное, плохо одета для мерзких морозов текущей зимы. А как помочь этому делу — не знаю. Мама пишет, что ты категорически отказываешься от помощи друзей, и ты сама пишешь, что собираешься откладывать «лишние» 40 рублей и посылать их, «где они будут больше нужны». Чудаки вы, милые мои доченьки! Но, учитывая современное состояние мира, интересно бы посмотреть, что было бы, если передать его в руки таких, как вы с Майей непрактичных людей. Наверное, хуже не будет!

Верь, мне бы очень хотелось оправдать твоё лестное мнение о моей «учёности», и вопрос о том, почему гитлеровцы так быстро и легко пришли к власти в Германии, меня самого очень занимает. С моей точки зрения, это едва ли не самый важный и интересный вопрос современности. Но я не могу похвастать, что мне тут самому всё ясно. Незадолго до нашей разлуки мне попалась в руки книжка американского писателя Синклера Льюиса «У нас это не могло бы случиться». В этом романе автор очень убедительно доказывает, что «это» даже очень легко может случиться в США и, пожалуй, где угодно, во всём мире.

Я очень люблю писать тебе на такие большие и трудные темы, потому что это помогает мне самому для себя выяснить свои мысли и привести их в порядок.

Ничего не происходит сразу, даже «прыщ на носу», — говорят, — «не сразу выскакивает — всё сначала почешется».

85 лет тому назад Германия одержала полную победу над Францией. Война 1870-71 года имела большие последствия: аннексия Эльзаса и Лотарингии Германией, Парижская коммуна, установление Третьей Республики во Франции и, между прочим, уплата Францией громадной по тому времени контрибуции — 5-

ти миллиардов золотых франков. Эти миллиарды сыграли большую роль в последующем бурном развитии германской промышленности. Конечно, они были не единственной причиной этого развития, но, безусловно, сильно ему содействовали. Сорок семь лет спустя, в результате Первой мировой войны, Германия потерпела полное поражение. Во главе победившей коалиции стояла Франция, а во главе Франции — Клемансо — «тигр», как его называли. Это был очень крупный и умный политик и, по твёрдости и жестокому упорству, полностью заслуживал свою кличку. Клемансо поставил себе цель — обезвредить Германию навсегда или надолго. Кроме того, у него из головы не выходили благотворные результаты миллиардов французской контрибуции для германской промышленности и военной мощи.

Для «тигра» Клемансо был очень умён, но международную экономику он понимал плохо. Используя решающее значение Франции в Версале, он добился договора об уплате Германией контрибуции даже не в 5, а в 100 миллиардов золотых франков и, кроме того, репараций, т. е. восстановления Германией всех разрушений, причинённых ею во время войны.

Требования эти были совершенно невыполнимы, и результатом их было не обогащение Франции за счёт Германии, а напротив — задержка в развитии французской промышленности и невероятно быстрое восстановление германской промышленности и военной мощи.

Нельзя сказать, что все государственные деятели того времени были так невежественны в вопросах экономики, как Клемансо. Но таковы были требования не одного Клемансо, а народа, и не одной Франции.

Немцы обладают замечательной способностью возбуждать к себе жгучую ненависть действиями, которые часто совершенно для них бесполезны. Помню, как во время своего страшно жестокого марша через Бельгию, немецкие солдаты — члены профсоюзов и социалисты, являлись в местные профсоюзные и партийные комитеты и с какой-то наивной наглостью требовали «дорожное пособие», так как они, де, странствуют по Бельгии. Война 1914 года захватила меня в Германии, откуда я только в 1915 году выбрался. Помню, как я однажды сидел в столовой Дома профессиональных союзов и слушал самодовольные рассказы солдат — бывших членов союзов, об их зверских подвигах на войне, — как они прикладами забивали на смерть пленных, расстреливали их целыми пачками. В этом отношении, если не считать массового истребления евреев, гитлеровцы не внесли ничего нового в немецкую практику ведения войны.

Словом, «глас народа» победил, и Клемансо навязал свои

требования Германии. Но он забыл, или, вернее всего, не знал различия между контрибуцией, которую Франция уплатила Германии, и той, которую он думал получить в течение ста лет от немцев.

Чтобы скорее избавиться от немцев, сытые французские мужики развязали свои чулки, открыли кубышки и разменивали свою звонкую монету на бумажные деньги и выгодные займы. А немцам, чтобы вносить по миллиарду золотых франков в год, нужно было на такую же и даже большую сумму денег увеличить свой экспорт. Они должны были продавать дешевле французов, англичан и американцев, да ещё поставлять во Францию и Бельгию готовую продукцию по репарациям. Французам эти платежи и репарации не приносили счастья — их промышленность всё больше хирела от конкуренции Германии на французских рынках. Но и немецкому рабочему и мужику приходилось очень горько. И все эти невзгоды и страшные лишения связывались с господством западной «демократии» над немцами.

Германия стала в это время обетованной землёй для иностранных капиталовложений. Дешевле немцев никто не работал. Я тогда немного плавал и помню, что на советском судне я получал 7 фунтов (70 руб. золотом) в месяц, а немцы — 2–2,5 фунта, при рабочем дне на два часа дольше нашего. А англичане получали 12 фунтов и американцы — 20. Береговые рабочие жили ещё много хуже.

Потом пришла инфляция. Деньги падали в цене так быстро, что продукты, купленные утром, стоили вечером в два раза дороже. К концу коробка спичек стоила уже полмиллиона. Вот, когда начался массовый отход немцев от демократии и демократических партий.

В 1921 году мы с мамой были в Берлине и видели первомайскую демонстрацию. На всех плакатах был один только лозунг: «Nie wieder Krieg» — «Никогда больше войны». А в 1924-25 годах уже существовали многочисленные националистические организации, и начался бурный рост гитлеровской национал-социалистической партии.

Отход от социал-демократии шёл в два потока — к нацистам и к коммунистам. В рабочем классе рост влияния коммунистов далеко превышал рост нацистов. Так шло до начала коллективизации у нас. В 1930 году происходило что-то вроде гражданской войны, и уже заметно было проникновение нацистов в рабочие районы, а в 1933 они получили явный и подавляющий перевес.

Конечно, одна, т. сказать., «экономика» не объясняет победу и

такую победу нацистов в Германии. Но эти экономические и, в особенности, исторические факты необходимо иметь в виду, чтобы понять, что именно там произошло. «Ходить бывает склизко по камешкам иным», и я думаю, что давно пора поставить на сегодня точку.

Только что получил письмо Маюшки из Свердловска. Оно помечено 1 февраля. За это же время её письмо к маме успело дойти по назначению, было многократно прочитано, мама успела мне написать о нём и, тоже с задержками, я его давно получил. Чудеса почты!

Целую тебя, милая доченька, крепко. Твой папа.

Остальные письма отца маме:

11.3.56

Родная моя, здравствуй!

Подтверждаю получение твоего письма от 24.2. Почту всё ещё странно лихорадит. Пару дней назад неожиданно получил письмо от Маюшки из Свердловска.

Я писал тебе под свежим впечатлением «великого события»[216], и выводы получились неоправданно пессимистическими, в особенности, в отношении ближайших перспектив для нашего семейства. Сейчас я думаю, что шансы Маюшки вполне осязательны.

Исторические параллели — занятие более или менее праздное, но всё же занимательное. Вот почему я рад, что ты вновь заинтересовалась историей. Самое интересное в термидоре[217] это то обстоятельство, что герои его — это вчерашние друзья и сподвижники Робеспьера. Все эти Бареры[?] и Баррасы — это не представители другой какой-нибудь партии, а ближайшие друзья, рабски выполнявшие волю своего господина-Робеспьера. А Бийо де Варасса [Бийо-Варенна?], и Колло д`Эрбуа Робесспьер неоднократно вынужден был осаживать в их чрезмерном усердии. И именно они громче всех требовали его смерти и не давали ему слова. Формально ничего не изменилось и после казни Робеспьера, но толчок был дан, и потом действовала уже сила инерции.

Иринка долго молчала и, наконец, прислала обширное и довольно содержательное письмо. Из него я узнал, что Маюшка вернула переданные ей 70 рублей и пригрозила отказаться от передач. Решительная девица! Это, конечно, не очень практично, но очень хорошо, и служит лишним доказательством отсутствия поводов для пессимизма. Иринка тоже интересуется историей. Она требует объяснения, почему и как фашисты пришли к власти

в Германии. Её волнует судьба человечества, и она считает, что война является доказательством крайнего морального падения человечества. И видно, что эти вопросы её действительно интересуют. Но кроме этого, она много пишет о поэзии, и тут, конечно, ты должна ей помочь — я тут, как всегда, совершенно беспомощен. А стихи Тагора мне очень понравились!

Ты уже знаешь, конечно, что она болела ангиной, что она пролежала восемь дней у Зины. Боюсь, что она чрезмерно переутомляется и, вероятно, скверно питается. Кстати, ты пишешь об институте. Разве она думает продолжать учиться немедленно?

Здесь наступила первая оттепель, и я совершенно отрезан от города. Выхожу только в столовую и в соседний дом к товарищам.

У меня тоже не всё благополучно со здоровьем, но у меня это более оправдано — 65 лет…

17.3.56

Родная, здравствуй!

Получил твоё письмо от 6.3.56. Иринушка переслала мне письмо Маюшки. Содержание его тебе, наверное, известно, но на всякий случай прилагаю.

Твоё письмо прекрасно гармонирует с оптимистичными прогнозами других моих корреспондентов. Но самое большое впечатление на меня произвело послание Веры, жены Н. После семилетнего премудрого молчания она, наконец, разрешилась длиннющим, отпечатанным на машинке письмом. Не письмо — роман. Но основная мысль: «правда опять стала правдой», «повеяло, наконец, настоящим»… (подробности в газете). Но я старый скептик, и ещё подожду. И не верю, что она сама уж очень верит: обратный адрес она указала иринкин. Но щось есть. Ты обратишь внимание, что Маюшка не только хорошие книжки читает, но и много спит. Раньше она не очень бы разоспалась. Это уже — реально новое.

Я думаю, что «радужные перспективы, каких не было никогда», их объём и распространение вызвали некоторое смятение и растерянность, и это уже немало.

Родная моя, я тоже верю в коммунизм и надеюсь, как и ты надеешься. Но письмо и так уж толстое — оставим это до следующего раза. Целую крепко. А

23.3.56

…Иринка, не дожидаясь моих советов, переселилась к Н. и Вере. Разногласия у них пока только по благородным поводам: Вера отказывается брать у Иринки деньги, а последней это кажется неудобным. Меня, конечно, одинаково радуют и

благородство Веры, и щепетильность Иринки, но я ей настойчиво рекомендую не огорчать Веру и не мешать людям делать добро — это недостаток не чрезмерно распространённый.

…Мы с тобой когда-то знали одно основное противоречие — «противоречие между общественной формой производства и личной формой распределения» (так, кажется?) и думали, что стоит устранить эту несуразность, и наступит царство равенства и братства. А как насчёт противоречия между общественной формой накопления человеческих знаний (наука) и личной формой её обобщения? Какая бездна лежит между каким-нибудь Эйнштейном и рядовым обывателем, даже учёным-чиновником, не говоря уже о простых смертных?

Всё это приходило мне в голову, когда я читал о реакции против славной эпохи Ренессанса. Чем были для итальянского мужика или подмастерья имена Леонардо да Винчи, Галилео, Рафаэля, Боккаччо и проч.? Как бы поступили восставшие крестьяне в Чехии и Германии, если бы им в руки попался — ну, хотя бы Коперник или Джордано Бруно?

А Савонарола — как он относился к памятникам древнего искусства, литературы да и к современным ему творениям Ренессанса и даже гуманистов? Народные движения, приведшие к Реформации, были направлены не только против чрезмерного увлечения римских пап спиртными напитками и девицами лёгкого поведения.

Не удивляйся, что я занимаюсь теперь такими отдалёнными делами. Во-первых, это помогает отвлечься от забот сегодняшнего дня и, во-вторых, эти вопросы не так уж несовременны сейчас.

Будь здорова, родная, крепко целую и жму руку друзьям. Алёша.

29.3.56

Дорогая моя, здравствуй!

Получил твоё «взбудораженное письмо» от 15.3. Не осуждаю: события, действительно, потрясающие. Однако в части, касающейся меня, твоя информация значительно опережает действительность — книжка по математике найдёт меня на месте, вероятно, ещё долго. Ты, видимо, не учитываешь словечка «спец.»

Впрочем, я не очень жалею об этой книжке, если это учебник обычного типа: эта наука мне что-то туго даётся, и у меня сейчас больше, чем когда-либо, всё внимание сосредоточено на истории и, преимущественно, на самой новейшей.

Обидно, что моя переписка с Маюшкой оборвалась. Я не пишу ей, чтобы не испытывать терпения её наставников, писать о пустяках мне не хочется, а писать о «тайнах мадридского двора»,

которые меня сейчас больше всего занимают — неудобно.

Бедняга Годунов, он, мне кажется, совсем завертелся, его namesake[218] был несравненно умнее, образованнее и, конечно, много воспитаннее — знал, как держать себя в обществе посторонних, а этот — как медведь в посудной лавке.

Смятение и растерянность среди моих наставников — неописуемые. Один даже пришёл сюда, разыскал своих бывших воспитанников и просил разъяснить, как бы они на его месте поступали, и т. д.

По-прежнему, меня занимает история, в частности, отношения между Бандерлогией и Титонией[219]. В них, по-моему, ключ к пониманию, если не всей современности, то — к началу её развития.

Караганда — город весёлый, хотя, вероятно, не единственный в своём роде. Население его, в особенности, старшее поколение, — с сильно подмоченным прошлым. Много чеченцев, поволжских немцев и прочих странствующих национальностей. Всё тайное тут быстро становится явным, и в мою тихую обитель проникают такие новости, что я только руками развожу.

Больше, чем когда-либо я завидую Эзопу и его таланту писать. Но увы, придётся, видимо, отложить подробности до нашей скорой, я уверен, встречи. Скажу только, что спуск на тормозах — развенчание Черкеса — проходит здесь с душераздирающим скрипом.

По поводу сообщения Маюшки о пересмотре твоего дела — я не вижу в этом ничего невероятного: твоя мама, помнится, писала, а я, так же, как и ты, никому ничего не писал. И это, мне кажется, не столь важно теперь.

Мне очень хочется попасть в Москву в надлежащий момент, и я думаю, что мы оба будем там своевременно. Во-первых, мы крепко все выпьем, а потом подумаем, что дальше делать. Думается, что работа найдётся.

Будь здорова, дорогая. Целую тебя крепко и жму руку друзьям. Алёша.

3.4.56

Здравствуй, родная моя!

Кажется, весна приближается и к нам. На днях приходил какой-то приезжий начальник и обещал числа 6–7 объявить, кто остаётся, а кто получит паспорт и может ехать домой. В частной беседе он сказал, что процентов 90 получат паспорта. Таким образом, у меня — солидный шанс через месяц-полтора увидеть Иринку, тебя и, может быть, Маюшку.

Ты права, Иринка, действительно, сбагрила скучную

обязанность переписки с родителями на своих друзей. Сообщение о положении дел с Маюшкой я получил от Розы, подруги Зины. Она же сообщила подробности свидания Иринки и бабушки с Маюшкой. Как и следовало ожидать, и Маюшка, и Иринка растерялись, осыпали друг друга вопросами и не заметили, как прошли отпущенные им сорок минут.

Развенчание Черкеса проводится у нас в строго плановом порядке, и до нашего дома ещё очередь не дошла. Полного сеанса у нас, конечно, не будет — чтение обвинительного акта продолжается 3–3,5 часа. Но что-нибудь и нам расскажут. И хотя все эти тайны мадридского двора мне давно известны, но я жду их с острым нетерпением. Жаль, что их печатать неудобно. Чирий — на таком месте, что, как говорят украинцы, «ни самому подывытыся, ни людям показать». А у вас как? В общем, хочется спеть по-украински: термидор ты мой, термидорчик!

Перед тем, как сесть писать это письмо, я просмотрел твои прошлые письма. В последних двух чертовски мало материала для ответного письма. Но в письме от 6.3 ты упоминаешь, что позволила себе помечтать о happy end. Он уже наступил, по-моему, и мы, право, не так дорого заплатили за него. Быть в лагере Веры и Н. — много скучнее.

Будь здорова, родная. Советую умываться до пояса холодной водой, делать гимнастику и — главное — мобилизовать чувство юмора.

Поздравляю с «облегчённым режимом» — это всё же кое-что. Целую тебя крепко и жму руку всем хорошим людям. Твой А.

10.4.56

Дорогая моя!

Успокойся, письмо твоё от 28.3. я получил через дней 10–11 после отправки — это нормально, и кратковременные заторы неизбежны. Настроение твоё мне понятно, но оправдать его я не могу. Впереди ещё много, много такого, что потребует крепких нервов, и, возможно, очень скоро. Возьми себя в руки, родная.

Полностью разделяю твои восторги по поводу статьи о культе личности. Однако после неё были ещё статьи, и каждая последующая — крепче предыдущей.

Не знаю, просвещают ли вас достаточно; нам обещали прочесть материалы по этому вопросу, неопубликованные ещё в прессе. Их читали на собраниях парт- и профактива, и после них «Тайны мадридского двора» и «Рокамболь» кажутся просто пресным чтивом. Ребятишки в Тихоновке ругают друг друга по-новому — «личность».

Не сердись, но твои советы просить о переводе в Мордовию и

обращаться в международные инстанции я отношу к твоей неосведомлённости и к состоянию твоих нервов. Выбор дома инвалидов в каждом отдельном случае решается Москвой.

По-прежнему развлекаюсь чтением московских писем — своих и чужих. Весна там чувствуется сильнее, чем в Караганде. Новости оттуда волнующие. Больше всего меня интересует сельское хозяйство и, конечно, мировые проблемы. Годунова не напрасно называют «первопочатником». Он ещё себя покажет!

В такое время как-то неловко спрашивать, что ты, кроме газет, читаешь. Но я почитываю. На днях прочёл новую книжку Фейхтвангера «Гойя». Фейхтвангер не может не быть интересен. И хотя роман посвящён испанскому художнику, истории его познания жизни, эта книжка странно, как принято говорить, перекликается с современностью. Меня особенно захватывают его исторические обобщения, которым он посвящает отдельные коротенькие главы. И особенно интересны главы, посвящённые истории инквизиции в Испании, и обзор пятилетия 1795–1800. Они прекрасно дополняют газетные статьи. Достал в нашей библиотеке первые два тома Писарева и неожиданно для себя читаю с большим интересом.

Целую тебя крепко и прямо умоляю подумать о своём здоровье — оно нужно не только тебе. Алёша.

16.4.56

Здравствуй, дорогая моя!

Ты, кажется, оказалась пророком: похоже, что в ближайшее время — через месяц-другой, я отсюда уеду. Паспорта обещают всем или почти всем, относительно которых тут имеются положенные документы. Одна местная начальница заверяет, что сама видела мою фамилию в списке подлежащих выдаче паспорта. Что ж — всё к лучшему!

Елена Яковлевна уезжает послезавтра. Её муж восстановлен в партии, ей вернули квартиру и назначили персональную пенсию — 700 рублей в месяц. Вчера мы отпраздновали отвальную, и я сейчас занят, помогая ей укладываться.

Забыл упомянуть, что моя программа остаётся прежней — сначала в Москву к Иринке, потом — к тебе. Если имеешь предложения, изменения — сообщи.

Само собой разумеется, что все эти дела являются главной или даже единственной темой разговоров в нашем доме. Я стараюсь держаться в стороне, не давать развиться нервам, но мне не всегда удаётся. На днях получил открытку от Иринки. Её письмо от 23 марта, в котором она описывала свидание с Маюшкой — не дошло. Но об этом я знаю из писем Розы, подруги

Зины. В открытке она сообщает, что ей снова обещан ответ «в конце недели».

Эти откладывания наводят меня на размышления. Я думаю, что тут готовится фокус. Ходят упорные слухи, что к 22 апреля или к 1 мая готовится амнистия. Возможно, что «законники» используют этот случай, чтобы «спасти лицо» — подведут детишек под амнистию, избавив себя от необходимости высказаться по существу этого сильно пахучего дела. Ты, конечно, не упустишь времени начать хлопоты о своём воссоединении с Маюшкой. Это на всякий случай — я почти уверен, что она выйдет «под чистую», и очень вероятно, что наша разбросанная по всей географии семья снова соберётся вместе.

Рад, что ты не оставляешь усилий по своему политическому просвещению Я тоже. Рекомендую почитать выступление нового секретаря польской партии и, конечно, выступление тов. Хрущёва на съезде молодых строителей. Очень поучительно! Чтение газет — это, пожалуй, для меня сейчас единственная форма просвещения и самообразования, остальное как-то надоело — не могу сосредоточиться. Последние события, видимо, отозвались на нервах, несмотря на все мои усилия сохранить холодную голову. Многие истины, которые мне раньше казались самоочевидными, сейчас раздражают и воспринимаются, как глубокомысленная чепуха. Особенно — классики. Ну, что значит «первобытный коммунизм»? Ты — девушка учёная, и, может быть, мне это разъяснишь. Первобытные охотники не владели никаким имуществом, если не считать привязанного лыком или жилами к палке острого куска камня или самодельной дубинки. Что же у них было общим, если у них ничего не было? Каким образом классовая борьба может являться всем содержанием истории человечества, если в первобытном обществе и много позднее не было классов? Почему рабство относится к начальному этапу развития человеческого общества, если в США оно было отменено только в 1863 году, а в России в 1861? И отменено ли оно? Кто вообще установил эти законы «развития»?

Ты по всяким гимназиям училась и должна бы мне это разъяснить, но я боюсь, что ты только плюнешь и скажешь: «Мне бы твои заботы».

На отсутствие писем — не жалуюсь. Пишут исправно, и я всё время занят писанием ответов. Но старые друзья не беспокоят, и я не очень плачу об этом.

До скорого, теперь уже уверен, свидания. Целую тебя крепко, крепко, твой А.

23.4.56

Здравствуй, родная!

Подтверждаю получение твоего письма от 9.4. и спешу поделиться своими новостями. Только что сдал все бумажки на получение паспорта. Дней через 8-10 он, может быть, будет готов, и я немедленно отправлюсь за билетом в Москву. В начале следующего месяца, если не будет задержек, выеду. Нас предупредили, что за нами сохраняются все ограничения, предусмотренные для нашего брата, но об этом я стараюсь не думать — там видно будет. Итак, мы скоро увидимся и наговоримся досыта.

Вполне разделяю твое отвращение к «заклятым брехуньцам», сиречь, оголтелым оптимистам. Это тип, к сожалению, распространённый, но сдвиги, несомненно, имеются, хотя разница между одним носителем благодати и целым клиром сама по себе — небольшая.

Я тоже начал внимательно следить за газетами. Под руководством одного моего приятеля, понимающего толк в этом деле, я перестал проходить мимо перечисления участников всякого рода совещаний, сравнительного их расположения на фотографиях и присутствия на завтраках и обедах. Особенно интересны похождения братишки Моше Пьяде[220] — бойкий старичок!

Елена Яковлевна выехала в Москву и оттуда в Краснодар. В прошлом письме я допустил неточность — квартиры ей не вернули. Я с ней провозился три дня, помогал укладывать вещи, возить их на вокзал и проч. и даже запустил свою корреспонденцию. У себя в кабинете она женщина властная, спокойная, но вне своей специальности курица — суетливая и склонная к панике. Слава Богу, она уехала.

От Маюшки тоже получил письмецо. Она — славная, и мы с тобой, конечно, счастливейшие из родителей. На полное её обеление я не рассчитываю, и, в лучшем случае, ей придётся поселиться где-нибудь в глуши. Там-то мы и поселимся, я думаю, вместе. Но лучше не гадать о будущем — там видно будет.

Письмо её подруге Нюсе я написал и вчера получил его обратно с пометкой: адресат выбыл. Что сие означает — не знаю.

Иринка продолжает пребывать у Н. и Веры[221] По-видимому, там — никаких осложнений. Во всяком случае, ей остаётся уже недолго — как-нибудь доживёт до получения диплома. Она у нас молодец.

Очень сочувствую твоему одиночеству, но конечно, это лучше, чем если бы хорошие люди стали прибывать. Поскучай ещё немного, теперь уже, может быть, недолго. Маюшка намекает, что твоё дело усиленно пересматривается. Я считаю это весьма

вероятным.

У нас тут гостит один любопытный человек[222]. Он тоже бывший чего-то, грамотный инженер и вообще — неглуп. Но весь вечер вчера он с большим увлечением и знанием дела рассказывал мне о Талмуде, и на мой прямой вопрос, верующий ли он еврей, ответил утвердительно. Мой приятель, у которого я его встретил[223] — человек с астрономическим стажем революционной деятельности, слушал его с увлечением и поддакивал. Это тоже знамение времени. Или безвременья?

Хочу увидеть Москву, потереться между людьми и понять, что происходит.

Будь здорова, родная, береги себя — ты нужна и мне, и детям, и другим.

Целую крепко, и до скорого свидания. Твой Алёша.

Мои лагерные стихи

Сон в тюрьме

Приснилось мне, что мы с тобою
Толпой врагов окружены,
Что мы измучены борьбою,
Что мы на смерть обречены.

Ты ранен, истекаешь кровью,
Надежды нет тебя спасти,
А я с бессильною любовью
Тебе шепчу: прости, прости.

Я чувствую, как под рукою
Всё тише, тише сердца стук.
С какой мучительной тоскою
Я на тебя гляжу, мой друг.

Я холодеющие руки
Хочу дыханием согреть,
Хочу, чтоб не было разлуки,
Хочу с тобою умереть.

Но смерти лишних жертв не надо,
И нет ей дела до любви.
Отняв последнюю отраду,
Смерть приказала мне: Живи!

Я пробудилась, но рыданья
Я долго не могла унять,
И миг последнего свиданья
С невольным страхом стала ждать.

Тот миг настал, и до могилы,
Пока на свете я живу,
Мне не забыть того, что было,
И не во сне, а наяву.

Но я переживу все муки,
Я буду долго-долго жить,
Чтоб взять потом оружье в руки,

Чтобы убийцам отомстить.

Я не знаю, жив ты или нет,
Но сегодня злой осенний ветер
Мне принёс безжалостный ответ,
Что тебя давно уж нет на свете.

Умные, чудесные глаза
Смертный холод замутил, быть может,
И моя горючая слеза
Твой глубокий сон не потревожит.

Сердце беспокойное молчит,
И замолк навеки голос милый,
Только злобно вороньё кричит
Над твоей безвременной могилой.

Молитва

О Боже, я в тебя не верю,
Не славлю мудрого Творца,
И для меня закрыты двери
В страну, где счастью нет конца.
Закрыты двери в край забвенья,
Где нет ни горя, ни утрат,
Где людям радость утешенья
Дарит Твой мудрый, кроткий взгляд.
Душе усталой, одинокой,
Слабеющей в мирской борьбе,
Так сладок веры сон глубокий.
Молитва жаркая к Тебе.
О Боже, дай блаженство веры,
Неверью моему прости
И дух, измученный без меры,
Направь по верному пути.

Молитва безбожника

Я хочу умереть, я хочу умереть,
Чтоб не думать, не знать, не смотреть,
Чтоб рабыней не быть, палачам не служить,
Не страдать, не терзаться — не жить.
Дай мне, Господи, силы покончить с собой,
Не могу я бороться с судьбой,
Я разбита и смята в неравной борьбе,
Не нужна ни другим, ни себе.
Не желаю простить, не могу отомстить,
Я способна лишь злобу таить,
И бессильная злоба терзает меня,
Разрастается день ото дня.
Нет надежды на волю, и нечего ждать,
Путь простит меня бедная мать,
Пусть простит и поймёт, пусть поймёт и не ждёт,
И дочь свою пусть не зовёт.
Путь умрёт в моём сердце немая тоска
По тебе, мой замученный друг,
Пусть укроет меня гробовая доска
От земных, нескончаемых мук.
Не судьба, дорогой, быть с тобою вдвоём,
Разошлись наши в жизни пути.
Укрепи меня, Боже, в решенье моём,
Дай мне силы из жизни уйти.

По дороге на работу

— Нет выхода из замкнутого круга,
Нет выхода, — тайга мне шелестит.
— Нет выхода, — зловеще воет вьюга,
И солнце тусклое безвыходно блестит.
К глазам бессилья слёзы подступают,
Не вижу впереди себя пути.
А ноги механически ступают,
И я должна идти, идти, идти.

Осень на 49-й

Холод осени, мрак и ненастье
В синеватой предутренней мгле.
Разрывается сердце на части
От любви к этой грустной земле.

К этим тонким, унылым берёзам,
Сиротливо стоящим в снегу,
К этой речке, объятой морозом,
С огоньками на том берегу.

Как созвучна родная природа
Нелюдимой сибирской глуши
Скорбным песням страдальца-народа,
Тихим стонам смятённой души.

И не жаль бесконечное горе
Пережить за тебя, русский край,
Где живут в непрерывном раздоре
Ад кромешный и солнечный рай.

Родине

Я дочь несчастная несчастного народа
И падчерица родины своей.
Желаю мачехе и счастья, и свободы,
И ухожу, не понятая ей.

Суровая, жестокая, прости,
Я ухожу от жизни в ночь немую,
Не в силах я позора крест нести,
И глаз своих на свет не подыму я.

Мне места не было среди твоих детей,
Меня не грело солнце этой жизни.
Я ухожу, мне нет других путей,

И шлю последний стих моей отчизне:

Пусть дочери твои и сыновья
Идут скорей к мечте своей прекрасной.
Они дойдут: они сильней, чем я,
И души их безоблачны и ясны.

Они уверены, что рай земной их ждёт,
Их не терзает червь сомненья.
Как сад весенний юность их цветёт,
Не чувствуя под розой запах тленья.

Не слыша жертв несчастных стон и плач,
Забыв про их бесчисленные муки,
Как забывает иногда палач,
Что у него в крови невинной руки.

Цвети, мой край, под сенью небосвода,
Пусть ширится простор твоих полей.
Я — дочь несчастная несчастного народа
И падчерица родины своей.

Мы покорны, как овцы, идём, куда гонят,
И работаем, падая с ног.
Только изредка кто-нибудь глухо застонет,
Услыхав ненавистный звонок.
Оскорблённая гордость притихла, молчит,
Льдом покрылись, замёрзли сердца.
Пусть стреляет конвой, пусть нарядчик кричит —
Всё спокойно, как сон мертвеца.
Наши споры ничтожны и речи тупы,
Нам весь мир и мечты — всё равно,
Мы — живые машины, немые рабы,
Прежде смерти мы сгнили давно.
Мы сегодня не знаем, что завтра нас ждёт —
Будем жить мы, а может быть, нет.
Только робкая в сердце надежда живёт,
Что за ночью наступит рассвет.

Трасса Тайшет-Братск, 1952-1954

Именной указатель [224]

Абакумов Виктор Семёнович (1894–1954),
Абрам Терц, см: Синявский А.Д.
Абрамович Алиса Альбертовна (1901–1971),
Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович (1880–1963),
Авра, см.: Теймер А.
Агеев (т. е, А.П.Улановский).
Агнон Шмуэль (1888–1970),
Адольф, сосед дяди Сёмы Якобсона,
Адольф-Надеждина Надежда Августиновна (1905–1992),
Айрис, см.: Морли А.
Алекс (т. е., А.П. Улановский).
Александр II (1818–1881),
Александр Македонский (356–323 до н. э.),
Александр Невский (1220 или 1221–1263),
Александр Петрович (т. е., А.П.Улановский, 1891–1971)
Александровский Павел Иванович,
Алексеева Людмила Михайловна (р.1927),
Алёнушка, дочь Герты Скворцовой,
Алёша (т. е., А.П. Улановский).
Алёша Чёрный (т. е., А.П. Улановский).
Алёша, московский приятель,
Алёша Буланов (т. е., А.П. Улановский).
Алигер Маргарита Иосифовна (1915–1992),
Аллилуева Светлана Иосифовна (р.1925),
Ампёнов (т. е., А.П. Улановский).
Андреев Андрей Андреевич (1895–1971),
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919),
Андрей Боголюбский (ок.1111–1174),
Аникеева Берта Владимировна,
Аргинская Ирэна Ильинична (р.1932),
Арий, священник 4-го в. из Александрии, зачинатель арианства,
Аристотель (384–322 до н. э.),
Аристофан (ок.445-ок.385 до н. э.),
Аттила (?-453),
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966),

Бабахан Сергей Яковлевич («Николай»), наст. фам. и имя-отч. Бабаханян Сисак Акопович (1892–1936),
Бабушка М.А.Улановской со стороны матери (т. е., Рива Наумовна Пуриц).

Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895–1934),
Бабушка Бригитты Герланд[225],
Бабушка М.А.Улановской со стороны отца, см.: Улановская Е.И.
Бабушка Н.М.Улановской, см.: Фридгант.
Баева Татьяна Александровна (р.1947),
Байрон Джордж Гордон (1788–1824),
Бальзак Оноре де (1799–1850),
Баркова Анна Александровна (1901–1976),
Баррас Поль (1755–1829),
Баршай Рудольф Борисович (р.1924),
Бася Григорьевна, см.: Позина Б.Г.
Баумволь Рахиль Львовна (1914–1998),
Бедахт Макс (1883-?), американский коммунист,
Безбожный Яша, см. Ройтман Я.
Бейлис Мендель (1874–1934), его процесс (1913),
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848),
Белогородская Ирина Михайловна (р.1938),
Бен, американский коммунист,
Беннет Рей,
Берггольц Ольга Фёдоровна (1910–1975),
Берзин Ян Карлович. (Павел Иванович) (1889–1938),
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953),
Беркман Александр (1870–1936),
Берлин Лев Залманович (1926–1952),
Бернштейн Эдуард (1850–1932),
Бетховен Людвиг ван (1770–1827),
Бийо-Варенн Жан Никола (1756–1819)
Биркенблит (Беркинблит) Михаил Борисович (р.1925),
Бирюкова, бригадир, застреленная конвоиром,
Блок, американский коммунист,
Блок Александр Александрович (1880–1921),
Блонден Годфри (Джеф) (1906–1996),
Блюмина Анна (Хая) Моисеевна (1898–1994),
Богарне Жозефина (1763–1814),
Богомольный, меламед в Бершади,
Богораз Лариса Иосифовна (р.1929),
Боккаччо Джованни (1313–1375).,
Болотин Илья Миронович (1898-?),
Бомарше Пьер Огюстен (1732–1799),
Борис, дядя М.А.Улановской, см.: Улановский Б.Е.
Бородин Михаил Маркович (1884–1951),
Бородин Миша,
Бородин Николай Михайлович (р.1905),

Бородина Надежда Александровна (р.1903),
Борчо, капитан, начальник 49-й колонны,
Боярыня Морозова, см.: Морозова М.
Бруно Джордано (1548–1600),
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924),
Бубнова Елена Андреевна,
Буков Борис Яковлевич,
Буковский Владимир Константинович (р.1942),
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953),
Бухарин Николай Иванович (1888–1938),
Быкова, бригадир на 49-й колонне,
Бюкар Аннабелла (192?-1998),

В.П., см.: Эфроимсон В.П.
Вагнер Ирма,
Вайдеман Сильвио,
Вайль Борис Борисович (р.1939),
Вайнгартен Зеппель.,
Вайнштейн Аллен,
Вайнштейн Билл,
Вальтер (т. е., А.П. Улановский).
Валя, жена киношника,
Валя, сидела «за войну»,
Валя, Валюша, см.: Савенкова В.И.
Ванда, полька, заключённая на 49-й колонне,
Ванда, эстонка в лагере,
Василевская Наталья Марионовна.
Василевский Александр Михайлович (1895–1977),
Васька, старый большевик,
Вейдемейер Иосиф (1818–1866),
Вейцман Хаим (1874–1952),
Великанова Татьяна Михайловна (1932–2002),
Вера, Верочка, Вера Ивановна, см.: Прохорова, В.И.
Вера, жена Н. Л.,
Вера Николаевна, этапница на Куйбышевской пересылке,
Верт Александр (1901–1969),
Вертинский Александр Николаевич (1889–1957),
Верхарн Эмиль (1855–1916),
Виктор, см.: Родионов В.А.
Викторов, см.: Железняков А.Г.
Вильгельм Телль, Вилли, немецкий коммунист, см.: Шульце Г. М.
Винников, Лев Моисеевич (1907–1976),
Винникова Ида Львовна (р.1932),

Винникова Софья Львовна (1907–1975),
Винницкий Михаил Яковлевич (Вольфович) (Мишка Япончик), (1891–1919),
Виньи Альфред де (1797–1863),
Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954),
Владик, см.: Мельников В.З.
Владимир Святой, князь новгородский и киевский (?-1015),
Власов Фёдор Харитонович,
Воеводская Ирина Владимировна,
Воин Феликс Миронович (1932-?),
Волконская Мария Николаевна (1805–1863),
Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865),
Волоховы, сёстры-анархистки,
Вольтер (1694–1778),
Вольф Эфраим (Фима) (р.1932),
Воронель Александр (р.1931),
Врангель Пётр Николаевич (1878–1928)

Габай Илья Янкелевич (1935–1973),
Гаврилова (Званская) Ирина Константиновна (р.1926),
Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972),
Галилей Галилео (1564–1642),
Галкин Самуил Залманович (1897–1960),
Галкин папа, см.: Смирнов А. Н.
Гальперин, подельник дяди Сёмы Якобсона,
Галя, Галка, см.: Смирнова, Г. А.
Галя, арестованная «за иностранцев»,
Ганшина Мария Александровна, (1888-?)
Гарбо Грета (1905–1990).
Гарик, см.: Суперфин Г.Г.,
Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888),
Гастев Юрий Алексеевич (1928–1993),
Гауптман Герхард (1862–1946),
Геббельс Йозеф (1897–1945),
Гейм Стефан (1913–2001),
Гейне Генрих (1797–1856),
Гельфонд Марина,
Гельфонд Меир (1930–1985),
Гена, заключённый на тайшетской трассе,
Генерал, белый эмигрант в Берлине, завербованный советской разведкой,
Генеральша, заключённая на этапе,
Генкина Анна (Анечка),
Генриетта Моисеевна, учительница,

Герасимов Виктор Александрович,
Геренчир Иринка,
Герланд Бригитта (1918–1962),
Герцен Александр Иванович (1812–1870),
Гершович Владимир (р.1935),
Гершуни Владимр Львович (1930–1994),
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832),
Гил Геула,
Гильмор Тамара,
Гильмор Эдди Ланьер Кинг (1907–1967)
Гинзбург Александр Ильич (1936–2002),
Гинзбург Евгения Семёновна (1906–1977),
Гитлер Адольф (1889–1945),
Глинская Мария Павловна,
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852),
Годунов Борис (ок.1552–1605),
Годунов Мыкыта, см.:Н.С.Хрущёв.
Гойхбарг Ревекка Исаковна,
Голсуорси Джон (1867–1933),
Голубенко Пётр,
Гольдманы, супруги, (т. е., А.П. и Н.М. Улановские).
Гольдман Эмма (1869–1940),
Гонта Иван (?-1768),
Гончаров Иван Александрович (1812–1891),
Горб Михаил (Моисей) Савельевич, перед своим арестом и расстрелом в 1937 г. — крупный чин в НКВД.
Горбаневская Наталья Евгеньевна (р.1935),
Гордин, американский коммунист,
Горев-Высоководец Владимир Ефимович (1900–1937),
Горшкова Елена Герасимовна,
Горький Алексей Максимович (1868–1936),
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855),
Гревс Иван Михайлович (1860–1941),
Греков Борис Дмитриевич (1882–1953),
Григоренко Пётр Григорьевич (1907–1987)
Григорьев Николай Александрович (1878–1919)
Грин Джордж,
Грин Е.А., см. Ильзен Е.А.
Гришка, Григорий, см.: Якобсон Г.
Гроссер Бронислав (1883–1912),
Гроссман Василий Семёнович (1905–1964),
Гроцапко Рут,
Гузенко Игорь Сергеевич (1915–1982),
Гузенко Светлана (1924?-2001),

Гумилёв Николай Степанович (1886-121),
Гурвич Светлана Николаевна,
Гурвич Эсфирь Исаевна,
Гуревич Вера Евсеевна,
Гуревич Евгений Зиновьевич (1931–1952),
Гуревич Зиновий Ильич,
Гюнтер, жених немки Урсулы,

Давид, брат А.П.Улановского, см.: Улановский Д.Е.
Давыдов Василий Васильевич (1889–1941),
Даниэль Юлий Маркович (1925–1988),
Дар Тамар,
Даян Моше (1915–1981),
Девушка [которая] преподавала в техникуме,
Дед (дедушка-раввин), см.: Фридгант Н.
Деканозов Владимир Георгиевич (1898–1953),
Джейкоб Аларих,
Джека, см. Суходольская Е.К.
Джо, см.: Сталин И. В.
Джозефсон Леон,
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926),
Диккенс Чарльз (1812–1870),
Димитров Георгий (1882–1949),
Динур Иехиэль (Кацетник) (р.1917),
Дитмор, бывшая балерина,
Дитмор, муж фрау Дитмор,
Дмитриев Л.А.
Дмитрий Иванович (1582–1591), царевич,
Добжанская Лола (1912–1951),
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861),
Домбровский Юрий Осипович (1909–1978),
Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1871),
Дочь Ивинской, см.: Емельянова И.И.
Дочь Серебряковой, см.: Серебрякова Зоря
Драпкина Чара Ефимовна,
Драйзер Теодор (1871–1945),
Дувидл, см.: Фрид Д.
Дудинцев Владимир Дмитриевч (1918–1998),
Дудко Дмитрий Сергеевич (р.1922),
Дуранти Уолтер (1884–1957),
Дуся, подпольщица в Одессе, см.: Зельдович Д.
Дух, прозвище разведчика,

Егоркина Татьяна,

Егорова Галина Антоновна, жена маршала,
Ежов Николай Иванович (1895–1940),
Екатерина II (1729–1796),
Елена, чешская еврейка,
Елена Герасимовна, см.: Горшкова Е.Г.
Елизавета Николаевна, сокамерница в Бутырской тюрьме,
Ельцин Борис Николавич (р.1931),
Емелькина Надежда Павловна (р.1931),
Емельянова Ирина Ивановна (р.1938)
Ермолов Александр Петрович (1777–1861),
Ершова Ираида Борисовна,
Есенин Сергей Александрович (1895–1925),
Есенин-Вольпин Александр Сергеевич (Алик) (р.1924),

Жаботинский, Владимир (Зэев) Евгеньевич (1880–1940),
Жвиф Александр Михайлович (Макар),
Жена-англичанка Линкольна Стеффенса, см.: Уинтер Элла
Железняк Максим (нач.1740-х г.-?),
Железняков Анатолий Григорьевич (1895–1919),
Жена Чеймберса, см.: Чеймберс Э.
Жена Фоли Кургана,
Женя, см.: Гуревич Е. З.
Жид Андре (1869–1951),
Жозефина, см.: Богарне Ж..
Жомини Антуан Анри (1779–1869),
Жуков Юрий Александрович (1908–1991),
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852),
Журатович, супруги (т. е., Н.М. и А.П. Улановские).

Зайцева Тамара, заключённая на тайшетской трассе,
Закревский, директор училища в Бершади,
Зализняк, см.: Железняк М.,
Занд Михаил (р.1927),
Затонский, Владимир Петрович (1888–1838),
Зеленин Василий, сов. разведчик,
Зельдович Дуся,
Зельма Марковна, приятельница Н.М.Улановской,
Землячка Розалия Самойловна (1876–1947),
Зеппель, см.: Вайнгарт З.
Зина, Зиночка, см.: Миркина З.А.
Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936),
Золя Эмиль (1840–1902),
Зорге Рихард (1895–1944),
Зорин (партийная кличка подпольщика),

Зося, украинка в мордовских лагерях,

Ибсен Генрик (1828–1906),
Иван Грозный (1530–1584),
Иванов Борис Иванович (1887–1965),
Иванов Вячеслав Всеволодович (Кома) (р.1929),
Ивинская Ольга Всеволодовна (1912–1995),
Игорь, великий князь Киевский (?-945),
Идина мама, см.: Винникова С.Л.
Израиль Борисович, см.: Минц И.Б.
Иларион, митрополит Киевский, 11 в.
Ильзен (Грин) Елена Алексеевна (1919–1991),
Ильзен Юлиана Алексеевна (Лиля) (р.1927),
Имбер Нафтали Херц (1856–1909)
Инбер Вера Михайловна (1890–1972),
Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927),
Иосиф, бывший узник,
Ираида, цыганка, см.: Ершова И.Б.
Ира, московская подруга,
Ира, жена сотрудника американского посольства,
Ирина, сестра (т. е., И. А.Улановская, 1937–1961).
Ирина, Ирочка, см.: Гаврилова И.К.
Ирина, дочь Ир. Ник., жены дяди Сёмы Якобсона
Ирина Николаевна, жена дяди Сёмы Якобсона
Ирочка, доктор в Москве, см. Воеводская И.В.
Исакова Люба,

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991),
Калинин Михаил Иванович (1875–1946),
Калиш Рахиль (жена И.Фефера),
Каменев Лев Борисович (1883–1936),
Каменецкий Исидор, см.: Родионов В.А.
Кант Иммануил (1724–1804),
Кантор Блюма Моисеевна, см.: Кантор Л.
Кантор Люба (Ахува)(1910–1994),
Капица Пётр Леонидович (1894–1984),
Каплан Фани (Дора) (1893–1918)
Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979),
Капнист Мирра,
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826),
Караташ Владимир (Володимир),
Карлбах Шломо (1925–1994),
Кауфман, Абрам Иосифович (1885–1971),
Кафка Франц (1883–1942),

Кацетник, см.: Динур И.,
Качер Этель Борисович (1906-198-?),
Ква-Ква, блатная на 49-й колонне,
Керенский Александр Фёдорович (1881–1970),
Керр Уолтер,
Кестлер Артур (1903–1983),
Кибиров, пристав в ссылке,
Кильвиц Линда,
Ким Юлий Черсанович (р.1937),
Киплинг Редьярд (1865–1936),
Киров Сергей Миронович (1886–1934)
Кирк Ирина (1926-?),
Киршнер, супруги (т. е., Н.М. и А.П. Улановские).
Клава Г., осуждённая «за веру»,
Клаузевиц Карл фон (1780–1831),
Клаузен Макс Годфрид (Макс),
Клейнер Елена Яковлевна (1901-?)
Клейнер Израиль (1895–1937),
Клемансо Жорж (1841–1929),
Ключевский Василий Осипович (1841–1911),
Кобли, сотрудник Комиссариата путей сообщения
Ковалёв Сергей Адамович (р.1930),
Коваленко Надежда,
Колкер Рухеле,
Козлов Михаил Васильевич,
Колло д'Эрбуа Жан Мари (1749–1796),
Кома, см. Иванов В.В.
Комаров Интерн Николаевич,
Кон Феликс Яковлевич (1864–1941),
Конан-Дойл Артур (1859–1930),
Кангун, три брата, в том числе: Моисей (1896–1917) и Лазарь (1900–1917),
Конквест Роберт (р.1917),
Константин I, римский император (ок.285–337),
Константинова, заключённая в Мордовии,
Коперник Николай (1473–1543),
Коржавин (Мандель) Наум Моисеевич (р.1925),
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921),
Корытная Стелла Семёновна (Светлана) (1924–1969),
Корытный Семён Захарович (1901–1939),
Кострова, поэтесса в инвалидном доме
Коэн Шмуэль,
Красин Виктор Александрович (р.1929),
Красин Лев Борисович (1870–1926),

Кречик Валентина,
Кривицкий Вальтер (1899?-1941),
Криппс Ричард Стаффорд (1889–1952)
Кришталюк Адриана,
Кришталюк Лариса Фоминична (Лаура),
Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921),
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939),
Крыленко Николай Василевич (1885–1938),
Ксения Борисовна, см.: Чикаленко, К.Б.
Кубанцева Мария Александровна (Маруся, Эмма),
Кулиш Пантелеймон Александрович (1812–1897),
Куприн Александр Иванович (1870–1938),
Курган Рафаил (Фоля) (?-1930),
Куцнер, зав. кафедрой в Акад. им. Фрунзе,
Кушниров Арон Давыдович (1890–1949),
Кушнирова Любовь Абрамовна, (1902-?)
Кушнирович Радий Аронович,

Лана, дочь Г. Серебряковой,
Лаплас Пьер-Симон (1749–1827),
Лапшин Константин Николаевич,
Ларина Елена Григорьевна,
Ласкина Евгения Самуиловна,
Ласкина Софья Самуиловна. (1911–1991),
Лассаль Фердинанд (1825–1864),
Ласточкин Николай,
Лаура, см.: Кришталюк Л.Ф.
Лев, см.: Троцкий Л.Д.
Левин Лев Григорьевич (1870–1938),
Лёня, гитарист на проводах, см.: Липковский Л.
Лёня, брат А.П.Улановского, см.: Улановский Л.Е.
Ледер (Меклер) Мэри,
Лейб Фанни Борисовна,
Лейк Рут,
Лена, имя, придуманное Н.М. для перестукивания в тюрьме
Лена, немка, см.: Ниссен Лена
Ленин Владимир Ильич (1870–1924),
«Ленин Южной Африки», английский коммунист,
Леонардо да Винчи (1452–1519),
Леонов Леонид Максимович (1899–1994),
Лепешинская Ольга Васильевна (р.1916),
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841),
Лефантьев Август Александрович,
Лидия Васильевна, заключённая на тайшетской трассе,

Лидия Романовна, подруга Рахили Афанасьевны,
Лиза, анархистка в Крыму,
Лика, см.: Рабинович Л.Л.,
Лиля, сокамерница,
Линкайте Бируте,
Линкайте Марите,
Липиньска Гражина,
Липковский Леонид,
Липовецкая Муся,
Литвинов Павел Михайлоич (р.1940),
Литвинова Айви Вальтеровна (1890–1977),
Лозовский Соломон Абрамович (1878–1952),
Локшин Александр Алексндрович
Локшин Александр Лазаревич (1920–1987),
Лондон Джек (1876–1916),
Луговик Лука,
Луи Виктор (Виталий Евгеньевич) (1928–1992),
Лысенко Трофим Денисович (1898–1976),
Людкевич (Карараш) Анна Лукьяновна (Нюся),
Людкевич Лукьян,
Люксембург Роза (1871–1919),
Льюис Синклер (1885–1951),
Любочка, см.: Сапогова, Л.,
Лютер Мартин (1483–1546),
Ляля, см.: Маевская Е. Л.
Лядская Ольга Александровна (р.1926),

Магидов Роберт,
Мадьяр Людвиг Игнатьевич (Мильгорф Лайош) (1891–1937?),
Маевская Елизавета Людвиговна (Ляля),
Мазур Григорий Гдальевич (р.1931),
Мазур Инна, см.: Эльгиссер И.Л.
Майкл, американский коммунист,
Майский Иван Михайлович (1884–1975),
Майя В., дочь секретаря английского корреспондента,
Макар (партийная кличка), см.: Жвиф А.М.
Макартур Дуглас (1880–1964),
Макиавелли Никколо (1469–1527),
Маклоглин, австралийский корреспондент,
Макотинская Валентина Михайловна,
Макотинская Эрика Яковлевна,
Макотинский Михаил Яковлевич,
Макс, см.: Клаузен М.Г.
Макс, рабочий-печатник,

Максимова Клеопатра (Пятя) Петровна,
Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988),
Мальро Андре (1901–1976),
Мандель Эмма, см.: Коржавин Н.М.,
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938),
Мао-Дзе-Дун (1893–1976),
Маргарита Ивановна, заключённая в лагере,
Марина, врач в лагере,
Марина, см.: Гельфонд М.
Марина, прораб на 42-й колонне,
Марич Мария Давыдовна (1893–1961),
Мария (одно из прозвищ Н.М.Улановской в Америке),
Мария, осуждённая «за веру»,
Мария Александровна, сестра актрисы, см.: Фёдорова М.А.
Мария Ивановна, осуждённая за оккупацию,
Мария Николаевна, начальница санчасти на Предшахтной,
Мария П., осуждённая «за веру»,
Мария Павловна, см.: Глинская М.П.
Маркс Карл (1818–1883),
Маркелов, следователь в Лефортове,
Марочка, тётка Н.М., см.: Фридгант М.
Марти Андре (1886–1956),
Маруся, см.: Кубанцева М.А.
Марченко Анатолий Тихонович (1938–1986),
Маскетти Ромео, см.: Москетти Р.
Матильда, имя предположительное, племянница Троцкого,
Матрёна Тимофеевна, домработница,
Матусис, отец Ирины и муж Е.Б. Матусис,
Матусис Екатерина Борисовна,
Матусис Ирина (?-1949),
Мать, мама М.А.Улановской (т. е., Н.М.Улановская).
Мать, мама Н.М.Улановской (т. е., Р.Н.Пуриц).
Махно Нестор Иванович (1888–1934),
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930),
Меир, см.: Гельфонд М.
Меир Голда (1898–1978),
Мейдманы, жители Бершади,
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940),
Мелье Жан (1664–1729),
Мельников Владимир Захарович (Владик) (р.1932),
Мензбир Наталья Михайловна,
Меникер Вадим (р.1935),
«Меньшевичка» в лагере
Микоян Анастас Иванович (1895–1978),

Минк Джордж (Френк),
Минстер Леон (Чарли),
Минстер Мэри,
Минц Израиль Борисович (1900–1986?),
Миркина Зинаида Александровна (р.1926),
Митя, см.: Сидоров Д.
Михайловский Николай Константинович (1842–1904),
Михина Ольга,
Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948),
Миченер Джеймс (р.1907),
Мичурин Иван Владимирович (1855–1935),
Миша, сотрудник НКВД,
Мишка Япончик, см.: Винницкий М.Я.
Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986),
Моммзен Теодор (1817–1903),
Мопассан Ги де (1850–1893),
Мор Томас (1478–1535),
Мордвинов Николай Семёнович (1754–1845),
Морли Айрис (р.1910),
Мороз Г.И. см.: Морозов Г.И.,
Морозов Григорий Иосифович (1921–2001)
Морозова Феодосия Прокопиевна, боярыня-старообрядка (1632–1675),
Москетти Ромео,
Мост Иоганн (1846–1906),
Мотавкин Виктор Александрович,
Моцарт Вольфганг Амедей (1756–1791),
Муля, Мулька, см.: Хаевский С.
Муравьёв Владимир,
Муся, см.: Липовецкая М.
Мухин Леонид Станиславович (р.1952)
Мэри, бывшая американка, жена Чарли, см.: Минстер М.
Мэтьюс, английский корреспондент,
Мэтьюс Татьяна,

Н., генерал в командировке в Гродно,
Н.Л., знакомый работник НКВД,
Надежда Марковна (т. е., Н. М.Улановская, 1903–1986).
Надсон Семён Яковлевич (1862–1887),
Надя, см.: Коваленко Н.
Наташа, сокамерница Н.М.Улановской,
Наум, подпольщик в Крыму,
Наумов Анатолий Наумович, сын Н.А.Наумова,
Наумов-Глатман Наум Абрамович (1898–1938),

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877),
Некраш Рита, заключённая на Тайшетской трассе,
Нельсон Цецилия,
Николай I (1796–1855),
Никонова Манюня, заключённая на тайшетской трассе,
Николай, сов. разведчик,
Николай Мирликийский,
Нина, см.: Уфлянд Н.Е.
Ниссен Лена, немка в лагере,
Ницше Фридрих (1844–1900),
Новгородцева (Свердлова) Клавдия Тимофеевна (1876–1960),
Новик Песах (Пол) (1891–1988)

Овчинников, следователь МГБ,
Оксана, украинка в лагере,
Олег, древнерусский князь (?-912),
Ольга (имя условное), московская подруга,
Ольга Мартовна, знакомая Л.Кришталюк,
Оля, см.: Михина О.
Олдридж Джеймс (р.1918),
Онуфриенко, майор, начальник 9-й колонны,
Орлов, чекист,
Орлов, капитан, белый офицер в Крыму,
Оруэлл Джордж (1903–1950),
Островская Ляля, актриса в лагере,
Островский Александр Николаевич (1823–1886),
Отец, папа И.А. и М.А.Улановских (т. е., А.П.Улановский).
Отец Н.М.Улановской, см.: Пуриц М.)

Пальгунов Николай Григорьевич (1898–1971),
Панаев Иван Иванович (1812–1862),
Панфилова Екатерина Михайловна (р.1932),
Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986),
Папа Иды, см.: Винников, Л.М.
Папа Гали, см.: Смирнов А.Н.
Паркер Ральф,
Паркер Валентина,
Паскевич Иван Фёдорович (1782–1856),
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960),
Патя, участница крымского подполья, см.: Максимова К. П.
Паулюс Фридрих (1890–1957),
Перекрёстова Евгения,
Петефи Шандор (1823–1849),
Пётр I (1672–1725),

Петров, боец на бронепоезде,
Петя, Петенька, см.: Якир П.И.
Печуро Соломон Саулович,
Печуро Сусанна Соломоновна (р. 1933),
Пик, капитан в Шанхае,
Пик Вильгельм (1876–1960),
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868),
Племянница Троцкого, см.: Матильда
Плетнёв Дмитрий Дмитриевич (1872–1941),
Повторно [арестованная],
Поджио Александр Викторович (1798–1873),
Позина Бася Григорьевна (1909–1978),
Полонский Иосиф Матвеевич («Степан») (1889–1973),
Поля, Полина, сестра А.П.Улановского, см.: Улановская П.Е.
Помяловский Николай Герасимович (1835–1863),
Потоцкие, семья польских графов,
Прохорова Вера Ивановна (р. 1918),
Пруст Марсель (1871–1922),
Прутков Козьма — лит. псевдоним,
Пуйманова Мария (1893–1958),
Пуриц Израиль Маркович (дядя Сёма),
Пуриц М., отец Н.М.Улановской,
Пуриц Юлия Израилевна,
ПурицРива Наумовна, бабушка И.А. и М.А.Улановских, матьН.М.Улановской (1880–1963).
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920),
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837),
Пущин Иван Иванович (1798–1859),
Пьяде Моше (1890–1957),
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937),

Рабинович Лия Лазаревна (1920–1969).
Рабинович Ноэми,
Рабинович Нюся, см.: Рабинович Н.,
Рабинович Тамара Лазаревна (р.1932),
Рабле Франсуа (1494–1553),
Равинский, см.: Югов М.С.,
Радша, боярин,
Распутин, лагерный конвоир,
Ратнер Марк Борисович (1871–1917),
Ратнер Соня, подпольщица в Одессе,
Рафаэль Санти (1483–1520),
Рахлицкий Володя, сын начальника почты в Бершади,
Рахиль Афанасьевна, подруга Н.М.Улановской

Регина С., заключённая на тайшетской трассе,
Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926),
Рейф Алла Евгеньевна (Туманова) (р.1931),
Рейф Эдгар Евгеньевич (р.1938),
Рекубратский Виталий (?-1977),
Ремарк Эрих Мария (1898–1970),
Рембрандтдт Харменс ван Рейн (1606–1669),
Ривкин Михаил,
Рид Джон (1887–1920),
Риклис Леви Ицхак,
Рильке Райнер Мария (1875–1926),
Рита, см.: Некраш Р.
Робеспьер Максимилиан (1758–1794),
Роберт, см.: Ясовский Р.Л.
Родионов Виктор Андреевич (Каменецкий Исидор),
Родители Жени, см.: Гуревич В.Е. и Гуревич З.И.,
Родители Стеллы Корытной: см. Якир И.Э. и Корытный С.З.
Роза, жена разведчика,
Роза, подруга З.А.Миркиной, см.: Сикулер Р.Г.
Роза, сестра А.П.Улановского, см.: Улановская Р.Е.
Роза Соломоновна, бригадир на Предшахтной,
Розанова Мария Васильевна,
Розенблит Филип и его жена,
Ройтман Яша по кличке Безбожный,
Рокер Рудольф (1873–1958),
Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968),
Роллан Ромэн (1866–1944),
Романовы, династия,
Ротштейн Владимир Григорьевич (р.1936),
Рубин Виталий Аронович (1923–1981),
Рубины, семья
Руге Арнольд (1802–1880),
Руденко Роман Андреевич (1907–1981),
Рудин Яков Самойлович (1898–1937),
Рудина Виктория Александровна,
Рыжий, см.: Сафьян
Рылеев Кондратий Фёдорович (1795–1926),
Рюмин М.Д.,
Савва, анархист на Украине,
Савенкова Валентина Ивановна, жена П.Якира,
Савонарола Джироламо (1452–1498),
Садовников Ефим Львович,
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889),
Сапогова Любовь, Любочка.

Сара, сионистка в лагере,
Сафьян, анархист в Крыму,
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989),
Саша, московский знакомый (р.1931),
Саша, Санька, сын, см.: Якобсон Александр.
Саша Локшин, см.: Локшин А.А.
Свердлов Яков Михайлович (1885–1919),
Свердлова Клавдия Тимофеевна, см.: Новгородцева К.Т.
Светлана (Стелла), см.: Корытная С.С.
Светлана, дочь Бухарина, см.: Гурвич С. Н.
Свечинский Виталий (Виля) (р.1931),
Свифт Джонатан (1667–1745),
Седых Константин Фёдорович (1908–1979),
Семёнова Марина Тимофеевна (р. 1908),
Сёма, дядя Анат. Якобсона, см.: Якобсон С.
Сёма, дядя М.А. и И.А. Улановских, см.: Пуриц И.М.
Серебрякова Галина Иосифовна (1905–1980),
Серебрякова Зоря, дочь Г.И.Серебряковой,
Сестра, Ирина (т. е., И.А.Улановская),
Сивашинский Израиль Ефимович (1909–1991),
Сидоров, следователь,
Сидоров Дмитрий,
Сикулер Рахиль Григорьевна,
Синклер Эптон (1878–1968),
Синявский Андрей Донатович (Абрам Терц) (1925–1997),
Скворцов Михаил,
Скворцова Герта,
Скуратов Малюта (?-1573),
Слава, сын трактирщика в Бершади,
Слепак Владимир (р.1927),
Слуцкая Ада Владимировна,
Слуцкий Борис Владимирович (1932–1952),
Смелов Константин (р.1925),
Смидли Агнес (1894–1950),
Смилянски Това,
Смирнов Айфал Николаевич (1889–1960),
Смирнова Галина Айфаловна (р.1931),
Смирнова Клавдия Алексеевна (1904–1989),
Сноу Эдгар (1905–1972),
Совирко Любовь,
Соколовская Елена,
Сокольников Григорий Яковлевич (1888–1939),
Сократ (ок.470–399 до н. э.),
Солженицын Александр Исаевич (Рязанский) (р.1918),

Соловьёва Клара,
Соломон, царь Израиля и Иудеи, 10-й век до н. э.
Солсбергер Артур (1891–1968),
Солсбергер Сайрус (р.1912),
Сольц Арон Александрович (1872–1945?),
Соня, инженер с автозавода им. Сталина, см.: Ласкина, С.С.
Соркина, коммунистка-повторница в лагере,
Сорокин Пётр (т. е., А.П. Улановский).
Сорокина Мария Андреевна (т. е., Н.М.Улановская).
Сотрудница Академии наук в лагере,
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839),
Сруликл, см.: Фрид И.
Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953),
Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938),
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840),
Стасова Елена Дмитриевна (1873–1966),
Стелла, см.: Корытная С.С.
Стендаль (1783–1842),
Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (1851–1895),
Стеффенс Линкольн (1866–1936),
Стил Арчибальд,
Стокс Уильям,
Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911),
Столяров Кирилл Анатольевич,
Стронг Анна-Луиза (1886–1970),
Суперфин Габриэль Гавриилович (Гарик) (р.1943),
Супруги Уэбб, см.: Уэбб Сидней и Беатрис,
Сусанна, Суслик, см.: Печуро С.С.,
Суходольская Евгения Константиновна (Джека),
Сучков Борис Леонтьевич (1917–1974),

Т., американская семья
Табакмахер Константин Маркович,
Тагор Рабиндранат (1861–1941),
Тамара, дочь русских эмигрантов в лагере,
Тамара, Тома, см.: Рабинович Т.Л.
Тамара, кибуцница, см.: Дар Т.
Тан-Ток-Сук,
Танька, см.: Егоркина Т.
Таня, дочь Г.Серебряковой,
Тардье, см. Фатер.
Тартаков, бывший анархист,
Тася, заключённая белоруска, см.: Тычина Т.
Тацит Корнелий (ок.58-ок.117),

Твердохлебов Андрей Николаевич (р.1940),
Теймер Авра (р.1932),
Телесин Зиновий Львович (1907–1996),
Телесин Юлиус (р.1933),
Терехов Геннадий Афанасьевич (р.1909),
«Террористка» в лагере,
Терц Абрам, см.: Синявский А.Д.
Тёща Бухарина, см.: Ларина Е.Г.
Тимофеевский Александр Александрович (Шурик) (р.1958),
Тимофеевский Александр Павлович (р.1933),
Тито Иосип Броз (1892–1980),
Тихомировы, знакомая семья,
Това, кибуцница, см.: Смилянски Това
Толстой Алексей Константинович (1817–1875),
Толстой Лев Николаевич (1829–1910),
Томпсон Крэйг,
Троцкий Лев Давыдович (1879–1940),
Трубецкая Екатерина (Лаваль) (1800–1854),
Трубецкой Андрей Владимирович (р.1920),
Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860),
Туманова Алла, см.: Рейф А.Е.
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883),
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937),
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943),
Тычина Таисья, белоруска на 49-й колонне,

Угланов Николай Александрович (1886–1937),
Уинтер Элла,
Уинтертон Пол,
Уитмен Уот (Уолт) (1819–1892),
Украинка Леся (1871–1913),
Уланова Галина Сергеевна (1909–1997),
Улановская Ева Израилевна (урожд. Куричева) (?-1950),
Улановская Роза Ефимовна,
Улановская Эвелина Людвиговна, народоволка (1860–1915),
Улановский Ефим Аврумович,
Улановский Борис Ефимович,
Улановский Давид Ефимович,
Ульрих (т. е., А.П.Улановский)
Ульянова Мария Ильинична (1878–1937),
Уоллес Генри Эгард (1888–1965),
Урсула, немка в лагере (р.1931),
Уфлянд Нина Евгеньевна (р.1934),
Ушеров И., подпольщик в Одессе,

Уэбб Сидней (1859–1947) и Беатрис (1858–1943),

Файнгольд Натан (р.1930),
Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958),
Фарих Евгения Михайловна,
Фарих Фабио Брунович (1896–1985),
Фарих, сын лётчика
Фаст Говард (р.1914),
Фатер (Тардье), левый эсер,
Фёдорова Зоя Александровна (1909–1981),
Фёдорова Мария Александровна,
Фейхтвангер Лион (1884–1958),
Фельдман Александр (Саша), большевик в Одессе,
Феня, сокамерница в Бутырской тюрьме,
Фердман Ефим, родственник, ныне — житель Израиля
Феррари Елена Константиновна (1899–1938),
Феррари Люся, см.: Феррари Е.К.
Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945),
Фефер Исаак Соломонович (Ицик) (1900–1952),
Фефера жена, см.: Калиш Р.
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942),
Фидлер Хельга,
Филатов Владимир Петрович (1875–1956),
Фима, см.: Фердман Е.
Фишер Рут (1895–1961),
Флейшман Лазарь (р.1944),
Фоля, см.: Курган Р.
Форд Генри (1863–1947),
Франк Анна (1929–1945),
Франко Иван (1856–1916),
Франс Анатоль (1844–1924),
Француженка-католичка в лагере,
Фрид Исидор (Сруликл),
Фрид Дэвид (Дувидл),
Фрида Давыдовна, см.: Черномордик Ф.Д.
Фридгант, бабушка Н.М.Улановской,
Фридгант Марочка, тётка Н.М.Улановской,
Фридгант Нухим (дед),
Фридгант Яков, дядя Н.М.Улановской,
Фрумкина Мария Яковлевна (1880–1937?),
Фурман Владлен Леонидович (1931–1952),
Фурман Леонид Моисеевич (1898–1987),
Фурман Полина Моисеевна (1898–1982),

Хаевская Грета,
Хаевская Сара,
Хаевский Самуил (Муля),
Хазанов Юрий Самойлович,
Хаимский Моше, бывший кишинёвский житель,
Хайдеггер Мартин (1889–1976),
Хаймович, хозяин школы в Бершади,
Хаксли Олдос (1894–1963),
Халевский, инженер,
Ханум, аварка в лагере,
Харди Джордж,
Хая, сионистка в лагере,
Хельми, финка в лагере,
Хикмет Назым (1902–1963),
Хисс Олджер, американец, разоблачённый как сов. агент,
Ходорович Татьяна Сергеевна (р.1921),
Холт Пол,
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971),
Худяков Иван Александрович (1842–1876),

Царевич Дмитрий, см.: Дмитрий Иванович.
Цвейг Генрих Соломонович,
Цеткин Клара (1857–1933),
Циглер Стефания (Штефи), заключённая на тайшетской трассе,
Цукерман Борис Исакович (1927–2002),

Чалидзе Валерий Николаевич (р.1938),
Чан-Кай-ши (1887–1975),
Чара, см.: Драпкина Ч.Е.
Чарли, см.: Минстер Л.
Чарльстон, английский корреспондент,
Чеймберс Уиттекер (1901–1961),
Чеймберс Эстер,
Чейн Джон,
Черкес, см.: Сталин И.В.
Черновол (Чорновил) Вячеслав Максимович (1938–1999),
Черномордик Фрида Давыдовна,
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889),
Черчилль Уинстон (1874–1965)
Чехов, сотрудник НКВД,
Чехов Антон Павлович (1860–1904),
Чикаленко (урожд. Стеллецкая) Ксения Борисовна (1904–1975),

Чикаленко Пётр Евгеньевич, муж К.Б. (?-1928),
Чувилова Мария,
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996),

Шатуновская Ольга Григорьевна (1901–1990),
Шафаревич Игорь Ростиславович (р.1923),
Шахворостов Иван,
Шварц-Барт Андре (р.1928),
Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861),
Шекспир Уильям (1564–1616),
Шерман Николас (т. е., А.П.Улановский).
Шиловский Георгий Петрович,
Шкловский Григорий Львович (1875–1937),
Шнайдер Каролина,
Шоет Ася,
Шолохов Михаил Алексндрович (1905–1984),
Штейнбрюк Отто Оттович (1892–1937),
Шульце Георг Макс (?-1937),
Шурик, см.: Тимофеевский А.А.,
Шуринька, см.: Локшин А.Л.,
Шустер, инженер с завода им. Сталина,

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945),
Щипачёв Степан Петрович (1898–1979),

Эйзенхауэр Дуайт (1890–1969),
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948),
Эйнштейн Альберт (1879–1955),
Элиашберг Фаина Борисовна,
Эльви Ольга, финка в лагере,
Эльгиссер Инна Леоновна (р.1930),
Эмка, см.: Кубанцева М.А.
Энгельс Фридрих (1820–1895),
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967),
Эрнандес Мигель (1910–1942),
Этель Борисовна, см.: Качер Э.Б.
Этя, сионистка в лагере,
Эфроимсон Владимир Павлович (1908–1989),

Югов (Равинский) Михаил Семёнович (1901–1937),
Юлиус, см.: Телесин Ю.
Юрис Леон (р.1924),

Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938),

Якир Изабелла Эммануиловна,
Якир Иона Эммануилович (1896–1937),
Якир Ирина Петровна (1948–1999),
Якир Пётр Ионович (1923–1982),
Якир Сарра Лазаревна (1900–1971),
Якобсон Александр (р.1959),
Якобсон Анатолий Александрович (1935–1978),
Якобсон Григорий, двоюродный брат Анат. Якобсона,
Якобсон Семён, дядя Анат. Якобсона (?-1955),
Якубович Михаил Петрович (1891–1982?),
Янковская Нина Васильевна (р.1926),
Ярославский Емельян (1878–1943),
Ясовский Роберт Леонтьевич,
Яхимович Иван Антонович (р.1931),

notes

Примечания

1

Якобсон, А.: Почва и судьба. Вильнюс-Москва: Весть, 1992, с. 238–263.

2

Внимательный читатель может отметить разночтения в трёх изданиях книги по таким важным вопросам, как имя-отчество и место рождения моего отца. «Вина» в этом его самого, а вернее — дань времени и вкусам среды, в которой прошла его молодость, а также и моей готовности, по его примеру, отнестись без должного педантизма к этому вопросу: ведь он считал, что происхождение человека — это неважно, как хочу, так и пишу, что уже привело к недоразумению: в «Российской еврейской энциклопедии» его настоящая фамилия — Улановский — фигурирует как псевдоним

3

Так — со слов матери. По утверждению родных — в Одессе, по документам — в Керчи.

4

В 1978 г. нам написал из г. Кирьят-Ата сидевший одновременно с отцом в тюрьме бывший кишенёвец М.Хаимский: «…Пока расскажу Вам один наш тюремный эпизод. Я сидел в одиночной камере и случайно встретил его в коридоре тюрьмы. Он выглядел обескураженным, тогда я написал ему стихотворение… При новой встрече я ему сказал: „Сэр, я вам написал стихотворение“. Когда я ему прочёл, он мне объяснил своё плохое настроение. он боялся, что ему наденут кандалы, он участвовал в какой-то экспроприации, которые тогда были в моде, на революционные цели».

5

Судя по воспоминаниям жены Свердлова (4-е изд. Москва: Молодая гвардия, 1985. 398 с.), местом ссылки было село Монастырское.

6

Сравнивая царскую ссылку со значительно более суровой советской, А.И. замечает: «Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка, да и туруханская с какао», считая, как видно, что одно — результат другого, репрессивный советский режим — последствие былого либерализма, с чем едва ли согласится беспристрастный историк революционного движения в России.

Не совсем то же, что, как пишет об этом по рассказам отца А.И.Солженицын: «Просто пошёл по трапу иностранного парохода — ведь там патруль МВД не стоял! — и пригрелся у кочегарки». (Там же, с. 104)

8

Жена Свердлова называет фамилию пристава: Кибиров.

Курган, Р.: Страницы гражданской войны. Харьков. Госиздат Украины, 1925. 204 с.

10

Гимн сионистского движения, с 1948 г. — государственный гимн Израиля. Слова Н.Х.Имбера (г. Яссы,1878), музыка Ш.Коэна (Ришон ле-Цион, тот же год).

11

Как видно, Б. Гроссер (1883–1912), юрист, политический деятель и публицист, в молодости — член социалистических кружков в Варшаве, позднее — член ЦК Бунда.

12

Вероятно, речь идёт о М.Б. Ратнере (1871–1917), в молодости — близком к народничеству, позднее — адвокате и общественном деятеле, основателе Социалистической еврейской рабочей партии (СЕРП).

13

См. примечание в главе В Одессе. Гражданская война.

14

См. в журнале Новая и новейшая история, 1994, No.No.4–5, с.165, выдержку из Тюремных записок Р. Зорге о совместной работе в Китае с «Алексом». Стоит отметить, что в книге специалиста по советскому шпионажу: Singer, Kurt: The men in the Trojan horse. Boston: Beacon Press, 1953. 258 с., автор, приводя официальный доклад командующего окупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура о Рихарде Зорге, представленный Американскому Кабинету, Военному департаменту и Конгрессу, цитирует на с.114: «Три агента Четвёртого управления выехали вместе в Китай в 1930: Алекс (иначе не идентифицирован)[так до сих пор, кажется, и не идентифицирован!], д-р Рихард Зорге и некий Вайнгарт, немец-радист. Алекс спустя месяцев шесть уехал, предположительно, вернулся в Россию, а Зорге стал главой сети, со штаб-квартирой в Шанхае…».

15

У. Чеймберс — американский коммунист, порвавший в 1938 году с компартией и рассказавший о своей связи с советской разведкой в книге «Свидетель» (Chambers, W.: Witness. New York: Random House, 1952. 808 p.)

16

Ульрих, Вальтер — под этими кличками отец был известен в Америке.

17

Американский коммунист, осуществлявший связь между компартией и советской разведкой.

18

Chambers, W.: Witness, с. 291–292, 294, 296–297. См. также книгу американского историка А.Вайнштейна «Лжесвидетельство; дело Хисса-Чеймберса» (Weinstein, A.: Perjury; the Hiss-Chambers case. New York: A.A.Knopf, 1978. 674 p.) Рассказывая о деле по обвинению Чеймберсом в 1948 г., через 10 лет после его разрыва с компартией, крупного чиновника Госдепартамента США в шпионаже в пользу СССР и ответном обвинении Хиссом Чеймберса в клевете, историк излагает предысторию дела, говоря о самом Чеймберсе как о коммунисте на службе «аппарата», используя, помимо архивных документов и книги «Свидетель», также и беседы с матерью в Израиле.

19

Следы этого интереса заметны в другой его книге: Cold Friday. New York: Random House, 1964, p. 322–323, где он пишет о «своём старом друге и соратнице, женщине по имени Мария» — так, но не только так, мать звали в Америке, — о которой ему рассказывали как об узнице лагеря на Воркуте. Там она впервые почувствовала себя свободной, поскольку ей нечего было бояться и нечего терять. Упомянул он и отца, и меня, но ошибся в сроках заключения, а может, специально написал неправильно, чтобы МГБ не догадалось, о ком речь — у всех якобы по 20 лет.

20

По сведениям Бориса Вайля, библиографа копенгагенской Королевской библиотеки, в прошлом — московского диссидента, написавшего по материалам, хранящимся в датском государственном архиве и со ссылкой на 1-е изд. этих воспоминаний, статью «Провал советской военной разведки в Дании в 1935 г.» — отец был арестован и 30 июля 1935 г. приговорён под именем Николаса Шермана к 18 месяцам тюрьмного заключения. Статья напечатана под загл. «Судьба Александра Улановского» в журн. Вопросы истории, Москва, 1995, No.9, с. 154–158. Одну из немногочисленных поправок, внесённых редакцией журнала при публикации материала, стоит отметить. Вайль написал: «Как у многих евреев, в молодости придерживавшихся левых взглядов и не интересовавшихся своим еврейством, у Улановского с годами возник интерес к еврейской культуре, к „корням“, к государству Израиль. „Израиль — единственная страна, которая сейчас меня интересует“, — сказал он во время Шестидневной войны….А.Улановский умер в Москве в 1971 г., его семья вскоре выехала в Израиль». В журнале, вместо всего: «Он умер в Москве в 1971 г.; некоторые члены его семьи, близкие к диссидентам, вскоре выехали за границу».

21

Прим. 2002 г.: Ну, не сейчас, конечно: говорилось это в конце 70-х годов. К сожалению, фамилия не была названа и осталась неизвестной.

22

Г.Блонден, австралийский корреспондент в Москве во время Второй мировой войны. Н.Улановская работала секретарём Блондена и после выхода его книги была арестована. Один из персонажей книги — следователь НКВД. Подробнее дальше в тексте.

23

Погиб потом на фронте.

Противоречит сказанному об этом «политическом деятеле, юристе, редакторе, прокуроре» (1872–1945) в справочнике «Кто есть кто в России и бывшем СССР». Москва: Терра, 1994. 437 с.): «арестован в 1934, умер в тюрьме».

25

Акционерное общество, учреждённое в 1924 г. в Нью-Йорке для торговли с СССР.

26

Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, существовало с 1925 г.

27

Blunden, Godfrey: A room on the route. Philadelphia-New York: Lippincott, 1947. 327 p. Кроме отдельных деталей, навеянных разговорами с матерью, главное, что ей инкриминировалось в связи с романом, это «разглашение государственной тайны». Герои книги, бывшие революционеры, отправляются позже за границу с «особыми поручениями». Автор, с которым, как и с другими знакомыми иностранцами, мать вовсе не делилась этими подробностями своей биографии, додумался до этого сам.

28

Вышли воспоминания Мэри о жизни в СССР: Leder, M.: My life in Stalinist Russia: an American woman looks back. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 2001. 344 p., где она много пишет о нашей семье.

29

В 1977 г. мы с матерью были желанными гостями на прекрасной вилле Блонденов в Приморских Альпах, возле французского города Ванса. Он так был травмирован тем, что мать из-за него пострадала, что не мог об этом говорить, не мог даже вспоминать ни о каких отсидках. Я не понимала такой чувствительности, а мать понимала.

30

«….весьма влиятельной личности, г-ну Садовникову, давшему мне возможность видеть балет, когда мне это было удобно, и последнее, но не по значению — моему секретарю Наде Улановской, проявившей в погоне за балеринами истинно шерлок-холмсовское упорство» (Morley, I.: Soviet ballet. London: Collins, 1946. 71 p.)

31

Ошибка памяти Н.М.: книга вышла в 1937 г. (Snow, Edgar: Red star over China. London: V.Golanz, 1937. 464 p.)

32

Младшая дочь Н.М.

33

Так называют заключённые деревянный щит, которым, помимо решётки, закрывают снаружи окна в советских тюрьмах.

34

В конце 70-х годов мы послали по этому адресу из Израиля письмо, но оно вернулось с пометкой, что адресат не обнаружен.

35

206-я статья — форма, которую подписывает подследственный, когда дело передаётся в суд.

36

Интурист — всесоюзное акционерное общество по обслуживанию зарубежных туристов и организации туристских поездок сов. Граждан за рубеж, основано в 1929 г.

37

Вышла книга: Gouzenko, I.: This was my choice. London: Eyre @ Spottiswoode, 1948. ix, 324 p.

38

Сведения, полученные с помощью слежки, подслушивания, доносов и т. п.

39

В отличие от товарных вагонов, в которых тоже перевозили заключённых, «столыпинские» разделены на отдельные купе. Изобретение приписывается царскому министру Столыпину.

40

Заключённый, который работает не на общих — тяжёлых — работах, а занимает какую-нибудь должность, требующую специальной квалификации: врача, бухгалтера и т. п., или умения: сапожник, портной, повар и т. п., а главное — протекции.

41

Мадьяр Людвиг Игн. Как участник Венгерской революции был арестован властями. В СССР оказался в результате обмена на сидевших в СССР венгров

42

Gerland, B.: Die Hoelle ist ganz anders. Stuttgart: Steingruben, 1954. 197 S.

43

См. статью Б.Герланд в «Социалистическом вестнике», Нью-Йорк, 1954, No.6 (671). На статью эту и на рассказ Н.М.Улановской о Бригитте ссылались для подкрепления слухов об обстоятельствах смерти Горького, чему противоречат сведеня о расстреле Дм. Дм. Плетнёва в 1941 г. и Л.Г.Левина — в 1938. Обращение — с помощью американского слависта Л.Флейшмана и при посредстве Г.Суперфина к переписке Б.Герланд с редактором журнала Р.Абрамовичем, содержащейся в архиве журнала, позволяет заподозрить, что путаница произошла в результате наводящий вопросов редактора, а встреченный Бригиттой в лагере врач, чьё имя ей запомнилось как Владимир Маркович, просто изложил бытовавшую и в лагерях версию смерти Горького.

44

Жительница израильского кибуца Мааган-Михаэль Люба (Ахува) Кантор, умерла в 1994 г.

45

Мастырка — болячка, рана, которую отчаявшиеся заключённые, обычно уголовники, вызывали искусственно, чтобы избежать тяжёлой работы. Как и членовредительство, сурово наказывалось, особенно в военное время.

46

«Островская Ляля, актриса, жена консула СССР в Харбине. Умерла после войны в лагере в Потьме (Мордовия)» — в кн.: Вторая катастрофа: евреи — жертвы ленинско-сталинского террора (1917–1953), сост. Э.Бааль, т.3, Тель-Авив, 2001, с. 213.

47

Далее следует рассказ об этой непростой женщине, который мы с матерью — жалея Ивинскую и жалея себя (мне кажется удачной эта формула) — не включили в предыдущие два издания воспоминаний. Но после того, что, со ссылками на этот рассказ, написала об Ивинской Л.Чуковская (Записки об Анне Ахматовой, 1952–1962, т.2. Москва: Согласие, 1997, с. 657–661), считаю возможным предать его гласности — с незначительными сокращениями.

48

«Актировать» — списать за ненадобностью. Канцелярский этот термин обычно применяется к старым вещам. Актировать заключённого — значит отпустить его из лагеря по старости или по болезни. При Сталине осуждённых по 58-й статье не актировали.

49

Наша лагерная переписка, вместе с другими материалами, могущими представить интерес для будущих исследователей, хранится в Архиве стран Восточной Европе при Бременском университете, переданная туда через Г.Г. Суперфина, заведующего архивом. Прилагаю подборку этих писем в конце книги.

Тогда ему было 26 лет. Не тот ли это Константин Смелов, который допрашивал в 60-е годы известных диссидентов?

51

О нашем деле и о своём тюремно-лагерном опыте Алла Рейф, в замужестве Туманова (ныне — жительница г. Эдмонтона в Канаде) написала книгу, использовав недоступные ранее материалы следствия, выданные её брату, Э.Е.Рейфу, из архивов КГБ: Шаг вправо, шаг влево / послесл. А.М.Борщаговского. — М.: Изд. Группа «Прогресс», «Литера», 1995. 240 с. Вышел перевод на англ яз., с добавлениями: Tumanov, Alla: Where we burried the sun / transl. by Gust Olson. — Edmonton, Alberta: NeWest Press, 1999. 309 p.

52

Прим. 1993 г.: теперь он имеет возможность, если захочет, выяснить, правы ли мы, считая М. провокатором. У меня такой возможности нет. Прим. 2002: считаю себя вправе, наконец, назвать М.Биркенблита по имени. Предательство, как известно, сложный феномен. Но если старший по возрасту идейный комсомолец не оспаривает, а поощряет твои фантазии и при этом на тебя стучит — это случай простой. Неправильно было так долго церемониться с этим человеком.

53

М.Я.Макотинский — врач и старый революционер, эсер-максималист, после революции вступил в партию, участник Гражданской войны, с 20-х гг. репрессировался за троцкизм. Часто упоминается в письмах моего отца из лагеря и инвалидного дома в Караганде.

Я, однако, не помню, что выражалась в своём последнем слове так резко, как вспоминает Алла Туманова («Я вас ненавижу!» и т. п.). Возможно, на её воспоминания о моём выступлении на суде наложилось впечатление от моих же криков по произнесении приговора.

55

Прим. 2001 г. моего однодельца, В.Мельникова:

В последние 10–15 лет стали частично доступны архивы МГБ и различных партийных органов. На основании архивных материалов российский публицист К.Столяров написал очень интересную книгу «Палачи и жертвы» (М.: Олма-Пресс, 1997. 362 с.), рассказав подробно о судьбе генерал-полковника Абакумова, министра государственной безопасности СССР, арестованного в 1952 году по доносу старшего следователя Следчасти по особо важным делам подполковника Рюмина и расстрелянного уже в другую эпоху, после смерти Сталина, в 1954 году, по одному делу с Рюминым и другими крупнейшими деятелями МГБ.

Среди прочих изъянов в работе министра, которые находил Рюмин и о чём он докладывал в своём письме лично тов. Сталину, Рюмин его обвинял в том, что Абакумов «смазывает террористический характер» нашей организации.

Столяров полагает, что арест Абакумова связан с недовольством Сталина тем, как медленно и неудовлетворительно, с его точки зрения, идёт следствие по различным еврейским делам, в частности, по делу Еврейского антифашистского комитета: ведь подготовить публичный процесс по этому делу так и не удалось. От кого исходила инициатива доноса Рюмина: от членов Политбюро, от самого Сталина — неизвестно, но он достиг своей цели: были сделаны оргвыводы относительно Абакумова, не признавшего нас террористами, чем объясняется относительно мягкий — по сравнению с другими еврейскими делами — приговор по нашему делу: «всего» три расстрела!

Можно себе представить, что наличие антисоветской организации в центре Москвы вызвало интерес Абакумова. Именно поэтому он решил лично нас допросить, понимая, кем и как составляются в его учреждении протоколы. По-видимому, убедившись, что мы не представляем террористической угрозы государству, он указал на это сотрудникам, что дало повод Рюмину, как считает К.Столяров, проявить в нужный для того момент служебное рвение.

После ареста, все три с половиной года своего очень тяжёлого следствия, Абакумов последовательно отстаивал «террористическую неопасность» нашей организации. И позже, в своём последнем слове в 1954 году, ссылался на это мнение о нас, рассчитывая, как видно, благодаря этому, на снисхождение.

56

Прим. 2001 г.: Как и с другими лагерными друзьями, мы регулярно встречаемся при моих наездах в Москву.

Читая 2-ю часть «Архипелага ГУЛАГ», я огорчилась, что Солженицын в главе о «настоящих политических» не упомянул ни ленинградцев, ни нас. В его книге приводятся два других процесса над школьниками и студентами, но приговоры по тем делам не были такими суровыми, как у нас и ленинградцев.

58

Я отдаю себе отчёт в том, что эти претензии старого еврея, моего отца, в конце жизни к учению Христа выглядят странно. Но именно с этим учением был его спор, а не с иудаизмом, который его не задевал, с которым он и не сталкивался.

59

Прим. 2001: Как оказалось, не навсегда. Из самых дорогих для меня писем из Москвы — её письма, из самых дорогих московских гостей в Иерусалиме — она, из самых тёплых для меня в Москве домов, когда я там бываю — её дом.

Воспроизведена в настоящем издании.

После смерти жены, в 1984 г., Леонид Моисеевич издал в Иерусалиме её книгу: Годы моей жизни, и подарил мне её «на добрую память о чудесной Полине Моисеевне».

62

Конец своего срока я отпраздновала в Иерусалиме 7 февраля 1976 года.

63

Туфтить — создавать видимость выполненной работы.

64

Примеч. 2001 г.: С 1976 г., когда я впервые взялась писать эти свои воспоминания, было у меня желание оспорить изображённую Солженицыным коллизию в его давнишней пьесе «Олень и шалашовка». Но как ни бралась писать, всё получалось слабо — рядом с таким гигантом. Не выполненный долг не даёт мне покоя: перед тогдашней моей сверстницей, оказавшейся в таком, примерно, лагере, как первая моя, 49-я колонна, и поставленной перед выбором — угодить на общие работы или пойти в любовницы к отвратному начальнику, отказавшись от первой в её жизни любви. Надеюсь, не посетует на меня А.И., если я выражусь сейчас теми словами, какие мне пришли в голову при первом чтении пьесы: клевета это на женский пол и неправда о лагере: не было в его силах толкнуть женщину на такое предательство.

Кауфман А.И.: Лагерный врач, 16 лет в Советсом Союзе — воспоминания сиониста. Тель-Авив: Ам Овед, 1973. 433 с.

В предыдущих изданиях этих воспоминаний отчество указано ошибочно: «Яковлевич».

Уже в другую эпоху сын предпринял попытку защитить отца, который к тому времени уже умер. В своей книге: «Гений зла» Локшин-младший довольно неубедительно доказывает, что все слухи о провокаторской роли отца — результат недоразумения и мстительности бывших заключённых. В Интернете разгорелась дискуссия, в которой большинство участников выражало сочувствие музыканту — жертве жестокого режима.

68

Сообщение из Москвы от знакомого деятеля «Мемориала» (июль 2002): В последний день работы последней (Четвёртой) конференции «Сопротивление в ГУЛАГе» отправился я в Б. зал Консерватории. Прилетел Рудольф Баршай. Хор и оркестр впервые в России исполняли «Реквием» Александра Локшина. Создан 45 лет назад, посвящён памяти жертв ГУЛАГа.

69

Прим. 2001: среди других лагерных реликвий (копия — в моём распоряжении) хранится в архиве стран Восточной Европы при Бременском университете, переданное туда через заведующего этим архивом, Г.Суперфина.

По нынешним либеральным временам эти мои былые суждения выглядят, пожалуй, не достаточно «politically-correct». Но оставляю их в прежнем виде.

71

Прим. 2001: оказалось, что расстаёмся мы не навсегда, я уже трижды побывала в Москве после перестройки.

Привожу стихи, написанные на смерть Л.Людкевича его товарищем по заключению, в будущем — мужем Нюси. Стихи впервые появились во втором издании этих воспоминаний, печатавшихся в Харькове. Неизвестный друг просто вставил стихи в мой рассказ об украинцах. Спасибо ему за привет!

В концтабори згинув
Спи, батьку, наш славний, далеко від дому,
В проклятій, чужій стороні.
Тебе поховали там друзі, знайомі,
Не було поблизу рідні.

Не плакали дзвони, сім`я не прощалась,
Не грали музики тобі…
Пурга завивала, дерева хитались,
Стогнали яллини й дуби.

За щастя народу, за честьУкраіни
В холодній тайзі ти лежиш.
За волю боровся, за правду загинув,
А кату до ніг не схилився.

І любу дружину, і дочок коханих
Для власних ти благ не бегіг.
Цілою родиною проти тиранів
Поставши, боровся, як міг.

Це поступ лицарский. Та сили сатрапів
Міцними ще були тоді.
Провал за провалом — в`язници, етапи…
І так аж в далекий Сибірі.

В могилі глибокій, у дикому краю
Козаку судилось почить.
Сумну вчувши вістку, ми чола схиляем
І клятву даемо — відмстить!

Травень 1955 року, Магадан,

Володимир Карапаш

Прим. 1993 г.: Сейчас уже есть такая возможность, и мы планируем встречу.

Прим. 2002 г: В этом, последнем издании книги помещаю в приложении нашу лагерную переписку выборочно.

75

В предыдущих изданиях книги приводился текст письма. В этом — помещено в разделе «Наша лагерная переписка».

Прим. 2001: О дальнейшей судьбе Ольги, о муже, с которым она обвенчалась во время восстания в Кенгире, об их дочери и о других обитателях нашей трассы написали мне деятели Иркутского отделения «Мемориала», чудесные люди, Н.В.Янковская и Л.С.Мухин. От имени тех, кто о себе не рассказал, и от своего имени — спасибо им за их благородный труд! Один из результатов их труда — сборник «Озерлаг: как это было». Иркутск: Восточно-Сибирское кн. Изд-во, 1992. 462 с., куда вошёл отрывок из этих воспоминаний. Ещё в одной — французской — книге появился отрывок из этих воспоминаний: Ozerlag, 1937–1964; le systeme du Gulag: traces perdues, memoires reveillees d`un camp stalinien / dirige par Alain Brossat, en collaboration avec S.Combe et L.Moukhine. Paris: Editions Autrement, 1991. 251 p. (Serie Memoires; no.11).

Я не догадывалась, что такой не типично-арестантский снимок нужен был «органам», чтобы предъявлять его в будущем на допросах для опознаний.

Прим. 1993 г.: Реабилитировали в 1989 г. со ссылкой на «недозволенные методы следствия», вынудившие нас, оказывается, признаться в членстве в якобы существовавшей организации.

79

Большая деревянная дверь, каких несколько выходит на улицу Дзержинского из известного огромного дома, занимаемого МГБ.

80

См. о них в главе «Большой террор» и в «Нашей лагерной переписке» как о Л.Н., бывшем следователе НКВД и его жене Вере.

Но, как и кестлеровский Рубашов, Якубович сдался не сразу, а под длительным, невыносимым физическим, а не только моральным давлением — не так, как *по рассказам Якубовича* написал Солженицын: «Крыленке Сталин приказал, а Якубович трепещет для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут» (Архипелаг ГУЛАГ. Лондон, 1973, т.1, с. 404–405).

82

См. напечатанную в связи со смертью Якубовича статью моей матери «Жизнь и смерть Михаила Якубовича» (заглавие дано редакцией), вместе с его «Письмом прокурору», в журнале «Время и мы», Нью-Йорк-Иерусалим-Париж, 1983, No.77, с. 217–241. Несколько лет назад, уже в пост-советские времена, в Москве предпринимались попытки издать сборник статей Якубовича, брались за дело известные, энергичные люди; мы, из-за рубежа, готовы были помочь. Не получилось: «несвоевременно», — говорят.

83

Прим. 2001 г.: не втянутых — в тот период, позже втянулись.

Прим. 2001 г.: надолго, надолго — навсегда.

85

В 1974 году нас посетила в Иерусалиме американская журналистка и славистка русского происхождения Ирина Кирк. Ирина собирала тогда материал для своей будущей книги: Kirk, Irina: Profiles of Russian resistance. New York: Quadrangle, 1975. 297 p., расспрашивая выехавших в тот период из России представителей «российского сопротивления». Интервью со мной — одно из 17-ти, составивших сборник. Отвечая на её вопросы, я рассказала о том, что является содержанием предыдущих страниц, и о связанных с переездом в Израиль переживаниях.

С большой теплотой вспоминает о нём, например, его бывший солагерник в своей замечательной книге: Трубецкой А.В.: Пути неисповедимые: воспоминания 1939–1955 гг. Москва: Контур, 1997. 397 с.

87

Помещено в разделе «Наша лагерная переписка» настоящего издания.

88

Историк и представитель новейшего периода инакомыслия в России Людмила Алексеева в своей рецензии на 1-е издание этой книги сообщает не известный мне ранее факт о моей матери: «В её квартире около метро Лермонтовская долгое время держали мы архив „Хроники текущих событий“. Там стояла машинка, на которой „Хроника“ печаталась. Несколько раз я оставалась там работать. Я печатала „Хронику“ годами и не скрою — каждый раз боялась: нервы напрягались до предела, особенно поздно вечером, когда звуков меньше и кажется, что стук машинки слышен на весь дом. Но Надежда Марковна могла принимать в это время в соседней комнате гостей или ложилась спать — и спала спокойно» (Алексеева, Л.: Книга, где всё — правда. — Новое русское слово, Нью-Йорк, 1983, 23 марта, с.6). Стоит привести ответ востоковеда и борца за право евреев на выезд в Израиль Виталия Рубина на статью Аллена Вайнштейна (Weinstein, A.: Nadya — spy story. — Encounter, London, 1978, June, p. 72–79). В следующем номере журнала, Рубин возражал против того, чтобы превращать рассказ о судьбе Н.М. в «шпионскую историю», вспоминая, какой любовью и авторитетом она пользовалась в диссидентских и сионистских кругах Москвы (Rubin, V.: Not «Spy story», but story of courage; Nadya`s redemption).

89

Меир Гельфонд и Фима (Эфраим) Вольф получили в 1949 г. по 10 лет за участие в сионистской молодёжной организации. В 60-х — начале 70-х гг. М.Гельфонд был вождём московских сионистов. Умер в Израиле в 1985 г. Ф. Вольф живёт в Иерусалиме.

90

В. Свечинский проходил по делу о попытке группы московских евреев бежать в Израиль через южную границу. Получил 10 лет в 1950 г. Активный деятель сионистского движения 60-х — начала 1970-х гг. Живёт в Израиле, в Галилее.

91

О Ю.Телесине см. в тексте Эпилога.

И.Х. Сивашинский — учитель математики во 2-й московской математической школе, где А. Якобсон преподавал литературу и историю. Умер в Иерусалиме.

Б. Цукерман вместе с А.С.Есениным-Вольпиным был экспертом Комитета по правам человека, основанного А.Д. Сахаровым, А.Н. Твердохлёбовым и В.Н. Чалидзе.

94

Сусанна Печуро — моя одноделка, ныне деятельница московского «Мемориала». См. о ней в тексте наших с матерью воспоминаний.

95

А.П.Тимофеевский — московский поэт и сценарист, муж моей покойной сестры Ирины.

Некоторое — примерно вдвое — преувеличение.

Накануне, 25 апреля, в присутствии А.Якобсона, мы с моими однодельцами по традиции праздновали годовщину нашего освобождения из тюрьмы. Вспоминали прошлое. Вл. Мельников — один из пяти однодельцев, живущих ныне в Израиле.

Э.Мандель (псевдоним Н.Коржавин) — московский поэт, живущий ныне в Америке.

99

Ю.А. Гастев — сын известного пролетарского поэта и создателя «научной организации труда» в России. Отбывал срок в 1945-49 гг. Полюбившийся ему со времени агонии Сталина термин Гастев использовал в своей философской диссертации, где в числе лиц, которым автор выражает благодарность, были иронически названы Дж. Чейн и У. Стокс — английские учёные-биохимики открывшие явление предсмертного дыхания названного «дыханием Чейн-Стокса».

100

Частушка, слышанная А. Якобсоном в детстве во дворе его дома в Хлыновском тупике:

Огурчики-помидорчики,
Сталин Кирова пришил в коридорчике.

101

Имеется в виду его книга: Социализм как явление мировой истории. Paris: YMCA-Press, 1978. 390 с.

102

«Хроника текущих событий» — самиздатский машинописный журнал, выходил с апр. 1968 г. До конца 1983 г. вышло 64 номера.

103

В первом же письме ко мне из Черняховской спецпсихбольницы от 4.8.70 Григоренко выразил полное понимание моей «вспышки» («переживать за близких никому не заборонено») и просил прощения «за резкость и нетактичность». Однако, в написанной в эмиграции книге «В подполье можно встретить только крыс» (Нью-Йорк: Детинец, 1981, с. 674–675; в 1997 г. переиздана изд-вом «Звенья» в Москве), вспоминая о собрании в своём доме, он придал этому пустяшному эпизоду крайне зловещий характер, намекая на мои связи с КГБ. Все попытки объясниться с Григоренко лично или через прессу ни к чему не привели. Уже после смерти П.Г. в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1990, кн.180, с. 254–286) были напечатаны его письма нашей семье из Черняховской психушки, но с исключением моих претензий, касающихся злополучного эпизода, как он был изложен в книге Григоренко.

104

Ко времени интервью с Якобсоном С.Ковалёв отбывал 7-летний срок за участие в правозащитном движении. С 1990 г. — народный депутат РСФСР, председатель Комиссии по правам человека при президенте Ельцине.

Не только мы сумели дать знать другим, но и нас сумел предупредить наш подросток-сын, позвонив из школы, из учительской, и сообщив, что в доме его учительницы идёт обыск.

106

21 декабря 1969 года, в день 90-летия Сталина, на Красную площадь вышла группа правозащитников, протестуя против попыток реабилитации Сталина в советской прессе. Одна из участниц демонстрации, Татьяна Баева, держала перечёркнутый портрет Сталина под пальто на груди. В какой-то момент она распахнула пальто, и, увидев портрет, Якобсон испугался за Баеву, сорвал портрет и наступил на него ногой, возможно, случайно. Тут же он был доставлен в милицию и, проведя там ночь, оштрафован на 10 р. Позорной он назвал демонстрацию потому, что считал недопустимым ставить под удар молодёжь.

107

Мы в тот день навещали нашего сына в пионерлагере в Звенигороде. Узнав от посетившей меня на работе Ларисы Богораз о том, что на завтра готовится демонстрация, я постаралась, чтобы Якобсон об этом не узнал — не передала ему просьбу Ларисы позвонить ей вечером.

108

В.Гершович — приятель Якобсона по Москве и Иерусалиму, учитель математики, активный участник правозащитного движения в описываемый период.

109

Ныне — американский славист, преподаёт в Стенфордском университете.

110

О В.И. Прохоровой см. в моих воспоминаниях о лагере.

111

Г.Суперфин был осуждён в 1974 г. на 5 лет лагерей и 3 г. ссылки. Освободившись, уехал на Запад. В наст. время заведует архивом стран Восточной Европы при университете г. Бремена.

Т.е., я не знала, что мать отправили с Воркуты в Мордовию.

113

Эти записки изымались лагерным начальством.

Т.е., не решаясь сообщить о моём аресте.

115

Имеется в виду Галя Смирнова, моя одноделка, у которой ещё долго сохранялись комсомольские иллюзии.

116

Повесть Говарда Фаста.

117

Т.е., если бы знала, оказавшись в тюрьме, что это предстоит и мне.

118

Приписка для Стеллы. Упомянуты освободившиеся ранее вдова еврейского поэта Л.А. Кушнирова, О.В. Ивинская (и переданные с нею для Ирины ещё в 1953 году «вещи») и Е. Ласкина.

119

В лефортовской одиночке.

120

Понятно, что речь идёт о пушкинском: «Товарищ, верь, взойдёт она…», но в ответ на какую цитату из Надсона — не помню.

Правда заключалась в том, что на слюде не так хотелось есть, как на тяжёлой физической работе, поэтому хватало и того, что давали. Но вообще, читая о моём «благополучном житье» надо учитывать естественное беспокойство о том, что близким на воле заботы о нас дорого обходятся.

122

Надя Коваленко, с которой я дружила, приехала в Потьму с нашей трассы и встретилась с моей матерью.

123

Дальше следуют мои собственные стихи 1952 года.

К сожалению, я лишена возможности привести здесь этот документ. Вместо него помещаю ниже своё письмо в ФСБ Российской Федерации от 15.12.2000 с просьбой мне его прислать, оставшееся без ответа:

«Я, нижеподписавшаяся, была арестована в 1951 г. органами МГБ СССР и осуждена через год Военной коллегией Верховного суда СССР по ст.58 „за участие в антисоветской организации, именовавшейся Союз борьбы за дело революции (СДР)“. Дело, называвшееся „Дело Слуцкого, Фурмана, Гуревича и др.“, было групповым, пересмотрено было той же коллегией в первый раз в 1956, в результате чего все, по нему проходившие, были освобождены со снятием судимости и поражения в правах, а во второй раз в 1989, с последующей нашей реабилитацией.

Находясь в 1992 г. в Москве и желая получить, как другие, проходившие по нашему делу, компенсацию за отсидку, я пришла в КГБ за соответствующей справкой, для чего мне была предоставлена возможность полистать некоторые тома дела, поднятые из архива, для уточнения сроков и дат.

Тома 37–38 содержали просьбы о пересмотре дела, как наши собственные просьбы из лагерей, так и находящихся на воле родных. Моё внимание привлекло моё собственное письмо из лагеря, с которого начинался 37-й т. Я просила в нём об освобождении моей одноделки, арестованной за дружбу со мной в институте, где мы с ней вместе учились до ареста. Моя невольная вина в её аресте не давала мне покоя все годы нашего заключения, тяжело об этом вспоминать до сих пор, тем важнее было для меня в том письме постараться доказать именно её невиновность. Это удалось, подруга была реабилитирована.

Как „пишущий человек“, написавший воспоминания и о нашем деле, я хотела бы сохранить у себя „для потомства“ это своё письмо, убедительно доказывающее невиновность другого человека.

Прошу прислать мне это моё письмо или его копию».

125

Имеется в виду ситуация, изображённая в конце его романа «Восстание ангелов».

Т.е., 25-летнего срока.

127

Тут, как видно, речь о марксизме.

128

Наши приговорённые к расстрелу однодельцы, в гибель которых мы долго не верили и надеялись получить весточку о них из какого-нибудь лагеря или из тюрьмы.

129

Тоже наша одноделка, была на Воркуте.

То есть, разбор нашего коллективного дела.

131

Имеются в виду собственные лагерные стихи Сусанны, а дальше говорится о моих стихах.

В.Е. Гуревич, мать Е.Гуревича, жила после освобождения из лагеря в г. Артёмовске.

133

Дата приведения смертного приговора в исполнение, установленная уже в наше время — 26 марта 1952 г.

134

В эти либеральные времена Сусанне разрешили было сдать экзамен на аттестат зрелости в одной из окрестных школ, но в последний момент из-за статьи 58-8 (террор) — не допустили к сдаче.

135

Наша одноделка Катя и её мать, арестованная заодно с нею, находились в лагере в Коми АССР.

136

Наша одноделка, арестованная в 16 лет и освобождённая по амнистии как «малолетка». У Сусанны, тоже «малолетки», не достигшей к моменту ареста 18-ти лет, срок был снижен до 10-ти лет.

137

В Заярск, на кирпичный завод.

138

Наша одноделка Ирэна Аргинская, приехавшая, как и Ида Винникова, на тайшетскую трассу из Кенгира вместе с другими свидетелями и участниками кенгирского восстания, позже попала в Кемеровскую область, в Мариинские лагеря.

Уместно напомнить, что в романе Анатоля Франса развенчана сама идея революции, что, естественно, занимало и отца, и обеих дочек.

140

Палехская шкатулка, которую я послала сестре, сейчас передо мной, на письменном столе в Иерусалиме.

141

О забастовке в Кенгире.

142

«Братья» — это наши погибшие однодельцы. В то время мы ещё надеялись на то, что они живы.

143

Моё выступление на суде.

144

Групповое дело, аналогичное нашему, также с 3-мя смертными приговорами.

145

Эпизод с «рубашкой» в Бутырской тюрьме — описан в тексте моих воспоминаний.

146

Заключённая-эстонка на 20-й колонне.

Странно, но в памяти это время не отразилось как настолько тяжёлое, чтобы помышлять «о крайних мерах» — об отказе от работы, за чем последовало бы заключение в тюрьму. Воистину — «что пройдёт, то будет мило».

148

Наш одноделец Владимир Мельников, ныне — житель Реховота.

149

«Странная переписка с одним из братьев» — так и осталась неразгаданной загадкой. С Сусанной, по её рассказам, в первые годы заключения происходили вещи, которых не могло быть, — вероятно, нечто типа галлюцинаций.

150

Сказано в ответ на нижеследующее место в письме Сусанны о нашей одноделке Алле Рейф и об отношении их обеих в тот период «ко всей этой истории» с организацией: «Она хорошая девушка, но сблизиться мы не могли. Слишком разные у нас взгляды на всё, что для меня — главное. Я не считаю печальным заблуждением свои юношеские увлечения, а скорее — последующие размышления. Хорошо, что это скоро прошло, потом я их, по мере сил, искупила там же, где и размышляла. Это именно и разъединило нас с Аллой. Самая большая вина моя — это то, что Алла, Катя и др. разделили нашу участь. Честность и чистота помыслов — мало для серьёзных решений. Алла очень тяжело переживает всё случившееся. Она отчаянно рвётся в Москву, жизнь на Севере ей неинтересна. А я чувствую себя всё время виноватой за это её отчаяние». Реакция «нынешней» Аллы из Канады на это место в письме Сусанны: «Не привлекала меня Сусанна в организацию, мы и знакомы не были».

151

Обычное бахвальство своим здоровьем — и в самом деле, довольно приличным — с целью унять самоотверженные порывы близких.

152

В тюрьме на Лубянке.

153

Упоминающийся неоднократно в письмах его лагерный приятель (иногда под инициалами В.П.), живший после освобождения под Москвой, в Клину, отчего и отец туда стремился — Владимир Павлович Эфроимсон (1908–1989) — выдающийся учёный-генетик, противник Т.Д.Лысенко, подвергался репрессиям в 1932–1935 и 1949–1955 гг. Добрые отношения В.П. с нашей семьёй продолжались и в последующие годы.

154

Следователи в Лефортове.

155

Я понемногу писала в письмах отцу о нашем деле.

156

В Америке.

Этими якобы тургеневскими строчками отец пытается меня подбодрить.

Мы надеялись, что наши приговорённые к смерти однодельцы живы, и искали их в разных лагерях.

159

М.П. Якубович, часто появляется в письмах отца. См. о нём в тексте Эпилога к воспоминаниям.

160

Я послала отцу свои стихи.

161

Подробно о беседах «со стариком» (М.П.Якубовичем) об истории Киевской Руси см. в письмах отца маме от 17.7 и 14.8.55.

162

Израиль Клейнер — см. Пролог к воспоминаниям. Подробнее о его вдове — в письмах маме.

163

Помнится, что деньги отцу прислала «инкогнито» я, узнав, что собранная на поездку ко мне сумма украдена. С этой целью я продала вольнонаёмному технику на Кирпичном заводе нарядное одеяло из цигейки, взятое из дому при аресте, а себе потом справила более тёплое, ватное.

164

Я написала отцу подробное письмо о нашем деле, о следствии и о суде под видом жалобы в «инстанции».

Т.е., указал номер почтового ящика, из чего было ясно, что дочка находится в лагере.

166

Речь идёт о конфликте с «партийными дамами» («наш брат», из Москвы) на тему об участии «в общественной жизни лагеря», возникшей одновременно с отменой спецлагерей и общей либерализацией лагерной системы.

Т.е., цензора.

А я, между прочим, с детства помню, что были — и медаль «За победу над Германией», которую, как известно, выдали всем участникам войны, и вторую — с упоминанием советского Заполярья.

169

Не помню, о какой цитате речь, но уж наверное, это: «Уведи меня в стан погибающих…»

170

Отец, по моей просьбе, пытался повлиять на дочь, отказавшуюся от матери, с которой мы вместе были в лагере (описано в тексте моих воспоминаний).

171

«Старик», «приятель-историк» М.П.Якубович, пережил отца на 10 лет и умер на 90-м году жизни в том же Тихоновском доме инвалидов, не дождавшись реабилитации по своему делу («Союзное бюро меньшевиков», 1931).

172

Указ от 17 сентября об амнистии за преступления, совершённые во время войны.

173

По словам моей подруги Нюси, И.Франко сказал, что Шевченко был бы ещё более велик, если не написал бы «Гайдамаков».

Где до ареста работал отец.

175

Дата вынесения приговора по нашему делу. Учитывая суровость приговора, я не рассчитывала на освобождение в связи с пересмотром дела.

176

Тюремное заключение за отказ от работы.

177

Старый гарибальдиец упрекал слепого племянника в том, что тот эгоистически сосредоточен на своём несчастье.

Т.е., этот вопрос его интересовал как анархиста.

179

Речь идёт о пересмотре дела самой Лауры.

180

М.Я.Макотинский, врач-психиатр, до революции — эсер-максималист, позже — большевик и активный участник Гражданской войны. Репрессировался с 20-х гг. как троцкист. Реабилитирован после 1956, но восстановиться в партии не пожелал. Умер в начале 60-х гг.

181

В.М.Макотинская. Как и её отец, обвинялась в троцкизме.

182

«Не в идее, мой господин, дело, а в самой [пролитой за неё] крови — в благородном, как ты выразился, пурпуре».

183

Я рассказала отцу о деньгах, украденных сотрудниками МГБ, производившими обыск у нас дома после его ареста.

То есть, по приговору у отца была конфискация имущества.

185

Переданные мною отцу после приговора вещи.

186

В его мемуарной книге «История моего современника».

187

Прогнозы М.Я.Макотинского не оправдались: К.М.Табакмахер, о котором идёт речь, продолжал удивлять всех своим блестящим интеллектом до самой своей смерти в конце 60-х годов. Как и Макотинский, отказался восстановиться в партии.

188

Отец опасался, что на переследствии я буду себя неблагоразумно вести, поэтому старался обнадёжить тем, что наши приговорённые к смерти однодельцы живы. Следующее письмо послано мне в Москву, во Внутреннюю тюрьму на Лубянке.

190

См. о нём в прологе к «Рассказу матери».

191

Отец доволен, что я «продолжила славные традиции».

Поселиться у тёти Чары пришлось не Ирине, а — на некоторое время — самому отцу после освобождения, несмотря на ужасные, даже по московским меркам, квартирные условия. Вообще, отцовская родня, несмотря на очень слабую связь на протяжении всей жизни, оказалась в это трудное для нас время на высоте.

193

Мать поражалась, читая Говарда Фаста, что он остаётся коммунистом. Однако, после 20-го сьезда писатель, как известно, из компартии вышел, а в 1957 году рассказал об этом в книге «Голый бог».

194

Под Черкесом, которого якобы оплакивает мать, подразумевается, конечно, Сталин.

195

Плавный переход исторического экскурса в «эзопов язык» с Н.Хрущёвым под маской Годунова, и обратно.

Вот молодец! (англ.)

197

Следует ли объяснять, что мой тогдашний интерес к поэзии не превышал «средне-статистического» в моём поколении и не свидетельствовал ни о каком надрыве, каковой также был в пределах «нормы».

198

Эмка — М.А.Кубанцева — друг родителей со времён Гражданской войны (см. в тексте воспоминаний). Её определение политики партии и правительства: «как пьяный мочится».

199

Иоганн (Джон) Мост (1846–1906), немецкий анархист, в 1874-78 депутат Рейхстага, жил в эмиграции во Франции, Англии и Америке.

Подлежащих амнистии согласно вышеупомянутому указу.

201

Моя школьная подруга.

202

Подробности о нашем деле, рассказанные в совместном письме Сусанны и матери. Бандерлогия — условное обозначение сов. государства по ассоциации со стаей обезьян в книге Киплинга «Маугли».

203

Грета — приятельница родителей, образец безоговорочной преданности партии (см. Пролог к воспоминаниям).

Значительное место в составленном для меня В.М. Макотинской списке, до сих пор сохранившемся, занимали стихи «на бытовые темы» лагерного поэта, чьё имя скрыто под инициалами А.А.Б. и расшифровывается как Анна Александровна Баркова (1901-197-?).

205

Лагерные зоны.

206

Буквальный перевод английского выражения to fall back — «отступать».

207

Это стихотворение Гумилёва отец послал также и нам с сестрой.

208

К.М.Табакмахер. Кто такой «другой» — мне неизвестно.

209

Ася — знакомая родителей, бывшая американка.

210

Галя Смирнова.

211

Guess (англ.) — догадка.

On top (англ.) — сверх того.

213

Буквальный перевод идиоматического англ. выражения To see red — впасть в ярость.

Reservations (англ.) оговорки.

Понятно, что экскурс — не столько исторический, сколько политический: XX-й съезд КПСС, развенчание Сталина.

216

Доклад Хрущёва на XX съезде КПСС о культе личности.

Понятно, что переворот 1794 года во Франции, свергнувший якобинскую диктатуру, уподоблен развенчанию Сталина.

218

Namesake(англ.) — тёзка, т. е., исторический Борис Годунов в отличие от Н.Хрущёва, о котором речь в этом абзаце.

219

Как видно, речь идёт о США.

220

Пьяде, Моше (1890–1957) — югославский политичесий и государственный деятель, сербский художник и публицист. Организатор антифашистского движения во время немецкой оккупации. Член Исполкома Союза коммунистов Югославии. Как теоретик и публицист выступал против влияния Сталина и КПСС. С 1954 г. — председатель югославского парламента.

221

В этот дом старых знакомых моих родителей (см. об этих людях «из другого лагеря» в главе «Большой террор» Рассказа матери) пришла и я, освободившись через два дня из тюрьмы. Вместе с вернувшимися родителями мы вскоре поселились в просторной квартире Зины, семья которой жила на даче.

222

Не помню, о ком идёт речь.

Как видно, М.Я.Макотинский.

К именам авторов воспоминаний, а также особенно часто упоминаемых членов семьи — А.П.Улановского, И.А.Улановской и Р.Н.Пуриц — отсылок не производится, но клички и прозвища раскрываются. В случаях, когда в тексте отсутствует имя персонажа, о котором сообщаются интересные сведения, в указатель включены ключевые слова, позволяющие обнаружить это место в тексте.

225

По словам жительницы Берлина Анжелики Герланд-Де Ла Паз, дочери Б. Герланд, имя этой бабушки Клара Раше. Обращение через московского знакомого в Росийский центр хранения и изучения документов новейшей истории (бывший ИМЭЛ) позволяет предположить, что речь идёт о Рози Фрёлих-Вольфштейн (1888–1986?). Воздерживаюсь от включения этих имён в указатель.